МАРИЭТТА ШАГИНЯН

СЕМЬЯ УЛЬЯНОВЫХ

ОЧЕРКИ · СТАТЬИ

ВОСПОМИНАНИЯ

МАРИЭТТА ШАГИНЯН

СЕМЬЯ УЛЬЯНОВЫХ

ОЧЕРКИ

СТАТЬИ

ВОСПОМИНАНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1959

Оформление художника
Н. КРАВЧЕНКО

СЕМЬЯ УЛЬЯНОВЫХ

РОМАН-ХРОНИКА

Припомним основные черты крестьянской реформы 61-го года. Пресловутое «освобождение» было бессовестнейшим грабежом крестьян, было рядом насилий и сплошным надругательством над ними. По случаю «освобождения», от крестьянской земли отрезали в черноземных губерниях *свыше* $^1/_5$ части. В некоторых губерниях отрезали, отняли у крестьян до $^1/_3$ и даже до $^2/_5$ крестьянской земли. По случаю «освобождения», крестьянские земли отмежевывали от помещичьих так, что крестьяне переселялись на «песочек», а помещичьи земли клином вгонялись в крестьянские, чтобы легче было благородным дворянам кабалить крестьян и сдавать им землю за ростовщические цены. По случаю «освобождения», крестьян заставили «выкупать» их собственные земли, причем содрали *вдвое и втрое* выше действительной цены на землю. Вся вообще «эпоха реформ» 60-х годов оставила крестьянина нищим, забитым, темным, подчиненным помещикам-крепостникам и в суде, и в управлении, и в школе, и в земстве.

В. И. Ленин

Жить — значит... чувствовать непрестанно новое, которое бы напоминало, что мы живем... Ничто так не стесняет сего потока, как невежество: мертвою, прямою дорогою провожает оно жизнь от колыбели к могиле. Еще в низкой доле изнурительные труды необходимости, мешаясь с отдохновением, услаждают ум земледельца, ремесленника; но вы, которых существование несправедливый случай обратил в тяжелый налог другим, вы, которых ум отупел и чувство заглохло, вы не наслаждаетесь жизнью. Для вас мертва природа, чужды красоты поэзии, лишена прелести и великолепия архитектура, незанимательна история веков.

Н. И. Лобачевский

Глава первая

ВСТРЕЧА В ПЕНЗЕ

В полдень 23 ноября 1861 года в большом зале Пензенского дворянского института служители сдвигали стулья к ежегодному акту. Институт был в новом здании, построенном всего какой-нибудь десяток лет назад. Но уже успели, за недостатком средств на покраску, обветшать и потемнеть его стены. И зал, выходивший окнами на передний двор, в этот снежный денек тоже выглядел сумрачным с его облупленными кариатидами, подпиравшими давно не белёный потолок. На стене зала висел огромный портрет Александра Второго, и еще молодое холерическое немецкое лицо с косо срезанным лбом, трижды перекрученным пухлым усом недоуменно вскидывало под потолок свои выпуклые, водянистые глаза моржа. Наверху, в третьем этаже, где были дортуары, одевались к празднику воспитанники и острили по поводу темы предстоящей торжественной речи: о грозе и громоотводах.

С торжественными речами институту вообще не везло. Преподаватель Ауновский, к примеру, представил было патриотическое сочинение «О месторождениях каменного угля в России», но получил от округа пожелание «употребить свое время и силы на работу более совершенную».

— В нашей губернии и без угля жарко,— комментировали воспитанники, намекая на пензенские крестьянские восстания, усмиренные только в апреле.

А в прошлом году словесник Логинов выступил с самой эзоповой речью, говорил примерами из Кан-

темира и Фонвизина о нравах далекого прошлого и даже кончил фигурой риторики — «возблагодарим вседержителя за то, что живем не в старые времена»,— но фигура эта не спасла Логинова: дворянство выставило его из института за клевету, а Казани и педагогическому совету влетело.

Воспитанники это знали и, застегивая высокие расшитые воротнички своих мундиров, смеялись, как бы не вышло чего и с милейшим физиком: тема о грозе тоже скользкая, хотя бы и с громоотводом...

Гости опаздывали. Но все приедут: и губернский предводитель, и губернатор, и стяжавший позорную славу усмиритель кандеевских крестьян генерал Дренякин, и купечество, и архиерей, и дамы-патронессы. Дворянский институт не гимназия, и хотя весь он в долгу,— в долг кормит воспитанников, задолжал учителям, а папаши-дворяне упорно отказываются его содержать; хотя нищета и бестолочь в финансах этого учреждения надоели всем в городе,— все же в слове «дворянский институт» есть что-то такое... Даже сторож в сенях чувствует это, открывая парадные двери.

Воспитанники института позволяли себе вольности, невозможные для гимназистов. Несколько лет назад один из них, Вася Слепцов, во время церковного служения в храме, когда священник с амвона читал «Верую», громко и ясно, на всю церковь, сказал: «А я не верую». И сейчас среди этих мальчиков, небрежных в прическе и движениях, плохо дисциплинированных, развязных и начитанных, было немало поклонников пострадавшего за неверие Слепцова. Портрет царя в зале не помешал вырасти в институте тому, кто через пять лет первым поднимет руку на Александра Второго,— воспитаннику Каракозову.

— Идемте, господа, сейчас молебен!

Воспитанники гурьбой стали спускаться с третьего этажа на второй.

В эту минуту показался в воротах старший учитель физики, тот самый, чью речь о грозе и громоотводе должны были слушать на акте. Быстрый в движениях, весь осыпанный снегом, он сперва забежал направо, где перед флигелем, на заснеженной горке, стояла рейка его метеорологической станции. Подошел и к стене взглянуть на реомюр, вывешенный под защитой деревянной

планочки от ветра. И, раздеваясь, торопливо спросил у швейцара, не забыл ли младший надзиратель записать утренние показатели. Швейцар принял с его плеч шинель, отряхнул ее в сторонке и густым шепотом ответил ему. Он гордился, как чином, сложным искусством надсмотра над самой погодой и тем, что обсуждает его с господином педагогом, как равный с равным.

Учитель физики остановился перед большим трюмо, вынул из кармана длиннейшего сюртука сложенный вчетверо носовой платок и, не разворачивая, а, наоборот, закомкав рукой, несколько раз быстро-быстро обсушил им мокрые от снега глаза и губы. Он был невысок ростом и бледен той белизной меловатого оттенка, что говорит о сильном душевном волнении. С высокого овального лба его, как у поэта или музыканта, спускались вдоль щек прямые темные волосы, длинные по моде тех лет. И хотя физик был еще очень молод,— ему недавно исполнилось тридцать, — и молодо блестели его карие добрые глаза, но волосы у него на макушке уже поредели, грозя преждевременной лысинкой. Он заспешил в зал, на ходу пряча в карман платок.

Длинный стол, крытый сукном, с бронзовыми канделябрами, мягкие кресла, а в них туши с орденскими лентами через плечо, шепот в задних рядах, и третий ряд,— в третьем ряду сидят дамы: жена директора института, жена инспектора института... Старший учитель физики, только что поднявшийся на трибуну, увидел рядом с женой инспектора Веретенникова, добрейшей Анной Александровной, незнакомую девушку.

«В первый раз мне выпало на долю говорить перед вами, милостивые государи, говорить о предмете, мною изучаемом,— говорить о природе».

Учитель физики картавил. И это шло к его крупному, калмыцкого рисунка рту, к его бледным щекам, чуть приподнятым резкими косточками скул. Говоря, он положил руку за борт сюртука и слегка покачивался над белым листом рукописи.

— Но quand-même[1] в нем *есть*,— шепотом определила старуха с лорнеткой (словцо, подслушанное при-

[1] Все-таки *(франц.)*. Здесь и далее примечания автора.

мерно в те самые годы графом Львом Толстым у таких же женщин).

«...Молнии разделяют на три класса. Пелетье объясняет... Доктор Гук говорит... Де ля Рив делает интересное сравнение...»

В президиуме были совершенно довольны. Первый ряд, где сидели отцы города, успокоенно следил за оратором. Высокий мир — мир чистой науки,— высота неба, где в сгущении паров рождается электрическая разрядка, и шум этой чудовищной встречи двух полюсов в облаках, гром, как его называют люди, иностранные имена ученых — все это было доброкачественно академично.

«Берман уверяет...»

Но здесь оратор допустил, как говорится, маленький «ляпсус»:

«В Швейцарии, где зарницы, то есть безгромные молнии, очень обыкновенны, сельские жители называют их ячменными молниями, потому что они чаще всего случаются в августе, когда поспевает ячмень... и у нас в деревнях,— оратор оживился и улыбнулся, даже отступил на секунду от кафедры, словно урок давал,— у нас в деревнях говорят, что зарница происходит от созревания ржи».

Он еще раз взглянул на незнакомую девушку. Кто она? Кем доводится Ивану Дмитриевичу?

«...Но куда бы ни упала молния, она стремится преимущественно к проводникам и металлам. Может случиться, что молния действует на один только металл, а окружающие его тела остаются без повреждения. В пример этому приводят рассказ о двух дамах, из которых одна, имея на руке золотой браслет, протянула из окна руку во время грозы; в это мгновение ударила молния, и браслет исчез так, что не нашли никаких следов, а дама чувствовала небольшое сотрясение. У другой дамы одна только шляпа была превращена в пепел, потому что состояла из тонкой проволоки, на которой держалась материя».

Старшего учителя физики очень любили в институте. Речь его живо объясняла сухой предмет, давала простое, толковое знание о молнии и громе, и на много лет, если не на всю жизнь, те, кто слышал эту речь, остались грамотными по части грозы. Специалисты

знали, как хорошо и глубоко подготовился физик, и вполне оценили его начитанность, знакомство с самоновейшими источниками, каким был, например, Де ля Рив, еще не переведенный в России с французского...

Но в зале нашлись критиканы. Учитель словесности Захаров явно соскучился, он вспомнил острую речь Логинова. Ученик Странден вертелся и писал записки. В записках стояло: «Молния сжигает металлы, а чурбаны целы». Васильев, выпускник и хороший рисовальщик, быстро кончал зарисовку в альбом: оратор с длинными, по разночинной моде, волосами, начесанными на уши, с поределой макушкой, заложив руку за борт, а ногу на ногу, был представлен в виде зигзага молнии, тщетно бьющего в первый ряд, где развалясь сидел чурбаноподобный губернатор. Он уже начал подписывать внизу: «Илья-пророк». Из-за плеча смотрели, шептали: «Покажи, покажи»; спереди грозно шикнули.

А учитель физики увлекся. Бледные щеки его затлели на скулах розовыми пятнышками. Он описывал устройство громоотвода. Всякие механизмы, дававшие власть над материей, всегда занимали его. Еще недавно, получив от милейшего Осипа Антоновича Больцани, из мастерской Казанского университета, свою метеорологическую аппаратуру, бывшую там в починке, поминал он добром этого замечательного ученого-опытника... Чего, чего только не изобретает Больцани у себя в мастерской!

«...Вот как Академия предлагает устраивать громоотводы...»

Делая пояснительные жесты, словно отмеривая размеры железного прута, физик вдруг преобразился в педагога, желающего не речь сказать, а передать нужные, практические знания:

«Вообще предполагают, что громоотвод может защитить круглое пространство, описанное радиусом, равным двойной высоте громоотвода, и применяют это правило на практике, причем один и тот же проводник может служить для нескольких громоотводов, лишь бы эти последние имели между собой металлическое соединение. Но это правило не совершенно верно, потому что многое зависит от формы конца громоотвода и от вещества, из которого сделано здание. Итак, наука дает человеку средства оградить себя от ударов мол-

нии, борется с предрассудками и побеждает их самыми неопровержимыми доказательствами — фактами!»

Речь кончилась, заняв времени ровно столько, чтобы не утомить.

Ноябрьский день отходил за окном; институтский сторож, в мягких туфлях незамеченно скользя по залу, длинной палкой с привязанным на конце ее горящим огарком одну за другой зажигал свечи в люстрах. Быстрые чьи-то пальцы пробежали, пробуя, по клавишам,— вечером будут танцы.

Учитель, наклонившись к кафедре, собирал свои листки, когда к нему подошли две женщины. Одна вела, немного принуждая и таща за собой, другую, ступавшую медленно и улыбаясь. Обе они были одеты по моде — в тяжелые пышные платья с турнюром, собранные в складки у талии, с небольшим треном, шуршавшим за ними. Волосы у обеих были зачесаны гладко со лба и разбиты низким, пышным, широким узлом на затылке в форме груши, спрятанной в сетку. Одна была Анна Александровна Веретенникова, другая — незнакомая девушка, замеченная учителем с кафедры.

— Илья Николаевич! Спасибо, спасибо вам за прекрасную речь, за ячмень, вы прямо неузнаваемы сделались, когда про ячмень сказали! Мы ведь с сестрой деревенские. Машенька, Илья Николаевич Ульянов. Илья Николаевич, будьте знакомы — сестра моя, Мария Александровна Бланк.

И две руки, одна небольшая, другая совсем маленькая, встретились и пожали друг друга. Но ответить физик не успел: мимо них, охорашивая усы рукой, шел пензенский предводитель.

— Безгромные зорюшки... Нашли выражение! Вы в своей ученой отрешенности, как в башне, засели, господин Ульянов! Поглядели бы, какие у нас там аржаные зарницы полыхают!

Хотя Пензенская губерния была усмирена, но и в ней и в Казанской стояли военные части, среди крестьян шло брожение, и память о событиях была так свежа, как если б это вчера было. Да и каждый день прибавлял к ним все новое и новое — то суд над казанцами, то награждение усмирителя, графа Апраксина, то волнение студентов, то опять бунты в соседних губерниях, приезды из имений перепуганных помещиков, чтение

писем, ходивших из рук в руки... Вышло так, что и на торжественном директорском обеде за первой же рюмкой «аполитичная» речь физика клином вошла в политику, и гости принялись отводить душу, благо и губернатор с предводителем и генерал Дренякин тотчас после акта уехали домой.

— Разве же можно было на Волге, в пугачевых местах, оглашать манифест? И перед кем? Перед «ярманкой», перед симбирскими инородцами, потомками пугачевских бунтарей!

— Но государь и так медлил, помилуйте,— подписал девятнадцатого февраля, а публикацию сделали только в марте месяце...

— Да нет, не в том дело, знаете вы, как все это спустя рукава сделано было? Помилуйте, двадцать три миллиона крепостных, двадцать три миллиона темных голов с бреднями о какой-то якобы полной воле, о царевом указе, вписанном в голубиную книгу, толкуемом в скитах всякими отшельниками и расстригами,— сюда бы свету, толковых людей, наконец две-три сотни тысяч печатных оттисков манифеста, а что сделали в Петербурге? Выпустили «Положение» на разных листах, да еще разрозненно, перепутали даже губернии — в черноземные пошло то, что имело касательство к степной полосе; какую же пищу это дало злонамеренным!

— А манифест отпечатали чуть не в десятках! Народ ответил своей легендой: что настоящий указ подменили, настоящий указ помещики украли, а этот — обманный. Стеной ставить между монархом и нашим дворянством бюрократию, питать эту бюрократию соками нашего сословия, выплачивать ей из казны чудовищные деньги и получать от нее вот этакую бездарную работу, ниже качеством старых писарей и ратманов,— допустимо ли? Куда заведет?

— Поспешил государь с манифестом...

— Ах, оставьте, напротив того — чересчур помедлил. Нельзя было, сказавши А, медлить с Б, допускать брожение в народе... Нужно учесть было положение дворянства в наших губерниях! Шутка сказать: пережить в просвещенный век ужасы Бездны и пензенскую Кандеевку... Есть от чего с ума сойти, как сошли с ума у несчастных Веригиных.

Бездна, деревня Казанской губернии, стала центром недавних больших событий. О том, что в народе брожение, знали не только в деревне, знали и горожане. Все города были переполнены оброчными, служившими в дворниках, приказчиках, извозчиках. Очевидцы рассказывали, как при первом городском слухе о том, что «вышел указ», в Петербурге остановилось движение, извозчики, побросав лошадей, кинулись в лавки, а там уже толпились люди всех профессий и видов — от нарядного, в крахмальном воротничке актера до рыночного торговца сбитнем, и все они — врачи, художники, ремесленники, сермяжники, такая обычная городская публика,— тут, в лавке, вдруг оказались не просто людьми, как все в городе, а чьими-то «душами», собственностью таких-то и таких-то «господ». Все нарасхват брали и требовали царский указ про волю.

Но если в городе еще можно было бежать в книжную лавку, то в деревне узнать про указ решительно было не у кого. И вот бездненцы в глухих раскольничьих скитах, среди дремучих лесов нашли себе вожака, человека, пустившегося толковать и объяснять им волю,— толковать так, как хотели сами крестьяне. Из Антона Петрова, бездненского вождя, Пугачева не вышло. Антон Петров был начетчик, прослывший за свою жизнь в скиту божьим пророком. Было что-то глубоко и потрясающе сильное в этом человеке, вычитывавшем по складам, жарко припав к книге и водя по ней пальцем, запутанные глаголы о полной воле — воле с землей и со всем барским добром на ней. Бунт охватил три губернии. Мужики шли в Бездну, вооруженные чем попало, вступали в отряды, громили усадьбы. Антон Петров руководил ими. Когда стало слышно, что идут солдаты, Бездна кликнула клич к трем губерниям, и десять тысяч крестьян, с бабами, детьми и добром, на телегах съехались отстоять Петрова. Залегли лагерем вокруг избы, где спрятался пророк, и выдержали настоящую осаду.

Бездненская история в главных ее подробностях была известна далеко не всем. Кое-кто, впрочем, читал о ней даже в запретных тетрадках «The Bell» — герценовского «Колокола», но были такие, что попросту затыкали уши и ничего слышать не хотели про этот

последний, как они говорили, позор русский. В том же году неизвестный аноним из их круга писал Чернышевскому, что в русском народе есть, конечно, «человекоподобное нечто», но за развитие его нужно взяться «умно, практично, без нежностей, а нежностей ваших они не поймут, наплюют на вас и найдут себе другого Антона Петрова, о котором так искренне сожалеет ваша хамская натура».

— Вы знаете, какое у них было смешное представление о трех залпах?

— Господа, господа, меняем тему, точка, еще по маленькой!

— Нет, я слушаю, скажите, что три залпа?

— Войска обычно стреляют при усмирении три раза вхолостую для острастки. Из этого мужик вывел, что больше трех раз стрелять не повелено. И представьте огромную толпу вповалку вокруг пророка — на телегах, на изгородях, на крышах, на земле — в полнейшем спокойствии. В них наконец стреляют, а они все надеются переждать свои три раза, закрываются рукавицами и кричат: «Воля!»

— Это правда, что было свыше трехсот раненых и убитых?

— Вранье!

— Нет, сударь, не вранье! Поболее трехсот!

— А мне сказывали, что, когда Антона Петрова казнили, один солдат в обморок упал.

Антона Петрова вывели из избы в рубахе, простоволосого. Он шел со свечкой в руке, не озираясь, и громко, торопливо молился, ежеминутно, без надобности снимая пальцем нагар со свечи. Волосы его падали чуть не до плеч, ноги были босы. Солдаты целили в него, жмурясь, и все слышали молитвенное бормотание, пока не грянул залп.

— Бросьте вы жантильничать. Вспомните пензенского Егорцева. Мало ли таких «пророков»! Штыки, штыки — вот им что надо! На пророков этих любители мутной воды, свистуны в «Современнике», подлецы всякие ставку ставят!

Совсем расклеился разговор. «Подлецы» покоробили даже ухо директора. Но «свистуны» — слово, выхваченное у Герцена, обзывавшего так писателей в отделе

«Свисток» в «Современнике»,— и скрытое в речи указание на недавнюю подметную прокламацию,— это было уж слишком! Директор насупился, растерянно ковырнув рыбу в тарелке. Между тем богатый пензенский купец, известный своей слабостью по части всяких новшеств, хотя и ходивший у себя дома в поддевке и смазных сапогах, подсел с бокалом к Илье Николаевичу. Он выспрашивал его, кто в здешнем крае мог бы научно и без изъяна воздвигнуть громоотвод. Ему хотелось первому в губернии поставить громоотвод над своими складами.

А в самом отдаленном углу, где закуска и вина были попроще, беседа велась шепотком. Кто-то показывал старое, полученное из Казани письмо «очевидца», где приводились слова Щапова, сказанные им в апреле на знаменитой панихиде по мученикам Бездны. Что казанский профессор русской истории, Афанасий Прокопьевич Щапов, произнес на этой панихиде смелую речь против правительства, знали все. Но тут аккуратно переписанные, заключенные в кавычки, стояли его доподлинные слова, обращенные к убитым бездненцам, и от смелости этих слов просто дыхание перехватывало.

«Вы первые нарушили наш сон, разрушили... наше несправедливое сомнение, будто народ наш не способен к инициативе политических движений,— так говорил Щапов.— Земля, которую вы возделывали, плодами которой питали нас, которую теперь желали приобрести в собственность и которая приняла вас мучениками в свои недра — эта земля воззовет народ к восстанию и свободе. Мир праху вашему и вечная историческая память вашему самоотверженному подвигу! Да здравствует демократическая конституция!..»

— Молодец Щапов! — забыв осторожность, воскликнул Захаров.

— Он приглашен был в прошлом году читать лекции по русской истории,— услышав фамилию Щапова, отозвался со своего места Илья Николаевич, не терявший связи с казанцами.— Говорят, украшение кафедры!

И хотя то, о чем шептались в углу, уже потухло, разговор о Щапове, как огонек по сухим веточкам, быстро перекинулся и побежал вокруг стола.

Глава вторая

ЗЕМЛЯ И ЗВЕЗДЫ

Торжественный актовый обед был окончен, задвигались стулья. Но праздник еще не прошел. Этому дню по правилу предстояло завершиться бостоном для стариков и музыкой для молодежи в квартире инспектора Ивана Дмитриевича Веретенникова, но уже только между своими — меж педагогами и их женами.

Инспектор Иван Дмитриевич Веретенников — новый человек в Пензе, только три месяца назад перевелся сюда из Самары, а уже все его знали и знали его семью, привыкли к его жене, ее голосу, грубоватым чертам лица и такой милой, сварливой манере подходить к человеку. Анна Александровна была романтик и прирожденный рассказчик, какие случаются в семьях, и знакомые без конца советуют: «Да вы бы записывали, да это хоть сейчас в печать». Она и записывала в тетрадку по секрету ото всех, но ее сочный и складный русский язык, ее начитанность и вкус к людям так и остались безвестными в жизни.

Вечера у них были сплошное удовольствие. Нянечка уложит детей, дети уснут, и хозяйка вся в хлопотах, вся в гостях, а сегодня еще прибавилось вдобавок, что свояченица инспектора, приехавшая по первопутку из-под Казани зимовать у них в городе, что эта свояченица — диво-певица и музыкантша. Красива она была — это уже заметили. Лучше и тоньше самой Веретенниковой, темноволоса, темноглаза, держалась и не застенчиво и не развязно; холостые учителя прослышали, кстати, что тут есть нечто вроде своей деревни или какой-то части деревни,— словом, не одно только платье да серьги в ушах. Но день был решительно заколдован, и прежде чем начаться удовольствию, опять вспыхнул разговор — вспыхнул ни с того ни с сего, как в засуху самовозгорается без искры валежник.

В небольшой комнате, меблированной казенной мебелью, у Веретенниковых стоял круглый стол под турецкой шалью, и на нем книги, большею частью из институтской, довольно хорошей библиотеки. Анна Александровна любительница была и прозы и поэзии. Илья Николаевич сперва молчаливо прошелся по этой

комнате, где еще не начали ни в карты играть, ни музицировать, ни танцевать, а потом, облокотясь на стол и не присаживаясь, стал листать первое, что попалось под руку, и спросил невольно:

— Как мы ни далеки от столицы, а все же, Иван Дмитриевич, недозволительно так запаздывать в чтении журналов. Помилуйте, что ж это у вас за новинки? «Русский вестник» за прошлый год, «Отечественные записки» за прошлый год...

— Это не я, это жена...— отозвался Веретенников, занятый подсчетом карточных колод,— мне и времени нет, Илья Николаевич.

— Ах, дайте мне эти книги!

— Но почему же?

— Секрет, Илья Николаевич, дайте, дайте!

Заинтересованный физик шутя задержал объемистый «Русский вестник». Анна Александровна, раскрасневшись, вырвала у него более тонкую книжку «Отечественных записок». Она кокетничала и секрет преувеличивала. Невольно, без уговору, с какой-то обоюдной симпатией учитель физики и сестра инспекторши вскинули глаза друг на друга, словно поделились мыслью.

— Смеяться нечего,— перехватила их взгляд Веретенникова.— Машенька, стыдно тебе, сама же взасос читаешь, вот не дам продолжения, и сиди без книг.

Секрет был в новинке любимой писательницы, многими ставившейся чуть не наряду с Жорж Занд,— англичанки Джордж Эллиот. Ее роман «Адам Бид» печатался в прошлом году в «Отечественных записках», и обе сестры поплакали над ним. Но что же было интересного в старом номере «Русского вестника»? Неужели этот дрянной, пошлейший, сентиментальный, судя по отдельным строчкам, переводный роман «Жизнь за жизнь»?

— Нет, он совсем неинтересен,— негромко сказала Мария Александровна,— да и мы с ней давно прочитали обе книжки, она дразнит вас.

И Мария Александровна взяла у сестры «Отечественные записки» и передала их учителю.

Опустив глаза, он все листал и листал книгу, уже не глядя. Но девушка отошла. И мало-помалу — тут одна строчка, там другая — «Отечественные записки» оттянули его от гостей, и он стал читать всерьез. Его

привлек отдел рецензий. Краевский умеет составить отдел рецензий — лучшее, кажется, что у него есть. Целые полки новинок проходят перед глазами, разобранные толково, честно, с примерным остроумием, с насмешкой, где это нужно: вот несчастный какой-то Росновский, что от него осталось? Отповедь, достойная пера Добролюбова. А вот разбор Адама Смита, грамотно, специально. А это что?.. Он зачитался рецензией. Он знал немецкий язык не больше чем в объеме гимназии, но читал на нем, рецензия же была о немецкой книге. Физик забыл, что дал себе слово отдохнуть в этот день, глаза его разгорались, маленький, нервный, он весь ушел в необычные строки... Как это никто не заметил? Ах, это прекрасно, это до странности хорошо.

— Господа, господа, слушайте!

На голос Ильи Николаевича встал учитель Захаров, пробовавший одним пальцем какую-то новую пьесу на роялино. Опять поднял голову Веретенников. Подбежал быстрый, щуплый естественник Ауновский в пенсне. Подошли женщины. А он все стоял, повторяя: «Как хорошо»,— и сам хорошел от удовольствия.

Заметку прочитал вслух Ауновский, а Илья Николаевич, поддакивая, дирижировал общим вниманием. И в самом деле, заметка была интересна. Можно бы рассказать ее своими словами, но пусть уж лежит она вся, как читана: «Die Sterne und Erde» [1], Leipzig, 1859.

«Эта книжка имела странную судьбу. В 1846 году вышла в Бреславле, без имени автора брошюра «Созвездия и всемирная история» («Die Gestirne und die Weltgeschichte»). Никто на нее не обратил особого внимания, но она случайно попала в Лондон, и там книгопродавец Вальер издал ее перевод на английский язык, не показав, впрочем, нигде, что это перевод. На берегах Темзы книга имела неожиданный успех. Шесть изданий, от десяти до двенадцати тысяч экземпляров в каждом, было раскуплено. Этот успех обратил внимание немецкого переводчика Фойгтс Рэпа, который, в полном убеждении, что перед ним оригинальное произведение христианского мышления, перевел немецкую книгу с английского языка опять на немецкий и напечатал под заглавием, которое мы привели выше. Тогда

[1] «Звезды и земля» *(нем.)*.

сделалось известно и самое имя ее настоящего автора — Эберти. Посмотрим же вкратце содержаиие этой киити.

Автор выходит из положеиия, что иебесиые тела видимы иам ие так, как оии в самом деле есть, ио так, как они были за несколько часов, лет, веков или тысячелетий, смотря по их расстоянию от Земли. Отсюда следует, что обитатели этих иебесных тел видят Землю в разиые эпохи ее истории. Зритель, помещеиный на звезде двеиадцатой величииы, увидел бы Землю во времена Авраама. Если ои может в короткое время, иапример в час, перейти оттуда на наше Солнце, то перед иим в этот час пройдет вся человеческая история земиого полушария, к нему обращениого. Другая мысль автора состоит в следующем: если б скорость движеиия Земли вокруг Солнца удвоилась, то мы бы ие заметили изменеиия. То же самое произошло бы, если бы первое увеличилось, а второе умеиьшилось в четыре раза, в тысячу, в миллион и более раз, ио одииаково,— поэтому мы можем представить себе всю историю, сжатую в иеизмеримо малый промежуток времени, и это измеиение могло бы остаться для иас иезаметным. Подобным же образом автор иаходит возможиым представить себе сокращеиие всех расстояиий и мер, иами употребляемых. Этим путем автор приходит к мысли, что можио себе представить мир вие всякого простраиства, времеии и получить ясиое поиятие о его создании. Не мудрено, что Германия, давио привыкшая к фаитазиям получше Эберти, не обратила виимания иа эту брошюру, ио трудио себе представить, как она могла иметь такой огромиый успех в практической Аиглии».

Не дав другим высказаться, физик взял себе первое слово. Мысли Эберти, правда, чистейшая спекуляция, ио все же это геииальные фаитазии близкой ему сферы, и ои только что, днем, побывал в этой сфере, правда совсем иизко, в подвальиом этаже, в земной атмосфере. Он заговорил об астроиомических расстояииях, о том, как далеки от нас звезды и в чем остроумие автора: до сих пор мы исходим *из нашего* взгляда иа звезды, говорим о дохождении *их* света до нас. Мертвые, исчезнувшие, ие существующие сами по себе, они все еще, через бездну атомов, через поля вселеииой, идут к нам в сво-

ем отпечатке и почти бессмертны в нем,— так много лет мы еще будем видеть и наблюдать этот их отпечаток. Ну, а что сделал автор? Он посмотрел *с них*, с этих звезд, на нашу планету. И представьте себе такую вещь...

Илья Николаевич выбежал на середину комнаты, выдвинул кресло и усадил в него улыбающуюся Анну Александровну, а вокруг на разных расстояниях — у стены, у роялино, ближе, еще ближе, на стульях — рассадил всех присутствующих.

— Представьте такую вещь: Анна Александровна — планета Земля, она живет и стареет, прошла архейский, палеозийский, мезозойский периоды, она в современных веках, в античном, феодальном, городском строе... Она мерно ворочается вокруг своей оси, а люди копошатся на ней, и она стареет вместе с людьми. И вот представьте, что каждый из вас — звезда. И на каждой звезде — наблюдатель. А у вас изобретены телескопы чудовищной силы, нет, даже не телескопы, не стекла — магнетические увеличители, бьющие прямо на глазные нервы, как молния. И вы глядите и видите из разных эпох в одно и то же время все периоды жизни Земли. Для вас живет прошлое. Вам кричит Архимед, выбегая из бани. На вас ползет ихтиозавр. Скрещиваются мечи Алой и Белой роз... И если заснять все это и получить дагерротип мировой истории...

— Позвольте, на чем же сидеть, ведь этих звезд так же нет, как и нашего прошлого? — сказала Мария Александровна.

Физик остановился и вдруг расхохотался. Он не хохотал, а прыскал со смеху, сгибаясь вдруг пополам, как перочинный ножик,— хохотал оглушительно, весело, до колик, до слез на глазах.

— Браво, браво, Мария Александровна! — закричали вокруг.

Но, ко всеобщему удовольствию звезд и планет, их в этой роли еще удержал преподаватель Захаров. Милый был человек преподаватель Захаров. Илья Николаевич снимал у него комнату. Воспитанник института Ишутин и двоюродный его брат Каракозов одно время тоже квартировали у него. На уроках он был неровен, когда воодушевлялся — заслушаешься. Но влияние Захарова шло и помимо уроков: в беседе, во встречах исходило от него на других благородное и возвышенное, чудакова-

тое немного благожелательство чистейшего идеалиста. Заложив руки за спину, он сказал своим сиповатым голосом отчаянного курильщика:

— И ежели сличить-с дагерротипы — как раз между ними, между снимками, и останется самое главное-с...

— Скажите, скажите: что, по-вашему, самое главное?

— А то, добрейшая моя Анна Александровна, посредством чего происходит прогресс в человечестве.

У Захарова была своя теория. Илья Николаевич слышал ее от него не один раз. Теория была по-своему не меньшей оригинальности, нежели мысли Эберти. Что движет исторической переменой? Какая сила сменяет одну стадию развития на другую, старую эпоху на новую? По глубокому убеждению Захарова ее сменяет своим вмешательством поколение новых людей, особый, новый тип народившегося человека, подготовленный как бы на смену в недрах самого общества,— примерно так, как изготовляется руками людей оружие, которому суждено убить своих же создателей. Задолго до перемены из самых недр общества глашатаи его — литераторы — начинают как бы подбирать и выковывать черту за чертой потребный для перемены тип человека со свойствами, так сказать, будущего дня мира, чтобы позднее осуществить этот литературный идеал путем подбора уже в самой жизни.

— Наши критики — Белинский, Добролюбов, Чернышевский,— читайте подряд их статьи-с, в любом анализе производят это великое складывание. Читайте, что интересует их. Разберите, в чем новизна и сила мысли их. Куда бьют они? Что приветствуют? Человека, нового нашему строю жизни. Человека неверующего, афея, но вместе глубоких принципов, человека правдивого, но вместе политика, человека мыслящего, но вместе практика... В этом нерв их подхода к литературному произведению, к авторам и к читателю...

— Что ж, это еще Руссо говорил о новом человеке,— сказал Ауновский.

— Нигилисты, по-вашему, новые люди?

— А скажите, мы как-нибудь, ну хоть немного, хоть чем-нибудь приспособлены произвести будущую перемену?

— Добрейшая Анна Александровна, не вам, не вам,

и не вам, Иван Дмитриевич, и не вам, Валерий Иванович, и не вам, Владимир Александрович...— он оглядывал всех по кругу необыкновенно серьезно,— и не мне суждено вертеть колесо истории. Мы люди своего периода времени, дагерротип, так сказать.

— А я? А я? — со всех сторон пристали к Захарову, и он, медля и всматриваясь, словно гадалка какая-нибудь, играючи отвечал им все «нет» да «нет». Промолчал на вопрос Марии Александровны: «Мало, мало имею чести знать вас, барышня», и решительно сказал «нет» на вопрос Ильи Николаевича.

— Но почему?

— Ты верующий — это раз, ты мирный труженик — это два.

— Ну, зарезал,— принужденно ответил физик,— этак мы все недорого стоим с твоими рекомендациями.

— Музыку, музыку, довольно!

Того, кто крикнул «музыку», сразу поддержали все в комнате,— так почему-то грустно сделалось людям от игры Захарова.

Немного утомленная разговором и поздним часом, Мария Александровна встала и подошла к роялино. В комнате было душно. Из столовой донесся запах жаркого, был почти готов обильный, как всегда у Веретенниковых, ужин.

Она перебрала ноты, вытащила тетрадку, раскрыла ее и села перед инструментом. Села не как любительница, а со следами хорошей домашней школы, придвинувши сколько надо сиденье, прикрывши ступней педаль, чтоб не очень громко звучало, и руки на клавиши положила правильно, как учила тетка.

Тихие, мягкие, глубокие звуки бетховенского «Фиделио» бархатно рассыпались по комнате. Илья Николаевич встал, на цыпочках подошел и сел ближе. Тонкий профиль музыкантши освещали, мигая, две свечи. Она закончила прелюдию, вдохнула воздуху, чуть приоткрыла губы и запела приятным низким, словно матовым, голосом, словно про себя думая песней. И это было отличительной, оригинальной чертой ее музицирования.

Поздно за полночь Захаров шел вместе с Ильей Николаевичем восвояси. Они жили внизу в демократической части Пензы.

— Какая приятная девушка — свояченица Веретен-

никова! — сказал Захаров, а потом вдруг вернулся к давешнему их разговору, словно и не было вечера и ни о чем другом разговаривать не хотелось.

— Ужели, друг, ты всерьез убежден в идеальности манифеста? Ведь этот же манифест даже самых последних крепостников привел в замешательство — так безобразно выкроили его бюрократы. Ужели ты не чувствуешь, как сильно разочарован народ, как оскорблены лучшие силы общества этим нелепейшим, даже вредным, я бы сказал, документом грабежа? Дать мужику свободу без земли, на коей он испокон веку работал, как на своей,— это попросту обворовать мужика. И каково же теперь положение наших париев, наших дворовых людей? Уж и козырь дворянству, умильная тема Каткову и разным Аксаковым: дворовые-де ревмя ревут от такой свободы, кидаются господам в ноги, чтоб только остаться при них,— какой изворот, какое мерзостное, безумное лицемерие выдавать это за преданность мужика своим барам! Ну куда, скажи, пойдут эти дворовые? А еще хвастались в «Русском вестнике», что Россия идет своим, особым путем, что у нас нет язвы пролетариата... И ты доволен, счастлив, не замечаешь, что вся Россия докатилась до «Бездны»!

— Не бъюзжи, не бъюзжи,— проворковал физик. Для него это документ высочайшего морального смысла, глубокий, как эти звуки бетховенского романса. Потому что ведь факт остается фактом: ведь клеймо рабства снято с двадцати трех миллионов людей, ведь... Илья Николаевич поднял в темноте ночи добрые карие глаза на Захарова и сказал неожиданно, с большим чувством: Рабство на Руси уничтожено, вот смысл манифеста!

Глава третья

ВОСПОМИНАНИЯ ОДНОГО ДЕТСТВА

В полутемной спальне, при одном ночнике, уже раздетая, Мария Александровна сидела на постели и смертельно хотела спать, а неугомонная сестра, стоя перед ней в папильотках, шепотом, чтоб не разбудить детей, доказывала:

— Он, кажется, из простого звания, но образованностью выше всей здешней публики. Ваня то же говорит. Он такой обаятельный, Машенька. Вот увидишь!

Тихая маленькая фигурка няни в шлепанцах прошелестела по комнате,— это значило: «Пора и честь знать, барыня, детей, не дай бог, перебудите»,— как большому ребенку, она улыбалась своей хозяйке, а гостье, Марии Александровне, словно из двух сестер эта и была старшая, кинула умоляющий выразительный взгляд.

В няне был толк, и она прекрасно разбиралась в людях. Машенька, хоть и младшая, казалась ей куда рассудительней, чем словоохотливая тридцатилетняя Аннушка. Да и годы самой «Марьи Ляксандровны», по няниному деревенскому разумению, тоже были не малые,— годков, почитай, двадцать шесть, на деревне в такие годы бабы свое семейство растят. И няня обращалась за содействием не к хозяйке, а к тихой и спокойной младшей барышне.

Сложное поколение предков работало для создания этих двух женских характеров.

Отец обеих девушек, Александр Дмитриевич Бланк, окончил Петербургскую медико-хирургическую академию, прослужил год с лишним в смоленской глуши и вернулся обратно в Петербург. Здесь он семь лет расширял и углублял свой опыт лекаря «на все руки» в беспокойной должности полицейского врача: спасал «утопавших и угоравших», ездил в далекий Олонец на эпидемию пресекать «болезнь на людях»; произведен был в штаб-лекари и признан акушером. Через семь лет все это надоело ему до крайности. Он подал в отставку, отдыхал больше года, потом поступил ординатором в Мариинскую больницу, состоявшую под покровительством герцога Максимилиана Лейхтенбергского. Женат он был на немке, Анне Ивановне Грошопф, и рано овдовел, оставшись со старшим сыном Дмитрием и пятью девочками — Аннушкой, Любонькой, Катенькой, Машенькой и Софенькой — на руках. Но и Петербург ненадолго удержал его. В начале сороковых годов Александр Дмитриевич подался на горнозаводской Урал. Раннее свое детство Аннушка и Машенька провели в Перми и Златоусте. Златоуст с постоянным дождиком и яркой густой зеленью обступивших его гор, Златоуст с его

рабочими и знаменитой Оружейной фабрикой, со строгой военной обстановкой в госпиталях, где Александр Дмитриевич был медицинским инспектором, хорошо запомнился девочкам. Они росли под чужим присмотром, отца видели не часто, а в летние месяцы доктор Бланк брал длительный отпуск и уезжал в большом заводском рыдване в далекое путешествие — за границу, на Карлсбадские минеральные воды. Дети Бланк хранили привезенные им оттуда окаменевшие в горячих водах куриозы.

В 1847 году доктор Бланк вышел в отставку, купил небольшое именьице под Казанью, приписался к дворянству Казанской губернии и навсегда перебрался в деревню. Там он стал полным хозяином над своей женской армией — пятью дочерьми и свояченицей, Катериной Ивановной Эссен, заменившей им мать.

Как врач Александр Дмитриевич был человек незаурядный и выделялся своими крайними взглядами в медицине. Удалившись в деревню, он писал книгу под необычным названием: «Чем живешь, тем лечись». В то время немецкие врачи только что начинали проповедовать физические методы лечения, развитые позднее модным доктором Платтеном: вода, вода и вода — вот лечебный, воспитательный, цивилизующий фактор, вода внутрь, вода снаружи. Доктор Бланк славился на всю округу своими компрессами и окутываниями. На ночь он обертывал своих девочек в мокрые простыни, чтоб укрепить им нервы. Пища обсуждалась и нормировалась — ничего острого, ничего смешанного. Доктор Бланк любил цитировать за столом знаменитый стих из Фауста:

...Ernähre dich mit ungemischter Speise [1].

Водился он с одним чудаком в отставке — Пономаревым, поселившимся у него в Кокушкине. Оба приятеля, сойдясь, спорили до хрипоты, а когда ссорились, посылали друг другу письма из комнаты в комнату. Пономарев утверждал необходимость животного белка,— без белка нет питания.

— А если так, почему вы не едите собак? Какая разница — собака, свинья, баран? Какая? Какая?

[1] Питайся несмешанной пищей (слова Мефистофеля в «Кухне ведьмы»).

— Что ж, можно есть и собаку, поскольку в ней имеется животный белок.

— Ага! Можно! Василий! Иди поймай на деревне собаку, не чью-нибудь, а так, неизвестную собаку, доставь ее повару, и чтоб он немедленно изжарил ее к столу, с картошкой подай!

Вся дворня сбежалась смотреть, как ухмыляющийся Василий ловил неизвестную собаку. Для повара, словно это было величайшее испытание, ниспосланное богом, наступил суровый час жизни. Засучив рукава и отвратив лицо, он линчевал ножом поплоше, который потом негодующе выбросил, худое и жилистое собачье мясо. Василий подал жареную собаку на стол.

— Ну, как ели господа? — спрашивал потом повар, выбрасывая остатки жаркого на помойку.

— Кушали,— ответил Василий,— ковырнули по кусочку, изжевали, говорят: «Что ж, ничего, на зайца похоже, есть вполне можно»,— а только больше кушать не стали,— отнеси, говорят, на кухню.

Характером Александр Дмитриевич был крутоват и с давней, еще уральской поры любил настоять на своем. Бывало, правда, что и ему отвечали тем же или, как шутливо говаривали про него в златоустинской конторе, «нашла коса на камень». Так, однажды нашелся «камень» среди уральских лекарей — амбициозный поляк Понятовский. Александр Дмитриевич, по своему обычаю, затребовал от него каталог медикаментов, писанный по форме. Понятовский ему отказал. Тогда Александр Дмитриевич, говоря языком казенного документа, «вошел с представлением об уклончивости лекаря Миасского завода господина Понятовского». Но Понятовский позиций своих не сдал. Часов пять сидел он над пыльными томищами свода законов Горного устава и нашел-таки статьи 888 и 904, по которым выяснил равные свои с медицинским инспектором права и ненадобность ему подчиняться. Тогда настала очередь пропотеть и обер-бергмейстеру главной конторы, господину Бояршинову, чтоб уладить конфликт косы и камня. Долго искал он и наконец тоже нашел подходящее в законах постановление, которое и отписал по всем правилам на жалобу Бланка. Машенька помнит, как отец ее, саркастически поджав губы и подняв колючие брови, читал вслух это Соломоново решение:

«Согласно разуму изложенных здесь постановлений, не должны в хорошо устроенных госпиталях существовать раздор и несогласие между начальниками медицинской и хозяйственной части; но, напротив, каждый из них не токмо исполнять со всею точностью порученную ему по части его должность, но в встретившихся случаях помогать друг другу по чести и совести взаимными советами, уклоняться от всякой личности и иметь беспрестанно в виду только пользу службы».

— Пуф-пуф! Честь и совесть! Взаимные советы! — вырывались у него комментарии во время чтения. И долго еще вскипал он и заливался яркой краской, когда напоминали ему о лекаре Понятовском и решении златоустинской главной конторы, испортившем ему его формулярный список.

Беда была ослушаться Александра Дмитриевича и дома. Старшие дочери часто плакали с досады в подушку-от папенькиных экспериментов. Они тянулись на волю. Анна повенчалась с учителем Веретенниковым. Любонька рано вышла замуж за Ардашева, родила девять человек детей, овдовела и, чтоб поднять детей, вышла вторично, за Пономарева, получавшего хорошую пенсию. Софья пошла за Лаврова и как-то оторвалась от семьи.

Но Машеньку отец любил нежно и больше всех. Машенька была его любимица, его Антигона. В Машеньке он усматривал серьезность и правоту своих педагогических идей. Она выросла краше и крепче сестер, отлично усвоила от тетки три языка, терпеть не могла пустой болтовни или безделья.

— Nur nicht vertändeln! — кричала тетка.— Только не балбесничать, не проворонивать время!

Она и шила, и готовила, и вставала в доме раньше всех, и во всем ее облике была та строгая внутренняя культура, которую так любил Александр Дмитриевич.

— *Моя* дочка,— говорил он соседям.

Тетка Екатерина Ивановна ворчливо вставляла:

— Ach, was! Seien Sie ruhig, Машенька ist ein vernünftiges Wesen.— Чего там, будьте покойны! Машенька разумное существо, а ваши художества сбивают мне девушек, Александр!

Еще своеобразнее была родня Бланков по материнской линии — с ее традицией больших, оригинальных

характеров и тонкой петербургской культуры. Легендарный дедушка, отец их рано умершей матери, Анны Ивановны Грошопф, никогда не хворал. Под старость он усвоил твердое правило — каждое первое число каждого месяца выпивать столовую ложку касторки для профилактики — очистки машины, как он говаривал. Он был женат на шведке Анне Карловне Остедт. Двое из их сыновей, дяди девочек, Карл и Густав Грошопфы, вышли в большие люди: Карл вице-директорствовал в департаменте внешней торговли, Густав заведовал таможней в Риге. После смерти деда главой семьи стал Карл Иванович; унаследовал отцовский дом на Васильевском острове, и к нему переселилась старая бездетная сестра бабушки Анны Карловны, Каролина Карловна Остедт — высокая, умнейшая, костлявая старая шведка, с проницательными глазами и скрипучим, наставительным, твердым голосом.

Каролину Карловну уважали в семье. Она смолоду ушла гувернанткой в богатое семейство Топорниных, уфимских помещиков, выходила, вынянчила и образовала там девять человек детей, сама готовила по всем предметам в Пажеский корпус старших сыновей, и никогда никаких учителей, кроме Каролины Карловны, молодые Топорнины не имели.

Аннушка в детстве ходила в гости к дяде Карлу и бабушке Каролине в большой, чинный дом на Васильевском острове. Сами они жили тогда с отцом на Петербургской стороне, но своей квартиры Аннушка не запомнила, а вот у дяди что было, все так и стоит перед глазами — длинные, скользкие, до блеска натертые паркетные полы с отраженными в них ножками лакированных столиков, запертые книжные шкафы с чудными книгами в коже и позолоте, скульптурные торсы в углах на подставках черного дерева и — скрипки, скрипки.

Дядя Карл безумно любил музыку. Скрипки были душой его жизни, об одной из них он говорил как о женщине; ее нежное тельце, пахнувшее пальмовой пылью, он берег и вынимал в редчайших случаях, а играл задумчиво, большой и величавый, и скрипка пела у него глуховатым человеческим голосом. Дети присаживались, уплывала комната, уплывал Петербург, уплывали все мелочи дня, школьные уроки, и, словно в большой лун-

ной полосе, плыл в вечность челнок. Потом они пытались было потрогать скрипку пальцами, но дядя Карл это предвидел: «Oculis, non manibus!»[1] Подняв палец и приложив его сперва к глазу, а после к скрипке, он отрицательно качал головой, и это было как волшебное заклинание. Девочки выучили латинскую фразу, узнали ее смысл, но именно потому, что она латинская, а не русская или немецкая, эта фраза наложила запрет на вещи, и дети не трогали скрипок, а только жадно смотрели на них.

Еще запомнила Аннушка ужасное, крикливое гоготанье двух ссорившихся женщин — ее родной бабушки Анны Карловны с двоюродной бабушкой, или, как дети называли, гранд-тантой, Каролиной Карловной. Разговаривали и ругались они всегда по-шведски и крепко возвышали при этом голоса, похожие на клокотанье в курятнике разгневанных индюшек; Аннушка вообразила с тех пор, что шведский язык — самый негармоничный в мире. И Каролина Карловна, чей авторитет был всегда выше в семье, побеждала более женственную характером родную их бабку.

Подчиняясь прочной семейной традиции, девочки Бланк обязаны были писать Каролине Карловне на пасху и рождество, а тетя Катерина Ивановна всегда переписывалась с ней по-французски. Когда Аннушка выходила за Веретенникова, Каролина Карловна прислала ей мудрое наставление в письме:

«Tache que l'amour, que ton fiancé a pour toi, change en veritable amitié, ne te fais pas illusion de croire, que cet amour puisse durer toujours comme le font beaucoup de jeunes filles par inexperience. Cherche rendre l'interieur de ta maison agréable à ton mari, c'est le grand art d'une femme»[2].

Такова была эта семья, лучшим цветком которой распустилась четвертая дочка, Машенька. Культура быта, крепкое здоровье, имя Анна по женской линии, значение тетки, свояченицы в воспитании сирот, и эти женщины,

[1] «Глазами, а не руками!» — то есть смотри, но не трогай *(лат.)*.

[2] Постарайся, чтобы любовь, которую к тебе питает твой жених, перешла в настоящую дружбу, и не воображай, что эта любовь может длиться вечно, как это думают по неопытности многие девушки. Стремись сделать домашний очаг приятным для мужа, в этом великое женское искусство *(франц.)*.

рожавшие из поколения в поколение по восемь, по десять человек детей, доживавших до глубокой старости,— так оно повелось и по материнской линии, в роду Грошопфов и Остедтов, и по отцовской линии, у Бланков. По наследству передавались навыки к труду и дисциплине, выдержка, воспитанность и глубокая любовь к музыке. Но в Аннушке Бланк эти черты приняли один уклон, а в Машеньке Бланк — другой.

Анна Александровна бунтовала против мокрых простыней отца, назиданий гранд-танты Каролины, однообразной солдатской муштры в Кокушкине; в ней бродил талант, не нашедший выхода. Страстная и истеричная, она казалась моложе душой всех своих детей, когда они подросли. Уже будучи матерью, писала стихи, до слез увлекалась Некрасовым, тяжело переживала его смерть, влюблялась в актеров, в самоубийц, и вокруг нее всегда собирались отвести душу умные, разговорчивые, широкодушные мужчины и женщины шестидесятых годов.

Мария Александровна выросла гораздо более тихой, чем бунтовавшая против отца, но сумасбродная, как отец, Аннушка. Спокойно, просто, с прирожденной грацией, она усвоила отцовский режим, подчинилась порядку и сама завела порядок. Разговаривать не любила, в обществе больше молчала. Ее влекло к книге, к ученью, которого не дал отец. Что учиться не пришлось, это ей тягостно связывало мысль. Но в характере ее была легкая, изящная наблюдательность. Помолчит, помолчит, а вставит словцо — и обернутся на нее с удивлением: так свежо прозвучит словцо.

Ложиться спать в полночь ей, деревенской, было до того тяжко и невмоготу, что даже воспитанность и терпение не могли сдержать досады в ее голосе, когда она в ответ на болтливость сестры и взгляд няни почти крикнула:

— Спать же ведь пора, Аннушка!

Засыпая, Мария Александровна не думала ни о происхождении старшего учителя физики, ни о разговорах за столом. Она крепко, по-деревенски, натянула одеяло на плечи и, выбросив поверх него густую косу и левую руку, как учил отец, а правую ладонь сунув под подушку, тотчас же заснула здоровым, молодым сном, по всем правилам гигиены — на правом боку.

Глава четвертая

ВОСПОМИНАНИЯ ДРУГОГО ДЕТСТВА

Совсем иные силы, иная обстановка трудились над созданием характера старшего учителя физики. Он стоит сейчас спиной к теплой печке при слабом свечном огарке, оплывшем чуть не до подсвечника, не раскрыв постели и не раздевшись; глаза застоялись на красном пятне света, и спать не тянет,— в характере Ильи Николаевича есть припадки такой задумчивости, инерции, вдруг пригвождающей его к одной позе, к одному движению, к хождению по комнате, к стоянию, заложив руки за спину.

Он живет в угловой комнате у своего коллеги Захарова, рядом жил раньше воспитанник Ишутин, а сейчас квартирует другой. Жена Захарова столует своих жильцов, утром вносится к ним на подносе пузатый медный тульский самовар с чистенькой салфеточкой под его крышкой, где варятся в кипящей воде два-три яйца. В комнате железная кровать, круглый ломберный стол, и на нем несколько книг.

Он сохранил кой-какие студенческие привычки, хотя вот уже шесть лет как перестал быть студентом: переписывает любимые стихи в тетрадь; читая, делает птички на полях и отмеченное перечитывает вторично, словно к экзамену; не заводит в быту баловства, как иные его товарищи, мечтающие о собственном выезде; по недосугу не ищет даже отдельной квартиры.

Сегодня Илья Николаевич задумался как-то сразу обо всем вместе, о прошлом, о будущем. Сколько деятельности, сколько возможностей, если сравнить, откуда он вырос, вышел! Призакрыв лоб рукой — жест почти непроизвольный, сохранившийся с детства,— он увидел в воображении своем Астрахань.

Вдалеке, на горе, каменная стена кремля, золото куполов, город; внизу, на Косе, запах рыбы, пестрая бахрома качающихся парусов у берега, тени верблюдов, несущих в цейхгаузы тюки и тюки, говор греческих моряков; он запомнил только слово «таллята-таллята» (море), общее в ново- и древнегреческом. Веселые армяне с подносами халвы и коротким прислозьем «джан» — «Гарегин-джан», «Арташес-джан»,— словно бубенцом на

верблюжьих веревках; и полные, женственные персы с ярко-красной от хны шевелюрой под высокими шапками; и дорогой продукт у мальчишек — вода, простая питьевая вода в длинных глиняных кувшинах на голове... Звон, лязг якорной цепи, солнце, жаркая пыль, нескончаемое движение баркасов и лодок к далекому, невидимому за устьем рейду, где, осыпаясь из труб искрами, пришвартовываются пароходы из Решта и Энзели,— мальчишеское раздолье, но не очень-то, впрочем, раздолье!

Он вспомнил низенький дом в полтора этажа, купленный в рассрочку у флотского матроса Липаева, невыразимого пьяницы. Отец сухими, старыми пальцами, исколотыми иглой,— он портняжил,— считает в ладонь из кошеля серебряные рубли и прячет под образа очередную расписку. Отец был стар, беден и выбился из нищеты, кажется, только к шестидесяти годам, тогда же и жену взял. Отца Илья Николаевич сильно боялся в детстве и почти не помнит, мать он любит нежно и жалостливо, и сестру Федосью, и сестру Машу, и Васю — если б не Вася, быть бы ему астраханским приказчиком в конторе у господ Сапожниковых!

Он сказал Захарову о «рабстве на Руси». Бог знает как понял его Захаров — может быть, он подумал о павшем на Руси крепостном праве, и только. Но старший учитель физики думал в ту минуту не об одном крепостном праве. Он мог бы порассказать Захарову о проданных в рабство купцам маленьких калмыцких девочках,— проданных от крайней нужды и нищеты их родными отцами и матерями, свежее, совсем свежее предание, а уже с трудом и верится. Когда это? За пятнадцать лет до его рождения, сорок пять годов назад,— давно, очень давно, а ведь остается что-то вроде белого шрама давнишней, давнишней раны.

В том, как их семья медленно восходила в его лице из тьмы к свету, была одна отличительная особенность: мать его, Смирнова, вышла из уважаемого в астраханском мещанстве крещеного калмыцкого рода. Священник Ливанов, именитый астраханский иерей, был покровителем их семьи. Он поспособствовал брату Васе — бедному брату Васе, с его честными, истовыми мужицкими глазами, с его крестьянским скуластым лицом, затянутому в модный сюртучишко над полосатым жи-

летом, — за руку ввести меньшого брата в гимназию, где учились дети чиновников, дворян и купцов.

Почти каждый из его сверстников гордился своим родом, мог насчитать прадедов и прабабок. А он знал по-настоящему только отца, и отец казался ему первым в роду. Ведь недаром и фамилия их еще не стала устойчивой — отец был записан в книге мастеров как Ульянинов, в отцовской метрике стояло Ульянин, сам же отец расписывался Ульянов.

Илья Николаевич помнит, как он топал босиком снизу, с Косы, в гору каждое утро, загодя до уроков, из экономии неся башмаки в сумке, как он вечерами в кухне учил и учил уроки, как медленно раскрывался перед ним мир понятий и образов, отдалявший его и возвышавший его над этой кухней, по астраханскому обычаю увешанной под потолком красными стручками перца, причудливыми фигурками полосатых тыкв, ожерельями лука. Василий, ставший ему вместо отца, смолоду потянул лямку соляного объездчика, тянет и по сегодня, и не женился, не учился, а ведь мог бы Василий, ведь он способный!

И все же, если оглянуться на прошлое, само время помогло ему тогда учиться. Стоило только вспомнить весь этот приказный мир, бумаги и «определенья», выписки и «сказки», оторванные от языка современности, туманные, тяжелые, как утюги... Государство нуждалось в грамотеях. Время думских дьяков, в приказах поседелых, оставило страшный приказный словарь. К нему прибавились новые словечки, и все смешалось — магистрат с казенной палатой, секретарь с повытчиком, канцелярская тарабарщина сделалась непонятной даже тому, кто писал ее, — и время потребовало смести эту тарабарщину, смести ратманов и повытчиков, поставить взамен грамотных письмоводителей, счетоводов, экономов, управляющих, учителей. А как туго и высокомерно учились в гимназии дети дворян, как вяло обучались его сверстники! Ильюша вспомнил учителя Степанова, мучительно вдалбливавшего теоремы в ленивых его одноклассников. Учебный округ вдруг начал тянуть школу, поощрять хороших учеников, объявлять благодарность учителям за успешный выпуск. Учебный округ ослабил рогатки, не дававшие доступа в школу поповичам и мещанам, детям вчерашних крепостных. Ему самому

дважды давали денежную награду, классное сочинение его отправили в округ с похвальным отзывом директора. Да, само время помогало им, разночинцам.

Ничтожнейший срок — десять лет — прошел с того вечера, как сестра Маша с мужем, стриженным в скобку среднего достатка купцом Горшковым, дедушка Смирнов, головастый мещанский староста, на которого Илья Николаевич, кстати, больше всех и лицом вышел, и почетный гость, отец Николай Ливанов пришли поздравить его, кончившего гимназию. Сестра Феня, повязанная платком, внесла ароматный калмыцкий чай в чугунке, — с тех пор Илья Николаевич нигде не пил этого чаю, а он, признаться, любил его, и кусочки масла в нем, и соленый вкус, смешанный с запахом травянистого настоя, и горку сухарей перед пьющими. В этот вечер его спросили, как думает дальше, а Илья Николаевич ответил, прокашляв горло: «В Казань, в университет». Горшковы и Смирновы ахнули. А брат поддержал. И опять трудное восхождение, и все дальше черта между ними, как меж бортом отплывающего парохода и пристанью. Из их гимназии только двое и поступили в университет.

Теперь наплыла во всем ее великолепии Казань, многоязычная Казань с чугунными плитами университетской аллеи, где каждая плита под ногой строго приветствует студентов, напоминая о годах прошедших, Казань математиков и физиков, овеянная славой ученых, о которых легенды сказывались,— астронома Литтрова, видного математика Бартельса, таинственного масона Броннера... Как живой возник перед ним образ не по годам одряхлевшего, полуслепого Лобачевского, каким довелось увидеть Николая Ивановича перед самой его смертью: судорожно выпрямив спину, глядя прямо перед собой потухшими, но все еще прекрасными серыми глазами, идет он, нетвердо ступая и опираясь на руку нетерпеливой, еще молодой супруги, словно умирающий лев в лесу, ждущий со всех сторон укусов, издевки, унижения. И знающим его так живо передается, так сердцем чувствуется страстное, закипающее в нем, бессильное его раздражение.

Старший физик чтил покойного Лобачевского и был ему многим обязан. Это ведь Лобачевский устроил его, совсем молодого студента, к Александру Григорьевичу

Савельеву — помогать в разъездах, в проверке метеорологических станций, в работах по метеорологии. И какой свежей, интересной оказалась его работа... Да нет, разве он один обязан Лобачевскому? Физик вспомнил рассказы товарищей о популярном ныне профессоре Осипе Антоновиче Больцани, — что было бы с этим Больцани, если б не Лобачевский? Мальчишка-приказчик у Дациаро, развозивший по русской земле эстампы, альбомы да картины на продажу и рекламы своей торговой фирмы, — вот была будущность. Но зоркий взгляд профессора Попова подметил, как этот приказчик лучше всякого студиозуса штудирует механику Пуассона. Казанские знакомые рассказывали старшему физику, что Больцани в молодости говаривал, будто бы корень их рода, Больцани, из итальянского города Боцена, имел прирожденный дар к математике, и не он один, а и старшая ветвь того же Больцани, женившегося на чешке в Богемии, отличилась в науке... Но хорош был бы дар, не будь Лобачевского,— ведь это Николай Иванович выпестовал, выучил, вытянул его на широкую дорогу.

От Больцани мысли старшего физика перенеслись к метеорологической станции. В каком безобразном положении была эта станция, когда он приехал в Пензу! Сифонный барометр с термометром старый-престарый, термометр и нониус безбожно врали; термометр Цельсиуса — и надо сидеть и переводить цифры на Реомюр; для наблюдения над количеством осадков один-единственный дождемер. Все это теперь в исправности, в действии,— спасибо мастерской Больцани! Но был, значит, Лобачевский хорошего мнения о нем, Илье Николаевиче, если именно ему, персонально ему, отклонив других кандидатов, предложил это интересное дело вести метеорологические наблюдения в институте!

Илья Николаевич не подумал при этом, что кандидатов было вовсе уж не так много, что вести кропотливое измерение изо дня в день, из года в год, да еще бесплатно, охотников мало, или, вернее, как грубо выразился его коллега-математик, «дураков нет». Илья Николаевич с любовью принял и вел свою станцию, а сейчас он вспомнил тепло и ярко — на столе тепло и ярко вспыхнул умирающий огарок, — что завтра войдет в де-

вять часов утра, когда еще пасмурно, во двор института и взглянет, как всегда, направо, где его станция, а в окне инспекторской квартиры при лампе увидит, может быть, уже не один только невыспавшийся, желчный немного облик Анны Александровны...

И так начнется у него день.

Глава пятая

ЛИЦО ПОКОЛЕНИЯ

Учитель Захаров был словесник. Он и Ульянов считались лучшими преподавателями в институте, но учили по-разному и предмет любили по-разному, да и сами были несхожи.

Физик забирал учеников исподволь. Вначале он казался классу потешным, вбегал перепелочкой, мелко семеня, отирал платком начинающую лысеть макушку, забавно картавил — ни «р», ни «л» у него никуда не годились, — и разыграть его классу ничего не стоило. Но удивительное дело: класс его не разыграл, — так много в этом первом появлении учителя раскрылось неожиданной для молодежи редчайшей деликатности.

Воспитанники института привыкли и к порке, и к карцеру, и к язвительным, враждебным действиям со стороны учителя, когда обе стороны находятся «в состоянии войны», а находились они в этом состоянии часто. Воспитанники грубели в самозащите, чтобы, не моргнув, вынести способ, какой они называли между собой «битьем по самолюбию», а между тем очень часто ими же выведенный из терпенья учитель хватался за этот способ с отчаяния, как за последнее средство. Два лагеря залегали друг против друга в классе, как хищники. На последних партах громко жевали, переплевывали друг другу, виртуозно рассчитав пространство, резиновые шарики, читали книги, почесывали голову, иной раз больше от озорства, нежели по надобности. Задние парты нарочно бесили своим неряшеством, расстегнутыми мундирами, засаленными воротниками, перхотью, длинными, неприглаженными волосами. Учитель, клокоча внутренне от ненависти, окапывался в словах и жестах,

к которым по виду нельзя придраться, но жалил и жалил, как овод, вонзаясь в самые чувствительные места, в слабости и привычки, симпатии и антипатии, во все, что подглядывал и примечал за противником.

Таких «занозил» воспитанники ненавидели больше, чем открыто шедших на них врагов, вооруженных розгами и карцером. Но и розги, и карцер, и «битье по самолюбию» год от году усиливались в институте, невыносимо озлобляя обе стороны, — главным образом потому, что сгущалась общая атмосфера.

А общая атмосфера для института значила очень многое. Содержался он на средства дворян, облагавших для этого своих крепостных особой подушной податью, — но вот уже полгода как вышел наконец манифест, и «крепостные души» оказались свободными, хотя, правда, временнообязанными, то есть в течение двух лет все еще прикованными в прежних своих обязанностях к помещику, — но попробуй-ка возьми с них сейчас лишнюю подушную подать!

Дворяне кричали о разорении, и никто копейки платить не желал, хотя предводитель, разводя руками, и говаривал свое отеческое: «Господа, господа...»

Учителя по месяцам не получали жалованья. Было ясно, что дальше так некуда и что заведение должно быть закрыто и преобразовано. Старшие классы даже не знали, тут ли, в Пензе, они будут кончать. И в этой разрухе удержать класс, вести как ни в чем не бывало преподавание, заставить забыть все вокруг и слушать урок было огромное, трудное искусство. Физику Илье Николаевичу оно удавалось не только потому, что он любил свой предмет и увлекался, когда говорил о нем. Не только потому, что говорил он очень просто, понятно, втолковывая самому туголобому так, что выскакивали доброохотцы из-за парт и начинали тотчас подсоблять учителю, словно давно знают вопрос, а не только что, с голоса учителя, подхватили и поняли его. А удавалось оно физику из-за редчайшей его деликатности к человеку.

Деликатность и такт — свойства трудные и более редкие, чем талант. Их нельзя представить или разыграть, не сорвавшись. Их нужно иметь, и тогда они скажутся сами собой в тысяче пустяков, в том молчаливом, невидимом на поверхности, странном внутреннем сго-

воре, в каком обиженная или огрубелая, дикая или порочная, но не совсем пропащая душа человечья, вдруг как бы выйдя из защитной своей скорлупы, из военной маскировки, из полумертвой спячки, словно на тайную, ей одной слышимую мелодию, безоружно, в полном доверии, приближается к другой душе, — а та и поет-то свою мелодию без всякого умысла, просто потому, что ей свойственно петь ее.

Илье Николаевичу было свойственно почти физически чувствовать чужое бытие — характер, натуру, настроение ученика, — чувствовать с подлинным внутренним равенством — главным условием деликатности. Обидеть, заподозрить, хотя чем-нибудь уязвить человека, нанести удар по самолюбию было для всей его собственной натуры так же отвратно, как съесть кусок железа, и в классе тотчас почувствовали, что в каждом из них он видит и уважает равного себе человека. К тому же он весь светился добрыми своими карими глазами, когда вскидывал их на отвечающего,— и ученики просто влюблялись в этот мягкий взгляд, стерегли физика по коридорам, чтобы гурьбой пойти с ним, взять его с двух сторон под руки или даже, осмелев, обнять за талию, повиснуть на нем.

Словесник Захаров держал класс совсем по-другому. Рассеянный и близорукий, он не был чуток к воспитанникам совершенно, так как и себя не щадил,— наоборот, весь класс сливался перед ним, когда он рассказывал, в одно единое лицо. В манере жить и действовать у Захарова была какая-то романтическая стремительность, вызванная именно тем, что всегда и всюду видел он перед собой это единственное лицо.

Чье оно было? Захаров не мог бы сказать, какие у него глаза, нос и рот, но это было лицо поколения, желаемый икс, то, что слушает, понимает, кивает, то, что, может быть, иные назвали бы «двойником», думая, что Захаров противопоставлял себе не кого другого, как себя же. Но двойник этот обладал для Захарова той важной особенностью, что он всегда рос и увеличивался в удельном весе. В него и ему бросал Захаров пригоршнями и свое знанье и все страстное свое увлечение литературой.

Когда в первый раз, боком открыв дверь, неуклюжий, в скрипучих дешевых ботинках, по-добролюбовски воло-

сатый, — волосы росли у него под ушами и на шее, и по тогдашней моде он их сбривал только вокруг рта,— Захаров вошел в класс и держал свою первую речь, он успеха у класса не имел, и его причислили даже к разряду «допекающих». Резким контрастом с физиком было то, что этот мохнач со словоерсами не дал себе ни малейшего труда увидеть их или хоть разобраться в списке фамилий, лежавшем на кафедре. До последнего дня пребывания в институте он путал фамилии, называл Мосолова Мусатовым, Сергея — Георгием, и это свойство обидело и оттолкнуло от него чуть ли не всех. На первом уроке он избрал для знакомства с ними старую грамматику Ломоносова.

Только двое-трое слушали Захарова с удивлением. Мохнач повел речь о силе слова. О великом счастье мыслить на языке русском. Этот язык — оружие, какого еще не было в мире, язык будущих деяний истории, язык встречи для всего человечества.

Открыв принесенный с собой старый фолиант, обтянутый стершейся на углах кожей, тисненной тоже порядком истертым золотом, он прочел из него голосом грубым, немного сиплым, но рвущимся от волнения, как птица в полете от коршуна, торопясь и сбиваясь, следующие слова:

«Карл Пятый, римский император, говаривал, что ишпанским языком с богом, французским с друзьями, немецким с неприятелями, италианским с женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно. Ибо нашел бы в нем великолепие ишпанского, живость французского, крепость немецкого, нежность италианского и, сверх того, богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка... Сильное красноречие Цицероново, великолепная Вергилиева важность, Овидиево приятное витийство не теряют своего достоинства на российском языке...»

— Каков Ломоносов! Да-с, так другой в наше время не скажет-с! Какова мысль!

Захаров не сразу и вспомнил, что перед ним класс. Когда кончился урок, он выбежал разгоряченный, в восторге, нимало не подозревая, что разгорячение и восторг шли только с его, с захаровской, стороны в классе.

Но уже на втором уроке сила его дала себя знать. С языка русского он перешел на «славное воинство, этим оружием подвизающееся», — на писателей, носителей света, от архангельского мужика — рыбаря Ломоносова, никогда не гнувшего спины и умевшего любого вельможу отбрить, до презоркого немца фон Визина, не зря обрусевшего, — перекидываясь от книги к книге, от имени к имени, как бы начерчивая программу занятий в классе на целый год, Захаров сумел вдруг зажечь класс тем внутренним чувством к писателю, какое жило, живет и будет жить в каждом поколении людей, пока есть книга и есть читатели книг.

Началось со спора, возгоревшегося вокруг барона Брамбеуса. Разгуливая по классу и жестикулируя, Захаров нежданно-негаданно увидел, что Странден, — он долго не мог запомнить его фамилии, — читает под партой толстенький томик «Фантастических путешествий». На смешных местах Странден поеживался, как от щекотки. Странден был умница и сам насмешник, и не дай бог в его присутствии задеть Брамбеуса. Но Захаров вытащил книгу, поглядел и швырнул на кафедру, преувеличив, по правде сказать, свое неуважение к «барону», может быть потому, что только на днях спорил со своим квартирантом Ульяновым, который тоже читал Брамбеуса. Много лет спустя и Странден и другие ученики Захарова, одни в ссылке, другие в чине сенатора, будут вспоминать эту первую захаровскую «филиппику», как они обозвали ее.

— Не советую, не советую-с! Чем он плох, ты спрашиваешь? А я тебе скажу, чем он плох. Сенковскому было отпущено. Сенковский имел талант. Имел щедро, обучен был дюжине языков. Редко кто обладает таким даром постигнуть язык, как Сенковский. И что же, скажи пожалуйста, создал на свете твой Сенковский с этим великим даром, с легкой способностью к выражению? Он запустил руку в ящик с сокровищем и вынул оттуда сушеную муху. Не протестуй. Книги пишут не с тем, чтобы развлечь на полчаса. Язык дан не с тем, чтоб балакать с соседом. Книга должна быть так писана, чтоб идти впереди, всегда впереди, расти, всегда расти. Ты что именно читал — «Путешествие сентиментальное», где человек сквозь Этну в нутро земли к антиподам провалился? Так, так. А теперь возьми сочинение

Ионатана Свифта «Гулливер». Тоже сказка. Но литератор воспользовался богатым положением своего сюжета, чтоб дать затаенные свои думы, вывернуть душу свою навстречу истине, он осмеял в карликах, раскрыл в великанах пошлость, глупость и низость человеческие, он разил, его книга имела прицел, она сдвинула гору, она таранила, кричала, стреляла, билась флагом на фронте истории, а твой Брамбеус потешился своим сюжетом, отпустил две-три безобидные шутки, надорвал животики — и все. На что ему была богатая тема! Стыд. Жалость. Бессмертие — помни это, помните все — получает не книга, есть тысячи очень талантливых книг, канувших в Лету,— бессмертие получает писатель, создавший книгу, то есть *человек*, отложивший в книге свою *человечность!* Маленький человек с малыми пожеланиями при всем таланте может остаться только Брамбеусом и ничем больше!

Удивительно было для всех в классе, что Странден не обиделся на Захарова. Напротив: умница Странден именно с этого дня и стал как бы срастаться с тем символическим лицом поколения, какое видел перед собой Захаров в своих странствованиях по классу,— он то и дело вмешивался в его филиппики вопросами и замечаниями, подогревая учителя на большее и большее. Ходил к нему на дом с просьбами «указать книжку».

И однажды в классе появился и побежал по рукам трепаный старый номер «Современника». Он был засален, его углы стали так хрупко прозрачны, что светились насквозь. Переплет был бережно обернут чистой серой бумагой. Страстная жажда узнать всю «правду» и вера еще до встречи, до знания в то, что пришло настоящее, пришел человек, который их всех невозвратно захватит и покорит, — прямо лихорадка какая-то овладела воспитанниками, когда они увидели подпись, уже смутно и тревожно знакомую: *Н. Чернышевский.* Это был первый номер за пятьдесят восьмой год со статьей Чернышевского «Кавеньяк».

Тотчас образовался кружок, засевший читать эту статью. Жили воспитанники в пансионе, читать надо было очень осторожно. Вначале как-то не понравилось — сухо, напыщенно. И, однако, никто не признался себе, что не понравилось, — до того им хотелось, чтоб нравилось.

Помнит ли кто из нас, людей совсем иного времени и поколения, первую решающую встречу с книгой, которой суждено стать вашим вторым рождением в мире? Неясный большой ком идет к горлу и спирает дыхание. Вы не видите частностей. Не соображаете своих прошлых привычек и мыслей, может быть совсем не похожих на то, что сейчас. Вы не критикуете — наоборот, у вас потребность тотчас же, высоким, еще ломающимся, безусым голосом, с невероятной верой, невероятным апломбом говорить, говорить, говорить не слушая, презирая всякое возражение,— говорить о том, что в один миг стало для вас непреложной истиной. И это самый естественный, самый чистый миг в человеческой жизни, подобный тому, как с треском лопается сухая чешуйка, отдавая созревшие семена,— миг вашей гражданской зрелости.

В обширном наследстве Чернышевского нет другой такой статьи для того, чтоб сразу покорить и взять человека, нежели эта работа о вожде умеренных республиканцев, возвышенном чистоплюе, расстрелявшем в Париже сорок тысяч безоружных рабочих. В «Кавеньяке» русский читатель был ошеломлен и прикован абсолютнейшей точностью мысли. Смотри, вот правда, — голову прямо, не вертись, не дергайся, вот она — раз, раз, раз, раз. С невероятной и беспощадной логикой ум Чернышевского, в неудержимом потоке анализа, очень простого по форме и такого легкого на вид, что каждому кажется, будто это он сам давно знает, дал в этой статье сражение всякой неясности, лжи и романтике, всякой недодуманности, выдаваемой за глубину, к каким привыкли мы в жизни и в чтении.

— Д-да! — кряхтели воспитанники, сталкиваясь головами над страницей. Учитель истории у них был устрица. Нечего говорить, что никто из них ничего не слышал об июньском восстании парижских рабочих в 1848 году, но знание приходит в горячие головы с быстротой телеграфного толчка, дай только шифр. Они уже превосходно во всем разбирались: и в том, как умеренные республиканцы победили монархистов при помощи работников (Чернышевский называл в статье парижских пролетариев работниками), и в том, как эти республиканцы ничем не помогли работникам в благодарность за их помощь, какие бессмысленные, издевательские были открыты ими «национальные мастерские», где пла-

тили деньги за видимость труда, как постепенно перетянулись в эти мастерские все рабочие Парижа, а «умеренные республиканцы» так же глупо, как открыли, сразу же и закрыли их, оставивши сотню тысяч людей без хлеба. Вся трагикомедия «умеренных» у власти, их бессилие, неумение управлять, их пустой и жалкий теоретизм, смешное благородство, переходящее в тупую жестокость, их провокация с рабочими, лишенная здравого смысла, вызвавшая революцию,— и потом расстрел, расстрел из пушек регулярной армии десятков тысяч голодных, оборванных, обманутых, сбитых с толку пролетариев, чьими руками они поднялись к власти; короткая, блестящая страница истории; урок, рассказанный Чернышевским удивительно просто и ясно, так потряс их, как будто они заглянули в тайну мироздания.

— Это сама истина,— сказал Странден.

Статья обрывалась на половине, и вот уже с месяц, как Захаров обещал им принести номер, где помещено продолжение, и не приносил. Несколько человек в классе рассуждали и спорили об «умеренных» и «работниках», словно заправские политики. Никого из читавших статью не оказалось на стороне «умеренных», хотя Чернышевский и соблюдал как будто в статье ученое беспристрастие. Но что же дальше, чем кончилось, когда же книга?

А Захаров вошел в этот день в класс темнее ночи. Ученики сразу увидели, что расстройство его адресовано не к ним. Он сел рассеянно, потом встал, упрятал руку в шевелюру, зашагал взад и вперед, нехотя, путая фамилии, вызывая, и, хотя вызванные плели что в голову придет, Захаров явно не слушал их.

За три дня до институтского акта, 20 ноября, Петербург хоронил юношу Добролюбова, умершего от чахотки. Народу на похоронах было мало, но тотчас прошел слух, докатился он и до Пензы, что Чернышевский выступил на похоронах с очень смелой речью. Про Чернышевского все знали, какой это умница и тонкий политик, как бережется он,— комар носа не подточит! — а тут вдруг такая неосторожность. Вчера приехала к Захарову из Петербурга сестра, передовая девушка, одна из тех первых девушек русских, что гостями начали ходить в университеты слушать лекции вместе со студентами — смелое дело, сперва начальством не возбранявшееся.

Она-то и рассказала подробности. Захаров был полон всем этим. Он знал и другое, — как не узнать в Пензе? Любая секретная бумага колесом катится по пензенской улице. Губернатор — все губернаторы русские, — получил предписание не выдавать литератору Чернышевскому заграничного паспорта, буде ему вздумается исходатайствовать таковой через пензенскую власть. Вот, значит, до чего дошло дело. И он представил себе, как Чернышевский, потрясенный утратою Добролюбова, стоял под холодным ноябрьским ветром на могиле, задетый, обиженный малолюдством толпы, и, забыв всю свою тактику конспирации, листал озябшими пальцами осиротелый дневничок покойного: «Мы потеряли в лице Добролюбова блестящий огромный талант. Пусть же знают, кто ускорил его кончину, кто помог смерти угасить этот дух...» И читал коротко, громко, сухо: «Сегодня вызывали к цензору... Правил статью... опять исчеркали... ездил, убеждая до хрипоты... получил выговор... изъято почти пол-листа... Опять у цензора...» В этих метаниях больного чахоткой, защищавшего каждое свое слово от удушения, так и чувствовались припадки кашля, роковое потенье в передних, крик до хрипоты, до сплева крови в платок, борьба одного против могучего левиафана государства, против тупого самодержавного строя. Это было ужасно, должно быть, — речь на могиле, и так мало народу, чтобы услышать ее! Захаров растерянно в ответ себе помотал головой и уж собрался в учительскую, как кто-то остановил его в дверях. Ученик, заикаясь немного,— Захаров выглядел сегодня таким сердитым,— напомнил про обещанное. Уж очень хочется дочитать статью! Узнать, как провалились умеренные...

Лицо поколения, дорогое расплывчатое лицо, становилось реальностью, оживало, принимало черты.

— Друзья, друзья! — начал Захаров, воротясь в класс и присев на парту. — Закройте дверь. Крепко. Так. И слушайте меня. Автор «Кавеньяка» Николай Гаврилович Чернышевский, лучший человек нашего времени, схоронил своего друга и помощника, молодого критика Добролюбова. Не могу не сказать вам, как велика наша потеря. Но прибавлю: низко, очень низко, возмутительно низко вели себя весь год писатели дворянского сословия, недостойно светлой памяти декабристов, не-

достойно своих собратьев по классу — Пушкина, Лермонтова.

Среди дворянчиков, собравшихся вокруг Захарова, как ветер, прошло движение. Бледноухий и тонкий, с пробором в реденьких, золотушных волосах племянник губернатора презрительно оттопырил губы. Он тоже знал от матери про бумагу и получил строгий наказ: поменьше болтать лишнего в классе. Слова Захарова чем-то не нравились глуповатому юноше. А Захаров сжато и энергично, поглядывая то на часы, то в глаза, окружавшие его,— серые, карие, черные, голубые, внимательные, настороженные, бездонные глаза молодости, впитывающей все, как губка,— рассказал про то, как весь год докучали Некрасову, издателю «Современника», и знаменитый писатель Тургенев, и молодой офицер Лев Толстой, и критик Дружинин, стараясь выставить Чернышевского из «Современника». Григорович не постеснялся написать на него низкий пасквиль, Лев Толстой задумал, как говорят, целую пьесу, что-то вроде «Зараженного семейства», где издевательски вывести хочет Чернышевского. Тургенев в обществе назвал его клоповоняющим.

— Господа, наше дворянство любит говорить о дворянской чести. Где она сейчас, эта честь? Понимаете вы людей, вдруг где-нибудь за столом, в гостиной распоясывающихся среди своих и выдающих самое свое главное, нутро свое, что они — баре, барами родились, барами и быть хотят, а другие люди для них, в сущности, проходимцы, которым они виду не показывают, что считают их ниже себя. Ну, а тут задело за шкуру и прорвалось, и вместо того чтобы спорить по сути, о взглядах, о том спорить, что кому дорого, что каждый считает лучшим для нашего отечества, они вдруг выдали себя криками: семинарист, попович, мещанин, прихожей пахнет, клопами воняет, вон из-за стола! Вот где косточка заговорила. Вот где аргумента недостало! Господа молодые дворяне, вы вырастете, вы — новое поколение, слушайте меня. Среди вас могут найтись настоящие люди — стойте горой за таких представителей человечности, как Чернышевский!

Уже он ушел, и швейцар не торопясь развернул перед ним шубу, а в классе жестоко дрались. Странден дал в зубы губернаторскому племяннику за то, что тот бессмысленно выкрикнул:

— За политику и того-с! Не маленькие! Я вот скажу дяде...

— Ах ты, Кавеньяк, сволочь! Дубина! Доносчик!

— Потише вы все-таки, он не имел права в дворянском институте, да еще в классе...

И воспитанники тут же надавали друг другу жарких затрещин, перешедших в бой.

Глава шестая

ПРИЗНАНИЕ

Дело это для Захарова так не прошло. Донес или не донес губернаторский племянник, но губернатор узнал, директору было сделано внушение, и Захарова освободили от должности. Терять ему, впрочем, и нечего было,— ходил упорный слух, что институт вот-вот закроют.

Захаров тепло простился с воспитанниками, успевшими стать ближе к нему. Дано было обещание писать, спрошены адреса, старательно записаны названия книг, рекомендованных Захаровым для прочтения, и совет, где их можно достать. Года полтора перебивался он в Пензе уроками, а потом нежданно-негаданно укатил искать места в Нижний. Квартирант его, физик, не прощался с ним надолго. Он тоже делал первые шаги, чтоб выбраться из чертова болота, Пензы, в более приличное место.

Смерть Добролюбова потрясла Илью Николаевича не меньше Захарова, — подумать только, всего двадцать пять лет, на целых пять лет моложе его самого, и сгорел человек, но сгорел, успев многое сделать. Старший физик читал в «Современнике» умнейшие статьи Добролюбова, дивясь его знаниям и логике, — особенно те, что интересовали его преимущественно: рецензии на книги по физике, — о магните и магнетизме, о близкой его сердцу науке метеорологии, о внутренней жизни земного шара, гипотезы о которой сильно занимали вулканистов и других ученых-геологов... Но особенно любил он прочитанную им в 1858 году рецензию в десятом номере «Современника» и даже поспорил о ней с Захаровым. Тому нравилось у Добролюбова совсем другое. А Илья Нико-

лаевич повторял с удовольствием, своими словами: «Две тенденции в обществе — к дармоедству и к труду».

Он даже переписал в свою заветную тетрадку: «В глазах истинно образованного человека нет аристократов и демократов, нет бояр и смердов, браминов и парий, а есть только *люди трудящиеся и дармоеды.* Уничтожение дармоедов и возвеличение труда — вот постоянная тенденция истории... Нигде дармоедство не исчезло, но оно постепенно везде уменьшается с развитием образованности».

— Учить, учить надо, идти с букварем к народу, — жарко настаивал старший физик, споря с Захаровым.— У Добролюбова то и хорошо, что он просветитель народа... А как у него сказано об инородцах! — Это был особый для старшего физика предмет, задевавший его за самое сердце... — «Настоящий патриотизм... не уживается с неприязнью к отдельным народностям!»

Захаров нетерпеливо отмахивался от спора: все это одни лишь частности, частности. Все это лишь частные детали борьбы, их много, они замечательны, каждый взмах пера остер, смотрите, как высек Добролюбов казанского ретроградa профессора Берви, против которого бушевали студенты-казанцы. Но не в этом, не в частностях у Добролюбова главное!

И вот теперь Захаров освобожден от должности, словно в подтверждение своих слов о частностях. У Ильи Николаевича сжималось почему-то сердце, словно от чувства вины перед ним, перед собой — чувства вины «без вины виноватого».

Но Илья Николаевич был человек ежедневной упорной, добросовестнейшей работы. Такая работа, хочешь не хочешь, разгоняет мысли, облегчает сердце. По метеорологии, которою Захаров совсем не интересовался, да кстати же и всей Пензенской губернией тоже, накопилось множество цифр, груда цифр. Из них надо было сделать выводы, продумав эти цифры до тонкости, а время не ждет. Стоило институту из-за неисправности механизмов запоздать с отсылкой таблиц, как уже господин Морозов, президент Общества сельского хозяйства Юго-Восточной России, торопя, обратился с письмом: «Эти выписки служат полезным руководством для изучения климата и вместе с наблюдениями, производимыми по распоряжению Общества в разных местах Пензенской

и Саратовской губерний, составляют любопытный и поучительный запас сведений». Его отчеты были *полезными* для отечества, для научного подхода к земледелию, — разве это не шаг вперед к уменьшению «дармоедства» при помощи образования?

Ко всем этим скрытым внутренним утешениям прибавлялось еще одно. Не смея вполне признаться себе, физик был счастлив.

Каждый вечер у Веретенниковых собирались, как сердито шутил инспектор, «соискатели»: все холостые преподаватели ухаживали за Машенькой Бланк. Оттанцуют, отмузицируют и даже отужинают, а все не расходятся, и, бывало, один стремится пересидеть другого у круглого стола, за альбомом под абажуром лампы, или в амбразуре окна, у фисташковой, не первой свежести занавески с бахромой, или мешкая в разговоре уже одетым в передней и все опять и опять возвращаясь к теме, давно исчерпанной, — лишь бы постоять лишний миг возле стройной девичьей фигурки. Но самым последним как-то всегда оказывался старший преподаватель физики.

Он и днем заходил сюда: Машенька Бланк взялась усовершенствовать его в языках. Сидя рядом за иностранной книгой, наклонив головы, они серьезно занимались чтением и переводом.

Илья Николаевич знал в чужих языках не больше того, что дала гимназия, прибавил и самоучкой, но ему было ново свободное обращение с языком, знакомство не с падежами и правилами, а как бы с самой стихией речи, как это было у его молодой учительницы. В первые дни, когда они занимались французским, он чувствовал себя бесконечно ниже ее по образованию. Но как ни медленно раскрывалась она перед ним, как ни скрытно лежали в ней мысли, он стал подмечать постепенно, сколь тяготит ее недостаток систематических знаний. Воспитанная без школы и без учителей, на одном чтении, Марья Александровна вдруг вспыхивала чуть не до слез от своего «невежества», как говорила себе. Ей не хватало истории, географии, она не знала множества простых вещей, не умела их связывать во времени и в пространстве. Условные обозначения науки, до этого времени как-то обходившие ее, как-то выслушивавшиеся в пол-уха и выговаривавшиеся легко и без запинки — «средние ве-

ка», «античная литература», «русский ренессанс», «век Екатерины», «Византия», «страны славянской культуры», «удельный период» — все это вставало теперь мучительным частоколом, сквозь который нельзя было продраться, не застрявши. И однажды у нее вырвалось:

— Позанялись бы и вы со мной, Илья Николаевич, общими предметами. Я ведь не кончала гимназии.

С тех пор уроки языков неизменно чередовались у них уроками общих предметов. Илья Николаевич из ученика превращался в учителя и так ясно, с таким увлечением передавал ей свои знания, что Машенька Бланк незаметно для себя стала усваивать вместе с науками и педагогические приемы Ульянова. Как это часто бывает меж людьми, постепенно срастающимися душевно, ей непроизвольно переходили его интонации, манеры наклонять голову при вслушиванье, даже характерное движенье плечом, и подчас она повторяла их в его отсутствие, при разговоре с Веретенниковыми, а сестра ее, Анна Александровна, подмечая это, хитро подшучивала над «обезьянничаньем с милейшего педагога».

Но и Ульянов незаметно для себя подражал своей ученице-учительнице в выговоре и лицевой мимике. Марья Александровна умела думать и по-французски и по-немецки, и, думая, она словно ритмически, во внутреннем жесте повторяла те навыки, приемы, тот стиль среды, где говорили на изящном, всегда приподнятом, французском и многословном, не гибком, но глубокомысленном немецком языке. Ее душа растворялась в этом стилевом жесте, и физик хотел найти эту неуловимую душу, найти свою Марию Александровну, девушку своего времени и среды.

Как-то над английским текстом, где говорилось о милой Мэри, он назвал свою учительницу уменьшительным именем Мэри, — и она вскинула на него глаза, покраснела и улыбнулась такой своей собственной, такой прочно, внутренне своей улыбкой, что Илья Николаевич стал часто называть ее и много лет потом называл Мэри.

Она забирала над ним постепенно власть. Видно было, что и в семье Веретенниковых идет от нее устраивающее, хозяйственное начало. Старшая девочка Веретенниковых дружила с теткой, как с подругой, а няня советовалась с «молодой барышней», как со старшей в доме; инспектор часто, обводя взглядом жену и свояченицу,

спрашивал: «А ну, как думает мой парламент?», и Машеньку звал в шутку, — эта шутка тоже укрепилась в семье на долгие годы, — «ganz akkurat», подделываясь под немецкий акцент.

Они объяснились совсем неожиданно, в дверях пансионской библиотеки, куда Машенька Бланк пошла наконец сдавать оба журнала, то есть и не объяснились даже, а учитель физики понял по взгляду, когда он столкнулся с девушкой, что только ее, и никого другого на свете, хочет иметь женой.

— Запишите эти книги на меня, — сказал Илья Николаевич библиотекарше. Он хотел держать их в руках, раскрыть и тут же на месте загадать — будет или не будет, хотел перечитывать строки, читанные ее глазами, — в этом сдержанном небольшом человеке, умевшем хохотать, как младенец, покатываться с хохоту, ласковом в классе, твердом в обязанностях и тоже по-своему «совсем аккуратном», горячей волной встала вдруг кровь, он был в один миг ослеплен и порабощен тем, что почувствовал, тем, что в нем зрело все эти дни и поднималось к сердцу так медленно.

— Будьте вечером, после класса, в саду. — И Мария Александровна ответила: «Хорошо», а может быть и не ответила, а только голову наклонила, но оба они встретились вечером на горе, где сейчас Парк культуры и отдыха и стоит высокая башенка обсерватории имени Ильи Николаевича Ульянова.

В те годы на этом месте дико и пышно рос мелкий кустарник, стояли вязы и липы, шли путаные дорожки с двумя-тремя серыми от дождей деревянными скамьями, и это место прогулок спускалось вниз по самый дремучий овраг, за которым тогда еще стоял лес.

Весь день, перед тем как подняться туда, Илья Николаевич чудачил в классе от невероятной растерянности. Десятки пар глаз проницательно следили за ним; он говорил о явлениях магнетизма дрожащим от счастья голосом; на задних партах вдруг прыснул кто-то, и чья-то лохматая голова поднялась. Следя взглядом за взглядом хитрющего, небрежно причесанного мальчишки, Илья Николаевич обернулся и мог заметить, как торопливые пальцы вызванного им к доске любимца быстро-быстро стирали только что мелом написанное слово «Маша». Ну что было поделать с ними? И что было по-

делать с собой? Предчувствуя великий, счастливейший перелом в своей жизни, сам испуганный бурной нежностью, ломившей его, этот человек, бледный, с сияющими глазами, едва не оборвал урока. Огромным усилием воли он сдержал себя, чтобы продолжить его и не выбежать в нетерпении из класса.

Глава седьмая

АРЕСТ ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Весной 1863 года Машенька Бланк и старший учитель физики были помолвлены, а летом она успешно выдержала экзамен на домашнюю учительницу.

Машенька выехала раньше его в имение отца Кокушкино, где должна была состояться свадьба, а Илья Николаевич занялся устройством дел.

Оставаться в Пензе, где все разваливалось, было попросту невозможно. Он даже не мог дополучить за несколько месяцев жалования и вынужден был написать брату Василию. В Астрахани весть о его свадьбе с барышней Бланк, дочерью петербургского хирургического врача, вызвала радостное волнение в доме. Старушка мать, сестры и брат готовили невесте подарок, Василий наскреб денег и послал брату, чтобы выручить Ильюшу перед самой свадьбой. Взволновался и Александр Дмитриевич Бланк, выдавая свою Антигону. Он громогласно разделил маленькое Кокушкино на пять равных частей, наделив каждую из дочерей особой частью, но сам жил хозяином, держа этот родительский дележ больше «в уме» и не желая, как подшучивал, быть в старости «казанским королем Лиром».

Немногочисленные крестьяне деревни Кокушкино все уже знали, что «младшая, Мария Лександровна, замуж выходит» и что «дома шьют не нашьются приданого», только вот ездить в Казань за материей, кружевами и лентами было «боязно». Казань была на военном положении из-за открытого в ней заговора. Приданое — то, что в те времена полагалось девушке ее круга и средств,— и в самом деле шилось в Кокушкине, шилось

больше ее же собственными прилежными руками. Выбирался фасон поскромней, материя попрочней, чтобы дольше хватило. Милые сердцу мелочи, французские и немецкие книги, Шекспир в издании Бодри с гравюрами, ноты с ее монограммой на переплете «М. Б.», ее старый рояль — все это было уже упаковано и ждало отправки. Да, но куда же? Где начнется ее новая жизнь?

Не прощаясь с Захаровым надолго, Илья Николаевич почти был уверен, что скоро они опять встретятся. В том же году стал хлопотать о своем переводе из Пензы в Нижний.

Нижний-Новгород по сравнению с Пензой был почти столица. Купечество застроило его, подняло благоустройство, жило широко, ворочало миллионами. Макарьевская ярмарка, перенесенная в Нижний, собирала в него раз в год лучшее, что есть в России. Это отзывалось и на театре и на школах. Но главное дело было в том, что в Нижнем преподавал его старый казанский учитель, Степанов, и туда же, в Нижний, переехал директором гимназии и тамошнего дворянского института друг и сослуживец его, Александр Васильевич Тимофеев.

Друг это был не просто друг. Он прошел через всю жизнь Ильи Николаевича и был в этой жизни своего рода судьбой. Талантливый словесник, Тимофеев учительствовал в астраханской гимназии, когда маленький Илюша, сын портного, сидел в ней за партой. Тимофеева непрерывно повышали — от учителя в директора, от директора в округ. Но куда бы ни забрасывало его это восхождение, он неизменно звал с собой и своего бывшего ученика: устроил его в Пензе, помог ему устроиться в Нижнем и встретится с ним спустя шесть лет в Симбирске.

Илья Николаевич списался с Тимофеевым и ждал назначения. Личные его дела и политические события были так напряжены в этот последний пензенский год, что физик чувствовал себя как бы на бивуаке. Он не был революционером. Образование досталось ему так дорого, память о жертве брата Василия, непрестанное ощущение горделивого, радостного внимания к себе и своим успехам со стороны этих милых сердцу, безобидных и простых существ в астраханском домишке — матери в темном платочке, сестры, брата — было так живо и так сильно в нем, что благодарность за бытие, за труд, за

личное счастье заливала ему душу, как мальчику. И он верил, что есть бог, вечная справедливость. И он был влюблен.

Но политика вторгалась в эти личные чувства и сминала их.

Шел переломный 1863 год в истории Российской империи, и люди, самые, казалось бы, далекие от политики, начинали вдруг чувствовать, что одинокой судьбы, независимой жизни в мире нет, а есть судьба общества, изживаемая сообща. Точь-в-точь как с лошадью на повороте: спущенная постромка вдруг натянулась, и человек сразу почувствовал тягло, которое он до той поры вез нечувствительно и легко.

А перелом был в том, что менялись уже на деле, на практике все привычные, вековые отношения между хозяином и работником. В это лето кончались те переходные два года после «высочайшего» манифеста, в продолжение которых крепостные должны были оставаться еще «временнообязанными», и теперь наконец для них наступала «полная воля». Два года в бесчисленных канцеляриях целая армия чиновников и писарей готовилась к этому дню. Отпечатаны были договорные книжки по найму; отныне «раб» превращался в наемную рабочую силу, а «барин» — в работодателя, и книжка должна была лечь между ними символом нового хозяйственного отношения.

Но ни эти книжки, ни статьи в газетах, ни призывы к патриотизму и высоким чувствам не могли прикрыть и наладить всеобщее неустройство, вытекавшее из плохо обдуманной и половинчатой реформы. В деревнях стоял хаос. Помещики капризничали, объявляли о продаже имений, переводили деньги за границу. Все видней была разница между их интересами в разных губерниях: на севере, под Петербургом, поместья стояли брошенные, помещики угрюмо щеголяли перед царем своей показной нищетой; а на юге и там, где выгодней была наемная сила, быстро возник кулак и определился помещик-буржуа. По привычной российской прохладце учреждения к этому оказались неподготовленными, тысячи запросов и жалоб с мест навалились на присутствия мучительной неразберихой, чиновники отмахивались, а тут еще упорный слух, вычитанный из прокламаций и раздутый III отделением, о неминуемой кровавой революции именно в этом

году, году выпуска обобранных, издевательски обезземеленных крепостных на волю.

Физик доживал в Пензе последние дни и только-только собрался из опустелой квартиры Захарова к будущему своему свояку, Веретенникову, как поздним вечером на почтовых опять прикатила из Петербурга в Пензу сестра Захарова, главная передатчица всех петербургских новостей. В низенькой пустой спальне, еще не подметенной после хозяина, усевшись на табуретку, она шепотом, во всех подробностях, описывала прошлогодний арест Чернышевского. Про большие петербургские аресты в Пензе говорилось глухо, да и мало кто знал о них, а знавшие не представляли себе полного их значения. О Чернышевском даже слухи ходили, что его вот-вот выпустят. Так уверяли приезжие саратовцы, своими ушами слышавшие об этом в доме родичей Чернышевского, Пыпиных. Будто бы молодежь пыпинская писала из Петербурга, из самых верных источников, что писателя ждут домой.

— Нет, это вряд ли возможно,— возразила Захарова.— Такого человека правительство не выпустит.

Перед ней на подоконнике сидели Странден и маленький изжелта-смуглый Ишутин. Сжимая ладони, с горячей на лице краской девушка в сотый раз передавала слышанное. Света в комнате не было, лишь с угла мерцал в окно уличный фонарь. Странден слушал, стиснув ладонью подбородок, обросший первым кудрявым пухом, и ему казалось, что все это он видит своими глазами: светлый, длинный, болезненный питерский вечер с неуходящим пыльным солнцем на пустом небе, темную квартиру Чернышевского, типично петербургскую. Все в этой квартире уложено, заперто, заколочено, в коридоре корзины, мебель в чехлах. Жена Чернышевского с обоими мальчиками уехала к родным в Саратов и даже лишнюю посуду в буфете заперла. Николай Гаврилович будто бы пошутил за чаем: «Ольга Сократовна все уложила и пересыпала гвоздикой с перцем, оставила только меня и то, что на мне». За чаем сидели Антонович и еще кто-то. Ждал ли он ареста? Ну, такой человек всю жизнь был готов к аресту. Антонович знает, что он перечитал все старые письма, выскоблил все фамилии и адреса, каких не надо знать полиции, и все уложил пакетами, ясно, по-

нятно — для будущего обыска. Но сказать, что он ждал ареста,— это нет.

— Вы подробно, последовательно!

И Захарова опять начинала про чай, про то, как ходил Николай Гаврилович по комнате, заложив руки, и вдруг раздается звонок, все сразу повернулись к дверям, в дверях заголубело и щелкнула шпора, тут уж всем стало ясно, кто пожаловал. А Чернышевский быстро-быстро повернулся на каблуках, приглашая за собой жандарма. У всех было чувство, как перед дальней поездкой, как на проводах: вот присядут на стулья, а потом встанут, обнимут друг друга...

— Ну что ж, прощай, дорогой Николай Гаврилович!

Она сказала это неожиданно громко, звонко, отрывисто, с душевной решимостью, словно осиротело все ее поколение.

Странден выходил молча, а Ишутин, захлебываясь от возбуждения, шептал всю дорогу, делая два мелких шажка на один крупный и широкий шаг своего товарища. Они теперь жили у родственников, в верхней части города.

— Мракобесию не сдаваться! — сурово проговорил Странден, отвечая скорей на собственные свои мысли, нежели на жаркие слова Ишутина.

На следующий день Илья Николаевич перебрался в квартиру инспектора. Пензенская земля горела под ним: он ждал, дождаться не мог своего назначения. И когда наконец пришло назначение, собрался и упаковался в одну минуту.

— Послушай! — Инспектор Иван Дмитриевич Веретенников сидел с ним по-холостяцки в кухмистерской: Анна Александровна с детьми была уже в Кокушкине.— Хоть ты и будущий, как говорят, бофрер, но дружба дружбой, а служба службой. Верни, брат, книги из библиотеки, на сей раз от тебя как инспектор требую. Держишь, держишь, чуть не два года. Думаешь в Нижний забрать — нет, извини, брат, бумагу пришлю! Штраф с тебя возьму!

И Веретенников сдержал слово. В самый день отъезда курьер принес старшему физику бумагу с казенной печатью. Илья Николаевич принял бумагу и расписался в получении. В ней за подписью инспектора ставилось на вид, что за старшим учителем физики Ульяновым чис-

лится книг из библиотеки Пензенского дворянского института четыре названия:

Брамбеус. «Фантастические путешествия»;
Тургенев. «Записки охотника»;
«Отечественные записки», 1860 г., №№ 1 и 2;
«Русский вестник», 1860 г., № 3.
Каковые книги со старшего преподавателя физики подлежит взыскать или натурой, или денежною их стоимостью...

Неизвестно, отдал ли физик два перечисленных выше журнала, или увез их с собой в Нижний, но бумага за подписью инспектора еще и сейчас хранится в Пензенском государственном архиве.

Глава восьмая

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ

Осенью вверх по обмелевшей Волге шел нарядный пассажирский пароход общества «Кавказ и Меркурий», по тогдашнему времени чудо техники. Он шел от Казани к Нижнему и вез в каюте второго класса молодых супругов Ульяновых, только что повенчавшихся.

Ехать по Волге в медовый месяц было в те годы самым обычным делом, но только весной, когда высока вода, и вниз к Тетюшам, к Ставрополю, к зеленеющим Жигулевским горам, подолгу останавливаясь на шумных, заваленных всякой всячиной пристанях, скупая у болгар нарядные, красивые вышивки, полотнища ручных тканей, у чувашей всякие вязки и плетенья, а у немцев под Саратовом знаменитую сарпинку и деревянные ложки, у татар яркую пестроту посуды, и все, чем богат гений народа, или, лучше, народов, по обоим берегам великой русской реки.

А этот месяц, да еще вверх по реке, был для свадебного путешествия уже и прохладен и неудобен. На мелководных местах пароход неприятно постукивал, скребся о самое дно и дышал от усилий тяжелым, с копотью, дымом, простаивая в пути. Внизу на корме был смрад от сотни замученных переездом крестьян. В онучах, с грудными ребятами, мешками, лукошками или «струментом», они валялись там в одури, пожевывая из ладо-

ни скупые корки или кусок огурца, и даже песен не пели, даже не слыхать было, чтобы разговаривали между собой, и сухой плач грудных тотчас же пресекался непрестанным ожесточенным подбрасыванием: «Кш! Кш! Чтоб тебя!» — пока не захватит дух у младенца.

Наверху, в первом классе, убранном с отменною роскошью — гордость и козырь акционеров, только что пощипанных в Петербурге и журналистикой и вмешательством гласности в их келейные дела,— ехали крупные астраханские рыбопромышленники. Все, чем богата Волга с осенней путины — янтарные ее осетры, тяжелые налимы, стерлядки малые, колечком в ухе, стерлядки аршинные, варившиеся на пару в белом вине,— надо всем этим колдовал повар, в каждой повадке показывая, что служит он, подает и угодить хочет не кому-нибудь, а господам. Но в первом классе капризно требовали щи, дупеля, телятину, персики, только не осточертевшую рыбу.

Физик ехал с женой во втором классе не потому только, что денег у него было в обрез и требовалась экономия на переезд и устройство, а потому, что по своему положению в то время и он и жена его отходили к публике второго класса. Явной черты, разделявшей людей по виду в их чине, звании и достатке на пассажиров первого и второго класса, как будто и не было,— но по нашему времени даже трудно представить себе, до чего это деление, без всяких исключений из правил, в точности соблюдалось жизнью. Молодожены ехали среди людей «своего круга» — некрупных чиновников, мелкопоместных помещиков, начинающих адвокатов — словом, людей «средней руки».

По всему новенькому, только что сшитому, по букетам и коробкам конфет и по многому другому соседи уже догадывались, что едут молодожены, и досаждали им сочувственно любопытствующими взглядами. Марии Александровне это было несносно, Илья Николаевич попросту не замечал ничего. Вечером он никак не мог удержаться, подавая жене теплую мантильку, чтобы не прижать ее к себе закутанную, не провести с быстрой, немного дикой лаской по щеке и по лбу ее нежными пальцами, хотя знал, что ее это все еще заставит оглянуться вокруг,— не видят ли,— и сдвинуть бровки. Он выходил с ней под руку на палубу, ставил рядом два

легких витых кресла, сажал ее, заботливо спрашивая, не дует ли, не принести ли платок, не хочется ли жене того, другого, третьего.

— Не суетитесь... Не суетись! Сядь же возле,— тихонько говорила жена.

И учитель садился так, чтоб быть к ней возможно ближе, чувствовать ее, и чаще всего они так и сиживали с биноклем в руке, почти молча.

В небе висел осколок месяца. Перед ними уходила назад обмелевшая, сине-розовая на последнем закате река. Навстречу им вниз по течению, разбрасывая миллионы искр по воде, шумно бежали пассажирские пароходы, скользили тихие баржи; вдоль берегов, у самой воды, загорались огоньки от ранних костров. На перекатах они угадывали в темноте веревки, и кто-то тянул и тянул вдалеке, завывая, ухая, бесконечно печальную, однообразную, дикую мелодию, и темная махина, груженная доверху, тенью шла мимо их палубы,— они уже наслушались, наговорились о бурлаках, о стихах Некрасова.

Илья Николаевич впервые был с ней так долго, так прочно наедине. Он привык сразу и целиком, словно и не жил никогда без нее. Но женщина привыкала медленно и все не могла привыкнуть. Десятки мелких привычек вставали в ней ропотом, глухо щемил девичий стыд, не сдаваясь по мелочам, не позволяя открыть руки, распустить волосы. Он засыпал поздно, она хотела лечь пораньше, он долго не вставал с постели, наслаждаясь видом ее возле себя, счастьем говорить и делиться, планы рассказывать, прошлое вспоминать, а ей не терпелось, как птице, поскорей встать, умыться и начать день. Трудней всего было ей сдерживаться, чтобы сидеть сложа руки, не обидеть его внезапным вставаньем, уходом за рукодельем, уборкой каюты, хлопотами насчет завтрака или обеда.

— Ну неужели скучно тебе так, Маша, Мэри? Иди садись, слушай, что я тебе скажу...

О Волге он мог рассказывать без конца. Вначале, когда еще шли казанские берега и гористый правый берег Волги шел от них по левую реку, а далекие луговые горизонты низменного левого берега двигались справа, Мария Александровна и сама, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону, с увлечением показывала мужу на

знакомые места. Вот пригоршней, как пасхальные яички в зеленом овсе, рассыпались по высокому склону крыши большого села, Верхнего Услона, сюда они ездили на лодках... А там, напротив, возле устья Казанки, места сырые и топкие, и сама Казанка — неприглядное место, хоть и заслужила она песню:

Вдоль да по речке,
Вдоль да по Казанке...

Но Казань все отходит, отходит, и уже устье реки Свияги, словно сизая ленточка повязавшей старинный город Свияжск с богатым помещичьим Симбирском. Знакомо Марии Александровне и левобережное дачное сельцо Васильево, где казанцы проводят лето, и село Беловолжское на правом берегу, где родился казанский профессор, любимый ее мужем,— Николай Иванович Лобачевский. Но дальше места пошли уже неизвестные, да и быстро падал осенний вечер, стирая все краски на берегу.

И тогда слово брал Илья Николаевич. Покуда стоял пароход у яичной пристани Козловки, куда сбежали за дешевыми яйцами чуть ли не все их попутчики, он смешил жену меткими волжскими народными прибаутками,— ведь что в народе родится, то и останется, как приклеенное: тверитяне — ряпушники, старичане — петуха хлеб-солью встречали, ярославцы — пуд мыла извели, родимца с лица не свели, ростовцы — озеро соломой палили, у нас-ти чесноку-ти, луку-ти, а навоз-ти не простой, а коневий...

— Какой же тут смысл? — дивилась Мария Александровна, не желая смеяться.

— А вот мы, астраханцы,— чилимники, а нижегородцы, куда мы с тобой жить-поживать едем, это самое страшное. Про нижегородцев народ сказывает: либо мот, либо вор, либо пьяница, либо жена гулявица.

Он везде подхватывал любопытные поговорки и запоминал их, и ему хотелось подразнить ими свою серьезную жену, вызвать ее улыбку. А жена, не поддаваясь на поддразниванья, в свою очередь из-под опущенных ресниц приглядывалась к нему, по-новому изучая его в повседневной жизни. Многое в нем она открывала впервые.

Илья Николаевич любил точность. С первых дней брака она заметила, как упрямо он сам доискивался

определения того, что только «плывет в мыслях»,— плывет, но еще не схвачено, не сформулировано или полузабыто — не вспомнится. Он искал словари, обходил соседей, спрашивал специалистов,— спрашивал так толково и мягко-придирчиво, что и ответ невольно стремился быть точным. Мальчонка ли промычит на пристани ни то ни се вместо цены — он будет настаивать: «Одиннадцать или двенадцать?»; рассказчик ли заговорится, противореча себе,— Илья Николаевич непременно добьется, чтоб все было ясно продумано и чтоб важность знать самому, о чем ты хочешь сказать другому, стала понятна и его собеседнику. «Если не знаешь, уж лучше молчать»,— говаривал он, когда слышал: «кажется... погоди, если не ошибаюсь... по моему мнению... кажись, что так, а може, и не так... нехай буде по-вашему...»

Это свойство ей нравилось в муже. Оно отвечало ее собственной ненависти к безделью в быту, скуке с пустыми людьми, досаде, когда берутся за то, чего не знают. Но это свойство напоминало, как много она еще и сама не знает и как много для нее пустых мест, лишенных всякого представления, в разговоре других людей, да подчас и в собственных, до сих пор легко, с чужого голоса произносимых словах. Она стала избегать называть понятия, под которыми ничего ясно не видела. Но не решалась побороть самолюбие, чтобы спросить мужа.

А он — педагог, великий мастер деликатности — заметил все это, невыразимо стыдился дать ей понять, что заметил,— и нежность к жене опаляла ему душу.

В такой сложной душевной работе, ощупью находя друг друга, жили они двое суток бок о бок, а Волга все уходила, уходила вниз. Приближался Нижний. Пароход заворачивал на середине реки, надвигались люди на пристани, горы арбузов, дынь, гуси и щипаные цыплята на руках, саженные рыбы в садках, скрипела разматываемая цепь, и опять стояли, стояли.

В одну из таких стоянок, когда на палубе никого не осталось — все сошли на берег,— Илья Николаевич стал тихонько рассказывать ей со всем обаянием умелого лектора про эту большую тихую реку, прорезавшую не только всю русскую землю, но и всю русскую историю.

— Как ее не любить, Маша, ведь я и родился и вырос на ней и круг жизни очерчен ею,— буду вот коле-

сить с тобой по ее городам, нынче здесь, завтра в другом месте. Ты заметила, сколько мы встретили разных народностей? Ведь и сейчас в Кокушкине у вас соседи татары, у нас в Астрахани калмыки — я сам отчасти калмык,— чуваши, киргизы, немцы, мордва, башкиры, болгары,— кого только мы с тобой не насмотрелись в дороге! Знаешь, откуда они? Река текла с севера к югу, и древние русы шли с нею вместе, осваивали каждую пядь и сами на ней осваивались. Строили, и замечательно строили свои городки-крепостцы. Учили тех, кого покорят, и сами учились у каждого. И как талантлив, до чего многогранен русский народ! У нас в Астрахани есть Успенский собор, ты увидишь, когда поедешь к нам, что это за собор, какая в нем гармония! Глаз не оторвать! Когда Петр Великий приезжал с женой в Астрахань, он сказал про этот собор: «Во всем моем государстве нет такого лепотного храма». А кто его строил? Простой русский мужик, Дорофей Мякишев. Двести шестьдесят с лишним лет назад. И знаешь, Машенька, сколько он получил за него? Сто рублей за все про все,— был сам и архитектором, и чертежником, и начальником работ, и плотником, чуть ли не сам даже камни клал. Вот какие самородки в русском народе! Тебе не холодно, милая?

— Нет, нет, рассказывайте дальше.

— Что же это — я тебе «ты», а ты мне «вы»? Штраф, Маша.

— Перестаньте, увидят...

Но Илья Николаевич все-таки поцеловал жену, поцеловал крепко в щеку и остался так, голова с головой, досказывая уже тихим шепотом:

— А в Нижнем был другой самородок, и тоже из простого народа, механик Иван Кулибин. Этот Иван Петрович Кулибин нигде не учился, никаких школ не кончал, но был от природы до того одарен, что самоучкой осилил механику. Изготовил электрическую машину, телескоп, микроскоп, изготовил знаменитые свои часы. Екатерина Великая поставила его главным механиком над всеми русскими мастерскими и повелела, как тогда говорилось, «делать нескрытное показание академическим художникам во всем том, в чем он сам искусен». Не скрытно, заметь,— а чтоб широко разойтись знанию. И подумай, ведь этот народ был насильственно, словно

древний раб, закрепощен помещику... Сколько же талантов он даст, освобожденный!

В немой ласке она дотронулась рукой до его непокрытых волос, похолодевших от ветра.

Муж притянул к себе эту ласковую руку, и ему захотелось опять услышать, как она поет, облокотиться на спинку стула в гостиной Веретенниковых, впитывать мягкие, бархатные звуки «Фиделио» и вообразить на минуту, что это чужая, гордая Машенька Бланк, и все для того, чтоб открыть глаза и увидеть, что это не Машенька Бланк, а Машенька Ульянова.

Глава девятая

НА НОВОМ МЕСТЕ

В один из свободных вечеров в Нижнем, а их оказалось совсем мало, Мария Александровна села писать сестре.

Поставила число и месяц, вывела «Дорогая Аннушка» и долго сидела над бумагой. Ей хотелось начать с описания Нижнего-Новгорода. По сравнению с Пензой и Казанью это была настоящая столица — так шумно, такие большие здания, лавки, театры, храмы. Улицу пройти надо с оглядкой — такие лихие тут выезды, и чего только, каких только нет и карет и повозок! Но ее поразило не столько это. Ей хотелось как-нибудь передать сестре то особенное ее впечатление от Нижнего, что он из всех виденных ею городов самый русский.

Правда, муж ей все время читал лекции по истории, но даже и без этих лекций в Нижнем на каждом шагу ее поражала русская история, не мертвая, а живая и живущая во всем обиходе — в веселом, вольном окающем говоре населения, в ресторанной еде, лакомствах, зрелищах, в приходящих на рынок со всех окрестностей торговать каких-то дремучих, саженных ростом, суровых иконописных мужиках, в ярмарке, конец которой они с мужем еще застали.

Раньше на театрах она часто видела пьесы из старины, на маскараде и сама один раз нарядилась половецкой девушкой; она знала, как русские испокон веку и

дрались и торговали с монголами, но одно дело слышать об этом, как о далеких временах, а другое — видеть незнакомый народ своими глазами. На ярмарке в новомодных одеждах, среди самой современной обстановки, в пестроте населения ей почуялось множество исторических типов,— не те времена, не то костюмы, но чем-то древним-древним из-под этих костюмов веяло на нее от торговцев-татар, заезжих персов и греков, от цыган с их медведями и гадалками, от каруселей, от ходивших по ярмарке крестьян в национальных костюмах, от разных привезенных хоров и танцовщиков — мордовских, украинских, черкесских, и все эти чужие типы ярче и понятней оттеняли для нее русский тип, словно в лицах рассказывали про русское прошлое.

Муж показал ей домик Петра Великого, где Петр, неугомонный царь-путешественник, останавливался, когда плыл на Азов и Астрахань; она уже знала, что здесь, в Нижнем, знаменитыми новгородскими плотниками еще в шестнадцатом веке строились и спускались на Волгу первые русские суда. Она подробней узнала и про тот народный подвиг, когда Москву осаждали ляхи и литовцы, а в Нижний пришел за помощью князь Дмитрий Михайлович Пожарский, поклонился вольным посадским людям — не дворянам и не знати, а людям простого звания,— и как «нижегородские жители, всяких чинов люди, выбрали нижегородца посадского человека доброго Косму Минина в полк к князю»... Все это она как будто еще видела на улицах Нижнего, в чертах потомков, сохранивших тип и характер предков, в старинной стене кремля, в Коромысловой башне, в вольной суетне, ничем не похожей на сонную дворянскую Пензу и даже на университетскую Казань.

Но вместо того, чтобы как-нибудь излить сестре на бумагу свои впечатления, Машенька обидно почувствовала, что она никакая не писательница, и письмо вышло в две странички: о том, что живет она с мужем счастливо, хотя муж непоседа, набрал себе множество уроков — почти его и не видишь. О том, что тут, кроме Ауновских, еще Захаровы,— про Захарова ходят слухи, будто он лишен права преподавания. Много тут и воспитанников Пензенского института, между прочим тот самый сорвиголова Странден, который столько испортил крови Ивану Дмитриевичу, первый ученик Васильев и еще кое-кто.

Сестра ответила очень длинно. Она жаловалась на «своего» и прибавила: «Мог бы в первый год брака быть повнимательней, подомоседливей хоть твой-то! Ведь умеет же он быть внимательным к своим обязанностям. Я нахожу — это чересчур. В эмансипации меня не упрекнешь, терпеть стриженых не могу, но со стороны мужа такая abondance, всего себя делу, это тоже излишне, это забыть, что жена имеет право на вас».

А Илья Николаевич и правда набрал себе сразу много дела. Был старшим учителем в мужской гимназии, преподавал в женском училище да еще взял на себя обучение планиметрии молодых землемеров: при гимназии открылись на летнее время землемерно-таксаторские классы. И, кроме всего, стал с первого сентября еще и воспитателем при пансионе дворянского института. Надобности соглашаться на последнюю должность Илья Николаевич не видел, но уступил Тимофееву.

Это была новая, очень важная, по мнению министерства, должность. Не один только Пензенский институт — почти все дворянские институты переживали в этот год жестокий кризис. Там, где и денег много и учителя хорошие, все-таки вмешивался «дух времени», как говорилось в обществе, а «дух времени» был явно против сословных закрытых заведений, против изживших себя пансионов с их полуграмотными, грубыми надзирателями. И министерство в виде опыта, желая все же сохранить интернаты, ввело в новом уставе гимназий вместо прежнего надзирателя новую должность воспитателя с университетским образованием.

Илья Николаевич искренне думал, что эта новая должность введена министерством из соображений чистой гуманности, чтоб с детьми был воспитатель образованный, знакомый с педагогикой, понимающий душу ребенка. Он бегал с Благовещенской площади, где была гимназия, за угол, на Варварку, где находился дворянский институт, едва успевая побыть дома и превращаясь из доброго учителя в такого же доброго воспитателя. Но, удивительное дело, гимназисты любили и уважали учителя Ульянова, а институтские воспитанники чурались и бегали от воспитателя Ульянова, хотя и человек и метод оставались одни. Это его раздражало и мучило, и к жене он приходил пасмурный, жалуясь на переутомление, а ей казалось, что ему скучно дома.

В каждом браке есть одна такая пробная минута испытания, когда гвоздь, на котором все держится, как будто начал шататься и вот-вот выпадет. И тут все дело в том, как будет дальше,— пойдет ли еще расшатывать его жизнь или двумя-тремя крепкими ударами вколотит уже так глубоко, что и не вынешь потом.

В жизни Ульяновых этой пробной порой была первая зима в Нижнем. Мария Александровна видела, что муж живет ею,— но как живет ею? Не будь ее, уйди она сейчас — и словно вынесут лампу из комнаты,— так потемнеют и посереют для него мысли, какими, поднимая с подушки голову, бывало, делится он с ней, сонной, и люди, к каким все бегает и говорит, говорит о своей педагогике, о детях. Но лампа ведь не на себя светит в комнате, и люди смотрят не на нее в ее свете.

Машенька видела множество семейных ссор вокруг, где занятый муж мельком замечает жену, а она делает ему так называемые «сцены» за это. Видела она и другое: как расстроенная жена ищет сочувствия в детях, в няне, выхватывает из кроватки спящего ребенка, прижимает его к себе, зацелует,— все это были нервы, женские нервы; какая страшная, разрушительная вещь эти самые нервы! Она искала мысленно, за что ухватиться, чтоб у них никогда не было такого, не появлялось желания всплакнуть в подушку, скапризничать, раздражиться. И первое время, как все женщины в мире, она помогала себе тем безотчетным чувством блаженства, какое кажется вечным и неисходным. Оно волной шло от мужа к ней, вязало их мысли в работе. Он прибегал на большой перемене, между уроками, среди дня, находил ее в кухне в фартуке за чисткой картофеля, встречал на улице, когда она шла с корзинкой купить что-нибудь. После коротенькой встречи оставалось сиянье внутри, делавшее такими спокойными, рассудительными, добрыми ее деловые разговоры, отношения к людям. Ей долго казалось, что это только у них и что ее сдержанность хранит это счастье, а у других нет и не может быть этого, но вот в счастье стали врываться какие-то диссонансы. Два-три раза она приревновала его совсем без смысла. Ей делалось тяжело в его отсутствие. Появилась и раздражительность,— это жадным становилось то самое чувство, в котором она искала опоры от нервов. Чувство

медленно пожирало все остальные интересы, музыку, даже порядок в доме, и, что вовсе было несвойственно ей, она стала залеживаться по утрам, растягивая свою лень, стала задумываться и, не делая ничего, вдруг мелко, часто позевывать от утомления, накоплявшегося от этого все растущего чувства.

В тот день, когда она писала письмо Аннушке и в нем невольно нажаловалась на мужа, ей стало от этого неприятно и совестно, а все-таки она вышла на Варварку и сама отдала письмо на почту, а выходя с почты, лицом к лицу столкнулась с учителем Захаровым.

— Легки на помине,— я только сию минуту в письме о вас написала!

— Значит, хоть одна добрая душа меня помнит, Мария Александровна. Ну что, как муж ваш, как его самочувствие?

Захаров с виду опустился немного. Наросла щетина вокруг рта, где он раньше сбривал, возле глаз собрались морщины, цвет лица был желтый, и на пальто недоставало средней пуговицы. Но он ей обрадовался, и она ему, безотчетно. Узнав, что Мария Александровна идет в ряды, он взял из ее рук «пёщер» — плетеную корзину с крышкой — и захотел проводить.

— Илья Николаевич учительствует, воспитательствует...

— То есть как-с?

— В институте. Нельзя было отказаться, Тимофеев сам просил, и я почти что не вижу его.

— Зачем, зачем он это, экий он! — Захаров остановился даже и пещером взмахнул.— Э-эх, Илья Николаевич! Что такое эти воспитатели? Прежние наши фельдфебели, если на то пошло, честнее были, драли и в карцер сажали, донос делали за курение табачишки в ретираде — извините за грубое слово,— а от этих ждут, чтоб дипломатничали, политику разнюхивали... Да-с, Мария Александровна, дорогая моя молодаюшка, в гнусные времена живем!

Он быстро оглянулся вокруг — март, чудесный месяц март. Звук в морозном воздухе висит прозрачно, как сосулька с крыши, дремлют в тулупах извозчики, выпятив ватные зады, солнце, и соглядатаев нет,— все-таки он снизил голос:

— Вы присмотритесь, что только делается. В Казани прошлой весной, думаете, был заговор? Люди собирались, по-российскому турусы разводили, «революцию больше в уме пущали», как выражается наш сатирик,— а на них военным положеньем, арестами, ссылками. У меня сейчас тут проездом приятель один, Красовский Александр Александрович, тоже словесник, он в Вятке в семинарии учительствует, так его ученики были замешаны в это дело, он рассказывал в подробностях. На каждого из нас, носителей света, гончую держат — молодежь в интернатах, в пансионах, как горючий материал, тонкими, образованными, благонадежными воспитателями приглушить, так сказать, хотят, ну и культурнее поразобраться в ней, чем она дышит...

— Боже мой, что вы такое говорите!

— Слышали про здешнего учителя Копиченко, нет? Арестован-с. У меня обыск, обыск произвели за честность мыслей. Лучшей молодежи хребты ломают. Да вы читайте журналы, между строк видно.

Она шла со стесненным сердцем и больше ему не возражала. Ей сразу стало ясно, что угнетало Илью Николаевича. До сих пор она вместе с ним видела в этой новой должности «прогрессивную меру», шаг вперед, победу нового духа времени, а слова Захарова все перевернули в ее голове. Он довел ее до мясного ряда, подал пещер, поглядел добрыми, все такими же сослепу на всех глядящими, в одну точку упершимися глазами из-под неаккуратно разросшихся бровей, и она с уважением почувствовала, что в этой одной своей точке он видит куда больше и лучше, чем другие видят в целой окружности.

— Прощайте, Мария Александровна, бог ведает, когда еще приведется. Я в губернию, в управляющие еду. Жить-то ведь надо, вопрос, так сказать, насущного хлеба-с. Кланяйтесь Илье Николаевичу.

Она все была задумчива, покупая мясо, все была задумчива, гуляя из конца в конец, глубоко под вечер, дожидаючись мужа, по длинной их квартире. Квартира была при мужской гимназии и состояла из четырех комнат. Шли они все в ряд. Если открыть двери из крайней и стать на пороге, то можно было увидеть и всю анфиладу, сквозную, как в музее. Но в ней не было однообразия — и обои разные, и цвет мебели, и назначение у каж-

дой свое. Самая светлая и крайняя приготовлена под детскую; за нею небольшое зальце с дубовыми креслами и трельяжем и ее рояль у стены. За этим зальцем — веселая, в ситце, столовая, а за столовой — кабинет Ильи Николаевича, куда был доступ со стороны коридора, и не только членам семьи или гостям, а и гимназистам, заходившим по делу, и сослуживцам. Общую спальню они не сделали, и так пошло с Нижнего, что Илья Николаевич, когда появились дети, спал на диване у себя, а мать — с детьми.

Дверь в кабинет скрипнула очень осторожно — Илья Николаевич входил на цыпочках, думая, что жена уже спит. Но с несвойственной ей горячностью Машенька уже летела к нему навстречу, опустила вдруг обе руки ему на плечи и бурно его притянула к себе, с жалостью чувствуя, что он маленький, чуть не меньше ее, и худой, и от его одежды пахнет той человечьей большой усталостью, когда весь день одежда работает на человеке в службе, не смененная, не встряхнутая, не снятая хоть после обеда на полчаса.

Поддаваясь ее неожиданной горячности, муж прижался к ней, как ребенок.

— Душа моя, что ты сегодня такая хорошая у меня? И не спишь почему? Что это, Машенька, зажги свет?

Все три вопроса сделаны были разным тоном,— первый ласковый, не вопрос даже, а промурлыкал его, откликаясь на ласку и думая, что у нее настроение такое. Но в следующую минуту он сердцем понял в ее объятии что-то неладное, и уже третий вопрос зазвучал тревожно, по-деловому.

Он сам зажег лампу на столе в кабинете и опять подошел к жене. Но Мария Александровна уже стягивала с него мундир, уже подняла кувшин с водой — полить ему на руки, уже звенела тарелками в столовой, звала Настю с горячим ужином из кухни, и постепенно, отдаваясь отдыху, вдыхая запах подогретого жаркого и разжевывая пышный, вкусный, с хрустящей корочкой хлеб, Илья Николаевич успокоился, а вернее — вернулся к тому скверному, пасмурному настроению, с каким всякий раз возвращался из института, со своей воспитательской должности.

— Знаешь, Маша, Розинг этот уже ничем не стесняется, ведет под Тимофеева такой подкоп, что даже ученики заговорили.

Розинг был интриган, желавший устроиться на место Тимофеева директором института. О нем все знали, что он невежда и картежник, брал на старой службе взятки, и на его происки сам попечитель округа заявил, что таким, как господин Розинг, не должно быть и не будет места ни в одном учебном заведении. До сих пор Мария Александровна глазами мужа глядела и на Розинга и на его подкоп под Тимофеева, считая, что никто не допустит заменить культурного и энергичного Тимофеева подозрительным Розингом и что происки его — прямо позор, прямо анекдот. Но сегодня и тут ей все показалось по-другому.

— Им больше ко двору Розинг, чем Тимофеев!

— Да что ты, Маша!

— Убеждена в этом. Правительство как раньше защищало свою власть, так и теперь защищает, только старается это умней делать. Я сегодня видела Захарова...

— А-а!

— Нет, не а-а,— покраснев, она передразнила мужа, но тут же подложила ему вкусный хрящик из соуса.— Я сама знаю, что это так. Ты вот жалуешься на институтских мальчиков, а тебя в гимназии в классе обожают. Что ж, мальчики, что ли, другие, какая-нибудь порода особенная? Всюду дети одни, только ты в институте для них враг и надсмотрщик, и сколько ты ни старайся, они тебя не полюбят, Илья Николаевич. У них секреты свои, они вот по ночам, Захаров сказал, от руки, целиком, всю новинку Чернышевского — роман «Что делать?» — переписали, а скажут они это тебе? Нет, не скажут, а если бы сказали, ты что должен? Довести до директора, на то и воспитатель. Ну как же им, скажи, любить тебя, чего ты от них дождешься?

Ей было ясно теперь, что не скука дома — до того ли ему,— а, должно быть, давно уже Илья Николаевич думал и думал над смыслом этой своей «прогрессивной» должности, и пасмурнее он был в эти дни совсем по другой причине, гораздо глубже, чем даже ей казалось.

— Ильюша, милый, откажись от этой службы! Нам хватит по горло, не гонись за жалованьем. А Тимофеев —

пусть себе Розинг подсидит Тимофеева, ему тоже лучше уйти из института.

Она редко называла его Ильюшей, и сейчас это вырвалось у нее не намеренно. Голос, обычно сдержанный, слова, всегда своим тоном напоминавшие барышню Бланк, его милую учительницу иностранных языков, зазвучали сейчас так прсто, так *по-народному,* словно в Астрахани мать воскликнула.

Илья Николаевич встал с места и заходил по комнате, и все молча ходил и ходил, пока она, тоже молча, убирала со стола. А потом вдруг, обняв жену за плечи, он потянул и ее ходить с ним, вот так, из комнаты в комнату, по всей анфиладе, и стал ей рассказывать о своих пробных уроках в землемерно-таксаторских классах:

— Маша, это прямо какая-то особенная порода людей пошла: хватают теорему с полслова и сейчас же в практику; вот я теперь на опыте замечаю, какая разница — детям преподавать и взрослым. А главное — работы, работы в деревне! Эх, надо бы нам с тобой тоже в деревню, Мэри!..

По голосу мужа, по тому, как он переменил разговор, перешиб собственные мысли, и как, идя с ней рядом, шаг в шаг, нога в ногу, не отвечая прямо, отозвался на тревогу ее, Мария Александровна почувствовала, то понимание без слов, ту жизнь во внутреннем единстве, какой раньше, в первые нижегородские месяцы, как будто еще не хватало им...

Глава десятая

ВОСПИТАНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Розинг действительно подсидел Тимофеева. Нижегородское дворянство, мимо округа, подало прошение прямо на имя царя, и царь, «в уважение к ходатайству» и «неизменно благосклонный» к дворянству нижегородскому, лично назначил Розинга директором, а чтоб попечитель округа не обиделся, пожаловал его чином тайного советника.

Илье Николаевичу было приятно развязаться с институтом, и он ушел. А Мария Александровна именно

с этого вечера, как ей казалось, нашла себя,— или медовый месяц закончился, заменясь буднями? Но только однажды, когда за мужем захлопнулась дверь и в квартире сделалось пусто, она поймала себя на новом чувстве.

Раньше, бывало, весь интерес уходил ему вслед и кормился памятью, ожиданием его присутствия, и ей нравилось делать лишь то, что имело прямое касанье к нему,— готовить любимые его кушанья, вытирать пыль с его книг, раскрывая и перечитывая те места, где Илья Николаевич подчеркивал карандашом, или просто вдруг останавливаться перед висевшим на гвоздике домашним халатом мужа, соображая, где и что починить ему,— словом, и двигалась она и ходила в круге времени своего мужа. А тут вдруг, не успела захлопнуться дверь, какое-то воровское чувство своего времени охватило ее, и ей казалось, что она рада, что Илья Николаевич вышел из дому.

На самом деле это был возврат — возврат к той личной деятельности, которой не могло быть в присутствии мужа, когда круг его времени совершенно и полностью поглощал ее время. С каким-то новым, приятным волнением, в полном одиночестве, она вкусила это спокойное, свободное, свое собственное время, а свое время ведь тоже любишь не меньше, чем человека, и у каждого в жизни должно быть это свое время.

Оставаясь теперь одна, Мария Александровна думала. Голова у нее ясней работала. Сотни упущенных мелочей становились на место. Нервное напряжение, расход сил на чувствование заменялись глубоким, здоровым выдохом. И даже если не клеилась работа, одиночество целило и восполняло ее, и нервная убыль, как выбоина в кристалле, затягивалась и заживлялась своим же внутренним веществом.

Но и сам Илья Николаевич стал больше просиживать дома. Он еще в Пензе с 1859 года начал с особым, свежим интересом разворачивать ведомственные книжки журнала министерства народного просвещения, в который его коллеги заглядывали разве что по долгу службы — просмотреть назначения и приказы. Между тем этот журнал с конца пятидесятых годов, когда во главе его стал Константин Дмитриевич Ушинский, делался все интересней и содержательней. В нем находил Илья Ни-

колаевич множество новых сведений о той высшей, по его убеждению, науке, которую и наукой-то стали звать совсем недавно,— науке воспитания и образования человека.

Еще будучи гимназистом, он как-то получил у своего любимого учителя математики, Степанова, старый номер «Казанского вестника». Этот номер — за август месяц 1832 года,— вышедший в свет, когда Ильюше Ульянову был только один годик от роду, показался ему, кончающему гимназию, и по шрифту и по языку, очень уж выспреннему и малопонятному, чем-то совсем устарелым, если б не одна статья, ради которой Степанов и берег его благоговейно. То была речь математика Лобачевского «О важнейших предметах воспитания».

Степанов дал ему прочесть эту речь, чтоб обратить внимание любимого своего ученика на места, подчеркнутые красным карандашом, места, имевшие касание к математике. В виде напутствия Ильюше, мечтавшему перейти из стен астраханской гимназии под своды Казанского университета, должны были служить эти подчеркнутые строки: «Не столько уму, сколько дару слова одолжены мы всем нашим превосходством пред прочими животными». Но из всех языков мира самый лучший — это «искусственный, весьма сжатый язык, язык математики». Именно «математики открыли прямые средства к приобретению познаний». Мир чисел не выдумывается из головы, он лежит под покровом вещей, он отвлекается от самой природы, выводится из ее законов. «Их указал нам знаменитый Бэкон. Оставьте, говорил он, трудиться напрасно, стараясь извлечь из одного разума всю мудрость; спрашивайте природу, она хранит все истины и на вопросы ваши будет отвечать вам непременно и удовлетворительно».

— Прочитал эти рассуждения? — спросил на следующий день Степанов.

Ильюша не признался тогда учителю, что совсем не подчеркнутые красным строки, а другое в речи Лобачевского понравилось ему больше всего и заставило задуматься. Так понравилось, что много раз потом он вспоминал эти слова и находил в них помощь и опору.

Большой ученый, стоявший во главе самого знаменитого университета российского, посчитал великим, серьезным делом воспитание человека! Этот ученый

спросил себя: «Чему должно нам учиться, чтоб постигнуть своего назначения? Какие способности должны быть раскрыты и усовершенствованы, какие должны потерпеть перемены; что надобно придать, что отсечь, как излишнее, вредное?» Спросил — и сам же себе ответил: «Мое мнение: ничего не уничтожать и все усовершенствовать. Неужели дары природы напрасны? Как осмелимся осуждать их?.. Всего обыкновеннее слышать жалобы на страсти, но, как справедливо сказал Мабли: чем страсти сильнее, тем они полезнее в обществе; направление их может быть только вредно. Что же надобно сказать о дарованиях умственных, врожденных побуждениях, свойственных человеку желаниях? Все должно остаться при нем, иначе исказим его природу и повредим его благополучию...»

И сколько еще необыкновенных мыслей заложено было в этой речи! О том, что человек может и должен жить до двухсот лет. О том, что жизнь сокращается от незнания человеком меры, от невежества — от невежества! И «наставник юношества» должен помнить все это, должен формовать совершенного человека, его вкус, его умение наслаждаться жизнью, умение знать меру и «чувствовать непрестанно новое», потому что «единообразное движение мертво» и «покой приятен после трудов».

Вся сложная наука, все тонкое искусство образовывать человека еще чем-то смутным, не вдруг понятным, но уже пленившим воображение, как внутренний жар, охватило Ильюшу Ульянова от прочтения этой речи. И каким огромным богатством показался ему человек! Вот стоит дитя на улице. Его держит за руку няня. А это дитя, как семя какой-нибудь пальмы или кедра ливанского, держащее в малом своем объеме все царственно прекрасное дерево, несет в себе множество даров природы — умственных, сердечных, телесных, и ни один не надо отсекать,— надо только развивать и растить их и доводить до совершенства.

С тех пор прошло четырнадцать лет. Он собирался пойти на юридический. А стал математиком. Он видел страшную старость Лобачевского,— где уж дожить до двухсот лет! Но наука о воспитании, мысль о важнейших предметах воспитания никогда не оставляла его, принимая все более простые, разумные, человече-

ские очертания. Илья Николаевич много читал в эти годы и понимал, что та же мысль — о «естественности», об уважении к природе человека, о воспитании как о помощи самой природе, а не насилии над ней — лежит во всех современных ему учениях о педагогике. Не чистая доска, на которой пиши что хочешь, не «tabula rasa», нет, ребенок — это человек, и подходить к нему надо как к человеку. Но миллионы детей, море человеческое, остаются без школы, без наставника, без грамоты, словно травинки в поле, вытаптываемые ногами... Невежество, сокращающее жизнь!

И никто из его коллег, кроме, может быть, Александра Васильевича Тимофеева, не понимал, как может он с таким страстным вниманием штудировать старые номера министерского журнала. А там были читанные и зачитанные им статьи Ушинского, там проскальзывала жизнь, практика жизни даже в сухих приказах. Там речь шла о десятках мер, принимавшихся русским обществом, чтоб догнать в просвещении другие, более передовые страны. И простая строчка о каждой новой открытой школе, о звуковом методе обучения грамоте звучала для него как песня.

Ушинский в двух старых номерах 1857 года так замечательно написал о народности в общественном воспитании. Он рассказал о различных педагогиках в различных странах, и физик Ульянов, так страстно любивший путешествия, но так мало ездивший по белу свету, словно собственными глазами видел перед собою школы английские с их воспитанием характера, выдержки, здравого смысла; школы немецкие с обширностью их образовательных предметов, с уклоном в философствование и теорию; школы французские с их внешним многознайством, с умением болтать по методу Жакото, отбросившего обученье грамматике и «налегшего на детскую память», на обезьянничанье, на легкость подражания и заучивания с налету... Но каждый народ вкладывает в школу понятие о своей народности, черты своего общего характера, сложившегося исторически.

«А мы, русские? Как и чему обучать, какую школу создать?» — спрашивал себя Илья Николаевич над книгами, делая выписки из статей Ушинского. И прежде всего самое главное — трудиться, трудиться на этой ниве, умножать освещенные места на огромнейшей темной

карте Российской империи. Как выразился Ушинский о деятельности, о труде? «Труд сам по себе... так же необходим для душевного здоровья человека, как чистый воздух для его физического здоровья...»

Лампа в его кабинете начинала коптить — керосин выгорал. Встав на цыпочки, прерывая весь нескончаемый поток дорогих ему мыслей, он дунул в стекло, потушил огонь и тотчас прикрыл стекло бумагой, чтоб заглушить чадный запах дымящегося фитиля, отравивший ночной воздух.

Ощупью шел он по анфиладе комнат в спальню жены, зная, что она еще не заснула и ждет, когда он ляжет. Наклонясь к ней и ощупью найдя лицо ее, он приложился щекой к ее щеке, в безмолвной ласке передавая ей свое сегодняшнее возбуждение мысли. Она отыскала и пожала ему тихонько руку. И установившееся между ними прочное внутреннее единство, когда и слов не нужно, сразу охватило его большим благодарным чувством душевного успокоения.

Глава одиннадцатая

МУЗЫКА И МЕРА

Каждое двадцатое число Илья Николаевич, посмеиваясь, приходил к жене прямо из передней; едва скинув пальто, вытягивал из грудного кармана толстый бумажник, налистывал, смочив большой палец, оттуда бумажек на десятки рублей, потом прятал бумажник и доставал из брючного кармана круглый кошелек. Из кошелька сыпал поверх этой кучи несколько золотых, большие серебряные рубли и мелкие деньги и, весело сказав: «считай, хозяюшка», брал себе сверху один рубль «на баню» и спешил снять мундир, вымыть руки и выйти в столовую к обеду.

На эти деньги она должна была сделать очень многое, счетом на месяц, и научилась так поступать с ними: завела ровно столько конвертов, сколько разных трат, надписывала: «сестре Федосье Николаевне в Астрахань», «за квартиру», «за дрова», «керосин», «Насте жалованье», «Илье Николаевичу починка обуви», «извоз-

чики» и прочее и прочее,— и еще один, тайный конвертик — «маленькому на туалет».

Деньги были для нее совсем новая вещь. Она никогда раньше их не имела и привыкла обращаться в жизни с продуктами, а не с деньгами. В деревне на ее руках было почти все хозяйство — куры, огород, плодовый сад. Она отлично знала, как квохчет курица, когда ходит «пустая», и как меняется квохтание, когда несется; как надо вовремя заметить наседку и посадить ее, чтоб не исчезла в саду на целый месяц, устроившись где-нибудь в густой крапиве. Умела ухаживать и за плодовым садом, опрыскивать яблони, не дать молодой яблоньке раньше времени вскормить гибельные для молодого роста плоды, а сорвет первые четыре-пять зеленых яблок и зароет тут же, у корня дерева. Все это была наука, своеобразная физиология природы, и она имела еще одну сторону: всякий раз, как эти, дорого дававшиеся и так медленно создаваемые куриные яйца, фунты клубники, молодые цыплята, сливы и яблоки обращались в деньги, то оказывалось, что деньги неслыханно дорогая вещь,— до того их мало дают за вложенный человеком в природу сложный и долгий труд. Ей была поэтому понятна скупость крестьян, продававших свои продукты, постоянно торгуясь, и ей тоже всегда казалось, что за продукты дается меньше, чем они стоят.

Когда из города привозили шерстяной отрез, Мария Александровна и его невольно прикидывала в уме — не на деньги, а на яйца, фунты яблок и ягод, битых цыплят.

А сейчас приходилось отвыкать считать на фунты и цыплят и привыкать считать на рубли и копейки, но хотя фунт мяса стоил на деньги очень дешево, все же Марии Александровне было противно и невозможно привыкнуть выливать прокисший суп, нерасчетливо наварив его столько, что и съесть некому, или мышей плодить в ненужных запасах. Она пыталась найти меру — покупать и готовить ровно столько, сколько нужно, и подметила, как соседние дамы, учительские жены, осуждают ее за это. Раза два Настя ей передала, что директоршина Агафья или шапошниковская Нила «говорят, будто бы ихние барыни говорят, что будто бы Мария Александровна скупенька». А в лицо ей восклицали: «Вы, Мария Александровна, удивительная хозяйка!»

Рядом с ними жили директор Садоков с женой, муж и жена Шапошниковы, историк Виноградский. В первые дни приезда, когда в гимназии начиналось ученье, а ей пришлось обживаться на новом месте, обзаводиться нужными по хозяйству вещами, она не имела времени на частые встречи с соседями. Но скоро в семье директора, Константина Ивановича, обнаружилось нечто очень притягательное для нее, сильно поспособствовавшее более близкому знакомству.

Садоковы жили не сказать роскошно, однако же с той степенью культурного барства, какая неуловимо отличала их квартиру от соседних учительских квартир. Было это не по причине высокого положения Садокова в Нижнем — кроме своего директорства, он служил некоторое время главным цензором, редактировал местную газету «Нижегородские губернские ведомости» — и не потому, что жалованье его намного превышало обычный заработок учителя. Но жена Садокова, Наталья Александровна, была на редкость образованной женщиной, владевшей многими языками, и отличной музыкантшей. И Мария Александровна, с детства привыкшая видеть в музыке не только удовольствие в досужий час, а и одну из необходимейших потребностей своего рабочего дня, сразу почувствовала живой интерес к ней. В гостиной Садоковых стоял рояль куда лучший, чем ее собственный, кокушкинский. В углу были тесно приставлены друг к другу пюпитры для нот, и это означало, что здесь частенько музицируют не на одном только рояле. Этажерка для нот возле окна ломилась от папок. В первый же визит к ним Мария Александровна сразу заметила на стене в рамке какой-то печатный документ на немецком языке. Ей захотелось прочесть его, но тотчас неловко стало,— она и без того уже отделилась несколько от остального общества, собравшегося сюда в этот хмурый осенний денек.

Между тем ее интерес к документу заметил один из гостей. Это был стройный человек с лицом мягкого славянского типа, больше польского, нежели русского. Подойдя к ней, он улыбнулся — лицо необыкновенно, поженски похорошело,— снял документ со стены и подал ей, поклонившись:

— Вот почитайте, каков наш город в глазах Европы!

То была вырезка из немецкой музыкальной газеты

«Neue Berliner Musik-Zeitung» [1], вырезка давнишняя, от 1850 года. Она быстро пробежала ее глазами:

«В середине великого пространства русского царства, почти в равном расстоянии от г. Санкт-Петербурга и Уральского хребта, отделяющего Европу от Сибири, лежит Нижний-Новгород. Уже несколько лет тому назад и между жителями этого города, которых число превышает 30 000, постепенно распространяющаяся в образованном классе наклонность к музыкальным наслаждениям нашла сочувствие, и музыка насчитывает теперь уже значительное число образованных почитателей, которые с ревностью и любовью следуют своему музыкальному призванию. Во многих домашних кругах города, как благодетельные последствия этого направления, образовались маленькие музыкальные собрания, в которых нашли бы наслаждение истинные друзья музыки».

И дальше перечислялось, что играли на этих собраниях. Перед Марией Александровной мелькнули имена Гайдна, Бетховена, Моцарта, Мендельсона-Бартольди, Шпора, Феска, Рейсигера... а за ними фамилии исполнителей. Но разобрать их она не смогла, тень упала на строчки,— это Илья Николаевич подошел сзади и через плечо ее стал тоже читать документ. Он читал медленно, добросовестно шевеля вслед читанному губами, и вдруг остановился нахмурившись. Образованный класс, среди образованного класса!.. Как будто любовь к музыке не родилась в народе, как будто не поет, не играет народ...

— Что вас тут остановило? — грудным, приятным голосом спросила, подходя к ним, директорша, а вслед за нею и другие гости, беседовавшие ранее с директором. Медленно, шагая вразвалку, подошел и сам Константин Иванович.

— Да вот ссылка на образованные классы...— прокартавил Илья Николаевич, быстро оборачиваясь и делая любимое свое движение плечом, выражавшее недоумение.— Немцам тем более стыдно писать это. Немцы так много исследовали народную песню... Разве одни только высшие классы любят мызыку?

— Ах, господин Ульянов, речь не о народе, не о деревенском мужике. Посмотрели бы вы, какое общество застал тут папаша!

[1] «Новая берлинская музыкальная газета» *(нем.)*.

— Александру Дмитриевичу пришлось изрядно потрудиться над здешними жителями, чтобы превратить их в меломанов! — вставил Садоков и свое слово.

А молодой человек с милым славянским лицом, кого здесь называли Александром Серафимовичем, стал подробно рассказывать об отце директорши, Александре Дмитриевиче Улыбышеве.

Впрочем, про Улыбышева Ульяновы и сами уже знали. Как-то, проходя с учителем рисования Дмитриевым по Малой Покровке, они увидели большой каменный особняк. Пять лет назад умер его хозяин, и весь Нижний шел за гробом, сказал их спутник. И как много интересного услышали они об этом большом барине, засыпавшем, словно в тридцатые годы, только под сказки своей дворовой нянюшки; об его прелестном помещичьем доме в Лукине, где учитель рисования бывал не один раз; о страстной его любви к музыке, к театру, о квартетах, составлявшихся у него на дому, об его почти что религиозном культе великого Моцарта!

— Я не знала, что вы урожденная Улыбышева,— сказала Мария Александровна, внимательней вглядываясь в пухлое, круглое лицо директорши с умными, немного властными серыми глазами.— Ваш батюшка имеет печатные труды по музыке?

— Вот они,— отозвалась директорша и тотчас невольно перешла на французский язык, может быть потому, что книги отца были написаны по-французски: — Ils sont bien disputés dans le monde musical [1].

— Et bien connus [2],— тотчас же вставил Садоков.

Мария Александровна взяла из рук директорши три маленьких томика с длинным заглавием: «Nouvelle Biograhie de Mozart, suivie d'un aperçu sur l'histoire générale de la musique et de l'analyse des principales oeuvres de Mozart par Alexandre Oulibicheff, membre honoraire de la société philharmonique de St.-Petersbourg» [3]. Они были изданы в Москве ровно двадцать лет назад.

Дискутируют, собственно, главным образом не «Мо-

---

[1] Их сильно дискутируют в музыкальном мире *(франц.)*.

[2] И очень известны *(франц.)*.

[3] «Новая биография Моцарта с замечаниями на общую историю музыки и анализом основных произведений Моцарта, написанная Александром Улыбышевым, почетным членом Филармонического общества С.-Петербурга». *(франц.)*.

царта», а вторую, вот эту книгу папаши,— добавила уже по-русски Наталья Александровна, протягивая ей новый, отлично изданный том.— Она вышла только за год до его смерти за границей.

Вторая книга выглядела солидней, и заглавие ее было чуть короче: «Beethoven, ses critiques et ses glossateurs» [1].

— В нашей семье очень любят Бетховена,— краснея, сказала Мария Александровна. Ей захотелось прочитать обе книги, попробовать этот чудесный концертный рояль Садоковых. А среди гостей пошли бесконечные воспоминания об Улыбышеве.

Александр Дмитриевич был действительно колоритнейшей фигурой в колоритном Нижнем-Новгороде, и дочь его нисколько не преувеличила, сказав, как много пришлось ему потрудиться, чтоб сделать из своих сограждан меломанов.

— Не в народе, а именно в нашем так называемом высшем обществе был дикий взгляд на музыку, и с ним пришлось бороться Александру Дмитриевичу,— горячо заговорил Александр Серафимович.

Шепотом справившись у соседа, Илья Николаевич узнал, что фамилия молодого оратора Гацисский. А тот продолжал:

— Чем занято было общество? Единственные разговоры: кто сколько нанес кому визитов или кто сколько по́лек отхватил без передышки. В театре судили не пьесу, не игру актера, а пышные формы госпожи такой-то на сцене... Это сейчас мы говорим о судебной реформе, о волостных судах, о судах присяжных, а в те дни прислушались бы вы к нашему образованному классу! Вкусы в музыке дальше модной кадрили «Десять невест и ни одного жениха» да пародии на гусарский романс «Крамбамбули» не заходили. А господин Улыбышев страстно горел музыкой, сам прекрасно играл на скрипке, приглашал из Москвы знаменитых исполнителей. Дом его был открыт для любого причастного искусству — от графинь до уличного бродяги-певца. К нему ездили и многие литераторы, счел своим долгом зайти за месяц до его смерти даже ссыльный поэт, известный Тарас Шевченко, проездом из Оренбургской ссылки. Правда,

[1] «Бетховен, его критики и его комментаторы» *(франц.)*.

уже был тогда прикован к постели Александр Дмитриевич, и свидание не состоялось... Но вы бы послушали, как хорошо говорил Александр Дмитриевич о музыкальном образовании народа... Да, да, господин Ульянов,— повернулся он к Илье Николаевичу,— вы совершенно тут правы, народ — исток музыки, но речь идет не о стихийности, не о песне устной — о той самой музыкальной грамоте, которая, как и словесная грамота, нуждается в школе, школе и школе.

Увидя внимательные лица вокруг, Александр Серафимович чуть кашлянул, чтобы согнать хрипотцу, и продолжал с увлечением:

— Когда я в первый раз облачился в студенческий мундир — а вы знаете наш мундир с этакими чуть не гвардейскими обшлагами и стоячим воротничком с золотом, под самые щеки,— пошел представиться в новом своем виде Александру Дмитриевичу. Он меня мальчиком знал, когда я на флейте играл. Так вот посмотрел на меня. «Из этакой маленькой флейты,— говорит, и вдруг такой большой фагот!» Меня после этого в Нижнем так и называли большим фаготом. И тут мы с ним хорошо поговорили. Он мне в подробностях рассказал, как проезжал чешскую землю и буквально из каждого деревенского окошка то флейту слышал, то скрипку, то фагот, а на какой-то станции четыре крестьянина угостили его таким гайдновским квартетом, что дай бог в Петербурге услышать. Это не народная песня. Это музыкальная культура народа. «Я гордился, что славянин,— говорил мне господин Улыбышев,— но я хотел бы учить наш великий, наш музыкальный народ, чтоб он с листа читал музыку, держал дома инструмент, находил, как чехи, в музыке выражение души своей...»

Гацисский весь раскраснелся, и его необыкновенно привлекательное овальное лицо с глубокими, большими глазами, его чуть вспотевшие на висках волнистые, длинные волосы показались Илье Николаевичу вдруг удивительно знакомыми.

— Погодите, погодите! — неожиданно воскликнул он, вглядываясь в него попристальней.— Да ведь, Александр Серафимович, я вас знаю. Вместе учились. Вы на юридическом. Вы в Казанском университете кончали?

Но Гацисский, хоть и учился одновременно с физи-

ком, никак не мог припомнить его. Зато они сразу вместе, перебивая друг друга, разворошили множество общих воспоминаний.

С того дня Ульяновы ближе познакомились с соседями. Почти в каждой квартире нашлись музыканты. Наталья Александровна пела, учитель Шапошников играл на скрипке, а Виноградский мог играть решительно на всех инструментах, требуя себе на подготовку не больше как полчаса. Умел он и сам их изобретать из щипцов, гребешков, ликерных графинчиков и дразнил Марию Александровну, составляя шутовские ансамбли.

Так нехитро и нескучно повелось у них проводить вечера — с музыкой для одних, с картами для других — то в одной, то в другой квартире. Заведено было и чтение вслух — читали романы из «Русского вестника» и зажигательную полемику между «Современником» и «Русским словом» со статьями Писарева и Зайцева. Но общим любимцем был знаменитый Дудышкин из «Отечественных записок».

Илья Николаевич завел себе токарный станок и в короткие промежутки между занятиями выточил фигурки к любимой игре своей — шахматам. Часто под тихую женину музыку поигрывал он теперь в эти собственного изделия фигурки с забредшим на огонек сослуживцем.

Ему очень хотелось еще разок повидать их случайного знакомого, Александра Серафимовича Гацисского. Как и писатель Короленко несколько лет спустя, как и другой нижегородец, Максим Горький, увлекшийся Гацисским уже после его смерти, Илья Николаевич почувствовал сердечную тягу к Гацисскому. Но Александра Серафимовича в те дни поймать было почти невозможно. Садоков взвалил ему на плечи редактирование «Нижегородских губернских ведомостей». Один-одинешенек — впрочем, вдвоем с единственным наборщиком — ухитрялся он сам и составлять, и набирать, и печатать газету, необычайно оживляя ее «Неофициальный отдел». Поднимал в нем новые вопросы, отовсюду выискивал свежую информацию, даже почин положил неслыханному в газетах новшеству: привлек десятки доброхотцев-корреспондентов из Балахны, из окрестных деревень. Когда нижегородская гимназия вместе с дворянским институтом устроила заседание педагогического совета, чтоб сообща

обсудить устав общеобразовательных учебных заведений, Гацисский показался на совете, сидел, слушал и заносил в книжечку. Поговаривали, что он пишет большую и смелую статью. Илья Николаевич очень ждал эту статью, но она не появилась. Ее запретила цензура.

Летом 1864 года Мария Александровна почувствовала себя неважно и прилегла — она ждала в августе ребенка.

Ей было двадцать девять лет. Для первых родов это считалось серьезным возрастом, особенно в те годы, когда девушек выдавали замуж в пятнадцать лет. Илья Николаевич не на шутку взволновался и как-то, присев к ней на кровать, предложил выписать свою мать из Астрахани. Он не часто говорил о семье, жена только угадывала в нем горячую скрытую любовь к этой семье. Но у нее вырвалось:

— Нет, уж если выписывать, лучше папу выписать, он врач.

Илья Николаевич вздохнул и уступил, но сердце в нем сжалось,— вспомнилась сухонькая старушка мать, за неграмотностью продиктовавшая брату Василию свое благословение на брак, и ее ласковые шершавые ладони, какими она взяла его за голову, чтобы прижать к себе, когда он знатным гостем, кончив университет, заехал домой.

— Ну что ж, ты права, напишем в Кокушкино.

Но Марии Александровне уже стало стыдно. Она отвернулась лицом в подушку, держа мужа за руку. Слегка пожала его ладонь:

— Никого не надо выписывать, обойдусь и сама.

Скоро у них родилась дочка. Обе бабушки, с материнской и отцовской стороны, были Анны, и своего первенца Ульяновы назвали Анной.

Теперь в детской стояла люлька. Илья Николаевич прибегал в комнату на цыпочках, и все в этой комнате, ставшей немного таинственной для него, приобрело какой-то особенный звук и запах. Звуков он различал два: легонький сип, как тогда на пароходе, словно ногой наступили на мячик или мехи захлопывают и выходит воздух наружу,— это существо в люльке располагалось к плачу; и легонький чмок, когда в полутьме комнаты жена сидела в кресле, приподняв одну ногу на скамеечку, расстегнутая, с белой набухшей грудью поверх лифчи-

ка,— и дочка вбирала эту грудь в кулачки своими тоненькими, едва ощутимыми пальцами. Ножки ее, прикрытые простыней, тоже сгибались в ступнях и опять растопыривались в такт чмоканью и сосанью.

— Мне, Илья Николаевич, не нравится ее нервность. В кого она такая нервнушка?

— Да в чем ты видишь ее нервность?

Он глядел и видел ребенка, каких тысячи и миллионы. А мать уже разбиралась, в ней рос свой опыт, отдельный от его, отцовского.

Она видела в Ане черточки, унаследованные, как ей казалось, от несلаженности и шероховатости их первого года в Нижнем. Стоило во время кормления хоть шепотом заговорить с кухаркой или с мужем, девочка резко откидывала головку и затягивалась плачем. Приходилось брать ее на руки, долго носить и носить, а потом ловко подсунуть сосок к губам, чтоб, забыв обиду, она снова начала чмокать. И мать стала по-своему с первых дней искоренять эту нервность. Сколько раз ей хотелось исцеловать свою девочку, когда та, лежа перед ней распеленатая, еще не держа головки и не сводя глаз в фокус, закатывала большие молочные белки под самое веко и пузырила слюнки на губешках в неизъяснимом удовольствии житья-бытья на белом свете. Но Мария Александровна, к удивлению соседок, вела себя с ней, как с десятым ребенком: и материнскую страстность сдерживала и от плача головы не теряла. Оставив капризницу кричать сколько ей вздумается, она методично готовила все, что нужно для пеленания.

Так в хлопотах прошла вторая зима в Нижнем, прошло лето, и опять началось учение в классах под снежные ветры и вьюги с Заволжья, под трескучий мороз и сухой воздух, снежинкой налетающий в фортку.

Глава двенадцатая

ВЫСТРЕЛ КАРАКОЗОВА

В первый же праздник рождества в семье Ульяновых зажгли елку. Илья Николаевич никогда в детстве не был на елке, да у них в Астрахани и достать-то ее бы-

ло неоткуда. Но Мария Александровна задолго до праздника съездила в магазин и привезла домой вату, клей, цветную папиросную бумагу, золотую и серебряную бумагу, позолоту в баночке, проволоку, картон. С большого стола в детской убрали скатерть, зашуршала бумага под маленькими железными ножницами, запахло клеем, посыпались на пол красивые пестрые обрезки.

Мария Александровна золотила грецкие орехи и кончиком ножниц втыкала туда, где оторвался орех от стебля, петельку из канители, клеила длинные цепочки из тонко нарезанной золотой и серебряной бумаги, делала из картона баульчики и корзиночки, обклеивала их цветной бумагой и украшала переводной картинкой. Проволоку она обертывала в зеленые обрезки, на конце укрепляла разноцветные лепестки, и в одну минуту из-под пальцев ее выходили мак, незабудка, маргаритка, но венцом этой кропотливой волшебной работы был белый ватный Дед Мороз в остроконечной позолоченной шапке, с палкой в руке и мешком за плечами.

Пальцы у Марии Александровны становились сухими от клея и ножниц, она покашливала,— в воздухе летали ворсинки ваты, даже прическа растрепывалась, даже передвигались часы обеда и ужина,— и однажды утром над спящей в люльке Аней, в самом углу комнаты, поставили тяжелое лапчатое дерево. Елка была свежая, густая и крепкая, она стояла прочно на деревянной крестовине. От нее шел чудесный дух праздничного кануна, дух вечного детства. Когда зажгли свет, на стене колыхнулась от нее тень, и вся комната стала призрачной.

Украсив елку, Мария Александровна ушла в столовую, села за открытый рояль. И долго, за полночь, играла свои любимые песни, подпевая себе. В этот день она не захотела пойти к соседям, хотя их звали и были готовы зеленые ломберные столы для игры.

Жизнь страны доходила до них глухо, как море. Казалось, что история катилась по ровной дороге и что все было прочно. Весной, когда Аню стали сажать на высокий деревянный стул и прикармливать толокном из тарелочки, Нижний-Новгород вместе с другими русскими губернскими городами готовился к торжественному юбилею. Исполнялось сто лет со дня смерти великого самоучки Михайлы Ломоносова. Журналы напечатали предложение отметить день этот учреждением ломоносовской

поощрительной премии. Учителя словесности готовили речи на актах, печатались приглашения посетить гимназию и прослушать художественные номера музыкально-литературного утренника. Но перед самым юбилеем торжество было сорвано.

К Шапошникову приехал сын его и наследник, студент Гавря, будущий Гавриил Гавриилович второй, прикатил неудачно домой, и не один, а с таким позором всему их дому и положению в городе, с таким срамом для отца, статского советника, что не до Ломоносова, не до юбилейного скандала было учителю словесности: Гавря приехал, исключенный из университета, под негласный надзор полиции.

В первые дни квартира Шапошниковых была наглухо заперта для посторонних. Даже кухарка Шапошниковых отмалчивалась и сторонилась чужих кухарок. Не слышалось в коридоре и криков, хотя законоучитель, отец Варсонофий, высказался в том духе, что сгоряча не худо бы отцу и посечь сына. Потом двери открылись, но квартира была уже пуста,— Гаврю отправили в деревню к тетке. И тут у Гавриила Гавриловича развязался язык, и оказалось, что он получил от сына в спорах и разговорах множество драгоценных сведений на самые животрепещущие темы. И, между прочим, насчет юбилея.

Юбилейный скандал учинил, оказывается, Писарев в журнале «Русское слово». После ареста Чернышевского и шестимесячного закрытия петербургский «Современник» едва дышал. Книги его еще раз сверкнули читателю романом «Что делать?», написанным в крепости и как-то счастливо и неожиданно проскользнувшим в печать по недосмотру цензуры, но это было последней его вспышкой. «Современник» правел и плыл в тихую заводь статей Антоновича. На смену ему в Москве гремели тощие книжечки «Русского слова», где Писарев жестоко кусал Антоновича, задевал даже Чернышевского, чье имя нельзя было произносить в печати. А перед самым юбилеем Писарев напечатал о Ломоносове статью, где превознес черты народные и самобытные богатырской его личности, для контраста сопоставив их с Пушкиным, над которым и учинил он знаменитую свою расправу.

Чем и почему был велик Ломоносов? Тем и потому, что он был выходцем из бедного крестьянского рода,— так ответил сам себе Писарев,— пришел в Москву по

столбовой дороге, полуграмотный и в лаптях, брал науку с боя, теснил к стенке дворянских недорослей, привык к независимости, никак и ни разу не поклонился ни в чьей передней. Пушкин же, мол, был представителем изъеденного низкопоклонством, оторванного от народа, утерявшего самобытность, ничтожного и пустого дворянского класса, и недостатки его характера, легкость и поверхностность — все это были роковые черты среды его,— вот что вычитывалось из статьи Писарева. Это была классовая критика — и в то же время критика класса. «Отечественные записки» ответили благородно-негодующе. Молодежь зачитывалась Писаревым и глумилась над Онегиным и Татьяной. Ломоносовский юбилей провалился. И еще потому провалился, что...

— Вы представляете моего Гаврю, мо-его Гаврю! — Шапошников развел руками.— Отец — словесник, двадцать лет учит Пушкина понимать, а родной сын — писаревец. И знаете,— тут Шапошников понизил голос и шепотом, оглянувшись по сторонам, пробормотал: — Четвертое апреля... Вот в чем секрет. Вот почему наверху не было сочувствия юбилею. Четвертое апреля, понимаете?

Юбилей Ломоносова не был поддержан царским правительством, на него не было отпущено ни копейки, и в этот день царь и двор, министры и министерства, быть может, и проснулись бы и заснули, даже не вспомнив о Ломоносове,— «русской власти» ни малейшего не было дела до русских народных гениев и их юбилеев, не подоспей донесение III отделения об осторожности в отношении даты.

Четвертое апреля сделалось пугалом. Дописывая в крепости последние страницы «Что делать?», Чернышевский, в томлении по жене, позволил себе, как он часто делал потом, помечтать о своей «голубочке», и тоска его выливалась в образе «дамы в черном», вдовы живого мужа, чье имя нельзя произнести вслух.

Но черная дама спустя два года оделась в розовое, человек средних лет едет с нею в коляске. Злонамеренный автор подразумевает, конечно, себя и свою свободу, он дает срок, он предрекает революцию, раскрывающую перед ним стены крепости... И под страницей, заканчивающей роман, поставив точку, пишет дату — четвертое апреля.

«Сие может оказаться дурным пророчеством и призывом к революции на четвертое апреля»,— говорили в III отделении. И ломоносовский юбилей был негласно приглушен.

Через полтора года после рождения первой дочери, в четверг на каникулах, тридцать первого марта 1866 года, у Ульяновых родился сын. Аня ходила вокруг него, обеспокоенная вторжением чужого, потом, не вытерпев, подошла к люльке — люлька была ее собственная и мама была ее собственная,— ухватившись за край люльки, она стала изо всех сил трясти ее, чтоб вывалить непрошеного гостя.

— Ай, стыд какой, барышня! Ай, нехорошо!

Мария Александровна подняла с подушки томные глаза на дочку. Вот уже у нее их двое, и новый так тих — это мальчик, в семье у них было пять девочек и только один братец, но так намного старше ее... Она закрыла опять глаза.

— Уведите ее погулять, Настя.

В последнее от пасхальных каникул воскресенье Илья Николаевич провел весь день с нею и детьми. С утра выставили рамы, раскрыли окна, и в них потек легкий дух весны, смешанный, как вода с вином, еще пополам с осенью — с запахом прошлогоднего прелого лета и подсохшей земли. Его беспокоило состояние жены, непонятное, непохожее на прежнюю деятельную ее натуру, нежелание подняться, побороть слабость. Подсев к ней, он рассказывал городские новости и, увлекшись, опять говорил о своих таксаторах, с которыми скоро должен был начать занятия. Прибудет и заработка, сейчас это не пустяк.

Но как ни старался Илья Николаевич, он не мог растормошить ее,— в страшной тоске после вторых родов, равнодушная к таксаторам и к лишней сотне, бледная от потери крови, жена лежала весь день, лежала и следующий.

В понедельник, четвертого, он опять сел за стол один, а после обеда прилег по привычке на полчаса уснуть у себя на диване.

Все в доме спокойно, шторы спущены, захожий итальянец крутит на дворе тягучую баркаролу, и звуки шарманки коротко, сипло выскакивают, как молоточками молотят, а им вторят первый весенний грохот колес

по булыжнику, дальний гудок чугунки — только-только открылась Московско-нижегородская железная дорога,— и вдруг громкий и частый стук — не на улице, не на дворе. Стучат из коридора в кабинет мужа. То могла быть почта, мог быть курьер, но, непонятно пугаясь, она встала с постели, выхватила запеленатого сынишку из люльки и, качаясь от слабости, чтобы не потерять равновесие, быстро побежала через все комнаты в кабинет.

Муж сидел в спущенной рубахе на диване, а в дверях стоял бледный до дурноты Шапошников и дошептывал:

— Четвертое апреля помните?

— Тише! Не пугайте жену!

Но она уже слышала:

— Что такое? В царя стреляли? Кто? Когда?

— Сегодня по телеграфу передавали... Царь жив, сейчас начались молебны в церквах...

Мария Александровна неровной походкой, клоня руки с ношей от слабости, пошла из кабинета. Настя выхватила у нее ребенка.

Известие было дико, думали, что это ошибка, что стрелял сумасшедший. Весь Нижний, знакомые и незнакомые толковали о происшедшем на папертях, в оградах церквей, среди улиц и тротуаров. Извозчики и ломовые останавливали лошадей в толпе и тоже вступали в разговор. «И-их, и разорвать бы его на клочки,— говорили про убийцу.— Это он за волю в царя стрелял, не иначе как помещик».

По мелочам, из писем, газет, шепотов и разговоров по секрету, со дня на день составлялся связный рассказ о том, что произошло в Петербурге.

Царь любил прогуливаться в Летнем саду. Об этих прогулках знал весь Петербург. Провинциалы, приезжая в столицу, шли на царя, как в театр,— у выхода из Летнего всегда была толпа. И четвертого апреля он, как обычно, медленно ходил по дорожкам, мелькая между деревьями военной шинелью с аксельбантами, а потом вышел из сада и уже был в двух шагах от экипажа. Народ подался вперед,— царь шел своей гибкой, танцующей походкой, и за отворотом шинели был виден его уланский мундир в обтяжку и любимый царем прусский орден на груди. Вдруг высокий сутулый человек выступил из толпы, выхватил из-под длинной своей крылатки пистолет и выстрелил. Но пуля пролетела мимо: ко-

стромской мужик Осип Комиссаров спас царя. Он почти непроизвольно, как в драке, ударил убийцу кулаком по руке, и тот промахнулся.

Стрелявший кинулся бежать. Его окружили, схватили, подмяли. Царь нутряным, не своим голосом приказал подвести к нему убийцу. Десятки доброхотцев, тяжело дыша, в полубезумном, охотничьем угаре подвели к нему пойманного человека. Бред горел горячечным румянцем на лицах людей, бред горел и в моржовых, выпуклых глазах царя.

— Ты не русский?

— Чистый русский.

— Почему стрелял?

— Потому что ты обманул народ! Обещал землю и не дал земли.

Царь махнул рукой — на сутулого опять навалились и яростно, в собачьем торжестве и ненависти, когда хотят и не смеют разорвать дичь в зубах, втолкнули его в карету.

Арестованного допрашивали день и ночь — он молчал. В III отделение сыпались письма советчиков: предлагали особые виды пыток, допроса, казни. Отставной коллежский регистратор Михаил Миринин писал: «Опыт допрашивания посредством сонных бредов преступников, предложенный мной вашему превосходительству, я полагаю, очень важен к злодею царя. Это не есть пытка, но нужно знать, чем вывести бред, в какое время, с чего начать опрос и предложение, что впоследствии удивит бессознательного, и он должен будет подтвердить прочитанное, а к этому нужна небольшая магнетизация, почему предлагаю мои услуги для исполнения». На этом письме III отделение пометило: «Принять к сведению».

Чтоб не дать ему спать, два жандарма сидели день и ночь рядом с ним и будили его. Он стал болтать ногой в дреме, приучая себя к механическому движению во сне. Жандармы заметили хитрость и стали толкать его каждые пять минут.

Царь ежечасно запрашивал у комиссии, как идет следствие. Но ответить царю было нечего — арестованный упорно ни в чем не признавался.

Через три дня был назначен в следственную комиссию сам усмиритель поляков, граф Муравьев, любивший

говорить о себе: «Я, господа, не из тех Муравьевых, которых вешают, я из тех, кто сам вешает...»

А в обеих столицах тем временем праздновали спасенье царя. Комиссарова, возведенного в дворянское звание, и жену его, сочинившую себе титул «супруги спасителя», возили по бесконечным банкетам, поили шампанским, восхищались манерами, выговором, словечками Комиссарова, находили в нем, словом, «истинно-русскую душу» на французский манер.

В немецком юмористическом журнале «Кладдердайч» предки Патов и Паташонов, два болтливых соседа — Шульц и Миллер — высунулись из своих окошек и разговаривали:

— Вы слышали, что в царя стреляли?

— Слышал, слышал. А не знаете кто?

— Дворянин.

— А кто спас царя?

— Мужик.

— А что дали ему за это?

— Возвели в дворянство!

Писатель Лесков-Стебницкий в «Отечественных записках» подал царю «челобитную». Он был прозаик, но «челом бил царю» былинными верноподданными стихами, словно базарная кумушка вдруг нараспев запричитала:

> Мы, надежда-царь, не вступаемся
> В дело страшное, на Руси святой
> Небывалое! От *«него»* вся Русь
> Отрекается.

«Он», напечатанный жутким в стихах курсивом, был все еще неизвестен.

Через неделю Илья Николаевич вошел после уроков в свой кабинет с серым лицом и негромко сказал жене:

— Маша, узнали фамилию убийцы.

Она подняла голову от шитья.

— Каракозов... пензенский... наш.

Он походил, походил по комнате, взглянул на нее тяжелыми глазами, словно ночь целую не спал:

— И Странден тоже арестован!..

Илья Николаевич не сказал жене, что из пензенцев арестованы не только Странден, а в их числе и те, кому он сам, своей рукой дал рекомендательные письма, чтобы облегчить им доступ в университет.

— Ну, давай есть.

Он ел медлеино, тяжело, не доел обеда, вышел на улицу. Ему хотелось говорить и слушать, понять что-то. Чего хотят эти люди? Он вспомнил Каракозова — высокий, болезнеииый, с перхотью иа плечах, чуть заика, с бесхарактерными бровями и точно удивленным, скошенным ртом,— подбил его кто-нибудь на такое дело? И, боже мой, что ждет его!

Вот бы Захарова встретить! Но нет, уж лучше не иадо Захарова.

А Захаров сидел в низкой, душной харчевне, куда с улицы шли вииз пять ступеней, пил чай рядом с извозчиком. Он знал, что его притянут, и ждал ареста. «Авантюрист, истерик»,— раздраженно думал Захаров о Каракозове, и тут же едкая боль за ученика пронзала ему сердце.

Сменив чай иа стопку, а стопку иа косушку, закусывая черным хлебом, круто посоленным, он ломал в воображении какие-то высокие дворцы, ломал на куски лицо поколения, и это любимое лицо осыпалось, переставлялось, как печатают иа афишах разиоцветные половинки цирковых клоунов, не сходящиеся в аккурат. Снова, выплывая из сумрака его помрачениой памяти, представлялись ему то маленький желтолицый Ишутии с его манерой вечно на что-то таинственно намекать, то этот долговязый его Лепорелло, иесчастный Митя Каракозов,— и острая, горячая волиа иенависти, истекающей любовью, как бывает, когда твой самый близкий, твой кровиый иатворит что-то в непоправимый вред себе, охватывала его физической, невыносимой дрожью. И бешенство от страшиого бесплодия этого выстрела!.. Так ли бороться надо, бороться, чтобы вывести к свету общество? Новый тип человека, вертающий колесо истории, выброшен был, казалось Захарову, слизистым комком, недоноском, не тем, не того отца, не той матери. Где оии — сильные, ясиые, добрые, умные,— «их еще мало, но будет все больше»,— где воздух и тон романа, писаниого в Алексеевском равелине, вериый и точиый звук, поданный камертоном Николая Гавриловича? Куда идем мы? Что будет с Россией? Он встал, сутулясь, обеими руками натягивая картуз на глаза,— он никогда раньше не пил.

Поднявшись по скользким ступеням в мучные ряды, перепачканный белым, он шел тихонько вдоль стен, словно терся о них своим старым мундиром,— мера его понимания жизни исполнилась: учитель Захаров сходил со сцены...

Уже Каракозова сняли с виселицы и в простом гробу, обвязанном веревкой, увезли со Смоленской площади, мимо глазеющего народа. Уже Ишутина отправили в вечную каторгу—сходить с ума и бегать в арестантском халате от стены к стене, бормоча несвязные речи. В двадцатилетнюю каторгу — полного сил и жизни умницу Странден а— за то, что готовил побег Чернышевскому из Сибири. Обыски, аресты, взятие под полицейский надзор посыпались на самых, казалось, благонадежных. И делать газету в провинции становилось все трудней.

Гацисский, правда, еще не сдавался. Но доносы, один за другим, поступали на него губернатору от местных тузов. «Преувеличенно и тенденциозно пишете»,— ставил губернатор на вид Гацисскому, повторяя выражения жалобщиков. Издание местного «Нижегородского сборника» — мечта Гацисского — провалилось. По Нижнему ходило крылатое словцо Валуева: «России не нужна областная печать».

А Герцен в «Колоколе» писал: «Выстрел 4 апреля растет не по дням, а по часам в какую-то *общую беду* и грозит вырасти в страшнейшие... бедствия. Полицейское бешенство достигло чудовищных размеров... Темные силы еще выше подняли голову, и испуганный кормчий (так поэтически назвал Герцен Александра Второго) ведет на всех парусах чинить Россию в такую черную гавань, что при одной мысли о ней цепенеет кровь и кружится голова».

Глава тринадцатая

ИГРА В ПУТЕШЕСТВИЕ

Ульяновы назвали своего мальчика Александром, по деду с материнской стороны.

У них уже третий ребенок — дочь Ольга,— не жилица на белом свете, как шепотом, глядя на ее тихие, грустные глаза, судачат кумушки в коридоре.

Опять пошла жизнь, но что-то произошло в этой жизни, как тогда в Пензе,— Илью Николаевича потянуло вон из Нижнего, вон из привычной, знакомой среды, подальше от ставшей ему постылой квартиры и соседей по коридору, знакомых шумливых улиц с хрустом железных колес по булыжникам, с пылью и вонью пристаней,— уйти, уйти, но куда уйти? Он хотел прежней широкой замашки на жизнь и работу, ночных часов бдения над книгами и тетрадями, яркого звездного неба над головой,— а ему пошел тридцать шестой, он уже начал, наскучив бритьем, отпускать себе бороду, и возбужденные, яркие, талантливые минуты, когда кровь приливает к мозгу, стали сменяться тяжестью и усталостью.

Преподавание Ульянова тоже стало меняться. Раньше, бывало, он юношей вбежит в класс, возьмет классный журнал, подсядет сбоку на первую парту и делает вид, что ищет, кого бы вызвать, а вызовет все равно по алфавиту:

— Авейкиев!

Рыжий Аверкиев не спеша встает, не спеша чешет раннюю бородку и задушевным басом, словно это между ними заранее условлено, сообщает:

— Я, Илья Николаевич, сегодня не читал.

— Ай-яй, Авейкиев, как же это? Опять не пъиготовили уока? Вот я вам точку поставлю, а в съедующий г'аз спъошу вас.

И маленькая, деликатная точка ставится в журнале, чтоб от нее женственным почерком физика мелко и опрятно отросли в дальнейшем два полукружия тройки или даже сама четверка. Но кончится опрос, физик кладет журнал на кафедру и медленно, заложив руки за спину, опустив голову, начнет прохаживаться по классу. На партах движение. Близорукие Городецкий и Добрезраков шумно выходят из задних парт и, тесня первый ряд, усаживаются поближе к Илье Николаевичу, глуховатый Трифонов оттопыривает ухо горстью, кое-кто раскрыл тетрадь, карандаш наготове, и уже Илья Николаевич подходит к доске, и уже под скрипящим и вдруг осыпающимся крошками на мундир мелком возникают ажурные миры на доске, и глаза следят за их кружевным хороводом, завороженные.

Но сейчас и на уроке не тот Илья Николаевич. Он думает о таксаторах. Вспоминает бородатые лица, окаю-

щие волжские простонародные голоса, большие руки на партах, вопросы о самом жизненном,— запах земли, древний запах земли вдруг мерещится ему в пыльном классе, и опять странное, необузданное желание уехать, уехать, сняться с места мучает Илью Николаевича. Он уже не вызывает и по алфавиту. Утомленно ищет среди ленивых лиц повыразительнее, посмышленее.

А дома жена с тяжелыми красными веками над заплаканными глазами. Третий ребенок, девочка Ольга, и в самом деле умерла, и матери кажется, что Оленька была краше и лучше всех, что не будет конца тоске по ней, разве вот только еще родить девочку и назвать, как покойную. А Саша и Аня забыли сестричку.

Пока стареют и устают родители, для них этот родительский мир словно первая весна на земле. Ане четыре года. Саше два с половиной. Они гуляют за руку по откосу, играют вместе на коврике, и Ане кажется, что весь мир для них особенный, мама особенная, и никогда никто никуда не уйдет из этого мира. Аня худа и смугла, обещает хорошенькую. Ее портят большие уши. Но Саша и сейчас красив. Тихий мальчик, задумчивый, очень спокойный,— хворает редко, плачет редко, не жадничает на игрушки. Мать обшивает детей сама — для Саши русские рубашки и шаровары в сапожки, для Ани узкие платьица, расшитые тесьмой, криво чуть-чуть, но по моде, и длинные кружевные панталончики из-под платья.

Няни нет — все делает мама. И гулять на откос водит мама. Она опять стройна, как в девушках, а ей уже за тридцать. Прохожие заглядываются на нее.

Соседки уже привыкли к ее манере хозяйничать и воспитывать детей, но за глаза нет-нет да и посудачат. По-европейски культурная Наталья Александровна, рыхлая и добродушная Шапошникова, веселая Виноградская, затевающая суматоху с детьми,— они были во всем разные, у каждой было что вспомнить из собственного детства. Одна выросла в дворянском поместье, где все велось на широкую ногу, другая — в купеческом доме, с киотами по углам комнат, мерцавшими днем и ночью желтым огнем лампад; третья — в полковых переездах, в постоянно сменяемых, на скорую руку обставленных офицерских квартирах. Но при всей разнице в воспитании они сходились на том, что Мария Александровна «мудрит с детьми». В чем мудрит — было не совсем ясно.

Если разобраться, дел и забот у взрослых всегда по горло, и дети — так думалось Наталье Александровне — естественный сопровождающий элемент в семье. «Как это можно — без детей»,— говорила и Шапошникова, а Виноградская иной раз, вспоминая собственную жизнь, вздохнет, и вырвется у нее: «Что вы там ни говорите, а дети — такая обуза! Дети пойдут — и скажи прости личной жизни».

На дочерей в семье Улыбышевых ничего не жалелось. Сколько бонн и гувернанток встает в памяти Натальи Александровны! Бонны выписывались из Германии; гувернантки — англичанка, швейцарка, француженка — переходили с рекомендациями из других знатных семей. И с первого дня, как приезжал новый человек в дом, Наташа Улыбышева подсматривала из-за дверей, а эти новые люди — худая англичанка с длинной шеей и влажными, словно слезились они, глазами; круглая, кудреватая швейцарка, стучавшая по паркету каблучками; или очень бледная, кареглазая, с нездоровым лицом и в рюмку стянутой талией француженка,— обязательно, прежде чем с девочками, знакомились со взрослыми и позднее тоже как будто интересовались больше взрослыми, чем своими питомицами. Наталья Александровна помнит, как они проходили в кабинет к отцу, и скоро неслись оттуда непринужденные речи на иностранных языках о том о сем, больше о принципах воспитания вообще. И обязательно выслушивал новый человек родовую историю странной фамилии Улыбышевых, как защитил грудью один храбрый русский воин князя Димитрия Донского и тот отдал за него в благодарность свою единственную дочь Улыбу; «мы народ улыбающийся, nous sourions à nos malheurs»,— шутил отец. Гувернантки улыбались в ответ. В общем, это было превосходное воспитание и образование при всей безалаберщине и суете в доме. Но когда устраивались балы или музыкальные вечера в их деревянном лукинском доме, полы трещали и стены дрожали в детской, двери хлопали в коридоре, голос француженки, спешившей послушать музыку, только досадой звучал, когда она забегала в детскую: «Пст, пст, dormez, dormez, ma mignonne» — словно девочка сама была источником шума и не желала заснуть; и никто не обращал внимания на перекочевку ее из классной куда-нибудь в мезонин, передвижку ее завтраков и обедов во

времени, если это требовалось распорядком дня взрослых. Жизнь детей приноравливалась к жизни по-европейски культурного отца. И все вокруг постоянно говорили, что Улыбышевы ничего не жалеют для образования дочерей, да и сама Наталья Александровна думала так.

А склад жизни Ульяновых резко отличался от этого привычного склада. Мария Александровна совсем не баловала и, казалось, вовсе не ласкала своих детишек, между тем жизнь ее и мужа, молодых еще людей, как будто приноравливалась к тому, что нужно и полезно растущим детям.

— Как вы считаетесь с такими малышами! — удивленно сказала ей на пятый год знакомства Наталья Александровна, когда Ульянова прекратила в столовой какой-то неподходящий, осуждающий ближнего разговор, а вечером отказалась устроить в столовой фанты, сославшись на то, что дети разволнуются и не заснут вовремя.

— В этом возрасте образовываются привычки,— отозвалась Мария Александровна,— я смотрю на это как на фундамент к характеру.— И тотчас покраснела слегка, но разговор продолжила, хотя собственные слова показались ей чересчур книжными:— Надо с детства приучать детей к своему времени во всем, чтоб не было хаоса. Тогда у них выработается внимание, уважение к себе.

— Ну, это вы чересчур мудрите, голубушка Марья Александровна! — воскликнула Шапошникова, вслух высказав общее мнение.

В одну из своих прогулок с детьми по откосу Мария Александровна вдруг вскрикнула и закрыла глаза ладонями: маленький Саша кубарем покатился с откоса. Аня, раскрыв рот и оцепенев, глядела, как он секунду мячиком катится вниз с дорожки на дорожку, а на третьей дорожке стоит большой дядя в длинном желтом сюртуке, с пышным бархатным бантом на шее, расставил ноги и руки — стоп — и подхватил Сашу, как мячик. У Саши лицо смешное и трепаное, из-за пояса углом вылезла рубашечка, но он стал на ножки и ничуть не плачет...

— Мама, мамулечка, гляди, Сашу дядя опять на ножки поставил!

Мария Александровна раскрыла глаза, переконфуженная за свою слабость.

— Благодарю, благодарю вас! Ах, Сашенька...

Всем усилием воли она подавила волнение, словно и не произошло ничего, только оправила рубашечку на взъерошенном сынишке. И дети от этого спокойного движения материнской руки и ее лица, такого знакомого и всегдашнего, тоже мгновенно успокоились и, взявшись за руки, пошли дальше. Она не сказала им, чтоб они «не смели ходить близко к откосу», не поругала Сашу за неосторожность, а дочь за то, что выпустила Сашину руку. Она только сама передвинулась с края дорожки на самую ее середину, и Аня, поглядевши на мать, озабоченно подтянула брата подальше от скользкого откоса, тоже на середину дороги.

Вечерами и теперь, всем коридором, собирались друг у друга, чтоб почитать вслух. Чтение уже было другое, в журналах начал меняться весь тон. Лесков-Стебницкий явно пошел в гору, Тургенев написал «Дым», разруганный либералами. В «Отечественных записках» беспокоятся о сусликах, что они объедают поля; а писательница Марко Вовчок, нахваленная еще Добролюбовым за смелую повесть о крепостной девочке, пишет роман на модную тему о «пострадавших» — сосланных и томящихся в тюрьмах, выводя их ничтожными болтунами. Сегодня должны были читать большой, печатавшийся по частям патриотический роман графа Льва Толстого «Война и мир». Толстой выводил в нем исконное старинное среднее дворянство, далекое от двора, от чиновных выскочек, выводил Москву как бы в противовес придворному Петербургу, и его роман становился знаменем для нового поколения. Каждое десятилетие люди читают книгу по-своему, и большая книга растет с человечеством, а маленькая умирает со своим поколением.

Марии Александровне очень хотелось слушать продолжение «Войны и мира». Но в этот вечер она осталась с детьми и затеяла с ними такую интересную игру, что всякое воспоминание о падении с откоса испарилось из головок детей. Саша давно уже спокойно спит, рассыпав длинные волнистые волосы на подушке, но уйти от детей она никак не может. Аня засыпает куда медленней, чем Саша. Коротко остриженная девочка лежит с открытыми глазенками, изо всех сил стараясь согнать с ресниц сон. И все просит мать посидеть с ней, все держит мать за руку. Мария Александровна потянет тихонько руку и со-

берется встать, а девочка опять сжимает ее и целует горячими губами.

— Мама, мамуленька...

Ей хочется сказать матери, чтоб они всегда так играли, хочется выразить, как она благодарна ей, какая особенная, ни на кого не похожая, лучше всех, всех, всех мама у них, но слов нет, и противный сон тянет вниз за ресницы. Аня выпустила руку, отвернулась к стенке и заснула.

А игра в этот вечер и в самом деле вышла замечательная. Они играли в дорогу.

Мать сдвинула стулья, на передний стул взобрался с кнутиком Саша за ямщика, он погонял два опрокинутых толстых кресла по их бахромчатым бокам и кричал: «Нн-о! Но-но-но!» А они с мамой сели в платках на стулья сзади него, и это была большая дорожная почтовая колымага, с ящиком под сиденьем, с буфетным отделением, с ножами, ложками и вилками, бутербродами в бумажке — из вкусного ситного хлеба с маслом и бутылкой теплого молочка. Едут они, а мама рассказывает:

— Вот бежит, бежит дорога, версты по сторонам, въехали в густой-густой лес. Солнце не светит сквозь лес, стволы стоят белые, и ветви поникли, и сумрак внизу, между стволами — это буковый лес. Вдалеке трясет бородой седой старик, он едет медленно, борода его вьется между стволами, на голове корона, глаза, как у филина, горят,— гони, гони, Сашенька, это царь лесных гномов, он гонится за нами, он вытянул руку, но... — Аня хохочет, жмется к матери, а другой рукой крепко хватает Сашу за пояс,— но он нас не тронет...

И мать вполголоса запевает детям тихую Шубертову мелодию на бессмертную балладу Гёте, перефразируя последний стих по-своему, в чудный, благополучный конец.

Они едут дальше, лес давно позади, перед ними деревня над овражком — это их старое милое Кокушкино.

— Видите, детки, вот нас встречают тетя, и другая тетя, и множество ребятишек — это все ваши братики и сестрицы. «Здравствуйте, тетеньки!» — «Здравствуйте, Аня, здравствуйте, Саша, приезжайте к нам непременно гостить летом!» — «А что мы будем у вас делать?» — «Будем рыбку удить, малину собирать, в выручалочки

играть, будем в речке купаться, на лошадках кататься, в поле ходить, цветы поливать...»

И дальше, дальше бегут лошадки.

— Вон на небе всходит луна. Степь пахнет разными травами, богородицына трава, вереск, мята, шалфей, клевер — все тут есть. Вон висят они у папы в гербарии под стеклом, подрастем — будем каждую в поле распознавать. А теперь ну-ка, распрягай, Сашенька, лошадей, пусти их на травку. Лошади ступают тихо, ноги у них застреножены, ищут губой травку повкуснее, для них это ведь не просто сено, одно и то же, а каждая травинка особое блюдо: одна слаще, другая горше, одна солона, другая кисловатенькая, и эта жирней, а та водянистей. Жуют, жуют лошади, и мы сядем пить молочко.

У Ани даже слюнка закипела. Она откусывает хлеб по маленькому кусочку, как разную травку, и жует, жует его. А Саша прилег к маме головенкой и опустил кнутик.

— Куда же мы едем, мама?

— Мы едем в такую страну, да-алекую, далекую, где нет ни старых, ни молодых, а все люди как дети.

— Все добрые?

— Все добрые и хорошие... И наша Олечка там...— И она запела вполголоса, прижимая к себе разомлевшего мальчика, без слов, что-то сочиненное ею тут же.

Когда Аня заснула, Мария Александровна совсем было собралась к соседям, но неожиданно вернулся муж. Он ходил к Тимофеевым, и она его так рано домой не ждала.

Илья Николаевич вернулся в душевной приподнятости, не вошел, а вбежал.

— Знаешь, какая новость? Постой, я разденусь, сядем на диван. Ну, слушай, жена, хочешь выехать из Нижнего?

Жена молчит.

— А я, ты сама знаешь, сплю и вижу уехать отсюда, засиделся, не тот человек совсем. Маша, подумай, родная,— учреждается инспектура народных школ, Тимофеев предлагает. Он может меня устроить инспектором. Работа новая, свежая, разъездная, буду колесить по деревням, народ увижу. Маша, я тут непомерно засиделся, ну что хорошего в такой жизни? И тянет меня, признаюсь тебе, тянет, очень тянет.

— Да ведь служба эта министерская? Ты заранее не очень идеализируй. Все-таки сейчас ты педагог, а там будешь чиновник.

— Я душу в нее вложу...

— То-то вот ты во все душу вкладываешь,— она положила голову к мужу на плечо и вдруг совсем неожиданно всплакнула.

— Да ты что это, Маша? — Он приподнял обеими руками лицо жены.— Ты мне правду скажи: ехать не хочешь?

— Разволновалась из-за Саши — с откоса упал. Да сиди, ничего не случилось, даже не поцарапался, а мне все что-то боязно за него. Ну, Ильюша, хочешь ехать — поедем.

Илья Николаевич обнял жену и крепко прижал к себе.

Глава четырнадцатая

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ В НИЖНЕМ

Он страстно хотел ехать. Живой человек не мог не хотеть ехать, когда все двигалось и менялось вокруг,— за таксаторами пошли в деревню фельдшера, учителя, врачи, заработало земство, сели в канцелярию первые женщины на жалованье в двадцать пять рублей. Но не только это.

По всей стране поднималась волна интереса к народу. Все чаще и чаще звучало в обществе слово «народ». Петербург и Москва ставили первые «народные спектакли». Молодежь тянулась в деревню.

Учить народ, изъездить большие пространства, дышать воздухом деревенских просторов — от одной этой мысли он чувствовал, как молодеет в нем загустелая от сидения кровь и горячо и сильно бежит по жилам.

Было тут еще, пожалуй, одно — есть люди единственной какой-нибудь специальности, в которую они входят с годами все глубже, теряя способность делать, кроме нее, что-нибудь другое. Илья Николаевич не был таким. Он донашивал до отказа одежду, называя это «обжить себе рубаху», и злился не на шутку, когда жена чуть

не насильно навязывала ему новенький, с иголочки, еще враждебно-чужой и немилый костюм. Но в работе Илья Николаевич постоянно искал новое и тоже, может быть инстинктивно, как берут свежую спичку, чтобы получить искру, подводил и ставил себя под все новые обстоятельства, чтобы опять и опять вспыхивать на работе, опять пережить чувство весны. Новая должность сулила ему привлекательную разносторонность: инспектору народных школ предстояло знать все новейшие течения педагогики и быть строителем школьных зданий, создавать людей и вникать в учебники, в отношения на деревне, в мужика, в деревенский быт, колесить по бесконечным дорогам и всюду, во всем, на каждой сходке обнаруживать толк и знание дела.

Как только стало известно место его нового назначения — Симбирск, он отправил жену с детьми к своей матери в Астрахань и стал прочитывать о Симбирске все, что под руку попадало,— от «Капитанской дочки» и «Багрова-внука» до «Сна Обломова». И где ни встретит в обществе человека из тех мест, он непременно подсядет к нему и прислушается.

Все ему было так ново и любопытно, словно роман читал. Сидит у Садокова заезжий помещик, снисходительный симбирский дворянин с какими-то пестрыми от крашения усами и со следом монокля в разношенном, старом, птичьем веке, из промотавшихся заграничных праздношатаев, а Илья Николаевич и тут ухитрится что-нибудь выпытать,— о том, например, что в имениях кой у кого завелись было и машины, молотилки конные и даже паровые, и веялки, и навоз собирать стали на удобрение,— но «машины машинами, а способ обработки земли все старый, далеко нам до заграницы: ни травосеяние, ни плодопеременная система даже как опыт не идут, не прививаются; ну и от машин нет проку, особенно с освобождением крестьян; рухнула культура земли, рухнула и охота возиться с ней...»

— А у вас самих?

— У меня все на испольной работе, мужики сеют и мне и себе, собирают и мне и себе, а что соберут — нá ровно пополам,— и легко и просто.

Он записал для себя и про испольную работу, и о травосеянии, и каков старый способ хозяйства,— по деревням ездить и с мужиками говорить нельзя неучем, обо

всем придется сказать свое слово, и надо, чтоб слово это было самое точное.

Попался ему и настоящий купец-симбиряк; его Илья Николаевич завел к себе в опустелую квартиру поить чаем и чуть не пять-шесть часов выспрашивал подряд, что там и как. Купец был польщен беседой с господином учителем. Он торговал в Симбирске лучшими каретами и выездами, имел дом на Московской, каретное заведение во дворе дома, рабочих и даже агентов для разъезда по губернии. Фамилия купца была Шестериков. На персонажей Островского он походил мало и отзывался о них неуважительно,— в том смысле, что писатели ныне сильно отстали от жизни, таких дурачков в смазных сапогах, да с поклоном до земли, да у матерей, у жен под туфлей или, к примеру, самодуров, окромя водки в рот ничего не берущих,— этого сейчас на Руси меньше, чем музейных чучел. Купец уже с десять годов как привык и к речи другой и к фасону другому — иначе ведь и капитала себе не составишь. А это не купцы, что у господ писателей на театре,— это скорей помещичьи старосты; ну, да ведь и понятно: что писателю больше знакомо в жизни, с того образца и подобия он и пишет.

Сам он одет был в добротный сюртук и в ботинки мягкой кожи на такой подошве, что и скрипу не давали. Но рому себе в чай налить не отказался, напротив.

От этого купца Илья Николаевич узнал, чем губерния живет и дышит. Купец рассказал ему про восемьдесят две ярмарки в год; самая большая — симбирская сборная — открывается в понедельник на первой неделе великого поста. Конечно, не чета макарьевской, но товаров привозят и на шесть, а то и на семь миллионов, оборот делают когда как и считают его не меньше трехчетырех миллионов. Своих промыслов немало,— вот, к примеру, «кошатники», с мелочи начали, а теперь тысячи огребают: торговали в разнос по селам деревянными ложками — до самой до Перми, до Сибири, а взамен брали кошачьи шкурки и шкурки эти продавали на Жадовском базаре, а сейчас эти самые шкурки, крашеные да подбитые паром, за границей ходят как последняя мода. А село Астрадамовка славится рукавицами, а село Ховрино — сапогами. И вино курим у себя, и стекло дуем, и кожу тянем, и сукно валяем — вот только соль возим...

Выходило, по его словам, совсем обратное рассказу помещика: тот все представил так, будто в губернии и земля дичает, и культура глохнет, и жить глухо, и вообще самое печальное место на Руси эта Симбирская губерния с ее падающими урожаями, уходящими в воспоминание богатствами заливных лугов, исчезающим зверьем в лесу, да и лесами, отступающими из году в год. А по купцу, губерния росла и росла. Промыслы открываются на каждом углу, мужику воля впрок пошла. Он через торговлю и промысел начал богатеть, и о дорогах заботы больше, и главное, вот бы и вы нам, господин будущий инспектор, помогли: кое-кто у нас шибко задумывается насчет чугунки, не мешало бы к нам чугунку провести, как в Нижнем,— уж очень край на отлете. А дорога стоющая, в самую Сибирь, а Сибирь, это теперь все говорят,— будущая наша Америка, вот оно что. И будете коляску себе покупать — милости прошу, выберем на совесть, а лучше шестериковских колясок и в Москве не найдете!

Только сейчас, когда в Нижнем осталось ему доживать последние дни, Илья Николаевич вдруг почувствовал, что успел привязаться к этому большому, шумному городу, к его окающему говорку, к его людям, тесно связанным всей прошлой жизнью с ним.

Тут, в Нижнем, доживала свой век вдова Лобачевского.

В Нижнем на каждом шагу встречал он своих однокашников, бывших казанских студентов.

В Нижнем сложилась и окрепла его семейная жизнь, такая прочная, так не похожая на неустойчивые семейные очаги его товарищей,— нежность к жене, как свет, излучающий внутреннее сияние, вдруг жарко охватила его в разлуке.

Все это срослось с Нижним, с его шумными, вкривь и вкось бегущими улицами, с крутым подъемом к кремлю, с благолепными церквами, с их звучным, переливчатым колокольным гомоном, вспугивавшим тысячи голубей над просыпанным в снегу овсом... Нижний, Нижний...

Сюда постоянно кто-нибудь приезжал, и не только на ярмарку. Это был город торжественных встреч, закатываемых на широкую ногу обедов, длинноречивых тостов, любопытствующих иностранцев, видевших в Ниж-

нем кусочек Азии. Особенно любили сюда наезжать писатели, серьезные писатели, исследователи жизни русской. Еще в первый год, как он сюда переехал, принимали и потчевали нижегородцы писателей Арсеньева, Безобразова, Мельникова. Имена их в те годы говорили многое, особенно волжанам. И наезжали сюда мимоездом, делая порядочный крюк на пути, представители совсем новой формации, которых в обществе и в печати уважительно называли «деятели на ниве народной».

То было время начавшегося необычайно быстрого передвижения, век строительства железных дорог. Чугунка поражала людей неслыханной быстротой пожирания пространства: сегодня сел человек в вагон, а завтра на месте. Патриоты прежних почтовых трактов и ямщицкого бубенца держались, правда, за старый способ — они злорадно перечисляли железнодорожные катастрофы, сравнивали неопытного машиниста с бывалым ямщиком, а мелькание видов из вагонного окошка — с богатейшим, медленным движением природы и жизни вдоль столбовых дорог. Но чугунка соблазняла сбережением времени, и люди ездили, надо не надо, по дальним губерниям, заезжали на́ сторону, в провинцию, чтоб понаведаться, поделиться опытом с единомышленником, держать связь с обществом.

Город Нижний к тому же был на большом водном пути к югу и на чугунорельсовом в Москву. Вот почему «деятели на ниве народной» — в большинстве своем выходцы из поповского звания, откуда вышли и духовные вожди эпохи — саратовец Чернышевский и нижегородец Добролюбов,— заглядывали частенько в Нижний, по дороге и не по дороге.

К тому, что писалось в журналах и газетах, прибавлялись бесчисленные рассказы очевидцев. Имена многих педагогов становились известны широким кругам чуть ли не наравне с именами виднейших писателей. Рассказывали, например, о молодом преподавателе харьковской духовной семинарии Сергее Ириниевиче Миропольском, по собственному почину открывшем воскресную школу для подготовки народных учителей. В то время на всю Российскую империю только и были две учительские семинарии — одна в западной, Виленской губернии, в местечке Молодечно, другая в чинном, онемеченном Дерпте. Рассказывали и о просвещенном поме-

щике бароне Корфе. Илья Николаевич слышал о Миропольском, но особенно заинтересовали его дела барона Николая Александровича Корфа в Екатеринославской губернии. Вся образованная Россия говорила в ту пору об этих делах — о создании образцовых народных школ в целом уезде степной полосы, где еще два года назад дети тамошних немецких колонистов по восемь лет сидели в одном классе, а выходили, не зная русской грамоты, и на весь обширный уезд были фактически только две грязные, ненавистные крестьянам полуразвалившиеся школы-избы...

Как же обрадовался и разволновался Ульянов, прослыша, что в Нижний, возвращаясь в Москву кружным путем, заехал нужнейший ему человек — член Московского комитета грамотности, только что обследовавший, по поручению комитета, школы барона Корфа.

В старом своем служебном кителе, блестевшем по швам, забыв, как всегда, надеть шляпу, поспешил он в гостиницу, где, по его сведениям, остановился приезжий, и еще на лестнице столкнулся с Александром Серафимовичем Гацисским, спешившим туда же.

Разбитной половой уже внес в номер большой, из начищенной, как солнце, латуни самовар, дышавший жаркими парами и чуть припахивавший угольком. Половой настежь раскрыл окно, чтоб, избави боже, не угорели господа чиновники. А в окно вместе с воздухом городского лета ворвались влекущие, тревожные шумы пароходных гудков, резкого стука извозчичьих колес о булыжник, протяжного гула отходившего от вокзала поезда.

Приезжий, договорившийся с Гацисским о встрече, очень обрадовался знакомству с Ульяновым. Он усадил гостей за чайный стол, заказал еще стакан и тут же, не дожидаясь чая, принялся рассказывать. Впечатления были так еще свежи, так захватили его, что наслаждение было делиться ими. Гацисский по старой привычке газетчика вынул записную книжку и придвинул к себе чернильницу. Ульянов, желая помочь хозяину, разлил по стаканам чай.

— Дорога,— начал рассказывать комитетчик,— кошмарная. От станции Константиновки девяносто верст, лошадей нет, ямского двора нет, одна корчма, а чай в буфете двадцать пять копеек золотник. Степь, мазанки,

голытьба, речь малорусская, пшеница и ни единого деревца. Пыль — хоть ломтями режь. Два года назад там у немецких колонистов деревня была — точный стиль осьмнадцатого века, учебник в школе тысяча семьсот девяносто пятого года, да не славянина Ко́менского, тот прелесть, а черт его знает какой...

— По Ко́менскому наш нижегородец Лобачевский учиться мог! Гёте учился! — воскликнул, перебивая его, Гацисский.

— Палочная расправа в полном ходу,— продолжал рассказчик,— такова была действительность. И вот приезжает Николай Александрович Корф. Организует в пятьдесят седьмом году первый уездный училищный совет. Кстати, господин Ульянов,— обернулся он к физику,— вы изволите ехать на новую должность инспекции народных училищ. А знаете ли, барон Корф не очень этой новой должности сочувствует, считает ее ненужным контролем за земством, за училищными советами.

— Контроль само собой, и при том, что вами описано, в уезде контроль очень необходим, но главное — помощь школе, я так понимаю новую должность,— ответил физик.

— Пожалуйста, пожалуйста, не отвлекайтесь,— снова перебил Гацисский,— это все изумительно интересно для нашей губернии. Говорите, как на театре,— место действия, пейзаж, действующие лица, каков этот барон,— и подряд, подряд, со всеми деталями!

Не торопясь и отхлебывая из стакана по глоточку, чтоб увлажнить горло, комитетчик повел свой подробный рассказ о новом опыте Николая Александровича Корфа. Гостям казалось, они путешествуют вместе с ним, подъезжают к культурнейшей усадьбе этого екатеринославского помещика, и вот среди голой пыльной степи — цветущий сад, дивные аллейки и клумбы, где благоухают тысячи цветов, большие французские окна распахнуты на веранду, барышня за роялем играет гаммы, а потоку этих до-ре-ми-фа-соль из сада отзываются соловьи. Ветер поддувает полы чесучовой рубашки барона, пока он водит гостя по аллеям парка, приглушенным баском рассказывая ему о своем увлекательном школьном творчестве. Круглое лицо барона с легким намеком на будущие баки по сторонам сияет улыбкой, он необыкновенно быстр и суетлив в движениях, несмотря на свою полноту.

Корф зовет и жену и дочь «душенька» и шутливо по-немецки «кокхен-пуппхен», и вдруг, становясь серьезным, почти раздраженно кричит о себе: «Я — утилитарист, убежденный утилитарист!» Более всего на свете боится барон Корф оскорбительной клички «фантазер» или «идеалист».

Но вот они с гостем уселись на длинную южнорусскую линейку, спиной друг к другу, боком к кучеру, у которого барон то и дело брал из рук вожжи, нетерпеливо показывая, как ближе проехать, хотя кучер лучше барина знал дорогу. И начался объезд замечательных школ, созданных в Александровском уезде бароном Корфом. Время было вакационное, школы стояли пустые, но ученики, прослышав, что едет с помещиком гость из Москвы, возвращались кое-где с полевых работ и стайками весело вваливались в школу. Один паренек, нанявшийся на лето в пастухи, пришел в школу за восемнадцать верст.

Было на что посмотреть московскому гостю и что послушать!

— Представьте себе чудо,— говорил комитетчик,— иначе как чудом я это не могу назвать. Земство отпустило в этом году пять тысяч рублей. Школы — те же избы, но чистые, теплые, окна вдвое больше обычных. Оборудование, мебель — все в полном порядке, на стенах картины Шрейбера, за три года куплено двадцать тысяч книг, восемьсот сорок дюжин стальных перьев — гусиными никто не пишет,— двести пятьдесят стоп бумаги. Учителя стоющие, преданные, образованные, Корф им жалованье поднял, установил премиальные. Ну, словом, чудо. А когда дети пришли, я просто развел руками. Простите меня, господа, но таких детей на деревне я в первый раз увидел!

Барон Корф торжествовал, показывая москвичу своих ребят. Без капли застенчивости или страха они решали у доски задачки, пересказывали басни, спели чисто, и глядя на ноты, молитву. Особенно удивило москвича сочинение, написанное на тему «О вреде и пользе водки».

— Ну, это уж слишком,— вырвалось у Гацисского.— Какая может быть польза от водки?

— Вот и я точь-в-точь этими словами сказал Корфу,— воодушевился рассказчик.— Какая же, позвольте, польза? Корф мне сначала ни звука. Дети сидят и пишут. Написали. Он собрал сочинения, прочел и показы-

вает — читайте! Ну и удивили меня эти сочинения! Один пишет: «Полезна — из нее лекарства приготовляют; вредна, потому что мужик ее пьет не дурно (не даром то есть), купляет ее за свои деньги, если кто напьется и имеет деньги в кармане, то он их выронит или кто вытащит, хозяйство рушит за водку, а если кто напьется в грязный путь (в грязную погоду), то он свою одежду в грязь замарает». Другой пишет: «А пользовита она потому, что едешь куда, да смерзнешь», или еще: «И какую шкоду сделаешь, то купишь кварту или две, то сейчас ты прав будешь над ним, с кем ты завязывался за что-нибудь».

— Это даже и непонятно,— сказал физик.

— И какой голый практицизм! — воскликнул Гацисский.

— Боже, как вы далеки от жизни! Корф именно и хвастается практицизмом, он ненавидит красные слова. Весь быт деревенский отражается в этих сочинениях, жизнь, как она есть: нагрешил, обидел, подрался, нашкодил, а откупился двумя квартами — и опять ты прав. Ведь это же сама жизнь. Корф назвал этот урок изучением деревенского быта. Он превозносит такой здравый смысл в деревенских детях!

И гость перешел на метод барона Корфа, на урок арифметики, запоминание цирф с голоса учителя, по тысячам, сотням, десяткам и единицам, то есть на работу памяти не над единым образом всей большой цифры, а расчлененно, над каждой составной частью цифр. Важно, что получается в результате. Реальнейший успех, и крестьяне, два года назад ничего не желавшие и слышать о школе, сейчас толпами приходят на экзамены, часов пять-шесть на ногах выстаивают, слушая, как бойко и знающе отвечают их дети. Звуковой метод, наглядное обучение, собственный учебник барона Корфа, его неутомимость — каждую осень, несмотря ни на какую погоду, он лично в течение двух месяцев объезжает все школы в уезде...

— Слава заслуженная,— добавил под самый конец комитетчик, убирая со стола множество бумажек, по которым он кое-что считывал в своем рассказе.— Я буду всенепременно делать мои наблюдения достоянием широкой гласности!

Илья Николаевич прослушал рассказ с живым инте-

ресом. Он не сказал, впрочем, что не во всем полностью соглашается с Корфом,— конечно, великое, замечательное дело, спасибо за него, учиться и учиться им всем у Корфа, но в подчеркнутом утилитаризме и практицизме барона ему все же почудился тот барский немного привкус восторженной тяги к народу, когда хочешь не столько дать, сколько получить, позаимствовать, погреться, попользоваться у народа его здоровой и нетронутой целостностью. Сам из простой среды, далекий от всего барского, Илья Николаевич выслушал прочитанные из детских сочинений отрывки не как образчики живого, конкретного и совершенно оригинального, не по-городскому, решения темы, а с невольным критицизмом педагога, которому не восхититься, а поправить надо. «Нельзя оставлять ребят с таким путаным способом выражения, наклейв на это ярлык здравого смысла»,— как-то безотчетно подумал он. И не любование, а острая, теплая жалость прошла по душе его. Он их уже как бы видел перед собой во всей узости темной деревенской жизни. Какими будут дети в его собственной, Симбирской, губернии? Когда к ним, скоро ли?

Но последнее слово о Симбирской губернии сказали Илье Николаевичу мужики. Это было, впрочем, уже на пароходе, когда он с женой подъезжал к месту своей будущей жизни, а до тех пор надо еще рассказать, как проводила это последнее нижегородское лето Мария Александровна.

Глава пятнадцатая

У АСТРАХАНСКОЙ БАБУШКИ

Брат Вася давно уже в письмах слезно просил Илью Николаевича потешить старуху мать и прислать невестку с внучатами, тем более что и мать, по всему видно, уже недолга.

И в это лето для Ани и Саши чудесно сбылась мамина игра. Они втроем сели и поехали в Астрахань с такой же совсем точно провизией, как в игре, и даже игру продолжали в дороге, но только вода колыхалась вокруг настоящая, и встречи были живые — плыли, качаясь, чайки, похожие на летучих рыб, скользили тихие

баржи, а на них домики с окошками, улицы, фонари, а в домиках занавески, и люди, как в городе. На белокурого красавца Сашу заглядывался весь пароход, как он прохаживался, подражая отцу, словно взрослый, заложив обе ручонки за спину. Аня заметила эти взгляды и гордилась братиком, подбегала к нему и прихорашивала, делая вид, что им нет никакого интереса в чужих взглядах, а играют они и гуляют сами для себя. То пригладит брату кудри на головёшке, то шаровары заложит получше в сапожки, то рубашечку одернет. Терпеливый Саша молча сносил беспокойные Анины ручки на себе и стоял тихо, покуда она усердствовала над ним, а потом снова начинал пресерьезно прогуливаться.

Но стоило только сказать кому-нибудь: «Мальчик, здравствуй, дай ручку», и остановить Сашу, как уже Аня летела, готовая, если понадобится, отбивать брата у чужих.

В Астрахани на пристани Марию Александровну встретил бледный от волнения дядя Василий Николаевич и церемонно дважды приложился к ее руке. В ярком астраханском солнце Василий Николаевич, нарядно разодетый в полосатые брюки, модный жилет и сюртук, расшитый тесьмой, с бархатным бантом на манишке, усатый и щедро напомаженный, да еще так странно и церемонно поздоровавшийся, чуть даже напугал детей. Но пока он их вез в крытой извозчичьей карете, держа обоих на коленях,— тучи голубей на улицах, непонятные крики продавцов, ослики, верблюды с кладью,— молчать стало выше сил, и восхищенные дети вертелись и восклицали, не заметив, как уже обнимают странного дядю за шею в тугом воротнике.

На пороге домика ждала бабушка. По обычаю старых людей она раскинула обе руки в стороны, с вывернутыми ладонями, жестом душевного своего изумления на присутствие дорогих гостей, а потом крепко к сердцу прижала их этими старыми, натруженными руками и вся осыпалась мелкими слезинками. Она и ласкала и отодвигала от себя внуков, любуясь ими, и снова, бормоча что-то сквозь слезы, притягивала их к себе, а дядя Василий носил вещи в верхнюю, лучшую комнату, а тетя Федосья, сухая и маленькая, быстро уставляла стол тарелками. Аня дичилась, а трехлетний Саша, тихий, как всегда, охотно сам шел к старушке и прижимал мягкое

личико к ее морщинистой щеке, точь-в-точь так, как она это сделала.

— Ах ты голубенок мой беленький! — шептала восхищенная бабушка.

Весь этот день они то сидели за столом и откушивали, то отдыхали в спальне, прикрывшись кисейкой от мух. И чего-чего не было на столе, каких только удивительных пирогов не напекла тетя Феня, и какие странные леденцы были в вазочках — зеленого, красного, голубого, желтого цвета, перекрученные колечками, и пряники в виде сердца и лиры, и варенье из моркови, из розовых лепестков, из дыни, и наливки всевозможных букетов, собственноручно настоенные и процеженные бабушкой, и азиатский пилав с поджаренным миндалем и изюмом,— ну, разве съесть все за один раз! Мария Александровна скажет: «Довольно, довольно, совсем ребят избалуете», а бабушка знай подкладывает, а потом опять ведет полежать и отдохнуть, запирает ставни, выгнав полотенцем назойливых мух, и не успеют гости встать с постели, как уж опять стол накрыт, а мухи в комнате — тучами.

— Мамочка, мы лопнем! — шепчет Аня.

К вечеру пришли почетные гости, старые друзья семейства, и опять за столом говорили и говорили. Про маленького Илью Николаевича рокотал бархатный басок священника Ливанова:

— Старик Николай Васильевич детей держал строго. Раз он дает гривенник будущему вашему благоверному — а Ильюше был тогда шестой годок,— посылает в лавочку за чаем, на пятачок чаю купить, пятачок сдачи принести. Ждем, пождем — нет мальца. Пропал. Что-то, старик говорит, нету мальчика, погляди, Вася, на улицу. Василий открыл дверь в сени и глядит, а в сенцах, как в шкафу, ни жив ни мертв — Ильюша. Стоит весь в грязи и войти боится, и постучать боится, и заплакать не смеет, — это он в лужу упал и покупку перепачкал. Строговат был ваш покойный свекор. Да и хлеб ему дорого давался. И лета были патриаршьи — под семьдесят.

Вспомнил он и про давнишнее посещение Астрахани блаженной памяти покойным опальным стихотворцем Тарасом Шевченко, стихи которого знал и любил, несмотря на их вольность.

— Колбасу в нашем городе искал,— рассказывал, усмехаясь, батюшка,— привык, должно быть, в немецком граде Питербурхе к пословице «немец, перец, колбаса»; ходит по улице, встретил моего отца дьякона и спрашивает, есть ли тут сарептские немцы, чтоб у них копченых колбас на дорогу купить. Долго искал. Но у нас, знаете, запросто. Что нужно, сами себе дома на потребу изготовляем. Свекровь ваша, Марья Александровна, славится своей хозяйственностью. Так и уехал не солоно хлебавши! — И отец Николай Ливанов пригубил рюмочку.

То был незнакомый ей мир. Но Марии Александровне, воспитанной в совсем других условиях, он казался понятней, чем рауты у директорши Садоковой.

Черный труд выпал на долю семьи мужа: до смерти трудился свекор, испитой и желтый под старость; трудился Василий в соляных объездчиках, а потом в приказчиках,— вот и завтра ему вставать спозаранку, раньше всех; беспросветный труд, среди горшков и ухватов, выпал матери мужа. Такая простая жизнь; о такой жизни столько она прочитала романов, сеющих уважение и жалость к народу! И разве Илья Николаевич, вечный труженик, не плоть от плоти судьбы народной?

Между тем время отъезда в Симбирск приближалось. Илья Николаевич заканчивал последние свои нижегородские дела. В беготне по городу без шляпы он загорел и окреп, даже на маковке, где у него быстро лысело, опять пошли волосы, и шея обросла вьющейся от самых ушей бородой.

Ауновские писали, что нашли Ульяновым на Стрелецкой улице — правда, не в центре, но место считается высокое, сухое, здоровое,— дешевый отдельный флигелек во дворе.

В то утро, когда он снова встретился с женой в Нижнем, Мария Александровна, соскучившаяся по мужу, воскликнула:

— Да ты поздоровел без меня, Илья Николаевич!

А для него в ней тоже была новизна — от ее загара, от детских разговоров и привезенных кулечков с подарками веяло родным городом Астраханью, материнскими объятиями, воздухом детства,— словно теперь только они сблизились самой последней близостью.

Полные новых впечатлений, каждый по-своему в одиночку разбогатевшие, они опять были два отдельных человека, перед тем как слить две жизни в одну.

Лето почти прошло. За окном лежала дорога в столбах и звала их, плыл мир в грядущее и звал их, и уж действительно плыл на грузовой барже весь их семейный быт, в сундуках и рогоже, ящиках и корзинах,— рояль, стулья, кровати, посуда, книги, трюмо, зимние вещи — все плыло из Нижнего в Симбирск и тоже звало их.

Илья Николаевич был в это время в полном расцвете своей мужской зрелости: ему исполнилось тридцать восемь лет. Жене ее шел тридцать пятый. Когда наконец оба они ступили на симбирские сходни, Мария Александровна носила в себе четвертого своего ребенка.

Глава шестнадцатая

ПРИЕЗД В СИМБИРСК

В те два года на Волге стояла засуха. Урожай пропал до последнего колоска. Крестьяне голодали подряд две зимы, голодали отчаянно, вымирали деревнями и волостями, людоедствовали, обугливались в тифу, а потом пришла еще холера и покосила народ. Но в конце сентября 1869 года — время приезда Ульяновых в Симбирск — хлеб как будто взошел хорошо. На пристанях мордовки уже продавали калачи, бублики и пироги с медом. Веселей с виду становилась и публика четвертого класса,— только перед самым Симбирском нижнюю палубу запрудила странная в своем молчании толпа.

В лежащих вповалку людях, в истомленных, худых лицах баб, повязанных по-великорусски — не на затылке, а под самый подбородок, в молчаливых мужиках, уткнувших головы в руки, в их убогих узлах, продетых на палку, в молчании грудных ребят было что-то неподвижное до жуткости. Даже незаметно было, когда они пьют или едят. Казалось, это ехали души умерших через Стикс, только вместо гребца Харона хрипел и чавкал паровой котел.

Что была за притча в этом безмолвии?

Илья Николаевич попробовал спросить раз и дру-

гой, ему отвечали односложно и вяло, даже не вскидывая шапку поверх лба, и желтовато-восковые губы шевелились нехотя, словно с болью. И вдруг, никем не спрошенная, из угла пронзительно заговорила баба:

— Из деревни мы, барин, ушедши. Свой-то хлеб неубран оставили, завлеклись, позарило нас. Да видишь, какое дело: тыщ нас пятнадцать, мужиков и баб, ушло в Заволжье, сулили по четвертной за жнитво с десятины-то и обманули нас, милостивец, кругом обманули, без ножа зарезали. Что будешь делать! Свое-то хозяйство прахом, вот теперь и каемся, да локтя не укусишь, вчерашнего не воротишь!

Он ничего не понял. Долго приступал и к ней и к другим с расспросами. Какой-то мещанин в картузе, хвативший, видимо, еще с утра лишнего, словоохотливо пустился объяснять, но говорил маловразумительно и больше пословицами, сочно упирая на букву «о»:

— Аво́ся жда́нки съели, господин чиновник. Так оно на роду у русского мужичка написано. Вот и горюет теперича. Не евши тощо́, а поевши тошно́...

И только машинист рассказал Илье Николаевичу страшную историю этих разоренных людей.

Урожай с весны обещал быть хороший, и помещичьи агенты, желая завербовать для уборки огромных поместий заранее батраков, с весны смутили крестьян большим посулом, что-де за Волгой дадут им по двадцать пять рублей за каждую сжатую десятину. Такая цена — аховая цена, но мужики поверили, потому что и прошлые годы стояли вздутые цены. Рассчитали они так: заплатят дома у себя за уборку своих полей по четыре-пять рублей, а сами на уборке возьмут выше той цены впятеро и вшестеро да на прибыль и справят хозяйство. Но вышло иначе. Пятнадцать тысяч человек, снявшихся с места и ушедших на заработки за Волгу, отошли вглубь на сотни верст, а там батраков оказалось свыше, чем надобно, как помещики и построили свой расчет; идти назад не солоно хлебавши тоже не на что, и вот крестьяне нанимались жать и по три рубля за десятину, лишь бы не помереть с голоду, лишь бы живыми домой добраться. Три четверти ушедших не заработали ничего и возвращались, имея перед собой еще долг за уборку своего хлеба.

— Эх, славны бубны за горами! — кончил рассказ машинист.— Серый народ, их обкрутить легче, чем вшу поймать, ваше благородие.

Илья Николаевич содрогнулся. Теплой струей пробежала у него по телу не жалость даже, а острая нежность к этим побитым жизнью, нежность, похожая на страдание. Так бывало с ним за чтением любимого поэта Некрасова. Он вез с собой его старенький томик, изданный в 1863 году, тот самый, про который Тургенев воскликнул: «А стихи-то Некрасова, собранные вместе, жгутся!» И сейчас, войдя в каюту, рассеянный и омраченный, походил-походил, как зверь в клетке, от стены к стене, а потом раскрыл книгу, уронил щеку в ладонь и стал поновому перечитывать знакомые строки:

Раз я видел, сюда мужики подошли,
Деревенские русские люди,
Помолились на церковь и стали вдали,
Свесив русые головы к груди;
Показался швейцар. «Допусти»,— говорят
С выраженьем надежды и муки.
Он гостей оглядел: некрасивы на взгляд!
Загорелые лица и руки,
Армячишка худой на плечах,
По котомке на спинах согнутых,
Крест на шее и кровь на ногах,
В самодельные лапти обутых
(Знать, брели-то долгонько они
Из каких-нибудь дальних губерний).
Кто-то крикнул швейцару: «Гони!
Наш не любит оборванной черни!»
И захлопнулась дверь. Постояв,
Развязали кошли пилигримы,
Но швейцар не пустил, скудной лепты не взяв,
И пошли они, солнцем палимы,
Повторяя: суди его бог!
Разводя безнадежно руками,
И покуда я видеть их мог,
С непокрытыми шли головами...

За заставой, в харчевне убогой
Все пропьют бедняки до рубля
И пойдут, побираясь дорогой,
И застонут... Родная земля!
Назови мне такую обитель,
Я такого угла не видал,
Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не стонал?
Стонет он по полям, по дорогам,
Стонет он по тюрьмам, по острогам,

В руднинках, на железной цепи;
Стонет он под овином, под стогом,
Под телегой, ночуя в степи;
Стонет в собственном бедном домишке,
Свету божьего солнца не рад;
Стонет в каждом глухом городишке,
У подъезда судов и палат...

Волга, Волга! Весной многоводной
Ты не так заливаешь поля,
Как великою скорбью народной
Переполнилась наша земля...

Он читал, и его глаза увлажнились. Это было написано одиннадцать лет назад. Вчерашний раб ныне свободен — и что же? Он такая же темная, безответная жертва хитрости и подлости, все так же на нем, как на скотине, ездят другие в свою пользу и выгоду... Учить его, учить, вывести его из темноты к свету!..

Новый инспектор народных училищ коллежский советник Ульянов, по чину еще только начинающий восходить по лестнице, был уже лицом, о прибытии которого печатают в губернских газетах. Ему предстояло появляться всюду, где присутствуют верхи города,— на торжественных молебнах, открытиях, похоронах, юбилеях. И Мария Александровна была теперь тоже супругой должностного лица. Оба почувствовали это, как только подъехали к Симбирску.

Снизу, с пристани, город наплыл на них красотой русской ранней осени. В золоте сквозили сады под горой, наверху сверкали соборные колокола, в прозрачной ясности были остро слышны звуки, падал, ухая, куль на землю, визжала где-то пила, неслись низко, шурша крылом, птицы, зазывали извозчики, и — надо всем этим — бархатно-ясно, малиновым звоном, пробили, разносясь далеко надо всем городом, знаменитые часы с Васильевской церкви, подарок графа Орлова-Давыдова городу Симбирску.

Как ступил Илья Николаевич на землю, пожимая руки встречающим и на ходу что-то уже спрашивая и говоря, так Мария Александровна сразу и потеряла его чуть не на всю зиму.

Чиновники, его встречавшие, с первого взгляда почуяли в этом быстром, картавящем, сутуловатом человеке, одетом вовсе не по-столичному, в его улыбке и по-

жатии — настоящего труженика, простую душу, какие тянут обыкновенно гуж всерьез и за совесть, одни за всех.

Он выехал в предварительный объезд по губернии, не дожидаясь, пока семья распакуется на новом месте, чтоб не пропустить хорошую погоду, и с первым же крепким ветром на околице понял, что теперь пришло к нему главное дело его жизни. Скошенные поля с вороньем, крылья мельницы за пригорком, болота, заросшие очеретом с тяжелой, грязной кувшинкой; избы, как горсть опят на мокрой земле под неожиданным холодноватым дождем, переливчатый ямщицкий бубенец, отвязанный от дуги и зазвеневший вовсю, чуть отъехали от города; родные землистые бородатые лица — все это было теперь его, здесь будет он проезжать хозяином необъятной пажити, и он страстно желал работы на ней.

Ему даже совестно было, что так хорошо, по душе, дается эта работа, во всей прелести деревенского воздуха, отнятого у городских жителей.

Глава семнадцатая

ОБЪЕЗД ГУБЕРНИИ

Еще в Нижнем Илья Николаевич хорошо изучил губернию, по которой предстояло ему колесить. Но только на месте узнал он в точности о дорожных своих маршрутах.

Уездов в губернии считалось восемь. На юг, к Сызрани, шла прото434енная дорога с хорошими почтовыми станциями. Здесь ездили на чугунку, и дорога эта проходила по двум уездам — Сенгилеевскому и Сызранскому. Да и верст она захватывала сравнительно немного — сто тридцать три с четвертью по прямой, не больше двухсот с заездами по деревням.

В центре губернии сообщение тоже было не трудное. Два уезда, Симбирский и Карсунский, лежали бок о бок и были подробней других освещены в отчетах уездных училищных советов. Сюда чаще ездили из губернского центра, и отсюда в Симбирск то и дело гоняли перекладных.

Зато северный маршрут — триста двадцать верст по прямой, а поколесишь по тамошним школам, наберешь и все полтысячи — был не только самый сложный по состоянию дорог, но и требовал больше времени.

Чуть ли не в первый час приезда исполнявший инспекторскую должность до него господин Вишневский повел Илью Николаевича к себе в служебный кабинет, чтоб вооружить его, как он выразился, цифрами и фактами. Он расстелил на столе обширную, на кальке схематически вычерченную карту губернии, покрытую крестиками церквей, кубиками ямских станций, двойными кружками школ, змейками грунтовых и пунктиром проселочных дорог, и начал, входя во вкус своей задачи, можно сказать, с Адама: с закладки окольничьим Хитрово в 1648 году первых домов Симбирска; с чумы, посетившей город в 1654 году; с приезда в 1666 году грузинской царицы Елены; с осады Симбирска спустя четыре года вором и разбойником Стенькой Разиным; со вторичного посещения Симбирска государем Петром Алексеичем, раскинувшим, по преданию, палатку на берегу...

Но тут утомленный этой официальной историей Илья Николаевич смущенно прервал Вишневского неожиданным вопросом:

— Как Симбирская губерния в отношении телеграфа?

Телеграф был в те годы еще новинкой, распространявшейся медленно. По уездам, которые предстояло ему объезжать, телеграфных станций пока нигде, кроме Сызрани, не было. Но Вишневский ответил, что в Промзине достраивается и буквально на днях будет открытие. Илья Николаевич поискал Промзино на карте. Это и был трудный северный маршрут, шедший по четырем северным уездам — Карсунскому, Ардатовскому, Алатырскому и Курмышскому. До Промзина, через Тетюши, Тагай, Урень и Русский Кандарат, было верст сто пятнадцать.

Илья Николаевич откашлялся и проговорил мягким своим говорком:

— Вот и начну с Промзина, а приеду — буду изучать цифры. Природа начинает с внутреннего — interiora prius,— полушутя процитировал он запомнившуюся ему латинскую цитату из чьего-то восторженного пересказа латинской дидактики Амоса Коменского.— Ведь общий очерк губернии я уже знаю,— поторопился он добавить,

увидя, как поднялись брови у Вишневского.— Знаю и число школ и соотношение национальностей в губернии.

— Как вообще на Волге, нам приходится учитывать свыше тридцати процентов инородцев — татар, мордвы, чувашей,— подхватил Вишневский.— С татарами трудно: их муллы крепко держат, они только и знают свои медресе, но бедны, бедны до крайности... Чуваши и мордва на редкость трудолюбивы. Чуваши — хорошие пчеловоды, самый лучший мед в губернии у них. Мордва толкова, переимчива, быстра на новинки. В общем, вы сами увидите. Со школами, конечно, туго у нас, но училищные советы кой-где работают недурно. К вашему приезду собрали много отчетов с мест, их придется обработать...

Илья Николаевич попросил себе карту и стал готовиться к отъезду.

Какой-то помещик, объездивший пол-Европы в собственном необыкновенном дормезе на рессорах, где все было предусмотрено для дорожной жизни, говорил ему как-то полушутя-полусерьезно, что на свете все относительно, и колесный способ передвижения с пристяжной тройкой или даже шестеркой цугом ничуть может быть не медленнее современной паровой железной дороги и, во всяком случае, много удобней:

— Рельсы вы не сдвинете, и вагон ваш с этих рельсов по желанию свести не сможете. А лошадей свернете куда хотите и дорогу выбираете, где вздумаете, лишь бы лошадям было куда ступить. А скорость — иной чин в эполетах, с особой подорожной, так пронесется, что любому поезду его не догнать, был бы документ да деньги в кармане, да ямщика в спину тузи. Техника — понятие относительное!

Насчет выбора путей этот оригинал, может, и недалеко ушел от истины. По каким только дорогам, куда и носу не сунет чугунка, пробирались лошадиные копыта по матери земле!

Ездить можно было, в зависимости от цели и средств, на разный манер. Не к спеху — и вы едете «на долгих», произнося это техническое для своего времени слово с ударением на последнем слоге. Выехали из вашего города на одних лошадях с одним ямщиком — и на тех же лошадях и с тем же самым ямщиком доедете до места своего назначения, проезжая по пять-шесть часов в сут-

ки; остановитесь, где положено, на ночлег, погуляете по городу, забредя к знакомому, а то, на манер Чичикова, заедете к окрестному помещику. И пока сами отдыхаете, отдыхают и лошади, а там назавтра — опять дорога, бубенчики, ямщицкая песня, придорожные трактиры, заяц через дорогу.

Есть спех — вы избираете «перекладные», и тут действительно мчишься, как выпущенное чугунное ядро из доброй старой пушки времен Очакова. Через каждые пять часов — стоп у ямщицкой станции; молча, с дугами и сбруей на потных спинах, пышущих жаром, отводит ямщик лошадей от коляски, словно паровоз от состава, а из конюшни уже ведут к вам и приставляют в оглобли свежую тройку с расчесанными хвостами, и новый, незнакомый вам кучер, отоспавшийся, вскакивает на облучок, на ходу подбирая вожжи. Не успели оглянуться — и опять мчитесь, опять однотонная музыка дороги, крапчатый дождь простучит по верху дорожной коляски, уминая дорожную пыль, вспыхнет и замрет вдалеке собачий лай. Ночью вы спите, вытянув ноги. Вы привыкли к колыбельному качанью рессор. У вас и голова не кружится, и сны легкие, и свежий ночной воздух летит к вам под полог с дороги, навевая их. Раза три переменят тройку, покуда вы отоспитесь и спросите наутро у незнакомого ямщика: «Что, брат, за станция?»

Но для Ильи Николаевича Ульянова оба эти манера оказались, в сущности, литературной иллюзией, отвлеченной, как и всякая иная иллюзия. Он выехал в казенной бричке, набившей ему в первый же час до боли бока. Пыль столбом стала по выезде из города. Ровная и унылая дорога плыла медленно, вдоль древнего вала, тянувшегося отсюда невысоким, непрерывным ребром до самой Москвы — остаток древней русской истории, когда наступала на эти равнины орда. Часами только и мелькало перед Ильей Николаевичем, немилосердно подбрасываемым на жестком сиденье, белое с черным,— это сливались в глазах бежавшие вдоль дороги «вёрсты полосаты». Переехали реку Свиягу, и стало совсем невмоготу. Сильные осенние дожди прошли недавно в этих местах. Вокруг — до самого горизонта — раскис чернозем, лежавший под паром. Кой-как, мимо бедной деревушки Баратаевки, где дали лошадям отдых, добрались на ночлег до Тетюшей. И что это был за ночлег!

Илья Николаевич еще не знал дорожных правил и не захватил с собой ни погребца, ни персидского порошка. Похлебав на ночь из одного котла с ямщиком, он улегся было на лавке, но до утра не мог сомкнуть глаз. Вдоль бревенчатых, плохо законопаченных стен непрерывным потоком шуршали клопы, обжигавшие ему непокрытую голову, лицо и руки. Воздух в ямщицкой избе был невыносимо спертый, керосиновая лампочка, всю ночь горевшая, светила тускло, как в шахте. Два крохотных оконца не имели и подобия форточки, но открыть их ему не удалось,— стекло было наглухо вделано в неподвижную раму. А рядом спали еще люди, он слышал тяжкий их храп, видел изнеможенные от усталости лица — сон свалил их, как только тело опустилось на лавку.

Но утро, холодная струя из рукомойника, острый озон свежего деревенского воздуха принесли ему облегчение. От Тетюшей до Тугая идти пришлось пешком, чтоб не пали лошади. Дорога пошла по болотам. Сперва пробирались по гатям — искусственным насыпям, обложенным щебнем, щепками, прошлогодней соломой. Потом пошли зажоры — ямы с водой, чуть прикрытые неожиданно пошедшим ранним снегом. Лошади до колен проваливались и, хрипя, вытягивали из ям ноги под отчаянную ругань ямщика. Он тоже шел рядом, по пояс в грязи, а впереди были версты и версты все тех же гатей с теми же полными черной воды зажорами. Лишь на восьмой день добрались они до широко разлившейся под дождями и снегом полноводной Суры. На том берегу ее, поднимаясь над рекой, раскинулось Промзино. Неуклюжий паром ходил через Суру, и они едва нашли себе место между крестьянскими возами, мычавшими коровами, выпряженными конями, стоявшими, понурившись и прикрыв ресницами усталые глаза. Илья Николаевич заметил впервые седину старости в лошадиных гривах и ресницы у лошадей, совсем как у людей. Но мысли его лишь мельком коснулись этих подробностей — он неотступно думал о том, что встретил в дороге.

За семь дней пути всюду, где мог, он сворачивал в деревни, где была или должна была быть школа. Он посетил три из них — и сейчас думал об этих школах. В одном месте его повели в караулку без окон. Зимою она освещалась из открытой двери. С десяток ребят си-

дели в этой сторожке за двумя наспех сколоченными столами. Старинным способом, по складам, их обучала полуграмотная попадья, покуда муж ее справлял дальнюю требу.

— И часто приходится вам заменять мужа?— спросил ее инспектор, войдя в сторожку.

— Коли время есть, отчего ж не заменить, дело не хитрое, — словоохотливо отозвалась попадья, еще не зная, кто пожаловал к ним.

Разутые, с посинелыми носами, хотя стужа еще по-настоящему и не началась, дети сидели нахохлясь, и было видно, что их привели сюда точь-в-точь так, как, развязывая тряпицу, отдают мужики, вздыхая, дорого доставшуюся гривну на школьный сбор: заплачено — отрабатывайте.

За инспектором в сторожку вошел, сконфуженно улыбаясь, местный староста — маленький рябой мужичонка. Он не видел никакого проку в грамоте, которой и сам не обучался; он не видел проку загонять сюда детей, чтоб тянули нараспев склады, когда могут пособлять взрослым по хозяйству.

— Второй год одно тянут, рази ж это школа! — произнес он с явным неодобрением.

В другой деревне для школы отведена была грязноватая, с русской печью и заплеванными сенцами изба. Ночью в ней спал на печке сам учитель, отставной солдат.

— Детей почем зря колотит,— пожаловались на него бабы,— а напивается, на всю деревню горланит. Чему такой научит?

В третьем месте его встретила молодая культурная помещица с лицом тургеневской девушки. Явно гордясь, она повела его в светлую, большую комнату при барском доме, уставленную выписанными из города крашеными пюпитрами. Помещица оборудовала школу на свой счет и будет вносить на ее содержание триста рублей ежегодно. Вот только нет подходящего учителя. Ее племянницу не удалось уговорить остаться. Училищный совет обещал прислать... И она занимается пока сама.

— А где же учащиеся?— спросил ее инспектор, разглядывая картинки на стенах, чистые, нетронутые тетради на пюпитрах и большую аспидную доску с нетронутым мелком.

— Дети пока еще очень нерегулярно ходят,— ответила помещица, вспыхнув.

Ей стыдно было признаться, что никто из детей не заходили в эту комнату, вспугнутые пронзительным ее окриком — снять сапоги с налипшей грязью. Что сталось бы с этой красавицей комнатой, если б дети пришли сюда как они есть! Она твердо решила построить баню и сперва привести их в порядок, сколько бы это ни стоило, вот только управляющий... С ним надо торговаться.

Школа, но без ребят в одном месте; ребята — и без школьного помещения в другом, а главное, главное было в отсутствии центральной фигуры — настоящего школьного учителя. Илья Николаевич за семь дней пути уже освоился со всеми неудобствами дороги, привык к ним и замечать перестал; даже насморк, с каким выехал он еще из Нижнего, прошел от непрерывных, так хорошо согревавших его усилий в дороге, когда, помогая ямщику, он подталкивал бричку или просто с трудом месил и месил ногами дорожную грязь. Ветер и дождь исхлестали ему щеки, он был необычно румян, похудел, подтянулся, и трудности ничуть не испугали его. Он втягивался в предстоящее ему большое дело, зная, что уже ни за что не уйдет от него. И ему было ясно, с чего надо начать. Методика, звуковой способ, замечательные, бесспорные законы дидактики, о которых он уже столько читал и слышал,— все это так, но это не может зажить, стать действенным, открыть настоящую свою цену без живого носителя педагогической науки, без подготовленного учителя. Здание, оборудование, книги и пособия — все это так, обо всем этом надо начать хлопотать,— но люди, люди... Поставить школьное дело во вверенной ему большой губернии, чтоб это дело стало реальностью, можно лишь с помощью учителей, десятков учителей, для которых родным станет дело обучения крестьянских ребят. И он дал себе слово: как вернется в город, первым долгом начать подготовку учителей.

Паром медленно пересекал реку, а гребцы в раздувшихся от ветра рубахах мерно поднимали и опускали в воду длинные, похожие на лопаты весла. Вот он подплыл к пристани, полетела на берег тяжелая цепь, и кто-то в один миг закрепил ее на причале. Возы один за другим стали съезжать с парома. Было заметно, что они приехали не в простой день недели,— Промзино шу-

мело праздничной жизнью. Трехцветный флаг Российской империи болтался на шесте, как в праздник; у церкви толпился народ, слышалась разухабистая гармонь — было четвертое октября, день торжественного открытия в Промзине своей телеграфной станции.

«Станцию открывают — наверняка первым долгом есть для нее телеграфист,— невольно подумал Илья Николаевич.— Вот так надо открывать и школы».

Глава восемнадцатая

РОЖДЕНИЕ СЫНА

Тем временем Мария Александровна устраивалась на новом месте. Ей было трудно. Мужа она почти не видела — неделями он не ночевал дома. Кроме семьи Ауновских, ей не у кого было спросить совета, одолжиться необходимым. Соседей, близких, как в Нижнем, по общему коридору, здесь совершенно не было, весь уклад жизни оказывался другим.

Стрелецкая улица, где Ауновский нанял для них флигель, одним своим концом выходила к небольшой Никольской церкви, нынче снесенной, а другим упиралась в Старый Венец, в тюрьму, чуть не за город. На этом дальнем конце, во дворе дома Прибыловского, и помещался нанятый флигелек.

После нижегородской «анфилады» он показался Марии Александровне тесен, она не могла даже распаковать всю мебель, и часть ее была снесена на чердак. Но хозяин уверял, что скоро освободятся верхи в большом доме, окнами на улицу.

На Старом Венце — крутом откосе над Волгой, занесенном желтыми мокрыми листьями,— уже веяло близкой зимой. Резким холодом несло от деревянных, тоже мокрых скамей. Внизу в дивном просторе вилась Волга, и небо над ней было исчеркано, словно мелом по синеве, густым пером облаков. Сюда по воскресеньям приходили мастеровые сорить семечками, грызть сладкие черные стручки и наигрывать на «тальянке». Тюрьма, огороженная стеной, выходила окнами прямо на Венец. Сквозь решетки постоянно налипали бледные жадные лица и

выбритые головы. В будни, когда народу было меньше, приходилось посылать сюда на прогулку Аню и Сашу.

Одной Насте уже трудно становилось управиться, и Мария Александровна письмом попросила сестру Аннушку подослать ей к весне из Пензы няню, такую же опытную, как веретенниковская.

В первый день, приехав и едва разложившись, Мария Александровна была новым городом, несмотря на тесноту флигеля, даже довольна — все ей напоминало деревню. Тихие особнячки с деревянной резьбой, скамейки перед воротами, пыльная, немощеная улица, дощатые тротуары, куры, копающиеся в навозе, унылое кукареку с чужого двора и приглушенность, обособленность их собственной жизни, канувшей сюда, словно капля дождя в песок,— так все хорошо, «вольготно» было тут, по выражению Насти, тотчас же с парохода принявшейся во дворе за стирку, чего уж никак не позволялось на гимназическом дворе в Нижнем.

В центральных улицах, правда, деревня уже отступала, но словно бы не перед городом, а перед поместьями. Статные, белые с желтым, особняки; малиновые с белым, изукрашенные кирпичными зубчиками под крышами и на карнизах казенные заведения; тяжелые «ряды» прошлого царствования — все это носило особый, не похожий на нижегородский колорит. Здесь с гордостью показывали ей белый дом господ Языковых, где проездом останавливался Пушкин; длинное, похожее на хлебные амбары здание, где в богатой купеческой семье родился писатель Гончаров; называли своих симбирцев — Минаевых, Воейковых; поэт Минаев родился тут в 1835 году, Анненков Павел Васильевич — в 1813-м, а в их же губернии в 1766-м родился Николай Михайлович Карамзин. И словно во внимание к этой чести здесь тоже, казалось, царила тишина.

Но тишина обманывала.

На второй день по приезде Ульяновых перед домом Прибыловского задержалась карета — это приехали первые визитерши. Мария Александровна вышла, как была, с доброй улыбкой на красивых губах, милая и приветливая. Тотчас же было замечено, что инспекторша держится хорошо, прямо, как институтка, и губы у нее с лукавством,— народ говорит про такие: «губы сердечком»,— тонкие, чуть пухлые на середке, словно еще не-

раскрытая в бутоне улыбка, а над губой справа большая родинка. Печенье же инспекторши прямо «во рту тает».

Но за первыми визитерами нахлынуло их множество.

В деревянных особнячках с резьбой жили дворяне, купцы и чиновники; у них еще служило по пять-шесть человек бывших дворовых. Осенью из деревни приказчик посылал дворянам возы битой дичи, мешки с мукой, бочки соленого и квашеного, ящики сушенья и печенья.

Через неделю, когда собственное надоедало жевать, начинались «гости» — весь город ходил жевать друг к другу. Люди называли это «проводить время». А у Марии Александровны время было самый драгоценный продукт ее хозяйства; она высчитывала и выкраивала каждый его обрезок, чтоб успеть хоть на ночь, на полчаса, вынуть и для себя книгу из комода, заложенную закладкой, и почитать при лампе, поворачивая листы, как это она одна умела, с верхнего края, осторожно и не загнув угла. И добро бы шли эти люди для разговоров, заменяющих иной раз хорошую книгу, как это повелось у них в Нижнем. Переливали из пустого в порожнее — вот был симбирский разговор в гостях. Музыка тут любовью не пользовалась, театр пустовал; когда показали «Горячее сердце» Островского, десятка зрителей не было в зале!

И приходилось отгонять гостей разными хитростями: всякий раз будто только-только еще приехали они в Симбирск, будто и не успела сменить рабочей одежды, и даже безмолвная выразительность ее спущенной поверх пояса блузки над приподнятым животом,— ну как тут «принимать» и самой «выезжать»? Прежняя нижегородская застенчивость, заставлявшая ее так часто и легко вспыхивать, уже прошла. Уже она различала, кому не стоило отвечать улыбкой на дешевую и привычную светскую улыбку.

Скоро между симбирскими дамами и ею повеяло холодком отчуждения. Опять, как в Нижнем, прошел стороной неприятный слушок о том, что-де ей, Марии Александровне, не хватает широкой русской натуры.

Великим постом приехала от сестры Аннушки из Пензенской губернии со своей подушкой и деревянным сундуком, кованным по углам железом, новая няня Варвара Григорьевна — толстая, строгая, средних лет, с бровями кустиком, где над мелкими русыми бровинками росли другие, потемнее и подлиннее.

На страстную неделю мороз сдал сразу, и сделалось душно, как в парнике; белый Симбирск осунулся, повисли дымные очертания его церквей. В воздухе, в снегу, в скованной Волге, в почтовых трактах, уходивших из города в белые поля, шло неотвратимое, медленное движение к весне.

Марии Александровне нужно было готовиться к пасхе. В среду на страстной с кухаркой Настасьей она поехала по магазинам.

Неимоверно были грязны улицы: рынок забит возами со всякой снедью, битыми индейками и пулярками, балыком, осетриной, кадушками со сметаной и творогом, мешками муки всех сортов помола, корзинами свежих яиц. Мужики ночевали тут же в рогожах, пряча выручку за онучи. Извозчики стояли и ждали стайками, крича заранее: «пятиалтынный», «две гривны», даже «пожалте за гривну, по воздуху домчу!» Паперти кишели нищими.

Мария Александровна не задумывалась, верит она в бога или нет, но не любила разговоры о религии и не откликалась, когда перед ней разливались на эту тему. В глубине души она была скорей неверующей, и чем дальше, тем больше. Представить себе бога она могла не иначе как насильственно, отрешившись от всех обычных представлений о жизни и предметах, и ей просто трудно было найти ему в воображении место, еще не занятое другим чем-нибудь. И уж чего она решительно не понимала, так это обращения к религии в поисках истины, в желании объяснить, откуда произошла жизнь. Если даже есть бог, думала она, то ведь это значит, он должен быть такой сложный и такой окончательный, раз к нему сводится весь смысл жизни, что он труднее, сложнее всякой науки, дальше от ума, чем все законы природы, и, чтобы постичь его, надо больше потратить времени и учения, чем на постижение одного какого-нибудь из его маленьких законов! А если он дается людям легче науки, так в нем не может быть истины, это самообман вроде звона в ушах.

Но мыслями своими она мало с кем делилась и обряды соблюдала вместе с семьей. В страстной четверг зашла она в битком набитую Никольскую церковь, где, знала, должен присутствовать и муж. Но невозможно было увидеть его в толпе. Нестерпимейшая духота охва-

тила ее, потная, промасленная; и Мария Александровна вспомнила правило своего отца: хочешь прожить долго, живи на воздухе; свежий воздух — комфорт умного человека.

Она не выдержала, не стала дожидаться конца службы, а вернулась тихонько домой, не зажгла нигде лампы и сама прилегла, как была, одетая.

Утром в пятницу, десятого апреля, Илья Николаевич поехал из дому прямо в типографию «Симбирских губернских ведомостей», чтоб просмотреть и выправить идущий в завтрашнем, субботнем номере, последнем перед пасхой, отчет о состоянии симбирских народных школ. Отчет был длинный, и газета согласилась провести его в трех номерах. Завтрашнее начало и его продолжение шли за подписью И. Вишневского, и только окончание отчета подписал он сам, хотя вложил свой труд и в первые два. Со вниманием просмотрев гранки, подписанные Вишневским, он еще раз пробежал глазами остальную рукопись.

То был его первый инспекторский отчет, где подводилась всесторонне освещенная, общая, итоговая картина образования народного в целой губернии. Тут были цифры, присланные с мест и проверенные на местах, были характеристики, данные уездными училищными советами, и были его, Ильи Николаевича, собственные выводы, к которым пришел он не на одном лишь анализе уездных отчетов, а побывав за полгода в каждой деревне, где только имелась народная школа. Многое после первой поездки показалось ему не так уж плохо, многое успел он переоценить, передумать. Сколько раз и сам он, собрав сход, говорил с крестьянами, убеждая их видеть в школе свое личное, важное, нужное дело,— и научился простыми, ясными словами затрагивать их интерес. И отыскались ведь кое-где не одни бестолковые дамы-патронессы, безграмотные попадьи, пьяные солдаты, тупые писаря и батюшки, поспешавшие на требу за яичками, курочками и рублями, а настоящие учителя, с искрой в душе, с пониманием дела, помещики — патриоты школ, горячие земские деятели...

Илья Николаевич уже ясно, как на ладони, видел перед собой всю свою будущую работу, а карта губернии перестала быть для него только белыми кружевами на кальке. Он быстро читал про себя:

«Число учащихся обоего пола в 340 сельских школах по губернии простирается до 9717... Обучающихся мальчиков с лишком в 5 раз больше девочек... Крестьяне, даже из чуваш, начинают сознавать пользу грамоты для мальчиков, но... не могут понять, для чего нужна грамота женщинам. Для этой цели постепенно вводится в женские школы обучение простому рукоделью...»

«Училища имеют различные помещенья: бывшие удельные имеют особые дома, более или менее приспособленные к делу обучения... хотя некоторые уже приходят в ветхость и холодны во время сильных морозов... Женские школы... или в домах священно- и церковнослужителей, или в крестьянских избах, или в церковных караулках, иногда сырых и холодных. Необходимо озаботиться заменой неудобных во всех отношениях церковных караулок более удобным помещением, потому что в сырых и холодных караулках... нельзя ожидать успешного хода учения».

«Методы преподавания в школах различны: в одних употребляются до сих пор старые приемы, постепенно оставляемые дельными преподавателями, в других употребляется метод Золотова и, наконец, в немногих начинает постепенно вводиться прием барона Корфа».

«В некоторых училищах употребляются следующие дисциплинарные средства: занесение фамилий лучших учеников на красную доску, худших на черную, постановление ленивых, шалунов на ноги во время класса за столом и поодаль на колени... Из всех этих мер желательно было бы постепенно выводить из употребления ставление на колени, как меру чисто физическую, а вводить, по возможности, меру нравственного влияния на учеников».

«Число учащих в губернии 526, в том числе: священников 294, мулл 3, учителей с их помощниками 199 и учительниц 30. Учителя большей частью из крестьян (59), затем из духовного звания (31), мещан (20); есть также сельские церковнослужители, чиновники, сельские писаря и унтер-офицеры».

«Губернское земское собрание, заботясь об улучшении народного образования по всей губернии, открыло педагогические курсы при симбирском уездном училище с целью приготовления народных учителей, для чего и ассигновало в прошлом, 1869 году, 1850 руб.».

Илья Николаевич вздохнул — маловато, конечно. Важен, однако, самый почин, а почин положен, и тут его меду капля.

«Степень... сочувствия крестьян школе находится в прямой зависимости от пользы, приносимой училищем их детям, а польза, в свою очередь, прямо обусловливается личными качествами и добросовестным ведением дела преподавателя».

Он дочитал и увидел, что рукопись еще не подписана, поискал глазами перо, взял у хозяина типографии и тут же вывел свою подпись: *И. Ульянов.*

У него было хорошо на душе: дело двигается, завтра весь день — отдых в семье, с детьми, с женой. Машенька что-то прихворнула утром...

Весело он вышел на улицу и распахнул пальто — так тепел был воздух. На город неудержимо шла весна, с треском и шумом ломались волжские льды внизу.

Перед флигелем его остановили — входите тише!

Соседка их по квартире, Анна Дмитриевна Ильина, маленькая, круглая, с черным пушком над губой — «научная фельдшерица», как ее называли в городе, а попросту — первая симбирская повитуха с медицинским образованием, уже стала хозяйкой во флигеле.

Он тихо открыл дверь. Праздник остался — на столах и в кастрюлях, на кухне и в кладовке,— начатый и неоконченный. Яйца не докрашены, остуделое тесто задвинуто в угол. Сквозь запах ванили и шафрана, купленных только вчера, бил в нос другой запах — аптечный.

Жена лежала в спальне, распустив волосы, улыбаясь, в бледной испарине, вся в чистом, и комната была белая, как белоснежный халат Анны Дмитриевны.

— Айда, айда, Илья Николаевич, это не ваше мужское дело, и без вас справимся!

— Вот не вóвремя, Ильюша,— шепнула Мария Александровна, виновато взглянув на него.

А уже через час он опять входил в комнату, и тот, кто так просто и по-свойски пришел в мир, разворошив праздник, лежал, как и все младенцы, кумачово-красный и орал на столе, потому что Анна Дмитриевна, как того требует обычай, здорово его нашлепала.

Отец подошел и нагнулся. Перед ним лежал четвертый его ребенок, крохотный Ильиченыш, старообразный, как все новорожденные, с огромным, глыбастым лбом

в рыжем пуху и маленькими лукавыми глазенками из-под него, словно подмигивающими отцу на быстроту и непрошеность своего вторжения.

Анна Дмитриевна с утра уже знала, как назовут дочь, если будет дочь, и как назовут сына, если будет сын.

— А ну, берите нас, папаша,— затянула она голосом всех акушерок мира,— поздравьте нас, папаша, с новым жителем на земле, Владимиром Ильичем!

1937—1957. Ульяновск — Москва.

ОЧЕРКИ

СТАТЬИ

ВОСПОМИНАНИЯ

ПРЕДКИ ЛЕНИНА С ОТЦОВСКОЙ СТОРОНЫ

(Наброски к биографии)

(АНКЕТЫ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА.—АСТРАХАНСКИЕ ДОКУМЕНТЫ. ДЕД, НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ УЛЬЯНОВ, – ДЯДЯ, ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ УЛЬЯНОВ.—ОТЕЦ, ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ УЛЬЯНОВ)

I

Ленин может помочь вам в любом вопросе вашей работы. Только на один вопрос его книги не дадут никакого ответа: Ильич почти никогда и нигде не рассказывает о себе и своей молодости ни прямо, ни косвенно. Он не сравнивает с собой, не оговаривается личным в связи с чужим. Давая целиком самого себя, свой характер, свою личность в каждой произнесенной и написанной им фразе, давая так ясно и убедительно, с такой почти телесной осязательностью, с таким непосредственным воспроизведением всего своего облика вплоть до интонации, что мы остро переживаем в чтении близость живого человека, Ильича, убеждены, что знаем его и знали всю свою жизнь,— так отдаваясь и воплощая себя в своей речи, он почти ни разу не обернулся на свою жизнь как на свидетеля, не привел себе на подмогу случая из личного прошлого, не говоря уже о попытке написать свою автобиографию.

Но, на наше счастье, и Ленину приходилось заполнять анкеты. Создатель русской коммунистической

партии большевиков тоже проходил партийную перерегистрацию и 17 сентября 1920 года заполнил регистрационную карточку. Инициатор всероссийской переписи населения тоже был в 1922 году переписан вместе со всем советским народом и занес свои ответы на опросный лист.

В этих двух коротеньких рассказах Ильича о самом себе мы находим огромную помощь для *верного* пути к *правильной* передаче ленинского характера. Прежде чем перейти к тому, что в этих рассказах непосредственно касается нашей темы, сделаем самый беглый обзор всех его анкетных ответов.

На вопрос, какая его основная профессия, Ленин в карточке отвечает: «Литератор», а в переписи повторяет: с двадцатисемилетнего возраста жил литературным трудом и в годы 1897—1917 основным заработком была литературная работа.

Ленин, величайший революционер и политик, считал литературу своей основной профессией. Было ли это случайностью? Крупные политики древности, и Платон, и Цицерон, и Юлий Цезарь; великие революционеры и мыслители новой истории, и Дидро, и Марат, и Маркс, и Энгельс, и Сталин были и есть писатели в полном профессиональном смысле,— писатели, дорожащие чистотой и весомостью каждого вышедшего из-под их пера слова. Они отделывали свою написанную мысль, задумывались с пером в руках. У них — перечеркнутые черновики, корректуры — весь обиход писателя-профессионала. А если покопаться в менее известном прошлом, то увидишь, что предшественникам Маркса, школе физиократов, впервые пытавшимся исследовать не одно только обращение, но производство капитала, их противники, меркантилисты, дали даже кличку «писатели». Этой кличкой они хотели выразить всю свою иронию по адресу «фантазеров», хотя именно физиократы, обруганные словом «писатели», и оказались куда ближе и к реальному пониманию экономики, и к будущим боям человечества, нежели меркантилисты, считавшие себя практиками и людьми дела.

Ильич, таким образом, точно выразил то, что не было случайностью.

Если он видел основную для себя профессию в литературе, так это потому, что он, как и перечисленные вы-

ше великие литераторы, в самой литературе видел прежде всего политику, но политику в ее глубочайшем, философском понимании, как важнейшее дело человечества, как управление из рулевой будки историческим процессом. Такая литература не может существовать без ясности, без знания и без волевой направленности. Надо хотеть и знать, чего хочешь, уметь убедить и передать свое хотенье и знание другому,— вот условия для того, чтобы стать таким литератором. И если мы обратимся к детству и юности Ленина, к годам, когда складываются убеждения и характер коротенький ответ в анкете поможет нам многое понять. Он объяснит например, чем был вызван вкус Ильича к древним языкам и какую пользу они ему принесли.

На вопрос о языках французском, немецком и английском Ленин в анкете ответил, что знает «плохо все три», а в переписи, где этот вопрос был иначе сформулирован: «На каких языках свободно говорите?» — он написал: «Свободно ни на одном». Мы знаем по книгам и рукописям Ленина, что он пользовался всеми тремя языками с удивительной свободой, чувствовал дух и оттенок слова, находил прекрасные, точные выражения при переводе, гораздо более подходящие, нежели у многих присяжных переводчиков. Мы знаем, что мать Ленина, Мария Александровна Бланк, владела всеми тремя языками и сама занималась со своими детьми. Мы знаем также гимназический диплом Ильича, где имеется особая индивидуальная пометка, что среди всех предметов, усвоенных им с отличным успехом, наибольшую успешность он проявил в *древних языках.* Значит, к перечисленным трем можно было бы прибавить латынь и греческий. Но не верить Ильичу, считать, что он пишет «неправду из скромности», нельзя. Неправда из скромности — такая же неправда, как и всякая другая, и она чужда Ленину. Он писал то, что думал, совсем не из желания преуменьшить свои действительные знания, а из большой и естественной *нормы правды* людей полного исторического роста, тех, кто предъявляет к вещам и к себе максимальную требовательность.

Насчет образования Ильич ответил, что кончил гимназию в 1887 году и сдал экстерном в университет в 1891 году по юридическому факультету.

Здесь тоже можно подумать, и вот о чем. Сдать экстерном — это большею частью значит быть лишенным возможности сдавать нормально. Не сдаваясь, с необычайным достоинством и хладнокровием, Ленин использовал каждую законную возможность отвоевать себе право на сдачу экзамена. Его упорные прошения и ответы на них, переписка министерства народного просвещения с учебным округом, учебного округа с ректором университета, последовательные попытки Ильича получить право на выезд за границу, на сдачу экзамена в одном, потом в другом университете, очень хорошо представленные, кстати сказать, в Центральном музее Ленина,— это одна из интереснейших страниц в биографии Ильича. Простой пересказ текста документов учит нас тому, что такое *достоинство большевика*, умение без вспышек, истерики и трагедии, без запальчивости, униженья и притворной льстивости, без всякой лжи, без всякой фальши, оставаясь самим собой, *заставить* противника уступить себе. А противник — всероссийское самодержавие; а тот, кто заставляет его уступить,— юноша двадцати одного года.

Почему Ленин идет на юридический факультет?

Естественные науки его не привлекали. Учителем, ученым, врачом он быть не собирался. Ильича на юридический факультет привлекли *общественные* науки, право и экономика,— так он ответил сам на вопрос своего двоюродного брата, Н. И. Веретенникова: «Почему ты выбираешь юридический?» Мы видим, что он выбрал факультет, уже наметив себе в общих чертах тот путь, по которому пойдет в жизни.

Дальше, в опросном листе переписи мы читаем очень интересную вещь. В графе о религии Ильич пишет: «Неверующий с 16 лет». Это значило, что до шестнадцати лет он был верующим, и перестал верить уже в том возрасте, когда отпадение от религии происходит сознательно.

В семье Ульяновых только отец, Илья Николаевич, был убежденно верующим, по-видимому, до самой своей смерти. Обряды церковные членами семьи исполнялись, праздники соблюдались, но никакого насилия или принуждения в этой области над детьми не делалось. Когда, по словам Анны Ильиничны, старший брат, Александр Ильич, перестал верить и на вопрос отца, пойдет ли он

в церковь, ответил, что нет, не пойдет, то к этому больше никто в семье не возвращался. Не было попыток воздействовать и на Владимира Ильича. Мать не любила ходить в церковь. Обращаясь к фактам, видим, что Ленин перестал верить в бога в год между смертью отца (январь 1886 года) и казнью брата (май 1887 года). Никакие воспоминания современников не помогут нам вникнуть в рост и развитие ленинского сознания так, как эта скупая *дата*. Она же направит наше внимание и на многие такие обстоятельства, о которых мы без нее, может быть, и не догадались бы задуматься.

И еще есть одно интересное указание в анкете. На вопрос: «Где вы жили в России?» — Ильич отвечает: «В России жил только на Волге и в столицах». О Сибири упоминанья нет. Потому ли, что слово «жил» как-то не вяжется с вынужденным пребыванием в ссылке; потому ли, что Сибирь Ильич не отнес к России, считая, что вопрос касается Европейской России? Или попросту он забыл о селе Шушенском на короткое мгновение, когда заполнялась анкета? Мы не знаем.

Но как-то больно подумать, что Ленин не был там, где сейчас так охотно бывает каждый трудящийся,— на Кавказе и Минеральных, в Закавказье и на северном берегу Черного моря, от Батуми до Туапсе, на Дону и в Крыму, не видел Киева и Харькова, не летал в Среднюю Азию и на Дальний Восток. Однако дело не в этом. Впервые в очень большом значении встает маленькая подробность: Ильич — волжанин. Он — сын Волги. Отец его родился в Астрахани, старшие брат и сестра — в Нижнем, сам он, младшие сестры и брат — в Симбирске. Учился в Казанском университете, первую ссылку отбыл под Казанью, практиковать помощником присяжного поверенного начал в Самаре. Почти вся Волга охвачена этим кругом.

А ведь Волга — родина многих замечательных русских людей. Чернышевский, любимец Ильича, был родом из Саратова, с Волгой связано имя Радищева. Из Нижнего вышли Лобачевский, Добролюбов, Горький; первые народные бури — движение Пугачева, Степана Разина — немыслимо себе представить вне Волги. Больше того, вся русская история, если взять ее в очень больших клетках, по столетию в каждой, разливается своеобразной песней вниз по течению Волги.

В своей многовековой борьбе за реку, борьбе сверху вниз, с истоков к дельте, русские встречают десятки разнородных племен и «языков» и проходят через самые несхожие и пестрые культуры, начиная с финских и угорских, кончая булгарской, татарской, казанско-татарской. Волжанин — потомок этой многовековой борьбы этих разнообразных культурных и племенных воздействий. И Владимир Ильич — типичный волжанин. Универсальность его облика: глубоко-славянское, мягкое, простонародное, такое типично русское и в то же время — калмыцкий разрез губ и глаз; и удивительная способность как бы принимать черты сходства с любой нашей народностью, так, что узбеки видят его узбеком, таджики превращают его в таджика, армяне рисуют его армянином, эскимосы делают его эскимосом, у испанцев, у немцев, у башкиров, у белорусов он похож на испанца, немца, башкира, белоруса, и всякий раз остается самим собой, Ильичем, похожим и родным для всех.

А что знаем мы об этом происхождении еще точнее? Кем были его родичи? Его дед?

Сам Ленин дальше своего отца никого не знал. На вопрос об отце он ответил в приписке: «Директор народных училищ». А уже на вопрос о деде пишет: не знаю.

Ленин помнил только, что дед был из Астрахани, что он был из простых, что отец учился на медные гроши, а кем был дед, как и где он работал, чем особенным отличался,— не знал в точности и не задумывался над этим.

В первые годы после смерти Ленина это незнание было настолько крепко, что даже наиболее сведущий в его детстве биограф, лучше других знавший и помнивший семейные обстоятельства, его старшая сестра Анна Ильинична Елизарова допускала неточности, которые за нею повторяли и другие. О дяде Ильича писали, что он был «мелким служащим частной конторы в Астрахани», «мелким чиновником», из него сделали даже «мелкого интеллигента». Писалось, что «отец Ленина происходил из бедной интеллигентской семьи». Потом, вместо служащего и чиновника, стали писать уже вернее, мещанин города Астрахани. Наконец уточнили по найденным документам, что дед Ленина, Николай Васильевич Ульянов, был астраханским портным.

Истоки рода Ульяновых ведут, таким образом, исследователя в дельту Волги, город Астрахань.

II

Почти в каждом из советских городов, хоть сколько-нибудь значительном, имеется отделение архива, и помещается оно чаще всего в здании какой-нибудь приспособленной под него старинной церкви. Сюда, под высокие своды, в уютные уголки разных приделов и ниш, свозят из мокрых, заброшенных подвалов груды всяких дел и документов, начиная от метрических книг и кончая ведомственными журналами. Среди архивных работников есть энтузиасты не хуже любых советских энтузиастов других профессий. Они чувствуют себя и на положении пограничников (всегда у черты розыска истины, защиты и обороны этой истины от досужих фантазий и измышлений); и на положении летчиков, водолазов, геологов,— ныряя в моря и тучи бесконечного количества неведомого и неразобранного материала; и на положении ученых, готовых каждую минуту сделать самое неожиданное открытие. Спокойное и как будто далекое от жизни место превращается в наших условиях в боевой пост культуры.

За астраханским архивом очень большие заслуги. Разысканы: дом, в котором родился отец Ленина; метрическая запись, по которой установлены дата крещенья Ильи Николаевича и фамилии его крестных отца и матери; книга «на записку мастеров», где перечислено множество профессий ремесленников, существовавших в 1834 году [1], и где в списке «портные астраханские мещане» под № 3 значится: «Николай Васильевич Ульянов, внесший налогу «единовременно десять».

Разыскать дом было нелегко. Чтоб его найти, пришлось тщательно за много лет пересмотреть так называемые «ревизские сказки», периодические переписи населения на дому, с хозяевами, чадами и домочадцами, пока не нашелся среди них замечательный документ от 1835 года, сохранивший для нас даже собственноручную, очень крепкую и характерную подпись деда Ленина. Этот документ дополнила вторая ревизская сказка от 1850 года, когда деда Ленина уже не было в живых. К ним при-

---

[1] Вот некоторые из них: воскобельные (свечи); золотарные по дереву (киоты); дрожичные (дрожки); гребенные (гребни); чеканных дел, резных печатей и т. д.

бавились два приказа об «отсужденной от рабства дворовой девке Александре Ульяновой», о которой неизвестно в точности, кем она доводилась деду Ленина. Разыскан семейный склеп Ульяновых на астраханском «духосошественском» кладбище.

Все перечисленное — лишь первые находки. Архив XVIII века почти не разобран, можно наверняка предсказать, что он даст в будущем немало открытий. Но найти документ — это еще полдела. Главное, как я уже сказала,— суметь жизненно прочитать документ, выжать из его сухости теплый человеческий голос. Правильное чтение документа, расшифровка в нем исторических показаний — это тоже заслуга астраханского архива.

Вот перед нами самый красноречивый из этих документов — ревизская сказка от 1835 года:

ПЕРЕПИСЬ ДОМОВЛАДЕНИЯ
ЯНВАРЯ 29 1835 ГОДА

1. Имя и прозвание обывателя, в том городе старожила, родившегося или вновь поселившегося, и его годы.	Астраханский мещанин Николай Васильевич Ульянов, 70 лет.
2. Холост или женат, и на ком или вдов.	Женат на дочери астраханского мещанина Алексея Смирнова, Анне Алексеевой, имеющей от роду 45 лет.
3. Много ли детей мужского или женского пола и их имена и лета.	Имеет детей сыновей: Василия 13 лет, Илью 2 лет, и дочерей Марью 12, Федосью 10 лет.
4. Есть ли в городе за ним дом, иное строение, или место, или земля, им ли построено, или наследственно, или куплено, или в приданое получено, в каком месте в городе и которой номер.	Имеет в Астрахани дом, состоящий в 1 части, 1 квартала под № 227, доставшийся ему по покупке от артиллерийской команды лафетного подмастерья Федора Федорова Липаева, на который дом купчей крепости еще не совершено и никаких документов не имеет, кроме платежных квитанций, цену коему объявил 260 рублей.
5. В городе ли живет тот обыватель или в отлучке.	Жительство имеет в означенном доме.
6. Какого он промысла.	
7. В каких городских или иных службах был или есть.	Торговых и промысловых занятий не имеет.

К сей сказке астраханский мещанин Николай Ульянов руку приложил.

Справка: Дом Ульянова, состоящий в одной части, 1 квартала под № 227 по табели 1831 года, утвержденном г. министром внутренних дел, оценен в 700 рублей.

Повытчик Гусев

На обороте сказки:

Семейство Ульянова внести в городовую обывательскую книгу с получением в доход города двух рублей пятидесяти копеек. Гласной Абрам . . . . (неясно).

В городовую обывательскую книгу записано под № 1117. Письмоводитель Смирнов.

Два рубля пятьдесят копеек принял, в книгу записал, квитанцию выдал за № 842, 29 января. Казначей Смирнов.

Что тут рассказано? Астраханский мещанин, Николай Васильевич Ульянов, семидесяти лет, проживал в доме, доставшемся ему по покупке от артиллерийской команды лафетного подмастерья, Федора Федоровича Липаева. Купчая на дом не была совершена, видимо по бедности покупателя и не слишком большой требовательности продавца дома, согласившегося даже продать его в рассрочку, потому что при переписи новый хозяин предъявил не одну, а несколько платежных квитанций. Желая уменьшить обложение, Ульянов показал на переписи и уменьшенную цифру стоимости, а «повытчик Гусев», сделал поправку, что цена этому дому на самом деле не 260, а 700 рублей. Но, как ни проверяй разницу в несколько сотен рублей, дом был дешевый и очень невзрачный. Когда стали его искать, восстанавливая старинные обозначения «части», «квартала» и номера, то нашли его на так называемой «Косе», Казачьей улице, а сейчас улице Степана Разина, под номером 9, где он и сейчас стоит. Правильнее сказать (к стыду астраханского горсовета!), стоял до 1935 года, потому что в новом виде, переустроенный, заштукатуренный, выкрашенный в розовое и забранный под консультацию здравотделом, даже не потрудившимся прибить к нему мемориальную доску, этот дом уже ничем не похож на ульяновский. У нас, на счастье, сохранилась фотография 1935 года, и по ней мы можем его показать в том самом виде, в каком он был, когда купил и обжил его дед Ленина, родился и жил в нем восемнадцать лет отец Ленина и много лет спустя ездила мать Ленина со старшими детьми навестить свою свекровь. Коса, то есть намытая Волгой песчаная отмель под «Заячьим бугром», гористой частью Астрахани, где

высится самый город, была местом поселения астраханской бедноты. Она застраивалась лачужками ремесленников, отставных солдат, пенсионеров государства, военных матросов. Купленный Ульяновым у «лафетного подмастерья» домик на Косе был, по тогдашнему обычаю, в полтора этажа — нижний полуподвальный, каменный (в нем жили хозяева) и верхняя деревянная надстройка (сдававшаяся внаем).

Ульянов жил в этом доме не один, а с семьей. Членов семьи было пятеро: жена, Анна Алексеевна, урожденная Смирнова (фамилия, встречавшаяся в Астрахани необычайно часто, о чем говорит даже разбираемая нами «сказка», где приложили руку двое Смирновых — письмоводитель и казначей; есть документ о том, что отец Анны Алексеевны был крещеный калмык); старший сын Василий тринадцати лет, дочь Марья двенадцати, Федосья десяти и последний сын Илья двух лет.

У бедных людей, рабочих и ремесленников, в обычае жениться рано. Брак на заре жизни и естественнее и еще тем хорош, что позволяет «поставить на ноги» детей. Поздние браки в народе встречаются редко, разве что у вдовца с детьми или у тех племен, где за невесту надо вносить «калым». Между тем если присмотреться к возрасту на нашем документе, окажется, что Ульянов женился поздно и был старше своей жены на целых 25 лет. Какая тому причина? По бумагам он вдовцом не значится. Ни калекой, ни даже болезненным человеком его считать нельзя, потому что старик Ульянов, женившись в пожилом возрасте, совсем по-патриаршьи прижил четырех детей, а последнего,— Илью,— уже в таких летах, когда люди большей частью и не помышляют о детях,— шестидесяти семи лет. Это значит, что Николай Васильевич Ульянов сохранил себя здоровым и нерастраченным до преклонного возраста и женился с тем, чтоб иметь семью и детей.

В чем же секрет такой необычно поздней для трудового люда женитьбы? Ответ нам подсказывают два других документа, найденные в астраханском архиве.

I. ПРИКАЗ № 698

Указом Астраханская Казенная Палата от 24-го минувшего марта с № 1174-м сему Магистрату прописывая оная Палата по выслушании сообщение Астраханского Губернского Правления от 13-го

марта за № 3894-м, почему оная палата определила: отсужденную от рабства, проживавшую у Астраханского купца Михайлы Моисеева дворовую девку Александру Ульянову причислить по ее желанию в астраханское мещанство и для щету взнесть в окладную кингу на 1825 год, о чем предписать Астраханскому уездному казначейству и сему Магистрату указами с тем последнему, чтобы взыскал с нее, Ульяновой, за употребленную в Палате по сему делу вместо гербовой простую три листа бумаги деньги три рубли отправки для причисления в доход казны в здешнее уездное казначейство, которое обязано деньги сии до поступления в казну считать по ведомству сего Магистрата в недоимках, приказали: с прописанием оного указа тебе, старосте Смирнову, дать сей приказ и велеть помянутую девку Ульянову причислить в здешнее мещанство на основании оного указа оной Палаты и взыскать с нее за негербовую бумагу 3 листа три рубли, взнести при сообщении сего Магистрата в здешнее казначейство немедленном времени.

Апреля 21 дня 1825 года.

Ратман *Иван Чучин.*

В должности секретаря *Дмитрий Козмин.*

Повытчик *Егор Петров.*

II. ПРИКАЗ № 902

Указом Астраханское губернское Правление от 10-го минувшего марта под № 3891-м о причислении в здешнее мещанство отсужденную от рабства дворовую девку Александру Ульянову приказали означенную девку Ульянову отдать ее тебе, старосте Смирнову, при приказе, которая при сем и посылается, и велеть написать о ней в двойном числе ревизскую сказку, представить в сей Магистрат при рапорте.

Майя 14 дня 1825 года. Ратман *Воронов*

Что же означает странный термин «отсужденная (или отчужденная) от рабства»? Александра Ульянова числилась «дворовой девкой купца Моисеева» до марта 1825 года, после чего по выраженному ею самой желанию она была «причислена к астраханскому мещанскому сословию». Но у купцов не было права иметь крепостных, и выраженье «отсужденная от рабства» отнюдь не совпадает с принятыми в официальной терминологии приказов словами «отпущенная на волю». Преподаватель Иркутского Педагогического института, тов. М. Гудошников, обратил мое внимание на интереснейшее явление «рабства», существовавшее в России еще в первые десятилетия XIX века и отмененное законом, изданным 8 октября 1825 года[1]. В Сибири и Астрахани малолетние дети калмыков и киргизов могли быть проданы в рабство родите-

[1] Этот закон вошел в Полное собрание законов (собрание первое), т. 40, стр. 520.

лями или оказаться захваченными в плен в результате набега и потом проданными. Таких покупных «рабов» закон разрешал держать у себя и купцам. Об этом своеобразном рабстве подробно рассказывается у С. Шашкова[1].

В положении от 1808 года это рабство ограничивалось тем, что достигший двадцатипятилетнего возраста «отсуждался от рабства». Законом же 1825 года право продажи в рабство малолетних киргизов и калмыков было окончательно запрещено. Теперь становится ясно, почему Александра Ульянова в марте, то есть за несколько месяцев до введения в действие закона 1825 года, о котором, разумеется, уже широко было известно,— выразила желание быть приписанной к мещанскому сословию. От купца Моисеева она «поступила», то есть переселилась в дом старосты Алексея Смирнова, тестя Николая Васильевича Ульянова, видимо хлопотавшего о ее преждевременном освобождении.

Трудно предположить, что Александра Ульянова и Николай Васильевич Ульянов, не только однофамильцы, но и одинаково тесно связанные с семьей старосты Алексея Смирнова,— были чужими людьми друг другу. В Астрахани коренных русских фамилий было мало. Очень многие произошли в ней от пришельцев, от крещеных калмыков и татар и от выкупивших себя на волю оброчных крестьян. Крепостные съезжались в Астрахань потому, что здесь имелось множество промыслов и помещику выгодно было отпускать сюда своих крестьян. Выучившись ремеслу и начав какое-нибудь дело, оброчный из году в год посылал своему барину деньги (оброк). Но чтоб в городе жениться и обзавестись семьей, надо было иметь оседлость, то есть недвижимость или заведение, принадлежать к сословию, словом, быть хозяином самого себя. А ко всему этому для крепостных крестьян, кроме выкупа себя на свободу, пути не было.

Прошел ли Николай Васильевич крестный путь оброчного, вышел ли он из крепостных, или из бесправных «инородцев»,— его поздний брак с крещеной калмычкой говорит о долгих и мучительных годах борьбы за свою долю в жизни.

---

[1] Собрание сочинений, статья «Рабство в Сибири», изд. 1898 г., т. II.

Тяжким трудом, из года в год сколачивал он копейку за копейкой, чтобы положить начало первому, самому естественному, законному, но и самому трудному для подневольного человека делу — семье.

Сухие цифры говорят об очень крепкой воле, о здоровой жизненной силе, о невероятном упорстве деда Ленина, с каким он добился цели, лишь на шестом десятке обзаведясь семьей и очагом. Его сын Илья, так же как и его внук, Владимир, не любил вспоминать о своем прошлом и почти никогда о себе не рассказывал. Но один из случаев раннего детства ему ярко запомнился, и он об этом случае рассказал.

Отец дал ему гривенник и послал купить в лавочке на пятачок чаю. Сколько было тогда отцу Ленина? Если вспомнить, что старик Ульянов умер, когда Илье Николаевичу было пять лет (в воспоминаниях Анны Ильиничны и Марьи Ильиничны сказано — семь лет, но по хронологии ревизских сказок, не всегда, впрочем, точной, это неверно), то малышу могло быть самое большее года четыре-пять. Шел дождик, грязь была страшная. Возвращаясь с чаем в одном кулачке и со сдачей в другом, малыш упал в лужу. Чтоб выбраться, ему пришлось пустить в ход кулачок. Придя домой, он долго стоял за дверями, весь мокрый и грязный, не смея войти и боясь, что отец будет его ругать за перепачканную покупку.

Как-то странно себе представить семидесятилетнего отца, больше похожего по возрасту на деда, ругающего своего четырехлетнего сынишку не за провинность, а за беду, но ведь мы и не знаем, ругал ли он его, а знаем только, что мальчик *боялся* отдать перепачканную покупку. Здесь сказалась, быть может, крестьянская черта — почитанье великим грехом уронить еду в грязь или наступить на нее ногой, черта, где экономика (нужда) переходит в этику (уважение к пище, как к условию и продукту труда). Ведь мальчик не рассыпал и не потерял чай, а только испачкал. Ясно видно по этому рассказу еще и другое — что Ульянов до последних лет своей жизни жил в бедности. Так все ближе и ближе узнаем мы обстоятельства жизни деда Ильича, представляем себе его беспросветный, упорный труд по подвалам, согнутую спину, терпеливые руки, кроившие портняжьими ножницами бесконечную материю заказчиков.

III

Но мы еще не все вычитали из документов. Каждая семья, если изобразить ее историю графически, имеет свою «кривую развития». Мы имеем полное право уже по тем документам, которые найдены в Астрахани, считать родоначальником ульяновской семьи именно деда, Николая Васильевича, и нарисовать эту «кривую семьи», начиная с его жизни.

Почему мы имеем такое право? Потому что одним из признаков близости к истоку рода служит еще не вполне установившееся правописание фамильного прозвища, которое лепится не к одному-единственному человеку, а скрепляет собою весь его род. Астраханские документы показывают, что дед Ленина такого вполне окрепшего фамильного прозвища еще не имел, оно допускало в официальных бумагах целых три разночтения. В «записке мастеров» его фамилия *Ульянинов,* в метрической книге *Ульянин,* а в ревизской сказке *Ульянов,* и сам он расписался *Ульяновым.* Если вспомнить, что его сыновья всюду и всегда записывались уже Ульяновыми, то есть в их время фамильное прозвище окрепло и перестало восприниматься приблизительно и «как угодно», то будет ясно, что дед Ленина получил фамильную кличку или первый в роду, или в ближайшем к себе поколении. Итак, что же это за «кривая семьи» идет от него? Он умер в бедности, портным. Его сын, Илья Николаевич, умер в очень скромном достатке, директором народных училищ. Его внук, Владимир, стал Лениным.

Ильич — потомок *тружеников,* он вышел из поколения людей эксплуатируемых, а не эксплуататоров. Но когда я выше упомянула о «кривой восхождения», то имела в виду своеобразие той трудовой «наследственности», какая из рода в род перешла к Ленину, потому что род Ульяновых *своеобразно* стремился к восхождению, и это восхождение было совсем не *типичным.*

Оно ничем и никак не походило на обычное выдвижение *крестьянской* семьи в *буржуазную* семью. Важно ли это отметить будущим биографам Ленина? Думаю, что важно. Для примера возьмем две типичных крестьянских семьи, проделавших путь развития в буржуаз-

ные семьи при почти одинаковых исходных условиях: семью Сапожниковых и семью Гёте.

Имя Сапожниковых в Астрахани знал каждый мальчишка. В Астраханской картинной галерее до сих пор висит целая фамильная выставка Сапожниковых, начиная с родоначальников — крестьянина и крестьянки, писанных в монументальной фламандской манере, в необычно плотных, добротных деревенских одеждах — кафтане и сарафане, и кончая последней в роде щеголихой, умершей где-то в Париже.

Петр Сапожников пришел в Астрахань из Вольска бедным купцом, сыном крестьянина. А его правнуки уже принимали в гости царя, причем принимали так пышно, что сравниться с ними не мог бы ни один вельможа царского двора.

Если, по некоторым общим чертам — по торговому значению, положению ниже уровня океана, стихийному росту в конце восемнадцатого века — Астрахань можно было бы назвать Южным Амстердамом, то Сапожниковы могли бы войти в историю капитализма как русские Фуггеры. Через два поколения потомкам бедного крестьянского сына принадлежали десятки тысяч десятин земли и воды под рыбными промыслами, сотни и тысячи пароходов, барж, плашкоутов, прорезей, рыбниц, неводников, морских лодок на Волге, лучшие дома и конторы в городе и десятки миллионов в банках. Сапожниковы разбогатели «на рыбе». Кривая их восхождения — это типичная капиталистическая кривая, где есть все — и первоначальный грабеж, обман, хитрость, именуемая удачей, и ловкачество, а главное — умение заставить работать на себя других, точь-в-точь так, или еще гораздо лучше, чем тебя самого заставляли работать твои хозяева. Богатство Сапожниковых нажито на местной дешевой рабочей силе, смирных и безропотных калмыках. Весь секрет этого богатства лежит в цифрах: еще в самом начале девятнадцатого века на Сапожниковых работало около 12 тысяч постоянных и около тысячи поденных рабочих.

Такова одна восходящая кривая. Петр Сапожников, выходец из народа, на горбу которого поднимались и богатели помещики, сам полез на этот народный горб и всей силой своего таланта и энергии нажился на нем еще

больше, чем наживались его прежние хозяева. Это типичный кулак, ставший капиталистом.

Другая кривая восходила на много лет раньше в иных исторических условиях и в иной среде. Но пусть лучше расскажет о ней старомодная переводная книжка, носящая штемпель библиотеки симбирской гимназии. Год ее издания — 1876; называется она «Гёте в молодости», «сочинение Иоганна Шерра»; и вполне может быть, что эту самую книжку перелистывали пальцы ученика гимназии Владимира Ульянова, проучившегося в Симбирске с 1879 по 1887 год и пользовавшегося гимназической библиотекой. Итак, слово принадлежит благодушному и вольнолюбивому, умеренно-демократичному историку литературы, Иоганну Шерру. Вот что он рассказывает:

«...Сын тюрингерландского кузнеца, Фридрих-Георг, вступая в 1684 году во Фракфурт через Бокенгейрские ворота с ножницами и утюгом и едва волоча усталые ноги по площади Россплатцу, был далек от предположения, что на этой самой площади его внуку воздвигнут памятник из камня и металла. Фриц-Георг Гёте был ловкий и искусный портной-подмастерье. Он может быть без преувеличения назван человеком бывалым: он вдоволь насмотрелся на мир внимательными глазами и наслушался его открытыми ушами; вдоль и поперек изъездил священную римскую империю немецкой нации, уже значительно подточенную, и прожил несколько лет во Франции. Лучшее, что он вынес из своих путешествий,— это величайший дар нравиться девицам и женщинам. Нечего говорить, как эта способность выдвигает человека на его жизненном поприще. Поступив подмастерьем к портному Лутцу, он познакомился с его дочерью, Анною-Елизаветой... и в скором времени успел приобрести ее расположение. В 1687 году он женился на ней и, получив от города право гражданства, а от цеха портных звание мастера, он перевел в свой дом все дела своего тестя. Жена принесла ему пятерых сыновей, до которых нам, впрочем, нет никакого дела. В 1700 году Фриц-Георг овдовел и в продолжение пяти лет оплакивал свою жену. Вздумай он оплакивать ее до конца своей жизни, его назначение — стать дедом величайшего немецкого поэта — не было бы выполнено... Надо думать, что «мастер ножниц и иглы», достигнув 50 лет, еще не утратил своих привлекательных

качеств, по крайней мере так казалось хорошенькой вдовушке Корнелии Шельгорн, владетельнице гостиницы «Вейденгоф». Недолго думая, Фриц-Георг Гёте во второй раз решился попытать счастье брака и преобразился из портного в содержателя гостиницы. После 25 лет счастливой жизни со второй женой он умер в 1730 году в преклонных годах. От Корнелии он имел троих детей; двое старших умерли раньше отца; третий же Иоганн-Каспар (будущий отец Гёте.— *М. Ш.*), родившийся в 1710 году, сделался наследником материнского состояния, так же как и части Лутцкого по смерти своего сводного брата...»

Здесь мы не видим такого открыто-грабительского, кулацкого восхождения, как у Сапожниковых. Это — рост *зажиточности,* создающей *интеллигенцию* восходящего буржуазного класса. Но и тут — каким несхожим «духом» веет от двух исторических портных — деда Гёте и деда Ленина! Правда, это две разные эпохи, но промежуток во времени скрадывается отсталостью России от тогдашней Европы, и мы можем сравнивать обе эпохи без особой натяжки.

Портной Гёте не был кровопийцей, не ездил наживаться на черных или желтых рабах в колонии, не отдавал денег в рост, не торговал. Но этот ремесленник, «округливший капиталец» вовсе не только при помощи удачных женитьб (хотя даже и его дети были неотделимой от имущества статьей, рождались как «наследники», каждый со своей частью, и обе матери — со своими «материнскими состояниями»),— этот удачливый ремесленник был типичным мелким бюргером, становившимся постепенно средним уважаемым бюргером, потому что на него тоже работали чужие руки, правда, замаскированные лживой патриархальностью, работали ученики, подмастерья, подручные, все те, кого цеховая система вынуждала работать на мастера. И опять можно сказать, что благосостояние портного Гёте выросло на горбу его собственного сословия.

В истории семьи Ульяновых с такими способами восхождения мы не встречаемся. Больше того, если мы сравним достаток, оставленный по наследству потомкам, от деда к внуку, то нас поразит одна черта, о которой как-то никто из нас не задумывался. Вот умер в Астрахани дед Ленина, портной Ульянов, оставив четырех детей

и вдову безо всяких средств и единственно только под собственной крышей убогого домика на Косе. Вот умер в Симбирске отец Ленина, директор народных училищ Ульянов, оставив шестерых детей и вдову без капитала, единственно только с правом на пенсию и под собственной крышей деревянного дома на Московской улице. И вот умер сам Ленин, не оставив ни состояния, ни дома, не обрастя сколько-нибудь имуществом. Были у него обыкновенные часы на старом ремешке, они сейчас висят в Московском музее Ленина, была уже поношенная шуба,— она тоже там висит, и вы видите, что шуба хорошая и солидная, с котиковым воротником, но заштопанная в нескольких местах Надеждой Константиновной; было обыкновенное жалованье — председателя Совнаркома и обыкновенная «казенная» квартира с «казенной» мебелью. Когда бывший управделами Совнаркома Бонч-Бруевич вздумал было с 1 марта 1918 года повысить Ильичу без его ведома жалованье с 500 до 800 рублей, он получил за это от Ленина жестокий нагоняй. Нужных книг у Ильича тоже под рукой не было, даже словарей, оказывается, у него не было «собственных», и, будучи уже председателем Совнаркома, он просит библиотеку Румянцевского музея для справок на один день прислать ему:

«Два лучших, наиболее полных словаря греческого языка, с греческого на немец., франц., русск. или английский.

Лучшие *философские* словари, немецкий, кажется Эйслера; английский, кажется Болдвина (Boldwin); франц., кажется Франка (если нет поновее). Русский какой есть из новых (Радлова и др.)...»

и, заканчивая перечисление требующихся ему книг, Ильич приписывает:

«Если по правилам справочные издания не выдаются на дом, то нельзя ли получить на вечер, на ночь, когда библиотека закрывается. Верну к утру».

А насчет коллекций и дорогих сердцу семейных предметов, то были у Ленина деревянные резные шахматы, выточенные в Нижнем отцом Ленина. В эти шахматы, бывало, играла в отцовском кабинете почти вся семья Ульяновых: и девочки, и мальчики, и сам Илья Николаевич были страстными шахматистами. Ильич очень любил эти шахматы и возил их с собой во всех ски-

таньях. Но в Галиции во время войны, когда он был арестован, в числе прочих вещей пропали у него эти шахматы.

Когда мы стоим перед его вещами в музее, узнавая мелкие подробности о жизни, у нас сжимается сердце и думаешь про себя: «Милый, родной Ильич»,— то это не сентиментальность, как и у самого Ленина простота его быта, неимение собственности, бережливость в одежде вовсе не были чертами сентиментальной «бедности». Они произошли вовсе не из-за отсутствия времени, то есть, что Ильичу некогда было обзаводиться вещами; и не из-за его скитаний, хотя он почти всю жизнь прожил в скитаниях.

В Ильиче это его коренное, подлинное, новое человеческое свойство не обрастать и не накапливать ничего — коренная черта характера, осознанная еще в молодости и превратившаяся в убеждение. Ильич очень любил, как и его мать, похозяйничать на земле, покопаться в огороде, любил сельские работы, и когда мать его купила на деньги, вырученные от продажи симбирского дома, небольшой хуторок Алакаевку под Самарой, увлеченный Ильич не на шутку принялся было в этом красивом земном уголке хозяйничать. Но он очень скоро бросил это дело. Позднее Ильич сам объяснял, что не мог продолжать возиться с землей, потому что *отношения с соседями-крестьянами начали портиться и перестали быть нормальными.*

Сотни людей, именующих себя социалистами, на месте Ильича не заметили бы перемены взаимоотношений или были бы менее щепетильными и скрепя сердце терпели бы эту перемену. Сотни других пустились бы уверять и доказывать крестьянам, что они в душе остаются им «товарищами» и ровнями. Но Ильич настолько не ощущал себя собственником, до того не обладал способностью спокойно принимать наемный труд другого человека, что для него сложившееся в Алакаевке положение барина и мужика было прежде всего *ненормальным* и *неестественным* явлением. И он его тотчас же прекратил. Эта черта, конечно, глубоко личная и самобытно-ильичевская. Но подобно тому, как в торжественно-чинных залах веймарского дома Гёте, где собраны драгоценные коллекции поэта, невольно припоминается его отец Иоганн-Каспар, страстный коллекционер, и дед-

портной, сумевший «округлить капиталец» (припоминается, как некоторая предпосылка для развития в Гёте бюргерской способности собирать и накапливать), так и в ильичевском неуменье и нежеланье пользоваться чужим трудом есть кое-что, полученное им по наследству и от деда, и от дяди Василия, и от отца (предпосылки для возникновения нового *большого* характера, для рождения *нового* человека)...

Дядя Ленина, Василий Николаевич, по возрасту был вторым представителем ульяновского рода, и о нем мы знаем гораздо больше, чем о старшем Ульянове. Василию было семнадцать лет, когда умер отец, а младшему — Илье — пять. Василий заменил поэтому меньшому брату и отца и воспитателя. Анна Ильинична, рассказывая об Илье Николаевиче, пишет:

«Образованием своим он обязан старшему брату, Василию Николаевичу, которому пришлось отложить горячие мечты об учении и поступить на службу, чтобы содержать семью. Но он постарался дать брату то, чего ему не удалось достигнуть самому, содержал его в гимназии, а затем поддерживал и в Казанском университете, пока Илья Николаевич, с детства привыкший к труду, не стал содержать себя сам уроками. С большой благодарностью вспоминал всегда Илья Николаевич о брате, вполне заменившем ему отца, и детям говорил, как он обязан брату» [1].

Из астраханских источников можно установить, хотя очень общо и сжато, но все же полностью, весь круг жизни Василия Николаевича.

Оставшись после смерти отца единственным кормильцем семьи и расписываясь на бумагах за неграмотную мать, он начинает служить с юности и служит до самой смерти сперва соляным объездчиком, потом приказчиком у тех же хозяев — «Братьев Сапожниковых». Служба не дает ему ни зажиточности, ни «чинов», но, по-видимому, он был старательным, исправным и честным работником, потому что под старость получал от своей фирмы небольшую пенсию. Когда Василий Николаевич умер, его сослуживцы вскладчину поставили новую плиту на трех прежних плитах семейного ульяновского склепа и сделали на ней такую надпись:

[1] «И. Н. Ульянов и дело 1 марта». Сборник Истпарта, Госиздат, 1927, стр. 32.

«Здесь покоится прах астраханского мещанина, Василия Николаевича Ульянова, скончался 12 апреля в 4 часа пополудни 1878 г., жития его было 60 лет».

Подобной надписи не придумают ни жена, ни дети. Как ни проста и бесхитростна эта жизнь (сослуживцы назвали ее «житием»), в ней есть своя особенность. Василий Ульянов не женился, не имел детей. Мы не знаем, кто закрыл ему глаза после смерти. Сохранилась его карточка. На ней дядя Ленина сидит, скрестив руки, как посадил фотограф, разряженный, в клетчатой жилетке и модном сюртуке, оттянув из рукавов накрахмаленные манжеты. Густо напомаженная и подстриженная прядь волос закручивается над ухом. Вид у него истовый и парадный, но сквозь все это смотрит такое простодушное, такое наивно-крестьянское лицо человека из народа, и в напряженно глядящих глазах такая своя, хоть и неосознанная «принципиальность» (жил не для себя, вырастил, образовал, в люди вывел братишку, выполнил долг — значит, не зря прожил), что вам как-то близок и мил становится весь его некрасивый и неромантичный облик.

Но когда увидишь, в каких условиях проводилась эта его «линия жизни», начинаешь и глубоко уважать Василия Ульянова.

Мы уже знаем, что ему очень хотелось учиться. В годы его молодости это желание учиться совпало с потребностью общества в грамотных людях, и в самом воздухе было нечто, поощряющее хотенье учиться. Просматривая историю русской школы с Петровых времен, видишь, как в ней периодически наступали короткие «вёсны» для способных детей из простого звания. Как только государство начинало нуждаться в «кадрах», будь это учителя или фельдфебели, чиновники или врачи, управляющие или техники,— рогатки, мешавшие народу учиться, слегка приподнимались, в воздухе чувствовалось «веянье», дышать становилось вольнее, и сквозь рогатку проскальзывало некоторое количество даровитых людей из народа. Потом рогатка падала, кому-нибудь рассекала при этом лоб, и начиналась реакция.

Вспомним те два приказа, в которых говорилось об отсужденной от рабства Александре Ульяновой. На первом из них целых три подписи: ратман Чучин (запомним: *«ратман»*), «в должности секретаря Козмин (запомним:

«секретарь») и повытчик Петров (запомним: *«повытчик»)*. А что передает этот приказ?

«Указом Астраханская Казенная Палата от 24-го минувшего марта с № 1174-м сему Магистрату прописывая, оная Палата по выслушании сообщения Астраханского Губернского Правления от 13-го марта за № 3844-м, почему оная Палата определила...»

Не очень-то ясно. Посмотрим второй приказ:

«Указом Астраханское Губернское Правление от 10-го минувшего марта под № 3894-м о причислении в здешнее мещанство отсужденную от рабства дворовую девку Александру Ульяновну приказали означенную девку Ульянову отдать ее тебе, старосте Смирнову, при приказе, которая при сем и посылается, и велеть написать о ней в двойном числе ревизскую сказку, представить в сей Магистрат при рапорте».

Налицо перед нами две бумаги от 21 апреля и 14 мая. Их номера — 698 и 902. Между первым и вторым прошло 23 дня. За 23 дня выпущено, по-видимому, еще 204 приказа. А сколько же в этих новых приказах ссылок на указы и рапорты, если в наших двух по единственному нехитрому делу Ульяновой имеются ссылки на указ от 24 марта № 1174, на сообщение от 13 марта № 3894, окладную книгу на 1825 год, указы казначейству и магистрату «с прописанием оного указа дать сей приказ», написать «в двойном числе ревизскую сказку» и представить ее «при рапорте». Рядом с этими приказами и указами просто какой-то случайностью кажется живая девушка, которая «при сем и посылается».

Время думских дьяков, в приказах поседелых, оставило после себя приказный словарь. К нему прибавились словечки нового века, словарь смешался, магистрат с казенной палатой, секретарь с повытчиком, канцелярская тарабарщина перестала быть вполне понятной даже тому, кто ее пишет,— это перед нами страшная, громоздкая, отжившая, средневековая канцелярия николаевского времени.

А нужда в ратманах, секретарях и повытчиках все растет и растет. Или, вернее, время требует смести этих ратманов и повытчиков, держащих людей под гипнозом неразберихи, время нуждается в счете и ясности, в грамотном и толковом письмоводителе, счетоводе, управляющем, технике, экономе. Огромные барские имения шлют

в города на выучку крепостных, чтобы иметь грамотную контору; быстро растущие фабрики выписывают иностранцев, государству нужны чиновники, а где их взять? Дворяне учатся туго и высокомерно, и вот тут-то и приходится ослабить рогатки и допустить к образованию поповичей и мещан, то есть вчерашнего крепостного.

Так случилось и в Астрахани. Ленивая и вялая жизнь гимназии, где ученики по большей части сидели в классе второй и третий год, к окончанию доходили единицами, а из окончивших в университет не поступал никто,— стала подхлестываться целым рядом мероприятий. Учебный округ начал вдруг поощрять учителей и директоров за успехи учеников, «объявлять благодарность» за успешность целого выпуска, «представлять к награде» за образцовое состояние всей школы. Заинтересованные директора и учителя в свою очередь «заинтересовались» в учениках, и способные мальчики из простого звания стали для них «интереснее» всяких Митрофанушек с громкими фамилиями и состояниями. Просматривая архивы астраханской гимназии, впервые встречаемся с «субсидиями» бедным, но хорошо учившимся мальчикам. Илье Ульянову, например, дважды было выдано по 25 рублей, деньги немалые по тому времени, если сравнивать их с тем, что за право учения в гимназии платилось три рубля в год, а одной вдове-чиновнице с двумя детьми назначили пенсию в 28 рублей в год [1]. Встречаемся и с таким поощрительным фактом, как отправка в округ лучшего сочинения ученика с одобрительным отзывом директора. Делалось это очень редко, безоговорочных похвал почти не было, и тем важнее для нас, что в число одобренных попало и классное сочинение Ильи Николаевича,— но мы опять забегаем вперед. Вот на какое время пришлась молодость двух братьев Ульяновых. Астрахань сороковых годов была куда ярче и демократичней дворянского Симбирска семидесятых годов! Город в царской России тоже менял свой облик, имел на протяжении столетия и свои приливы и отливы, и часто деды жили в лучших общественных условиях, нежели их внуки, попавшие в полосу реакции. Астрахань восемидесятых го-

[1] Данные взяты из интересной работы П. И. Усачева, бывшего зав. астраханским архивом, об отце Ленина. Я ознакомилась с этой работой в стенах самого архива в бытность мою в Астрахани (1935—1936).

дов, по письмам Чернышевского, кажется нам глухой азиатской околицей, чем-то вроде пыльного и сонного восточного базара с лениво бредущими продавцами. Но в начале XIX века она еще хранила что-то от своего блеска южного торгового порта, стихийно выраставшего на хлебной торговле с Персией, покуда его значения не убила Одесса. И внешне это был один из красивейших городов России. Все, что плыло вниз по течению, скапливалось к нему, гогоча, крича, молотя веслами. За сто верст на мертвых якорях, рядами тяжелых барж, лежал рейд, а возле него, осыпаясь в ночную воду огнями, грузились чужие пароходы со странными названиями — «Эйзели», «Мешхедерес». В самом городе были «Индийская улица», «Канал грека Варвация». Сквозь город когда-то шли стотысячные табуны, караваны с солью, караваны с шерстью, на рынке и сейчас были груды рыбы, зелени, икры, тюки шелка, россыпи винограда. Вдруг на неделю улицы затоплялись нашествием степных полчищ, дороги раскисали от навоза, караван-сараи стонали от лошадиного ржания.

Все «тянуло» расти, соблазняло искать собственную дорогу. Но Василий Ульянов нашел в себе силу остаться в домике на Косе тем, чем он был, чтоб вытянуть — опять же ценою всей своей жизни — не себя «в люди», а меньшого брата.

IV

Посмотрим теперь, как восходил его меньшой брат — отец Ленина. Он стал к концу жизни довольно крупным чиновником, штатским генералом. Забыть, что такое действительный статский советник в последние годы царствования Александра II — семидесятые и восьмидесятые, никак нельзя. Но и тут нас встречает нечто глубоко не типическое, а своеобразное. Целый ряд крупных русских чиновников, вышедших из мещан, из низшего духовенства, из крепостных, становились в старой России самыми ярыми, самыми надежными укрепителями царизма, защитниками той системы, что душила и держала в темноте их предков, родичей и братьев. Замечателен в этом смысле путь Сперанского, большого государствен-

ного деятеля, вышедшего из низов. Начал он блестящим реформатором, участвовал в либеральных «занятиях» Александра I, но достаточно было первой немилости — двухлетней ссылки, чтоб он превратился в ничтожного капитулянта, заискивающего царедворца, и кончил составлением обвинительного акта против декабристов. В этом акте есть, кстати сказать, одно выражение, полное такой яркой силы ненависти, что поражаешься, откуда оно попало в официальный документ: обвинительный акт винит декабристов в том, что они обуяны *«бешенством превращений»,* иначе сказать, политическое сознание человека, жажда справедливости, революционное вмешательство в историю, по мнению составителя акта, сводятся к чему-то вроде белой горячки, мании менять вещи ради самого изменения, а не ради их улучшения. Словно знаменитый мужик-меняла из сказки, «Мало тебе одного вида, одной формы жизни, скучно тебе, не умеешь оставаться на месте — заболел страстью все менять да менять, вола на осла, осла на курицу, курицу на иголку, а лучше сидел бы в том самом сословии и положении да честно работал «царю и отечеству на пользу», — это целая программа, обращенная лицом к своему классу, из которого самому удалось выскочить в верхи! Программа довольно обыкновенная, она лежит в основе всех философий оппортунизма, но необыкновенно в ней только одно: найденное выражение огромной силы ненависти,— так могут ненавидеть лишь своего в семье, и тут есть такое «чересчур», что выдает свою тайну — кровную ненависть и к себе. Кто в пылу ненависти выбрасывает слово, ища ударить по самому больному, тот жалит и выдает обычно самого себя. Виня декабристов в жажде «бешеных превращений», автор выдал свое *предательство,* тайное ощущение вины за собой, стыда и боязни получить обвинение в том, за что сам знает, что его можно обвинять, и потому он доводит свое собственное обвинение до крика. Человеку искусства, художнику, это выражение открывает внутреннюю раздвоенность, трещину в человеке, смогшем его сказать. «Кривая восхождения» чиновников из низов, обернувшихся к своему классу самыми лютыми реакционерами, «во всей строгости» нового чина и звания, встречается в начале девятнадцатого столетия довольно часто. Читаешь, например, историю немногих разночинцев первого выпуска Казанского или других

университетов — и на одного Лобачевского, на одного Чернышевского видишь десятки видных «помощников министра», «начальников канцелярий» и проч., и проч. страстных реакционеров и «столпов».

Этой трещинки, разлада между убеждением и жизнью, двойственности поведения в семье Ульяновых нет намека. Художника поражают абсолютное отсутствие предпосылок к разладу и удивительная *цельность* в жизни и характере трех поколений людей (говорю трех, потому что Василия Ульянова, заменившего по возрасту Илье Николаевичу отца, можно счесть за отдельное поколение). Мы уже видели, что Ульяновы не дали в роду ни одного выдвиженца-эксплуататора, не богатели кулацки, но жажда выбиться «в люди» путем учебы, стать образованным человеком у них была. Василий Ульянов утолил эту жажду тем, что дал образование младшему брату, и в судьбе Ильи Николаевича, дошедшего до больших чинов (действительный статский советник — чин гражданского генерала), казалось бы, нас могло встретить что-либо похожее на раздвоенность. Между тем именно в отце Ленина эта цельность ульяновского характера, вылитость из одного куска, неумение согнуться проявляется с исключительной силой. Изучить и описать эту жизнь во всей ее глубокой поучительности стоило бы независимо от того, что Илья Николаевич — отец Ленина, настолько хороша и значительна эта жизнь.

Родился Илья Николаевич 14 июля 1831 года. В метрической книге церкви Николы Гостинного записано:

«Девятнадцатого числа астраханск. мещ. Николая Василия Ульянина и законной жены его Анны Алексеевны сын Илья».

Биограф отца Ленина П. И. Усачев, кстати сказать, делает эту дату днем рождения Ильи Николаевича, хотя она скорей указывает на день крещения. Двадцатого июля православный календарь празднует Илью, и крестный отец новорожденного, отец Николай Ливанов, протоиерей церкви Николы Гостинного, дает своему крестнику имя Ильи. Крестною записана тетка — сестра матери новорожденного, Татьяна Алексеевна Смирнова, оставшаяся незамужней и жившая в их семье.

Церковь Николы Гостинного в торговом центре города считалась одной из самых богатых. Приход был влиятельный, и священник Николай Ливанов имел, очевидно,

большие связи. Он очень помог Василию Ульянову «вытянуть в люди» Илью Николаевича, и его крестник никогда не забывал об этом. Много лет спустя на юбилее Ливанова была зачитана теплая приветственная телеграмма из далекого Симбирска от «действительного статского советника» Ильи Николаевича Ульянова.

Один из учеников Ильи Николаевича, державший у него экзамен в алатырской начальной школе, знаменитый по всей Волге хирург и глазной врач Григорий Иванович Суров, вспоминая об Илье Николаевиче, сравнивает его по внешности с Пироговым. Илья Николаевич с детства не мог не чувствовать воспитывающей силы примера брата, отказавшегося ради него от личной учебы. Этот пример заставил его отнестись к своему ученью тоже как к долгу, воспитал в нем необыкновенную добросовестность. Мальчик он был худой, небольшого роста, болезненный, картавил с детства. Из всего гимназического выпуска один Ильюша Ульянов попадает в Казанский университет...

Главное, чем поражает молодость отца Ленина,— это огромная культура учебы, культура, завоеванная исключительным прилежанием с самого раннего детства. Гимназия и университет в жизни отца Ленина (а впоследствии и в жизни самого Ленина) сыграли такую большую роль, что, приступая к изучению детства и молодости Ильича, нужно очень ярко и полно знать, чем была средняя и высшая школа в годы ученья его отца и его собственные.

История школы — это почти всегда история поколений. По старым губернским городам остались пухлые книжки, отпечатанные в местных типографиях небольшим тиражом: это какой-нибудь просвещенный старожил или чиновник по случаю юбилейной даты на скорую руку выпускал «историю гимназии такого-то города». Хотя составлялись они напыщенно, без всякой критики, из восхвалений и перечислений их превосходительств попечителей и пожертвователей, но все же по ним видишь и как менялись программы, и как менялся состав учащихся, и как по-разному ставились царским правительством «высшие цели» ученья, и как по-своему преломлялись эти цели в новом поколении.

В конце восемнадцатого века из Европы пришли к нам, с опозданием чуть ли не на пятьдесят лет, начала

«разносторонности» и разнообразия предметов преподавания. Образованный человек должен был знать всё, ни перед чем не становиться в тупик, а так как узнать все глубоко и хорошо почти невозможно, то люди учились всему неглубоко и нехорошо, то есть поверхностно и понемножку. Школу того времени еще застал Пушкин, сказавший про нее:

Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь.
Так воспитаньем, слава богу,
У нас немудрено блеснуть.

Если это «чему-нибудь» и «как-нибудь» перевести на язык учебной программы, то мы увидим огромное множество предметов, о каких в наше время средняя школа и не помышляет. Взять хотя бы Казанскую павловскую гимназию,— в ней преподавались пять языков (русский, латинский, немецкий, французский, татарский), логика и практическая философия, геометрия и тригонометрия, механика, гидравлика, физика, химия, естественная история, землемерие, гражданская архитектура, законоведение, военные дисциплины, рисование, музыка, фехтованье, танцы, а с 1834 года Лобачевским, тогдашним ректором молодого университета, введены были гимнастика и преподавание искусств. И все это — кроме основных предметов: истории, русского языка, словесности, грамматики, закона божьего, арифметики, алгебры. Целью такой программы, по уставу 1798 года, утвержденному Павлом I, было: «Подготовить юношей к службе гражданской и военной, но не к состоянию, отличающему ученого человека». Иначе сказать, установка была на нужного государству чиновника без дальнейшего «углубления знаний».

Кто же учился в этой гимназии?

Ученики делились на «казенных» — принятых, одетых, обучавшихся и содержавшихся за счет государства — и на своекоштных, то есть селившихся где-нибудь в городе «на своем кошту», или иждивении. В число казенных принимались дети небогатых дворян, но и разночинцев, если они имели хорошие способности. Отдать сына в гимназию в начале девятнадцатого века считалось смелым и передовым делом. Не всякая маменька на него решалась. У нас есть замечательный рассказ о казанской гимназии

и первых годах Казанского университета Сергея Тимофеевича Аксакова. Молоденький барчонок, спавший дома на пуховиках, по утрам объедавшийся сливками, в обед — жирными щами, ботвиньей со льду, всеми видами жареного и вареного, арбузом, дыньками, яблоками, грибами и вареньями, пирогами, высота которых была в три раза больше раскрытого рта. И после такого обеда опять сладко спавший на пуховиках, привыкший к дядькам и казачкам, напяливавшим на барскую ножку чулочек, к заискиванию дворовой челяди, к уженью весь день-деньской или охоте на птиц, или пусканию голубей и опять сну и квасной сладкой отрыжке после сна,— этот нежный барчонок вдруг попал в дортуар с десятком других мальчиков. Его безжалостно будили в пять утра, давали, да и то лишь в праздник, по утрам вместо сливок — стакан сбитня с булкой, стригли русые кудри, сжимали пухлую шейку жестким сукном воротника,— и барчонок впадал от всех этих невиданных жестокостей в нервную истерику и горячку, покуда по непролазным дорогам к нему не наезжала за четыреста верст в фамильном возке его ангел-маменька.

Аксаков ведет рассказ от души и чистосердечно изображает себя жертвой, самодурку-мать — ангелом, а гимназию — тюрьмой и старшего классного надзирателя Камашова — извергом. Но читатель невольно видит в этом рассказе, как трудно было первым энергичным людям из разночинцев, вроде того же Камашова, впоследствии затертого и убранного,— как невыразимо трудно им было спорить с дворянскими привычками к лени, баловству, привилегиям изнеженности и как они старались ввести равенство и закалку в гимназический быт. Еще мы видим из книги Аксакова, что даже в те времена, за сорок лет до того, как пошел учиться маленький Ильюша Ульянов, на казенном кошту были замечательные, способные ребята, умевшие и презирать барчуков, и защищать свое достоинство, и верховодить коллективом, и даже учинять «протесты», требуя увольнения «держиморд», за что они сами бывали увольняемы, как, например, Дмитрий Княжевич.

Я не зря повела рассказ о казанской гимназии десятых годов прошлого столетия, хотя Илья Николаевич учился в астраханской (более демократической) в пятидесятые годы. Когда установка на «широкое поверхност-

ное образование» потерпела крах, вернее сказать, понадобились учителя с более глубокими и специальными знаниями, потому что государству нужны стали настоящие специалисты во все большем и большем количестве, то именно ребята аксаковского поколения перешли из седьмого класса, только переменив мундиры да качество обедов, прямо на первый курс, тут же, только что в здании гимназии основанного, Казанского университета. Из них-то и вышли впоследствии те первые профессора, которым пришлось в свой черед обучать целый ряд поколений будущих учителей гимназий.

В какую бы школу на Волге вы впоследствии ни заглянули, вы непременно встретили б или услышали в ней про казанца. Казань и стала матерью волжского просвещения, и все колебанья и периоды в судьбе Казанского университета: самодур Яновкин, сумасшедший ханжа Магницкий, гениальный умница Лобачевский с зароненными в нем просветительными идеями масонского ордена иллюминатов,— все это как-то отражалось и на средней школе, влияя на качество и особенности гимназических учителей.

Но главной чертой Казанского университета был упор на математику. Овеянный славой первых своих основателей — старого математика Румовского, немцев Бартельса и Реннера, астронома Литтрова, блестящего физика-иллюмината Броннера, озаренный страстным гением Лобачевского, Казанский университет надолго завоевал у студентов интерес к математике и обеспечил высокое качество выходивших из него учителей физики и математики. Когда Илья Николаевич впервые ступил на чудесные, черные, литые из чугуна плиты с обозначеньем годов, ведущие к этой alma mater как бы по хронологическим мемориальным доскам ее славы (они и сейчас заставляют глядеть себе под ноги каждого, кто идет в университет), то по ним уже не шагал стройный, с военной выправкой человек, многолетний ректор университета Николай Иванович Лобачевский.

В те годы Лобачевский был уже стар и болен. Он еще оставался на работе в учебном округе, но из университета его «ушли». А все же он успел, хоть и слегка, приложить свою руку к истории жизни Ильи Николаевича, отметив в будущем отце Ленина его дельность и добросо-

вестность, что было не частым делом у скупого иа похвалу ученого.

Илья Николаевич (не без влияния гимназического учителя Степанова, хорошего математика) тоже выбрал для себя физико-математический факультет. Он поступил на него в 1850 году, кончил кандидатом математических наук в 1854 году, а спустя три года держал и дополнительный экзамен на звание старшего учителя физики и математики. По сохранившемуся университетскому диплому, имеющему (в оценках) некоторое сходство с ленинским аттестатом, мы знаем, что в обязательных предметах он проявил отличные знания, в дополнительных — хорошие, причем набрал себе этих дополнительных предметов очень большое количество. Тут и минералогия, и геогнозия, и архитектурно-техническая химия, и французский язык — видно, что он пытался отхватить из университетского объема как можно больше всего самого разнообразного. «Письменное рассуждение» (то есть кандидатское сочинение) написал на тему «Способ Ольберса и его примеиение к определению орбиты кометы Клинкерфлюса» и получил за него одобрение.

О казанской жизни Ильи Николаевича мы знаем мало. Но в те годы еще ие было такой черной реакции в университетах, как в годы Ильича, еще действовал старый, более или менее либеральный устав, позволявший студентам чувствовать себя свободно и непринужденно, и назревала реформа 61-го года. Илья Николаевич, воспитанный на медные гроши, страстно увлекшийся своей учебой, вдобавок такой трудной и напряжениой, как математика, был, вероятно, из числа спокойных студентов. Целый ряд условий способствовал этому — и выбранная профессия, и постоянное памятованье о брате, ради него отказавшемся от учебы, и общее положение студенчества. По воспоминаниям Анны Ильиничны и Марии Ильиничны, Илья Николаевич хорошо знал литературу, помогал детям писать сочинения, руководил их чтением и был главной причиной того, что молодые Ульяновы никогда не увлекались ни в детстве, ни в юности ходкими книгами легкого чтения, имевшими тогда успех (Анна Ильинична указывает, например, на то, как зачитывались в те дни «Петербургскими трущобами» Крестовского, а у них в семье иикто читать не мог этой книги за ее невыносимую фальшь), и вырабатывали в себе хороший вкус к

чтению. Это говорит за то, что Илья Николаевич, будучи студентом, много и хорошо читал. Он не мог не читать «Современника», чья блестящая пора совпала с его молодостью, не мог не читать статей волжанина Чернышевского — каждая из них была событием в те годы,— не мог не читать Добролюбова, Щедрина, Некрасова. И он читал и любил их. Некрасов на всю жизнь остался его любимым поэтом. Но Илья Николаевич не был «политическим» студентом и вышел из университета лояльным подданным русского самодержавия. Однако же, при всей неоспоримости этого его спокойствия, при всем отсутствии в нем бунтарских и революционных начал, Илья Николаевич резко отличается от многого множества молодых людей, начинавших по выходе из университета тянуть служебную лямку, восходя по лестнице чинов. Он отличается тем, что с первых же самостоятельных шагов показал себя человеком *отдачи*. Ведь и путь просвещения, выбранный Ильей Николаевичем, мог бы тянуться по шаблону — от «низшего» к «высшему», как он и тянулся у огромного большинства, считавшего «низким» преподавание в начальных училищах, более высоким — в прогимназиях, еще выше — в гимназиях, а там тоже с повышением от младших классов к старшим. Такая же тяга была у большинства и в отношении места действия: люди стремились попасть из деревни в уезд, из уезда в губернию, из губернии в Москву или Петербург. У Ильи Николаевича мы находим *обратную* линию. По чину и званию он повышается от учителя к инспектору народных училищ, потом к директору. Но по месту своего действия, по людскому материалу, с каким он имеет дело, Илья Николаевич все время как будто идет «сверху вниз», и его личная жизнь становится все более сжатой, все менее «перспективной». Из университета он попадает в Пензу, где учительствует восемь лет. Из Пензы — в Нижний-Новгород, шумный и благоустроенный, где тоже учительствует, но уже шесть лет. А из культурного Нижнего-Новгорода он едет в маленький глухой Симбирск и там проводит семнадцать лет своей жизни, но даже не в нем, а больше всего в разъездах по глухим деревенькам губернии. В Пензе и Нижнем его сфера деятельности — дворянские институты. Обучает он городских дворянских детей, педагогом оказывается замечательным, и многие из его питомцев на всю жизнь сохранили

память об Ульянове-преподавателе. Правда, не довольствуясь преподаванием, он все время берет на себя и другую работу, берет, как сейчас сказали бы, в порядке «общественной нагрузки»: в Пензе — образцово ставит и ведет метеорологические наблюдения (для этой работы на его кандидатуре и остановился Лобачевский), в Нижнем — учительствует на землемерно-таксаторских курсах, но, за небольшим исключением, окружающие его люди — это учительская интеллигенция, городская интеллигенция, администрация училищ. Живет он в удобных квартирах, в Нижнем даже прекрасно живет, по соседству с семьями коллег. Женился счастливо в 1863 году на дочери казанского врача, с которой познакомился в Пензе. Его любят и уважают, он окружен товарищами, положение его прочно. И все это Илья Николаевич меняет на неустроенную (первое время) жизнь в глухом городишке, меняет на безлюдье и некультурность, одиночество и бытовые трудности Симбирска.

Чтоб понять настроение и судьбу такого человека, как отец Ленина, нужно знать огромное значение в его жизни реформы 1861 года, то есть освобождения крестьян.

Дата эта, 1861,— роковая и предопределяющая для многих больших русских людей и многих общественных течений в России. По тому, как отнеслись к освобождению крестьян те или иные публицисты, писатели и политические деятели и что́ они в ней поняли, пошло и дальнейшее их развитие. Судьбу Чернышевского, например, его близость к позднейшим социал-демократам и особую любовь к нему Ленина определило гениальное прозренье, с каким он в «Прологе» и в статьях своих вскрыл отрицательную сторону этой реформы, показал колоссальную экономическую невыгодность ее для крепостного, новое закабаление и обнищание крестьянства. Но для Ильи Николаевича эта реформа имела огромнейшее обаяние. Для него она освобождала и делала гражданами миллионную бесправную массу крестьян, открывала перед ней как будто ту же дорогу к знанию, культуре и человеческой жизни, какая была достигнута другими сословиями, и в то же время давала возможность огромного дела, дела отдачи себя таким людям, каким был он сам, выходец и выученик «на медные гроши» из той же народной массы. Отрицательной стороны реформы Илья Николаевич не видел. Он горел настроениями первых послереформен-

ных лет, мечтал о служении народу и при первой же представившейся возможности кинулся в это служение. Когда министерство народного просвещения, желая проверить состояние народного образования и внести в него единство, взять в свое поле зрения все существующие и вновь открываемые школы, учредило инспектуру народных училищ и выделило для нее из лучших и наиболее добросовестных работников своего ведомства первые ответственные кадры, то Илья Николаевич тотчас же бросил насиженную жизнь в Нижнем и удобную квартиру,— и с женой и двумя маленькими детьми осенью 1869 года выехал для совершенно неизвестного будущего в неизвестный для него город. Это был идеалистический выбор, стремление послужить своему времени на самом свежем и самом новом участке просвещения — в народной школе.

Илья Николаевич Ульянов был пламенно убежден в возможности служения народу и принесения ему пользы в тех политических условиях, в которых жил. С этим убеждением вступил он на свой путь, шел по нему и, когда понял, что убеждение ошибочно, сломился на нем. Сломился, но не приспособился.

Драматическая сторона жизни Ильи Николаевича почти не подчеркнута его биографами, начиная с добросовестных архивных работников — старшего архивариуса Полянской, бывшего заведующего астраханским архивом П. И. Усачева — кончая ближайшими членами семьи Ульяновых. Правда, первые показали изменения условий его работы: рост реакционных настроений в министерстве, все большее преобладание задачи контроля над задачей создания новых школ, изменение отношения самого министерства к Илье Николаевичу под конец его жизни, когда начальство поняло, что в лице Ульянова оно имело хотя и добросовестного, но недостаточно гибкого работника, не понявшего нового курса, не сумевшего приспособиться к тому, что стало больше требоваться от него, словом, не того рачительного чиновника — орудия в руках самодержавия,— какой был ему нужен, и, поняв это, отметило свое неудовольствие. (Так, Илье Николаевичу по выслуге лет не была, как это почти всегда делалось, продлена его служба еще на пять лет.) Правда, вторые, то есть ближайшие, родственники в своих воспоминаниях, отмечали и помрачнение настроения Ильи Николаевича с годами, и его растущую затаенную грусть, когда церков-

ноприходские школы стали все больше вытеснять светские, а учителя из неокончивших семинаристов предпочитаться его любимцам, учителям с курсов (основанных им самим) и из Порецкой семинарии. Но все это лежит перед будущим его биографом еще вчерне, не изученное в своей связи, не прослеженное в своей конкретной последовательности. Лежит оно вчерне и перед будущим биографом Ленина, как факт глубочайшей исторической важности.

Ведь это не случайно, что перед глазами юноши Ильича, *в непосредственной, кровной с ним близости, прошли и обожгли его душу две судьбы, как будто созданные для того, чтоб показать будущему вождю пролетариата безнадежность и безвыходность двух политических позиций.*

Вот умер отец, веривший, что можно приносить пользу народу мирным и честным личным служением в рамках царского строя,— умер, видя развал труда всей своей жизни, ухудшение, а не улучшение жизни народа и, как итог, еще и плевок себе от того же царского строя.

Вот погиб его брат, веривший, что можно смести этот строй жертвенным личным героизмом, путем уничтожения отдельных его представителей, погиб на эшафоте,— а самодержавие лишь укрепилось и стало еще реакционней.

Обе эти судьбы воспитывающе повлияли на все развитие ленинского характера, как пример великой цельности, которую мы уже видели и в других членах ульяновского рода, и как пример безнадежности избранного пути. И отец и брат жили по своему пониманию, жили до конца, до катастрофы,— сломившись, но не приспособившись. И эта ульяновская цельность дала в Ильиче последний свой цвет, вылилась в завершающую выразительность характера большевика, чуждого всякого болезненного субъективизма, мелочности, самолюбия и самокопанья: в ту чудесную простоту и силу поведения, в ту ясность выбора третьего пути, на котором только и стала возможна великая победа трудящихся.

* * *

Анна Ильинична рассказывает в своих воспоминаниях о маленьком Ильиче замечательную подробность. Детьми они затеяли рукописный журнал. Коренастый и кре-

пенький Владимир Ильич, писавший под псевдонимом «Кубышкин», принес для журнала длиннейший рассказ. Анна Ильинична была в то время увлечена Белинским и задумала «подвергнуть критике» рукописи авторов. Владимиру Ильичу как автору самого объемистого материала досталось от нее больше всех. И вот Анна Ильинична была поражена:

«...с каким сосредоточенным вниманием слушал этот резвый мальчик новый для него род литературного произведения,— то есть разносную критику,— не высказывая ни тени личной обиды, несмотря на язвительность некоторых словечек (ведь надо было подражать Белинскому)».

Так и видишь перед собой любопытные глазенки внезапно заинтересованного, притихшего мальчугана — будущего острейшего полемиста-большевика, самого страстного и цельного и самого надежного в мире, избравшего верный путь для освобождения человечества...

1935—1938

ВОСПОМИНАНИЯ О НАДЕЖДЕ КОНСТАНТИНОВНЕ

1

Задолго до того, как увидеть самое Надежду Константиновну, мне довелось впервые познакомиться с ее почерком и потом удивляться, как до глубокой старости, можно сказать до дня ее смерти, этот почерк сохранил свою твердость,— он остался одинаковым, без следа дрожи в руках, без искривления линии строчек. Даже привычку писать письма почти всегда лично, не прибегая ни к стенографистке, ни к диктовке на машинку, Надежда Константиновна сохранила до последних дней жизни.

Дело было в Ленинграде в 1925 году. По знаменитому Шлиссельбургскому тракту, на окраине старого Питера, где началось в девяностых годах прошлого века первое социал-демократическое движение среди рабочих, есть на правом берегу Невы суконная фабрика, бывшая «Торнтон», знаменитая тем, что отчасти и за подпольную работу на этой фабрике, за выпущенную прокламацию к ее рабочим Владимир Ильич получил свою первую большую высылку. Еще и в 1925 году она стояла довольно изолированно от других фабрик, идти к ней было нелегко (деревянные мостки через Неву, на которых когда-то потонуло много рабочих), а в девяностых годах это была настоящая крепость, куда постороннему человеку и попасть было рискованно.

Быт и степень сознания рабочих Торнтона считались в девяностых годах не только самыми отсталыми, но в своем роде «неисследованными», до того тщательно оберегал фабрикант ворота своей фабрики-тюрьмы от проникновения в них постороннего человека и так сурово держал самих рабочих, запретив им переходить на левый берег Невы. В 1925 году, живя в Ленинграде, я задумала рассказать о том, что такое эта историческая «фабрика Торнтона» в наше советское время. Маленькая книжечка «Фабрика Торнтона» была написана, издана, и вскоре после выхода ее в свет я получила через Марью Ильиничну Ульянову большой конверт с четкой надписью «М. Шагинян от Н. Крупской». В этом письме Надежда Константиновна рассказала мне, как она сама в девяностых годах, переодевшись работницей, пробралась в эту фабрику-тюрьму. Простыми, но страшными чертами встает прошлое из ее рассказа; нашим советским работницам оно сейчас покажется просто невероятным. Вот это замечательное письмо, напечатанное в двадцатых годах как предисловие ко второму изданию моей книжки, (выпущенному газетой профсоюза текстильщиков «Голос текстилей» в качестве приложения):

Дорогой товарищ, прочла я Вашу книжку «Фабрика Торнтон». Мне она понравилась. Неприятно только показалось, что Вы ставите на одну доску Плеханова и Тахтарева. Первый — основоположник нашей партии, у которого мы все учились, Тахтарев — редактор «Рабочей мысли» — революционер на час.

Я когда-то работала в Смоленской школе, у меня было много учеников от Торнтона.

Интересно, как Торнтон, член Фарфоровского Попечительства, вносивший деньги на устройство школ на Шлиссельбургском тракте, закабалял своих рабочих.

Большинство рабочих он подбирал из определенных сел Смоленской губернии, смоленские рабочие особенно держались Торнтона потому, что там больше всего работало земляков. Торнтон даже разрешал им праздновать свои престольные праздники.

Чтобы удержать своих рабочих от участия в надвигавшемся рабочем движении, Торнтон устроил у себя на фабрике вечерне-воскресную школу и пригласил туда для преподавания студентов духовной Академии. Те морочили им голову. Помню, однажды один из моих учеников прислал мне книжку, охарактеризовав ее, как очень интересную и советуя ее прочесть, которую принес им студент: «Хождение богородицы по мукам». Книжка эта была насквозь проникнута антисемитизмом и диким изуверством. Рабочие все же предпочитали смоленскую школу, а торнтоновская школа пустовала.

В 1894 г. мы вдвоем с Аполлинарией Александровной Якубовой, переодевшись работницами, ходили смотреть общежитие Торнтона.

Большой домина, построенный так, что во всех комнатах стоит страшный шум, комнаты, отгороженные от коридора не доверху, по две семьи в малюсенькой комнатешке, в верхнем этаже комнаты со стенами, зелеными от сырости, воздух такой, что даже лампа не горит — кислороду не хватает — общие спальные с развешенным бельем, духота невероятная...

Каждая семья отдельно варила обед, надо было платить кухарке 2 рубля в месяц, чтобы ставила горшок со щами на огонь, кто платил больше, того горшок ставился ближе к огню. У кого горшок стоял с края — щи получались сырые. Плита была маленькая, и все горшки все равно не уставлялись на нее. Питались больше чаем с хлебом да с селедкой.

Рабочий день был неимоверно длинен. Когда мы были в казармах, пришли вскоре по окончании работы. В женском общежитии видела, как несколько работниц в изнеможении лежало на кровати, уткнувшись головой в подушку, одна лежала в ящике. Условия работы были непомерно трудны. Особенно про красильню рассказывали, как отравлялся там народ.

Все эти воспоминания вызвала во мне Ваша книга, а также ряд образов, фигур рабочих. В безграмотной группе сидят два пожилые рабочие от Торнтона в кафтанах, пишут слово «конь» и один от другого с хитрой улыбкой закрывает писанье, чтобы тот не списал у него «ь». И это простое обучение грамоте — радость людям доставляло! Привели потом своего земляка — побойчее, умевшего уже читать, но хотевшего подучиться читать. Тот все сына, мальчика лет 7 — на урок с собой приводил.

Ну, да ладно уж...

Новую фабрику любопытно будет посмотреть...

Жму руку.

Н. Крупская

Это письмо имело огромное влияние на меня как писателя. Во-первых,— заключавшимся в нем политическим уроком,— указанием на разницу между Тахтаревым и Плехановым. Скупая характеристика, данная в трех строках, много раз вспоминалась мне, когда я бралась в романе за образы революционеров. Во-вторых,— словами о рабочих, закрывавших друг от друга мягкий знак. Эти слова Надежды Константиновны я и сейчас не могу читать без волнения. В них как будто ничего нет, их всего только восемь: «И это — простое обучение грамоте — людям счастье давало»,— но в них целый мир, ключ к характеру большевика. Вот *так* надо было любить скованный, порабощенный, измученный двойным рабством у царя и капитала простой народ, любить его будущее, чтоб задолго до революции идти раскрывать ему глаза на печатное слово, на смысл человеческих отношений, на силу рабочего единения. И в свете этой любви, на простом школьном уроке, *так* заметить и запом-

нить простую мелочь,— черточку радостной, детской хитринки у рабочего на уроке,— так заметить, запомнить и передать это скупыми словами, чтоб читающий и сейчас не мог не почувствовать всю силу любви старых большевиков-ленинцев к народу...

2

Впервые увидеть Надежду Константиновну мне пришлось уже спустя несколько лет, на первом пленуме Моссовета одиннадцатого созыва 1934 года, в числе депутатов которого была и я. Много раз мне приходилось потом,— и устно и в печати рассказывать об этом пленуме.

Начался он с отчетного доклада, в котором подробно перечислялись добавления наших избирателей к наказу. Толстый отпечатанный том этих «добавлений к наказу», солидно переплетенный, был заранее нам роздан на руки. Но часть депутатов, воспитанная на старых традициях буржуазных говорилен, еще не знавшая, в чем заключается работа «советского парламента», хоть и перелистала этот увесистый том, однако же читать его не стала, а подготовила свое собственное выступление заранее, совсем не по существу этих добавлений. Правда, и заготовленные нами речи были связаны так или иначе с вопросами советской культуры и быта, но взяты они были отвлеченно, прожектёрски и шли мимо отчетного доклада. И чем больше мы обдумывали их, тем расплывчатей и бесформенней представлялась нам наша будущая работа.

Но вот слово взяла Надежда Константиновна Крупская. Затаив дыхание, я глядела, как проходила к трибуне седая, болезненная с виду, сутуло державшаяся, с крупными чертами большого лица, с узелком просто зачесанных и заколотых на затылке белых волос, знакомая каждому человеку на советской земле, верная спутница Ильича.

Начала говорить Надежда Константиновна очень тихо и не быстро. Она заговорила о вещах, показавшихся нам в первую минуту страшно маленькими, не стоящими

такой высокой трибуны: о снятии какой-то тумбы с какого-то проезда, о трамвайных висунах, о горячих завтраках для школьников... Этих, перечисляемых ею, мелочей было очень много; сперва они казались нам случайными, но вот постепенно ожила связь между ними, вещи предстали в определенной классификации, выделились в группы, зажили важной жизнью, захватили вниманием, и вдруг мы заметили, что все они очень знакомы нам. Оказывается, Надежда Константиновна проанализировала тот самый объемистый том с дополнениями к наказу избирателей, который нам роздали на руки и который — к стыду нашему — мы восприняли чисто формально, как что-то вроде памятного альбома. А в нем-то и заложена была самая суть нашей будущей работы, в нем были перечислены реальные нужды десятков тысяч москвичей, доверивших эти нужды нам, своим депутатам, и ждавших от нас, чтоб мы эти нужды удовлетворили. Надежда Константиновна дала нам тогда урок подлинной советской демократии. И речь ее захватила наше внимание примерно так, как речь очень большого педагога: не только своим *содержанием*, но своею *методикой*. Содержание этой речи ввело в залу главное действующее лицо нашего пленума — *реальную массу избирателей и ее интересы*. А методика речи Надежды Константиновны ввела нас самих в тот великий *ленинский стиль работы*, в ту культуру настоящего большевизма, которая и заключается в умении чувствовать себя неотрывно от массы, видеть и слышать ее нужду, как свою нужду, ее интерес, как свой интерес.

3

После этого «урока советской демократии», полученного мною от Надежды Константиновны, мне пришлось несколько раз встречаться и говорить с нею и в Моссовете, и в санаториях, всякий раз переживая от встречи с нею большую радость и волнение. Но более тесное общенье с нею возникло у меня, когда в конце тридцатых годов я начала большую работу о семье Ульяновых и детстве Владимира Ильича.

При жизни членов семьи Ульяновых все такие работы о прошлом Ленина контролировались непосредственными свидетелями и близкими соучастниками его жизни. Это было огромным преимуществом для всех, кто брался за такую трудную тему. В лице членов семьи Ленина — Марии Ильиничны, Дмитрия Ильича (Анны Ильиничны тогда уже не было в живых) и Надежды Константиновны — мы имели помощников и советчиков, каких теперешние авторы иметь уже не могут. Но в то же время мы имели в них и неумолимых критиков. Множество написанного об Ильиче не проникало в ту пору в печать, иногда — из-за одной только для посторонних вовсе не заметной неточности интонации в рассказе. Не то, не то,— говорили авторам. Охранный барьер близких Ленину людей защищал от неточности не только литературу об Ильиче, но и скульптуру, театр, кино, живопись, и если не вся их критика полностью реализовалась авторами, то суровость и требовательность ее была для них прекрасной школой. Одна из самых суровых критик неточности или неверности материалов о Ленине, искажающих его образ, содержится в письме ко мне Марии Ильиничны Ульяновой, очень важном для историков Ленина.

Узнав, что я живу в Ульяновске и готовлюсь писать книгу о семье Ульяновых, Мария Ильинична (с которой я была хорошо знакома и по «Правде» и по «Университету Ильича», как она звала в ту пору «Бюро жалоб при РКИ», куда притянула и меня работать) написала мне длинное предупреждающее письмо (от 22 сентября 1936 года).

Дорогой товарищ,

Я не знала, что вы в Ульяновске, когда заезжала туда на несколько часов, и поэтому не могла справиться о Вас и повидать Вас.

Что касается задуманной Вами работы, то хочу предупредить Вас об одном: очень мало можно доверять тем рассказам, которые исходят о Владимире Ильиче и нашей семье от большинства его современников. В этом я убедилась, когда читала их «воспоминания», написанные для разных изданий. В большинстве случаев вспоминатели высасывают из пальца, выдумывают. Не думаю, чтобы здесь была какая-нибудь злостная цель — с тех пор, как мы жили на Волге, прошло столько лет, что у людей действительность может перемешиваться с вымыслом. Как бы то ни было, нельзя брать за чистую монету те рассказы, которые исходят от многих и очень мно-

гих лиц. Чтобы ие быть голословной, скажу следующее. Весной ыиешнего года нам с братом несколько иедель пришлось сндеть за чтением двух огромных папок с воспомнинаннямн, собранными какнм-то сотрудником Профиздата, объехавшнм прнволжскне города н опросившим миогих лиц. Что это был за ужас. Боюсь точио указать процеит выкинутого и зачеркнутого иами, но, вероятно, не ошибусь, определив его в 80—90%. Берегитесь всех этнх Нефедьевых, которые выдают себя за друзей Владимира Ильича, «нянь», которых появилось теперь иесметное колнчество, наших двоюродиых сестер, которые были далеки от нас до революцни, потому что боялись сношеиня с иами, а теперь пишут многочисленные воспомннания, которые кроме вреда ничего прниести не могут, потому что рисуют н В. И. и других в ложном свете. Жаль, что Вы не вндали упоминаемые мною папки. Вам вероятно не пришлось бы тратить порой зря времени. Некоторые из «воспомниаиий» (того же Нефедьева, например) былн в свое время опубликованы и ими миогие пользуются, считая их за истинные факты. В одной вовремя задержанной книге, кажется Зильберштейна, было миого таких воспомииаиий, в том числе и гимназических товарищей В. И. Мы с Аниой Ильиничной настояли тогда перед Институтом Ленина, чтобы книга была задержана. Не мало сомнительиых воспоминаний иашла я иедавно в рукописях сестры с ее пометками: «ерунда», и т. п. Составляя книгу «Материалы к биографии Лениил», Зильберштейн или как его там, подошел к этому делу совершеино не критически (да и трудио, я думаю, человеку со стороны оценить часто, что было в действительности и что высасывается из пальца).

Между прочим, Вы задаете мне иекоторые вопросы, ответы на которые можно иайти в моей кинжке «Отец В. И — ча», видели ли Вы ее?

Так как Вы пишете, что скоро будете в Москве, я предпочитаю устно передать Вам свои соображения и ответить на Ваши вопросы, но ие могла удержаться, чтобы не послать Вам этого предупреждения.

Относительио Дома-музея Вы правы, ругалась я уже с Рабичевым, ио пока мало чего добилась.

Всего хорошего. Шлю сердечный привет.

Ульянова.

Вот почему, задумав свою книгу, я теснейшим образом связала свою работу с Надеждой Константиновной и Дмитрием Ильичем (Мария Ильинична в 1937 году скончалась). Оба они были моими консультантами и рецензентами, а Дмитрий Ильич по выходе книги моей из печати даже подарил мне в Горках свою рукопись воспоминаний о детстве Ленина.

Когда я закончила первую часть работы вчерне, она была послана мною на отзыв Надежде Константиновне. Отзыв ее и предложенные ею поправки стали для меня компасом в моей работе и определили ее судьбу. Вот отрывки из этого замечательного письма-рецензии:

«Тов. Шагннян, третьего дня получила Вашу рукопнсь «Бнлет по истории» и прочла ее.

Призиаться сказать — я очеиь против романов, повестей, сценариев из жизни Ильича. Как ии старается писатель, у него обычно получается не образ Ильнча, живого Ильича, а образ какого-то другого человека, а главное, искажается и эпоха. Я обычно ворчу ужасно. Обычно получается затемиение личности Ильича... С некоторой боязнью приступнла и к чтению Вашей рукопнсн... Пишущие воспомииаиия, пншут нх обычно несколько одностороние. Читая Вашу рукопись, я почувствовала, насколько правнльно подошли вы к вопросу. Пожалуй, только опытный писатель может, на осиове изученных материалов, дать картину той эпохн. Это имеет большое значение н с точки зрения исторической. Мне понравился не только Ваш замысел, но и сама рукопнсь...»

Далее следуют указания и поправки общего и частного характера, имевшие решающее значение для моей работы. Вторая часть первого варианта понравилась Надежде Константиновне меньше первой части,— и я ее радикально переработала. Конкретные указания (их было восемь) я тщательно продумала и осуществила. Главное было о личности Ильи Николаевича, которого в первом варианте я дала чересчур аполитичным. Надежда Константиновна указала на ошибочность такой трактовки: «На стр. 49 Вы пишете: «Он не был политиком, не имел вкуса к политике, он тяготел к мирной, честной трудовой жизни, верил, что можно вести ее в любых условиях, исподволь направляя и улучшая жизнь». Сказать, что И. Н. не был политиком — можно,— но данная Вами характеристика слишком смела и вряд ли соответствует истине и противоречит даже тому, что Вы пишете. А потом, в 60-ые годы «политика» была не то, что в годы позднейшие. Нельзя так характеризовать Илью Николаевича. Неправильна вся 51 стр., где Вы изображаете Илью Николаевича, как противника революц. движения». Эти указания Надежды Константиновны послужили для меня ключом к поискам и воплощению образа отца Ленина. Еще в большей степени помогли мне правильно понять и почувствовать атмосферу семидесятых годов следующие замечательные слова Надежды Константиновны: цитируя мою фразу «длился последний отблеск подъема пережитых шестидесятых годов», Надежда Константиновна писала: «...семидесятые годы нельзя характеризовать, как годы, когда революц. движение затихло, оно пошло только другими путями, в других фор-

мах. Влияние 60-х годов наложило глубочайшую печать и на всю дальнейшую историю».

Остальные замечания касались отдельных стилистических промахов, но я восприняла их не только как указания по отдельному поводу. После письма-рецензии Н. К. Крупской я постаралась переработать первый вариант романа, доведя стилистически его речь до наивозможно простой и прозрачной формы.

До последнего дня жизни Надежда Константиновна вела большую работу, принимала людей, отвечала на письма. Умерла она, когда со всех концов страны весь наш народ желал ей долгих дней. Лежали нераспечатанными сотни телеграмм с этими пожеланиями, иные не дошли еще, а Надежды Константиновны, большого, любимого человека, спутницы Ильича, приносившей в работу и в общение с людьми аромат бессмертной ленинской душевной культуры,— уже с нами не стало!

И потому, что она была женщина, умевшая удивительно просто, по-свойски поговорить и со старухой работницей, и с учительницей, и с молоденькой инструкторшей Моссовета, и с ребятишками, которые все тянулись к ней сразу и безо всякого страха и стеснения,— мы испытывали чувство какой-то особенной осиротелости, словно потеряли кровно дорогое, матерински близкое.

Почти за год до ее смерти я получила от нее в Ульяновск последнее письмо, датированное 18 марта.

Это письмо было ответом на просьбу, чтобы она рассказала возможно полнее о своем детстве. Надежда Константиновна начала письмо любимым своим словечком:

«Уйма работешки» — так уменьшительно ласково она почти всегда говорила о работе, не любя и никогда не употребляя слов «тяжелая работа» или «невыносимо много работы». Потом пишет о своей книге к 8 марта: «Считаю, что пока по женскому делу все сделала, что могла». И дальше: «Подготовила сборник по ликвидации неграмотности (статьи с 1920 по 1938 год), тут тоже основное сделано. Сегодня закончила книжку «Письма к пионерам»,— это мои друзья-приятели... А теперь очередная работа — та, о которой Вы пишете. Года два тому назад я занялась изучением эпохи, в которую я росла, раздобыла разные документы, и многое из моего детства стало много для меня яснее... Я думаю, что рассказать

об этом нашей молодежи необходимо. Помню я очень многое. Только у меня работа наполовину уже написана и рассказывать я не умею, стенографистки бог знает что записывают. Работу летом я закончу».

Молодежи ей хотелось рассказать о своей юности, о пути, пройденном ею с 1883 по 1890 год.

«Путь, пройденный мною с 1883 по 1890 г., когда я стала марксисткой, очень интересен». Не знаю, дописала ли Надежда Константиновна эту работу, как предполагала, летом, или ограничилась тем, что было напечатано не так давно в «Большевике». Во всяком случае, на двух драгоценных страничках письма имеется как бы общий «конспект» ее раннего детства и подробное сообщение об отце. Привожу его полностью.

«Мой отец был революционер — с ранней молодости примыкал к революционному движению, имел тесную связь с организацией «Земли и воли» 60-х годов, примыкал к движению русского офицерства, стоявшего во время польского восстания на стороне поляков, потом кончил Военную Юридическую академию, был связан с петербургским кругом интеллигенции, примыкавшей к поэтам «Искры» (в другом письме она сообщает, что радикально-сатирический еженедельник «Искра» был, по словам Владимира Ильича, в семидесятых годах также и любимым чтением семьи Ульяновых.— *М. Ш.*), потом поехал служить в Тотьму, боролся с угнетением поляков и евреев, имел связь с первым Интернационалом и за то, что проводил в жизнь постановление Лондонской конференции I Интернационала о работе среди с.-х. рабочих, был осужден Варшавской судебной палатой и лишен права занимать госуд. должности. Он апеллировал в Сенат и в 1880 году был Сенатом оправдан. Конст. Александр. Варгунин (чрезвычайно интересная семья Варгуниных, начиная с Ивана Варгунина, связанного как-то с Утиным и Поляковым, издателем I тома Капитала) — бумажный фабрикант пригласил отца быть фабричным инспектором в гор. Угличе на бумажной фабрике, где хозяйничал его компанион Гобберт. Все революционное движение проходило у меня на глазах, очень много пришлось наблюдать. А потом отец отдал меня в гимназию Оболенской — где руководство было из людей, примыкавших к «Земле и воле» 60-х годов, и где училось мно-

го детей тогдашних ее участников. Отец умер, когда мне было 14 лет».

Даже в этих беглых наметках Надежда Константиновна дает свое отношение к истории: ей всегда хотелось, чтобы советская молодежь видела и понимала прошлое *в его движении,* как революционную борьбу за радостное, счастливое будущее человечества. Когда праздновалось шестидесятипятилетие Надежды Константиновны и делегаты со всех концов нашей страны принесли ей приветствия, она выступила с ответной речью и сказала замечательные слова.

Она сказала:

«...Жизнь у меня сложилась исключительно счастливо. Знаете, наше поколение старых большевиков видело все время,— как *вся жизнь в корне менялась».*

Иметь возможность увидеть, как в корне меняется жизнь, активно участвовать в этом изменении жизни — это и есть величайший, завидный удел человека.

Перед притихшей молодежью, ребятами, друзьями она с глубокой душевной теплотой воскресила кусочек далекого прошлого,— как сорок лет назад в маленькой петербургской студенческой комнатушке сидел перед книжкой молодой Владимир Ильич, сидел и страшно волновался,— ему предстояло делать доклад. За стенами комнаты был старый мир царизма и капитализма, ощетиненный штыками и опирающийся на устои, казавшиеся тогда гранитными. А в докладе говорилось об «...учении Маркса и Энгельса, о социалистической революции, о международном рабочем движении... о том, как надо перестроить жизнь, как надо перестроить нашу деревню, чтобы жизнь там шла не так, как она шла при капитализме... чтобы в деревне было построено новое коллективное хозяйство...» Так ярко представилось слушателям, от самой необычности этого образа,— образа молодого волнующегося Ильича за книжкой,— какой гигантский героический путь прошла партия большевиков за эти сорок лет!

«И вот,— продолжала Надежда Константиновна,— когда мы, делегаты съезда, слушали доклад товарища Сталина, который приводил массу фактов, рассказывал, как по-новому перестраивается жизнь, как колхозное движение стало господствующей формой, тогда каждый из делегатов чувствовал, какая одержана громадная

победа,— я сидела на съезде и все время вспоминала Владимира Ильича. От многих делегатов тогда приходилось мне слышать: «Эх, Ильич бы послушал, как теперь достигнуто то, за что он всю жизнь боролся...»

Смерть Надежды Константиновны была тяжелым горем для меня. Ее простые, мудрые советы, тихий голос, который слушался как будто не слухом, а самым сердцем, запомнились мне на всю жизнь и оказали огромную помощь в работе. Как и Владимир Ильич, Надежда Константиновна была прежде всего прирожденным великим педагогом и умела одним словом, одним жестом дать человеку урок, который потом помогал ему долгие годы. Она, как и Владимир Ильич, никогда не отделяла задач образования человека от задачи его воспитания,— и это следовало бы сделать краеугольным камнем советской педагогики.

1958

ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ СЕМЬИ УЛЬЯНОВЫХ

Тот, кто вошел в дом директора народных училищ Симбирской губернии, Ильи Николаевича Ульянова, как первый учитель его старших детей, был своеобразным человеком со сложной биографией. Над нею сейчас работают немало педагогов-диссертантов. Звали этого первого учителя маленьких Ульяновых Василием Андреевичем Калашниковым, и в жизни его были наиболее интересны две страницы: первая и последняя. Первая, когда молодой, еще не достигший двадцати лет, учитель сам получил большой и яркий урок от Ильи Николаевича Ульянова, отца Ленина, и последняя, когда глубоким старцем доживал Калашников советским пенсионером в Смоленске свои последние дни. Сколько знаю, в печати еще не были освещены эти «первая и последняя страницы» жизни человека, множество раз сидевшего за столом бок о бок с маленьким Ильичем, отвечавшего на его живые вопросы и вводившего его сестру и брата в начальные тайны грамматики и арифметики. Что же это был за человек?

Во второй половине тридцатых годов еще живы были замечательные педагоги «ульяновцы», воспитанные отцом Ленина. Как известно, Илья Николаевич был назначен в 1869 году инспектором народных училищ Симбирской губернии, а в 1874 — их директором, и прежде всего огромное внимание обратил на подготовку кадров для народных школ, на воспитание самих учителей. Под непосредственным его руководством и при постоянном

личном его участии работали двухлетние курсы для подготовки учителей, открытые в Симбирске в 1869 году при уездном училище, и организованная три года спустя Порецкая учительская семинария. Мы знаем из архивных отчетов по Симбирской губернии, публиковавшихся в журнале Министерства народного просвещения в 1870 и 1880 годы, что «лучшими учителями в народных школах оказались бывшие воспитанники педагогических курсов, существовавших при Симбирском уездном училище...» Но мы не знаем, к сожалению,— вернее, недостаточно потрудились собрать и обобщить,— все те педагогические приемы, какими создавал и выращивал отец Ленина свою знаменитую армию «ульяновцев», несших в глухие заволжские села, в русские, чувашские, мордовские и татарские деревни свет первого народного образования. А между тем эти приемы не только исторически ценны, но и глубоко интересны сейчас для нашей советской педагогики, поучительны и сами по себе и тем принципом, какой лег в их основу и характеризует каждый из этих приемов и всю их совокупность, принципом постоянной связи *обучения с воспитанием*. Илья Николаевич всегда и всюду, в бесконечных разъездах своих по губернии, беседуя с учителями, присутствуя в классе на уроках, не забывал личным примером или замечаньем подчеркнуть эту связь, показать, что при передаче знания (обучении) необходимо передавать ученику и нечто большее, нежели простую сумму знаний, а именно: раскрывать и связывать эти знания с чувством, воображеньем, поведением ученика, то есть давать ему одновременно и воспитание, усвоение культурных и нравственных навыков.

Когда я впервые прочитала в «Воспоминаниях о Ленине» Клары Цеткин слова Ильича о народном образовании, сказанные ей при личном свиданьи в Кремле, в первые годы Октябрьской революции, я не могла не вспомнить о главном принципе Ильи Николаевича, пронизавшем всю систему его педагогических приемов. Вот эти слова Ленина: «Решающим фактором для преодоления и искоренения бюрократизма служит самое широкое образование и воспитание народа» (Клара Цеткин, Воспоминания о Ленине, Партиздат, 1933, стр. 37).

Объезжая как раз в тридцатые годы, когда еще многие «ульяновцы» были живы, отдельные волжские села

и города, я собирала у этих глубоких стариков рассказы о педагогических приемах Ильи Николаевича; так мне удалось сохранить кое-что от забвенья и завязать переписку со старейшими «ульяновцами», разбросанными по городам Сурску, Богульме и др. Документ о конце жизни В. А. Калашникова я получила в дар из Богульмы, от «ульяновца» Василия Никифоровича Никифорова (последнее перед смертью письмо Калашникова к Никифорову и его фотографическую карточку). Документ о начале жизни В. А. Калашникова я получила уже позднее, в дар от Надежды Константиновны Крупской, знавшей о моей работе. Это было длинное письмо к ней другого «ульяновца», Ивана Яковлевича Зайцева.

Начинаю поэтому свой рассказ именно с этого последнего письма.

Н. К. Крупская пишет мне о Зайцеве (6 октября 1937 года), что ему 77 лет, он «отличник просвещения», учительствует в Полево-Сундырской народной сельской школе Ботаревского района Чувашской АССР, имеет звание Героя труда, большой общественник, бывший за свою советскую жизнь и председателем союза работников просвещения, и членом сельсовета, и т. д. «Иван Яковлевич сын батрака, с 8-ми до 13-ти лет пас гусей, но страстно хотелось ему учиться, и он бежал потихоньку от отца из дому, чтобы поступить в школу, два дня пробирался до Симбирска и хотя опоздал к началу занятий, но все же поступил там в школу благодаря Илье Николаевичу, пожалевшего мальчонку». Дальше Надежда Константиновна переходит к письму самого Зайцева.

В школе, куда попал Зайцев, учителем был еще совсем тогда молодой Василий Андреевич Калашников. И вот в первый же год, когда мальчик Зайцев сел на школьную скамью, приехал к ним в школу на урок арифметики сам директор, Илья Николаевич Ульянов.

«После обеда,— пишет Зайцев,— была самостоятельная письменная работа... Учитель задал тему: «Впечатления сегодняшнего дня», при этом объявил, что мы можем писать о чем угодно из своей школьной жизни... Все ученики... призадумались, подыскивая подходящую тему... Мне не пришлось долго искать... так как у меня не выходило из головы посещение урока... директором

Ильей Николаевичем и его объяснение плана решения задачи. Я и решил писать об этом. Я писал: «Сегодня в 9 час. утра, во время урока математики, пришел к нам г. директор Илья Николаевич, вызвали меня к классной доске и задали задачу, в которой несколько раз повторялось слово «гривенник». Я записал задачу, прочитал ее и стал планировать ход решения. Г. директор, Илья Николаевич, задавал мне наводящие вопросы, и тут я заметил, что Илья Николаевич чуточку картавил и слово гривенник выговаривал «ггивенник». Это так врезалось в мою голову и заставило думать: «Я ученик, и то умею правильно произносить звук «р», а он, директор, такой большой и ученый человек, не умеет произносить звук «р», а говорит «гг». Далее писал кое-какую мелочь и кончил сочинение. Дежурный собрал тетради и сдал учителю В. А. Калашникову.

Через два дня ученикам раздали их тетради и все бросились смотреть отметки. Учитель Калашников умышленно оставил мою тетрадь у себя. Потом, швырнув мне в лицо тетрадь, с возмущением сказал: «свинья». Я взял тетрадь, раскрыл ее и увидел на своем сочинении зачерченный красный крест и ноль «0». Потом подпись. Я чуть не заплакал. Слезы выступили из глаз».

И тут опять в классе появился Илья Николаевич.

«Поздоровались и продолжали работу. Илья Николаевич ходил между партами, кое-где останавливался, наблюдая за работой. Дошел и до меня. Увидел на моем прошлом сочинении *красный косой крест* и отметку: *ноль*, положил одну руку мне на плечо, другой взял мою тетрадь, стал читать. Читает и улыбается. Потом подозвал учителя, спросил: «За что Вы, Василий Андреевич, наградили этого мальчика орденом красного косого креста и огромнейшей картошкой? Сочинение написано грамматически правильно, последовательно и нет здесь ничего выдуманного, искусственного. Главное — написано искренно и вполне соответствует данной Вами теме». Учитель замялся, говорил, что в моем сочинении есть места не совсем удобные для начальствующих и как будто он... Директор Ульянов не дал ему договорить, перебив его слова, сказал: «Это сочинение одно из лучших. Читайте заданную Вами тему: «Впечатление сегодняшнего дня». Ученик написал именно то, что врезалось в его впечатление во время прошлого урока. Сочинение отлич-

ное». Потом он взял мою ручку и в конце сочинения написал «Отлично» и подписался «Ульянов».

Этот случай я никогда не забуду и нельзя забыть. Илья Николаевич доказал, насколько он был добр, прост, справедлив».

В. А. Калашников, тогда еще совсем зеленый юноша, обнаружил перед отцом Ленина старое чиновничье отношение к «начальству», то ненавистное Илье Николаевичу чинопочитание, которое он энергично изгонял из народных училищ. Как живой встает перед нами Илья Николаевич в бесхитростном рассказе Зайцева. Калашников еще не успел побывать на выучке в организованной Ульяновым семинарии или на педагогических курсах,— ведь курсы были созданы только осенью того учебного года, когда произошел рассказанный случай, а семинария лишь спустя три года. Но первый ульяновский урок уже был дан Калашникову, дан самим директором народных училищ, и мы легко можем представить себе, какое сильное впечатление произвел этот урок на молодого учителя, как отличался он ото всего, что приходилось Калашникову слышать и усваивать раньше от «власть имущих». Таково было начало педагогической деятельности Калашникова, спустя несколько лет ставшего первым учителем детей Ульяновых.

Спустя много десятков лет, в 1935 году, один из старейших «ульяновцев», учитель Чувашской школы, В. Н. Никифоров написал Калашникову, доживавшему свои дни в Смоленске, письмо с просьбой сообщить, кого из старых сослуживцев или учеников сохранил он в своей памяти и как живет и здравствует он сам. В. А. Калашников ответил ему 10 февраля 1935 года. Как и все «ульяновцы» и не в пример многим другим старикам его лет, он свободно пишет новой орфографией, тонким и острым почерком с наклоном направо и без особенных следов дряхлости:

«Дорогой Василий Никифорович! Время давнее — 60 лет тому назад — Вы напомнили мне, но некоторые лица и события глубоко запечатлелись в памяти». Он вспоминает некоторых своих учеников и обстоятельства их жизни, говорит о том, «как болел грудью» в молодости и это помешало ему достигнуть желаемого (вероятно, высшего образования и специализации) — и, наконец, о своей старости, ставшей в советскую эпоху такой

светлой и радостной: «Зато теперь я верно слишком поднял тон на счет своего здоровья, так что для восстановления истины этот тон я должен понизить. Во-первых, 80 лет мне исполнится только наступающей весной, а теперь мне еще стыдно равняться с действительными стариками, которые ведут за собой молодежь в полевых работах и переходах пешком, во-вторых, у меня уже нередко чувствуется старость в ногах. Так что физически я уже накренился, но благодаря моей счастливой внутренней жизни я чувствую как бы какой-то каркас, который и поддерживает во мне фигуру еще годного на что-то человека... В Москве я был в последний раз в 1929 году. При встречах сёстры (имеются в виду сестры Ульяновы.— *М. Ш.*) весьма ласковы. С Анной Ильиничной мы отвели душу в воспоминаниях далекого Симбирска... До 29 года я имел общественную нагрузку: работал в О. Д. Н., но заболел сам, а потом моя жена, и я уже отстал от общественной работы. Вот уже 4 года, как умерла жена и остаюсь в стороне от всякой общественности. Иногда только приглашают в школы, к пионерам и разным организациям, провести беседу о детстве Вл. И. Ленина — вот и вся моя деятельность. Посылаю Вам свой портрет в группе пионеров в санатории у нас под Смоленском. Бледный снимок, но хорошо говорит за меня. Справа вожатая и врач, все остальные пионеры лагеря. Это конечно только часть пионеров — их было 400 человек».

Не только снимок с пионерами, о которых с такой гордостью пишет первый учитель Владимира Ильича, но и все его письмо, прощальный привет старому другу перед близкой смертью (Калашников умер через два с лишним месяца после этого письма,— 26 апреля 1935 года) хорошо говорит за него. Урок, полученный юношей от Ильи Николаевича на заре его педагогической деятельности, не прошел для Калашникова даром. И какая чудная, светлая старость у этого 79-летнего человека, на долю которого выпало великое счастье — получить урок от отца Ленина и заниматься с сестрой и братом Ленина, постоянно встречаясь при этом с маленьким Лениным. Он еще не чувствует себя вправе называться стариком в советской стране,— где люди старше него, шагнувшие за восьмой десяток,— ведут за собой молодежь в полевых работах...

Всего два документа, но они так исторически конкретны, что на основании их встает живой образ и проходит целая человеческая жизнь, до мелочей связанная со своим временем и обстановкой. Художнику легко было бы воскресить, на основе только их двух, глубокий и правдивый портрет человека. И это большой урок для искусства, помогающий художнику учиться у жизни, у документа, той кровной связи исторического прошлого со своим современником, без понимания которой нет и не может быть и глубокого проникновения в современность.

1958

ЯН АМОС КОМЕНСКИЙ

В мире есть книги, появление которых было для современников обжигающе прекрасным, бесспорным в своей светлой истине. И среди этих бессмертных книг — творения Яна Амоса Коменского занимают почетное место. Века не состарили их, но освежили и приблизили к нашему времени. Множество трудов и комментариев написано о них и по поводу их. Множество реальных дел выросло из них,— современная школа, всеобщее образование (без различий наций, класса, пола), метод наглядного обучения, звуковой метод, преимущество родного языка перед иностранным, режим и порядок школьного преподавания, значение физических упражнений, обязательность музыки в числе школьных предметов, чередование занятий и отдыха, сад или площадка при школе и целый ряд других практических вещей — все это выросло из дидактики Коменского, всем этим человечество обязано ему.

Жизнь этого замечательного человека прошла в бесконечных скитаниях и утратах; он исходил пешком всю Западную Европу; его наперебой звали к себе Англия, Франция, Голландия, Швеция, Польша, Венгрия,— звали не просто как великого мыслителя, изгнанного из родной земли ее поработителями, а как глубоко нужного, полезного деятеля, создающего новую, передовую школу, вводящего новый, передовой метод обучения. И всюду, куда попадал он,— Коменский тотчас с головой погружался в практическую деятельность, преподавал, писал учебники, организовывал новые, смело задуманные для

своего времени школы, где давал бой старой, схоластической педагогике.

Родился Ян Амос в моравском местечке Нивнице 28 марта 1592 года, в семье мельника. Отец его умер, когда он был еще мальчиком, и в школу он попал поздно. Зато уже в латинской школе в Прерове шестнадцати лет от роду он наметил весь свой будущий жизненный путь. «Будучи ребенком-сиротой, без отца и без матери, я по небрежности опекунов был до такой степени заброшен, что только на шестнадцатом году жизни смог ознакомиться с элементами латинского языка. Однако... это... зажгло во мне такую жажду, что с того времени я никогда не переставал работать и стремиться восполнить ущерб, причиненный мне в детстве, восполнить не только по отношению ко мне самому, но и по отношению к другим. Меня печалило то, что людям (особенно моим согражданам) было скучно изучать науку. Поэтому я много думал над тем, каким образом не только побудить множество людей к тому, чтобы они полюбили научные занятия, но и указать, на какие средства и чьими трудами можно открыть школы, в которых юношество получало бы хорошее образование по более легкому методу»[1].

Принадлежа к гуситской общине «Чешских братьев», Коменский по окончании школы продолжает учение на факультетах протестантского богословия, сперва в Герборнском, потом в Гейдельбергском университетах. Он жадно учится не только по книгам, хотя и книги для него в этот собирательный период имеют огромное значение: «Не найдется... ни одной настолько плохой книги, в которой нельзя было бы обнаружить хоть что-нибудь хорошее; если не что-либо другое, то, во всяком случае, хотя бы повод для исправления какой-нибудь ошибки» [2],— пишет он позднее.

Источником познания служит для него в эти годы весь мир, непосредственное знакомство с чужими землями, народами и обычаями. Из Гейдельберга он пешком дошел до Голландии. В 1616 году Коменский — учитель той самой школы в Прерове, в которой учился мальчиком; в 1618 году, уже в сане священника своей общи-

[1] Я. А. Коменский, Избранные педагогические сочинения, Учпедгиз, Москва, 1939, т. II, стр. 96.

[2] Там же, стр. 84.

ны, руководит школой в Фульнеке. В эти годы он чертит карту родной Моравии (впервые изданную им в 1627 году), собирает материал для задуманного им обширного словаря «Сокровищница чешского языка», издает книгу новой, облегченной методики преподавания латинского языка. Но тридцатилетняя война обрушивается на него первой катастрофой: в 1620 году в несчастной битве при Белой Горе чехи теряют свою самостоятельность, в 1621 году испанцы сжигают Фульнек и в огне гибнет все его имущество, книги и рукописи, а спустя немного умирают от чумы жена и двое детей. Чехи должны были или отступиться от веры отцов и принять католичество, или бежать; таким образом, учение «Чешских братьев» становится знаменем национальной целостности чехов, а преданность ему — патриотизмом.

Ян Амос Коменский несколько лет тайно ютится в имениях чешских магнатов, спасаясь от преследований австрийской власти. Он пишет на чешском языке в 1623 году один из самых вдохновенно-поэтических трудов своих, до сих пор сохраняющий силу эмоционального воздействия на читателя,— «Лабиринт мира и рай сердца». В нем лирически слилось все, чем жил и что пережил Коменский,— боль утраты, страстное желание помочь людям, упорная мысль о создании новой школы. Вместе со спутниками, отчасти предвещающими Мефистофеля средневековой легенды о Фаусте,— «Всезнайкой» и «Помрачителем» (или «Всюдубудой» и «Обманщиком», как перевел с чешского Ф. Ржига),— странствует автор по лабиринту мира, гневно, с дантовской остротой разоблачая его пороки, его суетность и несправедливость. Он наблюдает, как бедняки «...трудились до поту, до устали, до упаду, до увечья и гибели, а между тем они таким своим жалким изнеможением едва могли обеспечить себе кусок хлеба. Правда, попадались мне такие, которые и легче питались; но опять, чем легче и прибыльнее был этот заработок и менее труда, тем больше было неправды и разных ухищрений»[1]. Он наблюдает, как суетные люди создавали хаос в мире: «Подметил я также в людях большую охоту к новизнам и переменам в одежде, постройках, речи, походке и других ве-

[1] Я. А. Коменский, Лабиринт мира и рай сердца. Перевел с чешского Ф. В. Ржига, Нижн.-Новгород, 1896, стр. 28.

щах. Я видел, что некоторые ничего не делали, как только переодевались во все новые и новые наряды; иные изобретали новые виды построек и через несколько времени опять их разрушали; во всех работах хватались то за одно, то за другое и оставляли все по своей неустойчивости... Если случалось кому что-либо создать с необыкновенным трудом и большой затратой своих средств... глядишь, приходил другой, опрокидывал, разрушал, портил. Поистине, я не нашел в мире такой вещи, которая, будучи создана одним, не была бы разрушена другим»[1].

Здесь уже ярко сказалась вторая особенность дидактического метода Коменского. Если в собирательный его период он хотел учиться у всего, у каждой книги, как пчела, собирая мед у бесконечного многообразия вещей, то теперь для подлинного познанья мира наступил период самоограничения, отбора. Нельзя хвататься за все, нужно отбирать необходимое, умерять свое влечение к знанию, учиться только тому, что нужно, не пустому, а полезному («Школа-театр», или, в другом переводе, «Школа-игра»). Приступая к изучению дидактической системы Коменского, нужно твердо иметь в виду оба эти принципа: убеждение, что нет такой вещи, у которой и от которой нельзя было бы чему-либо научиться, во-первых; и убеждение, что многознайство, погоня за множеством случайных сведений отнюдь не ведут к подлинному образованию, во-вторых. Эти два принципа представляют собой два необходимых полюса дидактики Коменского, нашедших свое отражение в каждом его учебнике.

В 1627 году был издан грозный эдикт австрийского императора, обрекавший на изгнание всех, кто не перешел в католичество. Прятаться дальше в Богемских лесах было невозможно, и 30 тысяч чешских семейств вместе с Коменским навсегда покинули родину. На силезской границе эта огромная толпа опустилась на колени, молясь и целуя землю,— отныне только щепотка ее в ладанках, надетых на шею, осталась у чехов от родины. Ян Амос Коменский нашел приют в польском городке Лешно, где он опять стал во главе школы. Здесь написал он на чешском языке, а позднее сам перевел на латин-

[1] Я. А. Коменский, Лабиринт мира и рай сердца. Перевел с чешского Ф. В. Ржига, Нижн.-Новгород, 1896, стр. 27.

ский, свою «Великую дидактику» — краеугольную книгу мировой педагогической мысли.

В этой книге Коменский исходит из великих гуманистических принципов равенства людей любой расы и национальности, любого состояния, пола. Говоря о «культуре природных дарований» человека, он вовсе не имеет в виду детей, отмеченных какими-нибудь особенными талантами и способностями. По его мнению, каждый нормальный ребенок обладает четырьмя дарованиями, составляющими сущность человека.

Первое — это способность схватывать явление (он называет эту способность «mens», ум или «зеркало всех вещей»), сочетающаяся со способностью судить об увиденном (он называет это «Judicium») и запоминать схваченное и понятое явление (он называет это «memoria», памятью, кладовой для вещей). Такова первая прирожденная способность человека.

Второе дарование — это воля, направляющая человека к действию, определяющая его характер, побуждающая его решать.

Третье дарование — это рука, орган действия и труда, моторная способность человеческого тела двигаться, производить работу и движения.

И, наконец, четвертая способность — это язык, речь, ведущая к общению с другими людьми, помогающая человеку выразить все то, что он воспринял, и в словах передать это другим людям.

Именно про эти дарования и говорит Коменский, что их надо культивировать, то есть образовывать в школе: «...природное дарование человека будет тогда обработано, когда, во-первых, он приобретет способность много мыслить и во все быстро вникать; во-вторых, когда он будет искусен в тщательном различении вещей между собой, в выборе и преследовании всюду одного доброго, а также в пренебрежении и удалении всего злого; в-третьих, когда он будет удачно производить совершеннейшие дела; в-четвертых, когда будет красноречиво и глубокомысленно говорить к вящему распространению света мудрости, чтобы все вещи и мысли были при этом хорошо освещены»[1].

[1] Ян Амос Коменский, О культуре природных дарований. Перевод с латинского Л. Н. Модзалевского, СПБ. 1893, стр. 9—10.

Иными словами, школа, обрабатывающая человеческие способности, должна выпускать человека не только знающим, но и способным действовать, то есть прилагать свои знания к делу, и передающим свои познания другим, то есть способным к ясному уложению мыслей в слове.

Так как по Коменскому с этими дарованиями рождается каждый человек, то школа, где они культивируются, должна быть открыта для всех. Девятая глава дидактики так и называется: «Школам нужно вверять всю молодежь обоего пола». Впервые Коменский ратует здесь за женское образование; больше того, он так и начинает эту главу: «...в школы следует отдавать не только детей богатых или знатных, но и всех вообще: знатных и незнатных, богатых и бедных, мальчиков и девочек во всех городах и местечках, селах и деревнях». Нам хорошо известно,— говорит Коменский,— что бог иногда создавал выдающиеся орудия своей славы из самых бедных, самых отверженных, самых темных людей. Поэтому никак нельзя лишать образования низшие классы. Нет также смысла и причины лишать образования женщин. «Одинаково они одарены (часто более нашего пола) быстрым и воспринимающим мудрость умом... Так почему же допускать их к изучению азбуки и устранять их потом от чтения книг?»[1]

Определив, таким образом, общий характер школы как «мастерской гуманности», Ян Амос Коменский описывает ее материальную сторону, то есть какой она должна быть. Не страшной и скучной для детей, а местом удовольствия и радости: удобно построенной, полной света и воздуха, с наглядными пособиями в виде картин на стенах, с садом и площадкой для физических упражнений, с музыкальными инструментами, кабинетами минералов и т. д.

Каков же должен быть метод преподавания в этих новых «мастерских гуманности»?

Основным лозунгом Коменского, эпиграфом ко всем его трудам, служит замечательное положение: «Omnia sponte fluant, absit violentia rebus», коротко переводимое

[1] Я. А. Коменский, Великая дидактика. Перевод Адольфа и Любомудрова, Москва, 1896, стр. 335—337.

так: «Пусть все развивается естественно, ни в чем да не будет насилия!»[1]

Коменский создал основную концепцию школы — первоначальную для маленьких детей, названную им «материнской», затем школу, соответствующую нашей средней, и, наконец, высшую — академию или университет. Преподавание ведется концентрическим способом. В самом начале на юный мозг, легче и лучше всего схватывающий и запоминающий, ложатся в основном те же циклы знаний, какие в расширенном и усложненном виде будут ему преподаны в средней школе и в еще более углубленном и усложненном — в высшей. Но такой концентризм (круговая повторная система) сопровождается особым облегчающим его методом. Первичное дается ученику раньше всего остального, более важное раньше менее важного, целое раньше части, простое раньше сложного, главное — зримое, вещественное, материальное — раньше формы. Азбука (звуковая) начинается с чувственных представлений, с картинок, причем картинки изображают предметы в их функции, животных и людей в их целесообразных движениях. Все предметы, имеющие связь между собой, преподаются одновременно, чтение вместе с письмом.

Не только все развитие последующего образования в течение трех с лишним веков, но и самые новейшие опыты педагогики, по существу, уже содержались в основных элементах дидактики Коменского. Он в основном определил самую структуру учебного дела. Предметы, которые нужно преподавать; люди, которые будут преподавать; орудия обучения — книги, учебники, пособия, карты и т. д.; школьные здания; определение времени для занятий; распорядок и последовательность занятий; паузы (перемены) и каникулы — все это Коменский глубоко обдумал и регламентировал, и его концепции сохранили свою практическую силу и до наших дней.

Спустя год после «Великой дидактики» он пишет, тоже по-чешски, «Открытую дверь языков» — необычайно легкий и остроумный учебник, принесший ему мировую славу. В эпоху, когда не было ни телеграфа, ни поездов, ни почтовых конвенций, когда месяцы нужны были для

[1] Этот лозунг Коменского можно прочесть на всех титульных листах его сочинений.

передвижения по Европе, книга, словно на крыльях, облетела Запад и Восток и появилась на греческом, польском, немецком, шведском, голландском, английском, французском, испанском, итальянском, венгерском, арабском, турецком, персидском и монгольском языках, не говоря уже о чешском и латинском.

Огромная популярность этой книги объясняется прежде всего тем, что она неизбежно отразила на себе глубокие идеи Коменского о так называемом «пансофическом», то есть всеохватывающем образовании, основанном на методе сближения и связного изложения научных сведений. Уча языку, Коменский стремился учить не словам, не понятиям, а самим предметам знания, вещам материального мира, излагая их в действии, по принципу связи друг с другом. Поэтому учебник его был одновременно и полезным практическим справочником и сопровождал каждое слово пояснительной картинкой.

Природа начинает творить изнутри, с корня, с сердцевины вещей, учил он; сперва родится сама вещь, а уже потом ее название в слове. Поэтому материальный мир есть первичный предмет науки, а термин, слово — вторичное, подобно одежде или коре. Неоднократно ссылался Коменский на отца английского материализма, Бэкона Веруламского, «Новый органон» которого знал и глубоко ценил. В своем, далеко опередившем философию XVII века, материалистическом мировоззрении Ян Амос Коменский дошел до чеканной формулы, данной им в «Дидактике», о познании, как об отражении, подобном отражению видимых вещей в зеркале: «*Чтобы зеркало хорошо отражало в себе предметы, будет зависеть, вопервых, от плотности и отчетливости самых предметов,* затем от того, чтобы эти предметы находились в области внешних чувств... Следовательно, то, что будет предлагаемо познанию юношей, должно быть предметом, а не тенью предмета (rerum umbrae); предметом, повторяю, плотным, настоящим, полезным, сильно действующим на чувства и воображение»...[1] И дальше: «*Все, чему учат, должно быть преподаваемо как нечто действительно существующее, приносящее известную пользу.* Именно так, чтобы ученики видели в изучаемом ими не утопические

[1] Я. А. Коменский, Великая дидактика. Перевод Адольфа и Любомудрова, Москва, 1896, стр. 349.

фантазии и не платоновские идеи, но вещи, действительно нас окружающие, истинное познание которых принесет в жизни истинную пользу»[1]. Поэтому в своих учебниках по языку он соблюдал правило *«словам нужно учить и учиться только в соединении с вещами»*[2] и дошел даже до того, что советовал: «В силу этого основного правила из школы должно удалить всех писателей, которые учат только словам, не сообщая никаких сведений о полезных вещах»[3].

Идея пансофии, менее всего разработанная в последующей педагогике, была, в сущности, центральной идеей Я. А. Коменского. Еще в 1661 году он писал амстердамскому типографу Петру Монтану: «Возымев надежду придать блеску моей родной речи, я задумал приступить к основательному сочинению, в котором все вещи были бы представлены таким образом, что наши люди всякий раз, когда нуждаются в справке о любом предмете, могли бы дома иметь нужные сведения, снабдившись такой сокращенной библиотекой»[4]. Это значит, что, помимо конкретности преподавания, смыслу на первом месте, а форме — на втором, вещи на первом месте, а слову — на втором, помимо наглядности — картинкам, сопровождающим в учебнике Коменского каждое слово, резко порывающим со схоластически-абстрактной средневековой манерой обучения,— великий чешский педагог хотел еще и сообщить ученикам не отдельные, разрозненные знания, а *систему* знаний, энциклопедию, которая могла бы связно удержаться в памяти, снабдить сведением о самом основном в каждой науке и сделать учащегося универсально-образованным человеком.

Мечта об энциклопедии охватывает передовые умы в каждую новую эпоху, когда огромные груды написанных книг и накопленных материалов требуют какой-то систематизации и приведения в стройный, легко обозримый порядок. Так было в X веке у арабов, когда была создана знаменитая анонимная энциклопедия так называемых «Братьев чистоты». Так было на заре французской рево-

---

[1] Я. А. Коменский, Великая дидактика. Перевод Адольфа и Любомудрова, Москва, 1896, стр. 359.

[2] Там же, стр. 335.

[3] Там же, стр. 337.

[4] Я. А. Коменский, Устав материнской школы. Перевел с чешского Ф. В. Ржига, Нижн.-Новгород, 1893.

люции восемь веков спустя. Насколько жизнен и своевремен был замысел Коменского, доказывает быстрое его распространение. Без ведома автора, план «Пансофии» Коменского был подхвачен и опубликован в 1637 году в Оксфорде. Англия и Швеция наперебой приглашают его создать в их странах пансофическую школу, нечто вроде разносторонней Академии наук. Он едет в Англию, но там начинаются внутренние смуты, и Коменский вынужден перебраться в Швецию,— тем более что от шведов он ждет избавления его несчастной родины от австрийского гнета. Вестфальский мир дает свободу вероисповедания лютеранам и кальвинистам, но чехи остаются бесправными. Коменский тяжко переживает черные дни своей родины. Зеленая, лесная Богемия обезлюдела, чехи разбредаются по чужим странам, жизнь замирает в ней. Потеряв надежду на возвращенье домой, Коменский принимает предложение венгерского князя Ракоци и едет в Венгрию, где создает пансофическую школу в городке Сарос-Патоке. В его новой школе для учащихся устроены кабинеты физики, механики, естественно-исторических наук. При ней — типография, где издаются научные труды. Там выходит «Школа-театр» Коменского. В Сарос-Патоке пишет он и «Orbis pictus»— «Мир в картинках», замечательный учебник, по которому в Южной Германии школьники учились чуть не до конца XIX столетия. Сравнивая его с учебниками знаменитого своего современника, педагога Базедова, Гёте, учившийся по Коменскому, писал в третьей части «Поэзии и правды», что Базедову из-за хаотичности и бессвязности его примеров «недостает тех конкретно-методологических преимуществ, которые мы признаем в аналогичных работах Амоса Коменского»[1].

Принципы «пансофической энциклопедии», легшие в основу учебников Коменского, имеют неувядающее методологическое значение. Для нашей новой, социалистической эры, когда к знанию тянутся миллионы, десятки и сотни миллионов людей, задача создания стройного компендиума знаний, сжато и связно охватывающего все, что создано человечеством во всех областях культуры,— становится важнейшей. И найденные Коменским прин-

[1] Goethes Werke. Verlag Gustav Hempel, Berlin, Dichtung und Wahrheit, III Theil, Seite 159.

ципы связи наук, мысли, вложенные им в свою «Пансофию», приобретают особо острый практический интерес.

Обозревая мысленно мировой книжный фонд, накопленный человечеством в его время (а это было свыше трехсот лет назад!), Коменский восклицает:

«Боже милосердный! Какие огромные томы написаны по всем почти вопросам! Если бы их собрать вместе, то получилась бы такая громада, что только на их перелистывание нужны были бы тысячи лет». Невозможно быть сведущим во всех вопросах. Ясно, что результатом такого умножения учености является односторонность (frustillatio): «...люди выбирают себе ту или другую отрасль искусства или науки, а с остальным не знакомятся вовсе. Можно найти богословов, которые едва удостаивают бросить взор на философию; а также и философов, совершенно не уважающих богословие; юристы по большей части вовсе не интересуются естествознанием, а медики в свою очередь пренебрегают вопросами права и справедливости. Каждая отрасль знания отмежевала себе особое царство, не считаясь с общими, достоверными и незыблемыми основаниями и законами, равно связующими все. Но даже и в самой философии один выбирает себе одно, другой — другое. Одни хотят быть физиками, оставаясь невеждами в математике; другие наоборот» [1].

Нормально ли такое положение вещей и является ли односторонний ученый способным «отыскать во всем разлитую и стремящуюся к соединению истину»? Нет, конечно. И словно для нашего времени, когда разветвившиеся специальности в науке просто не могут плодотворно развиваться дальше, не координируя свои шаги с продвижением смежных наук, звучат слова Коменского: «Разве мы не видим, что ветви дерева могут жить только при том условии, что все они одинаково тянут сок из общего им ствола общими всем корнями. И разве ветви мудрости можно оторвать одну от другой, сохраняя невредимой их жизнь, то есть истину? Никто не должен быть физиком, не будучи в то же время и метафизиком; или этиком, не будучи ранее физиком (конечно, обла-

---

[1] Я. А. Коменский, Избранные педагогические сочинения, Учпедгиз, Москва, 1939, стр. 63—64.

дающим знанием человеческой природы); или логиком, не будучи знакомым с реальными науками...»[1]

Но как совместить знание столь многих вещей при малом времени, отпущенном на одну человеческую жизнь? Здесь Коменский подробно рассматривает различные способы, какими «некоторые лучшие люди» пытались объединить результаты наук в учебники и сократить объем предметов, преподаваемых в школе: исключали, например, изучение античности, уменьшали время на искусство и философию, предлагали дать упрощенную обработку наук. Эти мысли Коменского полезно вспомнить сейчас, когда общественность наша так настойчиво ищет пути преодоления перегрузки учащихся. Принципы Коменского замечательны тем, что он борется не с количеством наук, а с методами их освоения. Правильно найденный метод взят у самой природы; поскольку между явлениями природы есть органическая связь, она открывается и в законах природы, а значит, должна быть открыта и в науках, отражающих природу. Но все, имеющее между собой связь, должно быть преподаваемо одновременно, параллельно друг с другом: «...метод будет оберегать труд через соединение параллельно идущих вещей, то есть, например, если параллельно будут изучаться письмо и чтение, познание вещей и их наименование, если, следовательно, будут совмещаться понимание, деятельность и правильное употребление речи»[2].

Что касается потребного времени, то оно тратится на усвоение множества ненужных вещей. Надо уметь отбирать только нужное. «Мы не знаем необходимого потому, что изучаем не необходимое... Если из наших занятий исключить то, что менее необходимо, то у нас было бы в распоряжении, по меньшей мере, вдвое больше времени и мы затрачивали бы вдвое меньше труда»[3]. А что же считать необходимым? Конечно, то, что пригодится людям в их дальнейшей практической деятельности за стенами школы. «Всеедение» в науке — вещь вредная и ненужная.

---

[1] Я. А. Коменский, Избранные педагогические сочинения, Учпедгиз, Москва, 1939, стр. 71.
[2] Я. А. Коменский, Избранные педагогические сочинения, Учпедгиз, Москва, 1955, стр. 492.
[3] Я. А. Коменский, Избранные педагогические сочинения, Учпедгиз, Москва, 1939, т. II, стр. 68.

Выбросив все незначительное, многословное, уводящее в сторону от главного, не реализуемое в практике жизни и для нас ненужное, сочетав параллельно вещи, связанные одними закономерностями, изображая их в их действиях и в развитии, учебник должен придерживаться строгой последовательности изложения: «Всякий сможет взойти на самую высокую башню и сойти с нее, если он идет по ступенькам... Но уничтожьте несколько ступенек, и тотчас он либо не сможет двинуться вперед, либо окажется в пропасти» [1].

Эта последовательная, хорошо усваивающаяся в памяти система знаний резко отличалась от обычных тогдашних энциклопедий и была в существе своем глубоко демократична, потому что она рассчитана на весь народ вообще: «...Мы стремились еще к тому,— писал Коменский,— чтобы сооруженный таким образом амфитеатр божественной мудрости стал общим для всего человеческого рода... какого бы то ни было сословия, возраста, пола, языка... Из этого (из блаженства, даруемого знанием.— *М. Ш.)* нельзя исключить никого: ни мужчины, ни женщины, ни ребенка, ни старика, ни знатного, ни плебея... Поэтому я хочу и заклинаю, чтобы мудрость изучалась впредь не только на латинском языке... как это имеет место до настоящего времени, причем народ и народные языки находятся в величайшем презрении, чем им наносится величайшая обида. Пусть всякому народу все передается на его собственном языке...» [2]

Чтобы лучше представить себе метод Коменского и его «конкретно методологические преимущества» (по слову Гёте), разберем хотя бы две странички из его популярнейшего, три столетия не сходившего с ученических парт, учебника «Мир в картинках» и сравним его хотя бы с нашими современными детскими хрестоматиями.

«Мир в картинках» начинается с букваря. Но букварь состоит из картинок, изображающих предмет в его действии, поэтому «звук», которому ребенок учится, представляется ему не в отвлечении, а как бы в естественном его рождении. Овца блеет, ворона каркает, мышь пищит, лягушка квакает и т. д. По-латыни все эти глаго-

---

[1] Я. А. Коменский, Избранные педагогические сочииеиия, Учпедгиз, Москва, 1939, т. II, стр. 104.
[2] Там же, стр. 106.

лы начинаются с соответствующей буквы алфавита. Букварь занимает всего две странички. Дальше идет систематическое изучение «мира в картинках», интересное для любого возраста и сейчас. Нам, например, и художникам и историкам, оно раскрывает в его необычайно точной и яркой конкретности всю вещественную жизнь XVII века, весь мир тогдашних обычаев, форм, представлений. От общего понятия о земле и небе, огне, воздухе, воде, металлах, растениях ученик переходит к детальному изучению растительного животного, минералогического мира, человека и всех сфер человеческой деятельности. Все это — в картинках, где предметы изображены в их действии и движении, а части предметов, обозначаемых в тексте, перенумерованы так, чтобы ученик мог проверить обозначенную словом вещь на картинке. Вот два примера. Страничка о растительном мире. Из семени вырастает растение. Растение развивается в куст. Куст переходит в дерево. Дерево получает питание от корня. Из корня поднимается ствол. Ствол разделяется на ветви и листву, которая образуется из листьев. Ствол соединяется с корнем. Колода есть срубленный ствол без ветвей и имеет кору и лыко, древесину и сердцевину.

Вслед за этим общим представлением о растениях дается знание отдельных деревьев, дающих и не дающих плоды, об этих плодах, форме и характере их. Рядом с яблоней, вишней, грушей, тутой мы знакомимся с елью, ольхой, березой, кипарисом, ясенем, буком, ивой, липой и т. д.

Таким же способом постепенной детализации понятий и представлений книга знакомит со всем видимым миром. В последовательной, скупой и сжатой, но необычайно наглядной и отлично запоминающейся форме даются зачатки знаний физики, химии, географии, астрономии, агротехники, ботаники, зоологии, обществоведения, всех видов ремесел, искусств и наук, разумеется, во всей ограниченности своего времени и со всеми неизбежными недостатками, присущими знаниям в XVII веке.

На следующей ступени развития тот же цикл знаний может быть дан в более углубленной форме. Он будет хорошо освоен, потому что сведения падут на подготовленную почву, поскольку они запомнились учеником в их элементарной, но органически связной форме еще в начальных классах. Не мудрено, что этот учебник, по кото-

рому учился Н. И. Пирогов и по которому, возможно, учился и Н. Л. Лобачевский (в его знаменитой речи о воспитании чувствуется несомненное влияние Коменского), мог жить столетия. Принцип его бессмертен, стоит лишь приспособить такой учебник к нашему времени и нашему уровню знаний, и он будет жить опять. Кстати же, примером бессмертия этого принципа служат «Иллюстрированные словари», выпускаемые сейчас в Германской Демократической Республике, совершенно в духе Коменского, на двух различных языках, не по алфавиту, а по смысловым разделам, причем слово сопровождается картинкой. (Veb Bibliographisches Institut, Leipzig.)

А теперь отвлечемся и посмотрим учебник, по которому в 1956 году учился мой внук в нашей советской школе,— «Учебник русского языка для начальной школы» (I класс).

Картинки в нем далеко не на каждой странице. Начинается книжка с «дома» и «дыма», но ни дом, ни дым не имеют никакого отношения к последующим страницам и словам, где есть и рама, и куст, и ручка, и бумага, и сон, и сын, и козы, и косы, то есть соединения происходят по ассоциации простых звуков без их смысловой связи. Без смысловой связи даны и дальнейшие страницы. Примеры, приведенные фразы и четверостишия, отдельный перечень слов — все это случайно, никак не связано с последующими примерами, выбрано лишь по звуковым ассоциациям или как иллюстрация к грамматическому правилу. Но и в маленьких упражнениях-рассказах смысл отсутствует. «Ксения рисует ягоды, Ирина рисует ежика. Я рисую домик. У домика утка и утята». Вам трудно запомнить эту никак не связанную комбинацию: домик (на земле, конечно), у домика (на земле, конечно) утка и утята. Даже такое элементарное знакомство с вещами, как естественное стремление утки к воде, здесь отсутствует. Дети учатся словам, слогам, буквам, первым законам родной речи, отвлеченному пониманию грамматики — и только.

Это, разумеется, находится не в ладу с системой Коменского, резко выступавшего против отвлеченного преподавания языка и законов речи. Да и нашим отечественным классикам школьного обучения, прежде всего Ушинскому с его «Родным словом», это противоречит. Мне кажется, что от крайностей лабораторного метода

в первые годы революции школа наша круто шагнула назад к огромному, нерасчетливому расходу времени на систему множественного расчленения предметов обучения и отвлеченному от круга полезных знаний преподаванию языков.

Но вернемся, однако же, к последним годам жизни Яна Амоса Коменского.

В 1648 году Ян Амос теряет вторую жену, в 1654 году он должен был, по делам общины чешских братьев, вернуться в Лешно, а в 1656 году — новая катастрофа: разгром Лешно поляками, мстившими чехам за их симпатии к шведам, и вторичная утрата Коменским драгоценных его рукописей. Бездомный старец кочует по европейским городам, ища пристанища, и наконец находит его в Амстердаме. В 1657 году, по постановлению голландского сената, выходят в четырех томах его труды, а в 1670 году, написав последнюю свою книгу «Единое на потребу» («Unum necessarium»), великий мыслитель угасает. Он пишет в последней книге: «Когда минует суровая зимняя пора, когда перестанут лить дожди, цветы снова выглянут из родной почвы и роскошно украсят землю», тогда придут пастыри, «заботящиеся не о себе только, но о благе стад своих»[1]. Это было его пророческим приветом родной стране.

Учение Коменского и его учебники были издавна знакомы русскому народу. С первого нюрнбергского издания был переведен и трижды переиздавался у нас «Мир в картинках» под названием «Зрелище Вселенныя» и «Видимый мир». По нему учились в латинских школах еще в Петровскую и в Екатерининскую эпохи. В трудах Киевской духовной академии в 1869 году появился перевод книги Палацкого о Коменском. Первый перевод «Дидактики» вышел у нас в 1874 году, он был сделан почитателем Коменского, С. И. Миропольским. Но еще до этого, в трех книгах журнала министерства народного просвещения за 1871 год, Миропольский напечатал свою подробную работу о Коменском, и эта работа, как и «Дидактика» Коменского, не только находились в числе любимых книг в библиотеке отца Ленина, Ильи Николаевича Ульянова, но и, несомненно, оказали свое влияние на

[1] Трехсотый юбилей отца народной школы, Амоса Коменского, в Петербурге, 1893.

его методику, как педагога и инспектора народных школ.

В 1892 году весь мир отмечал триста лет со дня рождения Яна Амоса Коменского. Весь мир,— только на родине его, в Чехии, австрийское правительство запретило это чествование. Открывая торжественное собранье в большой аудитории Военного музея в Петербурге, русский педагог Л. Н. Модзалевский с горечью упомянул об этом постыдном запрете. Чехи намного опередили Европу,— сказал Модзалевский: Пражский университет открылся раньше германского, Гус был раньше Лютера, Коменский — раньше Базедова и Песталоцци... Детский хор пропел на этом юбилее посвященную Коменскому кантату, написанную композитором Главачем на слова В. С. Карцова:

В этот день, тому три века,
Муж велнкнй был рожден,
И для блага человека
Светлый ум свой отдал он [1].

А С. И. Миропольский писал в своей статье о том, как велико «значение Коменского для современной педагогической науки вообще; но не забудем, что Амос — славянин... что в нем мы находим родной идеал, родные черты, славянский дух... Если суждено нам иметь свою самобытную педагогию (а я глубоко верю в будущность этой науки у нас), то в основе ее да будет великий педагог славянский, Амос, его бессмертные идеи да лягут в основу родной школы нашей» [2].

Широко и плодотворно внимание нашей советской общественности к наследию Коменского — великого педагога, гуманиста и демократа. Новые переводы, сделанные советскими учеными после многочисленных прекрасных старых переводов Ржиги, Адольфа, Любомудрова и других, работы профессора Красновского, изданные Учпедгизом,— говорят об этом.

1957

---

[1] Трехсотый юбилей отца народной школы, Амоса Коменского в Петербурге, 1893.

[2] Журнал Мнинстерства народного просвещення, 1871, июль.

ХЬЮЛЕТТ ДЖОНСОН

Советские люди знают и любят этого стройного необыкновенно моложавого для своих лет священнослужителя в рамке седых кудрей вокруг высокого лба, с живым светлым взглядом и орлиным профилем. Они встречали его в Москве и в Средней Азии, на Украине и в Закавказье. Не раз поднимался он своей легкой походкой неугомонного, весь свет объездившего путешественника в президиум Конгресса сторонников мира. И мне посчастливилось видеть в Англии, как он восходит по ступенькам среди нескольких сот притихших слушателей под кружевным переплетом необъятного купола Кентерберийского собора, на свою кафедру, чтоб произнести коротенькое вступление к дивному «Реквиему» Брамса, исполнявшемуся в соборе...

С этой кафедры, в самом английском из городов Англии и в самом славном из ее старинных соборов — гордости английской архитектуры и истории,— Хьюлетт Джонсон много, много раз говорил проповеди. Он вкладывал в них весь свой опыт увиденного и передуманного, всю свою живую душу современника, живущего на перегибе двух эпох — уходящей старой, капиталистической и новой, социалистической. Мы не слышали этих замечательных проповедей, но их слышало множество англичан. В самые трудные минуты нашего строительства, когда на молодое социалистическое общество обрушивался поток клеветы и ненависти, с высоты церковной кафедры раздавался ясный, убедительный голос в нашу защиту. И сейчас, когда клевета опять возобновилась с

новой силой, нам особенно отрадно услышать этот голос дорогого друга и мыслителя. Он звучит нам со страниц недавно вышедшей в Лондоне книги Хьюлетта Джонсона «Христиане и коммунизм», где собраны под одну обложку все произнесенные им проповеди.

Хьюлетт Джонсон — верующий христианин, он занимает высокое положение в англиканской церкви. Но христианство Х. Джонсона — особого типа. Он один из тех редких, редчайших верующих людей, кто всей своей совестью чувствует противоречие между учением Христа и церковным его воплощеньем: «Честный исследователь,— говорит он,— находит много поразительных расхождений между христианством апостолов и христианством церквей, какое проповедуется и практикуется нынче». Вскрывая эти расхождения на ряде примеров, он показывает, как современная церковь, вопреки завету Христа, служит не идее добра и справедливости, а идее наживы и предпринимательства до такой степени явно, что частные предприниматели, «имея теперь в лице официальной церкви уже не критика, а союзника, во всю прыть пустились в погоню за наживой». Тем самым церковь морально разоружила себя, она «отреклась от исполнения своего долга». Этот процесс измены церкви евангельскому христианству сочетается, по Хьюлетту Джонсону, с отходом от диалектического материализма, заложенного в каждой настоящей религии, и с приходом к пагубному для религии идеализму и индивидуализму.

Выводы Хьюлетта Джонсона о материализме и даже диалектическом материализме религии для нас неожиданны: они совершенно противоположны нашему собственному представлению о философской сути религий. Но они аргументированы в книге очень свежо и смело, причем оказывается, что не один Хьюлетт Джонсон думает так, а еще и другие передовые мыслители англиканской церкви. Он приводит, например, интересную цитату из архиепископа Темпла: «Если бы меня спросили, какой момент в истории Европы я считаю трагическим, я бы ответил... тот период досуга когда Ренэ Декарт (свободный от каких бы то ни было обязанностей) оставался целый день один взаперти в комнате с печкой». Именно в этот день Декарт сформулировал свое положенье: «я мыслю, следовательно я существую», и оно, по Темплу, как и по Джонсону, стало несчастьем для последующих веков,

установив идеалистические приемы мышления. «Такая последовательность неверна,— восклицает Джонсон,— телега ставится впереди лошади. Свобода жить должна стоять на первом месте по сравнению со свободой слова. Ни один младенец не требует свободы мысли, но каждый младенец требует свободы питаться». Идеализм дал церкви ложную теоретическую основу и помог превратить борьбу за справедливую жизнь на земле в отвлеченный идеал «царства божия на небесех», привел к нравственному компромиссу и падению служителей церкви, к распаду религиозного чувства, поскольку это чувство должно выражаться в братском ощущении бытия других людей, в коллективном понимании задач жизни, в преимуществе общественного начала над индивидуальным. Капиталистический мир потерял чувство целого, он распался на одиноких индивидуумов, полностью антирелигиозных: «Абсолютно индивидуалистическое общество является абсолютно неверующим, сколько бы церквей оно ни строило».

Между тем на другом историческом полюсе нашего времени, в Восточной Европе и в Китае, Хьюлетт Джонсон наблюдает совершенно противоположные явления. Отвергнув христианство и самое религию, молодой социализм осуществляет на деле, а не на словах все законы братской, проникнутой общностью интересов, равенством и справедливостью, человеческой жизни на земле. Подробно разбирает Х. Джонсон все, что сделано и делается в нашей Советской стране в области народного образования, здравоохранения, социального обеспечения, права на труд, на отдых. Он рассказывает об этом, все время приводя соответствующие тексты из евангелия, но самое изложение и раскрытие этих текстов не имеет ничего общего с церковным трафаретом и, нам думается, должно звучать могучей убеждающей логикой для миллионов простых верующих людей на Западе.

Вот один из примеров его аргументации. Многие из нас, прошедшие в дореволюционной школе обязательный «закон божий», помнят первую проповедь Христа, где он поставил над книжниками и фарисеями вдову из Сидона и какого-то сириянина, а взбешенные фарисеи выгнали его из города, повели на гору и захотели сбросить вниз. Никто в старой школе не задумывался на уроке, в чем тут соль. А соль, по Хьюлетту Джонсону, оказывается в том,

что и *сидонка*, и *сириянин*, и больной *самаритянин* — всё это были представители *малых*, униженных, *притесненных* народностей; и, ставя их в пример фарисеям, Христос смело выдвинул для своего времени проблему *национального равноправия*. После такого чтения старого, знакомого текста Джонсон показывает решение национальной проблемы у нас, в Советском Союзе, привлекая попутно и капиталистическую действительность.

«Где вы найдете, например, в Южной Африке, Западной Африке или Центральной Африке, население коих намного превышает по численности население Средней Азии, свою собственную национальную Академию наук с 19 докторами и 90 кандидатами наук, какая имеется в маленьком Таджикистане? Таджикистан, население которого едва ли равняется одной четверти населения Кении, может ныне гордиться пятью тысячами собственных врачей и 58 газетами, издающимися на родном языке. На всем западном побережье Африки, население которого составляет 26 миллионов человек, не издается ни одной независимой газеты на национальном языке, которая делалась бы африканцами и для африканцев; здесь едва ли насчитывается в общей сложности два десятка библиотек, тогда как во всей Советской Азии с населением в 17 миллионов человек имеется 7407 библиотек».

При таком подходе к религии и социализму на первый план неизбежно выступают вопросы нравственности, и главная сторона, привлекающая Хьюлетта Джонсона в коммунизме, это именно этическая сторона. «Коммунизм как в теории, так и на практике по-настоящему нравствен»,— восклицает он в книге и возвращается к этому много раз: «Пожалуй, именно в этой области (то есть в области морали) я особенно сильно почувствовал, и не только в России, но также в Китае и во всей Восточной Европе, громадное облегчение совести, ощутил резкий моральный контраст между этим миром и западным. Путешествуя по коммунистическим странам, где бы я ни был — в городе, деревне или на курорте, днем ли, ночью,— я ни разу не видел ни в театре, ни в кино, ни в книжном магазине, ни в газете или журнале ничего такого, что было бы, с моей точки зрения, предосудительно видеть мальчику или девочке. Это я могу сказать только в отношении коммунистического мира».

Но глубокая нравственность коммунизма, по Джонсону, касается не только бытовых сторон жизни, она проявляется в том, что законченному, разрушающему всякое общество, всякую мораль индивидуализму старого мира — коммунизм противопоставляет живительное сознание себя частицей в коллективе. Он пишет: «...Именно потому, что коммунизму удалось восстановить... способность жить, сознавая себя частью целого, способность жить верой в силу, которую коммунист называет историческим процессом, определяющим судьбу человека (дело не в названии), он вновь воскрешает один из важнейших элементов веры в бога. Коммунист верит в нечто такое, что больше его, нечто такое, что в конце концов восторжествует и что воплощает в себе правду мира».

Хьюлетт Джонсон хорошо знает русскую историю и литературу, он цитирует Белинского, Толстого, Горького, дает блестящий анализ разницы западной и восточной церквей, роли православной церкви при царизме, способствовавшей развитию в русских людях атеизма, и характера православия, как института (преобладание благотворительного и проповеди над обрядом в англиканской церкви, преобладание обрядовой стороны над граждански проповеднической в православии). Говоря о старой России и о молодом Советском Союзе, он ни разу в книге не соскальзывает на то полузнание, при котором приводимые факты перестают быть убедительными. Наоборот, широкий его кругозор, умение обращаться с источниками, чисто английская черта необыкновенно ясной трезвости и осмысленности, с какою излагаются религиозные и философские положения, постоянное желание быть понятым простыми людьми, английский здравый смысл в самых, казалось бы, сложных вещах, которые принято считать «мистическими»,— делают его книгу одним из сильнейших человеческих документов.

Необыкновенно ясно излагает он и свое понимание диалектического материализма, прибегая к простым, каждому понятным примерам: «Посмотрите на дерево весной. Оно увеличивается в обхвате; кора его лопается, вдоль ствола образуются беловатые и зеленоватые трещины. Это новая жизнь рвется вверх и наружу, раздирая кору. Затем кора — теперь уже раздавшаяся — восстанавливается, чтобы служить защитой от земных бурь... Это новая деятельная жизнь вступила в противоречие с

неподвижной корой и прорвала ее. Свежие ростки требуют свежей коры, подобно тому как новое вино требует новых мехов». Это почти по Энгельсу,— но со вкрапленным и незаметно вливающимся в речь евангельским положением о новом вине и старых мехах. Все, чем богат опыт Хьюлетта Джонсона, что он видел в нескольких республиках нашего Союза, встречи, покорившие его воображение, цифры, подковавшие его знание, люди и новая их психология — все это привлекается им в проповедях, чтоб убедить, показать, заставить почувствовать интерес и доброжелательность к молодой стране социализма.

Много, много раз над страницами маленькой книги Хьюлетта Джонсона, полными глубокой и безоговорочной симпатии к нам, я ловила себя на чувстве невольной гордости за нашу родину, за великое дело коммунизма на земле,— и мне вдруг стыдно становилось за себя и многих из нас, не умеющих постоянно, остро, как на фронте войны, помнить и ценить сокровище, созданное нашими руками, и ярко пропагандировать его в своих собственных книгах, чтобы слово наше доходило до сердца читателей. Так сильна проповедь Джонсона, несмотря на чуждость его исходных положений марксизму!

Люди, подобные Хьюлетту Джонсону, не раз возникали и в прошлом. Из них выходили обычно борцы за очищение церкви, за обновление догмы, за церковную реформу. Деятельность Хьюлетта Джонсона — другого типа. Внимание его направлено не на церковь, а на общество. Всеми доступными ему средствами, связанными с его личной глубокой верой, он стремится пробудить интерес своих прихожан и читателей к новому миру, возникшему среди гниющего остова старого мира. Своими словами и образами рисует он красоту и правду этого мира, показывает его как будущее всего человечества.

Удалось ли ему достичь цели, какую он сам себе поставил в начале книги, то есть доказать, что «между христианством и коммунизмом имеется множество точек соприкосновения на почве их деятельной и решительной диалектики»?

Мне думается, как бы ни отвечать на этот вопрос — нельзя не чувствовать, насколько раздвигается поле вашего внимания, сколько новых аргументов приходит вам в голову и какое теплое, братское чувство общности человеческих исканий, человеческих интересов охватывает

вас при чтении его книги! И еще думается мне, что главное достоинство этой книги вовсе не в том, что она стремится доказать, а в том, что она действительно доказывает. А доказывает она, как свежий, честный ум нашего благородного современника рвется из лицемерия и фальши окружающего мира капитализма к гуманной и светлой практике новых общественных отношений. И красота этих отношений так велика для него, что он страстно, всем своим сердцем, старается соединить ее с самым дорогим, что у него есть на земле,— со своей чистой, младенческой верой в ранний коммунизм Христа и первых христианских общин.

1957

АЛЬБЕР ШВЕЙЦЕР

Двадцать третьего апреля 1957 года радиостанция в Осло на пяти языках, в том числе и на русском, передала речь, требующую прекратить испытания атомных бомб. Речь была составлена очень просто и сдержанно, даже как-то суховато,— ни одного лишнего слова, ни одной апелляции к чувствам или воображению слушателей. В ней откровенно и подробно перечислялись несчастья, приносимые усилением радиоактивности в атмосфере, выпадом радиоактивных частиц после каждого испытания бомб. По содержанию эта речь мало чем отличалась от выступления восемнадцати германских ученых-атомников и других, честных и добросовестных исследователей, говоривших человечеству, что наша планета заражена, что гибельными становятся для детей земли ее плоды и растения, молоко откармливаемого на ней стада, роса и дождь, падающие на нее и еще недавно благословенные для злаков. Гибельными — вместе с дыханием, с едой, с питьем — для нас и для десятков будущих поколений.

Но хотя эта речь походила на многие другие, сказанные и напечатанные, человечество слушало ее с особым вниманием. Десятки тысяч подписей собрала она тотчас же на площадях Осло, под воззванием — прекратить испытания атомных бомб. Ее переслали на всех языках во многие страны мира. Что же заставило прислушаться к ней внимательней, чем к словам многих других ученых?

Подписана эта речь восьмидесятидвухлетним эльзасцем, лауреатом Нобелевской премии мира, Альбером

Швейцером. Кое-кто у нас вспомнит, может быть, что его книга — классическая книга о Иоганне-Себастьяне Бахе — была издана в переводе на русский язык Музгизом еще в 1934 году, и спросит не без удивленья: «Это какой Швейцер — музыкант, органист?» Другие, следившие за философской литературой Запада, могут спросить: «Позвольте, да это не философ ли Швейцер? Не писатель ли, издавший автобиографическую повесть «Между водой и первобытным лесом»? Не историк ли, написавший серьезную «Историю исследований жизни Иисуса»? И, наконец, немногие слышали о Швейцере совсем с другой стороны — как о враче, положившем годы на изучение и лечение тропической «сонной болезни». Тот ли он, кто в далеком болотистом Конго боролся за жизнь и здоровье африканских негров?

Да, Альбер Швейцер — один из крупнейших органистов нашего времени, большой музыкант и патриот настоящего, старинного органа, создававшегося руками мастеров-специалистов. Тот самый Швейцер, кто восставал против замены прежних органов фабричными и участвовал в починке и восстановлении могучих инструментов, которых касались когда-то пальцы Баха. Тот самый эльзасец Швейцер, дитя двойной франко-германской культуры, кто писал книги на одинаково родных для него языках, французском и немецком, героически трудился как врач-биолог во французской колонии Конго и отсидел за это во французском концентрационном лагере, потому что он был подданным немецкого государства. Жизнь Швейцера исключительно интересна по своей необычайной многогранности. Но его простое и сдержанное слово о безумии испытаний атомных бомб, безумии их производства, безумии гонки вооружений и подготовки новой войны слушали с таким страстным вниманьем, конечно, не только потому, что он широко известен как писатель, музыкант и врач, а потому, что за ним, за его словом стоял авторитет *человека* Швейцера.

Многогранное дело, которое он сделал и делает, выросло, в сущности, из одной-единственной формулы, положенной им в основу и своей философии, и своей музыки, и своей духовной деятельности, и своей практики врача: *уважение к жизни*. Человек может создать любое произведение искусства, духовной и материальной культуры; он может строить, изобретать, открывать чудеса

науки; он сосчитал расстояния между звездами и построил машину, умеющую считать за него миллионами и биллионами цифр. Но человек не может взять в руки глину и вдохнуть в нее жизнь, он не может путем технической формулы создать другого человека или хотя бы ползущего по песку муравья. Жизнь, величайшее откровение природы, даруемое каждому единожды, требует великого уважения к себе и великой бережливости, потому что это основное реальное благо человечества, источник всех остальных благ. Такова в немногих словах мысль Альбера Швейцера, зародившаяся у него в самом детстве и определившая собой все его последующие поступки. Казалось бы, элементарная и давно всем известная мысль, из которой не выкроишь особенно глубокой философии,— но Альбер Швейцер построил на ней всю свою долгую жизнь очень хорошего, честного и бесстрашного человека, превратившуюся на каждом ее этапе, в каждом ее проявлении в яркий пример борьбы за мир на земле, в грозное осуждение всякой военной агрессии и в эту, естественно венчающую его деятельность, речь остережения человечеству — не играть со смертью, не шутить с уничтожением жизни, произнесенную 23 апреля.

Альбер Швейцер родился в 1875 году в семье небогатого пастора в эльзасском городке Кейзерсберге, а вырос в другом маленьком городке, Гюнсбахе. Первый большой урок жизни дала ему деревенская школа. Хотя сын бедного пастора, обремененного к тому же огромной семьей, не бог весть как отличался от крестьянских ребят, но кто-то из них заметил ему однажды: тебе-то хорошо, ты ведь пасторский сынок, и маленький Швейцер впервые почувствовал черту *социального неравенства,* проведенную между ним и товарищами. Он сам себе поклялся снять эту черту, стать как все,— и тотчас же дома, за столом, в школе за завтраком, в одежде, в досуге, в привычках стал подгонять условия своей жизни к уровню простого крестьянского быта своих товарищей. Но вот спустя несколько лет, уже подростком, он столкнулся с массовым, укоренившимся обычаем своих товарищей бегать по улице за старым евреем Мойше, торговцем мелким товаром, дразнить и задирать его, хватать за полы его длинной одежды. Старик терпеливо, не раздражаясь и не отвечая, шел дальше. И тут, поймав выражение его глаз, подросток Швейцер почувствовал, как опускается

новая разделительная черта между ним и товарищами, черта *морального несогласия,* и эту черту он не захотел снять, наоборот,— он укрепился за нею. Он стал снимать перед Мойше шапку при встрече, приветливо заговаривать с ним и провожать его домой, охраняя от преследований. Два полюса нравственного поведения — стремление делить с народом одинаковые материальные условия и уменье не подчиняться стадному, неверному настроению массы,— не всегда легко соблюсти и взрослому человеку. Но мальчик Швейцер сделал их пробными камнями своего характера и воспитал себя на них. Много раз в жизни приходилось ему потом выполнять требованье своей совести «быть, как все», и «не быть, как все».

Детство и молодость Альбера Швейцера, семья, школа, университет в Страсбурге, лекции в Сорбонне, учение у лучшего органиста своего времени, парижанина Видора,— все для него сложилось необыкновенно счастливо, каким-то непрерывным, светлым «получением» от судьбы. Он был задарен ею,— здоровый и красивый, очень талантливый, рано прославившийся как музыкант (о нем писал Ромен Роллан), вышедший со своей книгой о Бахе на широкую арену международного признания... И Альбер Швейцер сказал себе: нельзя брать, и брать даром. Он решил совершенно так, как деловые люди составляют себе расписание на завтрашний день: до тридцати лет буду брать от жизни все, что она мне дает, а начиная с тридцати лет буду отдавать ей взятое, буду выплачивать свой долг.

К тридцати годам у него были дипломы философа и богослова, известность писателя, слава органиста, место священника и преподавателя университета. И вдруг, к величайшему удивлению своих друзей и негодованию родных, он все это бросает, чтоб снова стать студентом: Швейцер поступает на медицинский факультет. С огромным вниманием и с широким подходом уже образованного человека он изучает проблемы биологии и разностороннюю практику врача — хирурга, терапевта, лаборанта, глазника, гинеколога... В то время во французских африканских колониях почти не было врачебной помощи для негров. Приученные колонизаторской политикой к алкоголю, истощенные от непосильного труда, гибнущие от неизученных тропических болезней, хранившие навыки

к людоедству, к непрерывной жестокой вражде между племенами, негры Центральной Африки были в таком страшном положении, что даже колониалистам становилось не по себе. Мало кто из администрации решался углубиться от застроенных удобными городами берегов в недра тропических лесов, в болотистые дебри Конго. Отдельные миссионеры, приезжавшие оттуда, рассказывали страшные вещи. Альбер Швейцер, получив диплом врача, женится на опытной сестре милосердия Елене Бресслау, собирает по копейке все свои личные сбережения, авторские гонорары, деньги за органные концерты; покупает лекарства, оборудование для больницы, хирургические инструменты — и едет с женой в Центральную Африку. Там, в глубине болотистых лесов, он строит знаменитую свою больницу, ставшую спустя годы целым культурным больничным городком.

Первые месяцы жизни четы Швейцеров в Ламбарене, начиная с их первой ночи в открытой барачной постройке, где они, измученные усталостью, сразу заснули и сразу же проснулись от грома, похожего на сухой гром жестянок,— это кишмя кишели стены от огромных, жестких, неведомых насекомых, треща крыльями и стуча длинными ногами бегавших вдоль стен,— могли бы захватить наших писателей-«приключенцев» своей невероятной, жгучей интересностью. История борьбы этих двух смелых, спокойных людей, шаг за шагом побеждавших гибельный климат, недоверие туземцев, бездорожье, безлюдье, диких зверей, отсутствие нужных материалов и рабочих рук, страшное одиночество перед лицом массовых болезней и смертей беспомощных, как дети, негров,— могла бы стать увлекательным и глубоко поучительным романом для юношества. В ней есть все — картины природы, страшные и величественные; игра ее стихий, в одно мгновенье способная уничтожить многолетний труд человека; пресмыкающиеся, забиравшиеся в дом; негры, снимающие, подобно веревочной змее, ниткой головы у врагов и потом высушивающие эти головы, как сувениры; болезни — «сонная», не менее страшная, чем медленное умирание от обвившейся вокруг шеи нитки, проказа... Мы как-то редко думаем о проказе, словно эта болезнь отступила от нас вместе со средневековьем. А между тем, будучи в Лондоне, я как-то заглянула на выставку Белра — Британского общества борьбы с проказой — и там

прочитала в справочнике: «Из каждых трехсот человек, рождающихся в мире, один падает сейчас жертвой проказы. Каждые пять минут рождается дитя, которому придется впоследствии заразиться проказой. Свыше трех миллионов из них — британские подданные. И меньше чем одна десятая этих страдальцев получает медицинскую помощь».

В центре этой стихийной природы, во всем ее диком богатстве и чудовищном, смертоносном самоуничтожении, встал хороший человек, европеец, белый доктор со своей женой. Бороться за инстинкт жизни, за все, что пробивается к жизни, за самое совершенное создание ее — человека, становится задачей и подвигом Альбера Швейцера. Невозможно в короткой статье описать все, что он, большой, коренастый, с огрубелыми лицом и руками, с мохнатой шапкой волос и добрым серьезным прищуром зорких, не знающих окуляра глаз из-под дремучих бровей,— создает, строит и организует в Ламбарене. Трудно передать особый тон, особую атмосферу, окружающие деятельность Альбера Швейцера. Да, это любовь к ближнему, уважение к жизни, но как много во всем этом сдержанного, непоказного, неболтливого чувства, как нет во всем этом и тени поповства! Здравый смысл, широта и свобода взглядов, помогающие ломать любые заградиловки традиций и правил, и то незаметное, ненавязчивое, неощутимое, может быть и самому себе, превосходство зрелой человечности, выражающееся в *разумности,* в доступности разуму любой проблемы, любого возникшего спора или недоразумения,— отличают каждый шаг и каждое дело Альбера Швейцера в его нечеловечески трудной и напряженной работе.

Негры привязываются к своему «белому доктору», они стекаются к нему тысячами. Одну черту хочется здесь указать, ярко характеризующую его манеру работать. Больница — почти казарма по внутренней дисциплине, и мы знаем, что всюду без исключенья, где она есть и есть врачи и сестры в белых халатах и суровые няни в белых наколках,— есть и правило: тотчас отделять больного, не допускать к нему родственников иначе, как в назначенный день и час. Но у Швейцера — особые больные. Негры приносят своего страдальца всей семьей, чуть ли не всем родом. Они на десятки трудных километров ушли от своей деревни, разводят возле боль-

ницы огонь, варят принесенную с собой пищу. И доктор Швейцер понимает, что отделить больного от его семьи здесь, в Центральной Африке, жестоко и неразумно. Он вводит новый порядок, ломая вековые больничные традиции. Матери, отцы, деды, дети окружают в палатах своих дорогих страдальцев, они помогают облегчать их страдания, держат их за руку, гладят их. А белый доктор незаметно, между делом, прививает им,— здоровым людям,— новые навыки, учит, как и сколько давать лекарства, чем и как кормить больного; он знакомит их с правилами чистоты и гигиены, изгоняет их суеверные представления о злом духе, о сверхъестественном характере болезней, оперирует перед ними, раскрывая строенье человеческого тела,— и постепенно великое могущество *разума* передается им вместе с действиями белого доктора, они выходят из больницы с выздоровевшим членом семьи, унося в глубь тропического леса, в поселок на болоте, в хижины, украшенные высушенными головами врагов, начатки новой для них культуры.

Но вспыхивает вторая мировая война. Негров мобилизуют во французскую армию, а на другом конце Африки их мобилизуют в фашистскую армию. И тот, кто выхватывал ценою огромных усилий каждую драгоценную жизнь из пасти смерти, кто создал уверенность в своих черных пациентах, что белые люди поклоняются жизни, спасают жизнь, берегут жизнь,— вдруг очутился перед лицом неслыханных массовых человеко-истреблений, именуемых «войной».

«Десятилетиями рассуждают среди нас со все растущим легкомыслием о войне и завоеваниях, как если бы речь шла о сражениях на шахматной доске. Так создается общественное мнение, по которому судьбу отдельного человека уже не представляешь себе, а только видишь ее в виде цифр и неодушевленных предметов»,— с горечью пишет о войне Альбер Швейцер. С презреньем отвергает он письмо Геббельса, предлагающего ему вернуться на родину и «снова играть на органе». И — как немецкоподданный, по букве закона арестовывается у себя в больнице французскими колониальными властями, а потом высылается во Францию и много месяцев томится в концентрационном лагере... В страшные первые дни войны его радостью были взошедшие пышные всходы из посеянных им семян человечности и разума. Самы-

ми деликатными, самыми тактично добрыми оказались вокруг него лишь черные друзья доктора — негры. Ни один из них не укорил его за войну, не намекнул, что белые убивают жизнь, истребляют друг друга хуже черных. Своей нежной лаской к нему, своим человеческим уважением они только силились развеять скорбь, которую должен был в сердце своем чувствовать их доктор.

И вот страшной угрозой встала над человечеством игрушка безумных разжигателей войны, атомная бомба. Мир разделился на два лагеря. И в эфире из норвежского города Осло на пяти языках раздалось слово человека, перед которым даже враги снимают шапку:

«Я поднимаю голос вместе с теми людьми, которые считают сейчас своим долгом предупредить общественность словом и пером...»

20 июня 1957

Посвящаю Милану Юнгманну

ЯРОСЛАВ ГАШЕК

Казалось бы, нет жизни более открытой для исследователя, чем жизнь Гашека. Он был всегда на людях. Еще живы многие из современников, кто мог бы похвастаться, что видел его и говорил с ним. И он всегда — в каждом из своих фельетонов и рассказов, в своем бессмертном Швейке — открывал частицу самого себя, вкладывая в них происходившие с ним самим события, описывая встреченных им людей, ведя рассказ большей частью от первого лица. Он одарил своего Швейка множеством личных черт и черточек и очень любил казаться иной раз Швейком и чтоб его самого принимали за Швейка. Недавно скончавшийся замечательный чешский художник Иозеф Лада, оставивший нам убедительный образ «бравого солдата Швейка», сложил его круглое лицо и добрые маленькие глаза, его кряжистую фигуру и рассудительное выражение из отдельных элементов внешности самого Ярослава Гашека. Наконец замечательные статьи Юлиуса Фучика с упоминанием о Швейке и о Гашеке дают основу для правильного понимания писателя. Стоит только вспомнить следующие его строки:

«Швейк... плоть от плоти народа. Он не народный герой, он сын улицы, которая хорошо понимает, каких перемен следует ожидать и как полезно подрывать все старое, чтоб поскорей настало новое... Его швейковщина это вначале самозащита против неистовства империализма. Но вскоре эта защита перерастает в нападение. Своей пародией на послушание, своей простонародной шуткой Швейк подрывает с таким трудом создаваемую реакционерами силу их власти, он, как червь, точит реакционный

строй и вполне активно,— хотя не вполне сознательно,— помогает ломать здание гнета и произвола. В своем духовном развитии, таком же; как у автора, Швейк приближается к полной сознательности. Невольно чувствуешь, что в какой-то момент он станет серьезнее и хотя не перестанет дурачиться, но в трудную минуту будет сражаться со всей серьезностью и упорством»[1]. И еще: путь развития самого Гашека дает нам возможность «дополнить характеристику Швейка...».

И все же, несмотря на такое обилие свидетельств и показаний, мы до сих пор, в сущности, не знаем реального Гашека и не имеем ни одной книги о нем, которую можно было бы назвать монографией, попыткой дать целостный образ его характера, его духовной жизни, его реальных мыслей и чувств. Целые периоды жизни Гашека до сих пор остаются в тени, особенно русский период, живое участие Гашека в гражданской войне 1918—1920 годов, его работа в Коммунистической партии нашей страны. Несколько лет назад чешский ученый Зденек Неедлы писал у нас в «Новом мире» (№ 2—3, 1945):

«В истории взаимоотношений чешской и советской литератур первой по времени и одной из самых интересных фигур был автор «Приключений бравого солдата Швейка» Ярослав Гашек. Гашек попал в плен на русско-австрийском фронте. После Октябрьской революции он вступил в Красную Гвардию, был комиссаром. К сожалению, этот период его деятельности еще мало исследован. Гашек писал обращения к чехам и другим народам, а также статьи и рассказы для разных журналов — венгерских и других. Но все это пока не собрано и не издано, хотя было бы, наверно, чрезвычайно интересно осветить фигуру Гашека — разоблачителя австрийской армии и активного бойца в рядах советских войск».

С тех пор положение несколько изменилось. То там, то здесь случайно обнаруживаются и публикуются документы, выходят новые книги о Гашеке (например, Я. Кржижика о Гашеке в русской революции, вышедшая в Праге). Недавно (осенью 1959 года) прошла в Липницах первая серьезная конференция по Гашеку, положившая начало его коллективному изучению. Ведут исследо-

---

[1] Юлиус Фучик, Избранные очерки и статьи, ИЛ, Москва, 1950, стр. 199—201.

вательскую работу над жизнью и творчеством Гашека Здена Анчик в Праге и Н. П. Еланский у нас [1].

Однако *планомерного* розыска и собирания по архивам Сибири и Поволжья возможных документальных данных о деятельности Ярослава Гашека, как и систематического изучения армейских газет тех лет, по-настоящему еще не ведется. До сих пор нет и целостной, многосторонней монографии о нем.

Но отсутствие такой монографии не мешает некоторым авторам, пишущим о Гашеке, подхватывать и повторять концепцию, сложившуюся, как мне кажется, в кругах той самой чешской буржуазии, которую Гашек всем своим сердцем и до последнего своего дыхания пламенно ненавидел. По этой концепции, Гашек — гуляка «праздный» (как в свое время любили говорить о Моцарте!) — был не только «посетителем кабачков», но и закоренелым мелким буржуа в глубине души. Исходя из тех самых «анекдотов» и веселых проделок Гашека, собирание и публикация которых составляют бо́льшую часть работ о Гашеке, даже друзья делают упор иной раз на этих фактах, обобщая их для его характеристики. Они сосредоточивают свое внимание главным образом на этих биографических данных, и Гашек предстает перед читателем «большим планом» как прирожденный бродяга или, более серьезно, мелкий буржуа, не умеющий «подняться до ясной, твердой политической идеологии», как пишет один из ранних и наиболее обстоятельных его биографов, Карл Крейбих [2].

Мне кажется, даже на основании того, что мы узнали о Гашеке до сих пор, не говоря уже — и это самое главное — о свидетельских показаниях его собственного творчества, никак нельзя объяснить глубокую личную трагедию Гашека и его короткую жизнь такими характеристиками. И прежде всего надо начисто отмести вздорное представление о «гуляке праздном», как совершенно противоположное фактам. За свою короткую жизнь (Ярослав Гашек не дожил и до сорока лет) этот

[1] Прекрасная статья Н. П. Еланского «Выдающийся чешский сатирик Ярослав Гашек» была опубликована в «Ученых записках» Саратовского Госпединститута, выпуск XVII, 1955.

[2] Карл Крейбих, Ярослав Гашек, его жизнь и творчество. Переведено с немецкой рукописи Н. Игнатовой. «Литература мировой революции», № 6, 1932, стр. 92.

«праздный гуляка» успел сделать больше, чем иные писатели за восемьдесят лет. Он оставил чешскому народу несколько сот рассказов, почти каждый из которых может войти в хрестоматию; несколько пьес, сверкающих остроумием; газетные статьи, еще полностью не собранные; и, наконец, «Швейка» — бессмертную книгу, по своей художественной силе и вечно живой народности достойную, на мой взгляд, стать в одном ряду с творениями античной литературы, пережившими тысячелетия, такими, как «Облака» Аристофана или «Золотой осел» Апулея Лукиана. Эту книгу — неисчерпаемый источник простого человеческого наслаждения для миллионов читателей — он писал с великой тщательностью и глубочайшей творческой серьезностью. Каждый рассказ, каждую главу он проверял на живых слушателях из народа, читая их вслух, жадно впитывая каждое замечание, наблюдая каждую реакцию.

Если прибавить к этому, что Гашек провел на войне, империалистической и гражданской, пять лет своей сознательной жизни, а для описания того, что им делалось в роли политработника и члена партии, «не хватило бы всего небольшого запаса бумаги, имеющейся в Иркутске» (как он выразился в одном из своих писем из Иркутска)[1], то перед нами встанет рабочий человек Гашек, очень много потрудившийся за свою короткую жизнь.

Но перейдем к тем бесспорным фактам его жизни, которые сделались уже известными исследователям.

I

В метрической книге прихода церкви св. Штепана под рубрикой 1883 года записано, что 30 апреля на Школьной улице Праги от отца Иозефа Гашека, учителя реального училища, и матери Катерины Ярешовой родился сын, Ярослав Матей Франтишек Гашек, крещенный 12 мая[2]. Отношения Гашека с католической церковью

[1] Публикация Здены Анчика в чешском журнале «Svět Sovětů» за 7 декабря № 49, 1955.

[2] Из книги Vladimír (Lada) Steiskal «Hašek na Lipníci», Havlíčkův Brod, 1953, стр. 10.

этой короткой записью не ограничились. Чтобы подработать в помощь семье, он мальчиком исполнял в том же костеле обязанность «служки» (примара), получая за каждую службу по десять крейцеров и откладывая в своей острой памяти драгоценные черты и черточки, пригодившиеся ему впоследствии для сатирических образов полковых попов. Вступая в партию чешских анархистов двадцатичетырехлетним юнощей, Гашек официально вышел из церкви, а через три года под давлением родителей своей невесты вынужден был опять «вернуться в ее лоно», чтобы жениться.

Сохранилась детская фотография Гашека. Четырехлетний мальчуган в огромной фетровой шляпе, из-под которой выглядывает бледное личико с торчащими ушами, стоит, прижавшись, между венским витым креслом и чем-то вроде шкафа или могильной плиты, на которой, соответственно снимку, указано: «На память, 1887»[1].

Отец сам учил сына математике, но, несмотря на это, в начальной школе мальчик учился плохо. Дело пошло лучше в гимназии на Житной улице. Там Гашеку посчастливилось брать уроки географии и истории у классика чешской прозы, знаменитого Алоиза Ирасека. Дома все эти годы вряд ли было ему хорошо. Отец Гашека, у которого рано развился рак, много пил, чтобы заглушить боль и страх смерти. Он уже бросил преподавание и служил в банке «Славия». Над семьей нависла угроза смерти кормильца и будущей нищеты. Может быть, потому, что мрачная обстановка в семье не тянула Ярослава домой, он отдавал гимназии больше времени, увлекся венгерским языком и, несомненно, получил от Алоиза Ирасека хорошие познания по истории чешского народа, любовь к своему прошлому, интерес к гуситскому движению и то особое отношение к гуситству, которое исходит от сердца и от национального чувства и присуще многим выдающимся чехам. Много лет спустя вдохновенные уроки Алоиза Ирасека неожиданно сказались у его ученика — тогда уже солдата австро-венгерской армии, перешедшего на сторону Красной Армии.

[1] Приведено в книге Zdena Ančík «O životе Jaroslava Haška», Praha, 1953, стр. 16—17.

В 1896 году умер отец Гашека, и семья, где, кроме Ярослава, были еще дети, осталась без всяких средств. Мать стала зарабатывать шитьем. Между тем учиться становилось все труднее и не только от наступившей бедности. Австро-венгерская монархия, лоскутная империя, как ее называли за рубежами из-за пестрого, вечно бурлившего национального состава этой искусственно сшитой страны, доживала последние свои годы. В Праге вспыхивали уличные беспорядки, где чешская молодежь отводила себе душу. Тринадцатилетний Гашек любил не только уроки истории и географии, он был большим любителем и естествознания, увлекался вместе со своим учителем Гансгирком минералами. На долю Гашека выпадало находить их, а на долю учителя — делать для коллекции срезы. Когда в конце 1896 года опять забурлили улицы Праги и немецкие бурши вступили в рукопашную с чешской молодежью, Гашек тоже буйствовал и бил стекла вместе с другими.

«Второго декабря барон Гауч объявил Прагу на военном положении, жертвой которого стал я. Это был прекраснейший день в моей жизни» [1],— рассказывает об этом он сам в одной из своих юморесок. Мальчик очутился в толпе, из которой полетел камень в конный патруль. Он зазевался и оказался единственной добычей в руках жандармерии. Двадцать четыре конных провожали его в участок. Опасный преступник был пойман с поличным: в карманах его нашли множество камней. Но то были особенные камни, только что купленные им для учителя: «горный хрусталь, черный оникс, сердолик, зернистый халцедон...» По счастью для Гашека, в полиции с ним разговаривал чех, тоже любитель минералов, и мальчик был отпущен домой.

Этот случай, повлекший за собой выход из гимназии, интересен во многих отношениях. Он показывает раннюю стихийную революционность Гашека; он поднимает уголок над его серьезной внутренней жизнью, о чем сам Гашек никогда не говорил или не любил говорить серьезно, в данном случае над интересом к минералогии; и, наконец, он дает возможность заглянуть исследователю в ту особенную манеру Гашека «игры с самим собой», вышучивания самого себя, которая впоследствии

[1] Я. Гашек, Избранные юморески, Гослитиздат, 1937, стр. 418.

стала его литературным приемом в «Швейке» и многих новеллах, а применяемая в жизни при различных трудных событиях, хорошо служила ему для «сбора житейского материала». Дело в том, что во время ареста Гашек успел послать записочку домой. Вот она:

«Дорогая мамочка! Завтра не ждите меня к обеду, так как я буду расстрелян. Господину Гансгирку скажите, что у Гафнера в Worшовицах продается прекрасный аметист для школьной коллекции, а полученные мною минералы находятся в полицейском управлении. Когда к нам придет мой товарищ Войтишек Горнгоф, то скажите ему, что меня вели двадцать четыре конных полицейских. Когда будут мои похороны, еще неизвестно».

В этой записке уже налицо будущий автор «Швейка», ее мог бы написать и сам «бравый вояка»: в ней чисто швейковское отношение к случившемуся, тон деловой приподнятости над фактом и даже доля хвастовства — тон, употребленный впоследствии для бесподобной характеристики швейковского самообладания и бесстрашия. А в то же время записка лишь наполовину бравада; в части сообщения учителю она серьезна.

Учению в гимназии наступил конец. Мать отдала своего озорного Ярослава в учение к пражскому аптекарю Кокошке. Этот переворот в личной судьбе Гашека имел огромное влияние на его творчество. Нужно помнить, что гимназическая среда была средою более или менее состоятельных ребят, детей интеллигенции и буржуазии. Многие из тех, кто учился в гимназии, выходили впоследствии в «господа», шли в высшие школы, вливались в определенные слои горожан. Но у аптекаря Гашек сразу очутился в совсем другой среде. И товарищи у него оказались другими. Мальчик, подобно нашему Горькому, начал проходить школу «в людях», очутился среди мелких ремесленников, мелочных торговцев — того городского слоя, где складывался веками свой фольклор — меткий и грубоватый городской язык, свой юмор, пристающий к вещам и людям, как несмываемая краска, своя собственная манера политической маскировки, где под личиной смирения прячется тот подлинный патриотизм, та любовь ко всему родному, какие в более высоких городских слоях легко выветриваются и забываются. И главное, здесь «идти в ученье», с самого начала означало «идти в работу», становиться рабочим челове-

ком, подмастерьем. Гашек в своей «москательне» у хозяина-аптекаря научился очень многому, что пригодилось ему потом, когда в рассказах он воссоздавал весь мир ремесленной Праги с ее оригиналами-людьми и необыкновенными происшествиями. Он учился, работал и по примеру другого подмастерья, молодого Горького, стихийно набросился на книгу. То было время книжного запоя для него. Классики и авантюрные романы, свое и переводное, любимые «Дон-Кихот» и «Пиквик» и русская литература — Гоголь, Толстой, позднее — Горький — всем этим юноша Гашек жил и горел.

Тем временем мать, накопив пять золотых, чтоб заплатить за право его учения, взяла Гашека от аптекаря и устроила его уже повыше, по торговой части, — в коммерческое училище (или «академию», как называлось оно по-чешски). И тут, как два последних года в гимназии и у аптекаря, Ярослав Гашек прекрасно учился, и во все последующие годы платить за него уже не пришлось: он был освобожден от платы. В училище он завязал товарищеские связи со многими пражанами, оставшимися потом его друзьями на всю жизнь. По описанию его друга Гаека, Гашек был в то время темнокудрым, круглолицым и розовощеким юношей с пушком на подбородке, с живыми, сверкающими умом глазами. Таким он изображен и на оставшейся фотографии, с той разницей, что вместо растрепанного энтузиаста перед нами серьезный и чинный юноша в аккуратном пиджаке.

В коммерческом училище сказались жизненный опыт и безудержное чтение Гашека. Он был развитее и во многом сознательней своих однокашников. Память его была необычайна, способность схватывать новые языки, их строй и особенности — редкостна. Особенно прилежно взялся он за славянские языки и в короткое время стал объясняться чуть ли не на каждом из них. Чутье языка, своего и чужого, питалось у Гашека не книжностью, а глубоким пониманием народной психологии, и это надо всегда помнить, читая Гашека. Вот почему он так быстро схватывал именно то, чего книжное, школьное усвоение языка почти никогда не дает, — народный юмор чужой речи, ее остроты, шутки и прибаутки. Любопытно, что один русский коммунист, встретившийся с Гашеком в теплушке по пути в Красноярск в 1919 году, сказал о его манере говорить по-русски: «Не вполне

хорошо, но с остротами, в стиле русского народного юмора» [1]. Обучался Гашек русскому языку еще в училище, и мы знаем, что, будучи женихом, он в своих стихотворных посланиях невесте делал концовки в стихах по-русски,— правда, очень еще приближенно и с типичной чешской ошибкой: заменой русского предлога «о» («о ком-нибудь») предлогом «на» («думаю на вас»); ставил к ним эпиграф из Пушкина. В эти годы учения Гашек сделался яростным славянолюбом, мечтал о единении всех славян, носил сербскую шапочку. Единственный предмет, с которым он справлялся туго, была стенография, да и то потому, что преподавалась она по немецкой системе. В эти же годы ярко выявилась особенность Гашека, отличающая его от некоторых других чешских классиков, особенно от Чапека. С одной стороны, Гашек был от природы бесконечно целомудренным и скрытным во всем, что касалось глубин его личной жизни (друг его, Франта Зауер, говорил о нем: «Гашек не переносил, чтоб кто-нибудь заглядывал в его мысли. Он даже не позволял о них догадываться. Ему хотелось, чтоб все считали его Швейком» [2]). С другой — он был прирожденным общественником, имел непреодолимый вкус к политике, к участию в политической жизни, к разговору на политические темы. В одном из своих рассказов («Судьба общественного человека») он даже вышутил эту свою склонность к общественности. В сущности, в понимании Гашека оба термина совпадали так, как они когда-то совпадали в античной Элладе, у греков, у Платона: общественный человек не может жить вне политики, вне какого-нибудь вмешательства в политические события своей эпохи, поскольку они затрагивают общество. Он страстно реагировал на мировые события, и есть рассказ о том, как вспыхнувшая в 1899 году англо-бурская война вызвала в нем такое возмущение, что он бежал на эту войну сражаться на стороне буров, правда, не успев убежать далеко.

Часто читаешь о «бравом солдате Швейке», что это был маленький мещанин, чуждый всякой политики. Мне кажется, ничего не может быть неправильней подобного

[1] Приведено у Карла Крейбиха, «Литература мировой революции», № 6, 1932, стр. 101.
[2] Там же, стр. 96.

критического штампа. Как раз наоборот! Своеобразие и прелесть характера Швейка, секрет всех его авантюр и основная ось всего романа в том, что этот мнимый простачок Швейк — страстный и прирожденный политик, отлично в ней разбирающийся, сумевший занять в ней талейрановски хитрую позицию, выводящую его сухим из воды всякий раз, как он в эту воду попадает, а лезет он в нее, по свойству своего общественного и политического темперамента, постоянно. И в этом корневая лирико-биографическая связь Гашека со своим Швейком.

Нужно отметить и еще одну склонность Гашека, сыгравшую огромную роль в его жизни и творчестве. Еще с детства любил он бродить по родной Праге, изучая ее вдоль и поперек, а уже в училище эта страсть «щупать ногами землю» (по яркому определению Тараса Шевченко) дала себя знать в долгих путешествиях Гашека по всей стране с заходом пешком даже в соседние балканские страны. Друзья и биографы именуют эту страсть Гашека «бродяжничеством», но такое определение тоже не совсем точно. Есть особый тип бродяжничества, погнавший пушкинского Алеко из города, когда человек занят самим собой, хочет остаться наедине с собой или бежать от себя, и природа для него — лишь среда для растворения одиночества; таков, в сущности, классический тип бродяги-индивидуалиста. Гашек не был таким «бродягой», он скорей напоминает средневекового подмастерья, искавшего по дорогам мира приложения своим силам, или бродяжничество в гетевских «Годах странствия Вильгельма Мейстера», как последний этап школы познания мира и общества. Гашек никогда не был праздным и одиноким в своих скитаниях. Он на каждом шагу буквально обрастал людьми и событиями, и что ни шаг в этих путешествиях — то новелла.

Пускаясь в путь, Гашек с головой окунался в жизнь. Он знакомился, находил попутчиков, участвовал во всех дебатах, агитировал среди крконошских горняков, разыгрывал ненавистных ему представителей духовенства, останавливаясь на ночевку то у католического, то у протестантского священника,— словом, непрерывно оставался в человеческом обществе. Это был счастливый период накопления материала, первый необходимый этап творчества, а вовсе не бродяжничество ради бродяжничества, как бывает спорт ради спорта. Есть очень характер-

ный рассказ Гашека, где он высмеял альпинизм, как таковой — восхождение на вершину ради самого восхождения. Какой-то ловкий делец нашел еще не исхоженную туристами девственную вершину, устроил у ее подножия гостиницу и стал зазывать всех альпинистов рекламами своей вершины. В этом рассказе, который ведется от первого лица, Гашек отправился на штурм вместе с проводником, съел и выпил все, что приготовлено было хозяином по дороге на вершину в специальном павильоне для подкрепления сил смельчаков, и вернулся обратно в гостиницу [1]. Такой же насмешкой над спортом ради голого спорта звучит новелла «Марафонский бег».

Нет ничего удивительного в том, что семнадцатилетний Гашек, уже имевший за душой не одну стычку с австрийской полицией, богатую опытом учебу у аптекаря, месяцы странствия по родной земле, набрал огромный для своих лет материал и не только начал, еще будучи в училище, писать рассказики и фельетоны, а и печатать их. Первый его рассказ появился в газете «Народны листы» 20 августа 1900 года. И с тех пор в самых разных печатных органах стали появляться его остроумные репортерские заметки, очерки и рассказы. Один из учителей коммерческого училища, высоко ценивший талант Гашека, предсказывал даже, что он сделается чешским Марком Твеном.

Однако чешскому юмористу еще рано было делаться профессионалом со случайным заработком. «Академия» окончена в 1902 году с отличием, и чуть ли не на следующий день Гашек уже сидит на службе в том же банке «Славия», где до самой своей смерти служил и его отец. Жалованье шестьдесят крон в месяц, и это большой вклад в семейный бюджет. Гашек начинает как будто тянуть ту самую лямку, какую безропотно тянули вокруг него тысячи его соотечественников, граждан старинного города Праги.

Но вся его натура бунтует против такой доли. Гашек, которого критика так любила именовать мелким буржуа, органически не может им стать. Он стремится высвободиться из своих пут и через год оставляет службу. Средством к свободе служит литература. Талант его так ярок, так много есть у Гашека, что просится на бума-

[1] Рассказ «Восхождение на Мозершпице».

гу, так богат и содержателен его запас наблюдений, что не писать он уже не в силах. А вокруг выросла новая эстетствующая молодежь, та «высокая» городская «богема», которая задает тон в читательских кругах. Я называю «богемой» как раз модных в те годы (начало девяностых) поэтов, тему которых составляли исключительно любовные переживания. Эта «лирика чистой воды», царившая в тогдашней поэзии, несомненно, имела и свои классовые корни в обеспеченных слоях общества, и, должно быть, среди сторонников и творцов ее были и выпускники той повышенного типа гимназии, которую в свое время не удалось кончить Гашеку. «Богема» — такое же растяжимое понятие, как и «мещанство». К Гашеку приклеили ярлык богемы только потому, что он любил бывать в кабачках, любил свою кружку пива и пол-литра вина, любил странствовать пешком и, может быть, был небрежен в своих привычках и в одежде. Но забывают при этом, что Гашек никогда не был и не мог быть *бездельником,* он вынужден был по-настоящему работать с детских лет, и жизнь для него никогда не превращалась в то бесхребетное состояние «скуки от безделья», «нытья от безделья», стремления к туманной красивости, к романтической неясности и отрыву от действительности, к чистому искусству, какие характерны для молодежи, существующей на «прибавочную стоимость», на средства своих родителей. Именно безделье и отрешенность от практики жизни характеризуют то, что можно назвать объективным источником «богемы»; и надо твердо сказать, что в этом смысле Ярослав Гашек никогда не был и не мог быть причастен к богеме, подобно тому как не мог он превратиться в мещанина.

Изучая дух и характер его раннего творчества, мы видим, что с самых первых опытов в литературе он был подлинным реалистом и по содержанию и по форме; был непревзойденно конкретным мастером реалистического сюжета; был борцом за правдивое отражение действительности. Необычайно здоровым, трезвым духом веяло от его писаний, и даже сознательные гиперболы и гротески, которыми он часто пользовался, были отражением его страстной потребности послужить реальному делу жизни. Первая книга, какую он и его друг Ладислав Гаек выпустили, была остроумным ударом по тогдашней эстетствующей богеме, по «лирике чистой воды»:

Книжечка стихов «Майские выкрики» состояла из тринадцати стихотворений Гашека и остальных — Гаека, начинавшихся романтически, подобно тогдашней моде, и кончавшихся острой пародией на любовную поэзию.

Ярослав Гашек противостоял господствующим течениям не только своими пародиями и рассказами, но и своей публицистикой. Незадолго до первой империалистической войны, ставшей переломным этапом его жизни, он писал в статье «Социальная поэзия» о современной ему литературе:

«...Бедняки в стихах и рассказах всегда томятся, а в качестве выхода там и сям показывается только кусочек утренней зари. Рабочие позволяют себя расстреливать, но не защищаются. Работница, обольщенная сыном фабриканта, убивает своего ребенка, а не его отца. Рабочих всегда убаюкивают колыбельной песней о надежде на великую красную зарю, которой надо дожидаться... Когда же мы, наконец, услышим песню без фраз? Когда же мы, наконец, прочтем социальный рассказ, в котором не только брюзжат, когда же мы, наконец, увидим на наших сценах настоящую социальную пьесу или рассказ победоносного восстания, песнь мятежа, гимн победоносного пролетариата?» [1]

Сохранились благодаря другу Гашека Лонгену и замечательные слова, сказанные Гашеком жене Лонгена, Ксанхен, после того как война уже разразилась. Для замкнутого человека, никому не открывавшего себя, эти слова просто удивительны по прямой своей откровенности. Видно, что, высказывая их, он хотел оставить нечто вроде своей профессиональной исповеди:

«...Думаю, что искусство есть глубочайшее раскрытие истины... Но я, несомненно, яснее ощущаю социальные движения, противоречия, конфликты и социальное развитие, и они чрезвычайно важны для моей литературной работы. Рабство и человеческое тупоумие, низводящие жизненный уровень до низших ступеней, управляют миром, и против этого гнусного положения надо бороться. И искусство должно отражать эту борьбу. Долг художника сейчас состоит в том, чтобы, вскрывая правду, бороться против темных сил, которые управляют человечеством, как стадом в пампасах. Товарищи, рисуйте

[1] Приведено у Карла Крейбиха, стр. 99.

истину самыми яркими красками...— это будет только полезно для хорошего дела. Я думаю, что в недалеком будущем искусство будет могущественным фактором. И наиболее нужными будут те художники, которые обладают широким кругозором и будут беспощадно служить истине. Мещанство, самодовольство, кокетство и мелочность — позор для художника. Эти отвратительные свойства погубят всякого литератора. Товарищи, мы должны быть сильными, чтобы не погрязнуть в болоте. Может быть, мы получим там хороший корм, но мы погибнем. Искусство же есть жизнь в движении, живая правда, которая поглощает все ваше существо. Я ненавижу гниль и стоячие воды. Теперь мы видим, каким все было прогнившим, убитым, ослепшим, теперь, когда свора властителей натравливает людей друг на друга для взаимного истребления. Я... не отрицаю борьбы. Но бороться ради выгод капитала и не знать, за что идешь на смерть,— это вершина человеческой глупости. Если уж борьба, так настоящая борьба. Убивать во имя определенной идеи и знать, зачем и за что получишь пулю в лоб,— это я понимаю... Я хотел бы драться, как Геркулес, если бы у меня были соответствующие характер и мускулы! Ну, а так я должен довольствоваться описанием всякого скотства, о котором мои господа коллеги самого плохого мнения. И разве я могу не напиваться, когда я на каждом шагу встречаюсь с этой страшной правдой...» [1]

Вот с такими чувствами и в таком настроении Ярослав Гашек, мобилизованный в 1915 году, отправился на фронт по тем же дорогам, какими впоследствии шел и его Швейк.

II

Но прежде чем рассказать о рождении на фронте Швейка и втором рождении самого Гашека, посмотрим, как протекли двенадцать лет его писательской жизни в Праге — период, не только очень продуктивный для него творчески, но и наиболее затуманенный для исследователей бесчисленными «анекдотами». Почти львиная

---

[1] Приведено у Карла Крейбиха, стр. 99.

доля рассказов о его выходках и баснословных приключениях («политических дурачествах», как выражаются биографы) в сборнике «50 анекдотов из жизни Гашека» относится именно к этому времени.

Вступив на профессиональный путь человека пера, Гашек определил и свое отношение к действительности: он вошел в партию анархистов и в редакцию анархистского журнала «Омладина». Позднее в анкете «чешскословацкого коммуниста члена РКП (больш.)», заполненной им 19 ноября 1920 года[1], он пишет в ответ на вопрос, где и в какой партии раньше состоял: «Жижков, с 1905, организац. незав. социалистов (анархо-коммунистов)». Надо сказать, что в тогдашних чешских условиях партия анархистов имела много привлекательного для революционно настроенных людей искусства, создавая им видимость большой личной независимости и смелой общественной деятельности. Анархисты опирались и на рабочую массу в угольном районе на западе Чехословакии. Нужно ясно представить себе всю тогдашнюю слабость чехословацкого социалистического движения, чтоб понять, почему Гашека потянуло именно к анархистам.

Другая партия — чешских национал-социалистов, с которой Гашека роднила ненависть к австрийской империи, отталкивала его своей близостью к чешской буржуазии, которую он ненавидел не меньше, чем австрийских чиновников. Оставались анархисты, и он пошел к анархистам, правда, ненадолго: через три года он ушел и от них. Да и в самое горячее время работы в «Омладине», где он просиживал целыми днями, редактируя материал, обросший, как медведь, с неизменной своей длинной трубочкой в зубах,— Гашек ухитрялся вдруг надолго исчезать. Он срывался с места — его тянула земля — и опять «щупал ее ногами», раз даже дойдя до самого Нюрнберга. Обычно он уходил без копейки в кармане, полагаясь на свои рабочие руки. В Нюрнберге проработал вместе со сборщиками хмеля и домой вернулся по этапу.

Но в 1906 году появилось нечто, приковавшее его на время к Праге: он познакомился с дочерью штукатура

---

[1] Подлинник этой анкеты хранится в Институте марксизма-ленинизма, фонд 17, оп. I, единица хранения 307, лист 65.

и скульптора, Ярмилой Майеровой, тоненькой чешской девушкой, на время забравшей Гашека в свои руки. Он полюбил ее мгновенно и очень сильно. Родители Ярмилы яростно противились их браку, особенно отец,— он и слышать не хотел о женихе без прочного места и солидного характера. Ярмилу увезли от Гашека в деревню, но он пошел за нею пешком. Он приносил ей жертву за жертвой — он вышел из партии анархистов, нашел себе место редактора журнала «Мир животных», обещал снова вступить в католическую церковь и вступил. Они обвенчались в 1910 году, а через год у них родился сын Ричард и еще спустя немного они разошлись. Ярмила захватила с собой Ришу и уехала к родителям. Им суждено было ещё раз встретиться через несколько лет, когда Гашек вернулся с фронта.

Обычное объяснение кратковременности брака Гашека заключается в ссылке на его невозможный характер. Он пропадал в пражских кабачках; он оставлял жену зачастую без денег; попытки ее бороться с этим были безуспешны... И все-таки была еще причина, почему брак с Ярмилой не принес Гашеку полного счастья. Семья требовала от него чешской традиционности, мещанской оседлости, полного поглощения заработком, приобретения вещей на сбережения, воскресного отдыха после утренней службы в костеле и прочего, и прочего, что было почти обязательно для сословной среды, из которой он взял невесту и к которой по рождению принадлежал сам. Всегда высмеивая в своих рассказах также и себя самого или то, что случилось с ним самим, он в «Исповеди холостяка» и особенно в неожиданном конце этого рассказа дает заглянуть в свое отношение к мещанскому браку как к ловушке, куда загоняют человека, потому что он сам ее себе выкопал. Сила его сатиры и юмора становится в годы любви его к Ярмиле еще более режущей, темы его юморесок углубляются, необходимость писать во множестве газет и журналов, подчас таких, как «Женское обозрение», помогает ему из юмориста становиться и серьезным публицистом. Но ни в одном из этих острых и блестящих образчиков его неутомимого пера нет ни на грамм того, что можно было бы назвать лирическим. Переживаемое им чувство выразилось в выросшей продуктивности, но не в перемене темы или тона. В 1907 году, еще до его брака, произошла

в его жизни одна из самых важных встреч, без которой, может быть, образ Швейка не дошел бы до человечества в том его пластическом выражении, какое сейчас знают и любят миллионы людей. В типографию, где печаталась «Омладина», зашел художник Иозеф Лада. Он увидел там круглощекого паренька с детски наивными глазами, пухлыми женскими щечками и губками, скромно углубившегося в корректуру, и оставил нам в «Летописи своей жизни» интересные страницы, посвященные этой встрече. Лада никак не предполагал, что этот наивный паренек — прославленный сатирик Ярослав Гашек, чьи юморески в 1907 году уже составили ему известность во всей стране. Лада воображал его похожим по меньшей мере на Вольтера или тогдашнего модного французского драматурга — обличителя буржуазных нравов Викторьена Сарду, и в первую минуту почувствовал себя глубоко разочарованным. «Но так можно было думать лишь до тех пор, покуда Гашек не заговорил» [1]. При первом же слове блеск остроумия и меткость характеристик Гашека так ослепили собеседника, что каждое словечко показалось ему как бы навеки наклеенным на предмет. Хотя первую книгу Гашека «Бравый солдат Швейк и другие занимательные истории», вышедшую в 1911 году, иллюстрировал еще не Лада, а Карел Штрофф, именно Иозефу Ладе суждено было найти выразительнейший образ Швейка, воспроизводившийся потом всегда и всюду и тоже оказавшийся «как бы приклеенным» к оригиналу. Вероятно, Иозеф Лада именно в эту первую свою встречу с Гашеком и заметил, а потом с тончайшим тактом большого художника воплотил в своем образе Швейка некоторые черты кажущейся внешней инфантильности и придурковатости самого Гашека.

В качестве редактора и сотрудника журналов и газет: «Мир животных», «Чешское слово», провинциального «Переплетного дела» и даже «Женского обозрения» Гашек оставил по себе множество анекдотов как изобретатель несуществующих животных вроде мухи с шестнадцатью крыльями, которыми она обмахивается, как веером,— в «Мире животных»; как сочинитель необычайных городских происшествий, над которыми вся Прага поми-

[1] Воспоминания Иозифа Лады о Гашеке приведены в книге Vladimír Stejskal «Hašek na Lipníci» Havlíčkův Brod, 1953, стр. 1—20.

рала со смеху,— в «Чешском слове»; как автор передовицы, серьезно предупреждающей читателя не брать в руки переплетенных книг, поскольку клей, на переплеты употребляемый, ядовит,— в «Переплетном деле» и т. д. Но работа Гашека отнюдь не была только анекдотической. Не говоря уже о серьезных политических выступлениях,— например, его статье «Чернова» в женском журнале, где он страстно обрушивается на австрийскую политику обмадьяривания словаков,— Гашек в своих фельетонах непрерывно подтачивает устои бюргерского уважения к лоскутной империи, страх перед ее чиновниками, чувство ее прочности и долговечности. Он дал выход возмущению чешского народа австро-немецким насилием в непрекращающемся, язвительном, бичующем, уничтожающем и в то же время неуязвимом для жандармов смехе над всей системой этого насилия, над ренегатами из чешского народа, кто сам служил в рядах насильников, над духовенством, осенившим насилие своим крестным знаменем,— и его сверкающая, несравненная сатира воспитывала, образовывала, подбадривала, поучала, открывала глаза читателям, казалось бы, только весело смеявшимся над его рассказами. Он не прекратил эту работу подтачивания австрийской империи и осмеяния собственной продажной буржуазии и после того, как жена с ребенком ушли от него. Произошло это в 1912 году. Гашек не знал, что в этот год пришла в Прагу весна человечества, пришли новые люди, заложившие фундамент для грядущего нового, справедливого мира, в борьбе за который и ему пришлось скоро участвовать: в январе 1912 года в Праге на конференции Российской социал-демократической рабочей партии оформилась партия большевиков, и Ленин ходил в эти дни своей легкой, стремительной походкой по старинным, едва опушенным изморозью улицам древнего города Праги...

Но об одном из «политических дурачеств» Гашека хочется все же рассказать подробнее: так метко ударило оно по всему слою приверженцев политического оппортунизма. Шли выборы в австрийский парламент. Предвыборная кампания разыгралась в самых посещаемых кабачках и кофейнях, «ресторациях» Праги. Хозяева их потирали за стойками руки: в кассу текло золото. Но не радовался хозяин жалкого кабачка «Кравин» на окраине города, в районе Винограды,— у него было пусто.

И вдруг знаменитый чешский сатирик, от одного имени которого у пражских старожилов расползалась по лицу улыбка, объявил этот кабачок местом предвыборных собраний новой партии — партии «умеренного прогресса в рамках законности», основателем которой и первым кандидатом в парламенте был он сам. Пошла в ход мощная предвыборная литература, печатались воззвания, устраивались митинги. Гашек выступал с захватывающими речами, украшенными всеми фигурами красноречия, как речи Цицерона против Каталины, но от содержания речей, превращавших в потеху политическое соглашательство и обывательское «чего изволите», слушатели помирали со смеху. В кабачок нельзя было протиснуться, толпа стояла за дверями. Каждый прогресс обходится черт знает во что человечеству, вещал Гашек. Вот, например, молочница такая-то купила йоркширскую свинью вместо родной, домашней, и что же? Та ей принесла и всего-то трех поросят, в то время как... Швейковские сравнения текли потоком, сбивая с толку усталых австрийских сыщиков, тщетно искавших, к чему бы придраться. «Будем прогрессировать с разрешения начальства ровно настолько, насколько позволено,— и волос не упадет с головы нашей», взывал со всей серьезностью Гашек; и не к чему было прицепиться сыщикам. Поэт Иозеф Маха сочинил гимн «Мирного покрока» (прогресса); его торжественные ямбы пелись толпой в конце каждого собрания:

At prudký pokrok chtějí jiní,
násilím zvrácet světa řád,
my pokrok mírný chceme nyní
Pan Hašek je náš kandidát!
(Иные хотят стремнтельного прогресса,
Насильем опрокинуть мировой порядок.
Мы хотим мирного прогресса ныне,
Пан Гашек — наш кандидат.)

И выборы происходили всерьез, а пан Гашек получил даже 38 настоящих голосов. Невольно спрашиваешь себя: что могло бы произойти, если бы Гашек-Швейк и действительно попал в австрийский парламент?

Но самым замечательным в этой истории был все-таки ее конец. Когда спустя несколько лет больной Гашек вернулся из России на родину и увидел, что де-

[1] Vladimír Steiskal, Hašek na Lipníci, стр. 17.

лается в «свободной» Чехословацкой буржуазной республике (провозглашенной 28 октября 1918 года) и как ведет себя в этой республике чешская социал-демократия, он созвал «второй съезд партии мирного покрока» и торжественно «распустил» ее со следующим постановлением: самороспуск партии вызван ее ненужностью, поскольку ныне «чешская социал-демократия целиком приняла программу умеренного прогресса и в желательной осторожной форме вступается за постепенное необременительное для властей, церкви и богатых людей урегулирование экономических отношений...»

III

Раздался выстрел в Сараеве. Зашмыгали по кабачкам австрийские сыщики бретшнейдеры. Запахло войной. Это были минуты зачатия нового, большого Швейка, «Швейка в империалистической войне».

В 1915 году Ярослав Гашек был мобилизован и отправлен в Будейовицкие казармы, где, совсем как Швейк, он лечился от ревматизма. Потом он проделал тот самый путь, о котором мы читаем в его романе. И живые действующие лица его книги: фельдкурат, обер-лейтенант Лукаш, писарь Ванек, капитан Сагнер и множество других — стали крепко врастать в изумительную память художника и переплавляться в ней, принимая черты типовые. Настолько сильно проникновение самой действительности на страницы «Бравого солдата Швейка», что, например, некоторые биографы Гашека печатают в книгах о нем реальные фотографии фронтовых прототипов его романа, и мы видим живые лица тех, о ком читали и кого уже раз видели спародированными в великолепных рисунках Иозефа Лады.

При первом удобном случае Гашек, подобно своему герою, сдался в плен и очутился в городе Киеве, в окрестностях которого было сконцентрировано несколько тысяч чехословацких легионеров, а в самом городе обосновался в то время филиал так называемого «Национального совета» чехословаков, имевшего свой центр в Париже во главе с Масариком. Что такое чехословацкие

легионы? Они были сформированы еще при царском правительстве из военнопленных чехословаков для борьбы против немцев. Временное правительство после февральской революции не изменило их назначения. Легионеров было несколько десятков тысяч.

Ярослав Гашек застал в Киеве ту особенную дореволюционную обстановку, когда чехи в Киеве еще жили национальными грезами о том, как они сбросят наконец иго Австро-Венгерской империи и создадут свою собственную Чехословацкую республику. Масарик был их божком; Париж, где ковали политику для чехов,— своего рода Меккой и Мединой. Война с немцами «до победного конца» — вот тот лозунг, который приковывал чешские легионы к царской политике и целиком отвечал их патриотизму.

«Национальный совет» в Киеве имел свою типографию и свой орган — «Чехослован». Гашек, страстный славянолюб и враг австро-немцев, примкнул к своим киевским собратьям всей душой и работал в «Чехословане», что называется не покладая рук.

В первое время он как будто безоговорочно разделял взгляды своих земляков. Он увлеченно вел газетную пропаганду и успел написать и напечатать в «Чехословане» своего «Бравого солдата Швейка в плену».

Но от Гашека нельзя было припрятать то смешное и комедийное, что проскальзывало в заседаниях киевского «Национального совета» и просилось сатирически на бумагу. Скептик и насмешник не выдержал в нем,— он опять расхохотался, и этот хохот вылился в апреле 1917 года статьей «Пиквикский клуб», напечатанный в «Чехословане». В ней он в смешном виде выставил деятельность своих единомышленников, как в былое время высмеивал буржуазных оппортунистов. Статья эта имела немалое значение в его судьбе: недовольное ею начальство послало Гашека на фронт. Имеет она и некоторый интерес для исследователей его творчества,— показывает несомненную связь образов «Пиквикского клуба» с тем швейковским миром, которым Ярослав Гашек был в те дни творчески поглощен.

Он вспомнил о Пиквике отнюдь не случайно. Гашек, правда, всегда любил Диккенса, но именно из этого романа кое-что обрело свою чешскую аналогию в любимом

герое Гашека, переплавленное, правда, почти до неузнаваемости в другое национальное обличье.

Что характерно для симпатичного слуги Пиквика, молодого Сэмуэла Уэллера? Неисчерпаемое умение к каждому случаю приплести соответствующую параллель из жизни, отвлекавшую внимание его собеседника на побочную дорожку и переводившую в другое русло закипавшие было в собеседнике чувства. Эти бесчисленные параллели Сэма Уэллера, которыми он отводил и успокаивал душу своего толстенького господина, Пиквика, были не только приемом характеристики самого Сэма, но и жанровым приемом для всего романа, с помощью которого Диккенс снижал «острые» «конфликтные» вещи до того уровня, при котором они вдруг обретали свою уязвимость. Мне кажется — и это останется решить чешским исследователям художественной ткани «Швейка»,— что излюбленный Гашеком прием тотчас же приводить пример «к случаю», неисчерпаемый в устах его любимого героя, возникновением своим обязан влиянию на него «Записок Пиквикского клуба». Чешский сатирик использовал этот литературный прием для политического сведения к бессмыслице бесконечных нелепостей австро-венгерского режима в войне и мире.

Где встретил Гашек Октябрьскую революцию: на фронте ли, куда он был послан в наказание за свою статью, как это утверждает один из лучших биографов второй половины его жизни, Владимир Стейскал[1], или в Киеве, как пишет Еланский, утверждающий, что в Октябре он снова был в Киеве[2], спора, нам думается, быть не может. На этот вопрос ответил сам Гашек в уже упоминавшейся анкете, опубликованной у нас[3] после того, как книга Стейскала была напечатана. Правда, в публикации анкеты есть неточности, объясняемые, вероятно, неверным прочтением почерка Ярослава Гашека (отчество вместо «Осипович» напечатано «Романович», и год рождения вместо 1883 напечатан 1889), но на этой партийной анкете стоит его собственноручная подпись, и она заверена принимавшим ее 19 ноября 1920 года, видимо,

[1] Vladimír Stejskal, Hašek na Lipníci, стр. 20.

[2] «Ученые записки» Саратовского Госпединститута, выпуск XVII, 1955, стр. 114—118.

[3] «Новые материалы о Ярославе Гашеке», «Исторический архив» № 4, Академия наук СССР, 1956, стр. 122 и дальше.

перед возвращением Гашека на родину. И в этой анкете Гашек сам пишет, что ушел из чехословацкой армии в сентябре 1917 года. Это значит, что Октябрьскую революцию он встретил в Киеве.

Пребывание на фронте, по-видимому, не прошло для него бесследно. Вернувшись, он начинает видеть и понимать происходящее в «Национальном совете» более критически. Лозунг братания с немцами и Брестский мир еще воспринимаются им, правда, как измена общему делу Антанты и предательство по отношению к чешским чаяниям. Но отрезвление приходит очень быстро.

Всем, кто пережил эти решающие для старого мира дни в самой России, в обстановке яркого обнажения классовых сил и классовых интересов, в огромной, как смерч, волне, поднимавшегося снизу, из народных недр человеческого протеста против бойни, насилия, фальши, лицемерия старого общества; всем, кто видел первый блеск зари нового дня и отсвет его в глазах пробуждающегося народа, в глазах бегущих с фронта солдат,— всем людям с живым сердцем, кто пережил это, оставаться долго на узких и ничтожных позициях национального эгоизма было просто немыслимо. И это сделалось немыслимым и для Ярослава Гашека.

Впервые в своей жизни он был прочно и по-настоящему захвачен волной, которая оказалась сильнее его скепсиса и его огромной внутренней сдержанности. Он вошел в революцию, нашел себя в ней и наконец-то ощутил под ногами реальную, прочную почву истории, которой суждено будущее. Гашек раскрылся весь, душевно, сердечно, навстречу этому верному будущему.

Тем временем чехословацкий «Национальный совет» в Париже не бездействовал. Он уже не был для англо-французского капитализма простой кучкой эмигрантов, ненавидевших общего врага. Он имел за собой реальную силу, дисциплинированных и вооруженных чешских легионеров, которыми можно было нанести удар русской революции, не только выведшей из войны своих солдат, но и угрожавшей европейскому буржуазному правопорядку. В кассу «Национального совета» полилось золото. Его русскому филиалу были переведены десятки тысяч английских фунтов и сотни тысяч французских франков.

Сговор между Масариком и Антантой состоял в том, что «Национальный совет» потребует у Советского правительства пропуска чехословацких войск во Францию для подкрепления французской армии не через Архангельск, где будто бы не хватало для посадки судов, а через Владивосток. А на самом деле, по реальному, а не показному плану сговора, чехословацкие легионы должны будут занять все Среднее Поволжье, выбить оттуда большевиков и захватить Сибирскую магистраль. План этот был рассчитан на свержение советской власти голодом: предполагалось отрезать жизненно важные промышленные центры и Москву от хлебных районов. Советы согласились пропустить легионеров с тем, чтобы они сдали свое оружие в Пензе, и чехи начали энергично проводить в исполнение свой тайный план.

Русские филиалы «Национального совета», в том числе и киевский, повели пропаганду за отправку легионов во Францию.

Гашек был в то время в Киеве и должен был бы участвовать в такой пропаганде и пером и устным словом. Но романтический туман в его глазах медленно сползал с вещей и отношений, и в свете разгоревшейся русской революционной зари то, что происходило у киевских чехов и в руководстве легионами, стало обнажать свое неприглядное классовое существо. Раньше Гашек жил в той романтике национального воодушевления, когда все люди одной нации кажутся как бы родными. В легионах между офицерами чехами и солдатами чехами царствовало сперва сердечное «все чехи — братья», и это увлекало и побеждало Гашека. Но сердечность стала линять. Появился начальствующий тон у офицеров. Начали появляться среди офицеров старые служаки австро-венгерской армии и русские белогвардейцы, к весне 1918 года составлявшие до двадцати процентов командного состава легионов. Ненавистным буржуазным духом повеяло от политики тех самых земляков, которых Гашек считал революционными хозяевами будущей свободной Чехословакии. Его пробуждение шло очень быстро, и выразилось оно с той неожиданностью, с какой вдруг происходят духовные перевороты у очень сдержанных и замкнутых людей.

Вместо агитации, какую вели члены «Национального совета» среди легионеров, Гашек стал страстно бороть-

ся против отсылки чешских солдат во Францию. Выступая на многочисленных митингах в киевской типографии «Чехослована», он напомнил чехам, что они «потомки таборитов», назвал Табор первой чешской коммуной, а гуситов — первыми коммунистами.

Слово «гуситство» кажется на первый взгляд неуместным в устах насмешника Гашека. Но найденные материалы неопровержимо говорят о том, что в самые серьезные минуты самого серьезного периода своей жизни Гашек вдруг, совершенно неожиданно, использует уроки истории Алоиза Ирасека для своих политических выступлений:

«На публичных сходках в типографии «Чехослована» Гашек доказывал, что «наша история давно уже решила за нас и определила наш путь. Мы потомки гуситов, а большевики — прямые продолжатели гусизма. Советская власть осуществляет гуситский коммунизм, а поэтому мы все, без долгих размышлений, должны идти за большевиками и помогать им» [1].

Легко, разумеется, критиковать такие выступления как пример теоретической слабости автора «Швейка». Но для нас важна в данном случае не степень политической сознательности Гашека, а его несомненная глубокая искренность в переходе к большевикам и его умение сагитировать массу чехословацких солдат, найти верный ход к их сердцу и воображению в данный момент именно теми самыми образами и чувствами, какие завладели им самим.

И слово Гашека, его страстные прокламации, печатавшиеся как обращение к чешским легионерам, его призывы не ехать во Францию, а переходить на сторону русской революции находили себе путь к солдатскому сердцу. В том, что чехословацкая буржуазия называла впоследствии «разложением легионов», его слово, несомненно, сыграло свою роль.

Один из тех очевидцев, кто был в Самаре в 1918 году, когда ее захватили чехословацкие легионеры, рассказывает о такой сценке: он шел в сентябре 1918 года со своим товарищем мимо самарской тюрьмы, где си-

---

[1] Приведено Анчиком в «Svět Sovětů», № 49, 1955, под указанием: Z vzpomínek V. Svihovského (Из воспоминаний В. Швиговского).

дели арестованные чехословаками большевики. Товарищ вел за руку девочку, мать которой была в этой тюрьме.

«— Где твоя мама? — спросил товарищ.

— Ее чех взял,— пролепетала малютка.

— Не чех, а офицер,— угрюмо поправил стоящий на карауле у тюремной стены чешский солдат» [1].

Не чех, а офицер — в этом заключалась та простая правда, которая просачивалась постепенно в сознание легионеров, и в этом прояснении сознания своей «каплей меда» участвовал и Гашек-пропагандист.

Когда его бывшие киевские соратники бежали из осажденного большевиками Киева за рубеж, Ярослав Гашек остался, поехал с большевиками в Москву, где и вошел в чешскую секцию Российской коммунистической партии большевиков.

Он стал ценнейшим работником для советской власти. А советский строй сделался для него той силой воздействия, какого не смогли оказать ни родные, ни пражские друзья, ни жена Ярмила. Он совершенно изменился и даже внешне перестал быть похожим на своего Швейка: похудел, подтянулся. О том, как Гашек работал в России, сохранилось много рассказов, немало документов и несколько авторитетных характеристик.

Вот что рассказывает писатель Иван Ольбрахт. По приезде в Россию он стал с любопытством расспрашивать о Гашеке. Ему отвечали: «Товарищ Гашек, Ярослав Осипович,— один из лучших людей, которые есть у нас». «Я недоверчиво усмехался,— пишет Ольбрахт,— но приходили новые и новые люди, авторитету которых нельзя было не верить, и все хвалили Гашека и рассказывали о его героизме, который он доказал в боях, о его уме и организаторских способностях, о его исключительном трудолюбии и услугах, которые он оказал. Сибирский товарищ, военный комиссар Гончарская, сказала мне: «Ярослав Осипович говорит, что, будь у него десять жизней, а не одна, он бы их с радостью пожертвовал ради власти пролетариата. И я ему безусловно верю. Он это доказал не раз». Такие слова в России зря не говорят. «А не

---

[1] «Красная быль» № 3, статья «Чехословаки», Самара, 1923, стр. 176.

пьет?» — спросил я. «Ярослав Осипович? Что вы, товарищ, говорите?» [1]

Те, кто пережил эту весну человечества одновременно с Гашеком, знают, насколько сильно подхватывало и пронизывало душу в те дни большое счастье абсолютного соответствия нравственных требований совести с могучей тенденцией действительности. Истина глядела в душу человека, в сердце; воздух был насыщен ее пафосом, и Гашек находил в себе гигантские силы, чтоб работать, как работали тогда многие советские люди,— с совершенною самоотдачей. Ему не только доверяли, его облекали почти полной властью на доверенном ему участке. Вот характерный образчик этой власти. Вскоре после венгерской революции в номерах газеты политотдела V Армии «Новый путь» от 25 и 26 марта 1919 года (№ 56 и 57) он помещает такое объявление:

«Всем венгерским гражданам, проживающим в Уфимской губернии.

В Венгрии победила пролетарская революция. Вся власть в Венгрии перешла в руки рабочих и крестьян. Отныне Венгрия объявлена Советской Республикой. Она состоит в оборонительном союзе с Российской Социалистической Республикой. В силу этого союза против врагов рабочего класса

Объявляю всеобщую мобилизацию до сорока год всех венгерских граждан, проживающих в Уфимской губернии. Они должны записаться в трехдневный срок в Губернском Военном Комиссариате в городе Белебее. С неподчиняющимися этому приказу будет поступлено как с предателями Венгерской Социалистической республики.

Уполномоченный Австро-Венгерским Советом
Рабочих и Солдатских Депутатов
Ярослав Гашек» [2].

Это был язык первых лет революции, язык солдата революции, готового пойти ради нее на все жертвы и потребовать беспрекословного подчинения законам революции от других. Фактически путь Ярослава Гашека за

[1] Приведено в предисловии И. Ипполита к «Избранным юморескам» Ярослава Гашека, Гослитиздат, 1937, стр. 21.

[2] Приведено в статье Н. П. Еланского «Ученые записки» Саратовского Госпединститута, стр. 121.

эти годы может быть коротко прослежен по всем этапам, начиная с отправки его из Москвы весной 1918 года на партийную работу в Самару.

Что происходило тогда в среде его земляков? Выполняя в точности план Антанты, чехословацкие легионы двинули свои силы на молодую Советскую республику. По договору с советской властью они должны были, как уже сказано, сдавать свое оружие в Пензе, оставляя лишь немного винтовок для своих патрулей. Но договора они не выполнили, припрятав у себя всеми правдами и неправдами свое вооружение. Весной 1918 года медленно двинулся их огромный поток через всю Россию. «В половине мая головные эшелоны миновали большое сибирское озеро Байкал, в то время как хвост их находился в районе Пензы» [1].

В конце мая вспыхнуло восстание чехословаков: «25 мая 1918 года одна группа чехословаков под начальством генерала Гайды выступила в Сибири и уже 26 мая захватила крупный центр, г. Новониколаевск. В тот же день 26 мая чехословаки под командой Войцеховского овладели Челябинском, а почти в то же время чехословацкие эшелоны полковника Чечека, находившиеся еще в Европейской России, овладели городом Пензой и Сызранью. Везде выступление чехословаков сопровождалось разгромом местных Советов и истреблением коммунистов» [2].

Самара была занята 8 июля полковником Чечеком, и если б Гашек сомневался в своем выборе, был в нем неискренен, он двадцать раз с величайшей легкостью мог бы соединиться с легионерами. Но Гашек вел себя как преданный большевик и красноармеец. Он долго скитался по Самарской губернии под видом помешанного сына ташкентского немца-колониста, пробираясь к Симбирску. Это был, как сам он юмористически называет свои двухмесячные «каникулы», единственный роздых за все три года его непрерывной партийной и военной работы. Но «каникулы» Гашека сопровождались разведкой о настороении и продвижении чехословацких солдат и, разумеется, были огромным риском.

---

[1] Н. Какурин, Восстание чехословаков и борьба с Колчаком. «Библиотека красноармейца», Госиздат, 1928, стр. 8.
[2] Там же, стр. 18—19.

В Бугульме Гашек присоединился к только что сформировавшейся V Красной Армии, вошел в состав ее политотдела и прошел с нею славный путь через Уфу, Челябинск, Омск, Красноярск, Иркутск.

В Уфе переболел тифом и вторично женился — на простой русской девушке, ходившей за ним и спасшей его от смерти «огуречным рассолом»[1]. Эту девушку, Александру Львову, он взял потом с собой на родину, и она же, оставшись с ним до его смерти, закрыла своему «мертвому Ярославчику» глаза.

Все, что требовалось делать пером — издание газет, писание статей, организация материала,— Гашек делал с неутомимой энергией. Руководитель политотдела V Армии Файдыш в те времена, когда похвала политической работы писателя, да еще иностранца, давалась с исключительной скупостью и осторожностью, отозвался о нем как о старательном и надежном политработнике.

В Уфе Гашек несколько месяцев был комендантом типографии, где издавалась газета «Наш путь», и секретарем партячейки. Он писал в «Нашем пути» и сменившем его «Красном стрелке» множество фельетонов, статей, очерков. Среди них страстная статья об убийстве Карла Либкнехта и Розы Люксембург с призывом мстить за них, анализы стратегии белых, политического положения сибирского правительства; едкий фельетон «Из дневника уфимского буржуя», напоминающий пропагандистские выступления Демьяна Бедного. Одновременно он выступает на митингах, читает доклады и лекции, вовлекает иностранцев, настроенных революционно, в Красную Армию. А в августе Гашек становится начальником интернационального отделения политотдела V Армии, и под его руководством работает целый штат инструкторов. Еланский пишет в своей статье, что в годы 1919—1920 Ярослав Гашек участвовал в самой разнообразной работе политотдела как член коллегии и принимал участие «в обсуждении и решении самых серьезных вопросов вплоть до обращения в отдельных случаях непосредственно в ЦК РКП(б)»[2].

[1] Воспоминания «Шуриньки», второй жены Гашека, приведены в книге Vladimír Stejskal, «Hašek na Lipnící», стр. 95. У наших биографов Гашека, писавших до публикации этих воспоминаний, о встрече с Александрой Львовой говорится не совсем точно.

[2] «Ученые записки» Саратовского Госпединститута, стр. 121.

В Челябинске за август — сентябрь 1919 года Гашек в отчете о деятельности заграничной секции политотдела, которой он заведует, делает интересное сообщение о том, что, «помимо чисто политической деятельности, секция помогала экономической политике Советской республики и организовала для работы на заводах и фабриках 468 специалистов из иностранцев»[1].

В декабре 1919 года Ярослав Гашек в Омске. Здесь ему пригодилось его знание многих языков: он издает армейские газеты на русском, немецком, венгерском и сербском языках. И сколько статей, писанных его собственной рукой, разбросано по этим газетам!

В Красноярске в одном доме с Гашеком жил русский коммунист, тогдашний руководитель политотдела V Армии. Он сказал Карлу Крейбиху, что Гашек «работал хорошо... Он не был марксистом или коммунистом в теоретическом смысле, но он был сознательный революционер. О роли нашей революции он имел правильное представление и хорошо знал, какому делу он служит»[2].

Чем дальше, тем глубже входил Гашек в свою неутомимую работу. Последним этапом в ней был для него Иркутск. Совсем недавно к имеющимся уже документам его иркутской деятельности были прибавлены новые, крайне интересные для исследователя жизни и творчества Гашека. В Чехословакии в 1955 году, в журнале «Свет Совету», было опубликовано Зденой Анчиком письмо Гашека из Иркутска, в котором он как бы обозревает весь свой пройденный за три года путь. А у нас, в журнале Института истории Академии наук «Исторический архив», в 1956 году были опубликованы В. П. Скороходовым анкета и две недавно найденные статьи Гашека: «Белые о V Армии» («Красный стрелок», 15 августа 1920 года) и «Чешский вопрос» («Власть труда», орган Иркутского губкома РКП(б) и губернского революционного комитета, 21 апреля 1920 года).

Из двух статей первая представляет собою остроумную подборку цитат из белогвардейских газет, характерных для отступающего и лгущего своим солдатам белого командования. А вторая — очень трезвый и ясный ана-

---

[1] Приведено у И. Ипполита, Избранные юморески, Гослитиздат, 1937, стр. 22—23.

[2] Карл Крейбих, Литература мировой революции, стр. 102.

лиз всего, что происходит в чешских войсках. Он делит чехословаков в этих войсках по настроению на четыре группы:

«1. Национальные «социалисты» — мелкобуржуазный элемент, крайне национальный. Они несоциалисты. Дома, на родине, организовывали желтые союзы.

2. Чешские социал-демократы, соглашатели. Считают себя «передовыми в рабочем движении», но на деле тормозят социалистическое движение; они правее русских меньшевиков.

3. Чисто буржуазный элемент правоэсеровского типа — офицерство, чиновничество и интеллигенция. Здесь все буржуазные партии. И бывшие реалисты (лидером которых был профессор Масарик) и чешские кадеты (либералы-младочехи).

4. Насильно мобилизованные после известного контрреволюционного выступления чехословаков. Это элемент, который много обещает для пролетарской революции. В эту группу можно поместить и сознательных рабочих-революционеров, они относились с презрением к союзникам» [1].

По недостатку места я не могу воспроизвести статью в целом, хотя она очень заслуживает этого: так по-марксистски четко анализирует в ней Гашек создавшееся для его земляков положение.

В статье, несомненно, отразились занятия Гашека политграмотой, которые он посещал, да и сам вел в партшколе политотдела. «В годы 1919—1920 Гашек в течение многих месяцев был слушателем партийной школы. Это ясно из приказа политического отдела от 19 февраля 1920 года. Приказ этот есть документальное свидетельство того, что Гашек в России систематически изучал основы марксистско-ленинской теории» [2],— пишет Здена Анчик в «Свет Совету» перед публикацией, о которой я говорю выше.

Между Москвой и Прагой ездил для установления связи с чехами, работавшими с Советской Россией, молодой чех, товарищ Салат. От него Гашек осенью 1920 года, будучи в Иркутске, узнал, что в ненавистных ему кругах чешской буржуазии, праздновавшей само-

[1] Новые материалы о Ярославе Гашеке, «Исторический архив», № 4, 1956, стр. 254—255.
[2] Svět Sovětů, № 49, 1955.

стоятельность буржуазной республики, говорят о нем как о «примазавшемся к большевикам». Нельзя было нанести Гашеку большего оскорбления и травмировать его сильнее.

Представим себе зрелого, собранного, накопившего богатый рабочий опыт, дисциплинированного бойца и работника политотдела Красной Армии самых ярких лет революции, о которых до сих пор звенят и не умолкают лучшие советские песни. Он чувствует себя нужным, любимым в своем коллективе, уважаемым за свою работу. Он держит себя в руках, становится на горло старым своим привычкам. Он действует на территории огромного радиуса. Еланский пишет, что он был комиссаром на территории, где поместилось бы несколько Чехословакий [1].

И он свыкся с Сибирью, горячо полюбил ее людей, ее снежные зимы, ее могучую природу. Ранней весной в Красноярске он мог часами стоять у окна и смотреть на величественный ледоход Енисея... И этот человек, этот новый Ярослав Гашек вдруг опять получает укол в самое сердце от соотечественников, которые смотрят на него сверху вниз, вспоминают о нем неуважительно и с презрением, как о посетителе пражских кабачков, не способны оценить его гениального дарования и даже не считают его писателем.

17 сентября 1920 года Гашек пишет Салату из Иркутска:

«Дорогой товарищ Салат!

Только что приехал товарищ Фриш и привез мне от Вас письмо и литературу, которые я получил с большою радостью. Особенно вовремя пришла Богданова «Философия опыта», которая нужна мне как материал для лекции, которую мне предстоит сделать в понедельник в одной из школ для курсантов-пехотинцев.

Письмо меня порадовало. Оно говорит о том, что на меня уже не смотрят как на непостоянного человека. Непостоянство я утратил за 30 месяцев неустанной работы в коммунистической партии и на фронте, за вычетом небольшого приключения, когда братья-соотечественники штурмовали Самару в 18 году, а мне пришлось в это время, прежде чем я пробрался в Симбирск, блу-

[1] «Ученые записки» Саратовского Госпединститута, стр. 121.

ждать по Самарской губернии, играя роль идиота от рождения, сына немецкого колониста из Туркестана, который ребенком убежал из дому и бродит по белу свету, чему верили даже хитрые патрули чешских войск, проходившие по краю.

Путь от Симбирска до Иркутска я шел с Красной Армией, когда на мне лежали тяготы разных важных обязанностей, партийных и административных, и это наилучший материал для полемики с чешской буржуазией, которая твердит, что я «примазался», как ты пишешь, к большевикам. Они сами не могут обойтись без идеологии слова «примазаться». Они старались примазаться к Австрии, затем к царю, потом они примазались к французскому и английскому капиталу и к «товарищу Тусару»... [1]

Если б я захотел рассказать и написать о том, какие я имел «должности» и что вообще делал, на это бы действительно не хватило всего небольшого запаса бумаги у нас в Иркутске...»

И дальше, давая прорваться своей глубокой оскорбленности, с какой-то шевченковской силой и терпкостью речи, он пишет, что если поедет в Чехию, то не для любования подметенными улицами Праги, а для того, «чтобы нахлестать по заду все славное чешское правительство» [2].

Скоро, во второй половине ноября 1920 года, Ярославу Гашеку действительно пришлось выехать на родину. Он ехал туда по чужому паспорту, через буржуазную республику Эстонию (где его встретили на стенах афиши, обещавшие 50 тысяч марок тому, кто поймает и доставит властям его, Ярослава Гашека). Описание этого путешествия на родину юмористически дано в рассказе Гашека «Возвращение». Но юмор в этом рассказе уже не прежний; он сделался злей и суше, в нем много душевной горечи,— слишком велика разница между двумя мирами: тем, где он прожил три года большим и уважаемым творческим работником, и тем, где жил тогда эстонский народ под властью своей национальной буржуазии. Не та же ли атмосфера встретит его на родине? Сквозь горький юмор этого рассказа вдруг, неожиданно,

[1] Тусар — премьер Чехословацкой республики, избранный 8 июля 1919 года, лидер социал-демократической партии.

[2] Публикация Здены Анчика, «Svět Sovětů», № 49, 1955, стр. 278.

невероятно для Гашека, просочились на его страницы настоящие слезы.

Ими как будто оборвалось что-то в душе гениального писателя — оторвался большой и самый светлый кусок его жизни.

Пароход, на котором едут Гашек и другие иностранцы, отходит от эстонских берегов. Гашек пишет:

«Я тихонько закрываю двери и иду подышать чистым воздухом на нос парохода, который дает сигналы другому пароходу, везущему русских военнопленных. Все наши вылезают на палубу. На пароходе русские выбрасывают красный флаг. Пароходы встречаются, и между ними завязывается разговор. Они и мы машем платками, кричим «ура», и у многих из нас начинают из глаз брызгать слезы, которых никто не стыдится. Еще долго несутся наши взаимные приветствия по широкой морской глади залива...» [1]

IV

Ярослав Гашек снова появился в Праге 19 декабря 1920 года, в канун большой рабочей забастовки, проваленной предательством чешских социал-демократов. Гашек жил по возвращении на родину, если быть точным, только два года и пятнадцать дней. За этот ничтожный срок и написан, в сущности, «Бравый солдат Швейк», огромный роман, известный всему человечеству. Предыдущие рассказы о Швейке были эскизами к роману. За эти два года создано Гашеком, кроме основного труда всей его жизни, еще и немало сатирических рассказов, совершенных по своей форме и беспощадных по содержанию. Помещая лучшие из них в газете «Руде право», Гашек выполнил свое обещание — «нахлестать по заду» правителей буржуазной республики. Наконец за эти два года он написал в содружестве с Лонгеном сатирическую комедию, в содружестве с Эрвином Эгоном Кишем — другую... И нельзя даже считать это время за

[1] Ярослав Гашек, Избранные юморески, Гослитиздат, 1937, стр. 438. Перевод в одном месте неточен: чешское слово pozdrav — «приветствие» переводчик перевел как «поздравление». Это место мною исправлено.— *М. Ш.*

полных два года: последние несколько месяцев Гашек был тяжело болен, друг его Лонген, с которым он вместе работал, слышал его ужасные стоны от непереносимой боли.

Тотчас же по приезде на него обрушилась отвратительная клевета людей, которых когда-либо кусало его перо. В чем только не винили Гашека и какой только грязью не обволакивал его «сладкий дым отечества» со страниц буржуазных газет! Его называли предателем, изменником родины, убийцей легионеров, врагом чешского народа. Перед ним закрывали двери многих пражских «ресторацнй». Гениальный писатель, будущая гордость мировой литературы, создатель бессмертного романа должен был писать его, скитаясь по друзьям, затравленный, бездомный, униженный, оплеванный в самом святом и светлом, что было в его жизни. И ко всему этому прибавилось еще чисто швейковское унижение: против него возбудили судебный процесс по обвинению его в бигамии — за то, что, брошенный своею женой, он спустя пять лет нашел себе другую подругу...

Странно поэтому читать у многих серьезных исследователей Гашека своего рода укоры,— с попытками извинить его,— за то, что он не сделался политическим деятелем и, приехав из России коммунистом, не влился в ряды чехословацкой левицы,— кстати сказать, раздираемой в то время внутренними противоречиями. Общая обстановка в республике была очень тяжелой и сложной. Я дам о ней слово хорошо ее знавшему одному из основателей Чехословацкой коммунистической партии, Богумиру Шмералю. Вот что писал он о тех днях:

«После декабрьских событий 1920 года правительство Чешской демократической республики, имевшее в своем составе после войны большинство представителей социал-демократических партий, обещавшее рабочим путем демократии и эволюции легко и скоро превратить государство в социалистическую республику, внезапно стало на путь насильственного подавления рабочего движения. Оно арестовало три тысячи рабочих, бросило их в тюрьмы и организовало исключительные суды классовой юстиции» [1].

---

[1] Б. Шмераль, Чехословаки и эсеры, Главполитпросвет, 1922, стр 5.

В такой обстановке заканчивал свои дни больной Ярослав Гашек. Художник Панушка увез его в деревню. И там, в Липницах, между простыми людьми, в деревянном домишке, купленном Гашеком перед самой смертью, оборвалась его жизнь. Он умер 3 января 1923 года. Хоронило его окрестное крестьянство.

Книга о бравом солдате Швейке легла перед человечеством незавершенной. Но произошла необыкновенная вещь. После смерти Гашека ее стали дописывать: сперва друг его Ванек, потом группа чешских коммунистов, а потом — безымянные авторы из народа... Швейк как бы вышел из книги, он стал ходить по родной земле, подмечать недостатки — все недостойное, несправедливое, заслуживающее едкой сатиры — и бичевать его острым смехом. Появились новые и новые приключения Швейка. И замечательно, что безымянные авторы (их много, и они множатся) [1] усвоили себе и любимый прием Гашека — приводить в речах Швейка неисчерпаемые параллели и подобия ко всякому данному случаю. Так сам чехословацкий народ продолжает роман своего любимого писателя. И незавершенность «Швейка» становится на глазах современников Гашека истоком новой бессмертной народной словесности.

1958

---

[1] Три рассказа из этих новых безымянных «приключений Швейка», написанных после смерти Гашека, переведены Тамарой Аксель, «Смена» № 19—24, 1945.

ВИЛЬЯМ БЛЭЙК

Судьба этого замечательного английского поэта, художника и мыслителя — ярчайший пример для людей искусства. Она показывает, до чего условна и случайна так называемая «репутация» творца среди его современников. Многие из тех, кто жил и работал одновременно с Блэйком, легко добившиеся понимания, славы, почестей и благополучия,— сейчас совершенно забыты, а дела их оказались бесплодны. Но Вильям Блэйк, в свое время почти неизвестный народу и ценимый только немногими друзьями,— их можно перечесть по пальцам,— становится сейчас все интересней и ближе для человечества, раскрывается во всей своей поэтической прелести и духовной глубине.

Словно подтверждая крылатую фразу его друга, Генри Фузели: «Блэйк чертовски хорош для позаимствования из него» [1], наше время щедро черпает из Блэйка, подчас даже и не указывая источников. Так, многие ли из читателей знают, что любимый молодежью революционный герой романа Войнич «Овод» взял свою песенку, хорошо знакомую русскому дореволюционному читателю по старому переводу («Умру ли я, живу ли я,— я мушка все ж счастливая»),— из прелестного стихотворения Блэйка «Муха»? И еще менее знает наш читатель,

---

[1] Цитируемый материал взят (за исключением специальных указаний) из книг: Everyman's library № 792 Brake's poems and Prophecies со вступительной статьей Макса Плоумэна, II, 9. K. Chesterton William Blake, 1910.

что другое стихотворение Блэйка, его знаменитое предисловие к поэме «Мильтон», ставшее известным под названием «Иерусалим»,— поется в наши дни рабочим классом Англии как боевая революционная песня. Покойный композитор Хуберт Пэрри положил его на музыку, а народ широко подхватил его, и последние четыре стиха этой песни («Не прекращу умственной борьбы, не дам мечу заснуть в моей руке, пока мы не построим Иерусалима на зеленой и милой земле Англии») сделались как бы революционным обетом борьбы за лучший и справедливый строй. Блэйк поэтически назвал этот новый счастливый строй библейским именем, но народ в Англии поет сейчас эту, пожалуй, самую популярную песню среди английских трудящихся как призыв к борьбе за переустройство старого мира...

Вильям Блэйк родился 28 ноября 1757 года на одной из тех улиц Лондона, куда охотно перебирались торговые предприятия молодого английского капитализма,— на Броад-стрит около Гольден-сквер, в семье среднезажиточного чулочника. Я называю место его рождения с такой точностью потому, что вся долгая, почти семидесятилетняя жизнь Блэйка, за исключением только трех лет, проведенных в сассекской деревушке, связана с Лондоном и с кварталами, расположенными не очень далеко от этой улицы. Ошибочно пишут иногда, что поэт «ютился в беднейших кварталах». Адреса его биографы сообщают с величайшей точностью, из года в год, и мы знаем, что жизнь его прошла в культурных частях английской столицы, неподалеку от ее центра, там, где жили крупнейшие художники и книгопродавцы второй половины XVIII века,— Джошуа Рейнольдс, скульптор Флаксман, издатель Джонсон. И еще одно надо помнить. Лондон той эпохи был совсем не похож на Лондон современный. Стоило на полмили уйти из его центра,— и вы оказывались в деревне. Биограф Блэйка, Гилькрист, рассказывает, например, что, когда построили новый мост через Темзу у Челси, Лондон как бы «руку пожал» деревне, подступившей на том берегу к самому городу. Будучи «вечным горожанином», Вильям Блэйк, любивший долгие одинокие прогулки за городом,— никогда, в сущности, не отходил от английской природы, которую воспел с огромной силой и музыкальностью в стихах и рисунках.

Проявив мальчиком необычайное дарование рисовальщика, Блэйк был помещен отцом в художественную школу Генри Парса, где его засадили за копирование античных скульптур. Чтоб он не терял времени, отец его сам купил гипсовые слепки антиков и заставлял сына, по возвращении его из школы, продолжать это копирование и дома. Блэйк говорил позднее, что в школе ему ни разу не пришлось иметь дело с живой натурой, а только ограничиваться гипсовыми моделями. Этот монотонный способ овладения рисунком был у Парса подготовкой к поступлению в академию, но отец Блэйка надумал иначе. Не говоря уже о том, что обучение живописи стоило дорого, оно не обещало в будущем куска хлеба оканчивающему академию, и практичный старый Блэйк повел четырнадцатилетнего сына на выучку к превосходному граверу Джемсу Бэзиру.

Семь лет пробыл Вильям у гравера, в совершенстве освоив искусство гравирования, ставшее действительно его «куском хлеба» до самой смерти. Многие большие художники завидовали в то время натренированной руке гравера и знанию этого тонкого мастерства, всегда обеспечивавшего работу. Возьмем в руки книги XVIII века,— гравюра составляет огромную часть их оформления. Титул, заставки, виньетки, не говоря уже об иллюстрациях,— все это делалось руками офортистов, иглой гравера, и недостатка в таких заказах не было.

Но не только мастерство приобрел в этой семилетней школе Вильям Блэйк,— он воспитал в себе психологию и достоинство рабочего человека, передовые политические убеждения, независимость философских взглядов. Честертон, написавший о Блэйке хорошую книжку, говорит об этом: «Всю жизнь он был хорошим рабочим, и его недостатки, которых у него было много, никогда не порождались той обычной ленью или распущенностью жизни, какая приписывается артистическому темпераменту». А сам Блэйк, за шесть лет перед своей смертью, читая вышедшие из печати «Речи» нелюбимого им покойного сэра Джошуа Рейнольдса, посвятившего свою книгу королю и «королевской либеральности», с возмущением написал на полях, по своему обыкновению подчеркивая слова большими заглавными буквами: «Либеральность! Мы не желаем либеральности. Мы хотим Справедливой Оплаты и Соответствующей Оценки и Общего Спроса на

Искусство. Нельзя допустить, чтобы Нация меньше вознаграждала, чем Дворянство, требуйте, чтобы Нация поощряла Искусство...

Искусство — на первом месте у интеллигентов, оно должно быть первым и у Нации». Эти гордые слова сказаны рабочим человеком, а не только художником.

На второй год учебы Бэзир стал посылать Блэйка срисовывать Вестминстерское аббатство изнутри и снаружи, предоставив ему работать бесконтрольно. В полном одиночестве, один на один с величавым созданием английской готики, Блэйк как бы прощупал его руками во всех его линиях и ритме. Он рисовал Вестминстер целых два года, и это одарило его глубоким пониманием готики. Рисунок его окреп, приобрел энергию и точность, какою восхищались впоследствии профессионалы. Именно у Бэзира сложились и те художественные принципы Блэйка, какими он руководился всю свою жизнь. Когда спустя семь лет, в 1779 году, он поступил в античное отделение Королевской академии, под наблюдение Дж. М. Мозера, и тот повел молодого ученика, чтоб расширить его вкусы,— посмотреть на картины художников-новаторов тех лет — Рубенса и Лебрена, юноша, воспитанный на классицизме, воскликнул: «Это, по-вашему, закончено? Да ведь они еще и не начинали, как могут они что-либо закончить?» Для Вильяма Блэйка основой искусства был четкий, строгий рисунок, диалектика света и тени. «Вещи, которые он любил больше всего,— это ясность и определенность очертания,— пишет Честертон,— а вещь, которую он больше всего ненавидел в искусстве, это то, что мы называем сейчас импрессионизмом,— подмена формы атмосферой, принесение формы в жертву краскам, туманный мир колориста». Но при всей своей любви к четкому рисунку и ненависти к бесформенной красочности Блэйк отнюдь не стоял за ремесленничество и натурализм. Он ненавидел их не меньше, чем бесформенность. По мнению Блэйка, «практика и подходящие условия могут очень скоро обучить языку искусства», но «духу и поэзии искусства, гнездящимся исключительно в воображении, никогда нельзя обучиться,— а это они и создают художника».

Постоянная дисциплина труда и могучее воображение, сдерживаемое кропотливой работой гравера; вечное присутствие «мысли и поэзии» в каждом его рисун-

ке,— характеризуют самого Блэйка-художника. Он никогда не писал маслом. Его материал — темпера, акварель; его орудие — кисточка из верблюжьего волоса; круг его тем... Но тут мы должны перейти в другую, смежную область творчества Блэйка.

Тот, кто впервые начнет рассматривать его рисунки и гравюры, вряд ли сразу поймет и полюбит их. Они могут на первый взгляд показаться ему манерными, абстрактными, чересчур аллегорическими, кое-где чересчур обнаженно-смысловыми. Чтоб понять их внутреннюю жизнь, энергию их изумительного ритма, остроту их свето-теневых контрастов, надо узнать целого Блэйка, не только рисовальщика, но и мыслителя, гражданина, поэта.

Стихи писать Блэйк начал с двенадцати лет и писал их до самой смерти, но хотя гравюры его имели немалое распространение и друг его Томас Баттс даже устроил у себя дома целое собрание их, поэзию Блэйка почти никто не знал, и стихи свои он увидел в печати только один раз при жизни.

По выходе из Королевской академии, где, кстати сказать, он трижды участвовал в «Выставках» наряду с такими современниками, как Гэнсборо, Рейнольдс, Анжелика Кауфманн, и где он показал свои яркие рисунки против войны,— Блэйк очень удачно женился и повел профессиональную жизнь труженика-гравера. Как-то его друг, скульптор Флаксман, ввел в его дом священника Генри Мэтью, где миссис Мэтью, ученая жена своего мужа, первый «синий чулок» в Англии (от нее и термин вошел в словарь!) открыла «салон» и принимала «знаменитостей». О Блэйке-поэте по-настоящему узнали именно в этом салоне. Туда он приходил петь свои стихи. Он не читал их, он пел,— не растягивая звуки по-декадентски, как это делали поэты в начале нашего века, отвергая старую манеру декламации, а просто подобно песне. Он создавал стихи вместе с собственной мелодией, хотя не знал нот и не мог ее записать. Трудно, почти невозможно перевести на русский язык во всем их музыкальном и духовном очаровании стихи Блэйка,— их надо читать в оригинале. Слишком много разнообразных требований предъявляют они переводчику,— воздушно-легкая ткань, но энергично-сильный ритм; неповторимая оригинальность образа и глубокая неожиданность мысли, все

это вместе и все это — на волнах музыкальиейшего, лаконичнейшего языка полуребенка, полумудреца. Очарованные слушатели «салона» в складчину издали ранние стихи Блэйка. Они вышли в 1783 году под названием «Поэтические скетчи»; и из общего числа этих двадцати одного стихотворения девять озаглавлены просто «песнями». Стихи эти, как и последующие лирические циклы Блэйка — «Песни невинности» и «Песня опыта»,— народны в подлинном смысле слова, народны, как поэзия Тараса Шевченко, Петра Безруча, Аветика Исаакяна.

Но есть особенность, отличающая эти стихи. При всей их кажущейся простоте и музыкальности, они глубоко философичны. Мысль, облеченная в образ, играет в них ведущую роль. И опять, чтоб полностью понять поэзию Блэйка, иужно хорошо изучить Блэйка-гражданина и мыслителя. Как гражданин он жил в счастливое, хотя и трудное время. Несмотря на тягчайшую реакцию в Англии,— свежий ветер французской революции докатывался и до Лондоиа, заражал своим победным веянием лондонскую толпу. Лондонское восстание 1780 года, когда в ответ на закон, изданный для облегчения положения иенавистных англичаиам католиков,— поднялись вдруг лондонские улицы, зашумели, ринулись разбивать и жечь дома, подкатились к Ньюгетской тюрьме и выпустили на свободу триста заключенных,— английские историки называют обычно бунтом «черни». Но нет сомнения, что это восстание было отзвуком французских событий. Вильям Блэйк пережил его стихийно, как невольный участник. Он попал в толпу, слился с ней, дошел до Ньюгета, кричал и действовал со всеми — бессознательно, иеудержимо. Нечто от стихийного бунтаря всегда жило в нем, заставляло его изумлять чинное английское общество своим красным колпаком, который он носил вместо шляпы, своими резкими, прямыми высказываниями. Блэйк всю жизнь называл себя республиканцем, «сыном свободы», он горячо сочувствовал войне Америки за независимость. Работая в 1791 году у свободомыслящего лондонского книготорговца и издателя, Д. Джонсона (для которого он гравировал и у которго анонимно напечатал свой труд о французской революции, доведенный до взятия Бастилии), Блэйк познакомился в его квартире-клубе на Сент-Польс-Черчьярд с крупнейшими английскими вольнодумцами — Холькрофтом, доктором

Прайсом, Пристли, Томасом Пэйном. Последнему,— участнику освободительной войны Америки, автору знаменитой брошюры о правах человека и позднее — члену французского Конвента,— он даже спас жизнь, вовремя посоветовав бежать из Англии во Францию.

К сожалению, как у нас, так даже и в Англии, еще очень мало или совсем не знают революционную поэму Блэйка, развенчивающую Лафайета, как и вообще тех людей в революции, кто любит цели и отшатывается от средств, нужных для достижения этих целей. Позиция Блэйка в этой поэме настолько остра и радикальна, что в дни его двухсотлетнего юбилея раздался голос, назвавший Блэйка «величайшим революционным поэтом, которого когда-либо имела Британия». Голос этот принадлежит Арнольду Кеттлю, поместившему статью о Блэйке в журнале «Марксизм сегодня» [1].

Арнольд Кеттль полностью напечатал поэму Блэйка в своей статье, с той, не совсем в рамках «приличия» звучащей строкой о поведении дьявола (Nobodady по терминологии англичан), из-за которой, по мнению Кеттля, поэма эта и не вошла в издания Блэйка. С огромной поэтической страстью описаны в ней, как злые фигуры из народных сказок, французские король и королева; первый, как пожиратель людей, вторая, как сеющая чуму в городе, прекрасная собой ведьма. Лафайет, подобно незадачливому герою в сказке, должен был держать их под замком, но, увлекшись улыбкой королевы, проливая слезы жалости к ней, он выпустил пленницу — и чума вошла в город:

Fayette beheld the Queen to smile
And wink her lovely eye;
And soon he saw the pestilence
From street to street to fly.

Поэт обращает к нему свой грозный укор за то, что он свои слезы жалости к королеве выменял на слезы горя, обрушившегося на французский народ. И Арнольд Кеттль говорит по этому поводу, что «Лафайет — это каждый высокодум-гуманитарий каждой революции. Он герой Кестлера, который хочет цели, но не может хотеть средств. Он Виктор Галанц, отдающий свои слезы жа-

[1] «Marxism Today», October, 1957, стр. 16.

лости экс-нацистам, — слезы, которые принадлежат прежде всего чехам-антинацистам. Он, если быть честными, это — многие из нас, кто находит более легким осуждать на расстоянии, чем принять на свои плечи необходимую ответственность за суровые меры»[1].

Таким был гражданин Блэйк, и его революционность нашла своеобразное преломление и в его философии, явно навеянной французскими утопистами.

Свою концепцию исторического процесса Блэйк изложил в 1793 году в нескольких строках философского сочинения «Брак неба и ада», в котором предварительный «аргумент» дается в стихах, а текст в прозе. Вот эта концепция: без противоположностей нет прогресса. Влечение и Отталкивание. Разум и Энергия. Любовь и Ненависть необходимы для человеческого существования. Из этих противоположностей родится то, что религии называют Добром и Злом. Добро есть пассивность, подчиняющаяся Разуму. Зло это активность, вытекающая из Энергии. Во всех священных книгах ошибочным является разделение человека на душу и тело, причем Энергия, именуемая Злом, считается порождением тела, а Разум, именуемый Добром, якобы происходящим только из души и будто бы бог будет мучить человека в вечности за то, что он следовал своим страстям (энергиям). Но в человеке душа и тело едины, так называемое тело — это часть души, рассеченная пятью чувствами (органами чувств). Энергия — это единственная жизнь, и она исходит из тела, а Разум — это только периферия или внешняя окружность Энергии. Энергия — есть вечное Блаженство.

В этих положениях, переводимых мною почти дословно, без труда можно узнать умственные побеги раннего материализма, широким потоком шедшего из Франции, от французских энциклопедистов. Здесь и разрыв с церковным аскетизмом, и подчеркиванье значения человеческих страстей (энергий) как положительных начал в человеке, встречающееся позднее у Фурье, отразившееся и у нас в гениальной речи о воспитании Н. И. Лобачевского. Что мысль о положительном значении страстей, веками подавлявшихся церковью, не случайна у Блэйка,

[1] «Marxism Today», October, 1957, стр. 21.

доказывает ее повторение в «Пословицах ада»: «Дорога эксцессов приводит ко дворцу мудрости», «Вы никогда не узнаете меры, не испытав безмерности». Иначе сказать, лишь через полное развязывание энергий, в борьбе противоположностей, достигаются положительные цели и нормы жизни.

Темы рисунков и стихов Блэйка — и есть, в сущности, высокая пропаганда средствами искусства освободительных идей французской революции, великих идей свободы, равенства, братства и достоинства человека, стоящего в центре мирозданья. Человек и его энергия предстают и в рисунках и в стихах Блэйка основной движущей силой истории. В одном из афоризмов он говорит: «Где нет человека, там природа бесплодна». А когда хочет излить свою любовь к природе в стихах, он восклицает совсем в духе антропоморфизма Дерсу, о котором так пленительно рассказал Арсеньев в своем уссурийском дневнике,— что и дерево, и зверь, и даже скала — это тоже люди. Только поняв систему мышления Вильяма Блэйка, можно разобраться и в сложной символике его рисунков, и в глубине духовного богатства его стихотворений, таких простых с виду. Интересна некоторая близость Блэйка к другому его великому современнику, Гёте, которого, он, по-видимому, не знал. Обращаю внимание исследователей на дословное совпадение у Гёте и у Блэйка двух замечательных мест.

Гравируя свою работу «Ворота рая», состоящую из шестнадцати рисунков и коротких надписей к ним, Блэйк начинает с фронтисписи, предваряющей всю книгу: «Что есть человек». На картине изображен лист растения, озаренный солнцем, и на нем, в форме куколки, как у бабочек, лежит человек, а над ним белая гусеница, поедающая другой лист. Картина должна означать не только круговорот материальной природы, трансформацию ее форм от низших к высшей, но и роль солнца в этом процессе. И под картиной двустишие:

Солнца свет, когда оно
разливает его,
Зависит от органа, который
воспринимает его.

Тот, кто хорошо знает Гёте, не может тотчас же не вспомнить другого знаменитого двустишия, которым

сформулировал Гёте свой эволюционный взгляд на солнцеподобность человеческого глаза:

> Не будь глаз подобен солнцу,
> Он никогда не смог бы увидеть
> солнца.

Это — поэтическое прозрение великих мыслителей XVIII века, плодотворность которого еще не исчерпана до конца даже и нашим временем.

В той же книжке Блэйка, где слово выгравировано вместе с образом, есть еще одно замечательное место. Звездная ночь, человек на узкой полоске нашей земли, серп молодой луны в небе, глаза и руки человека, обращенные кверху, и — светлая дорожка в виде узкого луча, бегущая от него через все небо к месяцу. Человек обнимает основанье этого луча, пытаясь взойти по нему, как по лестнице. И подпись:

«Я хочу! Я хочу!»

Спустя двести лет после рождения Блэйка его смелое «хочу» почти исполнилось, а гравюра, казавшаяся современникам бредом сумасшедшего, удивительно напоминает нашему читателю реальную трассу взлетевшей к луне ракеты...

К началу XIX века Блэйк подходил в расцвете всех своих творческих сил. Но материально ему жилось тяжело. Поэтому, когда богатый помещик Хэйли предложил ему перебраться к себе, в сассекскую деревушку, Блэйк принял его предложение. В Лондоне как будто ничто не держало его,— он похоронил там любимого младшего брата, художника Роберта Блэйка, друзья и единомышленники, собиравшиеся у Джонсона, рассеялись. И вот в 1800 году поэт перебирается в хорошенький коттедж на берегу моря. Сперва и он и жена его были необыкновенно счастливы. Однако счастье продолжалось недолго. Большой барин, Хэйли, хотел иметь Блэйка только для себя и своих друзей. Узкие рамки деятельности, в которые он попытался замкнуть поэта, монотонность его общества, бездарность его книг, предложенных Блэйку для гравирования,— все это было зависимостью, невыносимой для Блэйка. Он почувствовал, что начал регрессировать в своем искусстве, терять необходимую ему духовную среду. Гравирование — особое искусство. Оно связывает художника с книгой,

с большим миром другого творца, и этим подсказывает ему новые приемы и образы в его собственном исскустве. Блэйк совершенствовал себя всю свою жизнь, он попытался сделать это и в обществе Хэйли — начал изучать греческий язык, чтоб читать Гомера, итальянский, чтоб читать Данте, но ничто не помогало,— Блэйк начал «застаиваться».

Ко всему этому прибавился и тяжелый случай: садовник пригласил без ведома Блэйка одного драгунского солдата поработать в саду. Увидя этого чужого человека, Блэйк приказал ему удалиться. Вероятно, солдат, как и садовник, не считал Блэйка хозяином в коттедже и не ушел из сада. Вспыльчивый поэт вывел его «за локотки» и вытолкнул из калитки. Вспыхнула драка, солдат нашел свидетеля в лице одного из драгун и подал на Блэйка в суд, обвинив его в оскорбительных выкриках против королей. Это было в тяжелое время реакции, когда в Англии посылали на виселицу за одно только насмешливое словцо против принца-регента. Блэйку могло бы прийтись плохо, если б не Хэйли. Уже не посредственный «поэт и писатель», а эсквайр, владелец земли, выступил на суде, и дело было решено в пользу Блэйка его влиятельным вмешательством. Но для Блэйка деревенской жизни было довольно. Он сказал «хватит» и вернулся в Лондон.

Последние годы жизни Блэйка — борьба с большою нуждой, существование на грошовый заработок, на тягостную для его достоинства помощь друзей. Именно в эти годы он пишет огромные свои поэмы «Мильтон» и «Иерусалим», которые в соединении с написанными им ранее (в 90-х годах XVIII века) книгами так называемых «пророчеств» — «Америка», «Европа», «Видения дочери Альбиона» — почти еще не изучены литературоведами или, как принято говорить о сложной системе образов Блэйка, еще «не расшифрованы». Любопытно, что почти одновременно с Блэйком или немногим позже его таким же приподнято-пророческим стилем о судьбах Европы писал Фурье во Франции. Смерть пришла к Вильяму Блэйку за несколько месяцев до его семидесятилетия — в воскресенье ночью 12 августа 1827 года. Он всегда считал смерть естественной вещью. Его любимой собственной гравюрой было изображение полуоткрытой в темную комнату двери, куда бесстрашно вхо-

дит глубокий старик,— такой он представлял себе смерть. И умирая, Блэйк пел свои песни, а жена сидела рядом.

О Блэйке почти не было серьезных литературных исследований. Его наследство, собранное в один-единственный том, для многих и на родине и в других странах еще мало изучено и не до конца понято. Но Блэйк живет в народе, и биографию его дописывают живые и умные английские люди. Совсем недавно, 24 октября 1957 года, когда в Англии готовились торжественно отметить двухсотлетие со дня рождения Блэйка постановкой бюста его в Вестминстерском аббатстве, где похоронены многие великие люди Англии,— один из таких живых и умных англичан поместил в газете «Таймс» нижеследующее письмо:

«Сэр, предстоящее открытие бюста Вильяма Блэйка, работы сэра Якоба Эпштейна, в Вестминстерском аббатстве взывает к двум комментариям:

1. Прошло уже 67 лет с тех пор, как Вильям Моррис заглянул в будущее (в «Новостях Ниоткуда») насчет «генеральной уборки из аббатства диких монументов... которые его забивают». Тремя годами позднее он жаловался (Обществу по охране древних памятников) на «ярмо их безобразия», «идиотские массы мрамора», «катастрофические и позорные предметы из мебели гробовщиков». Конечно, бюст работы сэра Якоба Эпштейна не будет ни массой мрамора, ни идиотским, катастрофическим, позорным. Но кто может оспорить тот факт, что аббатство забито до отказа?

2. Вильям Блэйк любил аббатство и своим проникновением во внешние и внутренние формы готики в своих рисунках и гравюрах аббатства — он во многом обязан этому чувству симпатии. Но он не любил государственных установлений. Справедливо ли в отношении старого еретика, друга Томаса Пэйна, иоахимитского[1] автора «Вечного евангелия», засунуть его рядом с приспособленцами и удачниками, которых он так яростно отвергал?

Образ Христа, каким видишь его ты,
Величайший враг тому образу, каким вижу его я.

[1] Иоахимиты — приверженцы Иоахима де Флоре, свободного толкователя евангелия и зачинателя многих ересей.

Разве посмертная канонизация действительная услуга ему? И неужели и сам Моррис кончит тем, что станет «диким монументом»?

Преданный вам Антони Маклин.

Ист-Банк Коттедж, Зандвей, Кент».

Думаю, что этот трезвый и остроумный голос здравомыслящего жителя Кента, цитирующего в органе английских консерваторов еретическое «Вечное евангелие», лучше всякого филолога раскрывает перед нами подлинного Блэйка и дает почувствовать живое присутствие великого английского поэта среди передовых людей его родного народа.

1957

ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ

К 100-летию со дня рождения

Казалось бы, все соединилось для того, чтобы этот мальчик, выросши, превратился в скептика, циника, глубокого ненавистника человечества. Он родился сто лет назад в маленьком местечке в «черте оседлости» — так на официальном языке именовалось несколько мест на карте России, где разрешалось жить евреям и вне которых они не смели селиться. Вокруг него шумел муравейник нищеты и бесправия маленьких людей, боровшихся за жалкий кусок хлеба, ограниченных в своем передвижении, в своих представлениях, в своем быту — и царским самодержавием, и религиозной школой, где ученикам вдалбливался отвлеченный мистицизм библейства и талмудизма, и вековыми бытовыми предрассудками. Сама природа, казалось бы, участвовала в этом букете узости, ограниченности и бедности: не было в детстве мальчика ни высоких гор, ни густых лесов, ни величавых рек, ни синего моря, ни даже тех мечтательных соловьиных рощ, которые ожили в стихах Тараса Шевченко, — ничего, кроме пыльных дорог, плоского поля, жалких домишек, грязных соседских дворов...

И вот все это, вся бедность и обездоленность родного народа, однообразие и убожество родного местечка, клочка «родины» на неродной земле,— все это засветилось под пером великого еврейского писателя чистым, драгоценным золотом. Маленькие, смешные и жалкие люди обнаружили черты глубокой человечности; ограни-

ченность знаний, даваемых еврейской школой, «хедером», стала мостом к подлинной народной мудрости, своеобразно расцвеченной цитатами из древних книг; нелепые бытовые обычаи превратились в яркую художественную ткань нравов и характеров; скучная и пыльная природа ожила и заиграла необыкновенной земной прелестью. А сам писатель встал над созданием рук своих, как некий безымянный герой народного эпоса, потерявший собственное имя и назвавшийся добрым словом «здравствуйте»,— шолом-алейхем вам, люди-братья. Выросший в ужасных условиях бесправия, испытавший самые острые противоречия судьбы, от нищеты до неожиданного богатства и опять — нищеты, вынужденный вечно скитаться и умереть на чужбине,— он стоит сейчас перед нами, этот лучший писатель еврейского народа, не скептиком, ие циником, не человеконенавистником, а мудрецом, который сумел, оглянувшись вокруг, в своем страшном мирке увидеть в каждом, даже самом ничтожном человеке, его доброе человеческое начало, в самом безобразном клочке земли ее первозданную красоту.

Вот как запела, заиграла под пером его скучная природа плоского придорожного поля:

«Кто еще помнит ощущения своего первого путешествия, тот знает, как мчится назад дорога, как земля убегает из-под колес и копыт лошадей, как все плывет у вас перед глазами, как пахнет поздняя травка или задетая ветка одинокого дерева, как свежий воздух проникает во все поры вашего существа и ласкает, ласкает вас... Поля обнажены, местами уже вспаханы, хлеб давно убран, но кое-где еще виднеется колос, стебелек растения, цветок. На крестьянских бахчах дозревают арбузы, дыни, продолговатые тыквы, высокие подсолнухи... выставили напоказ свои пышные желтые шапки. И весь этот мир еще полон мушек и козявок, которые жужжат, гудят, полон прыгающих кузнечиков, мотыльков и бабочек, празднично кружащихся в воздухе» [1].

Заметить сквозь одуряющее однообразие дороги оставшийся после жатвы стебелек растения, вдохнуть сквозь дорожную пыль запах поздней травки, быть мо-

[1] Шолом-Алейхем, С ярмарки, Гослитиздат, Москва, 1957, стр. 90—91.

жет еще и не так трудно, но вот уже не дорога, не сжатое поле, не широкий горизонт, исчерченный крыльями ветряных мельниц, а грязный соседский двор, видимый каждый день и каждый час:

«Солнце весело сияло, и весь двор, казалось, был в золоте, повсюду брильянтами переливалась роса. Даже куча мусора, накопившаяся за лето, а может и за два, была золотой. А петух и куры, которые копались в этой куче, казалось, до последнего перышка отлиты из чистого золота. Их кудахтанье ласкало слух, лапки, разгребавшие мусор, были полны прелести. И когда желтый петух, взобравшись на вершину кучи, закрыл глаза и залился долгим красивым головокружительным кукареку на манер заправского кантора, дети с особенной силой ощутили красоту мира и величие того, кто сотворил его» [1].

Все читающее человечество знает главного героя Шолом-Алейхема, человека из народа, мудро воспринявшего древние тексты пророков как советы к сегодняшнему дню,— Тевье-молочника.

Трудно передать очарование этого образа, щедро изливающего на читателя мудрость и доброту. Тевье уже стал эпическим характером, его выражения сделались народными поговорками, словечки вошли в родной язык, а самый рассказ о нем превратился у Шолом-Алейхема в поэму-сказание.

Но еще разительней тот светлый луч, который падает в творчестве Шолом-Алейхема из солнца его большого сердца на самое, казалось бы, ничтожное из существ человеческих и внезапно озаряет в нем что-то — черту, черточку — делающее его похожим на ребенка, а поэтому необыкновенно привлекательным.

Помню, с каким волнением прочитала я много лет назад один малоизвестный рассказ Шолом-Алейхема «Иосиф». Он ведется от лица пошлого местечкового франта, который говорит о себе постоянным, повторяющимся рефреном: «Я, видите ли, молодой человек из современных, недурен собой, здоров, пользуюсь хорошей репутацией, порядочно зарабатываю, деньги для меня —

---

[1] Шолом-Алейхем, С ярмарки, Гослитиздат, Москва, 1957, стр. 93.

тьфу! И тому подобное» [1]. Казалось бы, невозможно жалеть или любить этого пошляка, невозможно подглядеть в нем хоть искорку человечности. И вот, на глазах читателя, со страницы на страницу, душа этого франта раскрывает ту огромную, напряженную, непонятную для него самого потрясенность, которая пересоздает его из благополучного пошляка в трагическую фигуру.

Франт любит девушку-официантку из еврейской столовой. В еврейской столовой собирается революционная молодежь, студенты, которых франтик презрительно именует «яшками». Но одного из «яшек», юношу Иосифа, любит девушка из столовой, и ревнующий франт болезненно чувствует свою исключенность из этого мира, хочет понять его, понять интересы, которыми живут «яшки». Он втирается к ним, зубрит их лексикон, хочет быть на равной ноге с ними: «Но странное дело, чем больше я к ним подделывался, тем больше они меня сторонились. Начну, бывало, говорить вот эти слова: «Пролетариат... Бебель... Маркс... реагировать...»—гляжу, мои «яшки» притихли, странно переглядываются...» Читатель чувствует нарастающую растерянность и одиночество рассказчика. Жгучий интерес к Иосифу перерастает в нем интерес к любимой девушке, его имя склоняется чаще, чем ее имя. Когда же Иосифа арестовали и приговорили к смерти, с франтом происходит нечто необыкновенное: образ соперника и его судьба тесно сливаются для него с образом любимой. Он ничего не понял, но он — уже не тот человек, он ранен в сердце — не любовью, а тоской зависти к тому необыкновенному миру, куда ему нет доступа. И не девушку,— он уже любит больше нее необыкновенного и недоступного для него человека: «Я просыпаюсь в холодном поту. Потому что чуть вспомню о ней, как на ум приходит он...»

В этом умении великого еврейского писателя найти и показать каждую крупицу добра в людях — разгадка остро эмоционального действия его поэтической прозы.

Максим Горький, высоко и сразу оценивший Шолом-Алейхема, писал ему 21 апреля 1910 года с Капри о кни-

[1] Шолом-Алейхем, С ярмарки, Гослитиздат, Москва, 1957, стр. 488.

ге его «Мальчик Мотл», изданной в русском переводе: «Вся она искрится такой славной, добротной и мудрой любовью к народу, а это чувство так редко в наши дни».

А ведь именно в этом чувстве и заключается величайшая магия художественного творчества и человеческого воспитания: только полюбив настоящей любовью свой народ, можно воплотить его подлинное бытие в искусстве; и только любя настоящей любовью человека, можно вызвать к жизни и воспитать лучшее, что в нем есть.

1958

АЛЕКСАНДР ШИРВАНЗАДЕ

I

В один из теплых осенних дней середины двадцатых годов нашего века на скамейке единственного в то время бульварчика Еревана сидел поразительно красивый старик. Город Ереван в те годы был не то, что сейчас. Еще доживал его старый провинциальный облик губернского городишки; на оголенной Соборной площади еще лежали остатки камней от разрушенного казенного собора, давившего в царское время своей безвкусной тяжестью восточную архитектуру города. Я подсела к красивому старику, лицо которого ни одна фотография последних лет не передает даже приблизительно схоже, и спросила его: «Вы так вот сидели, должно быть, и смотрели на французскую толпу где-нибудь на скамеечке в Jardin des Plantes или Bois de Boulogne?» Красивый старик только что вернулся на родину из Парижа. Он ответил: «Ну, не совсем так. Дети вот всюду одинаковы. Взрослые более или менее. А что касается старых — огромная разница. В Париже старый люд, если вы с ним разговоритесь, или пустится в воспоминания, или начнет брюзжать. А здесь старые люди — можете себе представить — *планы строят!* С кем ни разговорюсь, начинают делиться своими проектами на будущее!»

Этот наблюдательный красивый старик был замечательный армянский прозаик, Александр Ширванзаде. Он

прожил большую интересную жизнь, много на своем веку повидал и передумал, но, попав на советскую землю, увидя новую советскую Армению, он тоже, как и те старые люди, с которыми разговаривал на бульваре, неожиданно для себя начал строить планы на будущее и до самой своей смерти жадно глядел вперед, а не назад.

Ширванзаде — его настоящее имя Александр Мовсесян — родился 7 апреля 1858 года в старом закавказском городе Шемахе. На долю его детства выпало редкое счастье — наглядно увидеть движение истории, резкий переворот в экономике под воздействием научного открытия, отразившийся на судьбах не только людей, но и целых городов, в том числе его родного города. Шемаха была живописнейшим местечком со старинным бытовым укладом, со смешанным тюрко-армянским населением, смешанной армянской речью, пронизанной множеством тюркских слов и оборотов, с необычайно яркими типами людей, в выработке и шлифовке характера которых участвовало много поколений, с высоко развитыми кустарными промыслами.

Переворот, о котором я говорю, имел огромное значение для всей мировой экономики: это было изобретение химических анилиновых красок в 1871 году. До него промышленность знала только растительные краски. За восемьдесят четыре года до этого изобретения царское правительство, чтоб двинуть вперед свою текстильную промышленность, выписало из Турции семена красильного растения, Rubia tinctorum, иначе — марены; и растение это было акклиматизировано у нас в Крыму и в Закавказье.

Торговля мареной стала очень прибыльным делом для шемахинских купцов. Им соблазнился и отец Ширванзаде. Он стал сбывать марену не только на русский рынок, но и за границу, вплоть до Манчестера. Шемаха, бывшая уездным центром, стала быстро расти, население ее увеличилось до сорока тысяч, семья будущего писателя жила в достатке, и он смог получить начальное образование сперва у протестантского священника армянина, потом в приходской школе и в русской двухклассной школе, где познакомился с русским языком. Но вот все это благополучие мгновенно рухнуло в 1871 году. Вместе с тысячами других купцов, тор-

говавших во всем мире растительными красками, разорился и отец Ширванзаде. Будущему писателю было в то время тринадцать лет. Он должен был оставить всякую мысль о продолжении образования и пойти на работу ради куска хлеба. На глазах у него цветущая торговая Шемаха вдруг стала угасать. Свернулась ее торговля, уменьшилось населенье, вдобавок и административный центр был перенесен из нее в молодой город нефти, Баку. Три года работая в Шемахе,— сперва весовщиком на складе, потом писарем в полицейском участке,— Ширванзаде мог наблюдать эту перемену своими глазами. Оставаться в родном городе дальше не было смысла, и он решил попытать счастья в Баку. С ярким запасом детских и отроческих впечатлений, с образами шемахинцев, высеченными в его детской памяти, словно резцом по камню, с первым знанием того, что такое коллизия в жизни человеческой, резкое столкновение личного с непреодолимой силой внешних факторов, иначе говоря с первым острым чувством драматического едет шестнадцатилетний юноша в 1875 году искать заработка из Шемахи в город каспийской нефти.

Та самая «химия», которая разорила его родной город, дала толчок бурному развитию бакинской нефтяной промышленности, начавшей обзаводиться собственными предприятиями по переработке примитивно добываемой нефти. Юноша, своими глазами видевший увядание Шемахи, здесь стал свидетелем необычайного экономического роста и расцвета Баку. На участках своей маленькой работы, служа винтиком в огромной машине капитализма, то писарем в канцелярии бакинского уездного управления, то счетоводом и бухгалтером в конторе нефтяных компаний, Ширванзаде как бы изнутри, по цифрам и отчетам и скрытым за цифрами махинациям, наблюдал, как зверски эксплуатируется рабочий труд, как выжатые из этого труда деньги создают капитал и как этим путем богатеют не только сами предприниматели, но и вся обслуживающая их свора мелких акул.

В своей ранней обличительной повести «Записки приказчика» он вывел целую галерею этих мелких хищников, позволявших себе грабить не самого хозяина, а его рабочих, и раскрыл этот легкий способ обогащения в признании героя повести, приказчика, ставшего позднее хозяйчиком: «Из многих, доступных мне способов

«стрижки овец»,— говорит этот приказчик,— я избрал самый легкий и неприметный. Раз в месяц мне приходилось рассчитываться с мастеровыми и чернорабочими. Ничего не могло быть легче, как погреть руки на этом деле »[1].

Восемь лет, проведенные Ширванзаде в Баку, были для него школой жизни, какой он никогда не получил бы в обычной школе. Точное и полное знание первой, разбойничьей стадии капитализма, особенно яркой в Баку, где на темноте, безысходной нужде, страшной приниженности местных рабочих, азербайджанцев и армян, не имевших защиты ни в законах, ни в профсоюзах, создавались в кратчайший срок миллионные состояния,— точное и полное знание этой бакинской действительности и стало главным толчком для стремления Ширванзаде в литературу. Описать, рассказать другим, передать это знание сделалось его потребностью.

Двадцатитрехлетним юношей он печатает в армянской газете «Мшак» статью «О положении рабочих», которая и сейчас читается с огромным интересом. Но его тянет в *художественную* литературу, перед ним теснятся живые образы и характеры увиденных им людей, их не уложишь в газетную статью, и Ширванзаде исписывает страницы своим бисерным почерком профессионального переписчика, он пишет первый свой большой роман о нефтяниках. Перечитывая написанное, молодой автор чувствует, что это не то, это ниже, беднее, примитивней и прямолинейней всего накопленного им знания действительности, кажется намазанным только двумя красками, белой и черной, и он безжалостно уничтожает весь роман, оставляя только несколько страничек описания пожара на нефтяном заводе, которые и были напечатаны.

Мы знаем, как много «первых вещей» начинающих авторов стыдно бывает потом перечитывать из-за их слабости и того неизбежного налета условности, какой родится от недостаточного, неглубокого знания жизни. У Ширванзаде характерно то, что его ранние вещи,— статья «О положении рабочих» и отрывок «Пожар на нефтяном заводе»,— читаются и сейчас как зрелые вещи,

---

[1] Александр Ширванзаде, Собр. соч. в трех томах, Приложение к журналу «Дружба народов», Москва, 1957, т. I, стр. 79—80.

сохранившие свое познавательное значение. Помогло этой зрелости, как и ранней требовательности к себе, глубокое знание жизненного материала. Но уже дальше одного знания жизни молодому писателю оказалось мало.

Почти перед самой смертью, в 1934 году, отвечая на присланную ему анкету журнала «На литературном посту», Ширванзаде адресует начинающим писателям следующие слова:

«Наши пролетписатели — без исключения — слишком много и слишком поспешно производят и, что еще более неприемлемо, рано сдают написанное в печать. Я полагаю, что, производя столько, они едва ли будут иметь время *много читать и глубже изучать жизнь*. Вообще желательно, чтобы молодые писатели были более требовательны к своему перу и не стремились издавать каждое произведение без разбору, предварительно не прочувствовав и не продумав его. Хочу сказать, чтобы *профессиональное искусство и литературу не превращали в одно писательство*»[1]. (Курсив мой.— *М. Ш.*)

Мы видим, что Ширванзаде ставит тут рядом чтение и изучение жизни, и даже *чтение* ставит на первом месте. Это у него не случайно. На собственном опыте в Баку он остро пережил, как мало и односторонне понимаешь жизнь, как поверхностно видишь ее, если ты не познал жизни предварительно,— из книг, из чужого человеческого опыта. Великая художественная литература открыла ему глаза на краски и оттенки жизни, на углубленное понимание человеческой психологии. Оказывается, внедрение в жизнь не такая уж простая штука для того, кто хочет внедриться в нее с толком, с открытыми глазами. В помощь своему пониманию действительности Ширванзаде в Баку страстно окунулся в чтение. Он читал запоем, каждую свободную минуту — сперва армянские книги, Абовяна, Прошяна, Раффи, стихи Налбандяна; потом поглотил всю русскую классику, перешел на переводную, западную классику, прочел романы Золя, Стендаля, Бальзака, оказавшего на него наиболее сильное влияние; наконец исторические и общеобразовательные книги, подобные Спенсеру. В своих очень интересных вос-

[1] «Ереван». Альманах Союза писателей Армении № 1. Армянское Государственное издательство, Ереван, 1957, стр. 147—148.

поминаниях «В горниле жизни» он пишет: «Под влиянием этого чтения *жизнь в моих глазах постепенно стала меняться, точнее, приобретать иные краски.* До этого мне казалось, что она заключает в себе лишь крайности — счастье и несчастье. Теперь мой взгляд стал различать в ней *оттенки;* для меня становилось ясным, что в действительности и счастье и несчастье — все это понятия условные...» [1] (Курсив мой.— *М. Ш.*). Вместе с ролью широкого чтения в познании жизни, Ширванзаде придавал большое значение и организующей роли *памяти.* В своих мемуарах он делает важное профессиональное замечание: «Писать под свежим впечатлением, быть может, и хорошо, но мне кажется, что писатель под свежим впечатлением легко может увлечься незначительными, второстепенными подробностями явления и не различать существенное от несущественного, то есть вечное от преходящего. Память является как бы своего рода литейным агрегатом, в котором замысел, так сказать, постепенно расплавляется, от него отделяется все лишнее и остается главное, существенное, то есть то, что может противостоять могучей силе времени» [2]. Это глубокое определение памяти, как помощника писателя в правильной организации, отборке и очистке материала от всего случайного, принадлежит к числу ценных *профессиональных* советов работникам пера. Сам Ширванзаде под свежим впечатлением писал только публицистику.

Чтение художественной литературы и гуманитарных книг помогло Ширванзаде увидеть всю красочную гамму жизни, всю ее диалектику; оно обострило его взгляд и на человеческую психологию. По мнению Ширванзаде, хорошо знать внутренний мир человека и не быть реалистом невозможно. Как-то он сказал о французском скульпторе Родэне: «Родэн был большой психолог и поэтому не мог не быть реалистом». Накопленный опыт, полученный из жизни и обогащенный чтением, стал школой реализма и для самого Ширванзаде.

Бросив в 1883 году город, где на крови рабочих строятся дворцы миллионеров, двадцатипятилетний Ширванзаде перебирается на житье в Тифлис, бывший тогда центром умственной жизни всего Закавказья. Здесь

---

[1] Александр Ширванзаде, Собр. соч., т. III, стр. 249.
[2] Там же, т. II, стр. 493.

он решает целиком отдаться литературе и делается писателем-профессионалом, несколько лет печатается в тифлисских газетах и журналах и сам становится редактором армянской газеты «Эхо» («Ардзаганк»). Но вот что замечательно: ни Тифлис с его спецификой, так чудесно схваченной и переданной современником Ширванзаде Габриэлем Сундукянцем, ни проблематика довольно бурной жизни армян в Тифлисе, ни ее изъеденность групповщиной не отразились хоть сколько-нибудь в литературных темах Ширванзаде-романиста. Наоборот, только здесь, ставши зрелым профессионалом, он начинает свою «отдачу» всего того, что накопил, наблюдая, в Шемахе и Баку. Именно Шемаха и Баку оказываются основным собирательным периодом в жизни Ширванзаде. Лучшие, сильнейшие его вещи родились из темы этого первого периода его жизни. Русскому читателю хорошо известны эти лучшие вещи. «Намус» и «Злой дух» — переведенные на русский язык, экранизированные и театрализованные повести о страшном дедовском укладе старой Шемахи. «Хаос» и «Из-за чести» — роман и драма, остро и с огромной эмоциональной силой запечатлевшие типы и действительность раннего нефтяного Баку. Среди всего написанного Ширванзаде, среди ряда произведений на любовную и семейную проблематику, как «Барышня Лиза», «Права ли она?», «Замужняя», «Огонь» и т. д.; рассказов о рабочих, как «Елка Ако»; повести «Артист» на одесском материале, с которым он познакомился в Одессе в 1889 году,— среди всего этого перечисленные выше четыре вещи, рожденные воспоминаньями шемахинского детства и бакинской юности, остаются *сильнейшими,* как и наиболее сильны страницы, посвященные этому периоду в его мемуарах. В Тифлисе развился и талант критика-публициста Ширванзаде. В течение ряда лет он публикует в газетах «Мшак», «Эхо» и «Тараз» целую серию интересных критических статей. Часть их общепринципиального содержания, например, статьи «Язык и стиль», «Надо очищать язык», где он высказывает мысль, что употребление диалекта каким-нибудь героем романа еще может быть оправдано, но сам автор от себя ни в коем случае не должен снижать свою речь с общелитературного уровня до малопонятного местного диалекта. Другие написаны по конкретному поводу — о романах Перча Прошяна, о при-

чинах популярности буржуазного французского романиста Жоржа Онэ, о благородной роли Золя в деле Дрейфуса, о замечательном армянском актере Адамяне и т. д. В этот период своей жизни Ширванзаде выезжает за границу, оставаясь за рубежом по нескольку лет, живет во Франции, посещает Бельгию, Германию, Швейцарию, а позднее — Америку, Египет. Но творческая его работа почти всегда связана с возвращением на родину. В 1916 году он обменялся письмами с Горьким, которого глубоко чтил и ценил. В последнее свое возвращение на родину — в Советскую Армению в 1926 году, за девять лет до смерти, Ширванзаде редактирует свои старые произведения, пишет пьесу на парижском материале «Кум Моргана», выступает с характерными для него публицистическими высказываниями и делает последнюю попытку вернуться к старым, бакинским, так хорошо ему известным сюжетам. За два года до смерти он работает над повестью «Старый Баку», задумав продолжить ею свой ранний, незаконченный роман «Вардан Айрумян», который по замыслу должен был объединить два цикла его основных впечатлений, шемахинский и бакинский. А за год до смерти пишет, оставшийся ненапечатанным, сценарий «Последний фонтан», повторяя в нем и старые бакинские образы своих драм и старую их коллизию. В 1930 году Ширванзаде получает звание народного писателя Армении и Азербайджана, в 1934 году избирается делегатом на первый съезд Советских писателей, и Москва слышит его горячую речь с трибуны Колонного зала. А через год, 7 августа 1935 года, еще совсем молодым в свои семьдесят семь лет, полным творческих планов, он умирает в Кисловодске.

II

Что же принес с собой Ширванзаде в армянскую литературу и какое место он занял в ней? Он был прежде всего большим художником слова, любившим язык и тщательно над ним работавшим. Его ясная и скупая проза не имела прямых предшественниц среди армянских писателей, и, создавая ее, Ширванзаде немало потру-

дился над языком. Он попадал иногда в плен неизбежного литературного трафарета. Возьмем, например, начало рассказа «Благодетель»:

«Стояла невыносимая жара. Палящие лучи полуденного солнца заливали зеркальную гладь мирно дремавшего моря» [1]. Это — литературный штамп, почти смахивающий на пародию. Но вот в эту стилистическую статику входит динамика, Ширванзаде описывает, как в порту хозяйничает владелец груза: «Покрикивая на рабочих, он то и дело откидывает голову назад, отчего окрашенная хной бородка приподнимается, как хвост фазана» [2]. Это абсолютно точно, это видишь собственными глазами.

А вот рабочий, несущий двенадцатипудовую тяжесть: «Колени его подгибаются, шея вытягивается, невольно открывая рот» [3]. Тут вспоминаешь описание работы волжских грузчиков, данное в мемуарах замечательного русского художника Петрова-Водкина; открытый невольно рот — это не домысел искусства, это реальнейшая необходимость, вызванная инстинктом самосохранения при страшной нагрузке сердца. Художник лишь подсмотрел тут образ действительности.

А вот точная передача пластики походки непривычного к движению человека: «Мирза-Сероп самодовольно потирал ладони, поднося их к своему длинному, острому носу, и ходил по комнате крупными шагами взад и вперед, покачиваясь так, словно он ехал верхом на верблюде» [4]. Или видение ночного полицейского патруля в Париже: «Иногда по асфальтированной мостовой пронесутся на велосипедах ночные патрули. Своими плащами, развевающимися в безмолвии холодного мрака, они напоминают огромных летучих мышей. Кажется, они проносятся по воздуху, а не едут по земле» [5].

Подсмотреть и передать образ в движении — это большое искусство, результат упорной работы над словом. Но Ширванзаде умел схватывать это движение не только в деталях. Он прекрасно показывает человеческий характер в его развитии. Особенно это удалось ему

---

[1] Александр Ширванзаде, Собр. соч., т. II, стр. 7.
[2] Там же, стр. 8.
[3] Там же, стр. 8.
[4] Там же, т. III, стр. 275.
[5] Там же, стр. 351.

в романе «Хаос» на примере двух параллельных судеб братьев Алимянов, старшего, Смбата, и младшего, Микаэла. Развитие характера Смбата движется все к большему и большему ограничению, большему и большему обнажению его буржуазных и классовых рамок; развитие характера Микаэла под влиянием настоящей, большой любви движется к укреплению общечеловеческих потенций в нем, к выходу из своего класса, к разрыву с прежней средой. И это тем более захватывает читателя, что вначале романа соотношение этих двух характеров казалось как раз обратным — Смбат казался положительным, а Микаэл отрицательным типом.

Логика в изображении развития характеров связана у Ширванзаде с огромной остротой коллизий, в которых это развитие протекает, и с острой эмоциональностью описания их. Именно своей эмоциональностью волнует и действует до сих пор на зрителя лучшая драма Ширванзаде «Из-за чести», хотя многие сюжетные элементы ее кажутся устаревшими и наивными. Ширванзаде резко делит свой мир на преступную среду богачей, которых он выводит ярко и жизненно-сильно, и на тех, кому становится тяжело в этой среде и кто рвется из нее,— молодых, чистых идеалистов. Создать действительно реальный тип революционера или подлинного передового рабочего ему не удалось. Фигуры его идеалистов — это как раз наиболее слабое и носящее печать некоторой романтической условности в портретной галерее его литературных персонажей. В предсмертной своей вещи, «Последнем фонтане», он отдает даже дань старой трафаретной «кожаной куртке», облачая в нее своего героя-революционера. Но общий дух современной ему среды, логика судеб схвачены и переданы с суровым реализмом и настоящей волнующей драматичностью.

Какое же место занимает Ширванзаде в новой армянской литературе? Ответить на этот вопрос не так-то просто! Мне кажется, ключом к ответу или одному из ответов является своеобразное отношение Ширванзаде к языку и стилю его предшественников и собратьев в армянской литературе,— отношение, высказанное им с такою категоричностью, что его нельзя обойти или оставить без внимания.

Многие современные исследователи творчества Ширванзаде, чувствуя себя озадаченными горячностью его

суровых приговоров, деликатно пишут о них: «Ширванзаде был неправ, когда критиковал язык Абовяна», или «Ширванзаде ошибается, критикуя язык «Пепо» Сундукянца или романа Прошяна». Но такие утверждения, в сущности, ничем не помогают читателю и ничего не объясняют; и факт остается фактом, что Ширванзаде в своих мемуарах сказал о священном для каждого армянина литературном наследии Абовяна: «Я не принимаю стиля Хачатура Абовяна. Это не что иное, как смесь грубого народного говора с литературным языком, лишенная всякого изящества»[1]. И о языке Перча Прошяна, что он «грубоват», и о романах других армянских писателей, что, кроме «Ран Армении» и «Раффи», он или читал их с тоской, или «не мог дочитать»[2].

Откуда это? Как могла взволнованная, высоко патетичная, прекрасная по своей чистоте и благородству речь Абовяна показаться ему грубой смесью, лишенной всего изящного? Как мог он считать, что драматическая история Пепо никому не будет интересна в переводе, потому что прелесть Пепо составляет будто бы непереводимый на другие языки тифлисский диалект? Мне кажется, объяснением этого является *разница задач,* какие ставили перед собой указанные армянские писатели и Ширванзаде, разницей миров, которые они воспроизводили в своих книгах.

Ширванзаде всегда писал об армянской среде, он выводил действующими лицами армян, где бы он ни был,— в азербайджанских, грузинских, русских городах — Шемахе, Баку, Тифлисе, Одессе. И даже в Париже, наблюдая чисто французскую жизнь, слушая Жореса, он все-таки задумал комедию «Кум Моргана» из жизни армянских купцов за рубежом. Но, оставаясь верным своему народу, он не воспроизвел родной страны как географически и исторически целого, у него не было ни в плане романов, ни даже в публицистике темы Армении как таковой. Между тем вся армянская литература с почина Абовяна жила мыслью именно о родной стране, о ее независимости, ее целостном существовании. «Армения стояла за моими плечами и водила пером моим»,— вдохновенно-патетически восклицал Або-

[1] Александр Ширванзаде, Собр. соч., т. III, стр. 314.
[2] Там же, стр. 315.

вян в «Ранах Армении». Ширванзаде несколько иначе понимал свою задачу. Он был реалистом в подлинном смысле слова и брал армянскую действительность, как она тогда была,— в лице армян, вкрапленных в разные города, где они составляли *часть* населения и жили бок о бок с другими народами. Отсюда — понимание общих закономерностей, управлявших судьбами людей: армянского предпринимателя-купца, как азербайджанского, так и русского; армянского рабочего, как азербайджанского, так и русского.

Понимание этих общих закономерностей, движущих пестронациональным обществом большого капиталистического города, подобного Баку, и создает, в сущности, глубину и широкий интерес такого романа, как «Хаос», интерес для читателя каждой национальности.

Эта особенность широкого понимания современной ему социально-экономической проблематики помогла Ширванзаде возвыситься и до подлинного интернационализма. Лучшее, что делает его перо воистину взволнованным, это картина взаимопомощи и солидарности среди рабочих нефтяников Баку, русских, тюрков и армян; и она же, как солнечный луч, согревает и юношеское трио в «Артисте» — бродячих друзей одесской богемы, украинца, еврея и армянина.

Ширванзаде пережил на своем опыте большую историческую драму, разорившую его родную Шемаху; он своими глазами видел разгул капитализма в Баку, гибельное действие его на людей, на их чувства, разложение под властью денег семьи, изуродование молодежи, уголовные преступления, остающиеся безнаказанными,— все это были обычные повседневные драмы, одинаковые для лиц любой национальности. Ширванзаде раскрыл и показал их на судьбах армянских семей,— Элизбаряна в драме «Из-за чести», Алимяна в романе «Хаос», но, по существу, они могли быть показаны и на судьбах семей любой другой национальности. Оставаясь армянином в тонком знании психологии своего родного народа, в особенностях построения диалогов родного языка, Ширванзаде расширил своими произведениями площадку для содержания армянской художественной литературы и обнажил под национальной психологией своих героев общие, присущие определенным классам общества в определенную эпоху, экономические и

социальные корни. Понятно, что высокая национальная патетика Абовяна во всем ее трогательном романтизме показалась ему чуждой, как и крестьянский мир Прошяна, ограниченный чисто местными обычаями и фольклором.

Крупнейший армянский прозаик-реалист, Ширванзаде уже не нашел в себе силы, чтоб потрудиться над художественным воплощением новой советской действительности. Но он почувствовал, может быть сильней и глубже, чем иные советские писатели, приход на сцену нового, чистого и непосредственного потребителя искусства в лице рабочего класса. Когда зашла речь об открытии в Ереване Рабочего театра, Ширванзаде высказал и свое мнение о рабочем классе как зрителе. Вот что он сказал:

«Я всегда утверждал, что лишь этот (рабочий.— *М. Ш.*) класс умеет непосредственно, без предвзятых мнений и предрассудков, ценить искусство. Когда рабочий приходит в театр, он приходит без задних мыслей... Его лучший руководитель — интуиция, тот неподкупный элемент, который является наиточнейшим критерием хорошего и плохого. Когда какая-либо вещь ему нравится, содержание пьесы и игра артиста волнуют его, завладевают его душой, сердцем и умом, никакая критика не в силах уменьшить его восторг. Наоборот, когда он уходит из театра без какого-либо впечатления или с дурным впечатлением, попробуйте убедить его — вы не сможете это сделать никоим образом, что понятое им как хорошее — плохое, или же плохое — хорошее. Дайте пьесы в современном духе, однако обязательно обладающие художественной ценностью,— сколь глубок и сложен ни был бы их смысл, не беспокойтесь,— рабочий класс поймет. Если не до конца разберется на первом представлении, на втором — обязательно поймет, и притом правильнее, чем какой-либо тенденциозный критик» [1].

Мне думается, эти замечательные слова можно рассматривать как мудрое завещание старого большого писателя,— нам, счастливым советским творцам, имеющим постоянную помощь и корректив от миллионных масс новых потребителей искусства.

---

[1] «Ереван». Альманах Союза писателей Армении, № 1, 1957, стр. 148.

ЧЕГО ЖДЕТ ПИСАТЕЛЬ ОТ КРИТИКА[1]

I

На траурном вечере памяти Ленина в Большом театре показывали фильм. Этот фильм сопровождала музыка. Сперва мы ее слушали незаметно для себя, как обычную расцветку фильма, но вот сила и мощь музыки достигли такой степени, что ухо вдруг узнало знакомую мелодию. В это время на экране, чередуясь, работали кузнецкая домна и мартены, опрокидывались ковши с расплавленным чугуном, текла огненная руда, огонь был в печах, в желобах, в болванках, огонь вспыхивающий, мерцающий, льющийся, и тут-то именно ваше ухо и уловило, что вы этот огонь чувствуете пронизывающе остро и весь фильм захватывает вас потрясающе не только потому, что кадры хорошо засняты и зрелище само по себе интересно, а потому, что на весь Большой театр звучит и пронизывает вас вместе с этим огнем знаменитый вагнеровский «Feúerzaúber»— так называемое «заклинанье огня» из оперы «Валькирия».

«Заклинанье огня» написано на вагнеровский текст, всем хорошо известный. Вотан прощается с дочерью, преступившей его закон. Поцелуем он снимает с нее «божественность» и зовет бога огня Логе, чтобы тот окружил струями огня спящую Валькирию, отрезав ее

[1] Стенограмма доклада на II пленуме ССП.

от всего живого. Когда критики говорят о музыке Вагнера в этой сцене, то ни один из них на протяжении нескольких десятков лет не обошелся без ссылки на хроматический лейтмотив Логе — на забвенье, сон, угасающую стихию, усыпляющие чары огня, так гениально переданные в музыке, и в то же время ни один критик не обмолвился о чем-либо неожиданном, что могло быть заключено в этих звуках, помимо вышеперечисленных качеств.

Но стоило той же самой музыке зазвучать в сопровождении *другого* действия, хотя тоже связанного с огнем, как Вагнер преобразился. Отрешенность, усыпляющие, сонные, колыбельные, околдовывающие чары огненных струй, все, что мы привыкли извлекать из «Feuerzauberа», когда слушаем его в «Валькирии», тут, в ленинском фильме, вдруг загремело торжеством, пробуждением, победой человека над огнем, огня над рудой, музыкой облегчающей и освобождающей — словом, полной противоположностью самому вагнеровскому тексту.

О чем говорит этот удивительный «случай с Вагнером»? *Об огромной потенциальности подлинного искусства,* о способности законченного художественного произведения расти, раскрываться, обнаруживать новые свойства — вместе с ростом и развитием человечества. Это во-первых. А во-вторых, о невозможности подходить к искусству только со смысловой стороны, судить о нем лишь в пределах того видимого смысла, какой явно вложил в него сам автор в качестве текста в музыке, сюжета в романе, названия в картине, потому что смысловой сюжет от перемены исторических условий может измениться до полной своей противоположности. Вещи пессимистичные оказываются через столетие радостными, вещи мистические — сугубо реальными. Вспомним историю библейской «Песни песней», персидскую лирику суфиев, религиозные картины Кватроченто, ставшие школою для трактовки голого тела или материнства, обстоятельного Гирляйндайо, положившего библейской тематикой начало реальной *жанровой живописи.* Изменение смысловой сути искусства происходит в эпохи исторического перелома, и ясно, что у нас больше, чем где-либо, должно измениться восприятие лучших произведений прошлого, и мы сумеем извлечь из них такие звуки, такие

тона, такие глубины, о которых современники этих произведений даже и не подозревали.

Но ведь не только в прошлых, а и в современных вещах есть свои потенциальность и глубина. А раз мы живем в эпоху скачка из царства необходимости в царство свободы, когда все социальные связи явлений лежат перед человеческим разумом открытыми, мы вправе требовать и от критики большего понимания потенциальности нашего искусства, более тонкого различения в нем и бессознательных уклонов к прошлому и сокровенных ростков в будущее. Сейчас наши критики и сами видят, что голая оценка «по смыслу», путем нехитрого пересказа содержания, завела их в тупик, и они впадают в другой грех — начинают усиленно проводить отдельную оценку «по форме», что в конечном счете тоже не дает правильного разбора.

Возьмем для примера литературную судьбу двух романов — «День второй» Эренбурга и «Человек меняет кожу» Ясенского — и постараемся показать, как их понимает критика и как их понимаем мы, писатели, воспринимающие искусство всегда как целостный художественный организм, а не только отдельно по смыслу и отдельно по форме.

II

«Дню второму» посчастливилось: за короткий срок он оброс сравнительно большой критической литературой. Передо мною восемь работ, из них пять — это газетные заметки и рецензии, две — обстоятельные и типично критические статьи (Гельмана в «Октябре» [1] и Гоффеншефера в «Литературном критике» [2]) и одна — добросовестный обзор в журнале «Художественная литература» [3].

Роман вклинился в наш литературный быт очень остро, и о нем возможны противоречивые суждения. Но подход к роману часто еще примитивен и малопродуман. По старой привычке видеть во всякой книге, где кир-

---

[1] «Октябрь» № 10, 1934.

[2] «Литературный критик» № 7—8, 1934.

[3] «Художественная литература» № 8, 1934.

пичи, краны и соревнование, не что иное, как книгу о стройке, часто считают главной темой Эренбурга пятилетку и рост людей на стройке. Почему могло возникнуть разногласие в понимании книги, дает ответ небольшая, но блестящая статья Б. Агапова в «Литературной газете»:[1] он винит Эренбурга в том, что тот свою авторскую позицию перенес в «арьергард движущихся колонн», а не «на высоту капитанского мостика». Агапов говорит: «Движение масс, строящих социализм, не есть сумма движений отдельных единиц, из которых масса состоит. Описывая его, нельзя переносить свой киноаппарат от одного человека к другому и так пытаться зафиксировать целое. Нельзя только идти за армией... надо быть в штабе». И дальше: «Без цели и без понимания причин нет большевизма».

Иными словами — Б. Агапов винит книгу в отсутствии партийного сознания.

Статья Гельмана подвергает роман уже более подробному рассмотрению. Она подходит к нему с определения того места, какое занимает книга в творческом развитии самого Эренбурга. Но проделывает Гельман эту операцию по типичной рапповской схеме, по которой эволюция взглядов писателя представляется так, как будто бы он приходит к пролетариату путем непрерывного линянья, отделываясь от ошибок предыдущих книг.

Содержание «Дня второго» Гельман определяет как *«гибрид художественного очерка на тему о людях кузнецкого строительства и фабульное повествование о вузовской молодежи»*.

Критик писал свою статью в те дни, когда со всех концов неслись требования давать формальный анализ, и он пытается этот формальный анализ дать. Но в этой попытке наряду с дельным замечанием, о котором я скажу позднее, он обнаруживает почти полное бессилие, приводящее его к противоречиям. Попробуйте выписать подряд его высказывания:

1. «Роман как бы служит ареной единоборства художника с самим собой, силящегося (?) освободиться от прежних идейно-философских схем и стилистических приемов». (Запомним: автор *борется* с прежними приемами.)

[1] «Литературная газета» от 18 мая 1934 г.

Но через несколько страниц:

2. «Механическое повторение старых изобразительных приемов приводит в ряде мест к снижению тонуса повествования, а временами к прямому искажению перспективы». (Запомним: механическое *повторение* приемов.)

И, наконец, он дает полное резюме своего формального анализа в следующих словах:

3. «Словесная ткань произведения унизана (!) безукоризненными эпитетами и сравнениями. Эренбург является прекрасным стилистом, многому научившимся у лучших мастеров французской литературы... Но наряду с этим он проявляет неумение дать дифференцированную языковую характеристику отдельных героев. Общей особенностью стилистической структуры романа является... непрерывное констатирование (может быть, контрастирование?— *М. Ш.*), сближение антитез и быстрая смена кадров. В этом отношении он мало отличается от прежних произведений, хотя внутри этой схемы уже намечаются некоторые качественные отличия, обусловленные желанием писателя раскрыть как можно полнее заложенную в романе идею».

Итак, Эренбург «борется», «механически повторяет», а в общем, его роман «мало отличается от прежних», хотя в нем «намечены качественные отличия, вызванные желанием полнее раскрыть идею». И ни одного конкретного примера, *что* это за старые приемы, *как* Эренбург с ними борется, *каковы* его новые «качественные отличия», и ни слова,— что совсем странно,— какая же это *идея,* которую он силится раскрыть.

Но если добросовестный, хотя еще целиком по-рапповски схематичный, Гельман только беспомощен в художественном анализе и вместо него подносит читателю вышеприведенный ребус, то статья Гоффеншефера делает в этом отношении смелый шаг, однако не вперед, а в сторону. Начать с того, что сам Гоффеншефер чрезвычайно увлекается манерой Эренбурга и не только всю свою статью стилистически ведет под Эренбурга, но и, цитируя писателя, щедро удлиняет его цитату кусочком собственной беллетристики. Он начинает статью с выписки известного эренбурговского места о писателе Грибине и с разбегу продолжает:

«Им (то есть писателям Грибиным! — *М. Ш.*) казалось, они делали вид, что уловили «дух эпохи», и искренне плакали от умиления. На Турксибе у них потели очки. На открытии Днепрогэса — наворачивались слезы. На Челябстрое или в Магнитогорске они рыдали в джемпер стоящего рядом интуриста. Но вида свежих портянок они избегали». Дав этот скверный вариант Эренбурга, Гоффеншефер через девять страниц опять ворошит несчастного Грибина, заставляя его, в порядке вольной сюжетной вставки, писать сочувственное письмо Гарри. Такая игра в беллетристику для наших критиков как будто нова, она должна как будто оживить и обновить критический язык, она как будто приближает критику к той «художественности», которую иные наивные люди требуют от нее. Но заблуждаться тут нечего, и надо прямо сказать — под внешними прикрасами у Гоффеншефера кроется такое же (а может, и большее!) бессилие дать художественный разбор, что и у Гельмана. Вот пример: исходя из эпиграфа Эренбурга и какого-то его устного высказывания, Гоффеншефер всерьез решил, что Эренбург в «Дне втором» подражает библейскому стилю. Очень помогла ему тут притянутая за волосы книга американской писательницы Перл Бак — та в книге о китайцах «тоже» подражает библейскому стилю. Ухватившись за нее и понадергав из нее цитат, Гоффеншефер с торжеством конструирует термин «чисто библейская инвентаризация» и воздвигает при его помощи мост от Перл Бак к Эренбургу. Есть ли тут хотя бы намек на подлинный анализ эренбурговского стиля, мы увидим ниже, а пока сложим воедино, хотя бы в общих чертах, что сказала критика о романе Эренбурга.

«День второй» — роман о пятилетке, на тему перестройки старого и роста нового человека, представляющий собой новый положительный этап в развитии Эренбурга, хотя этот роман и лишен еще партийного сознания. Его словесная ткань унизана безукоризненными эпитетами; в нем Эренбург борется со своими старыми приемами и не побеждает их, хотя намечает нечто качественно новое. Это качественно новое оказывается подражанием библейскому стилю, хорошо выдержанному у Перл Бак, но неважно выдержанному у Эренбурга.

С таким запасом сведений я приступила к чтению «Дня второго». Должна оговориться, что мое мнение, ко-

торым я сейчас чистосердечно поделюсь, не претендует, конечно, ни на абсолютную правоту, ни на всеобщность, но одно несомненно: это *профессиональное* мнение писателя, воспринимающего искусство как целостный организм, и его, вероятно, разделяет кое-кто из моих товарищей, а как профессиональное мнение оно не может не быть интересным и для критиков. Так вот, прочтя роман, я убедилась, что вышеразобранные критические статьи о «Дне втором» *наполовину совершенно неверны, а наполовину несущественны.* Они смещают основное в замысле Эренбурга на третье и четвертое место, а фон и сопровождение переводят на первое.

В чем неверность?

Прежде всего — для нас, художников, старая рапповская схема, по которой писатель линяет в каждой книге, сбрасывая свои взгляды, как шерсть, и выходя в новой своей вещи как будто другим человеком,— эта схема ошибочна. Мы сами ведем себе счет по другому календарю — не по *зайцу,* если так можно выразиться, а по *пальме,* развитие которой характерно не линючей шерстью, а прочным кольцом, отлагающим на ее стволе последовательные этапы роста. Мы знаем, что в каждой своей книге оставили в момент ее написания лучшую часть себя, тот прочный предел завоеванного отношения к миру, на какой мы тогда были способны. Этот предел мог быть ошибочен и недостаточен, он непрерывно растет и передвигается, но он был абсолютно органичен и необходим в нашем прошлом, поэтому его надо увидеть и разобрать не только в его *преходящем,* но и в его *основном* и *остающемся,* понять не как сброшенную шерсть, а как очередное «возрастное» кольцо на стволе. Каждый настоящий художник в своей новой работе дает не одно лишь преодоление прежней работы, но необходимо дает и *расширенное воспроизводство* этой работы, развивая в более глубоких и широких масштабах и свои достоинства, а иногда и свои недостатки. Зная это, мы, писатели, подходим к книге своего собрата, имея более или менее цельный образ всего художника, и повторяющиеся элементы в его творчестве постепенно обнажают перед нами смысл и характер того основного, над чем он трудится и что мы называем «темой» и «стилем».

«День второй» — типичная для Эренбурга книга, где он в расширенном масштабе воспроизводит и свою основ-

ную тему и свою основную манеру. Насчет манеры — библейская археология Гоффеншефера, как и таинственная путаница Гельмана, по-моему, совершенно неверна. Ни один критик не произнес единственного слова, которым можно точно выразить манеру Эренбурга: *риторика*. Все примеры повторений имен существительных, начал фраз с одного и того же слова, короткого строения фраз суть не библейские примеры, а типично риторические. Но Эренбург блестящий говорун, и его риторика в «Дне втором» дорастает до настоящих вершин. Откуда она у Эренбурга? Не из библии, конечно, а из Франции, как правильно указал Гельман. Зачем было Гоффеншеферу читать случайную Перл Бак, когда он мог прочесть не случайных Жионо, Жироду, Жюля Ромена и увидеть органическое родство их прозы с прозой Эренбурга? Риторичность «Дня второго» имеет и еще особую эренбурговскую черту — глубокую эмоциональность, которая старается ослабить неизбежный холод и формализм риторического приема неожиданной теплотой самой естественной, самой из души выходящей интонации. *Искусственно* вводимая Эренбургом естественность обличает в нем большого мастера и помогает смягчать ужасную опасность всякой риторики, опасность, заключающуюся в том, что постоянно повышенный голос вместо большей доходчивости и слышимости начинает только оглушать.

Вот типичный пример эренбурговской лирической интонации. Из комнаты Ирины ушел Сафонов. Колька ревнует:

«Колька ненавидел этого вузовца — как он смеялся над его рисунком! Нарочно при Ирине. А Ирина как все девчата... Он сам не понимал, что с ним. Вдруг он решил, что Ирина его не любит... Ирина подошла к нему сзади и руками обняла его за шею. Оглянувшись, он увидел, что Ирина улыбается. Тогда он сразу забыл обо всем. Он виновато пробубнил: «Странный он — задается».

До слов Кольки — сплошная риторика. Продлись она еще — и читатель был бы оглушен. Но слова *«виновато пробубнил: «Странный он — задается»* сразу обезвреживают весь ее холод и вносят в сценку задушевность. Такими моментами, сила которых в том, что они написаны именно с той интонацией, с какой должны произноситься в жизни, книга перенасыщена, и они делают ее интимно-

ліричной, несмотря на всю риторическую приподнятость. А Гельман вдруг решает, что Эренбург не умеет «дать дифференцированную языковую характеристику отдельных героев». Да, Эренбург не пишет как натуралист, «чаво» и «знат», но тем не менее он как раз и дифференцирует героев при помощи языка,— но только не характерными словечками, а идеально точной передачей интонации.

Школу Эренбурга выдает не одна манера, но и композиция. Выше я сказала, что у Гельмана есть еще одно дельное замечание. Вот оно:

«День второй» может быть легко расчленен на ряд новелл, каждая из которых будет иметь свою фабульную линию и является законченным самостоятельным произведением».

Это совершенно точно. Только это не развито и не додумано. Недавно прошла у нас дискуссия о жанре романа. Не знаю, было ли на ней говорено о реальных вещах, происходящих с романом на наших глазах, но «День второй» может служить примером этих реальных вещей. Он обнаженно показывает тот процесс, каким охвачены сейчас новейшие европейские и американские романы,— процесс *расчленения большой формы на те первично-составные части, из которых эта большая форма несколько сот лет назад начала собираться в целое.* Каждый литфаковец знает, что роман родился из серии рассказов. Ранние романы, какой-нибудь средневековый «Roman de la Rose»,— это еще длинные стручки с нанизанными в них горошинами отдельных новелл. У нас есть живой пример рождения романа — в Туркмении, где до сих пор была только поэзия. Минуя промежуточный этап новеллы, туркмены прямо от поэзии переходят к сложной композиции романа и либо пишут в стихах, как букет чудесных четверостиший («Батрак» Таш-Назарова), либо переходят на прозу, как цепь наивно связанных между собой эпизодов («Последняя ночь» Ниазова). Причем связаны эти эпизоды — рассказ о разоблаченном в кишлаке кулацком заговоре — поэтическими реминисценциями, хотя и написанными в прозе: звезды, луна, песок, ветер, особенно ветер, чуть ли не на каждой странице — то он слабый и не стирает следов на песке, то проносится, как жизнь, то вырывает деревья, то освежает, то сушит, но всякий раз его поэтическое вмешательство

помогает композиции или путем нехитрой аналогии, или путем углубления чувства, или как простая словесная шпона. Но то, что у наших молодых народностей означает начальное развитие жанра, *вызванное тем, что вот налицо большая коллизия, большая тема* и ее на малом полотне вместить невозможно,— то в европейском романе характеризует как раз *утрату* большой коллизии и большой темы, утрату глубокого дыхания и *конечный* распад жанра за его обесцеленностью. Эренбург, по своей выучке и методу европеец, неизбежно отдал дань этому последнему этапу жизни буржуазного романа, он написал «День второй» в «модной форме», но до конца ее не выдержал. Расчлененная новеллистика «Дня второго», построенная эпизодически, мелкими звеньями, на манер распадающихся, созерцательных, скептически-пассивных романов буржуазной литературы, она у Эренбурга сразу чувствуется как внешний прием, и хотя материал пятилетки ее оживляет, но не этот материал составляет главную тему, а главная тема книги начинается именно там, где Эренбург изменяет внешней манере.

Когда, наконец, в этом потоке отдельных новелл, распада стручка на горошины, вырастает узел, коллизия, связывающая не только целый ряд эпизодов, но и внезапно бросающая свет на все отдельные звенья романа, только тогда определяется перед глазами читателя и тема Эренбурга. Выньте из «Дня второго» Володю Сафонова, его рассуждения и все то, что с ним связано прямо или косвенно,— поступок Тольки, уход и самоопределение Ирины, разное отношение библиотекарши к нему и к Вале, слова Вали о рафаэлевских Лоджиях, слова вузовцев о Пушкине, слова комсомольца о любви, завершающие слова Гримма о молодежи,— и весь роман распадется, утратив внутреннюю связь. Тогда как даже Кольку Ржанова можно вынуть и роман не распадется, потому что Колька Ржанов не один, в романе его замещает каждый вузовец, и Ирину можно вынуть, целое не распадется, потому что ее замещают другие вузовки,— а Сафонова заменить нельзя, эта фигура одинока, и Эренбург именно через эту одинокую фигуру пропустил коллизию, а следовательно и тему романа.

Что же это за тема? Путь к ней идет через историю Володи Сафонова, считающего себя последним жрецом великой культуры прошлого, в своем роде Юлианом От-

ступником. Он думает, что все слова уже были сказаны в прошлом, сказаны с предельной красотой, а люди, только начинающие учиться в платок сморкаться, постепенно доходят до понимания азбуки этих слов. Порочный круг повторения истории человечества с азбуки кажется ему бессмысленным, он не желает умиляться на сморкунов. Но вот эти сморкуны стали мало-помалу обворовывать Володю, отбивать у него как раз те ценности, которых он считал себя единственным хранителем. Они читают Пушкина, завели хоровой кружок, ходят в оперу, «возродили влюбленность». Мало того — Эренбург заставляет их, проделывая все это, настойчиво повторять словечко «помогает». Любовь *помогает* комсомольцу в работе, оперы «Евгений Онегин» и «Кармен» *помогают* в работе, рафаэлевские «Лоджии» у Вали *«здорово помогают»*. Искусство, которое в прошлом уводило от труда и от которого в настоящем *отходит* буржуазная молодежь,— это искусство *помогает* труду *новой, социалистической молодежи.* Володя Сафонов оказывается не просто обворованным — в его мудрой старой сафоновской культуре наши новые люди, вузовцы, едва научившиеся в платок сморкаться, открыли такое *неизвестное качество,* такое звучание, что самая эта культура вдруг сделалась *несравненно действеннее и реальнее для них, нежели для Сафонова.* А если это так, значит «порочного круга» нет, круг превратился в спираль, и начинающие в чем-то, где-то оказались *дальше* кончающих, «Вагнер пошел на службу к Ленину». Вот самое ценное, самое положительное ядро эренбурговского романа: тема обновленного *усвоения культурного наследства через практику строительства социализма.* Он решает ее самым настоящим, правильным образом, он к ней так остро подводит читателя, и эта тема живет и дышит в книге таким лиризмом, таким волнением, что над многими страницами, посвященными именно ей, как раз и выступают у читателя слезы.

Но, достигнув наивысшей своей точки, роман срывается. Мы, писатели, чувствуем этот срыв в нескладном конце, где Эренбург, преодолевший было распад жанра и давший крепкую коллизию, опять переходит к риторической новеллистике, опять распускает узел, опять нанизывает горошины. Роман, в сущности, кончался смертью Сафонова, но так как в смерти Сафонова и обнаружи-

лось слабое место, ахиллесова пята романа,— художник Эренбург заклепал и заштопал это слабое место вторым, приделанным концом, кусочком той новеллистики, с какой начал. Почему умер Сафонов? Понять это — значит открыть *ахиллесову* пяту эренбурговского романа. *Сафонов умер потому, что не получил ответа.* Он — интеллектуальный тип. У него проблемное мышление. И ответ, который он хотел получить, должен был быть интеллектуальным ответом. Если бы он был поставлен в условия, где ему удалось бы получить интеллектуальный ответ, проблемно заинтересовать в марксизме, то есть свести Сафонова с более образованной марксистски средой, чем та, в которой он оказался, то с Сафоновым могли бы произойти две вещи: или он объявил бы борьбу марксизму уже на этой теоретической высоте, и тогда Эренбург мог бы сделать роман плацдармом для разгрома Сафонова на самом трудном фронте — на фронте «надстройки»; или Сафонов увлекся бы скрытыми в марксизме очарованиями для мыслителя — и отсюда пришло бы для него спасение. Но Эренбург не сумел сделать ни того, ни другого, он убивает Сафонова, чтобы заткнуть ему рот, потому что он не может дать ему никакого ответа. Марксизм и диалектический материализм оборачиваются к Сафонову только скукой и шпаргалкой, он серьезно верит, что у нас только «льют чугун» и «совершенно не нужна абстрактная математика»,— и это, кстати сказать, в такое время, когда на всех кафедрах математики бушуют страсти, когда диспут о втором законе термодинамики, самом философском из законов науки, собрал не в Москве даже, а в Бакинском университете аудиторию, которой никогда не собирал до революции и Шаляпин, когда книги по философии у нас труднее достать, чем билет в театр! И Сафонов не виноват, что не видит, не знает и не подозревает этого. Сафонов *мечется* в романе от человека к человеку в поисках философского ответа, он говорит сам с собой, с комсомольцами, вузовцами, библиотекаршей, французским журналистом, инженером Костецким, ученым Гриммом — и ни от кого не получает в ответ углубленной мысли, в которой мелькнул бы хоть какой-нибудь намек на философию новой культуры. Наоборот, получаемые им ответы настолько беспомощны во всем их недалеком практицизме, настолько по самой природе своей не интеллектуальны, что Сафонов

и не может их принять всерьез. И получается, что взамен сафоновской *философии,* философии трагического мрака, разъедающей по своей силе, Эренбург дает лишь светлые сценки социалистической *практики,* почти бессловесной. А там, где эта практика говорит у Эренбурга о своих целях, эти цели звучат газетной шпаргалкой, поданной автором с легкой и нежной иронией. Что же оказывается? Подведя читателя вплотную *к новому качеству культуры, сам Эренбург не сумел дать никакого конкретного определения этого качества.* Но, не сумев дать конкретное определение, он и сорвался в опасность механического решения своей темы.

В конце романа есть такая сценка: «Овсянникова раздобыла белой муки, масла, яиц. Она сказала мужу: «Я испеку кулич». Овсянников рассердился: «Что это тебе, пасха? Это день пролетариата. Здесь надо речи говорить, а ты с куличами...» Овсянникова ответила: «Речь речью, а кулича поесть каждому приятно. Раз теперь нет пасхи, значит, самое время куличи печь». Овсянников подумал и тихо сказал: «А изюма-то нет». Вот эта сценка и символизирует главную опасность романа. Если нет формулы новой культуры, то невольно соблазняешься простой реставрацией старой культуры. «Пасхи нет — самое время куличи печь». Капитализма нет — самое время возродить и поставить на место все привычные, старые, любимые культурные ценности. И куда-то исчезает как раз то новое качество, тот новый *икс* культуры, к которому и подвел Эренбург вплотную своего читателя, а вместо «икса новой культуры» на столе вдруг оказывается дешевка реставрированного кулича, но только поданного на советский стол вместо пасхи к Первому мая. Мы должны отчетливо помнить, что Вагнер хорош в ленинском фильме не потому, что он подан с другим текстом, а потому, что другой текст для нас, новых людей, вскрывает в нем потенциальную и не существовавшую для человека старого мира, звуковую силу и направленность. Чтоб *так* услышать Вагнера, надо нести в самом себе *нового* человека. А переменить календарную дату и считать, что кулич меняется только потому, что изменена дата его подачи на стол,— это механическое представление о культурной революции, приводящее к простой реставрации. Вот два полюса книги Эренбурга — положительный, вагнеровский, и отрицательный,

пасхально-куличный,— и они определяют слабую и сильную стороны его темы. А многочисленные критики как раз об этом и не сказали почти ни слова.

Таким образом, в разборе романа Эренбурга сказались и первый крупный грех нашей критики — *неумение подходить к произведению искусства как к целостному организму* — и следствие этого греха — *ослабление у критики философской зоркости.* Диалектика развития искусства такова, что, если критик на данном этапе классовой борьбы, когда ее фронт проходит через самые недра так называемого художественного спецификума, если критик не сумеет в совершенстве овладеть этим спецификумом, он не сумеет выполнить и своей идеологической задачи.

III

Судьба романа Бруно Ясенского «Человек меняет кожу» тоже очень показательна для критики, хотя по-другому. «День второй» к нам попал готовым, сразу в книжке, а Ясенский свыше года проводил свой роман через журнал и выправил его у всех на глазах: когда вышла книжка, многие не узнали романа. Старое начало (теперь вторая глава) оказалось отодвинутым, вместо него появилось около сорока пяти страниц нового начала (теперь глава первая) [1], причем эта выправка сыграла огромную роль в изменении сюжета: раньше на первое место выступала история любви и травли таджикского инженера Уртабаева, сейчас на первое место вышли американцы. Это позволило Ясенскому дать что называется интересную «экспозицию» — взглянуть в первой главе на свой материал, Москву и советскую стройку глазами иностранного специалиста. Но такая переделка оставила между первой и второй главой и заметный шов. Немотивированное, прямо без объяснения, появление Синицыной, раньше понятное как начальный выход, сейчас, после сорока пяти страниц первой главы, вызывает досаду как неестественно затянувшаяся экспозиция, а

[1] Напечатано (до появления романа в «Новом мире») в форме отдельного рассказа в «Красной нови».

полное исчезновение «человека из Актюбинска», видной фигуры первой главы, из всего последующего романа сразу выдает, что этот «человек из Актюбинска» родился до или после того, как самая книга была написана, все роли розданы, и ему негде в ней развиться. Замечательные «паузы», вводные новеллы, которыми Ясенский разделил некоторые главы, определились, как паузы, тоже позднее, а раньше они шли в тексте и замедляли его ритм.

Словом, роман *лег перед читателем со следами большой работы* и большой неровности — вещь, сама по себе способная заинтересовать,— и невольно, читая его, проверяешь эту работу и эту неровность на каждом шагу. Возьмите *язык*. Ясенский прекрасно передает движение, он находит точные образы для верблюда, птиц, бегущих джейранов; нельзя позабыть сравнение одногорбого верблюда с чайником или карагач, вырываемый с корнем из земли дехканином, который хочет перенести его к себе в кишлак, а «карликовый карагач жался к стене, ощипанный и костлявый, как растопыренная птица». Нельзя забыть его экскаваторы, данные по всей книге антропоморфически, с теплотой воодушевленных существ; в сцене, где экскаваторы громоздко шагают через пустыню, посланные Уртабаевым с пристани «пешком» на место стройки, вас так и тянет зааплодировать, как в кино,— до того это в книге хорошо вышло. Вы замечаете и одобряете стремительную манеру Ясенского совершенно снимать в диалоге словечки «он сказал», «она ответила», целыми страницами выезжая на одних тире.

Но тут же вас поражают небрежность, ляпсусы, досадные промахи, напоминающие вам, что русский язык для Ясенского не родной. Почему Ясенский пристрастился к словечкам «несуразный» (дважды, в очень близком соседстве друг от друга), или «опешил», или «пара пустяков»? Непростительно у большого мастера читать такое место: «Ты сегодня очень красноречив, но только свое красноречие направляешь не по адресу. И ты и я отлично знаем, выражением каких убеждений являются ваши анекдоты и как эти анекдоты реализуются в повседневной жизни», или: «Она застала раз Немировскую в его комнате в довольно двусмысленной ситуации», или нечто совершенно непонятное: «Горы на фоне бледноголубого, чуть выцветшего неба, без единой крапинки,

казались декорацией, вырезанной из картона. Мелкие морщины и изломы, обведенные коричневой тенью, выделялись на них рельефнее, чем на настоящих»; здесь сказуемое второй фразы, относящейся в уме автора к *дополнению* первой фразы, то есть к «декорации», фактически связано с подлежащим первой фразы, то есть с настоящими «горами», и потому получается бессмыслица. Нельзя так писать, это звучит как плохой перевод с иностранного, и, кстати, нельзя невыносимый образ «грызть книги» (стр. 106), рожденный от когда-то знаменитого «грызть гранит науки», влагать в уста американца, вряд ли у себя на родине его слышавшего. Все эти дефекты языка снижают общую высокую «категорию» романа, создают впечатление авторской небрежности, и уж совсем недопустимо, когда Ясенский, въезжая в Москву, говорит (и не один раз) о *четверке* — квадриге — коней на Триумфальных воротах, тогда как их не четверка, а шестерка.

Та же неровность и в *этнографическом* материале. Ясенский сказал, что для романа он изучил ислам. Клод Фаррер для своих романов тоже изучал ислам. Налет европейского, грамотного, но чересчур формально-эстетического подхода к Азии, по типу некоей схемы «душа Востока», имеется и у Ясенского, особенно в некоторых из его прелестных новелл-пауз. Прочитайте его ранний роман «Я жгу Париж», там есть страницы, посвященные японцам,— в них еще ясно видна методика учебы Ясенского у западных мастеров, у «клод-фарреристов». Думается, что мы, советские писатели, имеем, под рукой *лучшую* школу, с *другой* установкой. Мы можем учиться не у Клода Фаррера, а у наших, сейчас неплохо и нескудно переведенных, советских восточных соседей, писателей Таджикистана, Узбекистана, Туркмении — Айни, Лахути, Сулеймана, Гафура Гуляма, Таш-Назарова. «Батрак» Таш-Назарова, одна из сильнейших и музыкальнейших вещей, какие мне пришлось прочитать за последние годы, дает Восток во всей чистоте оригинала, а не стилизации — и вдобавок Восток современный. В «Батраке» характерно не то, что новые мысли и чувства туркмен облекает в нарочито национальные образы, словно надевает на них пестрые халаты (как получается иногда у Ясенского), а наоборот, в них характерно то, что новые мысли и чувства *пробиваются* зелеными рост-

ками, понятными каждому советскому читателю, сквозь пеструю и пышную густоту национальных образов.

Вот пример стилизации общесоветского под узко национальное, при помощи корана, у Ясенского:

Рабочие «...наваливали камень на тачки и бросались бежать, толкая тачку вперед по узенькому настилу досок, тонкому, как острие бритвы, по которому души правоверных пройдут в обещанный пророком рай с тачкой своих грехов. Было очевидно, что для этих мусульман с их стажем тачечников будет парой пустяков пробежать по любому острию и они даже по дороге в рай обязательно устроят гонки на лезвии Магометовой бритвы».

А вот пример, как пробивается общесоветское через национальную форму у Таш-Назарова.

Приехал бывший темный батрак, а теперь красноармеец Курбанов в родной кишлак. Сосед расспрашивает его о том, как он вышел в люди. Курбан рассказывает:

А когда свободный час,
Открывал ученья дверь.
По-туркменски и по-русски,
Видишь, грамотей теперь.
Да, Аман-баба, у нас
Все такие богачи,
Как и я. Но каждый смело
В двери мудрости стучит.
Что видали раньше мы?
Съел чурек — и прожил день,
А теперь и в бой идти...

Это и глубоко своеобразно и понятно любому батраку. Каждое четверостишие здесь заключает в себе — по-восточному — образ, противопоставление и вывод; эта структура, как и характер отдельных образов, традиционно национальны, они ведут свой род от персидских робайят. Но смысл их — наш, советский, и комбинация «национального по форме» и «социалистического по содержанию» у Таш-Назарова глубоко естественна. Именно *так* надо учиться подавать национальное, и тот же Ясенский сумел сделать это в превосходной сцене «разговора чайрикера Фархата с плотником Климентием».

Та же неровность и в *сюжетной технике* романа, где наряду с удачными и новыми приемами заинтриговывания попадаются банальные и механические. Ясенскому нужно рассказать читателю о проекте ирригационной си-

стемы. Он рассказывает о нем на пяти страницах, но, чтобы не было скучно, все время аккуратно вклинивает в рассказ сценку мытья головы Немировской на балконе. Получается так механично и однообразно, что читать о проекте стало еще скучнее. Но вот инженер Кларк идет ночью домой с совещания. Он натыкается в темноте на предмет. Предмет оказывается трупом человека с блестящей рукояткой кинжала в спине. Кларк тотчас вспоминает все ужасы, слышанные им о басмачах, он уже хочет звать на помощь. Но тут обнаруживается, что труп — это просто пьяница, а рукоятка кинжала — горлышко торчащей у него из кармана бутылки. Кларк бурно переживает обратную реакцию, он смеется над собой, и уже ему все представляется преувеличенно простым и безопасным, а собственные страхи — преувеличенно фантастичными. Он идет домой в полной беспечности — и... находит дома вполне реальную анонимную записку с черепом, грозящую ему смертью. С точки зрения сюжетной техники это место сделано блестяще, и нашим молодым авторам следовало бы изучить его как образец писательского умения «играть на чувствах читателя», подготовляя их к повышению восприятия интриги.

Прочитав роман, вы убеждены, что все перечисленные выше и многие другие моменты, бросающиеся при чтении в глаза, критиками уж непременно замечены и разобраны. Вы в этом убеждены еще потому, что в романе Ясенского мы получили захватывающе интересную беллетристику, написанную человеком европейской выучки, польским писателем, ставшим у нас писать на чужом для него языке. Мы ведь твердим о необходимости учить молодежь. Ясно, что эту книгу мы должны разобрать по косточкам, освоить ее как механизм, научить и другого хитрому секрету занимательности, показать, что в романе сработано чисто, а что небрежно. Иными словами — от нашей критики для разбора Ясенского требуется исключительно большая *предметность,* потому что идеологический, партийный напор книги, держащий ее уровень на хорошей политической высоте, всем ясен и без критики.

И вот передо мной тоже не бедная критическая литература: 1) статья Рыковой в «Литературном современнике» за 1934 год (№ 5), 2) статья Колесниковой в «Октябре» за 1934 год (№ 5), 3) статья Штейнберга в «Ху-

дожественной литературе» (№ 3); 4) несколько газетных упоминаний о романе и, наконец, 5) стенограмма целой большой дискуссии, проведенной на декаднике «Литературного критика», с докладом Усиевич и выступлениями Тарасенкова, Тагер, Левидова, Мирского, Шкловского, Федотова. Я прочитала все это и, к своему величайшему удивлению, несмотря на наличие в этом списке умных и талантливых критиков, не нашла там буквально ни слова по поводу вышеперечисленного. Никто не поставил себе задачей *разобрать:* 1) язык книги, 2) технику сюжетного заинтриговывания в книге, 3) недостатки и достоинства этнографической ее стороны,— хотя по этому последнему вопросу были: отдельная поправка у Штейнберга и общее замечание у Федотова.

Вместо этого необходимейшего разбора буквально каждый критик занимался тем, что усиленно, шумно, торжествующе ломился в открытые двери, то есть доказывал, что роман о *стройке,* что роман *авантюрный,* что он *интересен,* что авантюрные романы *нужны* и что интересно писать *надо.*

В критической литературе о Ясенском проявилась и еще одна особенность, по которой давно уже следует нам, писателям, ударить. Особенность эта заключается в следующем: стоит появиться какой-нибудь книге и быть зачисленной по определенной категории,— скажем, колхозной, индустриальной или молодежной,— как критик из ста случаев девяносто девять раз обязательно воспользуется ею, чтобы шлепнуть этой книгой все предыдущие книги той же категории. Если, например, Ляшко, Гладков, Сергей Семенов, Леонов, Шагинян, Эренбург, Ясенский, Яков Ильин прошли по категории индустриально-строительной, то критик отнюдь не задумывается над такими простейшими вопросами: в чем индивидуальное *различие* тем каждого из этих писателей, работавших на одном участке? какую *особую* задачу ставил и разрешал каждый из этих авторов и как исторически эти книги взаимодействовали между собой, чем они друг другу *обязаны?* Если б критик задался такими вопросами, он, наверное, расшифровал бы ничего не говорящую категорию индустриально-строительную на более конкретные определения, и тогда оказалось бы, что романы «о стройке», как их общо называют,— «Доменная печь», «Цемент», «Наталья Тарпова», «Соть», «Гидроцентраль»,

«Энергия», «День второй», «Большой конвейер» — эти романы написаны, строго говоря, на следующие темы:

1. О роли коммуниста-рабочего в поднятии производства начала восстановительного периода («Доменная печь», «Цемент»).

2. О любви между классово разными людьми («Наталья Тарпова»).

3. О взаимоотношении природы и цивилизации («Соть»).

4. О творческом наслаждении трудом («Гидроцентраль»).

5. О коллизии семейного начала и общественного начала в новом человеке — строителе социализма («Энергия»).

6. Об усвоении культурного наследства через практику социалистического строительства («День второй»).

7. О том, что такое генеральная линия партии в условиях строительства завода первой пятилетки («Большой конвейер»).

Каждая из этих книг — особый мир. Старая песенка говорит о том, что желающий понять поэта должен идти в страну поэта. Желающий понять наши книги должен войти в мир этих книг, проникнуться их особым звучанием, почувствовать их собственную проблематику, понять круг интересов и мыслей, какими живет данная книга, и отсюда — понять и своеобразие той методики, какой она создана.

В то же время в культуре, особенно в нашей, социалистической культуре, нет ничего изолированного, и то, что сделал *один* художник, становится частицей среды, обусловливающей работу *всех других* художников, поэтому книги наши, как бы *различны* они *ни были, находятся между собой в непрерывном,* прямом и косвенном *взаимодействии,*— а это взаимодействие и *есть реальный процесс образования советской литературы.* Как же может критика, повивальная бабка этого процесса, не только совершенно забыть свою задачу сравнительного прослеживания, изучения, показа этих взаимодействий, но даже пустить в ход прием рассмотрения одной книги как исключающей все другие!

Почти каждая статья о романе «Человек меняет кожу» так и начинается с непременной критики по адресу

всех прочих авторов романов о стройках доясенского периода, за то, что они писали не так, как написал он: писали не авантюрно, а он написал авантюрно, писали тяжело, а он — легко. Такая критика в глубоком смысле некультурна: во-первых, потому, что реальный процесс исторического развития нашей литературы совершенно исчезает перед читателем, а во-вторых, потому, что она идет аршином мерить сено или ведром ситец. Поэтому, кстати, основное содержание книги Ясенского — *проблематика вредительства* — и не было никем из критиков упомянуто. Говорили о классовой борьбе, но это слишком общо: Ясенский взял *одну* из форм классовой борьбы, очень узкую и специальную, — *вредительство на пограничной стройке, вдохновляемое из-за рубежа,* — тему, близкую ему по своей политической сути. А ведь Ясенский — автор «Бала манекенов» и «Я жгу Париж» — это прежде всего *блестящий политический трибун-памфлетист,* и он разработал свою новую тему тоже не без налета прежнего памфлетизма, что особенно сильно сказалось в эпилоге романа, в письме Ясенского к полковнику Бейли, и что отчасти объясняет и допущенные им небрежности — недостаток, обычно приобретаемый в пылу памфлетической работы.

Не заговорить о политико-памфлетической струе в новом романе писателя, известного по книгам «Я жгу Париж» и «Бал манекенов»,— значит снизить и своеобразие и международное значение книги и расписаться в неумении видеть целостный облик художника, о котором судишь.

Итак, высказывания о романе Ясенского обнаружили второй важный грех нашей критики. Его можно формулировать следующим образом: рост и накопление советской литературы на русском и на многих других национальных языках достигли того предела, когда судить о книгах и писателях как об изолированных явлениях стало недостаточно; сейчас надо уметь чувствовать роль и место в литературе каждого отдельного писателя, а следовательно, преемственность и взаимодействие книг между собой. Но большинство критиков, остановившись перед вышеупомянутым фактом накопления, не перестроили методы изолированного подхода к книгам и не умеют дать читателю представление о реальном историческом процессе развития советской литературы.

IV

Выше я сказала: критик должен уметь прощупывать в книге не только замаскированные уклоны к прошлому, но и современные ростки в будущее. Есть ли в наших книгах эти «ростки будущего»?

И. В. Сталин на Втором съезде колхозников говорил о необходимости правильно сочетать личный интерес колхозника с общественным интересом всего колхоза.

Расшифровку этих слов, на вид таких простых и понятных, а на самом деле очень глубоких и знаменательных мы можем найти у Маркса. Я не любитель цитат, но без цитаты не обойтись. Маркс в «Немецкой идеологии» говорит: «...Вместе с разделением труда дано и противоречие между интересом отдельного индивида... и общим интересом всех индивидов...» [1] А мы знаем, что на разделении труда основано классовое общество, и разделение труда, как указывает Маркс, приносит с собой противоречие между частным и общественным интересом. Поэтому когда партия дает лозунг о правильном сочетании личного и общественного интереса, она в одно и то же время указывает: 1) и на тот великий переход, который всем нам, художникам, предстоит увековечить в искусстве,— *переход в бесклассовое общество* и 2) конкретную черту этого перехода — *начало уничтожения разделения труда.* В реальном сочетании личного и общественного интереса и заложен неизбежный конец того родоначальника психологических, физиологических, патологических деформаций в человеке, представлений о необратимых процессах, почвы для идеализма, мистицизма, метафизического отношения к миру, который мы называем *разделением труда* и который в конечном счете и приводит к разрыву между производительными силами и производственными отношениями.

Мы до такой степени привыкли представлять себе дело цивилизации, дело культуры, связанным с необходимостью разделения труда, что его конец кажется нам на первый взгляд немыслимым, потрясающим основы людской работы и творчества, и конкретно себе представить, как же именно он осуществится, нам страшно труд-

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. IV, стр. 23.

но. Маркс, правда, дает образ его осуществления в той же книге, но он дает его бегло и для эпохи развернутого коммунизма. Вот этот образ: «...как только начинается разделение труда, каждый приобретает свой определенный, исключительный круг деятельности, который ему навязывается и из которого он не может выйти: он — охотник, рыбак или пастух, или же критический критик и должен оставаться им, если не хочет потерять средств к жизни,— тогда как в коммунистическом обществе, где каждый не ограничен исключительным кругом деятельности, а может совершенствоваться в любой отрасли, общество регулирует все производство и именно поэтому создает для меня возможность сегодня делать одно, а завтра другое, утром охотиться, после полудня ловить рыбу, вечерами заниматься скотоводством, после обеда предаваться критике — как моей душе угодно,— не становясь в силу этого охотником, рыбаком, пастухом или критиком»[1].

Повторяю — это далекое будущее. А сейчас для нас, художников, дело состоит не в том, чтобы изображать ежедневную смену профессии, хотя соцсовместитель, утром работающий на производстве, а вечером в государственном учреждении, или двадцатипятитысячник, командируемый в деревню, или учащийся в совконтроле и т. д.— все это уже примеры снятия разделения труда.

Для нас, художников, гораздо важнее уловить тот закон, который вызывает к жизни эти смены профессий, который их изнутри держит и осмысливает, и вот формула правильного сочетания личного интереса с общественным, а значит, формула прямой, а не обратно пропорциональной связи между ростом производительных сил и характером производственных отношений — эта формула и показывает, откуда и как должны мы в искусстве запечатлевать черты уничтожения разделения труда. Секрет — *в глубоком реальном единстве личной и общественной пользы,* секрет в том новом понятии этого единства, какое родила наша колхозная деревня, в понятии трудодня во всей его социально-экономической глубине. Первыми всходами этого единства уже зеленеют передовые пажити нашей рабочей и колхозной действительности, оно веяло и в выступлениях Второго съез-

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. IV, стр. 23.

да колхозников. И первым предчувствием такого единства, тягой к нему, призывом его чреваты и лучшие из наших книг. Великая и ответственная задача критики — суметь увидеть, отметить, обнаружить эти предчувствия и заговорить о них перед миллионным читателем и перед нами, творцами искусства, заговорить так, чтоб будущее приблизилось к нам, предчувствия объединились в стройные, ясные мысли и мысли истолковались в свете марксистского учения, стимулируя и облегчая создание общечеловеческой культуры. Все это не только литературная функция, но и социалистическое дело критики!

Можем ли мы похвастаться чем-либо подобным? Не можем похвастаться. Наоборот, когда мы создаем книги, даже *явно* посвященные будущему, критика перед ними или капитулирует, или позорно мешает этим книгам быть правильно понятыми. Вот пример первого случая. Несколько лет назад Михаил Казаков написал утопическую книгу о будущем, написал неверно и необдуманно. Обсуждение этой книги могло бы послужить для нас, писателей, увлекательной школой марксизма, если б критика сумела правильно поставить и провести это обсуждение. Но хотя сам Казаков тщетно взывал в пространство, просил: научите меня, выругайте меня,— критика хранила полное, абсолютное молчание. Случай поднять в связи с попыткой Казакова важную проблему социалистического будущего — этот случай провалился для нашей молодой литературы. А вот пример, когда критика мешает удачной книге быть правильно понятой,— «Возвращенная молодость» Зощенко.

Что такое «Возвращенная молодость»? Если говорить грубо и просто, это книжка об артериосклерозе, о неврастении, о преждевременном постарении и переутомлении работников умственного труда, то есть об одной из характернейших и трагических деформаций человека на основе многовекового *разделения труда*. Как решает эту проблему Зощенко? Он ее *ставит* в комментариях и *иллюстрирует* текстом. В комментариях он ее ставит как будто наивно, однако эта наивность — прием, аналогичный сатирическому приему знаменитых «Lettres persanes» Монтескье («Персидских писем»), и он заключается в том, что автор, руководствуясь здравым смыслом, просто, по-простецки, как «профан», говорит о вещах, закрученных книжно-схоластической, мнимонаучной, мертвой

фразеологией до своеобразного ученого шаманства. Свежесть подхода к предмету позволяет Зощенко в «комментариях» совершенно правильно поставить тему об утомлении — откуда оно, необходимо ли оно и как надо с ним бороться.

В тексте он отвечает на проблему, поднятую в комментариях. Он берет пожилого ученого и заставляет его омолодиться по всемирно-буржуазному способу, давно практикуемому во всех концах мира, способу, который *механически* как будто и разрешает вредное действие разделения труда или несколько нейтрализует его, а именно: Зощенко заставляет своего профессора заняться физкультурой (суррогатом физического труда), оживляет ему железы внутренней секреции, влюбляет, женит на молоденькой женщине. Но профессора, всем этим как будто восстановившего свою молодость, вдруг хватает удар. Способ омолодиться путем *механической* нейтрализации действия разделения труда оказывается непригодным. Тогда Зощенко примиряет профессора, до той поры «аполитичного» и даже «оппозиционного», с советской действительностью и доводит его до слабого и наивного, но несомненного сознания и чувства *единства интереса своей одинокой работы с общим интересом всего коллектива.*

«А осенью, начав работать, он, несколько конфузясь, заявил Лиде, что он теперь записался в бригаду ударников и что у него политических расхождений теперь нету. А кое-какие мелочи он, пожалуй, согласен оценить несколько иначе, чем он их оценивал раньше».

И для профессора начинается вторая молодость, на этот раз прочная.

История, как видите, на первый взгляд наивная, хотя и рассказана с обычным для Зощенко совершенством. Но что в этой истории замечательного? Две основные проблемы.

Первая — что артериосклероз, а с ним, пожалуй, и девяносто процентов всех наших болезней, есть заболевание, несомненно вызванное многовековым действием разделения труда на организм человека,— здесь, под «разделением труда» имеется в виду отделение умственного труда от физического.

И вторая: что рост нового сознания единства личной твоей работы с общественной, личного твоего интереса

с общим ослабляет вредное, одностороннее действие разделения труда на организм. Такая книжка никогда не могла бы быть написана в мире капитализма, потому что там нет воздуха для зарождения таких мыслей. Ошибки, наивности, неуверенность, блуждание впотьмах Зощенко — ерунда и мелочь по сравнению с той проблематикой, которую можно извлечь из его книги.

А что сделала критика? К чести нашей литературной критики надо сказать, что на этот раз она натворила меньше вреда, нежели, например, профессор Немилов в журнале «Книга и пролетарская революция» [1]. Не подозревая, не чувствуя, куда клонит напряженная, ищущая мысль Зощенко, ученый профессор наговорил убийственных вещей обо всем, что хотите,— об идеализме, чертовщине, поповщине, невежестве,— проморгав только одно: проблему, поставленную в «Возвращенной молодости».

Так обращаться с книгами, достоянием общества, нельзя. Каждая написанная нами книга, если только есть в ней зерно ценного и прекрасного,— это уже не наша, это общественная собственность. Вскрывать ее неумело — значит совершать нечто подобное завалу в рудном деле, то есть так прочно завалить пустой породой вход к ней, что на долгие времена книга выпадет из обращения и будет *похищена* у нашей культуры, похищена до тех пор, покуда ее кто-нибудь случайно не «откроет». Нужно не «хвалить» или «ругать» книгу, а суметь найти в ней *главное звено* и путем умелого анализа раскрыть читателю доступ к этому звену — вот, на мой взгляд, одна из основных задач социалистической критики.

1935

[1] «Книга и пролетарская революция» № 9, 1934.

ДВЕ СЕССИИ АКАДЕМИИ НАУК СССР

НА УРАЛЬСКОЙ СЕССИИ

В ноябрьские дни 1942 года в Свердловске открылась юбилейная сессия Академии наук. На сессию съехались отовсюду. Цвет нашей науки, старые почетные корифеи ее почти все были налицо,— и очевидец испытывал почти художественное наслаждение от этого собрания огромного опыта, от этой огромной работы разума и напряженно, на высокой умственной волне проведенных жизней. Яснолобый, голубоглазый Комаров с чистой, как у ребенка, улыбкой. Изящный седой Байков; живой и быстрый, с характерным прищуром Бардин; а рядом с ним М. А. Павлов, чью растрепанную «чеховскую» бородку знает каждый металлург на Урале. Монументальный, улыбающийся Ферсман. Мудрая и величественная под черной шапочкой голова академика Фаворского, напоминающая головы ученых эпохи Возрождения. И много, много других. Вот мелькнула львиная голова с благородным лбом, обрамленным черно-седыми кудрями — это прошел академик Л. А. Орбели. Тонкий профиль камеи — Волгин; характерная, известная всем в Союзе голова Емельяна Ярославского. Плеяда блестящих профессоров-«уральцев» — физик Кикоин, «лесник» Козлов, неутомимые Шевяков, Сукачев, так много сделавшие для Урала. А там — военная тужурка, нервный и быстрый, подтянутый, похудевший за месяцы войны Спе-

ранский. Некоторых из них суждено было нам потерять спустя каких-нибудь три года! Но тогда никто бы не подумал о возможной близости их смерти. Ученые казались молодыми.

Наука всегда была остро нужна советской стране, нужна в восстановительный и реконструктивный периоды, в годы трех пятилеток. Но никогда еще не была так наглядно показана и остро пережита общественная роль нашей науки, патриотическая, эмоциональная сторона советской ученой деятельности, как в дни Отечественной войны.

Вместе с промышленностью была «перебазирована» на Восток и Академия наук. Вывезены были в Свердловск лаборатории и книги, институты и оборудование; приехали кадры ученых и учащихся. Подобно тому как размещалась промышленность,— новые цехи входили в местные работающие заводские цехи,— так и ученые учреждения нашли себе обжитую среду — в заводских лабораториях, в Ильменском заповеднике, на рудниках и шахтах, получив сразу огромное практическое поле действия. Для академиков не могли пройти бесследно ни этот выход в живую среду, ни это широкое наличие живого дела, ни эта возможность не только проработать научную тему в больших опытных масштабах, но и сразу же обратить эту тему на потребу общества, реализовать ее на оборону родины.

Для местной уральской общественности пребывание крупнейших академиков на Урале тоже не могло пройти бесследно. Они подтянули к себе общую массу научных работников, создали для нее более строгие и серьезные самосуждения и оценки и сделали невозможным легкое отношение к работе, какое подчас возникает у людей, долгое время не чувствовавших на себе ничьего требовательного взгляда.

Когда мы в театрах и на заседаниях, в библиотеках и лабораториях, в музеях и столовых видели в истекшие две зимы характерные, убеленные серебристой сединой головы больших ученых, в которых семь десятков лет живет и копится неувядающая пытливая мысль, их ясные глаза, не тронутые белизной старости, не затуманенные, не потерявшие блеска и проницательности, — и шепотом называли друг другу имя, отмеченное вниманием советского народа, доброе имя труженика-творца, —

мы не могли не заметить живого действия этих людей на среду.

Актер чувствительней делался к фальшивой ноте, своей и драматурга, потому что прикидывал ее на более тонкий слух; докладчик тщательней выбирал слова и серьезней их обосновывал; библиотекарша училась на спросе, на методике использования книг, на библиографическом подборе, на необычайно оживших вокруг нее книжных полках,— училась новому обслуживанию, новому охвату, чувствовала острее недостаточность своего библиотечного фонда; смелей стали в лабораториях, получив невиданные оригинальные задания.

Принципиальней подошли музейные работники к самому понятию «музей», и внешнее щегольство или, наоборот, внешнее убожество, пустые места, недохват звеньев, недостаточная научность показа, непродуманность, сборность, все типичные недостатки окраинных музеев, долго существовавших на отлете при не очень требовательном в большинстве случаев посетителе,— все это сразу стало видно, бросилось в глаза, пережилось, как нечто недопустимое, с чем необходимо покончить. Именно в эти две военные зимы резко обозначились не только недостаточность и случайность книжного и краеведческого фондов Урала, но и страшная их «разбазаренность», зачитывание по рукам и задержка у себя, для личного пользования, книг, архивных документов, музейных предметов, и досадные мелкие недостатки в номенклатуре экспонатов даже такого блестящего учреждения, как новый Геологический музей Свердловска.

На сессии этот опыт взаимного обогащения сказался во всем: и в характерном отличии программы своей деловитостью и практичностью от обычных программ юбилейной сессии;[1] и в огромном наплыве гостей — рабочих, учащихся, военных курсантов, домохозяек, желавших послушать доклады, читавших тексты выставленных диаграмм в кулуарах, жадно рассматривавших научные издания Академии; и, наконец, в самой методике докладов.

---

[1] На первом утреннем заседании 16 ноября академик Иоффе сделал доклад о развитии физико-математических наук в СССР и их роли в Отечественной войне. Второй доклад был посвящен технике, и делали его два инженера — И. П. Бардин и А. В. Винтер.

Какие же новые черты придала война советской науке?

Реальные задачи, выполненные научными работниками для обороны, особенно ярко вскрыли связь практики и теории. Крупный специалист по доменному процессу, академик Луговцев, объединился с экономистом, потому что метод статистики, так называемая статистика больших чисел, оказывается, может стать ключом к сложнейшим процессам горения, происходящим в доменной печи. Химики вместе с биологами и агрономами придумали способ сушки плодов и овощей, сохраняющий их витаминозность. Это первое попавшееся из сотни других подобных примеров.

По-своему пережилась связь практики с теорией даже в науке о транспорте. На Урале каждая оборонная задача связана с транспортировкой. И транспортник, академик Образцов, чью белоснежную голову и румяное живое лицо, чьи энергичные и всегда прямые выступления десятки раз видели и слышали на своих собраниях уральские железнодорожники, задумал для усиления пропускной способности дороги создать на транспорте «единый технологический процесс». Что это значит? Вагон отправлен по железной дороге, но его адресат — завод. Два хозяина, станция и завод, то есть транспорт и промышленность, распоряжаются его судьбой, и когда вагон, стоящий на одном и том же пути, на одной и той же земле, должен перейти от одного хозяина к другому, начинается долгая волокита передачи, оформление бумажек, простой, выход из графиков. Единый технологический процесс на транспорте — это единство доставки и разгрузки без разрыва двух операций во времени; он должен связать на практике два разных ведомства, а в теории — две разные науки.

Заказ фронта — живая, действенная заявка оборонной промышленности, как и всякое жизненное явление, выходит за пределы *одной* какой-нибудь отрасли науки, зачастую требуя совместной работы двух и трех отраслей, двух и трех специальностей. Поэтому за время войны на Урале и особенно за последние десять месяцев научная работа в большей, чем раньше, степени стала вестись *комплексно*, группами ученых самой разной специальности. В работе по выявлению сырьевых баз Урала и Казахстана, проведенной под руководством прези-

дента Академии В. Л. Комарова, участвовали геологи, горняки, металлурги, техники, плановики, экономисты.

Академик Л. Орбели сказал на сессии замечательные слова. Он вспомнил, какими ярыми индивидуалистами были ученые четверть века назад, как они стремились работать в одиночку и как при слове «плановость» им представлялось какое-то насилие над творческой мыслью. А сейчас, сказал он, «каждый из нас считает для себя счастьем, если у него собирается большое количество сотрудников, если он имеет возможность перейти от роли индивидуального исполнителя хотя бы очень интересных научных работ к роли командира и исполнителя, который ведет более или менее значительный отряд научных работников». Это определяет общую тенденцию научной работы за двадцать пять лет. Но наиболее явной стала эта тенденция именно на Урале, за годы войны. Недаром правительственное признание больших работ, проведенных учеными на Урале, выразилось в групповых награждениях Сталинскими премиями. Участники комплексно проведенных работ сделались не в одиночку, а бригадно сталинскими лауреатами.

О научных работах, сделанных на Урале, нельзя говорить в подробностях, поскольку они были связаны с военными задачами. Но кое-что принципиально новое в них должно быть отмечено, хотя бы в самых общих чертах. Укажу на одно важное обстоятельство, отмечавшееся и на сессии.

Разные специалисты, работавшие над одной и той же проблемой, вынуждены были решать много вопросов именно в тех *пограничных промежуточных областях,* которые лежат *между их наукой и соседней.* Это очень большой и важный момент в развитии науки.

Еще недавно (все прошлое столетие и начало нынешнего) наука непрерывно дробилась на новые и новые специальности, и каждая специальность обрастала своими терминами, переставала понимать соседнюю. Сейчас практическая, оборонная работа наших ученых подчеркнула новый процесс, происходящий в нашей науке: огромную тягу к взаимопроникновению, к взаимодействию и синтезу, *к снятию разделительных черт между отдельными научными отраслями.*

Об этом ярко сказал в своем докладе физик Иоффе: «Характерной чертой советской науки является раз-

витие проблем, лежащих на границах между различными областями знаний. Научные школы Семенова, Фрумкина, Теренина и Кондратьева, Рогинского и Сыркина закрыли пробел, разделявший физику от химии. Благодаря этому химия использовала передовые идеи современной физики».

Замечательно и еще одно обстоятельство: пережитый исторический опыт как бы снял разделительную черту и между учеными «точных» и учеными «гуманитарных» наук. Конечно, эта разделительная черта в нашей действительности уже почти условна, ее снимало десятки лет, исподволь, но неотступно, наше новое миросозерцание, замечательное и своей естественно-научной точностью, и своей философской глубиной. Но все же формально разница существовала и наиболее прочно держалась в методике подачи материала. А на сессии изменение почувствовалось в самой методике...

Докладчики биологических и так называемых точных наук, академики Байков, Ферсман, Иоффе, Л. Орбели, Бардин, Обручев рассказали о геологии, физике, технике, астрономии, математике, физиологии как о живом куске сегодняшнего дня в его связи с обороной, промышленностью, заявками фронта. Эта «историзация» биологических и точных наук остро вскрыла их общественный смысл, выдвинула их в один ряд с гуманитарными.

Навстречу им докладчики гуманитарных наук, то есть, правильнее говоря общественных,— Ярославский, Тарле, Толстой, говоря о сегодняшней истории, о сегодняшних явлениях культуры, стремились дать точную формулировку, точный прогноз будущего, вскрывая под фактами законы общественно-исторических процессов.

И это двойное движение — от точных наук к общественному, от гуманитарных наук к точному — создало особую атмосферу на сессии, которую хотелось бы назвать воздухом философии.

Пожалуй, никогда раньше с такою большой силой не чувствовалась философская высота нашей эпохи, как на той уральской сессии, где ученые отчитывались в самых практических, самых конкретных работах, сделанных на оборону родины. Практические работы дали бурный толчок для философского осознания эпохи, для развития науки как таковой.

Поэтому те ученые, кто с подлинным патриотизмом,

с настоящим пониманием своего гражданского долга полностью, безоговорочно вышли из тишины кабинетов, из тишины лабораторий на заводы, на поля, в цехи; отдали себя оборонным задачам с той страстью, с какой отдают себя труду рабочие на производстве,— те именно ученые и оказались в передовой шеренге новой, теоретической мысли, нового развития мировой науки.

1943

НА МОСКОВСКОЙ СЕССИИ

I

Это была не совсем обычная сессия. На предыдущей ставились проблемы военных лет; здесь же был как бы намечен подготовительный переход к большому пятилетнему плану работы советской науки в помощь восстановлению и росту нашей страны в условиях послевоенных.

Советский гражданин кровно заинтересован в работах сессии. Он хочет знать, чем живет и дышит наша наука в это историческое время перехода от войны к миру; хочет, чтобы ученые помогли ему осознать великие сдвиги и практические накопления, происшедшие за время войны в нашем хозяйстве, в технике, в экономике; хочет услышать и собственные пожелания ученых, живые голоса отдельных научных институтов о том, как идет их работа и что потребно для нее и чего не хватает сейчас для ее роста и развития. Та степень большой близости, какую привык чувствовать советский человек к своей социалистической науке; та большая опора, какую он находит в ней в своей повседневной работе; наконец то напряженное внимание, с каким он следит сейчас за новейшими техническими открытиями у себя и за рубежом,— все это делает для него работу ученых сугубо интересной, сугубо важной.

Пройдем же по всему научному фронту сессии, разобщенному на отдельные участки. Эти участки были разбросаны далеко друг от друга: от Волхонки, где заседали общественные отделения (в институтах истории и фило-

софии, литературы и языка), до Замоскворечья, где между Ордынкой и Большой Полянкой работали геологи, физики и математики; от Большой Калужской, где сосредоточена работа биологического и химического отделений, до Харитоньевского переулка, куда стремились механики и техники; никакие голубые автобусы, обслуживающие сессию, не смогли бы помочь вам, если б, увлекшись программой, вы захотели одновременно побывать везде и всюду. Не смогли этого сделать и мы. Ограничим поэтому свой рассказ лично увиденным и услышанным, коснувшись остального лишь в самых общих чертах.

Работа двух отделений — технического и геолого-географического — прошла как-то неожиданно быстро, до объявленного начала сессии, когда многие из ее участников еще и приехать не успели. Сперва, в два дня, начались и закончились доклады у «техников», два — по вопросам металлургии, два — по технике и механике. Особо интересен был доклад члена-корреспондента В. В. Голубева «Тяга машущего крыла» — о новом принципе самолетостроения, где вместо пропеллера должны у самолета, как и у птицы, двигаться крылья. Потом — так же быстро — кончили работу геолого-географы. Отметим только сообщение, сделанное академиком А. Н. Заварицким, одним из крупнейших у нас «провидцев» медных руд. В противовес обычному представлению о том, что тектонические процессы вызываются более или менее поверхностными явлениями в земной коре (на глубине до 60 километров), А. Н. Заварицкий обратил внимание на важность изучения так называемых глубокофокусных землетрясений; землетрясения эти происходят от толчков, идущих из очень больших глубин земных, до 600 километров, и показывают, что тектонические процессы обусловливаются движениями в более глубокой оболочке Земли, а не только в поверхностной земной коре. По аналогии с медициной можно было бы сказать, что здесь старой пациентке Земле был поставлен новый диагноз, не просто «прыщики на коже», а нарушение глубинного внутреннего обмена.

Еще одно отделение закончило работу до официального открытия сессии — экономики и права. Длилась его работа всего один день. Академик И. П. Трайнин доложил о демократии в странах юго-восточной Европы,

освобожденных от фашизма, а профессор И. Д. Лаптев — о восстановлении сельского хозяйства в освобожденных районах.

Зато физико-математическая секция создала как бы своеобразную рамку для сессии: начала она работу за день до ее открытия (обширным заседанием с четырьмя докладами в память доктора физико-математических наук А. А. Глаголевой-Аркадьевой), а закончила работу на следующий день после закрытия, 20 января, докладами членов-корреспондентов В. А. Амбарцумяна и С. В. Орлова и профессора В. Н. Кузнецова.

Что программа сессии была строже и тщательнее обычного продумана и даже сведена к некоторому единству, показывает ключ к ее работе, данный на первом пленарном заседании, вечером 15 января, во вступительном слове президента Академии наук С. И. Вавилова.

Сергей Иванович указал на два очень важных обстоятельства: во-первых, на исключительную для нашего времени роль физики — роль не столько гегемона для целого ряда других наук, сколько их объединителя. И, во-вторых, на тот факт, что это объединение — процесс синтезирования добытых результатов множества научных работ с ведущей ролью физики,— по существу, уже началось и даже нашло свое отражение в самой программе текущей сессии. Академик Вавилов сказал: «Можно надеяться, например, что новые достижения в области советской микроскопии одинаково важны физикам, химикам, биологам, геологам и техникам и имеют существенный интерес также и для гуманитариев».

Много раз на сессии приходилось нам припоминать и чувствовать эти слова, необычайно потенциальные для мышления при всей их простоте и краткости. Они не только осветили последующую работу сессии, но и помогли ближе понять и додумать разрозненные впечатления от тех первых случайных докладов, какие пришлось услышать до ее открытия. Насколько важен сейчас, в послевоенный период, цикл физико-математических работ, проводимых в наших институтах и лабораториях, отлично понимает каждый советский человек. Мы — на пороге новой энергетики, мы — перед входом в новую эпоху человечества, когда силы, служащие людям, возрастут в неизмеримой, колоссальной степени. Уметь направить эти силы на служение культуре и процветание

общества, сделать их могучим трамплином в коммунизм, в мир передовых, более нравственных и справедливых производственных отношений для всего человечества — вот великая задача. Новая энергетика в руках Советского государства значит счастье и справедливость для всей нашей маленькой планеты,— маленькой, ибо недалек тот час, когда мы начнем путешествия в межпланетном пространстве... И разве могут «гуманитарии» быть в стороне от этого эпохального скачка физики в будущее? Конечно, нет, потому что неминуемо должны измениться самые масштабы мышления, система образов, режим человека,— а это не сможет не отразиться и на всех общественных науках.

Почти непосредственно после сессии был опубликован список новых сталинских лауреатов, премированных за работы последних двух лет войны — 1943—1944. И здесь мы видим подтверждение того большого перелома в сторону физико-технических наук, какого потребовала от нас война. Точная наука была «зрением» и «слухом» в защите нашей Родины; она была двигательным нервом машин, она дышала в полете истребителей, билась в моторах, рождала гениальных «катюш», проверяла самое бытие наше на точность; и мы, как никогда, на заводах, на шахтах, на производстве, в бесчисленных конструкторских мастерских ощущали ту абсолютную конкретность, ту жизненную добротность и достоверность, ту необходимую реальность вещей, которая родится из так называемых абстракций точных наук, из бесспорных истин математики. В сухом перечне институтов, имен, произведенных работ, лабораторий, заводов, заполнившем почти три газетные полосы, читатель не мог не почувствовать дыханья новой эры, словно опять годы войны прошли перед нами в их великой и трудной работе, в их могучем рывке в будущее. Кроме пятидесяти девяти виднейших ученых, получивших Сталинские премии за принципиально новые и важные работы (в их числе группа физиков во главе с Вавиловым, открывших и изучивших излучение электронов при движении их в веществе со сверхсветовой скоростью; К. А. Петржак и Г. Н. Флеров, открывшие явление самопроизвольного распада урана; В. А. Амбарцумян, создавший новую теорию рассеяния света в мутных средах; А. Н. Заварицкий — крупнейший вулканолог в нашей стране; К. М. Бы-

ков — один из самых блестящих экспериментаторов-физиологов мирового значения), кроме этих больших ученых, сталинскими лауреатами стало несколько сот человек, сумевших творчески перевести в жизнь, в производство, в машину то новое, что открывала наука. Сто с лишним конструкторов (и какие имена среди них!), сто с лишним инженеров, рабочие, директора заводов, участники геологических экспедиций, лаборанты заводских лабораторий получили первые и вторые премии; двести шестьдесят пять человек — третьи премии,— «за выдающиеся изобретения и коренные усовершенствования методов производственной работы за 1943—1944 годы». Достойная, справедливая историческая награда за подвиг, проделанный на производственном фронте! Биология отступает перед этим потоком техники. Правда, три ярких имени все же встают в этом списке, напоминая о победоносном пути в нашей стране и других тружеников науки, немало сделавших для победы над фашизмом: А. Г. Лорх, давший свое имя миллиардам пудов картофеля, создатель лучшего советского сорта картофеля, пробравшегося туда, где раньше не ели и не знали его; М. А. Лисавенко, любовно выпестовавший алтайскую яблоню, покрывший Алтай неведомыми там раньше фруктовыми садами, и К. Д. Филянский, выведший знаменитую породу кудрявого барана —«кавказского рамбулье», тонкорунные стада которого с библейской пластической важностью тысячами пасутся сейчас в предгорьях Азербайджана.

Но вернемся к нашему рассказу о сессии.

II

В день официального открытия, 15 января, и в следующий за ним день, 16 января, сразу в одни и те же часы, на всех концах радиусов сессии заработали отделения химических и биологических наук — с одной стороны; философии и истории, литературы и права — с другой.

Проблемы физики были вынесены на пленарные заседания. Три вечера подряд, 15-го, 16-го и 17-го, в уютном зале Дома ученых смотрели мы на экран и слушали о замечательных вещах. Маститый академик Н. Д. Папа-

лекси рассказал собранию, какая огромная работа велась во время солнечного затмения 9 июля 1945 года шестью научными институтами и сетью приемных станций Министерства связи по изучению радиофизическими методами так называемой ионосферы. Удалось отметить ряд новых явлений, не замеченных предыдущими наблюдениями,— искривление отражающего слоя, своеобразные пертурбационные эффекты в толще ионосферы. Загорался экран с сухим, неподвижным чертежом, палочка обводила чертеж неровным движеньем, слова доклада были глубоко специальны, но то, что лихорадочно наблюдали в небе шесть институтов, имело не только теоретическое значение. Огромны практические выводы этих наблюдений для всех видов применения радио — в связи, навигации, в геодезии, в дальней радиолокации.

Мы узнали о создании академиком А. А. Лебедевым нашего советского электронного микроскопа, этого «последнего слова» в методе исследования природы. Ведь электронный микроскоп может дать увеличение до ста тысяч раз, он позволяет рассматривать частички, состоящие в поперечнике из десяти — двадцати атомов, и если глядеть в него на человеческий волос, то, по определению одного из докладчиков на пленуме, этот волос показался бы чудовищем, толщиной в несколько метров. Мы узнали от члена-корреспондента Академии наук С. З. Рогинского, насколько плодотворно изучение природы катализаторов и каталитических процессов при помощи такого микроскопа. Катализаторы — душа металлургии, душа рафинировки металла; катализаторы — это таинственные агенты, присутствие которых в растворе притягивает и отталкивает различные элементы, помогая настраивать их на нужные для нас лады и гармонии, удалять из металлов ненужные примеси.

Какое обширное поле применения и в металлургии, и в самых разных отделах химии для изучения неразгаданной области коллоидов открывается для науки с помощью электронного микроскопа! В заключение этого дня сессии лауреат Сталинской премии Е. М. Брумберг (из Оптического ордена Ленина института) продемонстрировал особую, созданную им аппаратуру, позволяющую микроскопировать в ультрафиолетовых лучах. Получаются цветные изображения препаратов, и они делают возможным изучение тончайших структур.

Интересными были и последующие доклады двух членов-корреспондентов Академии наук. Очень большое практическое значение имеет сейчас изучение движения газа при больших дозвуковых скоростях. Историю изучения такого движения доложил А. И. Некрасов, рассказавший о самых последних методах, предложенных Христиановичем (1940) и самим докладчиком (1944), а также Сретенским и Седовым. В новую науку — газовую динамику, имеющую огромное значение для авиации,— московские ученые внесли, по словам докладчика, громадный вклад.

В годы войны потребовались особые материалы, обладающие определенными свойствами диэлектрической проницаемости. Требовались они для нашей радиотехники. Физический институт занялся специальными исследованиями, и в результате их на одном из заводов были изготовлены эти электроизолирующие материалы, а позднее удалось получить новый материал — титанат бария, чья диэлектрическая проницаемость превышает сто, то есть выше всех существующих электроизоляторов. О титанате бария мы услышали доклад Б. М. Вула.

Заглянем в работу отделений сессии.

Подморозило наконец-то! — и словно ветром смело порошу с неба, выглянуло косое зимнее солнце. По скользким, обледенелым сугробам дворами пробираемся к каменному зданию клинического типа, где работают крупнейшие творцы советской биологии, и без выбора попадаем на первый же доклад.

В небольшой аудитории тесно, стены покрыты диаграммами, у кафедры ящики с образцами почв, с сухими колосьями пшеницы. Докладчик — член-корреспондент Академии наук В. П. Бушинский, страстный пропагандист «коренной переделки почвы», о которой он и докладывает собранию.

Что такое «коренная переделка почвы»? Человек перелицовывает свой старый, изношенный пиджак, перевертывает изнанку на лицо — и вот у него опять новая одежда. Под верхним пахотным, культурным слоем почвы дремлет богатство неиспользованной, неусвояемой растениями земли, потому что корни до нее не доходят. А что если вот так перевернуть, перелицевать дерново-подзолистую почву, вспахать ее плантажным плугом до глубины в 60 сантиметров? В вывороченном на поверх-

ность «иллювиальном горизонте» окажется много иловатых и коллоидных частиц, это резко поднимет микробиологическую деятельность почвы, изменит весь ее водный, воздушный и пищевой режим. Корни растений смогут уйти глубже под землю (ускорив окультивирование тех слоев, которые раньше были ему недоступны); сорняки, загнанные в глубину, погибнут. А все вместе резко повысит урожайность, и притом не на один-два года, а на десятки, может быть, на сто лет.

В одном из совхозов Подольского района Московской области перед войной коренная переделка почвы дала 21,1 центнера ржи с гектара, а с обычной почвы снято лишь 13 центнеров — почти вдвое меньше; на опытном поле Тимирязевской академии озимой пшеницы на переделанной почве собрано по 40,8 центнера с гектара, а на обычной почве всего 29,3. В 1945 году на одном из московских опытных полей небывалый урожай овса на переделанной почве показался гигантским по сравнению с урожаем на обычной. Поистине, великан Гаргантюа из Рабле, а не колос.

Но как достигается такое революционное переворачивание почвы? Очень недешево. Нужно потратить горючего в три раза больше, чем при обыкновенной пахоте, не говоря уже о расходе человеческой энергии. И тут вытягиваются лица у слушателей. Тут начинаются возражения. Кое-кто из ученых, профессоров из Института почвоведения, выступает против Бушинского.

Мы вышли с доклада с противоречивым чувством. Трудно, дорого, да. Но разве не самое замечательное в докладе — это его апелляция к будущему? Идеи В. Бушинского, как и многих других наших практиков-ученых, настойчиво стучатся в физику, в наступающий, грядущий день человечества. Они как бы требуют: дайте нам новую энергию, потому что мы уже мыслим в ее масштабах. Сейчас вспахивать на аршин в глубину — звучит чуть ли не насмешкой над нашими реальными возможностями. Но завтра? Изменится энергетика, и трудное станет легчайшим, невозможное — обыденным.

Спешим поймать еще «кусочек» химии (доклад Бушинского длился очень долго). На улице свежая, льдистая зима охватывает приятной своей сухостью. Дышать — какое это наслаждение и человеку и земле!

Рядом, в отделении неорганической химии, заканчивал свое сообщение член-корреспондент Н. И. Никитин. Казалось бы, обыкновенному слушателю нечего тут делать: слишком специально даже название: «О низкозамещенных продуктах ксантогенирования и алкилирования целлюлозы». Но, ухватившись за единственно знакомое слово «целлюлоза», уже знает слушатель, что речь идет о важном. Ведь целлюлоза — один из многостороннейших фабрикатов, с колоссальным будущим, потому что применение его все растет и расширяется. Н. И. Никитин провел опыт обработки древесной целлюлозы более слабыми растворами натрия и меньшим количеством сероуглерода, чем это обычно принято в производстве искусственного волокна. Пользуясь при этом охлаждением до 12 градусов ниже нуля, Никитин получил новые коллоидные растворы, а из них — прозрачные пленки, имеющие сопротивление на разрыв (в просторечии — прочность) до четырех килограммов на квадратный миллиметр. Это имеет практическое значение в производстве искусственного шелкового волокна («вискозы»), потому что выдвигает полезную роль низких температур в экономии расхода щелочи и сероуглерода.

III

Каждый из нас знает сон, который снится не один раз: вы легко отталкиваетесь от земли и летите, летите, поджав ноги; вам кажется, это было всегда, это привычно, свойственно вам — летать; и вы удивляетесь, почему там, за пределами сна, забыли об этом свойстве, когда так просто, так естественно и отрадно человеку быть в состоянии полета.

Что этот сон, универсальный сон для множества людей,— не случайность, а как бы биологическое ощущение возможностей живого организма, возможностей не развитых, но естественных, эта мысль приходит вам в голову на самом интересном докладе второго дня сессии. Вы опять в уютной аудитории биологического отделения. Профессор Б. Б. Родендорф делает доклад об эволюции летательных особенностей у насекомых.

Казалось бы, какая глубоко специальная, далекая от всех бурь современности, тихая и кабинетная научная

тема! И каким бесстрастием и тишиной веет от ее методологии, когда профессор последовательно рассказывает об истории вопроса, о его литературе в восьмидесятых и девяностых годах, о различных этапах его собственных исследований... Но вглядитесь в лица слушающих: они зажжены необычайным интересом, таким, какой видишь в созерцании большого искусства, в познании большой идеи, в неожиданной встрече с открытием. Это интерес, способный возникнуть лишь перед тем, что ведет вас в будущее, связывает вчерашний день с завтрашним, двигает вашу мысль. Можно без преувеличения сказать, что доклад Б. Б. Родендорфа о своей работе (уже отмеченной и премированной за ее высокие достоинства) был именно таким мостом из прошлого в будущее, а в то же время наглядно проиллюстрировал слова академика С. И. Вавилова о том, что многие науки сейчас стремятся к новому синтезу, стучатся в физику и в какой-то степени связаны с физикой.

Попробуем «своими словами» передать существо доклада. Насекомое вовсе не сразу полетело, не родилось с крыльями, а выработало себе летательные принадлежности и научилось летать под влиянием среды и живой необходимости. В течение миллионолетий различные насекомые, овладевая полетом и совершенствуя его, именно с помощью полета захватывают сушу, превращаются в самую многочисленную группу ее обитателей.

Палеонтолог здесь приходит на помощь энтомологу: он разворачивает геологические эпохи с их отпечатками ископаемых и помогает установить развитие, изменение, вырождение летных приспособлений насекомого,— сколько тут аналогий с историей летательного механизма, сколько ярких догадок и сходств! Крылья насекомого несут двойную, противоречивую функцию: они должны его защищать (и, значит, быть крепкими, быть бронею), и они должны его возносить, держать в воздухе (и, значит, быть облегченными, быть гибкими). Эволюция их происходит под влиянием роли этих функций, их переменного значения для насекомого в зависимости от среды, где оно живет,— и мы видим, как утолщаются плотнеют два передних крыла, приобретая статичность, теряя летную функцию, и как переходит способность полета к двум ажурным, легким, прозрачным задним

крылышкам. Но не всегда так: вот группа насекомых с увеличившимися, развившими свое летное качество передними крыльями; а задача защиты, охраны тела достигается складыванием этих больших крыльев вдоль тела, как бы сразу одевающих тело. Здесь обе функции перестали противоречить друг другу; здесь качество, служащее полету,— *гибкость* — стало одновременно служить и *охране*. Противоречие оказалось снятым в более «передовой» механике полета.

Докладчик считает именно этот тип насекомых, носящий название «диптеригия», типом прогрессивным, типом с наиболее «усовершенствованной» техникой полета. Но есть еще другой любопытный тип — «птилоптеригия». К нему принадлежат насекомые самого мелкого, мельчайшего размера. Их крылышки в течение миллионов лет становятся все меньше, все тоньше, превращаются в волоски. Можно ли с такими крылышками забирать воздух, взмахивать, тянуть? Нет, они больше помогают держаться. Крохотные насекомые используют «вязкость» воздуха, стремятся не столько лететь, сколько ползать по воздуху, быть легче его. И летательная функция, как таковая, у них деградирует, вырождается. Докладчик называет этот тип регрессирующим. И опять вас невольно захватывает аналогия с историей аэродинамики,— какая параллель с планерным принципом, с летательными машинами: сперва — легче воздуха и позднее, с развитием самолетов,— тяжелее воздуха! Но сам докладчик под конец оправдывает смелые скачки мыслей в царство аналогии. Он говорит, что дальнейшие исследования могут стать плодотворными, если они будут вестись не в одиночку биологами и не в одиночку физиками и механиками, а *сообща* биологами, физиками и механиками, потому что лишь совместные усилия этих наук смогут привести к полному раскрытию тайны полета у насекомого. Технике полезно тут поучиться у природы, потому что и природа не получила свои дары готовыми, а выработала их в борьбе и диалектических противоречиях. Кончая доклад, Б. Б. Родендорф сказал слушателям: исследование ближайших вопросов полета насекомых (аэродинамические свойства крыльев, траектории их движений, природа вещества крыльев, сочлененья крыльев и груди, число взмахов и т. д.) *имеет прямую ценность для конструкторской мысли в авиастроении,*

особенно в деле разработки способов полета посредством машущих крыльев.

Как далеко это от традиционного типа ученого-энтомолога, не замечающего жизни, с его сеточкой для уловленья букашек,— стабильного типа в нашей и переводной беллетристике. С огромной силой и взаимопроникновенностью перекликнулись на сессии энтомология в лице профессора Б. Б. Родендорфа и физико-механика в лице члена-корреспондента Академии наук В. В. Голубева, сделавшего доклад «О тяге машущего крыла»...

IV

Опять приходится «бежать сломя голову», преодолевать пространство без крыльев, потому что в этот последний, насыщенный докладами день работы секций нужно заглянуть к историкам, философам и лингвистам — и так уж пропущено много интересного у них. Прошли два доклада: «Из истории русской науки 60—80-х годов XIX века» профессора Т. И. Райнова и «Чернышевский и естествознание» члена-корреспондента А. А. Максимова. В обоих докладах был раскрыт облик русского ученого — мыслителя, умеющего охватывать и синтезировать данные естествознания, математики, физики своего времени; ученого, чьей глубине способствует, а не мешает универсальность положительных знаний. Прошел доклад члена-корреспондента В. И. Чернышева об Ушинском — об отношении его к русскому языку и литературе. Время не позволило захватить их, как не позволило услышать и очень интересный доклад профессора П. И. Кушнера об этнографической территории и методах определения ее границ.

Мы на Волхонке, в нетопленной, большой комнате. Слушатели сидят в шубах. Негостеприимно встречает отделение литературы и языка. Но седые ученые — цвет нашей филологии — и заинтересованная, взволнованная молодежь, не боясь холода, высиживают здесь долгие часы, потому что никак не уйдешь: держит живое, пытливое русское слово. Председательствует академик И. И. Мещанинов; над ним, со стены, глядит на слушателей смуглое лицо Марра. Белый как лунь член-корреспондент Академии наук С. Е. Малов истолковывает одно

из самых темных и неразгаданных мест в «Слове о полку Игореве». Вот это место:

А уже ие вижу власти сильиого
и богатого
И многовой (иого) брата моего Ярослава
С Черниговскими былями,
(И) с могуты и с татраны,
И с шельбиры, и с топчаки,
И с ревугы, и с ольберы.

Об этом месте существует большая литература. Всячески объясняли его, и самое распространенное — это мнение, что тут перечислены вожди тюркского племени ковуев, живших на границе Киевской Руси со степными кочевниками; и что непонятные имена — могуты, шельбиры, татраны, топчаки, ревугы — не что иное, как названия отдельных родов этого племени. Но мнение это убедительно оспаривается С. Е. Маловым. Привлекая данные из тюркских, монгольских и других источников, тонко анализируя каждое из названий, докладчик опрозрачнивает перед нами эти забежавшие в древний русский памятник тюркские слова. И они оказываются вовсе не племенными названиями. Таинственный «олыбер» — это алп-ер, то есть витязь, богатырь; неведомый «шельбир», которого переводчики сделали «шатуном» и «бездельником»,— это арабский «джелеб», турецкий «челеби» — солдат, воинский чин; «топчаки» — военное звание (в современном турецком и уйгурском языках это пушкарь, артиллерист); «ревугы» и «могуты» — сильные, знатные, крепкие люди, и т. д. Нет возможности в коротком перечислении указать на блестящие этимологические анализы С. Е. Малова, напомнившие нам недавнюю, интересную по своим догадкам работу писателя А. К. Югова над текстом «Слова». Становится понятной вся фраза о «многовоином» — располагающем многими воинами, богатом Ярославе, у которого не только черниговские бояре, но и храбрые богатыри, воеводы, сильные, крепкие военные люди в войске. Родовые названия оказываются перечислением званий военных.

От Киевской Руси пропутешествуем в Китай, в глубины древнейшего Китая,— за много веков до нашей эры. На эстраде замечательный китаист, академик В. М. Алексеев. Профессия, превратившаяся в призвание

(или призвание, ставшее профессией), всегда влияет на человека, словно печать на него накладывает. И подобно тому, как арабист И. Ю. Крачковский коренными арабами принимался на Востоке за араба, в выразительной круглой голове академика Алексеева, в его живых черных глазах есть что-то, напоминающее китайского ученого. Сам докладчик, по-видимому, вовсе не хочет рассеивать это впечатление. Он кладет перед собою доклад, написанный на маленьких карточках, украшенных с оборотной стороны цветным китайским рисунком.

Тема доклада: «Новый метод и стиль переводов на европейские языки китайских древних классиков».

Докладчик, не торопясь, то возвышая, то понижая голос и перекладывая свои таблички, ведет речь о китайской классике, китайских священных книгах, создававшихся двадцать пять веков назад.

Нам надо хорошо знать своего соседа, надо хорошо знать его древнейшую культуру, но переводить с древнекитайского очень трудно. Докладчик рассказывает историю перевода китайской классики, вскрывает критически качество каждого перевода. Хороших почти нет, макулатуры — до 98 процентов. Издательства мало поощряют переводчиков, не стимулируют их: хорошие переводы обречены иной раз десятки лет ходить в рукописи. Невольно припоминаю, как трудно было мне достать замечательный труд о китайских двойниках «Хэ» — «Бессмертные двойники и даос с золотой жабой в свите бога богатства». Я наконец разыскала его в сборнике Музея антропологии и этнографии за 1918 год — с пленительными китайскими лубками и иероглифами — и с удивлением тогда подумала, почему не выпущен он для широкого читателя: ведь чтение его позволяет глубоко заглянуть в душу китайского человека...

«Но как же надо переводить китайскую классику?» — продолжает говорить докладчик. Древний китайский язык — это, в сущности, два языка — написанный и ненаписанный, слышимый и неслышимый. Если переводить точно, только с того, что написано, то получится прописная истина («прописная благоглупость», иронизирует академик Алексеев), и не поймет читатель, в чем же тут древнейшая мудрость и сложность. Нужен трамплин, мост между буквальным текстом и невидимым его спутником. Основываясь на своем опыте перевода Конфу-

ция, докладчик предлагает такой трамплин в лице комментатора XII—XIII веков Чжу Си (Чжу Цза). В самом тексте, как бы инкрустируя каждое слово оригинала комментарием Чжу Си, нужно давать этот трамплин, а не выносить его в сноску или примечание. И тогда простое начнет приобретать трехмерность, невидимое — звучать, глубокий смысл — раскрываться. Иллюстрируя свои слова, В. М. Алексеев заканчивает доклад чтением первой главы своего перевода. Он имеет как бы три плана: сперва выступает простая, как белый цвет, вязь древнего письма; потом, передавая своими словами комментарий Чжу Си, переводчик начинает расщеплять белый цвет на гамму оттенков, словно луч, пройдя через кристалл, разложился на цветной спектр. Слушая, невольно думаешь: не одна китайская классика имеет этот неслышимый язык. Как хорошо было бы методом В. М. Алексеева перевести многие — и не китайские — книги, например, «Сокровищницу тайн» Низами, чтоб приблизить и сделать понятной нам душу другого народа, далекой эпохи, чужого миросозерцания. И как разовьют такие переводы слух читателя, уча его слушать сквозь язык опыт народа, создавшего язык!

А теперь опять скачок — и на этот раз очень резкий. Мы вышли опять на Волхонку; пройти совсем недалеко — сотню шагов. Поднимаемся по лестнице в новую аудиторию. Здесь работает отделение истории и философии. На председательском месте академик В. П. Волгин. В зале полно. Весь цвет — за малым исключением — советской исторической науки собран здесь. Спиною к окну, в позе внимательного слушателя — академик Е. В. Тарле, а рядом — живой и энергичный докладчик, доктор исторических наук профессор Ф. В. Потемкин.

Мы попали на доклад Потемкина, уже побывав на многих других докладах, прослушав и физиков, и химиков, и биологов. Каков же вклад экономистов в работу советской науки? Докладчик сам жалуется на его незначительность.

Он горячо призывает к работе «историков-энтузиастов», тех, кто интересуется у нас экономической историей; он указывает на недостаточность у нас изучения собственной практики социалистического хозяйства, огромного опыта войны, на малое количество изданий, отсутствие руководящего центра в лице своего института.

Призыв его нашел отклик в аудитории. Хорошо и красиво, как всегда, говорил Тарле. Он привел интересный пример, как в одном индийском журнале автор индус высказывает пожелание, чтобы русские историки пересмотрели английские работы по Западной Индонезии... От русских историков-экономистов ждут исследований многие колониальные народы, которые сами не могут сделать этого; они хотят, чтобы появились книги об их прошлом, их культуре, их истории. Непочатый край работы перед советскими историками-экономистами. В заключительном слове академик В. П. Волгин указал на органическое явление роста наших институтов, «отпочковывающих» от себя новые и новые исследовательские учреждения. Он признал, что пришла, по-видимому, пора какого-то закономерного «отпочкования» от Института истории специального исследовательского учреждения по *экономической* истории.

Организационные вопросы на сессии были выделены в особый параграф повестки и даже в особые дни заседаний, и это была большая и важная сторона работы сессии. Решено было, между прочим, возобновить традицию ежегодного общего собрания Академии наук, и в выполнение этого нового решения общее собрание Академии наук — в своем роде однодневная вторая сессия — уже состоялось в феврале. На нем выступили с отчетными докладами о работе Академии наук за 1945 год академик Н. Г. Бруевич и академик В. А. Фок, только что получивший Сталинскую премию за исследования по теории распространения радиоволн.

...Как мало удалось нам передать из того большого и разнообразного богатства, которое ляжет мостом к великому творчеству первой послевоенной пятилетки!

На сесии чествовали Героя Социалистического Труда, блестящего нашего металлурга, А. А. Байкова, по поводу исполнившегося семидесятипятилетия со дня рождения. Прочувствованную и теплую речь о нем на пленарном заседании произнес академик Н. Т. Гудцов.

На сессии член-корреспондент Н. А. Максимов сделал обстоятельный доклад о жизненном пути одного из творцов нашей агрикультуры академика Д. Н. Прянишникова. На сессии утверждался план научно-исследовательских работ Академии на 1946 год, об этом доложил академик Н. Г. Бруевич.

Заключило сессию пленарное заседание, посвященное 2000-летию со дня смерти Лукреция Кара. К этому дню Академия наук переиздала в прекрасном переводе Ф. А. Петровского бессмертную поэму Лукреция «О природе вещей». Один за другим на трибуну всходили филолог, философ, физик, и каждый со своей точки зрения проанализировал Лукреция, и каждый неизбежно должен был коснуться того великого единства «поэта, ученого и мыслителя» в Лукреции, которое дано было человечеству на заре научного мышления и суждено ему снова и по-новому в наступающем светлом будущем.

1946

«ОДИННАДЦАТАЯ» ШОСТАКОВИЧА

Письмо из Ленинграда

В обстановке необычной торжественности, в тишине, позволяющей чувствовать всю глубину звука, слушали ленинградцы новую симфонию Шостаковича. В зале сидели и старые люди, лично пережившие трагедию 9 января, и молодежь, знающая ее только по книгам, и незримо присутствовал сам бессмертный город, воздвигнутый Петром на воде и граните и освященный именем Ленина. Первая часть симфонии, представляющая как бы грандиозную экспозицию — расстановку противоборствующих сил,— названа композитором «Дворцовая площадь»,— как мне кажется, с совершенной художественной точностью.

Очень медленно и очень длительно поднимаются из оркестра щемящие, вдруг сразу кажущиеся знакомыми, протяжные звуки. Память приводит вам старый Петербург, раннее снежное утро, безлюдье на площади и — давно уже похороненное где-то в глубине пережитого, но пробужденное опять магией искусства — чувство отчужденности и страха. Те, кому до революции пришлось жить и работать в царской столице Петербурге — жить пасынком и работать «в поте лица»,— не могут не узнать в медленных звуках adagio это гнетущее чувство страха и отчужденности. В родном городе — ты не дома; броня самодержавия, словно скользкие, жесткие чешуйки рептилии, сковывает стены дворцов, решетки скверов, отчуждая и отдаляя их от тебя, от народа. Призрак Гороховой, рыжее пальто шпика, чугунное лицо часового в полосатой будке; бычий, налитый кровью, неподвижный

взгляд раскормленного городового; четкий и мертвенный шаг взвода, марширующего куда-то на смену; удар колокола — не «малиновый», как в Москве, не сдобный и жирный, а какой-то тощий и тонкий, словно «аршин проглотил»,— вот обязательные слагаемые утренних впечатлений торопившегося на работу петербуржца. Зримо и с потрясающей силой воскрешают первые звуки симфонии этот облик царского Петербурга в пустынное снежное утро. Звуки становятся голосами, оркестровые тембры получают живую видимость отныне, подобно тому, как сухая стуколка маршеобразной темы из Седьмой симфонии срослась в вашем представлении с нашествием гитлеровских полчищ,— это протяженное адажио навеки срастается с памятью о царизме.

Но под скользкой чешуей рептилии — прекрасный плененный город. Его строгие линии поруганы, его красота растлена, его ритм обезображен, и руки народа, создавшего эту красоту,— в цепях, а сердце сжато холодом. Но город есть, есть русский народ, и под глубиной услышанных вами звуков, за их пронзительной поверхностью чувствуете вы иную, живую реальность. Ее поднимают флейты. Простая, не стыдящаяся быть прекрасной мелодия запевает над пустыней звуков. Хотя эта мелодия возникает совсем безоружная, совсем нагая в своей душевной доверчивости и ей как будто не устоять перед мертвящей силой отрицания, музыка,— и это везде и всюду у Шостаковича, как основное качество его большого творчества, его необыкновенного дара полифонического развития темы,— музыка убеждает вас в ее грядущей победе.

Здесь мне хочется сделать маленькое отступление. Нет, на мой взгляд, ничего более ошибочного, нежели представление о том, будто «отрицательное» в музыке Шостаковича изображается сильнее, чем «положительное». Почерк композитора, его неотъемлемая особенность — не столько в красках или мелодии, сколько в своеобразии развития темы, в оригинальности его «синтаксиса», если сравнить музыку с искусством речи. И вот именно характер развития, развертывания всего потенциала музыкальной мысли у Шостаковича отличается такой непреодолимой логикой, так мощно энергичен, несравненно бодр и позитивен, что в любой его теме, даже и посвященной скорби или гибели, энергичное развитие

самой этой темы всей своей логикой, всей надежностью железного ритма, всей бодрящей остротой гармонии всегда производит на слушателя глубоко оптимистическое, укрепляющее и взбадривающее действие. Так в Седьмой симфонии победа воплощена вовсе не в финале, а уже в самом характере разоблачающего развития бездушной темы гитлеризма. Так и в трагической второй части Одиннадцатой симфонии, уже в теме расстрела происходит ее оптимистическая трансформация.

Медленно собирается безоружный народ на площадь. Он несет иконы, хоругви, портреты «царя-батюшки». Он полон веры в «заступника». А там, откуда глядят холодные стены дворца, идет другое медленное движение. Народ безоружен, но его много, он растет, нарастает, он — масса, и перед ним, безоружным, встает во дворце ужас. Чувство страха переместилось. В ясное безлюдное утро звуки Дворцовой площади рождали страх у одиноких прохожих. На площади, перед живой шевелящейся массой народа страх проникает во дворец, в душу коронованного палача. Начинается сцена расстрела безоружного народа, и с поразительным, баховским мастерством, словно многотрубием гигантского органа,— железная сцепленность фуги, встающая над морем звуковых красок, провозглашает обреченность палача перед лицом истекающих кровью жертв. Из отчаяния родится прозрение. Над усыпанной трупами площадью чисто, капельно, звук за звуком падают нотки — не скорби, не состраданья, а ясности исторического прозрения.

Третья часть начинается тихим похоронным маршем революционной песни «Вы жертвою пали в борьбе роковой». Композитор, всегда цитирующий необыкновенно лаконично и тут же видоизменяющий цитируемую мелодию,— здесь как бы нарочито точен и подробен. Почему? Мне кажется, он разворачивает перед слушателями все удивительное своеобразие этого русского «реквиема», так не похожего ни на один классический похоронный марш. В самом деле,— вспомним скорбные звуки Шопена, затаенное горе второй части (Allegretto) бетховенской Седьмой симфонии, часто исполняемой на похоронах, ведь в них главное — это тема величавого примирения с необходимостью смерти, как закона природы. Недаром похоронные марши были атрибутом церковного обряда похорон, как сама панихида. Но революционная русская

песнь не панихида, в ее скорби есть воззвание к оставшимся в живых, она не примиряет и не провожает, а дает обет над гробом. Длительным изложением песни Шостакович как бы призывает нас обратить на это внимание и, по окончании подробной цитаты, вдруг, неожиданным поворотом, начинает развивать заложенную в мелодии революционную мощь. Не зря ужас проник в царский дворец. Не зря погнала фуга, неотвратимо сцепляя их в роковой обреченности, скованные строи темных царских слуг. Не зря вновь и вновь возникает в оркестре видение Дворцовой площади — из тупо угрожающего в первой части оно становится все яснее, прозрачней и отчетливей, и сквозь «чешуйки» самодержавия проступают чистые очертания растреллиевских линий Зимнего...

Четвертая часть «Набат», в которую органично переходит третья часть симфонии, сливает с огромной силой все исторические голоса великой, пережитой нами эпохи, звучащие в революционных, рожденных народными массами песнях. Она ставит перед нами проблему исторических синтезов в музыке. Кто знает, сколько забытых песен, рожденных безыменным народным творчеством, сколько мелодий, порожденных особым массовым фольклором на войне, в революциях, в ссылках, в тюрьмах, в битвах, получило свое бессмертие в крупнейших симфониях прошлого? Кто, кроме людей моего поколения или чуть помоложе, помнит сейчас наши революционные песни, так любимые рабочей и студенческой молодежью полвека назад! А ведь пройдет еще полвека — и забвение унесет,— унесло бы их из памяти, если б не гений музыки, вобравший и синтезировавший голоса страдающего, борющегося, живого человечества, прокладывающего дорогу народам из прошлого в будущее...

Затаив дыхание, слушали ленинградцы вдохновенную повесть о таком далеком и все же недавнем прошлом своего родного города. Казалось, сам бессмертный город слушает ее за стеной, вспоминая не только 1905 год, но и зори революции, голос родного Ильича с броневика, выстрел «Авроры»,— первые отблески пламени, начавшего свой огненный путь по России именно отсюда, с этих воспетых Пушкиным величавых гранитов. И я не помню ни одного концерта, который окончился бы таким нескончаемым, единодушным триумфом, какой устроили ленинградцы своему любимому композитору.

Рассказав о концерте, необходимо упомянуть о высоком искусстве дирижера Е. А. Мравинского. В этот вечер он поистине превзошел самого себя. С огромнейшим мастерством он расчленил перед слушателями большое историческое полотно симфонии, все четыре части которой по воле автора исполняются без перерыва. Но, расчленяя, он в то же время обнажил перед нами глубокую органичность переходов одной части в другую и нерасторжимость связи их в одно могучее целое. Нельзя было не наслаждаться точностью и изяществом его дирижерского жеста, глубиной и продуманностью его трактовки. Ленинградский оркестр играл с необычайным одушевлением, словно отдыхая на предельной чистоте оркестровки, типичной для симфонизма Шостаковича. Кристально-прозрачные гармонии, при всей остроте их, были радостью для исполнителей. И слушателям передавались та естественность, то вдохновение, с каким каждый голос в оркестре вливал себя в общий могучий поток симфонии.

Русская музыкальная классика обогатилась еще одной жемчужиной.

1957

ПРАЗДНИК ЛЮБИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ

В Москве прошли пять концертов Государственного симфонического оркестра Чешской филармонии, одного из наиболее слаженных и совершенных оркестров в мире.

Пять вечеров подряд знакомились мы с крупнейшими произведениями чехословацкой музыки в исполнении самих чехов, покоренные, взятые в плен всеми особенностями этой музыки, ее широкой и задушевной певучестью, ее уважением к собственным национальным традициям в поисках новых форм и ее умением, пользуясь народным фольклором, создавать пластические, зримые образы.

Пражане привезли к нам тщательно разработанную очень большую и, надо сказать, очень нелегкую для усвоения программу, включив в нее наиболее значительные произведения чешской музыки XIX и XX столетий. Мы прослушали три вещи Бедржиха Сметаны, две симфонии и «Карнавал» Антонина Дворжака, сказку-сюиту Иозефа Сука, рапсодию «Тарас Бульба» Леоша Яначека, концерт для фагота с оркестром И. Пауера, «В Татрах» В. Новака, «Метаморфозы» Е. Сухоня. К ним следует еще прибавить четыре «Славянских танца» Дворжака, сыгранные оркестром на бис (если не ошибаюсь, танцы 1, 15, 10 и 9). Кроме пятнадцати произведений чехословацких композиторов, Пражский оркестр показал нам три вещи западных (Густава Малера, Поля Дюка, Рихарда Штрауса) и две русских (Глинки, Мусоргского).

Такая серьезная и обширная программа предъявила и к нашему слушателю серьезные и большие требования. Вот почему успех Пражского оркестра был не совсем

обычен: он пришел не сразу, но постепенно нарастал с концерта на концерт и завершился настоящим триумфом для пражан. Со второго концерта их заставляли,— редчайшая вещь на симфонических вечерах,— играть по два раза на бис.

Огромную долю в этом успехе завоевал сам оркестр, его высокая музыкальная культура, совершенная чистота его игры и такая глубина подачи каждого звука и каждого оркестрового тембра, словно это пела перед вами сама душа инструментов. Внимание ваше могло выделить из слитного целого каждый голос и слышать, как он поет один, а в то же время хранить и ни на мгновенье не терять единого образа всей вещи, подниматься и опускаться на слитной ее волне. И все неисчерпаемые возможности такого совершенного оркестра сумел раскрыть перед нами Карел Шейна, дирижировавший первыми тремя концертами.

Задумываясь над особенностями его дирижерского мастерства, я хочу в первую очередь выделить необыкновенную дидактичность (в высоком смысле этого слова) Карела Шейна как дирижера.

Дидактика — великое искусство, быть может, венец всякого вообще искусства, поскольку научить другого чему-нибудь можно только тогда, когда сам это знаешь в совершенстве. Отец всей современной дидактики Ян Амос Коменский считал, что при передаче знания нужно первыми впечатлениями коснуться не чувств, а интеллекта, дотронуться ими до корня человеческого бытия — сознания,— и оттуда, из пробужденного мышления, питать чувства и память. Он очень образно сравнил это с питанием дерева:

«Так и дерево, питаясь дождем небесным или соком земным, впитывает эту пищу не наружной поверхностью коры, но проводит ее в себя через поры внутренних частей. Поэтому и садовник поливает не ветви, но корни... Если, таким образом, и образователь юношества будет преимущественно занят корнем знания, то есть познавательной способностью, то жизненная сила легко перейдет в ствол, память, и, наконец, покажутся цветы и плоды — свободное употребление языка и опытность в пользовании вещами».

Казалось бы, в применении к такому чувственному искусству, как музыка, эти слова звучат парадоксом.

А между тем я все время вспоминала их, следя за дирижерским жестом Карела Шейна. Палочка в его руке походила на кисть художника, производящего у вас на глазах зримый анализ всех составных частей исполняемой вещи, как бы раскрывающего тайну магического писания звуками реальных образов музыкального построения. Он дотрагивался до «корня» вашего бытия, пробуждал ваше мышленье; и оттого, что мысль ваша начинала свою работу, наслаждение музыкой становилось острее, тоньше, человечней, словно умная книга вела за собой, страница за страницей. Что-то в манере дирижированья Карела Шейна напомнило мне большое искусство Курта Зандерлинга — лучшего, на мой взгляд, дирижера нашей страны. После каждого из первых трех концертов мы уходили глубоко и всесторонне обогащенными,— перед нами последовательно раскрывался характер чехословацкой музыки.

Надо сказать, что дидактичной манере дирижированья Карела Шейна очень помог и выбор произведений, исполнявшихся на концерте. Почти все они, за ничтожным исключением, принадлежали к разряду так называемой программной музыки, заранее приводящей в помощь звуку определенные зрительные и словесные ассоциации, и мы, анализируя слухом поток возникающих перед нами музыкальных образов, находились в то же время в живом мире образов чешской мифологии, истории и фольклора. Чешская музыка в этом смысле удивительно пластична. И Карел Шейна сумел предельно выявить это ее пластическое качество,— особенно в бессмертном симфоническом цикле Сметаны «Моя родина».

Мы увидели, слушая, и древние стены Вышеграда, и лунные блики на речных струях Влтавы, и коней мчащегося отряда витязя Цтирада. Воображение рисовало нам стоянку «божьих воинов» в Таборе, зеленые склоны Бланика, в недрах которого спят закованные в скале «прометеи» чешской гуситской саги, а пастушок на полянке переговаривается в дудочку с горным эхом,— все это пластически зримо, под смычком дирижера, вырастало перед нами, как очень глубокое, очень интимное познавание существа чешской музыки, чешской души народной...

Двумя последними концертами дирижировал Карел Анчерл. В его лице москвичи познакомились уже с совершенно другим типом дирижерского мастерства. Вместо

спокойного и сдержанного жеста Шейна перед нами возник нервный, остро эмоциональный артист. Вместо углубленного музыкального анализа — одержимость стихией музыки, любовь к приподнятости, нарядности, пышности. Москвичей очаровала в его программе изумительная по своей лирической красоте Восьмая симфония А. Дворжака. Но триумфом его как дирижера было исполнение «Тиля Эйленшпигеля» Рихарда Штрауса. Подобно тому как Шейна глубоко раскрыл перед нами родственное чехам мелодическое богатство Четвертой симфонии Малера, Анчерл буквально обрушил на нас сверкающий каскад остроумия, изящества и трагического комизма гениальной вещи Рихарда Штрауса. Успех «Тиля» на четвертом концерте был так велик, что Анчерлу пришлось целиком повторить его на бис.

Что же еще добавить? Говорят, что «аппетит приходит во время еды». Каким большим открытием могло бы стать для наших советских слушателей знакомство с более ранней чехословацкой музыкой, с чистыми симфоническими произведениями XVII, XVIII, начала XIX века,— с симфонией ре-мажор Франтишека Мича, с концертом для двух роялей и оркестра Яна Душика, с симфонией ре-мажор Яна Воржишека, увертюрой к опере «Ezio» Иозефа Мысливечека... Но это, как и все необозримое богатство старинной чешской музыки, к сожалению, редко удается услышать даже и в самой Чехословакии!

2/III 1957

КИНОИСКУССТВО И ЖИЗНЬ

I

Все чаще слышится на Западе слово «кризис» в применении к кинематографии. Не только потому, что с большим экраном мощно соперничает телевизор. Сама кинопродукция уже перестает привлекать зрителя, как привлекала прежде. Чем больше ухищряются разные предприниматели угождать тому, что они считают «вкусом публики», тем холоднее становится сама публика. В трудные исторические эпохи, когда жизнь вокруг ломает привычные нормы, когда все трудовое человечество страстно стремится к миру и активно за него борется,— жизнь, сама жизнь требует своего осмысления в искусстве, глубокого мыслящего отражения ее,— и зритель хочет уйти из кинотеатра не только развлеченным. Он хочет быть охваченным большим настоящим чувством, хочет зова, подъема, примера, поддержки, помощи от искусства. Передовые деятели кинематографии это понимают. Но любопытно, что и сами кинопредприниматели, так называемые «продюсеры», почувствовали, что зритель захотел жизни, жизненной правды, глубоких человеческих чувств, связанных с коренными потребностями человечества, и пытаются аляповато фальсифицировать вещи, которые никак не вмещаются в старые формы условного сценария, разрывают его и наглядно показывают

бесполезность и бесплодность массовой буржуазной кинопродукции. Изучить процессы, происходящие сейчас в мировой кинематографии, необычайно интересно.

Мне посчастливилось пересмотреть почти все, что показал десятый международный кинофестиваль в Карловых Варах летом 1957 года,— иными словами, как бы окунуться в сегодняшний день кинематографии всего мира. Это было необыкновенно поучительно и помогло подойти к некоторым очень важным выводам. Я поделюсь ими с читателями, последовательно рассказав о том, что удалось повидать.

Искусство кино — наиболее международное из всех искусств по степени общительности своих многонациональных работников; его продукция все время «соревнуется» на многочисленных деловых встречах, где она получает профессиональную оценку, поощрение в виде премий, покупается, влияет на мастеров других стран, подвергается в свою очередь влияниям. Не значит ли это, что все международные кинофестивали выполняют одну и ту же роль? Вот как определил их характер и сущность чешский профессор А. Броусил, ректор Академии художеств в Праге и председатель жюри карлововарского кинофестиваля:

— Венеция,— сказал он журналистам,— хочет стать местом показа уникальных фильмов. Отсюда та особенность, что ее приемочная комиссия, отбирая картины для показа, уже принимает на себя некоторые функции жюри. Канны наоборот. В Каннах стремятся к привлечению как можно большего количества участников. Но карлововарский фестиваль протекает под идейным лозунгом. Его цель — укрепить благородные отношения между народами, упрочить дружбу между нациями.

В этих очень деликатно высказанных определениях, если продолжить их, встает перед нами лицо каждого кинофестиваля: некоторый аристократизм венецианского, предвосхищающий массовую оценку картин зрительным залом; некоторая нетребовательность каннского, где элемент коммерческий становится более заметным; и, наконец, большое международное дело карлововарского, вносящего свой вклад в борьбу за мир и в борьбу против напряженности и недоверия, существующих между некоторыми странами. Главным моментом отбора картин на карлововарский фестиваль служит поэтому идейная сто-

рона: не противоречит ли картина лозунгу мира и дружбы, не служит ли вражде и взаимной обиде? Если служит, то не надо ее, просьба заменить другой.

Разные страны по-разному отозвались на эту принципиальную сторону карлововарского фестиваля. Дания, Финляндия, Бельгия, кое-кто еще серьезно откликнулись на приглашение, выбрав из того, что они имели в прошлом году, самое честное и передовое. Другие, как, к сожалению, Англия, прислали образцы своей салонной комедии, так называемый «кассовый» товар, поддерживающий кинокоммерцию (хотя в прошлом году у англичан имелись и по-настоящему хорошие фильмы). Третьи, наконец, и совсем ничего не прислали, кроме небольшого документального фильма о школе ритмо-пластики,— так поступила Америка. Зато Япония, Индия и целый ряд восточных стран, где искусство кино еще только начинается, отозвались присылкой того, чем они гордятся, а для стран социалистического лагеря кинофестиваль превратился в показ больших и подлинных достижений. Выходивший в Карловых Варах ежедневно на шести языках бюллетень остроумно и тонко направлял весь поток информации в сторону дружбы, обмена опытом, познания друг друга. Вместе со своими фильмами приехали делегации их участников. Артисты с мировым именем поднимались на сцену до показа фильма и коротко сообщали о положении кинематографии в их стране. Многое из этих сообщений было сугубо интересно. Кое-кто из нас представляет себе, например, кинопромышленность Индии или Японии еще очень молодой, и было неожиданно узнать, что в Индии ежегодно выпускаются на экран двести пятьдесят картин и, кроме тех реалистических, которые мы видели у себя в Советском Союзе, есть масса рафинированных, отвечающих западному вкусу, как будто сделанных под влиянием самых крайних течений современной кинематографии. Неожиданностью была и высокая продуктивность Японии, ее загруженность американской продукцией и стремление ее передовых кругов освободиться от американизма. Кинотехника, работа операторов, режиссура в этих обеих странах, с которыми мы лишь недавно начали знакомиться, показали нам, что цифры выпускаемых в год фильмов покоятся на очень развитой, очень уже опытной производственной основе.

Индия вышла на фестиваль с показом очень сильной картины «Под покровом ночи» с замечательной игрой Раджа Капура в центральной роли и получила «Большую премию». Безработный, брошенный на улицы огромного города, ищет пропитания. Днем этот город кажется частью цивилизованного мира; люди действуют в нем по законам морали, все как будто устойчиво, логично, опирается на вековые общественные нормы. Но вот на дневной город наброшен покров темноты и — темнота ночи срывает маски с людей, обнажает жизнь, как она есть. Цивилизованный город превращается в жуткие джунгли. Бедняк идет по этому миру, где стены как бы становятся прозрачными и вся механика взаимных обманов, преступлений, садизма, низких страстей раскрывается перед ним. Таков основной сюжетный стержень большой индийской картины. В ней нет смеха, нет прямой обличительной сатиры. Она создана из тончайших психологических нюансов игры человека в центре ее — Раджа Капура, безработного, внезапно познающего мир, как он есть. Оператор и сценарист использовали в этой картине все богатство древнеиндийской философской символики, все традиции своего своеобразного мышления. И тут произошло нечто примечательное, похожее примерно на то, что не так давно случилось с картинами Сарьяна. Глубоко национальное понимание материального мира, свой, народный способ видеть и постигать его, ставший уже традиционным,— европейскому человеку, созерцающему это искусство Востока, вдруг представились рафинированным модернистическим подражанием западной манере... В критике раздались голоса: да это влияние французов, Ренэ Клэра! Да это прямое подражание фильмам Чарли Чаплина! Но оказалось, что молодой режиссер индийского фильма понятия не имел о Ренэ Клэре и никому не подражал, а критики не учли национальных индийских традиций. И фильм, казалось бы не имевший сатирической направленности, заставил зрителя содрогнуться перед страшными противоречиями и бесчеловечной сущностью капиталистического города.

Обличением старого мира стал и второй фильм, по своим высоким идейным и художественным достоинствам признанный на фестивале равноценным индийскому (для него была специально создана «особая премия жю-

ри»),— китайский фильм «Моление о счастье» (по известному рассказу Лу Синя). Первые показанные нам китайские фильмы создали у нас представление о кинематографии Китая, как еще очень молодой. Но она сделала поистине гигантский скачок вперед. В цифрах этот скачок выражается так: в первый год освобождения Китая 700 киноустановок на всю необъятную страну; к марту 1957 года их уже 9168; и если в 1950 году в них перебывало 156 миллионов зрителей, то к концу 1956 года число кинопосещений намного перевалило миллиард. С такой же быстротой растут студии, создан Институт киноискусства, освоены цветной фильм, широкий экран. И все это — на протяжении пяти-шести лет! Но сильнее и ярче всяких цифр заговорило о себе китайское искусство, когда перед нами осветился экран.

Перед зрительным залом прошла чистая и глубокая история о девушке, павшей жертвой бесчеловечных древних обычаев и тяжелого общественного строя. В центре картины — замечательная китайская актриса Бай Ян. Мы видим ее запуганной, ушедшей в себя девочкой-вдовой; видим расцвет ее молодости, рождающуюся любовь к новому мужу; видим ее постепенное сумасшествие после двойного удара — потери второго мужа и ребенка; ее одиночество в безжалостном окружении суеверных хозяев без единого проблеска участия и милосердия к себе,— ее медленное физическое угасание, когда она нищенкой бредет по снегу.

На протяжении двух часов лицо актрисы меняется перед нами,— сперва постепенно, словно цветок под солнцем, оно расцветает, дивно хорошеет, дает ощущение полного человеческого счастья, потом проступают на нем разрушительные признаки психической болезни, глаза застывают, движение лицевых мускулов замирает; и, наконец, мы видим это молодое лицо стареющим на наших глазах,— заваливаются виски, опухают губы, грубеют от ветра, дождя и снега черты,— вы остро чувствуете время,— всю долгую прошедшую человеческую жизнь, вам кажется, годы живете вы жизнью этой китайской женщины,— а прошло только два часа! Трудно передать, каким высоким наслаждением одарила нас эта тонкая и прекрасная картина. Конечно, успех ее обусловлен и превосходными красками (фильм цветной), и экономным сценарием, ведущим действие сплошь по главной линии

и смело отсекающим все побочные эпизоды, и умение режиссера обойтись без специальных этнографических и бытовых подробностей,— быт и обычаи показаны не сами по себе, а только через судьбу героини. Но сила его совсем не в технике, не в постигнутой высокой культуре киноискусства, а прежде всего — в глубине жизненной правды и в потрясающей игре артистки.

И Радж Капур и Бай Ян поставили перед зрительным залом во всей остроте проблему ведущего актера кино. Надо сказать, что именно на этой проблеме резко сказалась разница между откровенно реакционными фильмами капиталистических стран и всеми передовыми фильмами мира. Если первые делают ставку на «звезду» мужского или женского пола, всегда играющую только себя и затмевающую остальных актеров, то подлинно ведущий актер передового кино, которому принадлежит будущее, это актер, освещающий *всех* остальных участников фильма, помогающий им занять — каждой и каждому — свое место. Только актер, создающий и держащий своею игрою высокое качество ансамбля,— всего коллектива играющих,— и может быть назван ведущим. Именно такою игрою очаровали нас Радж Капур и Бай Ян, осветившие собой игру каждого, самого маленького актера в своих фильмах.

К этим двум картинам, поделившим две большие премии, примыкают три других, вышедших на главные премии: венгерский — по новелле Ференца Мора «Господин профессор Ганнибал»; советский — «Высота» и немецкий из ГДР — «Лисси».

Казалось бы, что может быть дальше наших дней, чем изыскания о причинах смерти полководца Ганнибала? А венгры показали нам,— силой очень талантливого актера Э. Сабо,— какой жгучей современностью могут они обернуться. Фашистская Венгрия времени Хорти. В ней живет маленький, скромный, вечно нуждающийся человечек с женой и четырьмя дочерьми, профессор латыни в средней школе. Он написал исследование о смерти Ганнибала. За его скромность и безответность коллеги и ученики прозвали его «профессором Ганнибалом». Он любит правду и ученикам своим рассказывает о любившем правду Эпаминонде, рассказывает так горячо, так заразительно, что несколько ребят решают жить «по Эпаминонду» и никогда не лгать.

Но вот исследование маленького профессора подвергнуто сомнению; оно провозглашено идеологически вредным; против профессора поднята кампания, как против врага «национального дела венгров», их борьбы за чистоту расы! Маленький человек мечется по городу, он ни в ком не находит поддержки. Он попадает на грандиозный митинг, где его друг и коллега перед тысячными толпами громогласно провозглашает книгу его преступлением против нации. Каменные уступы, переходы и лестницы огромного стадиона окружают его, завертывают в свое бесконечное круговое движение. Он мечется туда и сюда, и отовсюду, куда кинулся, ища спасения, черным, кишащим потоком бежит ему навстречу толпа, жаждущая кровавой расправы над ним.

Отчаянно вырываясь, он взбегает на трибуну, к тому, кто его предал, но кто еще вчера был его другом. И тот указывает путь к спасению, быстро подталкивая его к микрофону: покаяться, признать, что его теория неверна, вредна, гибельна, противоречит усилиям венгров в борьбе за чистоту расы... «Сам Ганнибал стоял за эту чистоту...»

Маленький профессор, задыхаясь, облитый крупными каплями пота, кается. Но тут снизу, навстречу ему, смотрят три пары честных детских глаз, смотрят в безмолвном изумлении и горечи: это ребята из школы, поверившие, что надо, «как Эпаминонд», всегда говорить правду. И взгляд их пронзает профессора. Он стоит на краю каменного парапета. Впереди — ложь и ложь, за ним — дыхание толпы требующей расправы. Предел жизни — и только один честный выход он делает шаг в пустоту, летит с парапета и разбивается насмерть на камнях.

С большим человеческим интересом смотрелся на кинофестивале и наш фильм «Высота». Советские зрители хорошо его знают. Свежесть и чистота новых общественных отношений, высокая мораль рабочих людей, дружная игра молодого коллектива, превосходная работа оператора — все это подкупило зрителей и доставило им, как сказал мне один из журналистов, целостное удовольствие от всей картины. Критика у нас уже писала о ней. Мне же хочется добавить лишь об одном личном впечатлении: сила лучших советских фильмов, как мне кажется,— помимо всего прочего,— состоит в том естественном свойстве их сюжетов и действия, когда дурное,

антижизненное, чуждое нам (олицетворенное в каком-либо отрицательном персонаже) как бы выталкивается из коллектива всей атмосферой картины (или романа), подобно тому как выталкивает сам глаз попавшую в него соринку. Впечатление такой внутренней, похожей на инстинктивную, работы фильма дается и «Высотой»; и этим качеством, покорившим внимание зрительного зала, передалась зрителю великая жизненная сила нового общества....

«Лисси», третий фильм, вышедший на главную премию,— строгая и скромная, добротно сделанная картина по роману Вейскопфа о первых годах начинающейся фашизации Германии. Фильм весь — «интерьерный»; действие происходит в комнатах, сюжет развивается в диалогах, он заключается в постепенном понимании героиней «Лисси» той мерзости фашизма, какая растет вокруг нее, в ее семье, в ее близких. Поняв, она уходит из семьи. Казалось бы,— так мало действия. Но смотрится он в глубоком молчании и волнении всего зрительного зала,— так много в его сдержанности и строгости правдивой исторической, еще совсем недавней были. Как бы тематической параллелью к нему явился документальный фильм «Ночь и мгла», привезенный французами. Это — единственный документальный фильм, получивший премию (поощрительными грамотами отмечены и другие, в том числе наш советский «В краю вулканов и гейзеров»). Французы привезли на кинофестиваль острореалистическую, созданную из открытых в нацистских архивах снимков, из садистских фашистских фильмов, из современных съемок документальную картину о зверствах, учиненных фашистами в концентрационных лагерях. Впечатление от картины потрясающее, это, во всей ее немоте, было самым сильным словом, сказанным против войны на кинофестивале.

II

Кроме картин, вышедших на премии, были отмечены и вызвали немало разговоров и многие другие фильмы, о которых необходимо рассказать. Кинофестиваль в Карловых Варах был не столько закрытым (голосование

жюри), сколько открытым конкурсом, давшим возможность на всем его протяжении и в печати (сразу отзывавшейся иа события дня) и в кулуарах прочитать и услышать множество профессиональных оценок.

Но решающим фактором фестиваля была все же душевиая, эмоциональная реакция зрительиого зала. О вкусах, коиечно, спорят, но на оцеике мнóгих фильмов эмоциональные реакции зрительного зала сошлись. И это были как раз такие фильмы, где налицо имелись острое социальиое содержание, глубокая мысль, жизненная проблема, которая волнует общество.

Итальянцы, привезшие иа фестиваль вместо своих покоривших наши экраны неореалистических фильмов, подобных «Похитителям велосипедов», сентиментальную сюжетную жвачку и туристические пустячки с обязательной свадьбой в конце, неожиданно обрадовали кинофестиваль фильмом, попросту очень хорошим. Его поставил молодой киноработник Франческо Мазелли. Называется он «Ля донна делло джорно», в точном переводе «Женщина дня», в смысле «Сенсация дня». История о красивенькой маиикюрше, пожелавшей сразу сделать себе карьеру, а для этого упавшей иочью на римском шоссе и сочинившей будто трое пьяниц затащили ее в пустой дом и изнасиловали, иеожидаино благодаря второй линии сюжета превращается в острую социальную драму и вместе сатиру. Пока развивается первая лиииия сюжета,— маникюршу фотографируют, интервьюируют, делают ей граидиозное «паблисити» (как говорят американцы), провозглашают царицей красоты и т. д.,— идет своим ходом и вторая линия: полиция ищет трех пьяииц. Она их иаходит. Действие переносится из залитых огнями залов и шикарных улиц в кварталы бедноты, в мир угрюмых безработных, в жалкие квартиры, где жеищины сурово борются с нищетой. Один из трех арестоваииых — отец семейства, он и выпил-то с горя и от голода. Его жена, желая спасти мужа, добивается свидания с маникюршей. Уже заверченная в круг нарастающего успеха и шумихи, девушка никак ие хочет признать несчастного арестованиого невинным: она уже «опознала» в полиции всех трех, как своих насильников; но ее преследуют трагические глаза и слова арестованного. И под конец, спасаясь бегством из зала, где ее чествуют, она бежит по грязной улице, сама не зиая, куда и зачем, от себя, от затеяииой

ею истории, которую она уже не в силах остановить, и падает, обессилев, у ног жены оклеветанного ею человека.

Много дней приходилось ей лгать и притворяться, и все это напряжение прорывается истерикой. Опустив голову на колени простой женщины-работницы, в сущности социально ей более близкой и понятной, чем среда, куда она путем выдумки и обмана затесалась, девушка безумно рыдает и отводит душу: ей теперь уже невозможно пойти на попятный, она попалась в собственные сети... А женщина слушает, и у нее нет сил ненавидеть эту девушку. Мы не знаем, что дальше,— картина блестяще кончается именно на этой безвыходной сцене.

Поляки показали своего «Человека на рельсах». И опять — овация, горячее пожимание рук, следы непросохших слез на щеках, сверкающие радостью глаза. Постановщик «Человека на рельсах» Анджей Мунк — работник документального киноочерка. Это его первый художественный фильм. Выступая, как член делегации до показа фильма, он смущенно говорил зрителям, что «просит их быть снисходительными»... И вот перед нами бессонный мир — царство железнодорожников; мужской мир — почти нет женщины, нет романа. Но весь фильм — незабываемый по силе роман о рабочем человеке, старом и молодом, мастере и ученике, начальнике и стрелочнике. Такая правда, такая глубина психологического образа в его движении и раскрытии, так много человечного в этом фильме, что видишь воочию всю пользу пути, проделанного Мунком,— от документального снимка к художественному обобщению, от мгновенного факта к типовому образу. Это близкое нам искусство, и образы рабочих людей, созданные Мунком, нелегко уйдут из памяти.

Датский фильм «Игра молодежи», снятый в капиталистической стране, смело и правдиво поднимает вопрос, откуда берется гнилая, паразитарная прослойка в молодежи, порождающая отвратительных «стиляг», бездельников, циников, развратников, бандитов. Фильм сделан честно и трезво. В нем многое сказано о семье, о ее разложении, и не один отец, не одна мать, не один педагог, посмотрев его, почувствуют стеснение сердца.

Два больших фильма, каждый по-своему, поставили перед зрительным залом другую проблему: как экрани-

зировать классику. Оба они имели успех, хотя и не однородный; и оба на премию не вышли. Один — это чешская (по счету уже третья, а если прибавить кукольный фильм, то и четвертая) экранизация романа Гашека «Бравый солдат Швейк». Другой — перенос на экран неоконченной новеллы Томаса Манна о мелком авантюристе-проходимце Феликсе Круле, показанный киноработниками Западной Германии.

Артист Рудольф Грушинский понял роман Гашека очень глубоко и постарался дать в своем «Швейке» целую концепцию своеобразного чешского «швейкианства», умения народа, триста лет находившегося под тяжким гнетом, мнимой покорностью победить своего поработителя и сохранить в живых свою национальную душу. Круглолицый, с губами-шлепанцами, толстый Швейк в его интерпретации несколько раз глядит с экрана прямо в глаза вам, и этот прямой взгляд больших серьезных глаз, лишенных всякой придурковатости, грустных и умных, служит как бы постоянным комментарием к создаваемому артистом образу. Фильм сделан очень добротно, исторически тщательно, с той выписанностью всех деталей, какая говорит о кропотливой работе. Но,— и тут хочется сказать «но». Мы видели только первую часть (вторая еще не готова), и, несмотря на огромный живой интерес к картине, ее типажу (особенно первых кадров (трактирщик, сыщик), мы как-то невольно, изнуренные слишком большой материальностью фона картины, слишком натуралистической подачей эпохи, почувствовали тоску по самому Гашеку. В фильме не чувствовалось легкости его текста, очерковости и эскизности, облегчающей и снимающей все то в романе, что не имеет большого отношения к его центральным фигурам, а на экране подавляет зрителя своей тяжестью.

С артистом Хорстом Буххольцем, сыгравшим Круля, на фестивале необычайно «носились», и не только женщины: он сделался, подобно аргентинской актрисе Изабелле Сарли, «царем красоты» фестиваля, его искали любопытные, чтоб на него поглазеть. Что касается самого фильма, то основное впечатление от него — острый, неприкрашенный цинизм. Смотреть многие сцены этого фильма было стыдно и противно: смакование самых позорных и низменных человеческих страстишек ни под какую рубрику «социальной сатиры» не подведешь. Основ-

ной порок этого фильма — мертвящая классику киноиллюстративность, при которой большое, живущее полнокровной жизнью произведение литературы превращается в повод для показа не того, что хотел передать и показать сам писатель, а только тех средств самих по себе, с помощью которых писатель оттенял или выделял свою мысль.

Оба фильма напомнили зрителю, что в классическом произведении, кроме его сюжета и литературно-исторического фона, присутствует главное действующее лицо — сам автор. Индивидуальность автора, внутреннее движение его мысли, его скрытые и явные намерения сквозят в каждой строке произведения, дают ему тон и окраску. Передавая тяжелыми монументальными съемками эпоху, быт, все то, что происходило за страницами книги, мы не столько помогаем зрителю понять и почувствовать мысль автора, сколько отвлекаем его от этой мысли. И если сам Швейк благодаря игре Р. Грушинского не убит на экране, то постановщики Ф. Круля насмерть убили всю тонкую и острую новеллу Томаса Манна.

Кстати, о Швейке. Чехи, конечно, тяжело переживают неполную удачу своего большого монументального кинополотна. И хочется напомнить им русскую пословицу: от добра добра не ищут. Ведь они уже создали это большое добро, своего экранного Швейка, в замечательном кукольном фильме. Надо сказать, что в этой области чехи — непревзойденные мастера.

Я успела перечислить здесь лишь самые сильные впечатления. Но нельзя обойти и то удовольствие, с каким смотрели зрители энергичную, стремительно развивающуюся на экране югославскую кинодраму «Большие и маленькие»; серьезный труд болгарских киноработников вместе с советскими над монументальным воплощением образа Георгия Димитрова; красочный эпос нашего «Пролога», показанного широким экраном; молодую кинодраматургию Румынии, Финляндии; картины, созданные на Цейлоне, в Египте, Вьетнаме, Монголии, и немало другого.

Кроме больших фильмов, мы увидели на кинофестивале несколько десятков короткометражных. Тут были научные, видовые и просто не поддающиеся никакой другой классификации, кроме указания на их короткость.

Всем нм хочется дать иазваине фильма-очерка, н все (или почти все) могут быть просмотрены с интересом, а иекоторые — с иаслаждеинем. Так, зрнтелей очаровалн фильм о пчелах (Веигрня), о муравьях (Польша).

Открытнем был для меня японскнй документальиый фильм «Снежно-белые бекасы». Это изящный показ жизии белых, длиииоголовых, хрупких птиц, как оии вьют гнездо, высиживают птенцов, кормят нх, а потом улетают в теплые края; и как однн птенец был подобран японским мальчиком, остался на зиму с курамн, выкормлеи своим малеиьким хозяииом, а потом прислушался к зову своих, встрепеиулся н улетел с нними. Но дело ие в этой истории. Дело в том, что с первых же кадров вы, зрнтель, вдруг чувствуете, как самн вы встрепеиулись и словио зов услышали,— это коснулась вас иеобычайиая форма иовой природы: коитуры дерева, где уселись прнлетевшие бекасы, его сучья н листья с их легким движеиием от ветра; хрупкне и острые, как у кузиечика, очертаиия крыльев, клюва, иог белого бекаса, его маиера подиимать и подбирать иогу, опускать длиииый иос, застывать иа фоие иеба в чериом ажуре древесиых веток — все это раскрылось с потрясающей убедительностью, как школа зиакомого вам по книгам японского рисуика, японской изобразительиой формы. Как часто оиа именовалась у нас «условиой», как часто каждый элемеит такого рнсунка сводился лишь к внешиему приему, к абстрактиой фнгуре «стиля», понимаемого лишь в виде суммы устоявшихся, традициониых, чнсто формальиых знаков. А вот, оказывается, то, что мы считалн прнемом, абстрагироваииым от сущиостн, есть сама природа, сама сущиость.

Другим документальным фнльмом порадовала иас Бельгня. Оиа показала работу большого художнника-мыслителя Коистаитииа Меиье. Равнииная, плоская страна — Бельгня: зеленую землю покрывают темиые корпуса бесчислеиных заводов, острые башеики буровых скважин, и небо, как шкура паитеры,— все в дымиых пятиах. Природа задавлена промышлеиностью, но из черных корпусов, из раскрытых рудиичиых иедр выходит рабочий человек. Коистаитии Меиье лепит и отлнвает этнх замечательных сыиов земли, простых бельгнйских рабочих, их жен и детей,— и иа экраие, в рельефной красоте проходят суровые н мощные скульптуры, созданные бельгий-

ским мастером. Работа его жизни завершается статуей труду.

Тот факт, что киноочерки привлекают зрителей все больше и больше и почти всегда смотрятся с интересом, не остался незамеченным для создателей «кассового», коммерческого фильма с его обязательным любовно-условным сюжетом. Многие из показанных нам картин были подперты, как костылями, расширенным очерком, расширенными документальными и натурными съемками. Но так как в них остается старый сюжет, то «документ», заснятая жизнь потухают в своей правде.

Австрийцы много любви и труда потратили, например, чтоб снять картину на фоне красивейшего уголка их родины, с четырьмя временами года, со всем миром, растительным и животным, и с жизнью его. Дивные снимки гор, леса, рек, тонкие сценки из жизни зверья; внезапно пронзающий вас с экрана живой, зовущий голос огромного лося — все это есть и все это испорчено фальшью подвешенного к природе сюжета. Героем картины выведен любитель природы, лесничий. Он нежно любит зверей, он оплакивает козулю, попавшую в силки браконьера, и решает его поймать и наказать. Мальчик, сын крестьянина, поставивший силки, внезапно видит лесничего, смертельно пугается его грозного окрика и, оступившись, внезапно летит в пропасть. Сюжет построен на том, что «справедливого» лесничего «несправедливо» обвиняют «жестокосердные крестьяне» в смерти мальчика и ему приходится уйти.

Но симпатии зрителей, по крайней мере наших зрителей,— на стороне осудивших лесничего крестьян, и вся елейно-сентиментальная нежность к природе при жестокости к человеку как-то подсахаривает и портит действительную красоту натурных съемок.

Подсахарен и блестящий французско-японский фильм «Тайфун в Нагасаки». Он сдобрен документальностью, но документальностью специфической, показывающей вместо подлинной жизни этого порта его внешнюю нарядно-экзотическую сторону и его колонизаторскую среду. Другой тайфун, показанный на конкурсе, «Тайфун № 13», сделанный самими японцами, внешне гораздо более бедный и во многом наивный, дает в сто раз более реальное представление о настоящей Японии. Так, использование

кусков жизни, снятых с натуры, во многих фильмах капиталистических стран не только не искупает, а, наоборот, выявляет еще сильнее банальность и бедность их сюжета.

III

Около пятидесяти картин пришлось просмотреть за две недели кинофестиваля, и сейчас ясно, что киноискусство обретает новую, сильную жизнь именно в тех странах, где обновлена и обновляется сама жизнь. Там налицо крепкий сценарий; переживающий всерьез, с истинным вдохновением, свою роль актер; содержание, связанное не с выдуманными, а с подлинными интересами народа и общества; и наконец — поиски изобразительных средств не для самих этих средств, а для того, чтобы выразить всю полноту действительно имеющегося содержания.

Все это не ново для нас, и все же не только мы, но и наши соседи в странах народных демократий, подчас упираемся в неуменье показать новую жизнь, в отсутствие крепкого сценария, в подмену реального содержания выдуманным, в погоню за роскошью, «постановочностью», лжемонументализмом вместо поисков новых изобразительных средств. Часто достижения отдельных стран в киноискусстве кажутся нам единственным путем развития и для нас, хотя каждое киноискусство порождено своей страной и путь развития его глубоко национален.

Как бороться с этими просчетами в нашем большом деле?

Мне кажется, многое могло бы стать для нас яснее, если бы мы сумели глубже понять и уяснить другим величайшую специфику игры актера в кино и ее принципиальное отличие от игры на сцене. До сих пор еще сценарии у нас перекраивают из театральных пьес или пишут их на опыте работы для театра, подражая театру. До сих пор еще актеры театра играют в кино, перенося туда свою театральную технику. А ведь театр и кино так же различны и так же противостоят друг другу, как, скажем, «Отелло» Шекспира, написанный для сцены, и

«Отелло», созданный музыкальным гением Верди в опере. Какой страшной операции, операции, казалось бы, кощунственной, подверг Верди трагедию Шекспира! А между тем в его мелодраматическом либретто оперы, в его музыкальном воплощении этого либретто живет подлинный, музыкально выраженный, шекспировский Отелло. Актер на сцене играет десятки и сотни раз свою роль. Она становится его второй натурой, он свыкается с ее словами, жестами, как с привычкой. Но для кино актер играет единожды. Только один раз вкладывает он всего себя в роль, которая должна потом размножиться на экранах. Актер на сцене видит перед собой своего зрителя, он чувствует свой «ансамбль», свое человеческое окружение. Но актер в кино, своей игрой обязанный связать воедино весь окружающий его живой мир, обязанный своей игрой высветлить, осветить игру десятков людей вокруг него,— не видит перед собой зрительного зала, а подчас не видит и партнеров. Какое величайшее требование к его душе, к его воображению, к его способности внутреннего сосредоточения предъявляет кино! Здесь киноактер как бы перерастает экран, выходит из условностей, становится просто человеком, к которому его искусство предъявляет уже не актерские, а человеческие требования. И лучший киноартист — это тот, кто играет как человек. А для того чтобы играть жизнь, нужно глубоко знать эту жизнь, вместе с народом усвоить внутренний и внешний жест народа через единые с народом переживания и потребности.

И Бай Ян, и Э. Сабо, и Радж Капур — актеры, вскормленные своим временем, глубиной социально и политически переживаемого их народами. Именно действительность, пронизывающая общими своими событиями частные человеческие жизни, поднимает творческие возможности людей на огромную высоту. Так было всегда, так получается и теперь. И тут мы упираемся в основу творческой работы киноактера — в сценарий.

Мне думается, хорошо будет написан такой сценарий, автор которого берется за перо не для того, чтоб «показать», а для того, чтобы заставить пережить. Где не чувствуется волнения автора, его личной глубокой заинтересованности темой, куда не вложено личного, серьезного переживания,— там не найти артисту вдохновенного

истока для настоящей творческой работы над ролью, там не найдет актер путей к себе, как к человеку. И дела не поправят ни внешний блеск, ни талант оператора, ни находки режиссуры. Жизнь — не копируемая, а переживаемая — исток подлинного мастерства кино, как и литературы.

И еще одно замечание. Искусство — вещь коллективная. И ему, как и всякому общественному опыту, необходимо постоянно обогащать себя не только познанием нового, но и внимательным изучением своих художественных традиций.

27 IX 1957

ЛЕСТНИЦА ВРЕМЕНИ

Рассказ о Всемирной выставке 1958 года в Брюсселе

ВВОДНОЕ СЛОВО

Говорят, лучший способ научиться плавать — это бесстрашно кинуться в море.

Огромное скопление на двухстах гектарах загородного брюссельского парка всего того, что создано народами почти на целой планете,— тоже подобно морю, вдобавок — приподнятому ввысь и опущенному вниз по вертикали времени; и лучший способ научиться поплыть в нем (то есть дойти до обобщений) это прежде всего отдаться живому прибою его бесчисленных воздействий. В одном из бельгийских павильонов вы читаете лозунг: «Настоящее отражает себя в прошлом, будущее — в настоящем» [1]. Этот лозунг, в сущности, и лег в основу показа выставки, избравшей почти для каждого павильона расстановку вещей и явлений от того, что было,— к тому, что будет, в их осевом отношении к тому, что есть сейчас. Этот исторический метод показа помог устроителям так разместить множество в тесноте, что предметы легче входят в восприятие зрителя и крепче удерживаются в его памяти. Но как ни важно сразу окунуться в море выставки, есть четыре ее особенности, которые совершенно необходимо знать о ней заранее.

---

[1] «Le présent se reflécte dans le passè, l'avenir dans le présent» *(франц.)*.

Первая черта — это отличие Брюссельской выставки от всех, ей предшествовавших. Если до сих пор всемирные выставки носили главным образом смотровый, коммерческий и развлекательный характер, то брюссельская создана, как попытка найти ответ на важнейший вопрос, интересующий сейчас миллионы мыслящих людей на земле: *чем помогает научный и технический прогресс улучшению жизни людей?* Или, расширяя этот вопрос и приближая его к нашему миропониманию,— *в чем состоят особенности научного и технического прогресса, позволяющие предугадывать, в какую сторону должно и будет двигаться человечество для улучшения своей жизни и для роста самого человека?*

Вторая черта — это *специфически мирный* характер выставки. Еще ни разу с такой силой и отчетливостью, на одной и той же очень небольшой площадке, буквально бок о бок, не были представлены два лагеря,— лагерь стран капитализма и лагерь стран социализма, со всеми особенностями их культур, со своим пониманием счастья и своим представленьем о будущем. Но, открывая выставку, ее устроители подчеркнули свое намерение избегнуть всего того, что разделяет людей, и выявить все то, на чем люди самых разных стран и убеждений могли бы объединиться. Тем самым выставка,— в острую минуту раскола мира и новой охватившей его тревоги перед возможностью гибельной войны,— сделалась как бы призывом (если не примером) к мирному *сосуществованию* двух систем.

Третья черта заключается в том, что сама тема выставки и то настроенье, с которым она создавалась и открывалась, неизбежно сделали главным ее объектом *науку и научные открытия последних лет.* Никогда раньше ни одна выставка не походила так на своеобразный «всемирный университет», как нынешняя. Каждая страна, желая показать себя лицом, выдвинула в своих павильонах на первое место достижения науки и техники. Но, кроме всего того, что можно увидеть из этих достижений в отдельных национальных павильонах, на выставке построен международный Дворец науки, созданный при участии шестнадцати стран, многих десятков научных институтов и сотен ученых с мировыми именами. Свыше пятисот стендов этого дворца (из них около пятидесяти наших) рассказывают посетителю о самых

важных открытиях последних лет; в нем работают делегации молодых ученых, и разъяснения даются вам не просто гидами, а людьми науки, и, наконец, каталог этого дворца представляет собою объемистый научный труд в несколько сот страниц.

Но к этому Дворцу науки — кульминационной точке всей выставки,— я вернусь особо, а пока укажу на четвертую отличительную черту выставки.

Наука — не легкая индустрия, не дамские моды, она воспринимается трудно, и ее нужно зрителю толково разъяснять. Поэтому выставка неизбежно приобрела характер дидактический.

Если на прежних выставках главной связью между экспонатом и зрителем была коммерческая реклама, то сейчас перевес над рекламой взяла научная пропаганда. Все пошло на службу такой пропаганде: искусство, техника, живое слово. Различные формы телевидения и кино (синерама — в нашем павильоне, футурама — в бельгийском, циркорама — в американском); многообразная звуковая информация — наушники возле сложных экспонатов, доносящие к вам пояснительный текст диктора на любом из трех языков, музыка в виде фона для объяснения (так сделан, например, дикторский текст к самому прозаичному объяснению европейской угольной шахты); бесконечное количество всякого рода макетов, движущихся моделей, научных игрушек; ученые в роли гидов; графики и схемы, брошюры и каталоги в помощь зрителю — все это заинтересовывает, захватывает вас и служит познавательным целям. Дидактизм и является четвертой особенностью выставки.

Держа в памяти эти четыре отличительных признака, вы легко сумеете «поплыть» в безбрежном море выставки, правильно направляя ваше внимание на нужное и легко избегая всего лишнего.

1. В ГОСТЯХ У ХОЗЯЕВ ВЫСТАВКИ, БЕЛЬГИЙЦЕВ

Десять ворот ведут на выставку. Мы пойдем, соблюдая обычай вежливости, через ворота Эспланады, потому что они ближе всего к павильонам Бельгии. Эспланада — широкая площадь-аллея, в центре которой по мере

надобности то быстро воздвигается, то убирается эстрада, а справа и слева амфитеатром построены трибуны с рядами сидений. Над этой площадью каким-то растрепанным пятном возносится своеобразная плоскостная скульптура лошади, с распоротым брюхом и развитым хвостом, мчащейся с двумя всадниками на ней,— нечто вроде сказочного деревянного коня из «Багдадского вора». Я нигде не читала объяснений этой скульптуры и могу, конечно, как это часто бывает при попытке объяснить некоторые ультрасовременные произведения искусства, попасть пальцем в небо. Отсюда, с Эспланады, нужно пройти почти всю выставку, чтоб достичь Советского и ряда зарубежных национальных павильонов; но, мне кажется, разумнее начинать осмотр выставки именно отсюда, накопив некоторый опыт для сравнений, а потом уже побывать у себя дома.

Первое, что захватывает вас на выставке, это звук. Мы знаем, как разноголосо волнуется праздничная площадь, как ярко кричит ярмарка,— но слитная музыка Всемирной выставки не похожа ни на ту, ни на другую, может быть потому, что у нее иные слагаемые. В полифонию человеческих голосов и дробный марш людских масс здесь вливается пронзительный уксус фанфар, странная стеклянная россыпь «Аве Марии», исполняемой не на органе и не оркестром, а перезвоном церковных колоколов; треск геликоптера наверху, шум проносящихся колясок, управляемых сидящими сзади наемными возницами-велосипедистами; пронзительный взлет электронного стона, свист детской пищалки и — сентиментальная сладость скрипок от проходящих оркестров, играющих каждый свое. В этом разноголосом потоке вы замечаете неожиданную слаженность. Есть в математике интересная «теория игр», начало которой состоит в том, что *случайность* в игре может чаще давать наилучшие совпаденья, нежели в игре по *правилу*. И часто, часто, наблюдая за художественными и музыкальными элементами выставки, за железными спиралями ее абстрактных скульптур и пестрыми пятнами ее абстрактных полотен, вспоминаешь эту любопытную теорию случая, словно художник, устав от правил и не умея побеждать их новыми творческими законами, отдается на волю случайности... По-русски эта замечательная математическая теория выражается нехитрой пословицей: «Кривая вывезет».

Еще рано, площадь полна свежим запахом розовых цветников. Справа и слева от нее идут здания, мимо которых зрители обычно спешат, торопясь куда-то, где оживленней и, по-видимому, интересней. А между тем каждое из этих зданий может поймать вас на долгие часы. Вот павильон почтовых сношений и в нем великолепный отдел филателистики с витринами всех марок в мире. Казалось бы, марки — занятие для ребятишек. Но какая чудесная цветная география, какая живая история разворачивается на этих маленьких значках, рассказывающих о своей стране, своей эпохе, ее исторических событиях; сколько исчезнувших государств сохранило свои следы на этих крохотных памятниках, какую смену общественных систем показывают они и как четко воспроизводит игла гравера пейзажи и здания, лица и национальную одежду на марке! Вспоминаю тонкое искусство наших граверов, отмечающее на советских марках почти каждое наше культурное событие. Мало кто задумывается у нас над тем, что и в почтовой марке отражается общественная система, общественная идеология. Один шотландец был потрясен, получив в прошлом году из Советского Союза письмо с маркой, где изображен Роберт Бёрнс. Он с грустью написал своему корреспонденту, что в их стране запрещено изображать на марках какие-либо лица, кроме королевских. А другой адресат, француз, увидя на советской марке прекрасный портрет Достоевского, воскликнул почти как в анекдоте: «Отказываюсь верить!»

В соседнем павильоне — раздолье для радиолюбителей. Каких только радиоприемников здесь нет! Фирмы соперничают друг с другом, один экспонат великолепней другого, у вас разгораются глаза... Но и тут невольно задумываешься. Есть у нас, в нашей простой и милой действительности, одно гибридное словечко, часто служащее мишенью для «Крокодила». Это словечко — «культтовары», оно часто мелькает на вывесках магазинов. И вот под это самое не совсем казистое словечко подведены у нас и радиоприемники. Атрибут культуры в квартире,— связь со страной, с человечеством; спокойная возможность послушать музыку, дождаться последних новостей. И наши заводы тоже улучшают свой культтовар, стремятся сделать его прочнее, дешевле, лучше, увеличить слышимость, смягчить шумы. Повседневными

сделались и приемники с радиолой. Но мы не додумались до тонкостей, какими западноевропейские фирмы угождают вкусу своих богатых потребителей. Уж не говоря о великолепии внешнего вида — один другого изящней, один другого дороже,— вот новые электронные телевизоры — экран и провода, и больше как будто ничего; вытянутый в вышину приемник с радиолой внизу и телеэкраном наверху — это хорошо; а рядом горизонтальный приемник чуть ли не розового дерева, и если по правую его сторону — радиола, то по левую — нарядный винный погребец и даже с бутылками редких иностранных марок. Да, это все очень красиво; но приемник с винным погребцом не попал бы у нас под рубрику «культтовара». И не знаю, как вы, читатель, а у меня вдруг при взгляде на него стеснилось сердце нежностью к нашему гибридному советскому словечку и радиоприемнику, лишенному особых претензий на внешний шик,— так много за ним черточек нашей советской культуры: чтоб досталось каждому, чтоб стало доступным всем, чтоб сделалось массовым, чтоб *несло в массы культуру*... На телеустановках, мимо которых я прохожу, идет мгновенная летопись изображений, и вы, внимательный зритель, тотчас вписываетесь в эту летопись выставки. Не все хочется вам покритиковать со своих позиций,— очень многое надо хвалить и хотеть перенять, и прежде всего — чистоту выделки нужных для радио и телевизора атрибутов. Вообще все, что касается необходимых частей и деталей, очень хорошо у бельгийцев, и хотелось бы, чтоб наши заводы призадумались над своевременным и достаточным выпуском антенн (и эти антенны были бы портативны для перевозки) и прочных головок для игл в радиолах, и комнатных трансформаторов для холодильников, и многого прочего.

В следующем павильоне вас неожиданно охватывает море,— всем даже кажется,— вы втягиваете в ноздри соленый морской воздух. Англия, бывшая «владычица морей», не сумела так показать свою морскую быль, как это удалось маленькой Бельгии, хоть в Англии и нет ни одного человека, кто жил бы дальше чем на сто двадцать километров от моря. Как удалось это Бельгии? Под вами, в пруду, маленький белый пароходик, управляемый с берега, маневрируя, совершает рейс «от Лондона до Остенде» и красиво становится в док, белым пятнышком

отражаясь в воде. Наверху над вами — модели кораблей, от старинных, с вызолоченной фигурой стремящейся вперед деревянной женщины на корме, сразу напоминающей вам «Бегущую по волнам» Александра Грина,— и до новейших грузовых пароходов, показанных необычайно тщательно, с разрезом трюма, где видны перевозимые товары. Под звуки бодрящей и свежей, как ветерок, музыки, надпись говорит вам, что каждые двадцать минут в какой-нибудь из портов Бельгии входит судно,— сорок четыре нации пяти частей света торгуют с нею. А вокруг на стенах превосходно сделанные фотографии бельгийских моряков. Надо сказать, что не только бельгийцы, но и многие другие народы показали в своих павильонах, по примеру обычных наших выставок, фотографии людей труда, и это сделало их павильоны гораздо живей.

Искусство фото на Западе очень сильно. Так выразительны лица людей, что невольно задумываешься над будущим фотографии, над созданьем фотопортрета, где рукою фотографа будет водить талант художника,— уменье увидеть и мгновенно поймать главное выраженье человеческого лица.

Следующий павильон, аэронавтики, для нас, создателей наших гигантских «ТУ», мало интересен, если не считать самой системы показа и оборудованья павильона. Здесь вы уже начинаете чувствовать необыкновенную роль «игрушки для взрослых» на выставке,— движущейся модели и макета. Как правило, все эти бегающие автомобили и кораблики, весь мир автоматических жестов и движений, управляется электронно, на расстоянии,— и вы уже как бы входите воображеньем в ту грядущую электронную эру, которую американцы назвали крылатым словечком «push-button era»,— кнопконажимательной. Спуститесь вниз по ступенькам, на задворки павильона,— и перед вами внезапно раскроется гигантский полигон с несколькими десятками путей, на которых один за другим, яркие, глянцевитые, разноцветные, теснятся настоящие вагоны всех стран и марок Западной Европы, с новейшими тепловозами, чьи тупые и круглоглазые фасады так резко отличаются от старого милого профиля отжившего свой век паровоза. Технически все эти вагоны, может быть, и прекрасны. Расстояния, которые они пробегают, коротки. И все же, если говорить о технике, приспособленной для человека, его уюта и ком-

форта,— нет в мире лучше наших вагонов, дающих путешественнику третьего, как и первого, класса одинаковую возможность вытянуться на лавке.

По ту сторону Эспланады, если удалиться чуть вглубь, попадаешь в павильон сельского хозяйства. Здесь уже ходят, не глядя на ранний час, деловитые посетители с женами и детишками, быть может, фермеры, приехавшие из бельгийских деревень, а экспонаты снабжены целыми пачками реклам с указанием цен и достоинств. В длинном перечне этих достоинств, рядом с такими словами, как «экономична», «рациональна», «легко сбираема и разбираема», часто стоит необычное для машины слово «эстетична». Соображения эстетики при создании утилитарных машин — вещь не только хорошая. Изучая выставку, что называется вдоль и поперек, в течение пятнадцати дней и натыкаясь на этот термин у садовых инструментов, строительных машин, печей, то есть — у самых отдаленных от искусства предметов, я заметила, что ставится он не в начале, а в конце перечня эпитетов. Эстетичность, то есть нечто приятное для глаз, нечто «изящное», родилась не как замысел конструктора, не в начале созданья машины, а как следствие, в конце ее.

Не помню, какой из старых русских писателей, анализируя когда-то слово «изящество», пришел к выводу, что оно происходит от глагола «изъять»: изымая постепенно все лишнее, отяжеляющее и усложняющее конструкцию, как штамп и литературщину из писательской речи,— вы получаете тот лаконизм, который и кажется глазу изящным.

Разумеется, такое объяснение произвольно. Но, разобрав отдельные элементы, нравящиеся нашему глазу, на — ну, скажем, на бельгийских лопатах, убеждаешься, что тут есть кое-что от истины. Не излишек ли, например, поперечная ручка на конце стержня лопаты и особенно — красная лакировка этой поперечной ручки? Но поперечная ручка делает лопату удобной для работы и опоры на нее при копанье, а лакировка — гладкой в руке. Не излишек ли изящная вогнутость железного скребка лопаты, вогнутость не округлая, а словно его согнули вдоль чуть ли не под прямым углом? Но так легче и вонзать скребок в землю и захватывать им землю. А вот легкость веса, непривычная в лопате,— добыта изъятием

лишнего металла, то есть более дорогого материала; а добавочная тяжесть дерева в поперечной ручке, усиливающая вашу собственную тяжесть, когда вы на лопату опираетесь,— достигнута за счет добавки более дешевого материала. В целом — такие лопаты дешевле, на них меньше пошло железа и больше дерева, и они легче, удобней, изящней, эстетичней,— а последнее свойство пришло как результат всего процесса рационализации, а не его замысел.

Так «искусство» сближается с «пользой», и вы невольно вспоминаете смелую формулу Гёте в «Вильгельме Мейстере», за которую его немало упрекали в утилитаризме: «От Полезного через Истинное к Прекрасному...»

Что запоминается в сельскохозяйственном павильоне? Электродойка, при которой не видно самого молока,— оно по трубкам идет от коровы на сепараторы; чистота и полное отсутствие запаха животных в хлеву, на скотном дворе, в птичнике и даже в свинарнике; любопытное прохождение коровы через особую дужку, опрыскивающую ее дезинфекционным раствором («туалет коровы»),— это, кстати, хорошо показывается в павильоне Нидерландов; печи...

Но о печах опять хочется сказать особо. Перед вами небольшая цилиндрическая печка в два этажа; на трех килограммах дров она выпекает четырнадцать хлебов, каждый в кило весом. Делается это быстро, выпечка происходит на крутящейся пластинке, все хлеба одинаково одноцветны, со всех сторон зарумянены. «Нравится?» — подмигнул мне один из посетителей в фетровой шляпе. «Ничего себе,— ответила я,— только вот на сотни людей в наших колхозах она маловата; четырнадцатью хлебами их ведь не накормишь, разве что по евангелию». И в воображении моем опять встал наш павильон, собственно даже не павильон, а его наружные стены, вокруг которых,— без малого полкилометра,— расставлены наши сельскохозяйственные машины и грузовики. Огромные гиганты, слоны среди кроликов, с хоботами мамонта, с пятой допотопных чудовищ, с колесами-великанами, верные и терпеливые труженики наших необъятных полей. Масштабы, вот что резко отличает наши машины от западноевропейских и перехватывает дыхание у зрителей. Но принцип маленькой разборной печки, похожей на термос, сам по себе интересен. С легкой руки англий-

ской особой ресторации, именуемой «гриль-рум», где все тут же, у вас на глазах, печется и, кстати сказать, подается в полусыром виде из любви англичан к кровяному бифштексу,— печение, выпекание на собственном соку вместо поджаривания на масле — завоевало многие европейские кухни. В моделях «домов будущего» неизменно имеется нечто вроде открытого шкафа в стене, где, без дыма и без огня, на электричестве,— крутится вокруг источника жара курица на вертеле. Это пришло с Востока, из Закавказья, из Японии, от многих восточных и южных народов, не знавших сковородки с маслом, а только выпечку на костре, на углях, или — выварку, как в Японии. Одна из самых вредных вещей в еде — жаренье на масле,— этот классический кухонный чад людских жилищ,— все больше и больше изгоняется вертелом, металлической пластинкой, вертящейся в равномерном тепле. И хорошо, если б электропечки не только для хлеба, всегда вообще выпекаемого, но и для мяса, для птицы и рыбы, выпекаемых у нас пока только в кавказских ресторанах в виде шашлыков,— заняли бы и в наших домах постоянное место.

От сельского хозяйства — к царству электропромышленности. Павильон электроэнергии на выставке — один из самых волнующих по своей красоте. Вы словно входите в синюю ночь,— глубина охватила вас. И в этой глубине светится мир энергии, как будто уже уступающей свое первенство другой энергодинастии — атомной. Но, побыв в этом павильоне подольше, вы начинаете думать, что мир еще не исчерпал и одной десятой ее возможностей, и век электричества не только не кончился, а лишь начинается. Здесь царствуют мировые фирмы разных стран, уже потерявшие свой национальный облик и ставшие космополитическими,— Филипс и другие; огромные турбины, аккумуляторы; сквозь круглые глаза иллюминаторов, как на пароходе, вы смотрите на гигантские батареи, это — кабина трансформаторов. А вот в центре, почти в человеческий рост, кружится перед вами сцена с комнатами «электрического домика». Одна за другой проходят уютные комнаты ультрасовременной квартиры,— спальня, детская, кухня, гостиная с выходом в садик, откуда словно дышит на вас аромат хорошо возделанного клочка земли с выхоленными растениями; и вся жизнь, весь быт домика — на электричестве, оно

согревает, охлаждает, освещает, проветривает, готовит пищу, дает купанье и душ, помогает разговаривать на расстоянии, заполняет досуг музыкой, сообщает последние новости, ухаживает за садиком, обогревая и устраивая искусственный дождь; оно прячется в детских игрушках и — защищает от воров. Налюбовавшись на домик, вы поднимаетесь наверх по эскалатору. Серо-сине-черное убранство потолка и стен, бегающие цветные огоньки по этому фону, словно россыпь ночных светляков. Необыкновенное изящество в показе простейших вещей, целые архитектурные сооруженья из проводов и кабелей, башенки фарфоровых изоляторов, вилки, реле и шнуры, превратившиеся не то в цветочное, не то в кружевное царство в своем художественном сплетении,— и между молчаливыми айсбергами голубоватого фарфора и металла — макеты из досок, изображающие девушек-«хостесс» [1], в синем и белом, с приглашающим жестом рук. Девушки неподвижны, но кружевной мир движется, крутится, плывет, хотя и молчит.

Здесь нет музыки. И еще нет чего-то. Вспоминаешь виденные великолепные макеты и фото крупнейших, уже действующих тепло- и гидростанций,— их много и в данном павильоне и на выставке; макеты и фото проектов будущих таких станций, их тоже много, и они сделаны с большим размахом и вкусом. Но где же тут простой и смелый жест,— проект линии передачи, переносящей электрический ток из страны в страну, из города в город, шагающей широким, беззаботным шагом стальных столбов? Техническое вдохновенье и смелая мысль ушли на проектировку изолированных вещей, а там, где надо связывать эти вещи в пространстве, перебрасывать связь между ними через земные пажити, сады, холмы, леса и долины, оказывается, что пажить — собственность икс-игрека, парк — владение игрек-зета, и несть им числа, собственникам клочков земли, по которой должны пройти и не могут пройти стальные ноги носительницы электрического тока, не могут, покуда не удастся откупить право перехода, а может и землю, у десятков и сотен владельцев. Тут не очень-то размахнешься в смелом

[1] Хостесс — хозяйки — популярная фигура на выставке: девушки в каждом павильоне имеют свою форму, их задача — помочь посетителям.

творческом жесте! А у нас планируется уже единое энергохозяйство для десятков тысяч километров нашей страны. Недавно в Москве происходил «Международный конгресс архитекторов». Один из его участников, дипломированный инженер-архитектор Рудольф Хиллебрехт (городской советник по строительству в Федеративной Республике Германии) сказал в своей речи, что главным «источником сопротивления и препятствия к осуществлению проектов планировки в странах Западной Европы в первую очередь является право частной собственности на землю»[1]. Не мы, дети нового мира, говорим это,— а специалист капиталистической Западной Германии. И по-своему, на языке искусства и пластики, напоминает об этом выставка. Не тем, что она в таком изобилии и с таким совершенством показывает, а тем, где ей не хватает показа, где нет у ее талантливых проектировщиков смелого жеста, возможности широко, на вольной воле, разгуляться.

Из павильона электричества — в павильон нефти, встречающей вас цветами. Нефть подана тут как главный двигатель жизни. Графики поучают о росте из года в год ее потребленья: в 1955 году уголь потреблялся больше, чем нефть; а через десять лет нефть намного превысит уголь. В особом павильоне-шаре окружают вас вещи, необходимые для вашей жизни, и в той или иной степени все они оказываются производными от нефти; во дворе — автоматическая откачка, большая современная металлическая вышка. Все это показано однообразней, чем электричество, и ничем новым не захватывает вас, покуда вы не проходите в другой павильон — химической промышленности.

Здесь многому можно поучиться. Мы начали сейчас разворачивать грандиозное химическое производство. Представляю себе, с каким интересом будет наш инженер-химик ходить по этим причудливым уголкам и коридорчикам, посвященным химии, начиная с ее азбуки. И — как удивится он этой азбуке. В первую минуту невероятно странным кажется, что история одной из самых передовых наук, форпосты которой сейчас перекликаются с форпостами математики, физики, кристаллографии, биологии, — неожиданно открывается средневековым

[1] «Правда» от 25 июля 1958 г.

уголком алхимика. Но полно,— так ли уж странно это? Не только «история» и метод исторического показа заставляют вспомнить алхимию, но и диалектическое изложенье научных теорий. Раскрываем одну из самых передовых книг современности, переведенную и у нас,— «Наука в истории общества» профессора Дж. Бернала,— и читаем на странице 402 об открытии радиоактивности: оно, это открытие, «явилось еще более сильным ударом по физическим и химическим верованиям XIX века. Работа величайшего из химиков, самого Лавуазье, установила закон неизменности элементов. Он был установлен как прямое опровержение претензий старых алхимиков на возможность изменения или создания материи; здесь же как будто была материя, фактически самопроизвольно меняющаяся, без малейшего стимула, который вызвал бы такое изменение[1]. Иначе сказать, новейшее открытие напомнило людям о фантазии алхимиков. Средневековые ученые с их беспомощными колбами и наивными верованиями — тем не менее были учеными; люди смеялись над их фантазиями, но в фантазиях человечества и на ранней заре были отблески реального. И не следует забывать, что совсем недавно, почти вчера еще, когда Рентген открыл свои знаменитые икс-лучи, показавшие кости в теле человека и монеты в его кошельке,— смех, юмористика парижских кафешантанов чуть ли не вся была построена на обыгрыванье этого «забавного» открытия, великое значенье которого не было еще ясно в ту пору и самому Рентгену.

Просто и впечатляюще в начале павильона химии дана зрителю формула одного из обыкновеннейших веществ на земле — серной кислоты (acide sulfurique). И вслед за формулой вещества — вы учитесь, как сопровождает оно всю человеческую жизнь, от земли, которую удобряет; одежды, в приготовление тканей которой входит; пищи, для которой создает упаковку (целлофан); сахар, желатин, глюкозу; лечебных средств,— глицерина, перекиси водорода и до оболочки вагонов. На простейшем этом предмете мы видим бесконечные вариации изменений химического вещества, в которых наука и промышленность заинтересованы одинаково. И если диаграмма

[1] Дж. Бернал, Наука в истории общества. Издательство иностранной литературы, Москва, 1956, стр. 402.

тут учит нас, что обыкновенная корова, питаясь травой на удобренной почве, на целых 2400 литров повышает удой (такие диаграммы, как азбука, знакомы советскому человеку); и если мы узнаём, какую громадную роль играет и должна еще сыграть пластмасса в практической жизни общества,— то химические процессы, создающие пластмассу, ученому интересней всякого их использованья, потому что именно тут, на грани двух разделенных миров, органического и неорганического, живого и неживого, и происходят сейчас необычайные явленья, сближающие, словно вспышками молнии, мысли физика и химика, химика и биолога.

Очень следует посетить и павильон фармацевтики, где показаны открытия сульфамидов и антибиотиков и влияние этих открытий на длительность человеческой жизни. Любопытный подсчет встречает вас (не относящийся к странам социалистического лагеря); он говорит о том, что с каждым годом прибавляется число студентов, идущих на химический факультет. Но если изучать химию идут пять человек на тысячу, то на фармацевтическое отделение химического факультета идут шестьдесят три человека на тысячу,— почти в тринадцать раз больше.

За павильоном химии еще очень много всего, чем богата Бельгия. Надев удобные наушники, можно посидеть в мягком кресле отдела туризма и пропутешествовать не столько по стране, сколько по ее прошлому, ревниво сохраняемому в ежегодных ярких народных праздниках; то это карнавал в Намюре, то Лонг-бра («длинные руки») в Малмеди, то шествие ставелотов, св. Гермеса, процессии «кающихся», Христа и Иуды и кого-кого только! Средневековые костюмы, маски, узкие улички исторических городов, как фон для процессий,— яркие пятна, музыка старых инструментов, выступленья старинного театра марионеток,— этнография, фольклор. Нам необычны такие объекты туризма, но жители Европы их очень любят и ребячески отдаются зрелищу,— не только в одной Бельгии. Мне довелось много десятков лет назад, будучи еще подростком, увидеть яркую швейцарскую процессию, fête des vignerons, праздник виноградарей, где трезвая душа швейцарца, собравшего богатую виноградную жатву, вдруг распахивает себя в безудержном веселье, люди пьют, поют, исходят в пляске, в то же вре-

мя свято соблюдая сюжетную традицию процессий и ее старинные формы. А недавно я наблюдала еще нечто подобное в Лондоне,— традиционный праздник в особом квартале — Сохо, этом средневековом коммерческом гнезде, темном и на вид невзрачном, со множеством ресторанчиков, с поблекшими от времени вывесками столетних фирм. Переполненный людским наводнением, Сохо кричал и сверкал, заливая тротуары самыми невероятными карнавальными группами, и, как водится,— живыми красочными рекламами...

Но, возвращаясь к Бельгии, надо упомянуть не один этот отдел туризма,— а и особый этнографический уголок на выставке, куда входишь за отдельную плату. «Веселящаяся Бельгия», как называется этот уголок,— в сущности настоящий музей, воспроизводящий старинную городскую площадь и узенькие улички вокруг нее, с лестницами наверх, керосиновыми фонарями, множеством кабачков, где столы заменены бочками, а вино именуется «бешеным», и с целым кварталом цеховых ремесленников, выполняющих тут же, на улице, свое нехитрое дело: они тянут кожу, вырезают по дереву, шьют, бьют молотком, а кожаные их фартуки раздуваются от ветра. В «Веселящейся Бельгии» люди на улицах разгуливают в средневековых одеждах монахов и рыцарей; часто звучат фанфары. Но есть здесь и прекрасный музей бельгийского прикладного искусства.

И хотя, например, в Брюгге, с расчетом на туристов, сидят у дверей в работе старые кружевницы, а в любом из городских магазинчиков продаются они уже в форме куколок, с кружевом в руках,— но настоящие, знаменитые брюссельские кружева, о которых столько читали и слышали, вы увидите лишь в музее. Образцы их, спрятанные под стеклом, как драгоценные произведения искусства, действительно прекрасны.

Не буду останавливаться на павильоне «Текстиль», привлекающем модниц. Скажу только, что в Бельгии, этой стране превосходного полотна, составляющего немалый процент её экспорта (8 миллиардов франков в год),— почти нельзя найти хорошее полотно в магазинах, как и нельзя найти хороших брюссельских кружев,— их нет, или они баснословно дороги. Лучшее, что создает народ, он делает не для себя, а для своего бога Молоха — экспорта.

Скромные отделы образования и здоровья очень для нас интересны, и жалко, что показано там, в сущности, не так уж много. Для того, кто видел образцовые народные школы Финляндии, оборудованные мастерскими для столярных и механических работ, собственными физическими лабораториями и радио- и киноустановками, с помощью которых вершится преподаванье,— бельгийская школа кажется представленной бедно и скупо. Но есть запоминающиеся детали. Вот две гротескных картинки из жизни класса: на одной учитель изображен лицом к ученикам, перед ним всевозможные наглядные пособия (идет урок растениеводства), пособия и в руках учеников, слушающих заинтересованно и внимательно; на другой картинке учитель, спиной к классу, что-то скучно мусолит на доске, а ученики ведут себя отвратительно; часть спит, другая дерется, третья играет во что-то. Надпись не осуждает учеников. Надпись осуждает учителя: Для правильного ученья, гласит эта надпись, нужны три элемента,— *«интерес, внимание, наука»*. Возбудить *интерес* может только учитель, сам увлеченный своим предметом; возбужденный интерес настораживает и сосредоточивает в ученике его внимание; а сосредоточенное внимание — это прямой путь к науке. Немного смешно столкнуться в отделе образования с уголком «Школы криминалистики и научной полиции». С помощью фотографий уголок этот показывает, как обучают полицейских «научно» распознавать трех действующих лиц уличной кражи: «левёра» (то есть как бы поднимающего дичь для стоящего неподалеку другого вора); и «тирёра» (то есть «стрелка» — фактически совершающего покражу от второго вора и удирающего с ней). Все это показано так «дидактично», что, боюсь,— обучит столько же неопытных карманников, сколько и молодых полицейских.

В отделе здоровья прекрасны параллельные серии картинок — о здоровой и правильной жизни и о жизни нездоровой и неправильной; герой их — простой рабочий или мелкий служащий. С первой минуты пробужденья здоровая жизнь одного показана так «вкусно» и забавно, что хочется ей подражать, а тяжелое просыпанье другого в неубранной комнате, обрастающее целым снежным комом последующих неправильных действий, из которых чем дальше, тем трудней вырваться,— заставляет

невольно подумать о собственных ошибках. В результате просмотра — острое чувство важности начала; не надейся на хорошее исправленье во втором или третьем звене поступков; заложи правильное, хорошее начало для всей их цепи!

Со всеми этими практическими плакатами, исполненными гротескным и полным юмора рисунком или вырезанной наклейкой, и совсем не похожими на скучные натуралистические лубки с назидательными поученьями, перекликаются и надписи в уголке профессионального образованья, находящемся в отделе «бельгийского синтеза». Здесь — наставление для верных слуг капитализма, старательных рабочих; но само по себе в другой общественной системе оно было бы отнюдь не глупо. Что создает образцовую производительность труда? — спрашивает плакат; и отвечает: умение использовать научный прогресс на работе; умение культурно жить дома, вернувшись с работы; и, наконец, умение организовать себе здоровый отдых. Именно в этом павильоне, носящем названье «бельгийского синтеза», имеется и особое кино, «футурама», посвященное показу будущей техники.

Всякий раз, как посетитель попадает в футураму (а, к сожалению, в серьезных местах людей меньше всего), он остается сидеть на второй и на третий сеанс. Картины, как и всюду, сопровождаются научным объяснением диктора на выбранном вами, с помощью наушника, языке. Я видела в футураме опыт действия ультразвука: чудовищной силы звук, уже недоступный нашему слуху, нагревает силой своего действия железную пластинку докрасна. И смотрела фильм о том, какими должны быть автомобили грядущего. Мы на пороге электронной эры, и будущие автомобили, само собой разумеется, электронные. Это — своеобразные башмачки, имеющие на крышке переднего кузова два ряда круглых окошек, похожих на иллюминаторы. Они управляются невидимой рукой диспетчера издалека и мчатся с невероятной скоростью, потому что катастрофы и столкновенья сведены на нет.

Далеко не все выставленное Бельгией удалось хоть отчасти навестить и описать читателю,— к бельгийскому искусству, например, я вернусь отдельно. Однако во множестве, не поддающемся полному охвату, одно повидать сейчас совершенно необходимо. Это «одно» пригляделось каждому посетителю выставки на сотнях открыток, пла-

точков, галстуков, кружек, стеклянных моделек. Оно глядит вам в глаза с титульных листов брошюр и путеводителей. Его нельзя не увидеть в центре выставки, где оно сияет своими алюминиевыми шарами днем, а ночью стекает над выставкой искрами, словно десятки электронов носятся над ядрами атомов. Это «одно» — знаменитый Атомиум, задуманный как гигантская молекула кристалла железа, увеличенная в 165 миллиардов раз и состоящая из девяти атомов-сфер.

Атомиум строился бельгийцами целых пять лет, и в числе его инженеров-строителей был и один русский инженер, Жуков. Много усилий было положено, чтоб испытать сопротивление постройки действию ветров и сделать это странное, состоящее, грубо говоря, из девяти ячеек-шаров, соединенных тонкими ножками, сооружение — не только «обитаемым», но и безопасно посещаемым непрерывными потоками зрителей Люди текут и текут наверх, из сферы в сферу, по эскалаторам, проложенным в узких круглых трубах. А вниз спускаются по головокружительным стальным лесенкам, сквозь щели которых лучше уж не глядеть, если у вас кружится от высоты голова. Английская газета «Обсервер» в самом начале выставки писала иронически, что весь этот сложный путь до верхней сферы Атомиума не стоит труда, поскольку наверху вы попадаете в ресторан и табачный ларек. Это правда, что наверху — ресторан, вместе с широким видом на выставку; но прогуляться по сферам все же очень и очень стоит, потому что в шести из них размещено кое-что интересное. В самом нижнем шаре, где выставлена бельгийская термоядерная промышленность, нужно посмотреть аппарат для производства «радиоактивного йода 131». В сегодняшней медицине этот йод помогает устанавливать диагнозы многих, трудно опознаваемых болезней, употребляется и как облучитель. Весь очень простой процесс производства его показан тут в формуле, которую любознательные посетители заносят себе в книжку. Выше — вы увидите макет итальянских термоядерных лабораторий; модель синхротрона и сделанную в Роттердаме модель тридцатитысячетонного голландского танкера, движимого атомной энергией. Еще выше — изделия фирмы Вестингауз, от реактора — до атомной кухни будущего, где все предметы домашнего хозяйства компактны и ослепительны, как оборудованье

научной лаборатории. Но постепенно вы замечаете, что все это хоть и интересно, а как-то разбросано и кажется случайным.

Здесь, на примере Атомиума, стоившего Бельгии огромных трудов и средств, наглядно видно, до чего не уживаются рядом два принципа показа: *научный* и *рекламный*. Те же умные, замечательные машины, созданные человеческим гением на человеческую пользу, предстают перед вами в совершенно разном свете, когда их объясняет ученый, чтоб вы их познали, или сопровождает рекламная этикетка фирмы, чтоб вы их купили. Промышленные фирмы — Сильвания, Вестингауз и другие — совершенно забили Атомиум, лишив его серьезного научного характера. И в этом смысле блестящий архитектурно-научный замысел бельгийцев как-то и фигурально и буквально повис в воздухе.

ПРОГУЛКА ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ПАВИЛЬОНАМ

Зажмурясь над бездной звуков и красок, спустились вы вниз с Атомиума, чтоб добраться до сектора, где расположились гости Бельгии, павильоны других наций. Но, несмотря на развернутый план в руке и указатели на перекрестках, несмотря на малое пространство выставки — всего-навсего двести гектаров,— вы словно в лабиринт попали. И не то чтобы трудно найти дорогу, если хорошенько разобраться,— нет, вы просто оказываетесь в плену, как девочка Красная Шапочка, у разных увлекательных цветов в этом лесу.

Ну как не остановиться, например, у витрин зоологического сада, привезенного из Антверпена! Говорят — это лучший сад в мире по необыкновенному изобилию самых незнакомых четвероногих и пернатых, привозимых на всех кораблях со всех островов и материков. Не знаю, правда ли это и так ли они необыкновенны в крытом помещенье Zoo,— посетить его у меня не было времени и надо было беречь силы для существенного,— но то, что выставлено снаружи, способно заинтересовать посетителя. Вот за решеткой разгуливает семейство розовых цапель, ступающих с той плавающей грацией, с какой не поспорит

ни одна балерина в мире. Слева от них — клетка с черными крохотными птичками; они носятся вверх и вниз, мимо древесных веток, но вдруг — застывают в воздухе, трепеща крыльями; это они пьют из своих поилок, а поилки — стеклянные узкие трубочки с водой, прикрепленные к концам веток, подобно свечам на елке. И еще дальше — странная птица, о которой я раньше читала, но еще не видела — небольшая, ростом и обликом с дрозда,— спокойная, с ярко-красным отверстием на груди, куда она то и дело опускает свой клюв, как бы терзая свою рану. Эта птица — настоящий символ терзающего себя философа, не находящего путей в будущее, живая иллюстрация к стихам из гетевского путешествия на Гарц о таком заблудившемся философе:

...И гложет тайком
Свою ценность
В ненасытном самоисканье...

Все это — кусочек природы, отдых от мира машин, и хотя казалось бы в парке Хэйсель, где раскинута выставка, ее должно быть вволю, тем более, что из двухсот гектаров — шестьдесят отведено под сады,— но природы и свежего воздуха здесь, признаться, маловато.

Сады при всем своем множестве, и самые обыкновенные, и стиля модерн и четырех сезонов, и агрикультурные, и тропические,— то с виноградом и пальмами, то с жестяными спиралями на усаженных пестрыми камнями клумбах,— слишком искусственны. Зеленые промежутки меж павильонами почти сплошь использованы под макеты крошечных установок. То и дело натыкаетесь вы на макеты городов, портов и даже целой страны с ее островерхими шпилями церквей, настоящими лесами из елочек ростом с палец, змейками шоссейных дорог и даже бетоном гавани, в которую, шумя прибоем, накатываются настоящие крохотные волны крохотного моря. Как это ни странно, на выставке XX века постоянно вспоминается век XVIII, так много вокруг вас всяких механических игрушек. Только вместо наивных забав XVIII века,— музыкальных ящиков, затейливых часов с кукушками и выскакивающими из дверец человечками,— современная игрушка на выставке отражает современный уровень науки.

Автоматизм, с помощью электронного головного механизма (сервомеханизма, как его называют), бесконечно расширил свои возможности не только в производстве, но и в странных подделках под жизнь, забавляющих одинаково и детей и взрослых,— и надо сказать, что на выставке такие автоматы попадаются буквально на каждом шагу,— гримасничают, зазывают, подают афишки, предлагают пробные флаконы с шампанским, благодарят вас, прикладывая руку к козырьку. Как на ярмарках в начале прошлого века показывали в балагане какого-нибудь заснувшего в ящике крокодила или волосатую «русалку»,— в отделе развлечений выставки вы можете за пять франков посмотреть настоящего стального человека, имеющего даже собственное имя «Робот Sabor». Он стоит огромный, закутанный в панцирь, поднимает руки, передвигает ноги и, сотрясаясь, шагает к вам; он отвечает на ваши вопросы мертвым электронным голосом, а потом его хозяин швейцарец раскрывает перед вами его стальное нутро и объясняет кнопки и механизмы, заставляющие жить это «чудо швейцарской техники», как оно именуется в рекламах.

Даже самые невинные развлеченья мальчишек оказываются на выставке не просто развлеченьями. Вот за оградой нечто вроде современной карусели — ряд маленьких автомобилей, во всем похожих на настоящие, но, правда, неподвижно прикрепленных к земле,— только баранки их вращаются, как всамделишные. Мальчики, один за другим, пропускаются за эту ограду, чтоб нетерпеливо, совсем как на карусельных лошадках, рассесться на этих автомобильчиках и жестом шофера взяться за руль. Перед каждым из них экран. На каждом экране вспыхивает одно и то же: уходящая вдаль дорога, путешествие,— сквозь снега северной части Америки, многолюдные городские площади, резкие повороты, туннели, поля и горы — к самой южной точке,— залитым солнцем синим водам курорта Миами. Мальчики правят своими неподвижными автомобилями по-настоящему, внимательно следя за дорогой и поворачивая куда следует; но вдруг один из них зазевался — и что это? Автомобиль под ним грозно завибрировал. Оказывается — тут не только игра или урок автовождения, а и окно в будущее, когда электронный корректив уничтожит автомобильные катастрофы, а на шоссе автомобили будут лететь

точно в ряд, занимая каждый свое определенное место, один за другим, управляемые невидимой электронной рукой за сотни километров от них,— практическое добавленье к тому, что вы уже видели в бельгийской футураме!

Так, на каждом шагу останавливаясь, вы, наконец, добираетесь до противоположной от Эспланады территории, где расположены многочисленные национальные павильоны. Их очень много, и они все по-своему стоят не мимолетного посещенья, но внимательного изученья,— только потребуются на это не десять-пятнадцать дней, а, пожалуй, целых девяносто. И приходится резко сжать программу, ограничить себя кое-где лишь беглым пробегом, а кое-где и вовсе пропуском. И следуя правилу не только одной вежливости, но и накопленья предварительного опыта для лучшей оценки своего собственного,— начнем осмотр с чужих стран и среди этих чужих стран — первой троицы павильонов, английского, американского и французского.

Когда зарубежные газеты берутся описывать Английский павильон, они начинают со словечка «Оо» (aw!), долженствующего означать не то почтение, не то восторг, не то эквивалент состоянья, которое на русском языке выражается тремя словами: «аж дух захватило». Со мной этого не случилось. Быть может, именно потому, что я люблю английский простой народ и его культуру и зеленую землю Англии, я испытала глубокое разочарование в английском павильоне. Не столько от того, что там есть, сколько из-за отсутствия многого такого, чего там не оказалось и что кажется мне в Англии — главным. Начну свой рассказ с первого.

Ощетинившись щетками пирамид, протянулась длинная шея павильона, у которой, совсем как старые дворецкие в старых английских романах, стоит весьма внушительный служитель в форме: это вход. Вас встречает торжественный сумрак английской государственной традиции,— вдоль всего длинного коридора лежат реликвии старины, имеющие полное свое значение и по сей день,— скипетр короля Эдуарда; орден Подвязки; печать лорда-хранителя печати; кудрявый, как барашек, парик судьи; звонок и прочие парламентские атрибуты и мантии, жезл спикера палаты общин... Идешь длинным рядом этих реликвий, а в конце коридора, эффектно повешенный,

сияет портрет королевы Елизаветы II, как живое воплощение традиционной английской королевской власти. Такое начало должно сразу же показать зрителю, что Англия шутить не любит: она всерьез видит гранитные устои своей страны в соблюдении и почитании традиций, уходящих далеко в глубь времен. Пусть эти традиции бессмысленны, дело не в смысле, а в том, что они — английские. Говоря о себе в официальном путеводителе по павильону, Англия сразу же называет себя «страной коммерсантов», живущей коммерцией (trade), банкиром половины торгующего человечества, страной завоевателей и создателей могучей «империи». В этом павильоне словечко «империализм», имеющее для большей части человечества смысл ругательный и порочный, дается, как особое достижение, как подвиг нации храбрых моряков, открывателей, изобретателей, покорителей. И обойдя весь павильон, вы всюду чувствуете себя не в Англии, а в «Британской империи». Местоимение «я» пишется на английском языке с большой буквы,— и только одно это местоимение. Проходя по залам павильона, вы все время чувствуете, что витрины глядят на вас, как на «маленькую букву». Мы были первыми, говорит павильон,— в промышленной революции XVIII века, изобретя паровой двигатель,— и мы опять возглавляем великую промышленную революцию XX века, создав радар, телевидение, первую (?) мощную атомную электростанцию и — экспериментальный аппарат исследовательского центра атомной энергии в Харуэлле,— знаменитую «Зету». Гвоздь павильона, таинственная Zeta (показанная публике, кстати сказать, впервые), в виде модели семи футов (в одну треть подлинного размера машины),— привлекает зрителей больше всего. Пояснительная ее надпись несколько мелодраматически извещает о том, что «в ночь на август 30-е, 1957, большой шаг к овладению новым источником могущества для человечества был сделан». В этот день, говорится дальше, ученым Харуэлла удалось достичь освобождения нейтронов в термоядерном реакторе и температур в сотни раз более горячих, чем поверхность солнца. Да, это огромная победа и последствия ее, во всей их колоссальности, еще и мерещиться не могут самому смелому воображенью. Но,— добавим мы скромно,— наши советские физики, Арцимович и Леонтович, сделали тот же эксперимент еще до своих английских

коллег,— за что и получили в 1958 году Ленинскую премию. И мы первые, а вовсе не англичане, построили атомную станцию.

Англичане — замечательные юмористы, юмор частенько, в самые трудные минуты исторической жизни общества, как и в личной их жизни, заменял им религию, помогая сносить любую тяжесть. Но как это ни странно — юмор изменил создателям английского павильона. С самодовольством, незаметно скатывающимся в комичное, перечисляют они вещи, сделанные впервые в Англии; и тут валятся в одну кучу паровой локомотив рядом с сандвичем (последнее великое изобретение объясняется тем, что, желая поесть, не отрываясь от игры, англичане запихнули мясо меж двумя ломтями хлеба, взяв еду в одну руку и освободив для игры другую); безопасная шахтерская лампа — рядом с первой в мире разливкой пива по бутылкам; пневматическая шина — рядом с первой почтовой маркой. И — horribili dictu — даже Всемирную выставку они придумали и устроили первую в мире. Нельзя отказать в огромном познавательном интересе всего того, что можно увидеть и узнать в английском павильоне, начиная с варки стали и до роли изотопов в медицине. Маленькие черточки, вроде того, например,— что в Англии выпивается ежедневно двести сорок миллионов чашек чая (ей-ей, утешительная статистика!) или что за одиннадцать последних лет (с 1945 по 1956) было построено два миллиона шестьсот тысяч домов (в основном за время лейбористов у власти!),— тоже интересны для посетителя, и они хорошо поданы. Но чудовищная теснота индустриального отдела, ливень реклам торговых и заводских фирм, этот бесконечный бюллетень английского экспорта — опять приводят вас туда, с чего вы начали, с личной английской саморекомендации: «Мы-де страна коммерсантов».

Не будем критиковать английский павильон от себя, дадим слово самому англичанину, поместившему на него рецензию в одном из номеров журнала «Нью Стетсмен» в мае текущего года. Англичанин (Барри), довольно брюзгливо покритиковав всю выставку (в том числе и нас, грешных,— за то, что мы «в 40 лет не сумели вырастить поколение людей с художественным вкусом»), обрушивается на свой национальный павильон именно за его коммерческий дух. Конечно,— пишет он,— всякий по-

нимает, что для нас или экспортировать — или помирать, но, участвуя в соревнованье,— надо же помнить и о национальном достоинстве![1] И тут я совершенно согласна с Барри. Кто хочет узнать подлинную Англию, ее замечательных рабочих и ученых, строивших и создававших всю эту стальную технику, кто хочет узнать лучшие черты ее жизни и ее национального достоинства, ее подлинный воздух и атмосферу,— на выставке всего этого не почувствует.

Есть одна надпись в павильоне: «В Англии каждые четыре человека из пяти живут в городе, но все они наслаждаются деревней». Не только потому, что десять миллионов английских домов имеют свои собственные садики. А потому, что англичане любят деревню, и потому, что в глубине души, как это ни парадоксально, каждый английский урбанист — деревенский человек, может быть по закону психологической полярности. Так вот, это мимолетное наблюденье, записанное на стене павильона, применимо и к другим противоречивым вещам, в том числе и к тому свойству характера английского народа, о котором павильон не повествует ни единым словом. Да, коммерсант, купец, вышибатель копейки, как будто — самый одинокий волк в лесу, самый большой индивидуалист на земле. Но — мало на свете более компанейских людей, в которых общественное чувство было бы сильнее развито, нежели у простых английских людей! Почему не указана в павильоне одна из важнейших английских традиций,— высоко развитое в народе чувство общественного долга? Есть популярное английское выражение, о нем говорится в пословицах, песнях, речах на митинге: «Шапка по кругу». Нигде, кажется, не развита в капиталистических странах система общественной взаимопомощи так универсально, как именно в Англии. Шапкой по кругу содержатся не только бастующие рабочие, но и множество культурных мероприятий и учреждений, начиная с больницы для прокаженных и кончая королевской оперой в Ковент-Гардене. Речь идет не только о крупных пожертвованиях богачей,— речь идет и о копейке рабочего, потому что ни одно крупное пожертвование не может поспорить с копейкой, когда ее бросают в шапку

[1] Статья Джеральда Барри в журнале «New Statesman» 10 May 1958, стр. 592, «Expo 58».

миллионы и десятки миллионов людей. Ни этот дух общественной поддержки, ни лучшие идеи чартизма, ни здоровый английский материализм, двигавший английскую науку со времени Бэкона, ни чистый гуманный мир Диккенса, писателя, больше чем кто-либо из владеющих и владевших пером, сумевшего *взволновать* человеческое сердце светлыми чувствами добра, милосердия, любви к простому, маленькому человеку,— не оказались основными слагаемыми общей атмосферы английского павильона, а как раз наоборот — эта атмосфера встала массивным слоем многих идей и сил, против которых боролись лучшие люди Англии. Вот почему, несмотря на огромный познавательный материал павильона, крайне интересный сам по себе,— *подлинного лица английского народа вы в нем почти не увидите.*

Если английский выступает навстречу вам длинным, ощетиненным хоботком, то *Американский павильон* встречает вас танцующим кругом. Он очень легок, даже воздушен, несмотря на большие размеры: перед ним, повторяя его круг, сделан большой пруд, весь исчерканный серебром фонтанов, бьющих по самой его середине. К сожалению, пруд этот оказался, по-видимому, недостаточно глубоким для поселенных в нем рыб, и рыбы эти подохли, а в день моего прихода распространили такое невыносимое зловоние, что, как говорится по старой поговорке, хоть «святых вон выноси». Как раз в этот день воду из пруда выкачали, рыб убрали и швабрами мыли бетонное ложе, но запах порядком еще зашибал и держался дня два. Впрочем, «святых» в американском павильоне, которых стоило бы «вынести вон», оказалось не так уж много. Америка тоже начала с традиций, с того, что «было», но так как в области традиций ей с многовековой культурой Англии не поспорить,— эти «традиции» приняли в нижнем холле павильона, куда вы прежде всего вступаете, немного курьезный вид кунсткамеры, набора занятных, но более или менее случайных экспонатов. Портреты Абрахама Линкольна; старое деревянное кресло с выдвинувшимся столиком на его правой ручке, надо признаться, очень удобное, изобретенное в XVIII веке и до сих пор служащее образцом для ученических столиков-пюпитров в классе; сухие початки кукурузы, сохранившиеся благодаря сухому воздуху западных гор еще со времен, когда в Америке не было европейцев, и

надпись, говорящая, что Америка — родина кукурузы, а также картофеля; чуть подальше — образцы темных очков от солнца, которые постепенно, под влиянием причуд моды, превращаются в Америке в кокетливые полумаски; новый вид обуви, литой, широко сейчас распространенной в Америке: эту обувь не шьют вам по вашей ноге, а *отливают* на вас по снятому с вашей ноги слепку — из особого вида пластмассы; и тут же сухой рыжеватый комок-шар старого полевого знакомца, «перекати поле»,— Tumble-weed по-английски,— совершающий свои странствия по огромным пространствам, а иногда преграждающий дорогу путешественникам. Помните, у Шевченко, в его аральской ссылке:

А по долині, по раздоллі,
Із степу перекатиполе
Рудим ягняточком біжить
До річечки собі напитись.
А річечка його взяла
Да в Дніпр широкий понесла,
А Дніпр у море: на край світа
Билину море покотило
Тай кинуло на чужині...

Шевченко, быть может, думал о себе и своей судьбе, рисуя это странствие сухой травки, занесенной на край света. Но выставленный в американском павильоне комок, напоминающий как две капли аральских своих собратьев, лишний раз подтверждает странное сходство многих растительных, почвенных, этнографических элементов нашей далекой окраины и окраины Америки (Патагонии), подмеченное Дарвином во время его путешествия на корабле Бигль и даже заставившее его предположить, что обе земли были когда-то одной землей и «только в недавнее время поднялись над уровнем океана» [1].

Но, возвращаюсь к американскому павильону. Даже и серьезные экспонаты не уничтожают в нем впечатления кунсткамеры. Электронные машины представлены механизмом, отвечающим на десяти языках на любой из ваших вопросов (из нескольких сот), машинами-автоматами для выборов. Вокруг них толпится много народу, не устающего разговаривать с этим современным механи-

[1] «Путешествие вокруг света на корабле Бигль» цитирую по старому переводу под редакцией А. Бекетова, СПб. 1865, т. I, стр. 115.

ческим мозгом, обладающим памятью и соображеньем. Один из крупнейших наших ученых сказал мне как-то, что открытие атомной энергии не повлияет в такой степени на жизнь, характер и духовно-физическую судьбу человечества, как этот новый язык алгоритмов, на котором человек научил говорить машину. Мы только одной ногой вступили в новую эру, которую в английском павильоне назвали «второй промышленной революцией», и обыкновенный гражданин со средними познаниями в математике, механике и физике, а может, и без всяких таких познаний смотрит на реагирующую машину как на чудо.

Родившаяся на войне, от необходимости быстро рассчитывать траектории снарядов и ракет и выполнять сложные операции по наводке и пристрелке, счетная машина быстро прошла путь от расчетов до сложнейших умственных актов, включающих в себя *память, суждение, выбор, отбрасыванье,*— и просто нельзя представить себе, куда она будет развиваться дальше. Я приведу для читателя длинную выписку из Бернала, чтоб яснее показать возможности такой машины и ее приближение к деятельности человека: «Такая машина не только может точно выполнять заданные ей приказы, но и реагировать,— а в этом и заключается главная ее новизна,— на непредвиденные обстоятельства, обусловленные результатами первых стадий сделанных ею самой вычислений... показывать некоторые черты *суждения* и *знаний* в выборе легчайших путей для совершения того, что некогда уже делалось, и, таким образом, до известной степени создает в процессе своей работы свои собственные правила. Для всего этого она должна содержать внутри себя большое количество сведений, или *отрывочных* знаний, одни из которых получаются извне, другие порождаются работой машины, причем все это должно сохраняться для дальнейшего использования, сохраняться бесконечно, но так, чтобы быть в состоянии проявить себя по первому же требованию. Это — *запоминание,* основная черта электронного вычисления... Как показал Винер в своей книге «Кибернетика» (или наука управления), это поистине новая отрасль творческой науки, связывающая математику, электронику и технику связи, руководимых новой отраслью математики, которая называется *информационной* теорией,—с физиологией нервной системы и с самой психологией. Возможность создания того, что

является действительно мыслящими машинами, каким бы низким ни был уровень их мышления, безусловно будет иметь глубокое влияние не только на науку, но и на экономику и жизнь общества»[1].. И вот это серьезнейшее изобретение нашей эры, сама природа которого заключается в том, чтоб облегчить человеку сложные процедуры, расширить и сказочно ускорить его вычислительный акт, примерно бесконечно больше, чем очки расширяют ему возможность видения, а рычаг в руке удлиняет и делает мощней его руку,— она сейчас служит предметом любопытной игры на выставке. Функции ее в американском павильоне сведены на уровень «забавления» публики, опущения до границ его пониманья, и любопытство, с каким посетители к ней обращаются, мало чем отличается от любопытства к гадалке, к попугаю, достающему билетик с вашей «судьбой». Если б счетная машина могла чувствовать, она безусловно испытала бы от такого своего примененья чувство глубокого *унижения*.

И опять мысль перебросила меня от американского павильона в наш советский павильон, а вернее — в нашу советскую действительность. Чтоб развиваться,— и машине, как живому организму, нужна среда, то есть нужно, чтоб действительность ставила *реальные* требования к ее развитию, например, к ускорению ее операций, к их более тонкому и ответственному применению. Но мы уже напоминали читателю, как частная собственность на землю в капиталистических странах лимитирует широкое переустройство и планировку городов, как она затрудняет и удорожает передачу электроэнергии на большие расстоянья и выгодное создание куста электростанций. Нет в капитализме и некоторых замечательных условий для развития электронной машины, как они есть в нашей стране.

Может ли капитализм в огромном масштабе планировать народное хозяйство, следуя главному закону такого планированья,— закону максимального удовлетворения потребностей общества при максимальном для данного уровня техники развития производительных сил?

Может ли капитализм планировать на пространстве десятков тысяч квадратных километров, принимая во

[1] Дж. Бернал, Наука в истории общества, М. 1956, стр. 423—424.

внимание все стороны плана, все цифры — конечный продукт, сырье, на него идущее, полные затраты на его получение и реальную потребность в нем.

Нет, конечно; как бы ни силился капиталист вносить в анархию частнособственнического хозяйства и план и предусмотрительность,— он бессилен изменить природу своего строя. А мы не только можем, мы должны планировать, потому что это закон нашего нового общественного режима. К сожаленью, до сих пор мы планировали крайне приблизительно, ориентировочно, и это страшно мешает нам. Почему? Потому что для того, чтоб точно спланировать какую-нибудь тысячу наименований, мы должны проделать несколько миллиардов счетных операций, а фактически — засадить тысячу квалифицированных человек, чтоб они работали около десяти лет для решения этой задачи. А когда они решат ее, действительность обгонит их на десяток лет, и решение окажется ни к чему не нужным.

Теперь представим себе, что мы зададим решение этих плановых вычислений электронной машине. Она выполняет до тридцати тысяч операций в секунду. И выполнит ту же задачу в две-три недели. Если считать только одну выгоду на зарплате (не говоря уж об освобождении тысячи квалифицированных работников от этой механической работы), то разница будет примерно такая: один миллион вычислений (миллион, а не миллиарды) обойдется на машине четыре рубля, а вручную двадцать шесть тысяч. Пусть, кому не лень, сосчитает, какая же будет разница на миллиардах операций! И наши госпланы уже обратили внимание на возможность *поручать электронной машине сложные экономические анализы планирования.* Наши госпланы не одиноки,— в Польше, в Венгрии идет подготовка материалов для задания машине инструкций по планированию, в ГДР электронная машина уже ведет внутризаводское планирование на комбинате Лейна-Верке [1].

Что это значит для социалистического хозяйства, еще трудно охватить воображеньем. Но можно уже ответить, что это значит для самой машины. Ей у нас говорят: увеличивай свою скорость, расширяй свой диапазон, разви-

---

[1] Обо всем, что я тут пишу, читатель может прочесть в интереснейшей статье В. Белкина. «Известия» от 30 июля 1958 г.

вай свои замечательные мозги, потому что это нам нужно до зарезу. Сверхбыстрое вычисленье надо удвоить, утроить, удесятерить. И нашим ученым надо *«быстрее разработать математические формулировки технологических процессов в металлургии, химии и других важнейших отраслях народного хозяйства»*. А так как это дело сложное и новое, то для него необходимо привлечь к работе *«не только одних математиков, но также технологов, конструкторов и других специалистов, чтобы наряду с алгоритмами создавались и управляющие математические машины для конкретных технологических процессов»* [1].

Вот каким темпом при ясных стимулах нашего хозяйства должна у нас развиваться новая наука электроники. Здесь я могла бы от души воскликнуть то самое «о-о» или «дух захватывает», которого не вызвали у меня ни английский, ни американский павильоны. Но будем объективными,— в американском павильоне, если внимательно его досмотреть, есть, разумеется, множество интересных вещей, от комнаты «детского творчества» наверху (своеобразного детского садика для маленьких посетителей) и до замечательных, вековых деревьев внизу, оставленных расти в самом павильоне, прорезая его полы и крышу. Но лично для меня интересней всего было посещение циркорамы. Вы входите в круглый зал, где надо стоять. Экран, как сплошной горизонт, находится повсюду вокруг вас, куда ни обернись. Вот он зажегся, и вы на океанском пароходе подъезжаете к Нью-Йорку, мчитесь в автомобиле по его улицам,— Бродвей, небоскребы, все, что знаете из картинок, но это лишь начало. На всех видах транспорта вам предстоит пропутешествовать по всем городам и красивым местам Соединенных Штатов. Циркорама показывается в Европе впервые, удовольствие она дает огромное именно такими природными съемками. Вы смотрите, разумеется, все время вперед, вместе с поступательным ходом машины, но вы и много раз, как в жизни, оборачиваетесь во все стороны и видите все, что окружает дорогу, глядите и назад на то, что уходит от вас. Путешествие длится с полчаса и дает действительно живое географическое представление об Америке.

---

[1] «Правда» от 1 августа 1958 г., статья В. Александрова.

А народ? О нем, как и в английском павильоне, мы не получаем никакого определенного впечатления. Подобно тому как англичане рекомендуют себя в своем гиде, дают и американцы себе характеристику. Они пишут, что стремились передать «отличительные феномены, которые считаются характерными для американского народа,— динамическую энергию, нетерпение, неутомимую страсть к переменам, неослабные поиски улучшения путей жизни и высокую степень сознания единства, достигнутого среди самых разнообразных по происхождению людей». Последними одиннадцатью словами путеводитель по американскому павильону дает сложный эквивалент простого словечка «демократизм», видимо не желая упрощать толкуемый им «феномен».

Но видит ли посетитель все это? Павильон ни об этих «феноменах», ни о действительно лучших качествах американского народа, их простоте, открытости и приветливости, не дает никакого представления.

Не так давно проскользнуло в печати, что даже американские туристы были возмущены этим полным отсутствием подлинно американского в своем павильоне. Но на выставке все же можно увидеть настоящее лицо обоих народов, и английского и американского. Для этого нужно пойти в интернациональный дворец науки. Там вы встретите подлинный английский народ, он встает в лучших своих качествах в замечательных стендах английских ученых, где строго научно вскрыты чудовищный вред термоядерных испытаний для нескольких поколений человечества, их гибельное влиянье на хромозомы, клетку, интимнейшие механизмы наследственности; он встает в фотографиях митингов, где англичане страстно протестуют против испытаний атомных бомб. Встретите вы там и американский народ,— для этого стоит только посмотреть хотя бы шестнадцать стендов американских ученых о вирусах: электронный микроскоп, позволивший увидеть вирус глазами; наблюдение и характеристику частиц вируса, как носителей болезни; определение всего числа инфекционной группы частиц; различные формы инфекций, структуру бактериальных вирусов, репродукцию их, действие их,— сперва на «мозаичной болезни» табака, потом на гриппе,— и вакцины против гриппа, против полиомиелита,— все это достиженья американских ученых Калифорнии, Вашингтона, Нью-Йорка, Чикаго,

Атланты, Урбаны, Мичигана (среди фамилий которых встречаются русские, немецкие, шведские, польские), шаг за шагом борющихся и за разгадку хотя бы тех видов рака, которые носят явно вирусный характер. И в этой упорной борьбе против врагов человечества,— носителей болезни,— сказывается самое светлое, что есть в характере американского народа, его *уважение к той самой жизни,* которую так бездумно и злостно стремится разрушить американский империализм.

Французский павильон вызвал еще задолго до открытия выставки очень много разговоров. Основное его достоинство — смелая новизна архитектуры, но при этом не новизна вообще, а — принципиальная новизна, со своим теоретическим обоснованьем. Когда глядишь на архитектуру выставки простыми глазами посетителя, убежденного, по долгому опыту выставок, в кратковременности этих причудливых зданий, совсем не рассчитанных на прочную жизнь, то по правде сказать и не очень замечаешь их архитектурную новизну,— а воспринимаешь ее, как в своем роде театральную декорацию. Французский павильон и строивший его французский архитектор Жилле разбивают такой неискушенный взгляд в пух и прах. В одном из интервью, данном нашему выставочному журналу «Спутник», выходящему на нескольких языках, Жилле сказал, что «теория напряженной сетки» (по которой можно очень экономно в расходе металла, а следовательно и очень дешево перекрывать большие пространства),— эта новая строительная теория может сделаться «таким же этапом в развитии архитектуры, каким явилась смена тяжелого романского стиля легким готическим или замена каменной кладки металлоконструкциями»[1]. Он считает, далее, что не он один воспользовался этой теорией, а эта теория напряженной сетки нашла свое применение «при постройке Советского, Американского, Французского, Бразильского и многих других павильонов»[2]. Это уже серьезный подход к вопросу, заставляющий и серьезно задуматься. Стиль складывается не сразу, и еще задолго до его полного, комплексного выражения — земля переполняется отдельными его элементами. Пятьдесят лет назад ни в Европе,

---

[1] «Спутник» № 3 от 10 мая 1958 г.
[2] Там же.

ни у нас еще не было гигантских индустриальных комплексов со своими разнообразными геометрическими чертами,— газгольдеров, гигантских труб, гофрированных металлических складов и т. д. Тридцать лет назад в мире еще не было изыскательных научных центров новой энергетики, с их гигантскими техническими установками. Могут ли эти строения с их новой пластикой, «вписывающиеся» в пейзаж, а подчас в города страны, не влиять и на цивильные городские постройки? Напряженная сетка, то есть новый центр тяжести, новый способ опоры или перемещенье опоры снизу вверх,— все это родилось, конечно, не в фантазии архитектора, а на почве очень нового грандиозного индустриального строительства. И если с этой точки зрения посмотреть на выставочные павильоны, казалось бы изощряющиеся друг перед другом в остроумии выдумки, то почти каждый из них напомнит какую-нибудь часть заводской или инструментальной пластики. Бродя по выставке, я, например, очень часто, глядя на разные архитектурные причуды, вспоминала любимый мною в заводских цехах коленчатый вал, эту философию передаточного движения, такую на вид капризную и такую бесконечно обусловленную в каждом своем миллиметре. Архитектор Жилле менее всего фокусничал,— он хотел, на мой взгляд, математически точно выявить строительные возможности будущего. И он создал огромный жесткий синтез тех средств, которые уже применялись при создании механизмов, мостов, заводских комплексов; перенес старую точку опоры с земли наверх, использовал в архитектуре закон рычага и дал очень точный строительный организм, в данном своем выражении (как первый эксперимент) вовсе не кажущийся и по всей вероятности совсем и не желавший казаться красивым. В нем есть одно качество, которое французы зовут непереводимым словом précis,— наше слово «точный» не передает его полностью, потому что во французском «précis», есть и элемент эстетического, чего нет в нашем слове «точный». Так вот Жилле сделал своим павильоном нечто précis и поставил интересную проблему дальнейшего развития в гражданской архитектуре тех новых законов, которые уже получили свои права в архитектуре индустриальной.

Я не вижу пока таких же удачных решений внутри павильона, какие Жилле нашел и показал в его строи-

тельном каркасе. Эти интерьеры французского павильона, на мой взгляд, мало удобны для размещения экспонатов, трудны для планировки, очень жестки для жилья. Может быть, именно поэтому французский павильон своим содержаньем удовлетворил меня меньше, чем новизной и принципиальностью своего архитектурного решения. Но одно все же надо сказать: электронные машины показаны в нем без элемента «забавленья», очень хороши стенды Булля, особенно модель большой машины «Гамма 60» (в натуральную величину занимающей полтораста квадратных метров); среди всяческого разнообразия — запоминается уголок, отданный шахтерам Лоррэня, их быту и отдыху,— и опять отличные фотографии живых и выразительных человеческих лиц. А все же лучшее, чем может похвалиться французский павильон,— это книга. На втором этаже, в отделе искусства, отмеченном реалистической скульптурой Пикассо «Коза» (настоящая плебейская, истощенная материнством и непрерывным отдаиванием, коза, одна из лучших скульптур на выставке), размещены и французские книги,— возле них посетители стоят подолгу, а многие, удобно устроившись в кресле, и попросту отдаются чтению. Французской книге отведен еще целый отдельный павильон, где, помимо знакомства со всем, что сейчас издается во Франции, вы можете в наушники послушать французские стихи в исполнении крупных актеров. Мне довелось так услышать чтение поэтических «Прощаний» (Les adieux) Дюамеля.

Ни сил, ни времени не хватит, чтоб подробно описать все другие павильоны, хотя о каждом из них можно было бы рассказывать без конца.

В павильоне Швейцарии — развитая машинная индустрия в размерах, какие в этой красивой стране туризма и классической педагогики просто как-то и не представляешь себе; скрупулезно показано производство знаменитых часов, скорей как научный, а не заводской труд: по часовому делу в Женеве сдаются дипломные работы. Очень хорош своим разнообразием показ семи швейцарских университетов (на пять миллионов населения!),— так, что о каждом хоть немного да что-нибудь характерное запоминается: о Лозаннском — получение им «доски почета»; о Женевском — как устроен студенческий городок с его общежитиями; о Берне, где преподавание

идет на двух языках, как о сравнительно молодом университете (основан в 1834 году); о Цюрихском — с его великолепно поставленной палеонтологией; о Фрибурге — с его знаменитым эфиопским манускриптом, открытым два года назад; о Нейшательском, как о центре физических исследований Швейцарии, и, наконец, о Базельском, самом старинном, основанном в 1459 году. Молодежь моего поколения, заканчивая гимназию, выписывала тонкие в розоватых обложках проспекты этих, в ту пору заветных для каждого, очагов европейского образования, манивших нас из самодержавной России еще и воздухом швейцарской демократической свободы. Помню, с каким волнением изучали мы французский и немецкий текст этих проспектов, суливший нам, свыше пятидесяти лет назад, лекции всемирно-известных медиков, химиков, математиков. А вот и ревниво почитаемая каждым швейцарцем старинная хартия, на неразборчивом языке, с висящими, дряхлыми от веков печатями. Шестьсот шестьдесят семь лет назад (в 1291 году!) три совсем примитивных в то время кантона подписали соглашение о защите своих прав и независимости от чужеземных вторжений — так было положено начало швейцарской конфедерации, самой старой демократии в мире. И как тяжело читать сейчас, что именно Швейцария — в дни напряженнейшей борьбы всего передового человечества за запрещенье атомного вооруженья — постановила производить у себя атомные бомбы!

Прохожу мимо бетонной глыбы с крохотным крестом на ее пирамидальной верхушке, это *«Святой престол»*, как называется здесь павильон Ватикана. В нем можно узнать, как щупальцы католической пропаганды, ее многочисленных миссий, иезуитских школ и университетов, проникают буквально во все концы мира и как церковь умеет использовать для этого весь арсенал эстетических, музыкальных и даже научных воздействий. Да что далеко ходить! Вот пример, небезынтересный для нас: в книжном киоске, где раздается бесплатно обширная католическая литература, есть и продающийся литературный товар. Среди него — одна очень ходкая, хотя и дорогая книга, под... евангельским (оно звучит в католическом павильоне совершенно евангельски!) названием: «Не хлебом единым». Взгляните поближе: издано в Мюнхене. И еще поближе: автор — Дудинцев. Так святой

престол использует творение молодого советского писателя, уж конечно не намеревавшегося дать Ватикану козырь в руки!

Помню, как пятнадцатилетней девочкой, пятьдесят пять лет назад, я впервые попала в Вену — веселую Вену, где еще не было автомобилей, где седенький круглолицый старичок, император Франц-Иосиф, каждый день проезжал на выхоленной паре в открытой коляске через длинную Мариахильферштрассе (если не врет память) в свой Шёнбрунн и где большие, белые с рыжим, собаки развозили по городу в тележках молоко. Я тогда убежала от матери и до ночи бродила по незнакомому миру, где даже уличный запах (смесь непривычного сорта табака с непривычным маргариновым или растительным дыханьем кухонь) казался мне чем-то не своим и все было чужое, «заграничное». С этим, поднявшимся из очень большой глубины памяти, старым детским чувством вошла я и в *Австрийский павильон* на выставке. Он стоит большим вибрирующим ящиком на тонких четырех ногах, и в этом ящике вдруг встречаешь — через более чем половину века — если не тот же запах, то такой же точно воздух венской жизнерадостности и беззаботности. Я не могу его объяснить себе только обманом воображенья. Здесь есть что-то от Вены, города, так же определяющего собой свою страну, как Париж определяет свою. За полвека разорвалась лоскутная империя, ушли из нее два крупнейших народа — венгерский и чехословацкий, нацистские каблуки подмяли ее под себя и были вышвырнуты, а Вена, столица Австрии, все так же звучит день и ночь прекрасной музыкой, пестрит тирольскою шапочкой с пером, ездит отдыхать в свои Альпы и напоминает, в сущности, счастливую узловую станцию-курорт между Средней и Южной Европой,— меж отходящим от ее крыш обычным среднеевропейским дождичком — и подступающим к ней безоблачно-синим благодатным итальянским небом. Выбранный Австрией «нейтралитет», твердая и спокойная почва под ногами — кажутся самым органичным путем развития Австрии, ее международного положения и ее самобытной культуры.

Хоть это и вовсе не рядом, но из австрийского меня потянуло в *Итальянский павильон,* расположенный среди зелени парка и слегка на отлете. Он кажется очень простым архитектурно и дешевым по материалу,— оголен-

ный красный кирпич и дерево, но, присмотревшись, понимаешь, что, как очень красивая девушка, Италия решила обойтись без всякого «мэк-ёп» (сделанного красками, пинцетом и ресничной наклейкой лица) и без особых модных нарядов. Свое прошлое она демонстрирует, словно в музее, отдельными образцами искусства, сделавшегося универсальным. Что толку распространяться, все и так ясно,— говорит скупая и даже как будто ленивая грация первых отделов павильона. Подобно американскому, Италия даже не очень демонстрирует свои знаменитые исследовательские институты по атомной энергии, почти все это она вынесла за пределы павильона, в интернациональный Дворец науки, а здесь предлагает вам полюбоваться на действующий макет, названный «Дорогой солнца в Италии»: рельефная карта, от северной Генуи до кончика итальянского географического «башмачка» в Бриндизи, и — белая лента солнца, пробегающего этот путь сверху донизу.

Маленький павильон Израиля тоже интересен для посетителя, малознакомого с этим новым государством, существующим только десять лет. Несмотря на очень острый национализм, нигде так сильно не чувствующийся, как в этом павильоне, многое здесь привлекает вниманье посетителя: фотографии «народа без земли» и первых иммигрантов, страстно ступавших на «землю предков», где «дети их вырастут без уничижения, не в чужом, а в своем родном доме»; [1] картины массовой обработки пустынных полей, казалось, уже ставших безжизненным бесструктурным уделом древней истории, откуда лопата и трактор могут извлечь лишь стершиеся камни исчезнувших городов; воссоздание на этом прахе истории — новой жизни: 437 новых городов и деревень, 1364 новых школ с 224 109-ю учениками, 132 новых больницы, 2658 километров проведенных дорог и многое другое за десять лет существованья. Патетически составленный каталог этого павильона мало говорит о жизни науки в Израиле (кое-что есть в интернациональном Дворце науки) и о росте его коммунистической партии,

[1] Павильон не рассказывает, однако, о том, что «родиая земля» встречает своих «детей» далеко не одинаково. Недавио Израиль посетили советские турнсты, и один из инх, тов. Плоткии, описал в «Вечерией Москве» отиюдь не идиллнческую картниу жизии там большой группы нммиграитов.

честный и трезвый голос которой уже начинает покрывать эмоциональную патетику национализма...

С юга на север, в чудесный деревянный *павильон Финляндии,* к молчаливому народу со скупым жестом, но любящему свою маленькую родину мхов и гранитов, озер и лесов никак не меньше, чем народы Юга — свою. В 1956 году финны насчитывали четыре миллиона триста двенадцать тысяч человек, и среди них — 99,5 процента грамотных,— величайший процент грамотности в мире. Многие из виденных мною на выставке павильонов блещут по замыслу их создателей то новизной и оригинальностью, то изяществом или — величием, великолепием, богатством; и частенько за этой выставочной декорацией не распознаешь лица народа или видишь это лицо вне его подлинных, главных черт. Павильон Финляндии,— и это делает его народ особенно симпатичным нашему народу,— блеснул совсем особым качеством, почти забытым в искусстве и литературе Запада: простотой. Входишь в него, как в чудный еловый лес,— и легкие вдыхают естественный аромат дерева; оно всюду — дерево и его друг, сохраняемый лесами и питающий леса,— вода родников и речек, озер и водопадов. Финны не говорят о себе, как англичане: «Мы — народ коммерческий», или как американцы: «Мы народ нетерпенья и постоянной жажды перемены». Исходя из статистики большинства населения, они просто показывают себя в своих экспонатах народом, главным образом работящим. Работы, конечно, очень много, и трудной,— ведь надо корчевать камни из земли, чтоб сеять хлеб; надо обуздывать воду, этого «врага и друга», как говорят о воде в другом павильоне, Нидерландском. И вокруг вас, в финском павильоне,— картины упорного, хорошо организованного труда; сплавка леса,— и обработка дерева. Замечательный продукт — бумага; машина, чтоб делать газетную бумагу,— она экспортируется во многие страны мира; лучшие люди Финляндии — рабочие, музыканты, ученые; милое, такое глубоко народное, характерно-финское лицо составителя гениальной «Калевалы», Элиаса Лённрота; картины общественной жизни — и очень маленький, почти незаметный, показательный для финского «образа жизни», бытовой набор финской столовой, та самая простота, о которой я упомянула выше: красивый деревянный обеденный стол без скатерти, под каждым прибо-

ром — своя небольшая плетеная скатерка или салфетка, обеденная посуда предельно бесхитростная, глубокая и плоская тарелки не из фарфора, а из керамики... И видно, что к этой простоте в быту присоединяется еще одно неразлучное с ней качество — чистота. Тот же характер простоты, чистоты и точности и в производствах,— металлургии, например, показанной от сложных металлических изделий до знаменитого финского ножа...

Сильно уставшему человеку хорошо зайти попить чайку в *Японский павильон.* Сидишь на бамбуковой тумбочке, покрытой круглой шелковой подушкой, и прихлебываешь настоящий освежительный чай, поглядывая на необычную ложку: круглая морская раковинка на деревянной полочке. Напиться чаю в Брюсселе не так-то легко, да, пожалуй, и во всей Западной Европе. Надо или идти в город к английскому книготорговцу Смиту, где от четырех до пяти вам дадут превосходный английский традиционный «файф-о-клок ти» со всеми его атрибутами, или к японцам, или, разумеется, к себе домой — в советскую столовую нашего павильона. Кофейная культура Запада изгнала чайного «сверчка на печи» — чайник для заварки; и чай подают вам в виде облатки на ниточке, опущенной в чашку с кипятком. Из бумажной облатки просачивается черная чайная жижа, которую вы и глотаете, выбросив использованный мешочек с чаинками. Скорей фармацевтика, чем чаепитие! В японском павильоне все начинается с огромной головы Будды VII века и с большого изображения руки современного японца на стене, руки работящей и интеллектуальной, с тонкими, талантливыми пальцами. Эта рука,— рассказывает вам павильон,— тотчас после войны в неустанном труде восстановила родную страну из руин и пепла. Вокруг вас — плоды ее работы, своя, тщательно выполненная электроника — счетные машины, микроскоп. Огромные грузовики; блок в полторы тонны необыкновенно чистого оптического стекла, в производстве которого японцы имеют свой долгий классический опыт. Экзотики почти совсем нет.

Вообще на выставке воочию видишь, как то, чему мы привыкли давать название «экзотического»,— в больших культурных павильонах многих восточных и южных стран и в павильонах стран, начавших освобождаться от колониализма, все больше сходит на нет, исчезая, как та-

ковое, и становясь обычным выражением своей национальной формы.

Зайдите в *павильон Объединенных арабских стран,*— вас захватит разворот больших технических строительств, плотина Асседуана, транспорт, нефть, великолепие Нила, вступающего из мертвого царства пирамид в семью больших рек, служащих родной земле уже не только орошением, а всей суммой заложенных в них энергий. А в холле глядят на вас, когда вы сюда входите, древние знаки зодиака, напоминая о тысячелетиях, пронесшихся над этой землей, народы которой умели исчислять и строить, мыслить и управлять природой задолго до того, как возникла маленькая культурная Европа. «Экзотичность» — это как раз не качество восточных культур, а характер их восприятия со стороны народов белой расы. На выставке вы убедитесь,— из привычного направления внимания у зрителей и газет, дающих этому направлению внимания литературное выраженье,— что для сотен и сотен посетителей дальше красивой персианки, ткущей традиционный персидский ковер,— почти нет интересного в павильоне Ирана; а в павильоне Туниса — посидеть, может быть, на подушках среди сладко-сухого запаха роз, а в Никарагуа — получить из рук черноглазки чашечку чудного кофе, о котором спорят посетители, где оно лучше,— здесь ли, в Бразильском ли, или в Турецком,— и в этом восприятии живых, желающих расти и творить народов сквозь привычные очки экзотики — есть что-то не только уже оскорбительное для них, но и обедняющее самого зрителя.

Гражданину стран социалистического лагеря оно предстает как нечто ужасно отсталое, словно тот самый крестик, какой беспомощно выводит на бумаге рука безграмотного человека. И, может быть, ниоткуда не потянуло меня с такою силой к нашим, социалистическим павильонам, потянуло вечным зовом путешественника «домой, домой!», как именно из маленьких живописных павильонов, где в угоду привычному вкусу европейца и американца, и потому, что талант народа стиснут рамками колониализма,— выставлены ковры, ковры, подушки, ткани, изделия тяжелого ручного труда, овеянные для посетителя душным запахом роз, ленивым облачком кальяна.

Странным и неестественным кажется, что здесь, на выставке 1958 года, поставившей вопрос о роли прогресса для счастья человека,— нет самой большой страны в мире, которая уже проголосовала за него сотнями миллионов голосов,— Китайской народной республики. Да,— ответил Великий Народный Китай,— прогресс облегчает труд человека, удлиняет его жизнь, создает больше безопасности для детского возраста, развязывает время и руки для личного человеческого творчества. Но ведь именно для этого и надо создать у себя такой строй, чтоб *все* граждане могли творить и двигать его и пользоваться его благами. И Китай, как никто, мог бы рассказать о победном проникновенье прогресса во все уголки его громадных пространств, еще вчера знавших лишь горе, темноту и голод. Но Китая на выставке нет.

Серебром светятся алюминиевые пластины, с фреской Будапешта на фасаде,— это встречает гостей *Венгерский павильон.* Кроме той истории, которую каждый народ рассказывает сам о себе в своем павильоне, есть еще история самого павильона в дни и месяцы действия выставки; и в этом смысле венгерский очень примечателен. В самом начале, когда он только что открылся, были попытки писать о нем в духе соболезнования,— вот-де народ, воля которого раздавлена, прошлое которого скомкано, продающий сувениры в то время, как главное его воспоминанье — это кровавая с ним расправа. Такие сентенции встречались не только в зарубежных газетах, но и в разговорах досужих посетителей. Казалось, этот павильон будет менее посещаем, чем другие. Но дни шли, и живой поток людей к нему рос и рос. Одни бегали пить токайское и есть поприкач, уверяя, что у венгров все и вкусней, и дешевле, и уютней; другие удивлялись огромному скачку, сделанному венгерской наукой,— подумать только, действующая модель акселератора, счетчик фотонов, свой собственный атомный центр в долине Чиллеберц! И шестьсот метров в павильоне под одними только экспонатами тяжелой промышленности,— а главное, выход на мировую арену: вместо того чтоб просить помощи у крупнейших фирм в деле индустриализации, венгры, оказывается, сами предоставляют эту помощь, ставят электростанции в Польше, Индии, Африке, даже культурнейшей Чехословакии ставят печи, не говоря уж о промышленных заказах из Албании, Аргентины! И по-

думать только,— в Голландию, царицу тюльпанов, посылают какой-то особый выведенный ими сорт тюльпана... Вот эта типичная для стран социалистического лагеря картина огромного роста промышленности и неизбежной кооперации между ними и кажется посетителю выставки «выходом на мировой рынок». С одним из них, долго сидевшим перед картинами сказочно прекрасного венгерского художника Чонтвари, которого и я очень люблю, удалось понемножку разговориться: «Выставляют. Удивительно! — сказал он по-английски.— Тут совсем нет пресловутого реализма. Его биография похожа на гогеновскую, а его картины совсем в духе нашего Тёрнера или Вильяма Блэйка. И лошади похожи на английских...» Нельзя было не рассмеяться на это суждение, вырвавшееся как бы против воли: никакого реализма, а лошади похожи на английских. С огромным удивлением рассматривали посетители и чудесную фигуру «Танцовщицы» работы скульптора Шомоди,— этот сгусток энергии, полный стремительной силы движенья. Они открывали для себя большую, творческую страну, народ, довольный своей жизнью в ней, живой и общительный. Целыми группами ходили по своему павильону наезжавшие на выставку веселые венгерские туристы — рабочие, студенты, крестьяне,— все они отнюдь не казались несчастными. И вскоре соболезнующие толки вокруг венгерского павильона сами собой прекратились,— он зажил нормальной и очень успешной выставочной жизнью.

Интересную историю мог бы порассказать о себе и *Чехословацкий павильон,* один из прекраснейших на выставке. Его архитектура, внутреннее содержание, веселое «ревю», бесплатно разыгрываемое в небольшом театральном зале («маленьком чуде хорошего вкуса», как писали об этом зале английские газеты), так безусловно хороши, что у самых злостных критиканов язык не повернулся как-нибудь задеть их. И только один русский бельгиец, не удержавшись, пробормотал в ответ на хвалы чехам: «malgré!» Коротенькое словечко «мальгре» должно было означать, что если уж социалистической Чехословакии и удалось создать нечто прекрасное, так не *«потому»*, а *«вопреки»*,— вопреки ее социализму. И здесь, если захотеть ответить на это словечко по-настоящему, мы и подойдем, в сущности, к главной теме выставки.

Но прежде всего пройдемся с вами, читатель, по небольшому чехословацкому павильону. Снаружи он забирает не сразу, и вы только бегло схватываете черное с золотой отделкой. Но внутри, в холле, этот букет золота с черныю повторяется, и в такой связи, что заставляет вас задуматься На выставке в огромном количестве встречают вас абстрактные скульптуры не то из железа, не то из чугуна, и вы в конце концов перестаете обращать внимание на все эти бессюжетные возносящиеся завитки, приседающие на свой хвост спирали и схватывающиеся в боксе каркасы. Но тут, у чехов, вы тоже видите такую металлическую абстракцию, но — здесь ее завитки и спирали неожиданно превратились в подставки для золоченых фигурок, а целое вдруг показалось чудеснейшим художественным барокко, тем стилем, полным внутреннего движенья и фантастической жизненности, который очаровывает в Праге и заставляет замереть от восторга на лучшей площади Бельгии, брюссельской Гранд-Пляс. Вместо ультрасовременного абстракизма, чехословацкий художник, словно затаив про себя улыбку, так повернул рукою творца этот абстрактный завиток, что он сделался классикой,— выразительным подножием и элементом барочного стиля. Это впечатление дает тон всему остальному в отделе культуры павильона. Сперва захватывает музыка. «Нет, более нужного для народа искусства, нежели музыка», гласит надпись из Зденека Неедлы. Рояль для концертов, но не Бехштейн и не Стэйнвэй, а четкая надпись на черном лаке: Петров. И еще другой, белый с позолотой рояль, знакомый каждому, кто бывал на вилле Бертрамке в Праге,— инструмент Моцарта, на котором пробовали его пальцы мелодии Дон-Жуана.. Наука, представленная с таким же лаконизмом: знаменитый востоковед Бедржих Грозный, прочитавший хэттитскую надпись, а дальше — сама эта надпись: «Если свободный убьет змею и имя другого говорит, платит 1 мину серебра, но если раб — умирает». Врач Ян Перкине, основатель теории живой клетки; Мендель, с его генетической таблицей, и — целая ниша Яна Амоса Коменского, с большими квадратами картинок из мирового его учебника «Orbis pictus» (Мир в картинках)... Дальше — детская комната игрушек, похожая на дневную елку, которой не надо зажигать, потому что вся она светится, переливается и свер-

кает множеством красок и блесток. Вы чувствуете себя легко и необыкновенно уютно, как если б всю вашу усталость сняли и перенесли вас в сон или в сказку,— и в таком просветлении садитесь смотреть знаменитое «ревю», названное «волшебным фонарем». Это — синтез танца, музыки, скетча, кинофильма.

Справа и слева от сцены, словно обрамляя ее двумя полосами, натянуты экраны. Сперва выходит на сцену настоящая, живая девушка чешка, по имени «Ирен», играющая роль «конферансье» этого волшебного фонаря. Улыбаясь, она заговаривает по-чешски, но ведь этого мало, ведь выставка требует по меньшей мере трех языков. И красивая девушка зовет себе на подмогу двух других «Ирен». Тогда — на левом экране медленным шагом идет к вам она же; и шутя, даже сердясь на то, что ее сюда вызвали, поспешно выходит на правый экран — тоже она. Три одинаковые красивые Ирены, одна — живая, другие,— заснятые в кино, не повторяя ни движений, ни характера друг друга, с чудесной грацией и остроумием, на трех языках — словно в непрерывном споре и разговоре между собой,— объясняют зрителю происходящее на сцене. Так скучная необходимость механического перевода сама превращается в остроумнейший художественный прием. А в ревю — не назойливо и как будто без всякой пропаганды узнаете вы по кусочкам, как живет и работает чехословацкий передовой рабочий, как учатся детишки, тренируются спортсмены, растут города и заводы,— и вот уже знакомая социалистическая действительность с ее физическим и моральным здоровьем, с ее заботой о народе и заботой народа о будущем своей страны, постепенно охватывает вас.

Волшебный фонарь короток. Он никого не утомил, всем понравился. Многие из тех, кто сидел в зале, убеждаются, что в мире социализма жить можно и даже приятно жить. А вы медленно перебираете в уме все то, что видели и что показалось вам цепью легких, почти воздушных впечатлений. Вдумайтесь в каждое, и вам ясно станет, как они глубочайшим образом обдуманы, нацелены, пережиты, и лишь *социалистическая страна,* именно только она одна — и могла создать их. Дело не только в общем содержанье ревю. Каждое звено тоже что-то вложило в целое. «Петров», но не «Стэйнвэй» — это полно внутреннего достоинства. Хэттитская надпись откры-

вает настоящую классовую борьбу в глубине тысячелетий: там, где свободный отделывается миной серебра, несчастный раб расплачивается жизнью. И Неедлы говорит о музыке, что это самое *нужное народу* искусство,— «нужное народу» — лексикон социалистической эстетики. Любовь к своим традициям, живое, почти злободневное ощущение Яна Амоса Коменского,— он не предмет национальной гордости, потому что родился когда-то чехом, а живой *источник,* из которого пьет и черпает *современность* сейчас, потому что социализм возвращает народам их прошлое, помогая глубоко, по-настоящему, для сегодняшней жизни и работы понимать его...

И вот я уже стою перед нашим *Советским павильоном,* очень большим белым прямоугольником, тяжесть которого снимается и сверху, потому что прозрачные его стены из стекла и алюминия не подпирают крышу, а как будто свисают с нее; и снизу — широчайшей музыкальной лестницей, полого к нему поднимающейся почти во всю ширь его фасада. Если смотреть на одну эту лестницу снизу, то видно, как черные фигурки людей поднимаются по ней к павильону. Людей почти всегда много, и даже в очень большом просторе внутри самого павильона — их кажется много. Люди типичны — это чаще всего народ, в скромной одежде, приезжие из провинции с женами и детьми, группы туристов, молодежь, интеллигенция. Прямо у входа в огромный зал павильона стоит модель второго спутника (сейчас уже установлен и третий), с отверстием, где была помещена собачка. Вокруг него всегда тесно и нужно пробиваться, чтоб стать поближе.

Можно, как это делали сплошь да рядом газеты и даже официальные журналы выставки, посмеиваться над не первой молодости линолеумом на полу нашего павильона, над отсутствием модных фасонов мебели, линейным однообразием расположения экспонатов и бесхитростной манерой их показа,— да и сами мы подчас порядком критикуем свой павильон, но все эти недочеты испаряются, как лужи на солнце, под влиянием самих экспонатов и огромного человеческого интереса, проявляемого к ним на выставке. Секрет в том,— и тут я невольно вспоминаю горделивые английские сандвичи и пивные бутылки,— что Советский Союз, среди множества прочих «пер-

вых» вещей,— впервые сделал и еще одну вещь в мире,— *социальную революцию величайшего эпохального значения.* И она, эта впервые сделанная вещь в мире, изменившая ход истории на земле, живет и дышит в каждой ячейке павильона, в каждом его экспонате, поворачивая к посетителям свое живое и убеждающее лицо: ну да, новая система человеческих отношений, нет частной собственности на орудия производства и никто не смеет заставить другого работать на себя, на свою личную прибыль. Ну да, все в руках общества — земля и производство, наука и образование: ваш труд, ваше здоровье, ваш отдых, и ничего в этом нет страшного и все в этом глубоко естественно, идите и посмотрите, как мы, советские люди, полюбили такую жизнь, как мы освободились в ней,— освободились от страха за завтрашний день, от чувства вины перед себе подобными, от тягостного, убивающего безделья тех, кто живет на «прибавочную стоимость» и не знает — куда девать себя и свое время: как мы научились радости творчества в каждом виде труда, у заводского станка и на колхозном поле так же, как в научной лаборатории, у рояля, за письменным столом. Смотрите, мы — такие же люди, как и вы, и никакой железный занавес не разделяет нас. И народ поднимается по лестнице и смотрит. И народу всегда много.

Простота планировки нашего павильона имеет свои преимущества,— его можно обойти последовательно, ничего не пропустив, хотя это «обойти» и превращается, как смеются организаторы павильона, в своеобразный «терренкур» для тучных: его длина — шесть километров. Одно за другим: строительство и реконструкция Москвы, планировки и создания городов; тяжелая и легкая промышленность, сельское хозяйство и транспорт, равноправие женщин, забота о детях, народное здоровье, наука и образование, литература и искусство, спорт и отдых, атомная энергия для мирных целей, ракеты и спутники — все это проходит перед зрителем в той внутренней связи и взаимозависимости, которую нельзя не ощутить. Многие из нас, советских людей, вступая в свой павильон, думали, что, в сущности, мы свое и так хорошо знаем и не стоит затрачивать на него времени, а лучше посмотреть незнакомое и чужое. Но если прийти, как это случилось со мной, в советский павильон напоследок, повидавши сперва с десяток других,— с изумлением чувст-

вуешь, что многие вещи открываются для тебя как бы впервые, освещаются с новой, неведомой стороны.

Во-первых, масштабы. Как это ни странно, Америка не сумела показать своей масштабности, и даже в циркораме, где мы совершаем путешествие по ней, кадры подобраны так, что эта большая страна вдруг воспринимается вами как нечто маленькое, компактное, лишенное острых природных контрастов. Но в советской синераме, как и во всем павильоне, прежде всего ощущается огромность и разнообразие наших пространств, и «широка страна моя родная», в которой населению никак нельзя пить в одно и то же время свой утренний чай или спать ложиться, потому что на одном ее конце наступает день, а на другом кончается,— эта широкость обнимает вас, как песня,— и становится настоящим переживаньем, географическим, экономическим и культурным.

Во-вторых, темпы. Когда мы читаем в газетной статье или видим на графике, что с 1913 по 1956 год в Америке производство стали выросло в *три* раза, а в Советском Союзе в *одиннадцать* раз, то это сравнение кажется нам обычным; мы привыкли видеть кривую нашего роста в цифре. Но на выставке вы ее чувствуете в образе,— и это совсем другое. Вы чувствуете, как за сорок лет из старой России с восемью миллионами деревянных плугов выросла удивительная страна металлургических гигантов, подняла голову над своими просторами и — тянет их ввысь, тянет, как сеть, всеми ее клетками; и в свою очередь каждый построенный ею завод, выросший город, освоенные богатства земли и недр, подобно рыбакам, тянущим невод за цепь, становится фактором ускорения темпа ее роста. Старое, знакомое с первых трех пятилеток словечко «темп» вдруг начинает постигаться вами по-новому. Если не догоним, если снизим темпы... А вот и догнали, и не снизили, и теперь уже сам темп, созданное им внутреннее движение, несет нашу большую страну, как в полете.

В-третьих, культура. У нас еще не почувствовали толком, что наш Советский павильон уже сейчас,— и не единожды,— премирован на выставке именно за культуру, за стенды с советской литературой, которую мы так поругиваем до́ма, за стенды с советской музыкой... На выставке с отчетливой ясностью видно, как важно в вопросах культуры не выращивать отдельные редкостные

орхидеи, а закладывать крепкие каменные фундаменты, начинать не сверху, а снизу. И то, что у нас есть Шостакович, Прокофьев, Хачатурян, тесно связано с тем, что в нашей стране 965 композиторов, гомерическая цифра, ни в какой другой стране не встречающаяся. Поражает, а некоторых просто пугает, вот эта *фундаментальность* нашей советской культуры. Народы, сорок лет назад не имевшие своей письменности, сейчас гордятся собственными учеными и писателями; сорок лет назад — темная и неграмотная крестьянская Россия, а сейчас — сплошная грамотность двухсотмиллионного населения Советского Союза; и если сравнивать с самыми культурными странами Европы,— Францией, Англией, Италией, Федеративной Германией, вместе взятыми и составляющими тоже двести миллионов населения,— то у нас в четыре раза больше студентов, чем у них. В четыре раза больше, чем в четырех культурнейших странах вместе взятых!

В-четвертых, план. Мне думается, каждый внимательный посетитель нашего павильона почувствует ту великую особенность новой общественной системы, открывающуюся в советском хозяйстве и культуре, которая позволяет приводить в движение все целое, координируя между собой его части. На примере использования электронных машин я уже говорила, как наш новый строй стимулирует рост новой техники, подталкивает развитие новой машины, требует ее массового внедрения, потому что иначе он сам не может развиваться. Когда слышишь на выставке, в разговоре посетителей: «Мы на пороге новой эры», то невольно думаешь про себя: лишь с помощью новых общественных отношений можно этот порог перешагнуть.

3. ИСКУССТВО НА ВЫСТАВКЕ

Подобно науке, искусство пронизывает весь быт выставки, внедряясь, казалось бы, в самые далекие от него вещи,— стоит только внимательно разглядеть и сравнить образцы (как и материал) полов и потолков, портьер и стенных облицовок в национальных павильонах. Я уже

приводила выше многочисленные примеры «эстетичности» многих таких вещей, о которых мы как-то привыкли думать лишь в терминах удобства и рациональности. На этикетке обыкновеннейшей машины,— приспособления для маляров при строительствах, когда-то в своей младенческой форме именовавшегося у нас «люлькой»,— рядом со словами «удобна», «экономична», «легко сбираема и разбираема» стоит слово «эстетична». Простые садовые лопаты в павильоне сельского хозяйства сделаны так, что их невольно называешь «красивыми». В описании инженерно-строительного замысла Атомиума указано, что диаметр такой-то трубы сделан шире, чем остальные, «из соображений эстетики». На выставке обилие самóй передовой техники показывает все большее приближение ее новых форм к тем приятным для восприятия пропорциям, которые невольно напрашиваются на художественную оценку.

Огромное значение в роли искусства на выставке имеет и тот факт, что местом действия выставки стала Бельгия. В мировом пантеоне сокровищ одно из первых мест занимает фламандская живопись, а для тысяч туристов, посещающих Бельгию, эта страна интересна не своим «высоким уровнем жизни», а сокровищами, собранными в ее музеях, красотой ее маленьких городов — Брюгге, Лувена, Гента; яркой прелестью старинных процессий в Намюре. Не мудрено, что искусство заняло на выставке очень большое место, и, помимо национальных павильонов, где выставлены отдельные художественные произведения, ему отведены целых два дворца,— один для бельгийского искусства, другой под названием «50 лет современного искусства».

Старый фламандский реализм не умер в Бельгии,— ведь только лишь полвека назад она похоронила такого чудесного, человечного мастера, каким был Константин Менье, оставивший в своих полотнах и скульптурах бессмертный памятник трудовой жизни и рабочему классу Бельгии. Что сами бельгийцы высоко ценят своего реалиста, доказывает с любовью сделанный ими фильм о творчестве Менье, отмеченный в прошлом году на X кинофестивале в Карловых Варах. И в павильоне бельгийского искусства, посвященном современности, нельзя не почувствовать отблеска этой старой славы. Правда, и тут преобладает абстракционизм, но глазу есть на чем оста-

новиться с удовольствием,— потому что традициоииый реализм фламаидцев удерживает даже крайиих абстракционистов на какой-то черте, за граиью которой утрачивается всякое подобие жизни. Сильией, чем в скульптуре, сказываются эти традиции в живописи. Проходя лишь бегло по маленьким залам, вы прежде всего остаиавливаетесь перед полной жизныо статуей шахтера Менье. Запомииаются вам и скульптуры «Читающего» (В. Руссо), улыбающейся девочки (Фоитэн), девочки иа корточках (Шарль Леплэ); темиые тоиа и крепкий рисуиок желто-коричиевых картии Огюста Мамбура, прелестиая ночиая уличка Пьера Паулуса, портреты Альбера Кроммелиика, «Дочь рыбака» Франса Депутера,— и миого другого. Но особенио долго задерживаетесь вы перед полотиом Луи Бюиссерэ, на первый взгляд никакими особеииыми живописиыми достоииствами ие отличающимся. А вы стоите, смотрите — и думаете. Перед вами кусочек старого, добротиого реализма, делавшего каждое лицо классической фламаидской школы не только исполнеииым жизни вообще, но и ярким отблеском даииой мииуты, когда одно лицо иа картиие так живо отвечает иа выраженье другого лица, что простой посетитель выставок, без претеизий на тоикое поииманье, мог бы воскликнуть простосердечио: «Вот-вот заговорят!» Две женщииы: одна, городская хозяйка, вышла на порог своего дома, другая, торговка, с большой корзииой иа голове, поддерживаемой одиой рукою, подошла к ней. Но торговка не продает, а хозяйка не покупает,— сложив руки иа груди жестом крайнего вниманиия, хозяйка слушает торговку, быстро ей что-то сообщающую,— случай ли в городе, иовость ли, сплетню ли про соседку и амуриые дела ее,— только лихорадочиый интерес ее сообщеиия сочетается в ней с жадиым преувеличеиием, так хочется ей, жеищиие более иизкого общественного положеиья, раиьше всех быть передатчицей новости и этим как бы вырасти иа секунду иад городской хозяйкой; а та слушает, поджав губы, в строгом и спокойиом удивлеиии, ио вот-вот закипит под этим спокойствием и оиа. Так предельно-жизиеиио схвачеиы на этой простой картиие жеиские характеры и так раскрываются оии для зрителя имеиио друг от друга, в этой своей связи, как замок от ключа, что вы ие можете ие задуматься о существе жаировой живописи вообще. Перед картииой Луи Бюиссерэ я невольно припом-

нила нашумевшую у нас картину Лактионова «Письмо с фронта» (тоже выставленную в другом павильоне) и вдруг поняла *главную* причину, по которой она мне не понравилась. У Лактионова читается письмо с фронта; это письмо, помимо того, что оно слушается разными людьми и при слушанье должно вызвать у них разную реакцию, могло бы в этой естественной реакции раскрыть и характеры и взаимоотношение этих разных людей между собой. Но жанровая сценка превратилась у Лактионова в портретную сценку, при этом — в самом плохом смысле — искусственного, *позирующего* портрета: каждая фигура изображает только себя, она не реагирует, она выражает лишь принятую *позу*, и вы абсолютно не можете догадаться, в каком эти люди взаимоотношении друг с другом и какие у них характеры. И еще одно невольно приходит на мысль: не зря классики живописи так любили делать двойные портреты (жены и мужа, отца и сына), тройные и семейные портреты,— эмоциональная связь между ними легче приподнимала занавес над сложной тайной человеческого характера... Мы еще многому, многому не умеем учиться у наших стариков, которых считаем прочитанной и преодоленной страницей!

Очень хорошо подана в павильоне бельгийская литература. Тут, конечно, создатель гениального Уленшпигеля, Шарль де Костер, и все, что можно сказать и показать о нем. Слова Ламартина о том, что Бельгия — это самая литературная страна в Европе, иллюстрируются целым букетом бельгийцев, от Жоржа Роденбаха и Эмиля Верхарна до модного Сименона, получившего чудовищное и, на мой взгляд, незаслуженное распространение в мире. В «Музее слова» вы можете услышать их голоса в наушнике, отзвучавшие и еще звучащие в жизни.

Но больше, чем эти голоса, понравился мне настенный текст одного стихотворения, утверждающий, вопреки знаменитой верленовской формуле о том, что в поэзии должна быть «музыка прежде всего» (De la musique avant toute chose),— поэзию и искусство слова не в «рыданьях» и вздохах, а в громком шуме, который должна производить поэзия, потому что «слова производят шум». Но — понравился именно тем, что выражена эта прозаическая мысль с чисто верленовской музыкальностью:

Encore un air de guitare,
Encore un doigt d'Armagnac,
Le ciel est plat comme lac,
Juste un souffle pour Icare.
C'est voix, ces cris, ces sanglots —
Tout ça n'est rien, mon doux frère,
C'est du bruit il faut s'y faire,
C'est le bruit que font les mots.

(Опять ария гитары, опять палец Арманьяка. Небо плоско, как пруд,— оно лишь дыханье для Икара. Все эти голоса, крики, рыданья, все это ничто, мой нежный брат. Шум — вот что надо делать, шум производят слова.)

В последних разделах образцы прикладного искусства, чудесная цветная оконная мозаика, бельгийская керамика и, наконец, музыка, поданная исторически, от трубадуров и труверов, через Гретри к Франку и Лекё...

Совсем по-другому проходишь по залам большого интернационального павильона с его внушительным названьем «50 лет современного искусства». Здесь хорошие картины (в том числе кое-что из нашего) буквально тонут в море разливанном головной абстракции. В написанном Эм. Лянги предисловии к отличному каталогу павильона дается попытка обосновать новейшие западные течения в искусстве и особенно то, которое зовется абстракционизмом, как... «наиболее реалистические, проникающие в глубины Реального» (с большой буквы). В этом предисловии, написанном очень интересно, есть даже целая глава, носящая, к нашему приятному удивлению, названье «Социалистический Реализм» и сопровождаемая эпиграфом из Карла Маркса: «Искусство — это самая большая радость, которую человек доставляет самому себе».

Ввиду того, что тон всей статьи и особенно этой главы должен создать впечатление у читателя полной объективности суждения Лянги, поговорить о ней совершенно необходимо, тем более, что о нашем советском искусстве на Западе почти не пишут в терминах благожелательности или хотя бы с желаньем действительно понять нас. Правда, «объективность» и «благожелательность» Лянги очень относительны,— он целиком оправдывает тех, кто ставит «государственный социалистический Реализм... вопреки благородству его намерений, на одну доску с самыми худшими формами академизма,— ханжеского, оптимистического и сентиментального»; он допускает в

статье фактические ошибки; он повторяет избитые утвержденья о том, что нельзя путать революционный сюжет с революционным духом и что «левые» художники могли бы гораздо лучше выразить нашу новую действительность, чем «правые натуралисты». Но в целом в его статье имеется, во-первых, честное, хотя и беспомощное желание понять, куда и как развивается наше искусство, и, во-вторых, статья его пробуждает в читателе желание поговорить о современном искусстве, что мы и попытаемся сейчас сделать.

«Можно рассматривать мастеров народной реальности или Наивных, как тех, кто, будучи связанными с народом, практикует искусство для народа согласно принятому ими решению. Это — индивидуалисты фольклора, который сам по себе является делом коллективным»,— начинает свою главу Лянги.— Но существует концепция, разделяемая какой-то сотней художников в мире,— по которой искусство должно служить идеологии, добивающейся, между всем прочим, и освобождения (эмансипации) масс посредством культуры». Но термин этот (культура) ни в каком случае не относится к культуре «анархической, безответственной, индивидуалистической, формалистической и декадентской заграничных цивилизаций и врагов», а только к той, которая создана была для огромного большинства, и, в частности, этому большинству доступна. «Искусство, согласно этой теории, должно вести борьбу на два фронта сразу: с одной стороны — против неведения, равнодушия и отсутствия восприимчивости (к художественному), с другой стороны — против всех художественных форм, которые, сознательно или бессознательно, стремятся к непостижимому, бесполезному, иначе говоря — вредному для пролетариата. Помочь пролетариату получить сознание своей мощи, своей ценности и своего будущего и составляет,— всегда в соответствии с теми же догмами,— первоочередную задачу литературы и искусств, которые и находят в ней полное, чтоб не сказать — исключительное, оправдание. Вот почему живопись и скульптура социалистического Реализма, так же как роман и кинематограф, ограничивают себя прославлением народа, своей страны, своих вождей, своего революционного прошлого, своих побед, своих достижений и своей веры в будущее. Все, что не дышит непосредственно этой коллективностью,— офи-

циально отбрасывается (обнаженная натура, натюрморт и всякая попытка чистой пластичности) так же, как уклонение от нее беспощадно осуждается. Хотя социалистический Реализм и не претендует предписывать какой-либо стиль и хотя он так же отвергает пессимистический натурализм, как и «буржуазный» формализм, он опирается в своей эстетике на пережитки реализма до 1914 года, с некоторыми допускаемыми влияниями люминализма. Любовь к профессии идет в одной упряжке с отказом от всякого живописного эксперимента, до такой степени содержанье произведения превалирует над формой. Вначале, когда Революция еще не была так консолидирована и художники, ее соучастники, еще не падали под ножом догматической ортодоксии, социалистический Реализм знал великие взлеты к искусству монументальному, самодовлеющему и богатому в своих возможностях. Именно в такой форме, которую можно было назвать «добровольно-служебной», движение достигло своей высшей точки прекрасного, когда художники, часто в оппозиции к режиму своей страны, не обязаны были сгибаться перед новым вероучением (в тексте—конформизмом.—*М. Ш.*) Будущее покажет, не послужат ли чудесным образом цели, дорогой социалистическому Реализму, такие еретики, как Фернан Леже, Диего Ривера, Орозко, Сикуейрос, Гуттузо, Бен Шан, не говоря уже о Пикассо,— гораздо больше, чем масса тех, кто перепутал революционный «сюжет» — с революционым «духом». А тем временем противники государственного социалистического Реализма делают хорошее дело, ставя этот последний, вопреки благородству его намерений, на одну доску с самыми худшими формами академизма — ханжеского, оптимистического и сентиментального. Это не мешает миллионам людей в него верить, не смея в то же время ставить перед собой проблемы пластики»[1].

Я сознательно выписала такую длинную цитату из Лянги, потому что ни на одной дружеской встрече со своими западными коллегами не получим мы более откровенного изложенья того, *как* именно понимают проблемы и жизнь нашего искусства на Западе. И еще потому,

---

[1] Em. Langui, 50 ans d'art moderne. Exposition universelle et internationale de Bruxelles, 1958. Каталог «Интернационального Дворца искусств».

что, получив откровенное изложение такого понимания, мы легче всего сможем и ответить так, чтоб этот ответ был дан не в пространство, а на конкретные обвиненья. Прежде всего — несколько поправок к тому, что у Лянги смехотворно неверно и напоминает старую «развесистую клюкву». Тот, кто бывал на наших выставках и знает рабочие студии наших художников, может заверить Лянги, что и обнаженная натура и натюрморт вовсе не являются и никогда не являлись у нас чем-то «запретным».

Не знаю, почему, например, в этом павильоне нет наших многочисленных натюрмортов не только старых мастеров, таких, как Кончаловский, Сарьян, Сергей Герасимов, но и большинства молодежи; и нет обнаженной натуры, которую отнюдь не редкость встретить в наших салонах. Но оставим вещи, которые я считаю пустяками, и перейдем к основному. Если вчитаться в цепь рассуждений Лянги, то увидишь, как, по его мнению, западное искусство, все больше отрываясь от «сюжета» в чистую «пластику», не только не становится отвлеченным (абстракция, по мнению Лянги, это неудачно найденное слово), а наоборот, все более конкретизуется, входит в глубины реального, в корневые особенности человеческой психологии и законов природы. Одна часть направления стремится, по его мнению, «схватить Жизнь в ее наиважнейших функциях», другая (он называет Певзнера, Габо, Хэпуорта) чисто интуитивно воспроизводит как раз те пластические формы, которые были недавно найдены учеными для выражения «алгебраических формул третьей степени», иначе сказать — идет совершенно в ногу с открытиями науки. Тут я даже могу подсказать еще пример в пользу Лянги из области музыки: абстракционисты-композиторы создают уже музыкальный язык не звуков, а пауз между звуками (чему недавно так честно удивлялся наш композитор Арам Хачатурян в № 11 журнала «Музыкальная жизнь»),— а ведь тысячи людей сидят в лабораториях и слушают музыку нашего третьего Спутника, музыку не его попискиваний, а его помалкиваний,— неровные пунктиры его пауз,— ибо это и есть новый язык электронных импульсов, позволяющий паузами передавать вам научные сведения из далеких небесных сфер. Так что *механическое* сближение *новейших* форм искусства с *новейшими* открытиями науки можно, к удовольствию Лянги, продолжить. Но дело-то ведь не

в этом! Мы охотно верим Лянги, что мир линий и красок, открывающийся в самых крайних течениях западного искусства, есть глубоко реальное воспроизведение «жизни и функций жизни», *какими их видит, чувствует и понимает западный человек, в данном случае — художник.* Но это не та жизнь и не те ее жизненные функции, которые видим, чувствуем и понимаем мы, люди новой реальности на одной трети света, а по численности своей — представляющие не «какую-то сотню», а несколько сот миллионов. Лянги допускает у нас революцию, даже Революцию с большой буквы, и он верит, что тонкое искусство Запада может послужить ей лучше, чем наш «ханжеский академизм». Но все дело в том, что искусство наше стремится изобразить не революцию, а те совершенно новые общественные отношения, которые революция создала, новый мир, резко расходящийся в своей реальности со старым миром. И наш художник, докапывающийся до глубины этой *нашей* Реальности, пытающийся докопаться до психологических глубин *нашего* человека,— не найдет и не может найти в этих глубинах то, что находит и изображает западный художник. Представим себе блестящих птиметров эпохи Мольера, этих рафинированных эстетов, считающих себя на самом передовом фланге общества своего времени. И вот среди них, создающих поэзию тончайших ассоциаций, в которых они видят глубины особого, мистического смысла, забежавшего за пределы видимости людей ординарных, невежественных и *отсталых,*— представим себе, что среди этих птиметров, считающих себя передовой и ведущей частью человечества (потому что на их стороне образование, утонченность, услуги цивилизации),— появился грубоватый мужлан с жаргоном улицы и выставил свою, довольно примитивную правду — против их утонченной правды. Была ли такая ситуация в искусстве прошлого? Была очень часто! Это как раз *начало* капиталистической системы с его простым и грубоватым искусством,— направленное против *конца* дворянско-феодальной системы, с его утонченнейшим и тончайшим искусством. Вспомните, Эм. Лянги, первое появление пьес Мольера, художника третьего сословия, перед зрителями, воспитанными на феодальной, церковно-мистической и сексуально-символической эстетике, которая, они убеждены были, не кончает какой-то культурный цикл, а намечает

его развитие в будущем. Истинное положение вещей на этой встрече мы хорошо понимаем только сейчас, а в то время общество могло думать и думало, что Мольер тянет назад, к простонародью с его «санфасоном», а птиметры ведут вперед, к углубленному искусству авангарда. И что получилось? Мольера забрасывали гнилой картошкой, но драматургия его легла в основу *нового* искусства, искусства людей нового общественного строя, пришедшего на смену старому; а поэзия птиметров забыта и, как отставшая от своего времени, затерялась где-то в архивном обозе истории. Такова суть вопроса. Из нее не следует, что мы создаем хорошее искусство, а Запад плохое. Но мы идем вперед, к пониманию тех форм и отношений, которым обеспечено будущее; а Запад глядит назад, в прошлое, и глубины его с точки зрения «Жизни и ее главных функций», перед лицом будущего — иллюзорны. Отсюда же и преувеличенная роль сюжета в нашем молодом социалистическом искусстве. Когда отражаешь революцию, содержание можно выразить красочной и звуковой символикой. Но — отсутствие частной собственности на орудия производства; перевоспитание человека, учащегося любить и беречь *общественную* собственность, как свою; замена психологии состраданья и милосердия, вытекающих из чувства личной виноватости перед обездоленными,— глубоким нравственным удовлетворением человека, когда рядом с собою он видит людей, одинаково с ним наделенных всем, что нужно для жизни,— такие коренные изменения всей действительности, пусть хотя бы еще только наполовину реализованные, имеющие отклонения и провалы, но в *принципе* уже *созданные*, вот *это* отразить в искусстве (а ведь искусство дышит воздухом, в котором живет его творец!), притом отразить на первых его порах, в самом начале новой эры — вне сюжета и вне смыслового содержанья — совершенно невозможно. Отсюда ведь даже самый острый и новый художник современности, признанный за такового и на Западе, наш композитор Шостакович, и тот прибегает к сюжету в самом отвлеченнейшем из искусств, в музыке, — примером служит его Одиннадцатая, программная симфония. И, завершая свой спор со статьей Эм. Лянги, я опять скажу, что начинать надо этот спор, исходя не из самого искусства, отражающего «глубины», а из глубин действительности, которые это искус-

ство призвано отразить. Все же остальное само собой приложится со временем. И если мы еще не создали своих Мольеров, то создавать своих птиметров нам совершенно не к чему.

Переходя к самому павильону, отметим, что жюри, состоящее из представителей именно западного мира, сочло возможным присудить премии целому ряду наших советских художников, которым предисловие к каталогу павильона заранее спело «отходную». И еще одна любопытная подробность: в числе самых известных ультралевых западных художников и скульпторов, ведущих «корабль искусства» по безбрежному морю абстракций и всяческих «измов», неожиданно оказывается очень много русских отщепенцев, утративших родину. Одни имена нам хорошо и давно известны, другие звучат новизной. Смоленский уроженец, Осип Задкин, оказался ведущим французским скульптором, создавшим школу «со множеством учеников», как пишет Лянги. Кандинский и Малевич (москвич и киевлянин) первые создали движенье абстракционистов. Киевлянин Александр Архипенко — творец новой школы скульпторов в Америке. Тут и орловец Антон Певзнер (мы его хорошо знаем по двадцатым годам у нас), и Бен Шан из Ковно, ставший мастером модернистической сатиры в Америке; и белорус Х. Сутин, друг Модильяни; и Марк Шагал, Наум Габо, Яков Липшиц, Наталья Гончарова — все уроженцы России, и всё это очень громкие, больше того, ведущие имена левого искусства на Западе. Нет только еще одного имени, очень громкого и популярного в Италии,— имени Грикора Шилтяна, главы школы неореалистов, живущего и работающего сейчас в Милане[1]. Ни одной его картины на Всемирной выставке нет, а между тем они очень многое могли бы объяснить в современной западноевропейской живописи. Явление искусства глубоко общественно, и абстракционизм не родился в пустом пространстве. Он более или менее естественно связан с тем ритмом (или аритмией), какие бытуют сейчас в домостроительстве, мебельном, фарфоровом, модозаконодательном и прочем житейском укладе Запада. Он координирует с ним. Кар-

[1] О родившемся и выросшем в России художнике-реалисте Грикоре Шилтяне смотри монографии: 1. Waldemar George, Sciltian. Lacca, Milano. 2. Gregorio Sciltian, Pittura della Realta Estetica e Tecnica. Noepli, Milano.

тина реалиста, пусть даже классика, выпадает из стиля современной буржуазной квартиры, она не «идет к ней», совершенно так же, как абстрактная картина естественно вписывается в нее, в полном согласии с рисунком занавесок и чайного сервиза. Против факта «соответствия общей моде» и естественной декоративности этой западной живописи ничего не скажешь. Но глубокие художники на Западе, тоскующие по передаче натуры в искусстве, ищут таких путей в реализме, где не было бы отказа и от требований геометрической декоративности,—ищут, быть может, бессознательно — и отсюда родится такое своеобразное, граничащее с натурализмом, а в то же время обнаруживающее и выучку у великих классиков и острое чувство геометризма,— яркое реалистическое творчество, как искусство Г. Шилтяна...

Наступил вечер на выставке,— когда искусство и красота обрушивают на вас целую Ниагару огней и красок. Хорошо присесть в эти часы на одном из сидений, возле бьющих цветными перьями фонтанов, поглядеть, как испускают свое мерцанье круглые шары Атомиума в вышине,— и привести в порядок накопленные за день мысли. «Сложнейшие глубины, где встречаются природа и человек», «мистические дали, о которых повествуют лишь абстрактные формы и линии», все более и более усложняющийся мир линий и красок, к которому с простой арифметикой не подступишься,— именно в этом «настоящее искусство», как хотят нас уверить западные мастера и их философствующие теоретики. Но вот что странно: чем больше рассматриваешь это искусство, тем более чувствуешь и за ним и вокруг него,— в атмосфере эпохи, если хотите,— неожиданную тоску, тоску по *простоте.* Круговорот, совершаемый вкусами человечества, ведет иногда к самым большим неожиданностям. Мне кажется, даже в искусстве Запада и в его усложненных литературных формах, уже появился некий роковой червячок, подтачивающий самые твердые вещества,— червячок скуки. Обществу,— и не только передовой его части,— начинает приедаться мнимо-усложненное, и подобно тому, как простая и лаконичная проза Пушкина ударила насмерть по витиеватой речи Марлинского,— люди, оглядываясь, ищут этого «удара простоты», сразу возвращающего человеку его прямое место на прямой дороге истории. Но простота никогда не создается искус-

ственно, ее не выдумаешь из головы, как прием, она родится на народной почве, родится социально, в той цельной общественной среде, где содержанье и форма едины.

Есть на выставке один из интереснейших павильонов.— Филипс. Имя ему дала мировая нидерландская электропромышленная фирма; построил его архитектор Лё Корбюзье. Павильон этот, похожий на курдский шатёр, внутри совершенно пуст, но на его внутренних стенах показывается странный фильм, названный авторами «Электронной поэмой». Сценарий этого фильма написан, точнее — смонтирован Пикассо; музыка,— не простая, а электронная,— созданная Эдгаром Варезом. Пятнадцать минут стоит, смотрит и слушает публика слитные воздействия необычных электронных звучностей, сопровождаемых вспыхиваниями и затуханиями красочных эффектов,— сине-голубого, ярко-оранжевого, фиолетового, коричнево-желтого, вместе с пятнами образов, выскакивающих то там, то здесь на окружающих стенах-экранах. Авторы фильма хотели показать эволюцию форм от обезьяны к человеку, с призывом к бережному сохранению всего созданного,— а показали, вольно или невольно, нечто разоблачающее современные усложненные формы искусства. Пятна древних божков, первые рисунки человека на стенах пещер, животно-грубые формы его самого и создаваемых им богов — до странности напомнили зрителям современные странные скульптуры, носящие название «женщин», «материнства», «лошади», «мысли», чего хотите, только бы не похожего. В древних божках и рисунках, сделанных серьезной рукой человека, мы видим начальную ступень, примитив. Но в этих мнимо усложненных современных формах скульптуры и живописи мы чувствуем то искусственное возвращенье к пройденному, которое требует прибавления частички «изм»: примитивизм. А под примитивизмом, как бы сложно ни объяснять его, таится страстная тоска человечества по утерянной цельности, по дневной красоте. Придет настоящий новый художник нового общества, расскажет кристально ясно, мешая кристально чистые краски — кистью великой жизненной правды,— о простейших, но единственно важных для человечества вещах — о любви, о труде, о мире, о творчестве, о благодарности ближнему своему, о том, что есть на земле

не только «я», но и «ты», и «мы», без которых «я» не могло бы расти и обретать полноту человечности,— и обрадованный читатель-зритель воскликнет: пришло настоящее искусство!

4. НАУКА НА ВЫСТАВКЕ

Уезжая из Брюсселя, я хотела бы записать в общей книге пожеланий, которой, к сожалению, нет на выставке, горячую просьбу: сохраните для человечества «Дворец науки»! Пусть он останется памятником необходимой для народов дружбы, памятником великого притяжения мысли, влекущего друг к другу людей разной национальности, разных убеждений, веры, цвета кожи, общественных систем и позволяющего им мирно и плодотворно работать бок о бок. И больше того: пусть он останется памятником той достигнутой степени развития науки, при которой дальнейшие ее шаги уже становятся *невозможными* без этой дружбы и мира, без координации всех человеческих усилий! Наука, подобно искусству и технике, разлита по всей выставке, и ее можно почувствовать здесь на каждом шагу. Но наука в виде обдуманного целого, во всей ее грандиозной концентрации,— от мира мельчайших частиц и до колоссальных соединений энергий, от неорганической до живой материи, от атома до клетки,— собрана в самом интересном здании на выставке, без посещения и изучения которого вы просто *главного* в выставке не увидите,— в «Интернациональном Дворце науки». Он сделан его устроителями так дидактично (ясные надписи, каталог, похожий на учебник, три кинозала, где все время демонстрируются научные фильмы), что даже без чужой помощи в несколько дней можно в нем разобраться, вступив в его двери неосведомленным человеком, а выйдя из них с запасом стройных знаний. Но, кроме перечисленных пособий, есть и живое слово. Группа молодых ученых из основных стран — участниц этого павильона (всех стран шестнадцать) здесь всегда налицо, они проводят в своих лабораториях разные совместные опыты, общаются друг с другом и оказывают огромную по-

мощь посетителю, раскрывая перед ним отдельные богатства павильона не как простые гиды, а как энтузиасты своей отрасли науки. Для советского посетителя такой огромной помощью служит присутствие во «Дворце науки» Георгия Афанасьевича Дорофеева, консультанта по атому; Игоря Ивановича Третьякова и Никиты Алексеевича Толстого,— двух консультантов по молекуле; и Владимира Иосифовича Воробьева, консультанта по живой клетке,— все они кандидаты наук. А для незнающих иностранные языки — во «Дворце науки» специальная переводчица, Вера Николаевна Любимова.

Уже с первого посещения (а я больше половины своего времени отдала именно «Дворцу науки») мне стало ясно, что здесь, казалось бы на самой отвлеченной почве, в павильоне, названном «интернациональным»,— я как раз и встречу то простое, человеческое, подлинно национальное лицо некоторых народов, которого не показали (или мало показали) их собственные павильоны. Так, я уже сказала выше, что встретила тут английский народ. Он встает в лучших своих качествах — в ярких поясненьях английских ученых к их стендам, где строго научно вскрыты чудовищный вред термоядерных испытаний для нескольких поколений человечества; он встает в фотографии митингов, где англичане страстно протестуют против испытаний атомных бомб. Английские ученые последовательно подводят нас к выводу: для судеб человечества, для *массы* человеческих жизней — термоядерные испытания, отравляющие воздух нашей планеты, не менее вредны и гибельны, нежели сброшенная атомная бомба, уничтожающая целый город. Бомба уносит жизни; испытания — калечат жизни на протяжении *многих* поколений и в массовом их исчислении. Только потому, что мы не видим и не ощущаем этого непосредственно на себе, мы не чувствуем физического ужаса, когда узнаем о продолжающихся испытаниях. Эта строго научная работа, выставленная в четвертом разделе павильона, дышит английским духом общественности, заинтересованностью в судьбах всего человечества, и невольно верится, что народ, воспитавший в своих ученых честность перед наукой и перед обществом,— сумеет стать хозяином и своей национальной политики. Я также встретила тут американский народ, которого днем с огнем не сыщешь в развлекательной кунсткамере

американского павильона. Встреча во «Дворце науки» лицом к лицу с подлинным лицом английского и американского народов в большой мере вознаграждает за отсутствие этого лица в их павильонах. Она заставляет лишний раз подумать и о самой почве, которая выявляет это «лицо»,— о науке, о воздухе научного исследования, о творческом вдохновенье, рождающемся из поисков истины, и о том, что в этой атмосфере, где источником служит творческий разум, а целью — желание найти истину и обратить ее на пользу человечества,— нельзя не протянуть руки друг другу, нельзя не найти приемлемой формы для сосуществованья. И если в «Интернациональном павильоне искусства» экспонаты разных направлений как бы «дерутся», исключая друг друга, и эта взаимная рознь отражается даже в «объективном» предисловии к каталогу,— здесь, в «Интернациональном павильоне науки», экспонаты разных направлений *помогают* друг другу, дополняют друг друга, вливаются в общее движение вперед. Невольно опять вспоминаешь слова уже старого Гёте, оброненные им как бы невзначай и в первую минуту кажущиеся просто непонятными под пером великого художника: «При распространении техники не о чем беспокоиться; она мало-помалу поднимет человечество над самим собой и подготовит для высшего разума, высшей воли чрезвычайно приспособленные органы... Распространение же искусства порождает кропательство» [1]. Здесь Гёте под техникой понимает всю интернациональную совокупность научного открытия и его технического воплощенья,— и узкоиндивидуальный характер искусства.

«Дворец науки» задуман в четырех разделах, позволивших устроителям не только разместить свыше пятисот экспонатов (по моему беглому подсчету их пятьсот два), но и развернуть их в последовательном порядке от мертвой материи к живой. Атом, кристалл, молекула, живая клетка — такова схема. Каталог этого павильона снабжен общим введением крупнейшего представителя науки о кристаллах, Лоренса Брагга (по книге которого

[1] Взято В. О. Лихтенштадтом в его книге «Гете», Госиздат 1920, стр. 379, из веймарского издания «Sophien Ausgabe», т. XXV, часть II, стр. 252 (добавление к «Годам странствий Вильгельма Мейстера»). Привожу в переводе Лихтенштадта.

я изучала, кстати сказать, кристаллографию еще в 1911 году, у покойного русского ученого Ю. Вульфа!); и хотя в этом предисловии указывается «огромная (énorme) пропасть между самой простой живой клеткой и самыми сложными соединениями молекул» [1]— сама тенденция приведенных в павильоне научных опытов показывает, как стремятся ученые заглянуть в эту пропасть и найти мост через нее. Весь мир коллоидов; ошибки и дефекты в кристаллах, нарушающие их геометрическую правильность и придающие им особо жизненные качества; огромная практическая область так называемых пластмасс, искусственно создаваемых материалов, подобных органическим, в современной химии,— все это теснится на грани указанной пропасти между «неживой» и «живой» материей и вот-вот откроет, как при вспышке молнии, тайну перехода из одной в другую. Чем глубже уходит познанье в мельчайшие частицы материи, разбирая скрытые в них энергии, чем цельнее и шире представляет себе оно взаимодействия живых клеток человеческого организма,— тем настойчивей ощущается потребность найти общие законы в этом безбрежном море явлений и тем явственней мерещатся возможности таких законов. Вот почему, не довольствуясь показом достижений современной науки по четырем ее разделам, организаторы павильона потратили много сил на создание особого научного фильма, называющегося «Фильм научного синтеза», и показывают этот фильм посетителям павильона несколько раз в день. Казалось бы, «пропасть» между живой и неживой материей существует не только в природе (пока), но в различном мировоззрении ученых (особенно), подходящих к этой проблеме с разных позиций,— идеалистической или материалистической. Но замечательно, что во «Дворце науки» как-то исчезает «позиция» ученых, охваченных неизбежной тягой общего развития всей науки к синтезу. Не только материалисты, но и те, кто верит в сверхъестественное происхождение жизни на земле, не могут не втягиваться в страсть исследований пограничных областей науки, в захватывающе интересные открытия на стыках двух и трех наук, проливающие неожиданный свет туда, где еще десять лет назад все было окутано

[1] Palais International de la science, 1958, p. 12.

тайной. Огромную роль играет тут и передовая научная техника. Трудно даже учесть, например, какое значение в познании микромира получил электронный микроскоп. В отделе живой клетки вы можете создать себе представленье об этом. Вот поле, видимое в обыкновенный микроскоп; это поле похоже на блюдце воды со множеством копошащихся в воде мельчайших черных точек,— перед вами хромозомы, и было время, когда наблюдать в микроскоп живую хромозому хотя бы даже в виде этой движущейся точки, было уже большим научным событием; а рядом — такое же поле, видимое в электронный микроскоп; вместо мириадов копошащихся точек — большая масса, в которой мы можем уже разглядеть и внутреннюю структуру и особенности ее; эта масса — одна-единственная хромозома, из черной точки превратившаяся в реальное тело, так сильно увеличение, достигаемое с помощью электронного микроскопа.

Вы можете увидеть в павильоне все богатство этой новой техники, позволяющей необычайно углубить и расширить научное исследование. Аппараты и инструменты, названия которых вы читали в книгах и, не будучи специалистом, представляли себе очень туманно, становятся здесь для вас добрыми знакомыми, постигаемыми в их действии. Камера Вильсона, счетчик Гейгер-Мюллера, сцинтилляционный счетчик, советский термоядерный спектроскоп, электронно-лучевой анализатор импульсов электрона, созданный советскими учеными Марковым и другими,— и сколько, сколько еще механизмов, воспринимающихся вами одновременно и как техника и как научный эксперимент, ставший возможным при ее посредстве. Кстати сказать, из пятисот работ павильона советских работ показано сорок четыре. Если вспомнить число стран-участниц (16), то это не так уж мало. Но если взять объем *всей* советской науки, ее громадные достижения последних лет и научные открытия, которые повели к этим достижениям, то можно лишь пожалеть о недостаточном показе нашей науки в павильоне. Многим может показаться странным, что классическая таблица элементов Менделеева, лежащая в основе современной физики и химии, почему-то представлена не советскими учеными, а бельгийскими; не менее странно, что нет среди классических работ по фотосинтезу великого Тимирязева с его теорией хлоро-

филла. Из советских открытий тридцатых и сороковых годов показан стенд с так называемым «эффектом Черенкова» (1934) — о радиации частиц, двигающихся в субстанции с быстротой выше быстроты света,— утилизованным сейчас во многих областях мировой науки; стенд с космическими лучами Лебедева (1949), но нет работ ни братьев Алихановых, ни Амбарцумяна. В отделе живой клетки представлена замечательная работа Энгельгардта о механизме сокращения мышц; значение ее в том, что в опыте, поставленном советским ученым, раскрылся механизм использования энергии для мышечного сокращенья и тем положена основа новой науки, механохимии,— науки о переходе химической энергии в механическую. Но работа Энгельгардта — чуть ли не десятилетней давности (хотя разработка ее продолжается и сейчас). А в целом советская биология представлена в павильоне очень бедно (75 работ американцев, 10 наших). Между тем у нас есть, что показать, и удивительно, как в отделе пересадки тканей нет опытов Филатова, знакомых всему миру, и в уголке сельского хозяйства нет яровизации и других опытов Лысенко, посмотреть которые считают нужным почти все иностранные биологи, приезжающие в нашу страну.

Я не могу повести моего читателя по всему «Дворцу науки» не только потому, что это заняло бы массу времени, а и потому, что не смею положиться на свои скудные знания. Расскажу лишь о нескольких стендах, остановивших меня своим необыкновенно интересным показом пути, каким пришел ученый к открытию.

Вот огромный стенд, повествующий про немца Паули и итальянца Ферми,— первый теоретически, а второй практически открыли мельчайшую частицу «нейтрино». Эпически-спокойно, хотя с предельным лаконизмом, говорит надпись о незыблемости закона сохранения энергии; он доказывается решительно всеми явлениями в природе, в том числе и радиоактивными. Надпись говорит об этом, впрочем, в других словах: она говорит, что этот закон «должен быть уважаем» всеми явлениями природы... И вдруг нашелся феномен, этот закон не уваживший. Когда дезинтегрирует частица альфа, закон этот соблюдается; а вот когда дезинтегрирует частица бета,— закон летит вверх тормашками. Как подойти к объяснению этого явления? Значит ли оно, что один

из важнейших мировых законов, закон сохранения энергии, неверен? Ученый Паули подошел к решению вопроса из абсолютного убеждения, что закон этот *не может* быть неверным и, следовательно, энергия должна сохраниться, она не может потеряться. И в поисках следов этой утраченной энергии он теоретически пришел к идее о существовании мельчайших космических частиц «нейтрино». Итальянский физик Ферми, экспериментируя и ставя опыты, доказал на практике, что это именно так,— он нашел нейтрино,— мельчайшую космическую частицу. Она, как лучевой дождь, проходит через человеческое тело в бесконечном количестве,— что только и какими незримыми молниями лучей не пронизывает наше тело в миллиардных количествах в течение всей нашей жизни, а мы — часть матери-природы,— и не подозреваем о них!

Другой опыт, остановивший меня — одно из самых гениальных научных достижений последних лет,— проделан двумя учеными, китайцами по происхождению,— Ли Цзун-дао и Ян Чжэнь-нином,— к сожалению, работающими не в родном Китае, а в Америке, и умножившими славу не своей великой родины, а чужой страны. Их опыт получил в 1956 году Нобелевскую премию. Тут надо опять начать эпически,— с упоминания об одном из важных законов квантовой механики, так называемом законе четности. До сих пор он считался незыблемым. И вот опять вмешалась неугомонная частица бета. Когда китайские ученые Ли и Ян намагнитили кобальт-60, то обнаружили, что частица бета излучается в одну сторону по отношению магнитного момента *больше,* чем в *другую* сторону, хотя по закону парности излучение в обе стороны должно было бы быть одинаковым. Открытие это, на взгляд профана в науке, такое незначительное, в действительности имеет колоссальное значение. В данном случае *нельзя* искать каких-то подтверждений незыблемости закона квантовой механики — их нет; в данном случае вывод может быть только один: закон парности ошибочен, и надо поэтому пересмотреть всю квантовую механику.

Два стенда — и совершенно разная диалектика «закона» и «открытия», совершенно разные выводы из открытий. А из этих выводов, кажущихся абсолютно чистой наукой, подобно многому и многому другому во

«Дворце науки», вырастает новая техника, ведущая к новой практике, новой действительности... Слова «чистая наука» иному реалисту, охваченному нетерпением видеть каждое открытие в математике и физике тотчас же, сию же минуту, воплощающимся в материальные ценности на земле,— кажутся чем-то глубоко отвлеченным, уводящим изобретателей в дебри абстракции от жизненно важных дел. Я не буду ломиться в открытую дверь, чтобы доказывать абсурдность таких утверждений, похожих на подпиливание под собой сука, на котором сидит человек. Но есть одно, о чем сказать хочется,— о светлой, объединяющей людей радости такого «чистого» открытия, когда сын матери-природы, ее ребенок, подслушивает и узнает один из ее секретов. Трудно представить себе более бескорыстную радость, охватывающую не только того, кто сделал открытие, но и множество других людей, узнавших о нем. В мире, где так много факторов, разделяющих людей, этот светлый психологический фактор радости, соединяющей людей,— вещь немалая. И «Дворец науки» в этом смысле, с его последовательной картиной научных открытий человечества, с его чудесным фильмом о научном синтезе, над которым трудилось много ученых,— огромный вклад в дело мира. Мы входим в зал и смотрим фильм о синтезе. Он ведет зрителя от зарождения мира, через неорганическую материю, к первым живым клеткам — в царство растительного мира, обеспечивающее жизнь на земле фотосинтезом, — добычей из солнца и хлорофилла, необходимого для жизни крахмала (да простят мне ученые такое простецкое изложенье!); он ведет через появленье первых животных организмов до человека, мастера природы,— и опять назад, к атому, которым человек учится управлять, из которого, то разрывая, то соединяя его, высекает чудовищные запасы энергии; и дальше — к новым вершинам науки, к созданию человеком уже искусственных изотопов, искусственных молекул, искусственной материи, похожей на живую; и может быть, в грядущем — искусственной живой клетки... Огромен путь позади человека, но он как раз настолько велик, чтобы показать, как неизмеримо больше, чем пройдено, человечеству предстоит пройти. Мне хотелось бы сравнить все пережитое во «Дворце науки»,— и его ясные, поучительные стенды, и его фильм, созданный

с таким обдуманным, терпеливым стараньем, и чудесные вступительные статьи больших ученых в его каталоге к каждому разделу павильона,— с действием Девятой симфонии Бетховена. Подобно тому, как, слушая ее, перестаешь верить в победу зла на земле, выходя из «Дворца науки», не допускаешь мысли о том, что лучшая часть Человечества позволит кучке безумцев, цепляющихся за свою власть и личное благополучие, предать огню и мечу, пожару и истреблению бесконечно дорогие ценности человеческой культуры.

Еще одно хочется мне добавить к рассказу о Выставке. Каждая новая эра человечества всегда вызывала в отдельных людях, задумывающихся о грядущем, потребность сделать доступными для народа накопленные научные знания. Отсюда — великие энциклопедисты прошлого. Так создавалась знаменитая арабская энциклопедия X века анонимными «братьями чистоты»,— ихвануссафа,— вобравшая весь неоплатонический багаж своей эпохи вперемежку с арабским материализмом. Так всю свою жизнь страстно систематизировал научные знания своего века в учебниках, доступных всему народу, великий чешский учитель-энциклопедист Ян Амос Коменский, под христианской оболочкой создавший в XVII веке материалистическую основу народной школы, не потерявшую и сейчас своего значения. Так действовали знаменитые французские энциклопедисты-материалисты XVIII века на пороге новой, капиталистической эры. Мы глядим через головы их в эру новых, лучших и более справедливых человеческих отношений, — в эру социализма. Давно пора если не одному какому-нибудь всеобъемлющему уму типа Бэкона или Ломоносова, то хотя бы группе ученых поставить перед собою задачу ясного, творческого изложения всего того, что уже накоплено в нашей науке. Надо, чтоб человек новой эры знал, как фундамент своего образованья, главные законы точных наук и ту общую математическую основу, которая лежит под каждой из них, зачастую замаскированная разными терминами. Создать такой компендиум, доступный в чтении миллионным народным массам,— большая, почетная задача. На Выставке есть один павильон, он носит имя французского труженика, поднявшего в XIX веке на своих плечах дело создания популярной энциклопедии для родного народа. В этом па-

вильоне — Ларусс — можно увидеть, какое огромное распространенье получили и до сих пор получают его энциклопедии. Там есть и еще одно поразительное новшество: электронный энциклопедический словарь, который не нужно доставать с полки, не нужно листать, а только нажать кнопку, и он отвечает на 1200 поставленных ему вопросов. Я вспомнила о Ларуссе потому, что самоотверженный труд энциклопедиста — почетный труд даже тогда, когда он не ставит перед собой задачи творческой систематизации наук, а хотя бы просто стремится к их обычной популяризации. Сейчас нам нужен, конечно, не просто популярный сборник, а такой, где разные науки улеглись бы не изолированно, а во внутренней связи, к которой подводят их новейшие открытия в физике и математике. Углубить, упрощая сложности; прояснить, убирая лишние параллелизмы и повторенья,— вот чего требует наша новая эра от научного социалистического компендиума.

Дописывая эту страницу, я как бы снова расстаюсь со Всемирной выставкой 1958 года, созданной огромным творческим коллективом людей и пронизанной,— в большей части ее работы,— добрым намерением мира и человеческого сосуществования народов на земле. Неуважением к ее труду и к этим добрым намерениям было бы отнестись к ней, как к пестрому калейдоскопу — и только. В своем рассказе я постаралась отдать должное большому международному делу, созданному коллективно (и нами, народами социалистического лагеря в том числе),— и если есть в этом рассказе упущения или неточности, пусть простит мне читатель: трудно в пятнадцать дней охватить то, что создавалось целое пятилетие!

Брюссель — Москва
1958

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ТРУД

1

Кажется, нигде и ни в чем не было у нас такого разнообразия, как в методах и приемах борьбы за производительность труда. Мне уже не раз приходилось писать о диалектике развития этих приемов, подчас приводивших к блестящим результатам не только разными, но даже прямо противоположными путями.

В самом деле: вот огромный успех разделения функций в шахте (отделение крепленья от проходки у Алексея Стаханова) и такой же огромный успех объединения функций на паровозе (вождение и ремонт у Лунина); вот сибирский каменщик Максименко, поднявший производительность труда на стройке тем, что разделил простую функцию кладки кирпича на две еще более простых, поручив каждую отдельному рабочему, а вот знаменитый уралец Шалаев, рывком поднявший производительность труда на стройках в первый год Отечественной войны — как раз обратным приемом, совмещением знания нескольких строительных профессий в одном рабочем...

Этих примеров великое множество, и все они говорят о гибкости и находчивости рабочего мышления в соответствии с задачами труда на определенном отрезке места и времени. Но если мы рассмотрим историю развития производительности труда за все истекшие сорок лет, мы увидим, что обязательства, принимавшиеся рабочими, при всем разнообразии их приемов, имели

одну общую черту: это были обязательства чисто производственные.

Позднее, правда, к производственным (дать столько-то и столько-то) начали присоединяться обязательства экономические (снижение себестоимости, экономия материала) и технические (необходимость освоения усложненной техники) и даже дидактические (передача приемов ученикам, техническая помощь подшефным или отстающим предприятиям). Но в целом основной задачей в договорах на социалистическое соревнование было перевыполнение плана чисто производственными методами.

И вот сейчас мы стоим перед совершенно новым явлением. Мы видим, что труд, сам труд на данной ступени развития нашего общества, в подступах к семилетке,— предстает перед нами в новом качестве, которому имя дали вслед за Лениным сами рабочие, назвав его «трудом *коммунистическим*». Если раньше, на всех этапах развития нашего хозяйства, рабочие предъявляли требования к своему труду, фиксируя в договорах необходимость более чисто, более точно, более быстро, более экономно, более рационально трудиться, то на нынешнем этапе уже не только рабочие к своему труду, а и самый труд предъявил к рабочим очень серьезные требованья: он потребовал, чтоб берущийся за него рабочий стал более целостным, более гармоническим человеком и чтоб это совершенствованье отразилось у него не только в чистоте работы, но и в нравственной чистоте поведения, в овладении знаниями, в повышении общей культуры. «Будь достойным меня»,— как бы говорит труд рабочему на данном этапе развития нашего общества. Так родились у нас замечательные содружества молодежи, получившие название «бригад коммунистического труда».

О рождении этого нового движения, пожалуй самого интересного, что дал нам уходящий год, подробно рассказывается в «Комсомольской правде», где приведен протокол собрания молодежи в роликовом цехе того самого депо станции Сортировочная Московско-Казанской железной дороги, где почти сорок лет назад рабочие заложили первый камень «великого почина» — провели майский субботник добровольного труда. Вот что отметила скупая запись протокола этого собрания.

Сперва ораторы подняли обычный вопрос о повышении производительности труда, стали предлагать кон-

кретные меры, как и в чем перевыполнить план. Но потом прозвучала не совсем обычная нота. Чтоб на данном этапе практически смочь больше и лучше работать, одного решенья еще мало,— надо *смочь* это сделать, а для того, чтобы смочь, надо *знать,* надо быть технически грамотным, иметь *хотя бы* среднее образование, окончить техникум или институт. «Современная техника *требует этого от нас»,*— сказал один оратор. А еще дальше, в последующих речах, выяснилось, что не только нынешняя техника *требует* от молодого рабочего углубленного знания, но и великая цель — путь к коммунизму, труд для коммунизма,— предъявляет к нему особое требование. Уже не безразлично, как человек будет себя вести; уже не все равно, пьет или хулиганит он вне цеха, матерщит или безобразничает на дому — поскольку трудится он для коммунизма. «Труд для коммунизма должен отразиться в нашей жизни везде — в цехе, дома, в обществе»,— сказал выступавший на собрании инженер. Иначе говоря, наступившая новая фаза в развитии нашего общества с удивительной ясностью раскрывает в действии основное марксистское положение: бытие определяет сознание. Мы как бы присутствуем при рождении нового человеческого сознания, вызванного новой стадией нашего общественного бытия...

С этими мыслями и с горячим желаньем заглянуть в лицо будущему я ехала в морозный декабрьский день на ленинградский завод «Красный Выборжец».

2

Среди ленинградских заводов «Красный Выборжец» занимает особое место. Если на «Сортировочной» Казанской ж. д. состоялся первый субботник, названный Ильичем «великим почином», то именно здесь, на «Красном Выборжце», около тридцати лет назад родилось то решающее в истории нашего хозяйства движение, которое названо было «социалистическим соревнованием». Отсюда побежала перекличка заводов, вызывавших друг друга на выполнение и перевыполнение плана. И совершенно естественно, образовавшаяся сейчас на этом заводе

первая бригада коммунистического труда заменила в обычном вызове на соревнованье слово «социалистическое» словом «коммунистическое». Свое обращенье к другим заводам, напечатанное 20 ноября 1958 года в «Ленинградской Правде», бригада озаглавила: «Начинаем коммунистическое соревнование», а вызывает она опять тех, кто первыми отозвался на вызов их завода тридцать лет назад, в частности — кольчугинцев...

И в том волнении, с каким я вступила на чистую, строгую, прибранную территорию завода,— немалая доля была именно от этого знакомого, ставшего мне родным в дни войны, слова «кольчугинцы». Дело в том, что с кольчугинцами, переброшенными в первый год войны на Урал в маленький городок Ревду, я подружилась в те незабываемые дни и хорошо узнала их производство. «Красный Выборжец», как и «Кольчугино», делает трубы, эти необходимые легкие, которыми дышат машины, начиная от простейших, до самолетов и танков; трубы всех размеров и диаметров, тонкие и толстые, прессуемые и протягиваемые, стонущие тяжким металлическим стоном при протяжке, родившей даже особое выраженье, перешедшее в стихи и прозу: протяжный стон. Но какая разница между «Красным Выборжцем» начала семилетки и ревдинским заводом, выросшим на заснеженном уральском пустыре в начале Отечественной войны! Помню, какие муки испытывали кольчугинцы оттого, что салдинский завод, поставлявший для них прокат, задерживал болванки и беспрерывно нарушал стройный ритм их производства, именуемый «принудительным потоком» (когда нет внешнего конвейера, но весь процесс производства идет в строгой непрерывной последовательности, где нельзя остановить ни одного звена, не остановив всего производства). Помню и выражение «варежка на руке гремит», когда кольчугинцы на тридцатиградусном морозе, в нетопленом цеху, не имевшем еще ни крыши, ни стен, работали, борясь с замерзающей эмульсией на машинах,— и как работали! И вот я вступила в трубопрессовый цех культурного «Красного Выборжца» с его передовой техникой и новой чудесной молодежью, уже годящейся в сыновья молодым кольчугинцам, совершавшим подвиги в Ревде,— и прежнее чувство большого подъема опять охватило меня.

Трубопрессовый цех «Выборжца» — настоящий сказочный зал по объему, его не охватить одним взглядом и, даже откинув голову, не увидеть всего его необъятного стеклянного свода. В Ревде шестнадцать — семнадцать лет назад восторженно показывали автомат инженера Бородая и большой гидравлический пресс,— а здесь новые монтируемые станы сами по себе похожи на целые маленькие заводы. Чтоб не отрывать молодой бригады Коммунистического труда от дела, мы не стали ни с кем разговаривать в цеху, а как бы растворились в его большой, налаженной жизни, подмечая то тут, то там новые черты, внесенные в работу бригадой. Вот пришла новая смена. Обычно, отработав, первая смена останавливает свои машины и расходится, а сменщику на чистку, налаживанье и заправку дается двадцать минут, в течение которых он подготавливает стан для своей работы. Но вот мы видим, как сменщик подходит к работающему плавно стану, и его предшественник отходит, уступая ему место: он уже успел в последний час сделать всю необходимую проверку, заправку и чистку, и машина, словно корабль, переходит в руки другого, сменного рулевого, на плавном своем ходу, не теряя ни теплоты, ни ритма, ни налаженного, стройного движения. Как много тут выгадывается не только одного времени в минутах, но и энергии в ее налаженной отдаче, и теплоты в ее накопленном количестве, и ритма, в его привычном ходе,— да и той быстроты рабочего приспособленья к своей функции, с какой певец вступает в хор или танцовщик в знакомый танец! Эту передачу машины от смены к смене на полном ходу ввела в цеху молодая бригада Коммунистического труда. А вот большая машина, резко выделяющаяся среди других, как гигантский цветок, поднявший голову среди лопуха. Рабочая клеть у нее окрашена в ярко-красную краску, а станина — в бархатносерую. Это бригада покрасила свою машину в выходной день, чтоб она была нарядней и веселей и чтоб подольше сохранила свою молодость: краска тут выполняет две функции, эстетическую и экономическую, и на этом маленьком примере бригада могла бы дать урок тем, кто к эстетике относится с пренебреженьем. Мне кажется, наблюдая вот эти «мелочи» внутренней жизни цеха, видя толковые, рассчитанные движенья этих совсем молодых людей и скромную фигурку их бригадира, Нико-

лая Никифоровича Воронина, с его вдумчивым интеллигентным лицом, как незаметно он держит себя в кругу своих товарищей,— можно больше понять в делах и значении этой бригады, нежели только из сухой записи о том, что за две недели они сумели внести четыре рационализаторских предложенья, повысить на пять процентов производительность и при этом — усердно учиться. Сам Воронин — студент-заочник, другие — учатся в техникумах, в вечерней школе. И всем им предстоит очень большое, захватывающе интересное дело — сборка и монтаж двух новых больших трубопрокатных станов с изучением их сложной, передовой конструкции.

Но как раз в те дни, когда я знакомилась с «Красным Выборжцем», произошло еще одно, совершенно новое событие, еще не успевшее как следует дойти даже до пера газетчика. Заводская жизнь — это постоянное обновленье, постоянная техническая революция, что ни день совершающая то одно, то другое изменение или открытие. Но жизнь высшего учебного заведенья с выработанными за несколько лет учебниками, созданными пособиями, стандартными задачами,— всегда до некоторой степени консервативна, поскольку она состоит из усвоения уже обработанных знаний. Естественна поэтому тяга высшей школы к заводу. Политехнический институт в Ленинграде, особенно старшие курсы металлургического факультета, всегда были связаны с «Красным Выборжцем», и сейчас среди студентов родилась встречная тяга — принять участие в работе бригады Коммунистического труда. Пройти производственную практику, участвовать в монтаже совершенно новых станов — это одно, это — свое, для себя; но бригада Воронина хочет учиться, а студенты-четырехкурсники уже накопили теоретические знания, которыми могут поделиться,— и с какою горячей, молодой охотой они берутся за это! Их поддерживает и преподаватель института — Н. П. Белоусов. Они будут помогать бригаде, обучать черчению, чтению чертежей, математике... И это — уже не для себя, а для бригады. Так родилось обращение группы студентов института к бригаде Воронина — с просьбой принять их к участию в ее коммунистическом труде.

У самых истоков этого двойного движения,— завода к школе и школы к заводу,— люди еще полны желанья

поделиться своим новым замыслом и рассказать о нем. И мне удалось ближе познакомиться с ними, поглядеть в их молодые лица, послушать их, когда десять человек, пятеро с «Красного Выборжца» и пятеро из Политехнического института, пришли ко мне в гости, закончив свою работу и занятия. Глубоко за полночь затянулась наша беседа.

3

Кто же они, наша смена, будущее нашей родины, те, кто станет продолжать дело отцов, когда нас, видевших первые зори Октября, уже не будет на матери-земле? Прежде всего — уже нелегко отличить в этой группе сидящей за круглым столом молодежи, почти одних лет, одетой без особого различия, одинаково серьезной и внимательной, кто из них заводской, а кто институтский. Их роднит думающее выражение глаз, та печать внутренней занятости, которая отличает человека настоящего и, по-моему, счастливого — от пустого и скучающего, а значит — несчастного.

Бригадир, Н. Н. Воронин, из рабочей семьи Иваново-Вознесенска, кончил там семилетку и поступил было в транспортный техникум, да узнал, что на первом курсе не дают стипендии, и вынужден был уйти. Поработал на текстиле, одновременно учась в вечернем текстильном техникуме,— и это не было по душе. Подумал о своем будущем: «Зароюсь в тряпках», бросил свой красильный цех, уехал в Кольчугино, где опять поступил в техникум по обработке цветных металлов, кончил его в 1953 году и по разнорядке министерства очутился на «Красном Выборжце». Прошло пять лет, из которых два года он прослужил в Армии, повидал Заполярье, Сибирь,— и опять на заводе, опять учится, уже студентом-заочником, и через три дня после москвичей организовал свою бригаду Коммунистического труда. Прожито не очень много лет, но что в этих годах замечательно? Когда студенты Политехнического института писали свое коллективное обращение, они вспомнили и процитировали слова Ленина из его статьи «Как организовать соревно-

вание?». Вот эти слова: «Ни на минуту не забудут рабочие, что им нужна сила знания. Необыкновенное рвение, которое проявляют рабочие в деле образования, проявляют как раз сейчас, доказывает, что на этот счет заблуждений в среде пролетариата нет и быть не может»[1]. Вот это рвение к знанию, упорное соединение труда с образованием, стремленье всюду и везде подучиться, узнать новое, узнать поглубже — и характерно для простой и ясной биографии Воронина. Но Воронин как-никак из рабочей семьи, из промышленного города, а вот старший член его бригады, Андрей Иванович Купавцев, пришел на завод из деревни, он знает колхозный труд, ранние, затемно, выходы в поле, свежий деревенский воздух, теплый запах коровника, глухой стрекот трактора в поле, пахоту, работу косилки под жгучим солнцем. Он — воронежский и, как говорится, от земли — большой, сильный, с вихрастой копной волос. Их набирали в ФЗО, в ремесленные училища при Министерстве трудовых резервов, а всего-то он кончил в своем колхозе пять классов. Но после колхозной работы ему, как он выражается, «интересно было пойти на завод», и сейчас он тянется докончить среднее образование, тянется хорошенько изучить баян, занимается фотографией. А другой член бригады — Григорий Михайлович Кирдун, из белорусской деревни, тоже крестьянский парень и тоже прошел пять классов, вырос в детдоме, работал в колхозе и на завод попал по такому же набору ФЗО. Он увлекался электричеством, хотел быть электромонтером, да остро ощутил нехватку знаний; на заводе полюбил прокатку и свои новые станы, на которых работает, но его тянет и тянет учиться, и он обязательно пойдет в среднюю вечернюю школу. Покуда рассказывают свою жизнь члены бригады, два других заводских гостя, совсем молодые,— комсомольский руководитель Коньков и председатель завкома Близнюк, внимательно слушают их. Они как бы сызнова в этих рассказах, простых и сердечных, узнают свои кадры, ощущают их нужды. А нужды, надо сказать, тоже выясняются, хотя и не прямо, а вскользь, между разговором,— у этих молодых людей, тянущихся к знанию, работающих, как

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 26, стр. 370.

лучшие из лучших, желающих жить чисто, с коммунистическим достоинством,— остро обстоит с жильем. У Купавцева, у Кирдуна есть невесты, заводские девушки, но жениться нельзя, пока не получишь комнату. И тут невольно вспоминается одно из обязательств московских бригад Коммунистического труда: восемь часов в месяц отдавать строительству собственных жилых домов. На «Красном Выборжце» огромный процент нуждающихся в отдельном жилье,— почти вся молодежь живет в общежитиях. Директор завода, Иван Ермолаевич Шаров, озабоченный человек с неожиданно молодой, комсомольской улыбкой, ласково называемый рабочими за глаза «Наш Ермолаич», мог бы, мне кажется, поднять вопрос вот о таком, собственными силами, разрешении жилищного кризиса хотя бы для создающей свои семьи ударно работающей молодежи....

Но вот разговор переходит к гостям из института. И биографии студентов, мне кажется, не очень отличаются от услышанных. Им тоже нелегко давалось образование, они тоже упорно тянулись к знанию, только, может быть, времени у них было больше, да и то не у всех. Александр Михайлович Уткин из-под Рыбинска — родился и вырос в рабочем поселке, кончил семь классов, а когда мать заболела, бросил школу и пошел в железнодорожное училище, чтоб не быть ей обузой. Но мать из больницы стала хлопотать за сына, чтоб окончил десятилетку. И он учился на отлично, зная, что должен прокормить не одного себя, выдержал конкурсный экзамен в Политехнический институт и сейчас — в бригаде, о которой говорит: «Подобрались люди серьезные, желающие заниматься». Нелегко далось ученье и уральцу Юрию Ивановичу Завьялову, кончившему десятилетку, совмещая ее с работой в колхозе. Легче как будто сложилась учеба у ленинградца, Сергея Витальевича Афанасьева, и сибиряка из Иркутска, Эдуарда Владимировича Никитина. Оба кончили десятилетку, отлично выдержали конкурсный экзамен, обоих увлекает техника, избранная ими специальность,— и оба любят природу. Во время летних каникул они вдвоем обошли пешком весь Крым и половину Украины. А вот молчаливый черноволосый студент из Белоруссии, Леонид Ма-

дорский, один из инициаторов группы, никак не хочет разговориться, он отвечает скупо и односложно, и только угадываешь из ответов, что детство у него было нелегкое, он рано потерял отца, а сейчас тяжело болеет мать, за которой некому, кроме него, ухаживать. Большая сыновняя любовь и самоотверженность встают из его скупых ответов, и не по годам взрослое пониманье долга. Чистая, хорошая молодежь, с ясной перед собой целью, знакомая с трудностями жизни, мечтающая о заводской практике, о том, чтоб поделиться своими знаниями с заводскими ребятами. Невольно хочешь сказать: как хороша, как смолоду прекрасна их жизнь, каким большим, светлым простором раскрывается она перед ними... И тут вдруг память приводит другое.

В то время как эта милая, настоящая молодость в чистоте и достоинстве строит свою красивую жизнь, заслужив ее большим трудом и борьбой за возможность учиться, в том же Политехническом институте, как и во многих других учебных заведеньях, есть совсем другие люди. Их немного, но они есть. Им не приходилось пробивать себе каждый шаг к ученью,— их тащили к нему родители и репетиторы. Их не волнует забота распределить стипендию так, чтоб смочь из нее выделить что-нибудь семье,— они, как говорится на языке студентов, «получают из дому». И вот кое-кто из этих людей томится «по красивой жизни». Как он ее себе представляет? По меньшей мере странно. Даже знаменитые «белоподкладочники» дореволюционного времени с презреньем отвернулись бы от таких идеалов. Одеться в заграничное и фланировать, разговаривая на своем жаргоне, вот одна из сторон этой «красивой жизни». Мне стыдно приводить здесь их жаргон, но он широко бытует на улице, среди разгуливающих стиляг. Своих они называют элегантными кличками «чувак» и «чувиха», представителей прочего мира — «дешевое повидло»; выражаемое одобрение передается у них словечком «железно», предложенье пройтись — «прошвырнемся по броду». Это даже не блат уголовника, не те «папа, персик», произношением которых гувернантка в «Крошке Доррит» учила красиво складывать губки,— это патологическая бессмыслица, совершенно непонятно откуда пробравшая-

ся в нашу жизнь. Мне думается, в обязательства бригад Коммунистического труда должна бы входить и беспощадная борьба не только с пьянством и матерщиной, но и с патологией «стиляг».

4

Как уже было упомянуто, весной 1929 года на «Красном Выборжце» раздался призыв к социалистическому соревнованью. И тот, кто всегда страстно прислушивался к биению жизни, первый писатель Страны Советов — Алексей Максимович Горький остро заинтересовался новым движеньем. В летний день,— 14 июля того же 1929 года,— его сутулая, знакомая каждому советскому человеку, высокая фигура с абрисом лопаток на спине, под белой русской рубашкой, с широкополой соломенной шляпой на длинных волосах, появилась в Ленинграде. Алексей Максимович приехал посмотреть завод, начавший социалистическое соревнование. Он бродил по цехам, внимательно и долго наблюдал «шламовое производство», организованное на заводе, говорил с рабочими и, уходя, оставил «Красному Выборжцу» драгоценное письмо. Не знаю, попало ли оно в его собрание, и привожу его тут полностью. Горький написал:

> «Многое на «Красном Выборжце» удивило и обрадовало меня, а больше всего — шламовое производство. И не только потому, что из мусора, из грязи рабочие добывают серебро и золото. Разумеется, это удивительно, как творческий процесс разума, но я обрадовался скрытым смыслом процесса.
>
> Вот так из грязи и сора прошлого, из хаотического наследства буржуазии рабочий класс должен выделить и уже выделяет все то высоко-ценное, действительно культурное, что создано веками труда и войдет в новую культуру, которую строит рабочий класс.
>
> *М. Горький*».

Это письмо обязывает каждого из нас, писателей, оно говорит о том, как глубоко и серьезно задумывался Горький об усвоении рабочим классом всего ценного из культурного наследия прошлых веков. Эпоха коммунизма поставит перед человеком новой эры не только задачу культурно производить, но и задачу культурно

потреблять — уметь наслаждаться искусством, уметь чувствовать музыку, уметь понимать философию, уметь представлять себе весь длинный исторический процесс, пройденный человечеством, иначе говоря — быть образованным сыном своего светлого века. Когда за столом в ленинградской гостинице сидели вокруг меня лучшие представители советской молодежи и я глядела в их молодые, ясные лица, в их жадные к знанию глаза, мне хотелось передать им все, что накопилось в долгой жизни людей моего поколения. На вопрос, читается ли в Политехническом институте хоть какой-нибудь гуманитарный курс, студенты переглянулись и ответили: «Только диамат». Я спросила, а как же история, литература, и мне ответили: «Это у нас было в средней школе». Но мы знаем, что дает средняя школа и с каким запасом знания истории и литературы выходит молодежь хотя бы из десятилетки. Разве достаточно это на подступах к коммунизму? Разве не прямая обязанность каждого из нас, кто знает искусство и литературу, философию и историю, поделиться своим знанием, передать накопленные культурные навыки нашим детям и внукам, нашей дорогой советской молодежи? Для этого не нужно выдумывать особых форм — для этого достаточно подчас одного только теплого дружеского общения — общения, в котором обе стороны духовно обогащаются друг от друга.

1958

ЗОВ ВРЕМЕНИ — УЧИТЬСЯ

Писатели знают — и постоянно, устно и письменно им напоминают об этом,— что советская литература должна питаться современностью, отражать современность.

Но что такое современность? Можем ли мы сразу ответить на это, понимаем ли мы современность в полном ее охвате, во всем ее глубоком смысле?

Для того чтобы понять сегодняшнюю действительность, старые пути и методы, какими писатели шли к жизни, изучали жизнь в двадцатых, тридцатых, сороковых и даже в пятидесятых годах, уже недостаточны. Мы сейчас — на пороге величайших перемен в науке, на пороге открытия таких законов в ней, которые определят собой человеческое сознание на сотни лет. Здесь нет возможности говорить об этом длинно, скажу коротко: уже наступило время, когда усилиями химии, кристаллографии, физики стенка между органическим миром и миром неорганическим настолько утончилась, что мы как бы реально находимся в преддверии открытия тайны происхождения жизни, разгадки возникновения живого и его искусственного воспроизведенья. Уже настало время, когда силы, выходящие за пределы человеческого восприятия — ультразвук, который нельзя услышать, ультраскорость, которую нельзя себе представить,— пришли на службу человеку; ультразвук обрабатывает и нагревает металл, ультраскорость играет очень большую роль в управлении техникой, в «мозговой» работе вычислительных машин.

Если создание наших рук — космическая ракета перелетела за Луну и сделалась спутником Солнца,— собы-

тие, о котором говорит сейчас буквально весь мир,— то ведь за этой вчерашней сказкой, вчерашней фантазией, ставшей нынче практическим делом,— огромная работа мысли, целое море теоретических исследований и открытий.

Новые научные открытия надвигаются на нас, на нашу психику, на систему наших чувств и мышления с огромной силой воздействия, и они, эти открытия, влияют отнюдь не только на материальный мир, они перевоспитывают всего человека, меняют его характер, образ мышления, привычки, способ жизни.

Совсем недавно один из крупнейших советских физиков сказал мне: «Атомистика — это, конечно, огромная вещь, но вы даже не представляете себе, какой величайший переворот готовит кибернетика, наука об управляющей способности машин, в жизни общества, в развитии характера, в деятельности и психологии человека новой эры».

И вот на каждом гребне крупнейших научных открытий, меняющих представления человека о мире, сама наука и сами ученые тянутся к искусству и литературе, как бы ища их помощи, желая через поэтические обобщения и художественные образы легче войти в плоть и кровь духовной культуры человечества, в сознание общества. Литература и поэзия всегда помогали науке. На рубеже нашей эры в бессмертной поэме «О природе вещей» Лукреций Кар создал не только художественный памятник, но и поэтический учебник материалистической теории развития мира. А посмотрите прозу. Великие реалисты XIX века в своих романах точнейшим образом, нигде не изменяя искусству и занимательности, воспроизводили новые научные течения, создав живые типы людей, представителей этих течений. Разве наш широкий читатель знал бы о трех течениях в медицине середины прошлого века, если б не увлекательный роман Бальзака «Шагреневая кожа»? А ведь Бальзак не только описал эти течения в медицине, он на основе их создал незабываемые в своей типичности и в своем реализме образы идейных носителей этих течений; он же рассказал в этом романе о первом промышленном прессе и ученом механике, работавшем на этом прессе. И чтоб не ходить далеко, разве не запомнилось русским читателям во всей его жизненности начало экспериментированья на живом организ-

ме в медициие,— так иазываемое «резаиье лягушек» по неувядаемому образу нового человека из «Отцов и детей», образу Базарова? Таких примеров можио было бы привести десятки и сотии.

Великие иаучные открытия иаших дией, овладеиие атомной эиергией, работа советских ученых — еще ие вошли полиостью в созиаиие иашего общества, еще ие стали плотью и кровью иашей сегодияшией духовиой культуры. А между тем в иих есть та большая особеиность, что эти открытия, помогающие иам строить коммуиизм, в процессе своей практической реализации подводят человечество к поиимаиию иеизбежиости и иеобходимости иаступлеиия коммуиистической эры. Недаром говорят, что век атомиой эиергии — век коммуиизма.

Недавио мие пришлось пережить счастливое и важиое для писателя событие: я смогла загляиуть в глаза совремеииому герою, герою иаших будущих кииг. Я была в Леиииграде иа заводе «Красиый Выборжец» и там встретилась с одиой из первых бригад Коммуиистического труда.

Мы зиаем, что движеиие передовых рабочих за подиятие производительиости труда иа всех этапах его развития прииимало иовые формы. Но еще никогда передовые рабочие, объявляя соревиоваиие, ие ставили на одиу доску; в одиом ряду с производствеииыми, обязательства иного, духовиого порядка: учиться, коичить школу, вечерние курсы, вуз, втуз и жить достойио коммуиистов.

Когда я взгляиула в глаза этой чудесиой молодежи, я прочла в иих такую страстиую потребиость зиаиия; потребиость узиать окружающий мир, современиую науку и иауку самого мышлеиья, иауку логического выражеиия собствениых мыслей, такую страстиую потребиость стать образоваииыми людьми, что мие стыдио стало.

Подумайте: имеиио оиа, рабочая молодежь, у которой в обрез времеии, которая считает время у своих стаиков секуидами, которая загружеиа огромиой и сложиой работой,— имеиио эта рабочая молодежь сильней и острее нас, писателей, почувствовала зов времеии, зов новой эпохи, и первая иа него откликиулась.

Подумайте: эта рабочая молодежь первой поияла, что работать дальше и справляться с новыми задачами,

какие встают сейчас перед советскими людьми, уже нельзя старыми методами, такими, скажем, как в годы наших пятилеток, а необходимо широкое образование, необходимо овладеть всем новым в науке, технике и культуре. И они пошли навстречу зову эпохи.

Получается так, что развитие движения за передовой труд на производстве требует нового, более солидного научного и культурного багажа для рабочего, а мы, писатели, которым нужно понять это движение, увидеть тех, кто участвует в нем, раскрыть и воплотить их в литературе,— мы все еще топчемся в наших обычных способах и приемах знакомства с жизнью. Нас овевает ветер великой эпохи, новые научные открытия и социальные революции потрясают жизнь и меняют весь облик нашего мира, на историческую сцену выходят угнетенные народы и начинают с огромной творческой силой перестраивать свою жизнь — все это требует от искусства, от писателя новой остроты мышленья и наблюденья, новой широты сознания.

Мне думается, многие наши нерешенные профессиональные споры и разговоры о том, каким должен быть герой наших книг, о конфликте, о жанре могли бы сами собой легко разрешиться, если б мы, писатели, овладели широким восприятием эпохи, стали подлинно образованными людьми новой эры — эры коммунизма. Когда мы сейчас повторяем старые азы о том, что «надо внедряться в жизнь», эти сакраментальные слова начинают звучать беспомощно. Ну, а если, «внедрившись», мы вдруг почувствуем, что жизнь взяла да и «вы-недрила» нас с нашим легковесным багажом, как вода выталкивает на поверхность пустую бутылку?

Чтоб сейчас понять и охватить современность по-настоящему, надо жить одной мыслью и одним чувством с героями наших книг, надо стремиться знать свое время, быть на уровне великих научных идей своего века, то есть идти к пониманию жизни с большим культурным багажом.

У нас начинает проводиться в жизнь очень революционная школьная реформа. Мне много приходилось слышать опасений, что реформа эта ущемит гуманитарное образование, даст чересчур большое преимущество точным наукам за счет гуманитарных. Я думаю, что эти опасения неосновательны.

Развитие науки всегда шло от точных знаний к знаниям идеологического порядка, метафизика всегда шла за «физикой». Старая школа, если говорить правду, недодавала нашей молодежи именно знания точных наук. Мы вырастали в этой области малознающими людьми, и то, что знали, быстро забывали. В понятии «образованность», «образованный человек» всегда содержалось больше признаков гуманитарного образования, нежели естественнонаучного. И вот это положение уже начало мстить сейчас самим гуманитарным наукам. Они стали приобретать у нас черты некоторого догматического схоластицизма. Философия, история растут на обобщениях фактов, придвигаемых к ним жизнью, точными науками и работами практиков. Если мы слабо знаем огромный накопленный мир научных фактов, у нас неизбежно замирает и деятельность философского обобщения, от гуманитарных наук отлетает жизнь, они начинают формализоваться, выдыхаться, выхолащиваться. Как часто мы слышим обвинения по адресу наших филологов и философов в схоластицизме и безжизненности!

Не надо бояться за нашу молодежь: от точных наук она сама потянется и к философии и к истории. Да и наука в своем развитии не может обойтись без исторического метода (вспомним Тимирязева!), без гуманитарных дисциплин. Она сама потребует их.

Недавно в армянской газете «Коммунист» выступил один из крупнейших математиков, молодой академик Мергелян, строящий в Ереване счетные машины для всего нашего Союза. И вот именно он, представитель точной науки, поднял свой голос в печати в защиту гуманитарных наук. Он написал в своей статье о том, что армянской Академии наук необходимо обратить больше внимания на свой общественный сектор, больше помогать гуманитарным институтам и исследовательским работам их ученых. Это не случайно. Чтоб *войти в сознание общества, быть осознанной, осмысленной человечеством, точная наука нуждается в нас, работниках наук общественных.*

Наш отряд работников слова — тоже отряд гуманитарного раздела культуры. И он очень высоко оценен нашей партией, высоко оценена роль советской литературы как воспитателя и учителя народа.

Воспитывать и учить — какое это высокое дело в эпоху наступления коммунизма! Но для этого самому писателю необходимо учиться и воспитывать себя, необходимо быть образованным сыном своего нового века, а это отнюдь не дается одними только лекциями и семинарами Литинститута. Наше время, как и все эпохи больших переворотов, требует развития автодидактики, умения читать, изучать, мыслить самостоятельно.

Будем же достойными той большой задачи, какой требует от нас наша эпоха и наша великая профессия!

1959

ВОСПОМИНАНИЯ О СЕРГЕЕ ВАСИЛЬЕВИЧЕ РАХМАНИНОВЕ

I

Прежде чем рассказать о встрече и дружбе с Рахманиновым, длившейся пять лет (с февраля 1912 года по июнь 1917 года), я должна познакомить читателя с той особенной обстановкой, которая подготовила и определила весь не совсем обычный характер этой дружбы. В той среде, где я выросла и вращалась с 1910 года, на музыку не смотрели только как на изолированный «вид искусства», которым одни занимаются профессионально, а другие в определенные дни и часы наполняют свой досуг. Мы считали музыку неотъемлемой составной частью всей культуры, причем такое понимание музыки росло и углублялось у нас с каждым возрастом. В детстве оно выражалось в том, что в школе музыка была предметом *обязательным*, а в семье мы ее постоянно слышали, так как в знакомых мне интеллигентских городских семьях последних лет XIX века и первых XX всегда кто-нибудь играл на рояле или на скрипке и «музицировал» по вечерам вместе с гостями, тоже игравшими и приносившими свои инструменты. Мать моя была хорошей пианисткой, тетка — отличной певицей, учившейся у известного преподавателя пения, итальянца Джиральдони, а сестра, кузины и кузены все обучались игре на каком-нибудь инструменте. Средняя школа развила этот постоянный интерес к музыке.

Московская гимназия Л. Ф. Ржевской, в которой мы с сестрой до восьмого класса были «пансионерками» (при гимназии был интернат), славилась своей постановкой музыкального образования. Те из учащихся, кто не жил в интернате, а лишь приходил на дневные уроки, посещали только класс хорового пения с обязательным чтением нот. Для нас же, пансионерок, рабочий день в три часа не кончался, и среди прочих обязанностей мы должны были довольно серьезно учиться и музыке, начиная с игры на фортепьяно и кончая уроками по теории и гармонии с решением задачек по композиции. Как сейчас помню вечерние коридоры нашей гимназии, скудновато освещенные (электричество тогда еще не вошло в обиход), и однообразные звуки нескончаемых гамм и арпеджий, несшиеся из «музыкальной комнаты». Каждая из нас имела свой час для «упражнения» и ревниво сторожила его, чтоб никто не «зажилил» лишние пять минут. Хоровое пение преподавал у нас,— тогда еще совсем молодой,— Михаил Акимович Слонов, друг Рахманинова по консерватории. Красивый брюнет с отпущенной по тогдашней моде мягкой бородкой, с блестящими темными глазами, страстно любивший музыку, он не только учил нас пению, но и беседовал с нами о новых русских операх, принимал живое участие в наших больших гимназических вечерах, посвященных русским классикам,— так, участвовал в вечере-концерте памяти Глеба Успенского; организовал большой платный спектакль «в пользу недостаточных учащихся» (так называли тех, кто не мог внести плату за право учения). Этот спектакль попал даже в газеты. Под руководством Слонова мы разучили «Снегурочку» Чайковского и всю ее отлично сыграли в написанных нами же декорациях, силами старших учениц, обладавших голосами, и нашего соединенного хора. С той поры наизусть помню и хоровую песню:

У нас с гор потó-оки,
Заиграй в овра-ажки,
Весна-красна,
Наша матушка пришла,—
Наша матушка пришла...

И хоровую скороговорку:

Масленица-мокрохвостка,
Уезжай скорей со дво-ра!

И сольные номера, так свежо исполнявшиеся восьмиклассницами...

Классом фортепьяно руководил у нас один из лучших московских педагогов, великолепный музыкант, профессор Адольф Адольфович Ярошевский. Он, правда, занимался только с самыми талантливыми, но экзаменовал всех. Одним из учителей, ведших класс фортепьяно, был Г. И. Шаборкин. На все сколько-нибудь поучительные для нас концерты нам доставали бесплатные билеты, и мы отправлялись парами, в праздничных формах, во главе с нашей воспитательницей, балтийской немкой, в тогдашнее «Благородное собрание», а сейчас «Дом Союзов», но не в концертный зал, а в «артистическую», большую комнату, где сейчас обычно собираются до начала вечера члены президиума; там, на мягких красных диванах, мы размещались чинно и слушали концерт в непосредственной близости от эстрады. Если же концерт происходил в Консерватории, то нам частенько ставилось несколько рядов стульев прямо на эстраде. Так, еще девочкой, я несколько раз в непосредственной близости слушала и Рахманинова, и виолончелиста Пабло Казальса, и пианиста Иосифа Гофмана, и дирижера Артура Никиша... Наши воспитательницы (немка Метцлер, француженка Луиза Муше) сами были не только музыкальны, но и музыкально образованны, вели с нами по вечерам, когда мы выучивали уроки, задушевные беседы о жизни крупных композиторов, о влиянии музыки на характер, выравнивании ею острых сторон характера, животворном действии на здоровье и нервы. Луиза Муше, родом швейцарка из Женевы, рассказывала нам о швейцарском народном празднике виноградарей (Fête des Vignerons), пела народные швейцарские песенки, посвященные сельскому труду, и часто говаривала, что в музыкальном отношении народ всегда был культурнее интеллигенции: «Он давно ввел музыку в свой быт, общественный и семейный, и она облагораживает характер крестьян, делает его общительным, а интеллигенции нужно еще учиться этой роли музыки в жизни, особенно в России, где только еще начинают вводить музыку в школьное образование и бесплатные дневные симфонические концерты на курортах...» Когда мы спрашивали ее, в чем же выражается это влияние музыки на характер, она приводила бесчисленные рассказы о том, как дейст-

вует музыка на животных,— на змею, кошку, лошадь в цирке, и объясняла: «Древние греки считали ритм божественным, а разные дикие народы видят в нем колдовство и волшебство,— так удивительно действует ритм на все живое. А кроме ритма в музыке есть еще и мелодия и гармония,— они настраивают, возвышают, успокаивают душу, соединяют людей в одном действии, в одном настроении,— а действовать вместе гораздо легче, чем порознь, и гораздо важнее для культуры, которую нельзя построить усилиями одиночек, а только совместным трудом миллионов». Не все ее речи доходили в те годы до нашего сознания, но они составляли резервный фонд нашего воспитания, западали, подчас бессознательно, в душу, наслаивались на другие поучительные, услышанные речи,— и впоследствии неожиданно возникали вдруг в памяти во всей их ясной осмысленной глубине. Много лет спустя, кажется еще до первой империалистической войны, все газеты обежало страшное сообщение о гибели огромного океанского парохода «Титаник». Немногие из спасшихся рассказывали потом о разных трогательных и страшных сценах гибели отдельных людей, и это было напечатано в газетах. Лодок было мало, их хватило в минуту катастрофы только для женщин и детей. Большой оркестр, обслуживавший на пароходе богатую публику, не мог рассчитывать ни на лодки, ни на спасательные пояса. Оркестранты знали, что им не суждено спастись, и они вышли со своими инструментами на палубу. Если б они отдались думам о близких, каждый пережил бы свою страшную гибель в одиночку, может быть в бессмысленной предсмертной борьбе со стихией, в безумии. Но оркестранты, не сговариваясь, вынули свои инструменты, сели, как рассаживались всегда в оркестре, заиграли бетховенскую симфонию, столько раз игранную ими раньше, и под бессмертные звуки ее, слаженно, совместно, торжественно, помня и исполняя каждый свою партию, но слыша и слушая целое, уходили они из жизни с удивительным, высоким спокойствием, не переставая играть, покуда волны не дошли до инструментов и не затонула медленно опускавшаяся в воду палуба. Нельзя было читать этот рассказ без слез. И когда я впервые прочла его, передо мной вдруг сразу встала в памяти моя «мадмуазель Муше» из далекого детства, и ее речи о воспитывающем действии музыки, о вели-

ком уроке совместного действия, которому она учит людей...

В студенческие годы — из «обязательного» предмета образования и воспитания, музыка уже превратилась для нас в потребность.

Получив в школе знание музыкального языка и умение следить за логикой его развития; воспитав в себе слух и вкус к музыке,— мы просто уже не могли обходиться без нее, следили за симфоническими концертами, за новинками с партитурой в руках, старались не пропустить ни одного крупного заезжего исполнителя, хорошо понимали и горячо обсуждали особенности и характер исполнения у разных пианистов и дирижеров, спорили о направлениях в музыке. Эта потребность молодежи в музыке учитывалась и устроителями концертов, выделявшими для студентов дешевые места. Такие места стоили обычно пятьдесят копеек (студент мог дважды скромно пообедать на эту сумму или один раз — в хорошем ресторане),— и были они «стоячими». Нужно было по-настоящему очень сильно любить музыку, чтоб ради нее отказываться подчас от обеда,— и в течение трех часов, не присаживаясь, стоять. Чаще всего стояли мы так, слушая очередной концерт, «за колоннами» белого зала тогдашнего «Благородного собрания».

Когда же кончилась студенческая пора и наступила зрелость, связанная с профессиональной работой, участием в общественной жизни и т. д., музыка из «обязательного предмета» в школе, «потребности» в студенческие годы превратилась для нас в *проблему культуры*, которую мы обсуждали философски уже не в отдельных ее проявлениях (тот или иной композитор, то или иное исполнение), а в самом ее существе, в связи ее с эпохой, с миросозерцаньем, с основными вопросами жизни и смерти. Разумеется, происходило это среди людей, более или менее близких к областям литературным и художественным.

Помню, как в узком кругу, где я тогда вращалась, мы часто устраивали множество всяких докладов, чтений, сообщений на темы вроде, например, следующих: «Мелос, как рождение звуко-слова», «Распад музыкального мышления, как симптом гибели культуры», «Организующая роль музыки», «Логос и мелос» и тому подобное. Такие доклады не были отвлеченными. Часто они поко-

ились на очень близких, современных примерах, строились на всевозможных аналогиях, затрагивающих политику. Еще будучи студенткой, я слышала в одном доме доклад «Коллектив и толпа», сделанный молоденьким студентом философского факультета, и он мне настолько понравился, что весь ход рассуждений в нем я могла бы пересказать и сейчас. Строился он главным образом на аналогии человеческого коллектива с оркестром, где каждый дает и укрепляет свое, потому что участвует в организованном целом; и на аналогии толпы с беспорядочным и случайным потоком звуков, где каждый тоже дает, но тотчас теряет свое и заглушается, потому что участвует в неорганизованном целом. Мой собственный опыт, пережитый еще в раннем детстве, целиком подтверждал это. Я уже рассказала о нем в своей книге «Путешествие в Веймар» и здесь упомяну лишь коротко. Первый и второй «приготовительные классы» мы с сестрой, в возрасте 7 и 8 лет, прошли во французском пансионе Констан-Дюмушель, в том величественном особняке со львами на Швивой горке, который и сейчас стоит в Москве. Там был свой оркестр из пансионерок, а меня, как самую маленькую, посадили за барабан. Вначале я страшно боялась, сидела, зажмурившись, и била в свой барабан как попало. Дирижер сердился, прерывал нас и кричал на меня: «Вы не одна! Следите за счетом! Ставьте удар на его место, где ему надлежит быть!» Значит, в этом океане звуков, каким мне казался оркестр,— мои удары на авось были слышны! Тогда я собралась с духом, стала считать и глядеть на ноты и вдруг — почувствовала место своего удара! Когда навстречу мне мягко вздымалась теплая волна скрипичных, а я осаждала ее своим тяжелым и глубоким «бум-бум», — словно густые зыби музыки расходились вокруг моего барабана. И поняв свое место в целом, я начала слышать и любить это целое, начала понимать надобность в нем и моего смешного пузатого инструмента. С тех пор это чувство важности работы в коллективе никогда не покидало меня... Но вернусь к студенту-докладчику. Подходившая к музыке, подобно ему, как к силе организующей, устрояющей, воспитывающей, я считала ее «хранительницей культуры», а данное состояние музыки — показателем здоровья или неблагополучия культуры в целом, показателем борьбы различных начал в ней,— ясных, созидательных, муже-

ственных начал добра и разума (Бах, Гайдн, Гендель, Моцарт, Бетховен, Глинка) — и разрушительных, стихийных, разнуздывающих, только сексуалистических, лишающих внутренней чистоты и благородства (кое-кто из так называемых модернистов в музыке). Для тех, кто мыслил одинаково со мной,— даже Вагнер стоял в те годы под знаком вопроса,— с него (нам казалось) началось «расковывание стихий музыки». Но Вагнеру мы прощали многое за его участие в революции. Мы не принимали безоговорочно и всей той борьбы, какую вела в семидесятых и восьмидесятых годах «могучая кучка», борьбы, отзвуки которой еще звучали в девяностых годах, а преображенно чувствовались и в девятисотых.

Своеобразно относились мы к Чайковскому. Близкие по времени явленья культуры, отошедшие лишь на небольшую дистанцию, всегда судятся не совсем справедливо и понимаются хуже, чем когда отойдут они на более внушительное расстояние. Помню, мои товарищи по философскому факультету, который я тогда только что кончила, ставили Чайковскому в минус как раз его «артистизм», то есть замечательное качество: профессиональную преданность музыканта музыке, умение во всем различить стоящее и отделить его от преходящего и малоценного, его терпимость, толерантность к чуждым ему композиторам; осуждали меланхоличность и пессимизм, отсутствие в нем «широкой философии», «мировоззрительного начала», которое он защищал бы как борец. Правда, вспоминая о споре его с Цезарем Кюи, пропагандистом «могучей кучки» (далеком споре семидесятых годов),— мы были больше на стороне Чайковского, и утвержденья Кюи о том, что классики «скучны» и что многое в них «устарело», слушать их современнику «просто ненужно и тяжело» и т. д. считали глупостью и узостью его музыкального мышления. Но голый артистизм, понашему, также не мог быть «идейной платформой», и с этой точки зрения преимуществом «кучкистов» было наличие своей платформы, а недостатком Чайковского — отсутствие ее. Мы в те годы (1908—1910) еще не понимали, насколько связаны были кучкисты с политическим расцветом шестидесятых годов, повлиявшим и на семидесятые годы, и насколько симпатии русского общества к движению за реализм в музыке, в живописи, в литературе были выраженьем общего революционного на-

строения передовых кругов. Если начинались споры и в них упоминалось о «движении за реализм» в его связи с общим освободительным движением,— у нас, бывало, спорили о том, что́ и как принимать за реализм, говорили о реализме «ограниченном», «сусальном», замыкающемся в узкодомашнем понимании народного начала, и противопоставляли ему реализм человеческий, могучий, перерастающий крышу родного дома на десятки саженей, как дуб, как секвойя,— реализм Бетховена, Шекспира, Гете, Пушкина. У нас было и свое понимание Глинки, которое мы яростно отстаивали,— величие Глинки заключалось, по-нашему, в том, что он приобщил русский народный мелос к вершинам европейского развития музыки, дал зазвучать народной русской песне в классических формах, отвоеванных мировыми мастерами музыки. И мы нападали на узких толкователей Глинки, замыкавших его значенье лишь в четырех стенах национальной музыки, целиком выросшей из народной песни. «Тогда он остался бы Верстовским, Варламовым, а не вырос бы в Глинку»,— кричали мы в ответ «узким националистам».

Эта страстная потребность философствовать, превращать явления искусства в общие явления всей мировой культуры была искони русской особенностью. Глубоко не правы (и делают вредное дело, по-моему) такие составители у нас различных сборников, которые подбирают и освещают свой материал лишь под однобоким, узким углом зрения «борьбы за национальное» или за «народное», очень односторонне понимая это последнее именно как национальное и только. Это противоречит всему историческому духовному облику русского человека, всему характеру развития русской общественной мысли, всегда, с глубочайшей страстностью, ставившей перед собой общечеловеческие, мировые цели, охваченной общечеловеческими интересами, имевшей перед собой благо не одного своего народа, но и всего человечества. Во всяком случае, многие из нас, тогдашних студентов, отлично понимали, что в Героической симфонии Бетховена, в сильнейших вещах русской классики — в тысячу раз больше революционного, передового, идущего в ногу с пробуждающимся человечеством, нежели в мнимореволюционных потугах музыкальных модернистов.

Вот такой широкий общефилософский подход к музыке, как к явлению всей культуры в целом, определил и отношение молодежи десятых годов нашего века к Сергею Васильевичу Рахманинову.

II

В десятых годах в русской музыке было три больших имени: Александр Николаевич Скрябин, Николай Карлович Метнер и Сергей Васильевич Рахманинов. Музыка Скрябина уже тогда была подхвачена теософскими, антропософскими, декадентскими кругами. Музыка Метнера продолжала классические традиции Бетховена, Брамса, соединяя германизм со славянским началом. Музыка Рахманинова, развивавшаяся в русле русской национальной классики, лиризмом своим смыкалась с Чайковским, но ей присуща была своя особая, холерическая мужественность, которую мы, подыскивая подходящие слова, звали «смуглой краской рахманиновской». У каждого из этих больших музыкантов была своя «критика» и при том более или менее постоянная. Скрябин усердно пояснялся и пропагандировался его фанатичным приверженцем, Л. Л. Сабанеевым,— и это была пропаганда «направления», то есть в лице музыканта Скрябина Сабанеев защищал, выдвигал, проповедовал определенную систему идей, которую его музыка выражала. Метнер не был у критиков в чести; почти каждый из них и в каждой рецензии так или иначе задевал его за мнимую «сухость». Это настойчивое упоминание о сухости, «книжности», научности, традиционности, отсутствии эмоционального, душевного начала — при постоянном изъявлении холодного уважения к Метнеру — было просто непонятным для многих из нас, хорошо знавших и любивших музыку Метнера. Ведь стоило только представить себе гениально-певучее начало знаменитой fis dur-ной сонаты, чтоб очутиться в царстве мелодичнейшей лирики, берущей за душу, и пресловутое обвинение в «сухости» разлетелось бы в прах.

Но Метнер, хоть и ранимый постоянно критикой, все же рассматривался ею как представитель определенного идейного направления. Рахманинова поднимал на щит

критик Сахновский, однако же понимал так, что, помимо своей воли, вселял к музыке Рахманинова какое-то неуважение, мерил ее слишком куцым аршином дешевых восклицательных определений. Я уже писала об отношении к музыке вообще, какое складывалось в определенных кругах Москвы. Скажу теперь о другом, более профессиональном отношении, характерном для такого же узкого круга ценителей, но противоположного толка. В этих, близких модернизму (литературному, художественному, музыкальному) кругах высшим критерием искусства была степень его формальной новизны. Все, что не носило в себе элементов такой «новизны вообще», новизны во что бы то ни стало, непохожести на прежнее, на старое,— тотчас получало кличку «эклектики».

Критерий обязательной формальной оригинальности, как таковой, не историчен и очень опасен для художника. Изменяется жизнь, растет общество, меняются его интересы и потребности, цели и трудности,— и сын своего века, художник, стремясь говорить с народом о том, чем в данный миг живет общество, ищет средств для выражения этой, глубоко нужной и ему самому, и его обществу темы времени; тогда язык музыки (подобно языку литературы) меняется и обновляется сам, не только поисками и талантом творца, но и под воздействием на него всей силы совершающихся общественных перемен. Так родится подлинное искусство. Но вот наступают как будто эпохи «застоя», которые так хорошо называются «безвременьем». Душно, как перед грозой, время кажется остановившимся, внеисторичным. В воздухе, в настроенье общества — ожиданье, страстная потребность, чтоб произошло что-нибудь, чтоб ритм времени снова стал ощутимым. Люди искусства, интеллигенция становятся неврастениками, болеют глубоким внутренним кризисом, пытаются найти помощь у таких же больных и сомневающихся, как они. Для интеллигенции, оторванной от народа,— это эпоха усиленного личного общения, интенсивной переписки подчас незнакомых лично людей. И в это время, отрываясь от глубокой жизни народа, от темы истории, критерием искусства становится требованье новизны формы, новизны во что бы то ни стало, той оригинальности оболочки, которая будоражила бы, ошеломляла человеческое восприятие, заставляя думать,

что тут скрыто большое, нужное, новое содержанье, в которое можно верить, за которым можно идти. Обычный, повторный язык искусства, продолжающий развиваться в традиционных и, как это кажется, исторически уже исчерпанных формах, начинает набивать оскомину и наживает себе ярлык «эклектического»,— самое страшное для художника обвиненье.

О Рахманинове можно было в десятых годах часто слышать: «Ну,— он гениальный исполнитель, а как композитор — он эклектик». До самого Рахманинова это, конечно, доходило. Москва была тогда очень маленькая, до того маленькая, что и представить сейчас трудно. Дом «Благородного собрания», на наших глазах как бы приземлившийся и ставший крошкой, казался тогда великаном на фоне узкого горлышка Тверской улицы, выходившей к небольшой Иверской часовне, от которой тянулись лавочки Охотного ряда. И еще потому Москва была маленькая, что небольшой круг людей,— публика, бывавшая на концертах, на выставках, в партере театров,— был почти неизменен, очень ограничен числом, все знали друг друга, знали вкус и возможное мнение каждого, и такое словечко, как «эклектик», не могло не обежать всю эту, ограниченную числом, группу людей. Входившие в нее москвичи, быть может и бессознательно для них, считали себя «солью земли», обществом, которое представляет собой Россию, делает ее историю. Побыв в их среде, вы медленно обволакивались этой самоуверенностью, проникались чувством «безвременья», теряли представленье о том, что творится за стенами концертных залов и особнячков разных обществ — «Психологического», «Философского», «Литературно-художественного кружка», «Общества эстетики», «Религиозно-философского», «Дома Песни» и т. д. и т. п., а если газеты вдруг доносили до вас раскаты грома народных восстаний, то вам это казалось делом «второго плана», а на переднем плане действовал и духовно руководил узкий круг избранных. Между тем это были годы величавых предгрозовых зарниц революции. В апреле 1912 года раздались страшные Ленские выстрелы, прозвучал в Государственной думе черносотенный лозунг министра Макарова: «Так было, так будет!», а в ответ на десятках предприятий бастовали рабочие и в разных местах России восставшие крестьяне жгли хутора и именья. Это были годы легаль-

ного выхода большевистской «Правды»,— хотя ее маленькие, драгоценные страницы не доходили до наших кругов. Но голос смелых большевиков — депутатов IV Государственной думы доходил и до нас через газеты, а безработных, выбрасываемых тысячами с предприятий, мы видели собственными глазами на улицах. Студенческая молодежь участвовала во многих денежных сборах для них и немало гордилась оказанным ей доверием. К нам приходили неведомые люди — «товарищи товарищей наших товарищей», шепотом рассказывали, как и что надо делать, снабжали бланком с печатью, куда надо было вписывать фамилию и сумму, полученную от жертвователя, и мы собирали в помощь бастующим довольно крупные деньги у самых разных, мало подходящих для этого москвичей, чувствуя, что одни в душе не против помочь, другие боятся не помочь, третьих надо припугнуть, чтоб раскошелились. Сейчас, оглядываясь на далекое прошлое, думаю, что при всем политическом невежестве, мы, в сущности, отражали на себе, в узком своем кругу, медленный революционный подъем, нараставший в те годы, но только он принимал у нас особый характер борьбы за «здоровое» искусство. Быть может, именно этим неосознанным революционным подъемом и было вызвано мое отношение к Рахманинову и его музыке.

Рахманинов находился в те годы в зените своей славы. Концерты его каждый раз сопровождались потрясающими овациями, многие «рахманисты» ездили за ним из города в город, чтоб присутствовать на этих концертах. Публика часто до глубокой ночи сторожила его у подъезда, не давая ему выйти, а из большой черной наемной кареты, увозившей обычно Рахманинова домой, очень часто приходилось, с помощью городовых, вытаскивать забившихся в нее фанатичных поклонниц. Казалось бы, именно Рахманинову из трех крупнейших композиторов тех лет выпало наибольшее счастье, наибольшее народное признанье. А между тем с самим Сергеем Васильевичем творилось что-то странное. Как раз в те годы полного внешнего успеха и благополучия он был тяжко раним отношением к себе профессиональных кругов, сомневался в собственном творческом даре, болел тем состоянием души, которое сейчас необыкновенно модно на Западе и которое англичане зовут «inferiority com-

plex» — комплексом собственной неполноценности. Он один как будто стоял «вне направления», не говорил «нового слова», писал как «эклектик», как эпигон.

За колоннами, где всегда все знали о любимых музыкантах, можно было услышать разговоры о тяжелом состоянии Рахманинова. Внешний вид его никогда не обманывал молодежь. Несмотря на его «западноевропейскую» внешность, крайнюю подтянутость, застегнутость, сдержанность, даже высокомерие, усугубленное очень высоким ростом, заставлявшим его глядеть на собеседника сверху вниз, мы всегда чувствовали в нем русского, насквозь русского человека. Стройный, гладко остриженный и выбритый, Рахманинов не обманывал молодежь ни своей внешней сдержанностью, ни холодом очень красивого, породистого лица, ни насмешливостью, всегда присущей ему,— мы угадывали по каким-то неуловимым черточкам, по внезапной сутулинке его плеч, по взгляду, брошенному в зал, по — даже и не сказать, по каким признакам острые глаза молодежи высматривают все в человеке и сквозь человека,— мы угадывали, что ему тяжело, что он устал, не знает как и что дальше.

Подруги мои по гимназии Ржевской, особенно близкие,— Е. П. Вельяшева (сейчас музыкальный педагог), Л. К. Лепинь (сейчас профессор химии в Риге),— учились в консерватории и отлично играли. Друзья по философскому факультету тоже выдались музыкальные, у многих дома были рояли (и даже два, для игры оркестровых переложений на двух), мы часто после семинаров по философии собирались друг у друга и до утра иной раз философствовали о музыке. Помню, тогда я впервые услышала о трагическом неуспехе Первой симфонии Рахманинова и разного рода объяснения этого неуспеха. Подходили мы к нему совсем не так, как нынче, когда многое открылось благодаря публикациям писем сестер Скалон, воспоминаний современников, восстановлению партитуры симфонии и ее исполнению.

В ту пору она уже не исполнялась, лишь «старики»,— отцы моих друзей — могли рассказать о ней (в год ее исполнения мне самой было только девять лет), и хотя среди них кое-кто и слышал это первое исполнение, но помню — ни разу не объяснил неуспеха плохим дирижированьем Глазунова. Больше того, мне запомнилось

обратное сужденье человека, в основном к Рахманинову благожелательного; он как-то сказал: «Это еще хорошо, что Рахманинов дирижировал не сам. Возьмись он сам за дирижерскую палочку — нервный шок от провала был бы для него гораздо сильнее».

От рассказов очевидцев, пытавшихся нам по памяти как-то восстановить содержание симфонии и ее музыкальные особенности, у меня создалось представленье, что молодой Рахманинов в этой вещи поставил перед собой проблему новаторства, но не органически, не силясь выразить в ней голос своего времени, его стремлений и поисков выхода,— а лишь поддавшись внешнему «веянию» времени, требовавшего новизны, и влиянию собственных вагнеровских настроений, а поэтому и запутался в формальной новизне при аморфности содержанья. Конечно, нет ничего нелепее, как судить о музыке, слыша лишь отдельные отрывки из нее, подобранные по памяти, да передачу словами общего впечатления о ней. Но так велико было тогда наше убежденье в аморфности содержания этой симфонии при избытке формализма в ней, что оно, вероятно, сделало меня предвзятой. Когда спустя пятьдесят лет пришлось впервые услышать ее под управлением такого замечательного дирижера, как Курт Зандерлинг, у меня все же не получилось цельного впечатления. Слушалась она как-то обрывисто, кусок за куском, утомила и не убедила. Это не тот Рахманинов, который вошел в историю музыки! Но как хотелось бы,— из любви к его дорогой памяти,— ошибиться в этом!..

Продолжаю свой рассказ. По тогдашнему нашему убеждению болезнь пришла к Рахманинову не от провала симфонии, даже не от собственного разочарования в ней, а от внезапной утраты пути в будущее, то есть от потери веры в себя как *новатора*. Понятно, каким убийственным должен был быть для него этот, прилепившийся к нему, страшный для него, окончательно подрывавший его силы, несправедливый и лживый ярлык «эклектика» и «эпигона», и хвалебные статьи Сахновского, подчеркивавшие безвыходную грусть его музыки. Еще не понимая целиком всей трагедии Рахманинова, но уже чувствуя ее инстинктом, я шла после всех этих философских споров к Лепинь или к Вельяшевой, и ночь заканчивалась для нас игрою ими в четыре руки Второго фортепьянного концерта Рахманинова.

После западничества наших тогдашних модернистов концерт Рахманинова производил в слушателях освежающую разрядку. До сих пор помню двойное ощущенье, с каким всякий раз я переживала этот концерт в исполнении его самим Рахманиновым. Повесть в звуках об историческом перепутье, о чеховском безвольном интеллигенте, который тоскует по действию, по определенности и не умеет найти исхода внутренним силам. Впрочем, исход во Втором концерте есть, он в великой, сердечной человечности, в той любви к прекрасному в человеке, которая и движет исторической борьбой за лучшую жизнь для него. Это мы слышали, когда сами играли Второй концерт, пишу «мы играли» — потому что, покуда играли подруги, все мы участвовали в их игре, читая страницу глазами, чтоб перевернуть ее, впитывая разворачивающуюся широкую мелодию из первой части и подпевая ей найденными неизвестно откуда, словно напросившимися на эту музыку, словами: «Мою любовь, широкую, как море, вместить не могут жизни берега...»

Такое излияние красоты и правды — и такой душевный мрак музыканта! Мудрено ли, что захотелось написать Рахманинову, помочь ему, донести до него это отношение к нему молодежи, веру в него,— живого, нужного для подлинной русской культуры.

Был февраль 1912 года. Москву не очищали от снега. Зима приглушала всякий уличный шум, стены домов не испытывали городской дрожи,— полная, глубокая, ватная тишина окутывала московские ночи. Снег густо лежал на мостовой, на крышах, на карнизах; бульвары стояли в серебре, по снегу мягко скользили бесчисленные извозчичьи сани, автомобили были редчайшей редкостью. В феврале мела вьюга, мела так, что иной раз пешеход в центре города чувствовал себя потерянным, одиноким, унесенным куда-то в старинные классические русские пространства, в пушкинскую «метель». Тогда именно ходил по переулкам Арбата и Пречистенки молодой Андрей Белый, писавший свою «Четвертую симфонию» о московской метели. Через месяц исполнялось пятнадцать лет со дня провала Первой симфонии Рахманинова, которая дирижировалась Глазуновым 15 марта 1897 года в Петербурге. И как тогда,— словно справляя страшный юбилей,— Рахманинов выехал в Петербург, где он

должен был дирижировать оперой «Пиковая дама» в Мариинском театре.

Мог ли он не вспомнить в Петербурге своего провала? Не отразится ли на нем это воспоминанье, усилив его болезнь, сделав его еще более сомневающимся в себе?

Именно тогда, в февральский метельный вечер, я и решилась написать и послать письмо ему вдогонку в Петербург, вложив в это письмо всю веру в него, какую мы испытывали. И в чужом городе, занятый концертами, окруженный множеством людей, Рахманинов, видимо, почувствовал эту волну нежности, пробившуюся к нему из Москвы, от московской молодежи, потому что сразу же ответил на письмо — с готовностью беседовать, с удивительной добротой и всегда присущим ему легким, мягким юмором. Я не захотела назваться и подписала свое письмо нотой Re. В квартире, где я жила, все были предупреждены, что если придет письмо, адресованное «Re», то это для меня. Рахманинов обратился ко мне в ответном письме, как к Re,— и потом, до последней встречи нашей в июле 1917 года, всегда и писал и называл меня Re; и, посвятив мне свой романс «Муза», поставил в посвящении Re [1].

III

На каждое письмо Рахманинова, особенно до личного нашего знакомства, то есть до начала декабря 1912 года, приходились десятки моих писем. Я писала ему, вероятно, обо всем, чем жило и дышало тогдашнее русское общество (сейчас уж и сама не помню!), с одной-единственной, поглощавшей все мое отношение к нему, мыслью: дать Рахманинову пережить и понять историческую *нужность* его музыки, прогрессивность ее, в тысячу раз бóльшую, чем все формальные выдумки модернистов, будто бы шедших к далекому будущему человечества и «предвосхищавших» это будущее. Лейтмотивом моих пи-

---

[1] В Лондоне вышла на английском языке книга о Рахманинове, написанная В. Серовым. В этой книге письма Рахманинова ко мне переведены и комментированы местами неверно, и отношения наши, чистые и дружеские, представлены в неверном свете.

сем было то, что когда-то я усваивала в детстве от своих первых учителей: единственный верный критерий музыки, это *характер ее действия на слушателя.* Если она *«устрояет»,* организует, поднимает его душу, возбуждает благородные и мужественные начала в нем, помогает ему бороться с хаосом, со стихийностью, с низменными началами характера, направляет его на большие, исторические свершенья, наконец — гармонизует и соединяет его со всем человечеством, значит — это настоящая музыка, идущая в авангарде своей эпохи. И если, наоборот, она развязывает в человеке его низменное, чувственное, хаотическое, мельчит и разрушает душу, то в какие бы оригинальные одежды ни была обряжена такая музыка,— она реакционна, вредна, противна самой природе того, что греки называли «мелосом». Тщательно отыскивая каждую новую черту и черточку в дарованье Рахманинова, постоянно указывая на его гениальную ритмическую одаренность, создававшую в слушателе безграничное *доверие* к Рахманинову-композитору и исполнителю, доверие, словно он берет вас за руку и ведет и вы знаете, что выведет; наивно разбирая иной раз любимые его вещи (и прежде всего — Второй концерт), чтоб оттенить то, чего не было у Чайковского, чего нет у «кучкистов», что присуще ему одному, как современнику Чехова, Толстого, Левитана и т. д.,— я упорно убеждала его, что он нужный народу творец, обязанный решить историческую задачу, противостать разладу и неразберихе в музыке, мистике и теософии, и восстановить линию развития передовой русской музыкальной культуры.

Каждое мое письмо было для меня самой творчеством,— убеждая его, я училась дальше тому направлению в искусстве, которое ему проповедовала, как его собственное. По ответным письмам я знала, что именно такого отношения и недоставало ему, и если чем-нибудь можно было ему помочь, так именно таким широким взглядом на его роль в русской музыке.

Приведу здесь пятое письмо Рахманинова ко мне,— потому что оно, во-первых, рисует во всей прелести характер и стиль самого Рахманинова; во-вторых, достаточно точно показывает сущность нашей «дружбы в письмах», раскрывая в то же время ребячливую наивность многих моих собственных высказываний; и в-третьих,

хотя оно полно глубокого скептицизма, сомнения в себе самом и в своем будущем,— в нем все же теплится тайная вера в то, что он еще может создать большие вещи.

«Кроме своих детей, музыки и цветов, я люблю еще Вас, милая Re, и Ваши письма. Вас я люблю за то, что Вы умная, интересная и не крайняя (одно из необходимых условий, чтоб мне «понравиться»); а Ваши письма за то, что в них, везде и всюду, я нахожу к себе веру, надежду и любовь: тот бальзам, которым лечу свои раны. Хотя и с некоторой пока робостью и неуверенностью,— но Вы меня удивительно метко описываете и хорошо знаете. Откуда? Не устаю поражаться. Отныне, говоря о себе, могу смело ссылаться на Вас и делать выноски из Ваших писем: авторитетность Ваша тут вне сомнений... Говорю серьезно! Одно только нехорошо! Не уверенная вполне, что рисуемый Вами заглазно портрет, как две капли воды сходен с оригиналом, Вы ищете во мне то, чего нет, и хотите меня видеть таким, каким я, думается, никогда не буду. Моя «преступная душевная смиренность» (письма Re), к сожалению, налицо,— и моя «погибель в обывательщине» (там же) мерещится мне, так же как и Вам, в недалеком будущем. Все это правда! И правда эта оттого, что я в себя не верю. Научите меня в себя верить, милая Re! Хоть наполовину так, как Вы в меня верите. Если я когда-нибудь в себя верил, то давно, очень давно — в молодости! (Тогда, кстати, и «лохматый» был: тип, несомненно, более предпочитаемый Вами, чем... Немирович-Данченко, что ли, которого ни Вы, ни я не любим и пристрастие к которому Вы мне ошибочно приписываете.) Недаром за все эти двадцать лет моим, почти единственным, доктором были: гипнотизер Даль да две мои двоюродные сестры (на одной из которых десять лет назад женился и которых также очень люблю и прошу пристегнуть к списку). Все эти лица или, лучше сказать, доктора учили меня только одному: мужаться и верить. Временами это мне и удавалось. Но болезнь сидит во мне прочно, а с годами и развивается, пожалуй, все глубже. Не мудрено, если через некоторое время решусь совсем бросить сочинять и сделаюсь либо присяжным пианистом, либо дирижером, или сельским хозяином, а то, может, еще автомобилистом... Вчера мне пришло в голову, что то, что Вы желали бы во мне видеть,

имеется у Вас сполна под рукой, налицо, в другом субъекте — Метнере[1]. Описывая его так же метко, как меня, Вы желаете мне привить все *ему* присущее... Недаром в каждом письме половина места уделена ему и недаром Вы бы меня желали видеть именно в его, в их обществе, в этом «святом месте, где спорят, отстаивают, исповедуют и отвергают» (письма Re). Не там ли увижу я и «теперешнюю молодежь, легко владеющую стихом, и, увы, безмерно далекую от истинной поэзии» (письма Re). Это «лохматые», наверно! Хорошо еще, что центральная фигура, объект, выбрана на этот раз удачно. Действительно, сам Метнер не тот «лохматый», каким бы Вы желали меня, в крайности, видеть. И никакого предубеждения у меня против него нет. Наоборот! Я его очень люблю, очень уважаю и, говоря чистосердечно (как, впрочем, и всегда с Вами), считаю его самым талантливым из всех современных композиторов. Один из тех редких людей, — как музыкант и человек,— которые выигрывают тем более, чем ближе к ним подходишь. Удел немногих! И да благо ему будет. Но то Метнер: молодой, здоровый, бодрый, сильный, с оружием — лирой в руках. А я душевнобольной, милая Re, и считаю себя безоружным, да уж и достаточно старым. Если у меня что есть хорошего, то уже вряд ли впереди... Что же касается *общества* Метнера, то бог с ним. Я их всех боюсь («преступная робость и трусость»! письма Re) и предпочту «этой гуще подлинного искусства» (там же) Ваши письма... И зачем я Вам все это пишу, милая Re? «Наедине с своей душой» я недоволен содержанием этого письма.

В заключение несколько слов другого порядка. Всегда внимательный к Вашим словам и просьбам, пишу это письмо «сонным, весенним вечером». Вероятно, этот «сонный вечер» причиной тому, что написал такое непозволительное письмо, которое прошу Вас скорее забыть... Окна закрыты. Холодно, милая Re! Но зато лампа, согласно Вашей программе, стоит на столе и горит. Из-за холодов те жуки, которых Вы любите, но которых я терпеть не могу и боюсь,— еще, слава богу, не народились. На окна у меня надеты большие деревянные ставни, запираемые железными болтами. По вечерам, и ночью — мне так покойнее. У меня и тут все та же преступная,

[1] Речь идет о Николае Метнере.

конечно, «робость и трусость». Всего боюсь: мышей, крыс, жуков, быков, разбойников, боюсь, когда сильный ветер дует и воет в трубах, когда дождевые капли ударяют по окнам; боюсь темноты и т. д. Не люблю старые чердаки и готов даже допустить, что домовые водятся (Вы и этим всем интересуетесь!), иначе трудно понять, чего же я боюсь даже днем, когда остаюсь один в доме... «Ивановка» — старинное имение, принадлежащее моей жене. Я считаю его своим, родным — так как я живу здесь 23 года. Именно здесь давно, когда я был еще совсем молод, мне хорошо работалось... Впрочем, это «старая погудка». Что же Вам еще сказать? Лучше ничего. Покойной ночи, милая Re! Будьте здоровы и постарайтесь вылечить также меня... Я Вам, теперь, не скоро, вероятно, напишу.

С. Р.[1]

8 мая 1912

В этом письме читатель видит, что, борясь за Рахманинова, я начала прибегать к имени Николая Карловича Метнера и что сам Рахманинов признал его в письме «самым талантливым из всех современных композиторов». Музыку Метнера я знала, конечно, уже давно, а с семьей Метнеров познакомилась в том же 1912 году. Еще до своего первого письма Сергею Васильевичу я решила написать большую статью о нем и примерно к концу марта набросала на нескольких страничках тезисы этой статьи. Они-то и привели меня в дом Метнеров.

На Пречистенском (сейчас Гоголевском) бульваре, по правую руку, если идти от Арбатской площади, пятьдесят лет назад стоял особнячок в глубине двора,— он и сейчас стоит; и в этом особнячке находилась редакция довольно непопулярного и не особенно широкоизвестного в те годы издательства «Мусагет». Это название,— «водитель муз»,— представляло собой одно из определений бога искусства, Аполлона, и выбрано было отчасти как знамя. Против декадентства и его эклектики; против

---

[1] Впервые опубликовано в «Новом мире» № 4, 1943, стр. 106; вторично: С. В. Рахманинов, Письма. Государственный центральный музей музыкальной культуры имени М. И. Глинки, Музгиз, Москва, 1955, стр. 424—426.

стихийной разнузданности в живописи, в поэзии, в музыке; против теософии, антропософии и всякого рода суррогатов религии; словом, против всего того, что именно в те годы широко распространилось в обществе,— это издательство выдвинуло свой лозунг, правда тоже очень узкий и тоже аполитичный, но до известной меры представлявший собой противоядие декадентству: лозунг солнечного Аполлона,— гетеанской, почвенной, опирающейся на лучшие образцы искусства, всесторонней культуры. При «Мусагете» выходил и свой журнал, называвшийся именем древней поэмы Гесиода «Труды и дни». Беллетристика в нем совершенно не печаталась, зато в изобилии принимались самые разнообразные высказывания на самые разнообразные темы. Авторы ни в чем не стеснялись редакцией, кроме одного требования: стоять на почве гетеанского понимания культуры, за утверждающее начало в ней против упадочничества, стихийности и каких бы то ни было суррогатов. Имено эта трезвая струя в высокоэрудированной оболочке и, как я уже знала,— отрицательное отношение редактора, Эмилия Карловича Метнера, к модернизму — и придали мне смелости понести туда мои тезисы.

Я была еще очень молода и казалась в ту пору гораздо моложе своих двадцати четырех лет, хотя и пережила уже тяжелую для меня дружбу и разрыв с Мережковскими, ради которых ездила три зимы подряд (1909—1911) в Петербург. Помню, совсем по-детски повязала я мои «тезисы» красным шелковым шнурочком и стала дожидаться в приемной редакции, пока уйдет последний посетитель, чтоб переговорить с редактором с глазу на глаз Мне его описывали как «злющего немца», крайне аккуратного и привередливого человека, и, может быть, в надежде задобрить его я и пустила в ход красный шнурочек.

И вот секретарь А. М. Кожебаткин с мефистофельской улыбочкой на лице проводил последнего посетителя и приоткрыл передо мной дверь в кабинет редактора. Пунцовый, московский закат заливал комнату. Кто-то встал из-за стола, кому-то я протянула тезисы, наступило долгое молчание, покуда перелистывались мои странички,— и, наконец, я очутилась лицом к лицу со «злющим немцем», то есть увидела прямо перед собой человека оригинальной внешности: два зеленых глаза под

прямыми бровями, прямой короткий нос, высокий лоб, удлиненный лысинкой,— каштановые кудри по обе ее стороны, бритый подбородок с ямочкой, тонкие губы аскета, со следами пореза от бритвы над ними,— необычный, не русский голос произнес как-то уж совсем не по-редакторски: «Такой ребенок на вид и столько взрослой самоуверенности в писанье!»

Мы тут же поспорили о Рахманинове. Э. Метнер разделял мою принципиальную позицию, но считал, что я преувеличиваю музыканта. Я защищала Рахманинова яростно, словно предчувствовала, каким насилием над всеми моими взглядами, какой тиранией будет мнение этого странного бритого аскета с лицом не то Лютера, не то Бисмарка,— во всех наших будущих спорах. В конце концов статья была мне заказана, и, возвращая тезисы, Метнер спросил, знаю ли я музыку Николая Карловича, хочу ли познакомиться с ней поближе. Знакомство с семьей Метнеров состоялось очень скоро; я ближе и глубже узнала творчество Н. К. Метнера — в домашней обстановке, где он часто играл свои вещи для друзей и знакомых. Вот откуда и появились упоминанья в моих письмах к Рахманинову о Метнерах. Мне страстно хотелось сблизить Сергея Васильевича с Метнерами, показать ему то, что восхищало меня в этой семье,— глубокую внутреннюю культуру быта, принципиальность во всех сужденьях и отношеньях, максимальное использование времени с пользой для каждого, напоминавшее наш семилетний режим в пансионе Ржевской; наконец полное изгнание всякой пошлости и безделья из распорядка времени. Все это я сама постоянно мечтала создать в своей трудовой жизни, но жизнь эта в ту пору была очень неорганизованной. С сестрой, еще курсисткой, мы ежегодно «нанимали комнату», и в поисках зеленого билетика, вещавшего «здаеца комната», исколесили всю Москву студенческую, Москву глухих переулков и старинных деревянных домов, рабочих и мещанских семей, наглядевшись на самые разные типы,— от пьяной старухи хозяйки, вдовы бельгийца Феррари, жившей в глубине сада, в полуразвалившемся особняке, до подозрительной «мадамы», принимавшей к себе два раза в неделю двоюродного брата и сдававшей лишнюю комнату в мезонине. Обе мы всегда мотались по урокам, знали, что такое чинить ежегодно одну и ту же обувь,

носить по три года одно и то же рабочее платье. Ко времени знакомства моего с Рахманиновым и Метнерами мы, правда, уже стали выбиваться из нужды, я становилась понемногу известной в литературных кругах и заработки мои росли, но быт наш, переполненный огромной работой, все же был еще анархическим и напряженным. А тут передо мной раскрывалась необычайная, как в хорошей музыке, слаженность семьи, размерявшей свой день, как стройную композицию. Их было трое: философ и редактор, Э. К. Метнер; младший его брат, композитор Н. К. Метнер, и жена младшего брата, А. М. Метнер. Жили они под Москвой, в имении Траханеево,— в нескольких верстах от станции Хлебниково, и я частенько и подолгу у них там гостила, а когда они переехали в Москву, на Плющиху, то и вовсе в 1916 году перебралась к ним на житье. Утро у них начиналось и в деревне и в городе с запаха дымка от горящих березовых дров,— это растапливались большие белые голландские печи в комнатах, остывших за ночь. До чая — получасовая прогулка, покуда во все форточки вливается со снежинками свежий московский морозный воздух. Утренняя беседа за чаем,— почти каждую из них я записывала в дневник, так они были содержательны. Потом расходились по своим комнатам — работать. За час до обеда — лыжи, прогулка с фокстерьером Фликсом, поджидавшим своего часа у выходной двери. А после обеда зажигалась, если дело происходило в деревне, огромная висячая лампа-молния или уютная электрическая лампа под абажуром на городской квартире, и начинались любимые часы: чтение вслух, часто для практики на иностранных языках. Читались классики всех национальностей: немецкие романтики Клейст, Тик, Брентано, французы Мериме и Стендаль, «Евгений Онегин», басни Крылова, поэмы Гомера. Чаще всего это чтение вслух доставалось на мою долю. Слух мой уже начинал понижаться, и мне легче было читать самой, нежели слушать. После чая — рояль и разговоры обо всем, что утром прочли в газетах, что произошло за день, что каждый успел сделать... Прекрасная многотомная библиотека была у Эмилия Метнера. Николай Метнер занимался еще астрономией, имел хорошую подзорную трубу, выписывал астрономические справочники. Он же всегда возился с зеленью, с цветами, выращивал свою рассаду. День был полон, и каждый

учил чему-нибудь новому. Если, случалось, работа не ладилась,— начинали ее снова и снова, покуда не устанавливался творческий ритм. Мне казалась эта жизнь — пределом человеческого счастья. Я научилась планировать свою работу на год, на месяц, на день, вывешивать расписанье, соблюдать графики, отмечать выполненное и невыполненное. Обычный богемный быт артиста, который работает от случая к случаю,— запоем или совершенно бездельничая по месяцам, и тратит нервную энергию на бесконечную ненужную болтовню, хожденье по знакомым и собственные приемы их,— был совершенно невозможен в этой семье, казался чем-то диким. Обязательный, продолжительный труд, в обязательные утренние часы, с обязательным ранним вставаньем,— роднил нас со всею работящей, труженической интеллигенцией, педагогами, инженерами, врачами. И было невозможно вдруг позвонить к Метнерам в неурочный час, прийти среди бела дня к ним в гости, как невозможно было бы зайти поболтать к врачу на прием или к педагогу в класс. Когда позднее мне пришлось работать над бытом, созданным молодой Марией Александровной в семье Ульяновых, он напомнил мне своим внутренним благообразием и высокой культурой времени — творческий быт Метнеров.

Статья моя о Рахманинове вышла в «Трудах и днях». Сергей Васильевич писал мне о ней: «Благодарю Вас за статью. В ней много интересного и меткого: и метко там именно то, что Вы сами указываете в своем письме ко мне. Однако в конечном результате Вы оказались не правы: подытожив содержание статьи, мой вес оказался преувеличенным. На самом деле я вешу легче (и с каждым днем все более худею)» (письмо от 12 ноября 1912 года)[1].

Одновременно с моей статьей Рахманинову послал свою книгу «Модернизм и музыка» и Э. Метнер. Книга эта вызвала в свое время много разговоров. Блестяще написанная, верная в своей философской направленности против модернизма, она была в то же время полна глубоко вредных реакционных элементов. Я не совсем еще понимала их корни; не представляла себе их разви-

[1] «Новый мир» № 4, 1943, стр. 108; С. В. Рахманинов, Письма, 1955, стр. 434.

тия, но уже чувствовала, что они противоречат всей природе, всему пути развития человечества, противоречат идеалам гуманизма и тем законам нравственности, каким нас обучали с детства. На тетрадке моей, когда я была еще «приготовишкой», воспитательница наша написала эпиграфом:

Духом свободный, хотя б и в цепях
были руки,
Я о спасенье своем никого
не молю,
Верую в разум, надеюсь на силу
науки,—
И человека, откуда б он ни был,
люблю.

Таков был общий дух тогдашней передовой педагогики. Любить человека, «откуда б он ни был», учили нас Белинский и революционные демократы. Правда, в пансионе Ржевской и Добролюбов и Чернышевский были под строжайшим запретом. Но наш молодой учитель русской словесности и литературы, Иван Никанорович Розанов (ныне здравствующий член Союза советских писателей!), приносил их нам тайком, показывал, что нужно прочитать в первую очередь, забрасывал в нас семена трезвого, материалистического, революционного отношения к миру. А тут передо мной была расистская книга, с заложенными в ней теми самыми зернами, какие пышно расцвели впоследствии у теоретиков фашизма,— книга, третировавшая русскую музыку сверху вниз, возносившая в немецкой классической музыке не глубину ее общечеловечности, а какие-то качества «арийства», унижавшие культуру и народы Азии. И эту книгу написал человек добрый и умный! Я пыталась как-то объяснить себе его позицию, чтоб смочь если не оправдать, то хоть извинить его. Но не могла не почувствовать, насколько мне ближе Рахманинов в его отношении к этой книге, чем окружавшие тогда Метнера философ И. А. Ильин и его жена, Рачинские, М. К. Морозова, М. В. Сабашникова и сотрудники «Мусагета». Рахманинов писал мне:

«Написав Э. Метнеру короткую благодарность за присылку его книги, я поступил правильно. Тогда я только что книгу получил и не успел прочесть ее. Теперь же, прочитав ее, так же не могу ничего прибавить. Из-под каж-

дой почти строчки мерещится мне бритое лицо Э. Метнера, который как будто говорит: «Все это пустяки, что тут про музыку сказано, и не в том тут дело. Главное, на меня посмотрите и подивитесь, какой я «умный»! И правда! Э. Метнер умный человек. Но об этом я предпочел бы узнать из его биографии (которая и будет, вероятно, в скором времени обнародована), а не из книги о «Музыке», ничего общего с ним не имеющей» [1].

Надо сказать, что и самые близкие Эмилию Карловичу люди — Николай Метнер и его жена,— относились к расистской направленности этой книги резко отрицательно и никогда не разделяли философских взглядов Э. Метнера, а наоборот — постоянно и горячо боролись с ними.

Пишу обо всем этом так подробно, потому что «метнеровский элемент», врывавшийся все время в наше общенье с Рахманиновым, необходим для характеристики Рахманинова и его взглядов в те годы. Что касается Э. Метнера (Вольфинга), то и он, во всем своем положительном и отрицательном, не может быть изъят из истории русской музыки, как музыкальный критик и музыковед. При всем негодовании, какое я всякий раз испытывала, сталкиваясь с его воинствующим германизмом, я не могла не корректировать его взглядов — тем глубоким, трогательным гуманизмом, который был присущ ему в жизни и о котором, разумеется, московские музыканты не могли знать полностью. Споры и частичные разногласия еще более подчеркивали необычайную глубину и содержательность духовного общения в семье Метнеров. Все личное в их быту перегорало и становилось высокочеловечным. И я хотела помочь Рахманинову теми элементами высокой культуры, гармонического духовного быта, какие налицо были в семье Метнеров и с какими, как мне казалось, Рахманинову полезно и нужно было соприкасаться. Старание «познакомить» и «сблизить» их — Рахманинова с Метнерами — в первое время не очень удавалось. Летом 1913 года Сергей Васильевич писал мне в Тироль, где я тогда находилась с сестрой:

[1] «Новый мир» № 4, 1943, стр. 108; С. В. Рахманинов, Письма, 1955, стр. 434—435.

«Наконец-то получил от вас письмо, милая Re, и узнал, где Вы. Если бы это письмо не пришло, решил Вам все равно писать сегодня и адресовать по адресу «того», с кем Вы желали бы меня видеть в дружбе и согласии. Этот самый «тот», или «оно», наверно осведомлен о Вас. Удивительное дело! Вас я люблю и желаю Вас видеть, слышать и читать. «Того» сторонюсь с робостью. Как бы в ответ на это в Вашем письме читаю: «Свою миссию (какую миссию?) считаю оконченной (когда началась и почему окончилась?) и собираю свой багаж (очень жалко!); а вот «оно» — это для Вас: Дружитесь!» Покорнейше Вас благодарю! Вот уже именно «на живого человека не угодишь»! В ответ на это принимаю, с сожалением и недоумением, к сведению первое, и отбрыкиваюсь от второго»[1].

Когда я сейчас, приближаясь к седьмому десятку, перечитываю эти строки, я поражаюсь поистине бесконечной доброте и терпению Рахманинова, так снисходительно переносившего мои ребяческие намеренья «воспитывать» его и навязывать ему нелегкие и нежеланные отношения к человеку, которого он «с робостью сторонился». Но надо помнить, что между нами было шестнадцать лет разницы и что совершенная необычность и переписки и личного нашего общенья были ему нужны, может быть, еще и потому, что совсем не были похожи на окружавшее его поклонение.

Во многом, незаметно и не желая этого, он и сам воспитывал меня отдельными своими замечаниями. Новую свою книгу стихов, «Orientalia», я посвятила ему, но писалась она не для него, а для Э. Метнера, которому я хотела противопоставить свой «азиатизм» как знамя против его «арийства». Это было надуманно, и надуманным вышло мое предисловие, где я в отместку Э. Метнеру, гордо возвещала о своем «осознанном азиатизме». Рахманинов в ответе дал мне хороший урок, который я много раз вспоминала: «За Вашу книжку, милая Re, которую Вы мне «подарили», выражаю душевную признательность. Мне там многое *искренне* нравится... Одно мне там положительно не понравилось: я говорю про обращение «к читателю». Предпочел бы такое сообщение слы-

---

[1] «Новый мир» № 4, 1943, стр. 109; С. В. Рахманинов, Письма, 1955, стр. 439.

шать не от Вас, а про Вас, т. е. высказанное кем-нибудь другим. Боюсь, что многие после такого обращения будут именно выискивать «предумышленность» [1].

К тому времени, когда писалось это письмо, мы были с ним уже лично знакомы,— причем мы познакомились не совсем обыкновенно.

Пятого декабря 1912 года Рахманиновы уезжали за границу. В первых числах декабря, чуть ли не за день или за два до их отъезда, на одном из концертов я прошла в артистической совсем близко от него, и, проходя, не удержалась и взглянула на него. Вдруг он, все также молча сидя на своем месте, протянул свою большую белую руку и удержал меня за платье. Я так и осталась стоять возле его кресла, пойманная им за платье. Словно мы сто лет были знакомы, он подозвал жену и еще кого-то, встал и преспокойно, своим негромким, но удивительно внятным голосом представил им меня по имени и фамилии. Зная от Слонова, кто скрывается под «ноткой Re», он в то время еще не мог знать меня в лицо, и когда я, удивленная, спросила его, как он угадал, Рахманинов ответил, что я на него «знакомо поглядела».

В декабре Рахманиновы были в Берлине, потом месяц провели в Швейцарии и около трех месяцев в Риме, откуда он писал мне: «Я очень поправился за месяц, проведенный в Швейцарии, и все потерял за шесть недель здесь. Зато очень много работал и работаю. Тем досаднее, что стал опять очень уставать, плохо спать и слабо себя чувствовать» [2]. По дороге домой он все же остался в Берлине, и начало мая 1913 года падает у него на Берлин (таким образом целых полгода, с декабря 1912 по май 1913 года, Рахманиновы провели за границей). К тому времени относится первая настоящая встреча Рахманинова с Николаем Метнером, после которой я и написала ему, что считаю свою «миссию» оконченной. Начиная с этого года мне уже приходится полагаться не на одну только свою старую память, а на целый ряд источников. Во-первых, с 18 мая 1913 года и по 28 мая 1914 — для меня изо дня в день вел дневники Эмилий Метнер, присылая их пакетами вместо писем или передавая из комнаты в комнату, когда я жила у Метнеров.

[1] «Новый мир» № 4, 1943, стр. 108; С. В. Рахманинов, Письма, 1955, стр. 437.

[2] «Новый мир» № 4, 1943, стр. 109.

В этих дневниках (лирических и философских) нашли кое-какое отражение и основные события тогдашней музыкальной жизни в Москве, точным образом датированные. Во-вторых, Анна Михайловна и Николай Карлович Метнер, ставшие моими ближайшими и дорогими друзьями, вели со мной постоянную переписку, чуть только я отлучалась из Москвы или они уезжали куда-нибудь, и, зная мою дружбу с Рахманиновым, они всегда сообщали все, что знали о нем. В-третьих, я и сама с 1915 года начала вести постоянные дневники, по которым могу многое из разговоров с Рахманиновым восстановить и по памяти. Эти источники хороши еще тем, что могут очень помочь при составлении летописи жизни и творчества Рахманинова — уточнением дат и вообще документацией наименее известного, предэмиграционного пятилетия жизни Сергея Васильевича.

IV

В мае 1913 года в Берлине произошло первое, по-настоящему творческое сближение Рахманинова с Николаем Метнером. Вот что писала мне об этом Анна Михайловна из Бельгии, где она с Н. К-чем проводила лето: «В Берлине мы с Колей застряли на два дня... из-за Рахманинова, который совершенно здоров (это в ответ на мое беспокойство о его здоровье после его римского письма и постоянно распространявшихся в Москве слухов о его туберкулезе.— *М. Ш.*), и Коля с ним провел почти все время у Струве. Коля его очень любит и всегда рад его видеть и чувствует и ценит хорошее отношение к себе Рахманинова. Рахманинов просил Колю непременно погостить у него это лето в деревне хоть неделю. Я очень жалела, что не могла принять приглашение Струве (с ними я знакома) и таким образом познакомиться с Рахманиновым».

Берлинское сближение было тотчас же продолжено в Москве. Рахманиновы вернулись из полугодового пребывания за рубежом немного западниками, а Сергей Васильевич, несмотря на его жалобы на Рим,— настоящим «итальянцем». Едва осевши в Москве, он пригласил ме-

ня, юмористически подчеркивая, что миссия еще не окончена и багаж собирать еще рано,— «Непременно вместе с Николаем Карловичем и Анной Михайловной»,— к ним на обед, назначенный по-европейски на восемь часов вечера. Это означало уже знакомство «семьями», так как я должна была встретиться впервые с Софьей Александровной, с которой еще не была знакома, а Рахманиновы — с Анной Михайловной Метнер.

Мы приехали поздно, поднялись по темноватой лестнице в довольно скромную квартиру на Страстном бульваре (дом этот, сейчас обнаженный после снесения Страстного монастыря, почему-то не имеет мемориальной доски, а ведь Рахманиновы жили там много лет!). Наталья Александровна, очень нарядная,— она и тогда любила хорошо одеваться,— и Сергей Васильевич в каком-то домашнем рабочем пиджачке встретили нас в передней. Детишки, видимо, спали, во всяком случае в этот вечер я что-то их не помню. До начала обеда мы с Софьей Александровной уединились в гостиной на диване, чтоб хорошенько друг с другом познакомиться. Она очень любила Сергея Васильевича, и ей было остро интересно посмотреть, какая такая эта самая «Re». Отрывки из моих писем Сергей Васильевич, по ее словам, иногда ей читал, и они ей очень нравились. Каким-то теплом и уютом, старомосковским и староинтеллигентским, повеяло на меня от нее. Она казалась (и была в то время) уже немолодой; умное лицо ее освещалось удивительно милой улыбкой, движенья были скупы, очень спокойны, и так и веяло от нее душевностью, открытостью, готовностью все о себе сказать и желанием все о вас услышать, искренним, большим человеческим интересом к вам. Мы с нею сразу же по-хорошему потянулись друг к другу и в один вечер сошлись. Потом она приходила несколько раз ко мне и писала мне, когда чувствовала, что я нужна Сергею Васильевичу. Совсем по-другому относилась ко мне Наталья Александровна. Сперва — с некоторым недоверием, потом сразу — с широким, простым гостеприимством хозяйки дома, с некоторым женским любопытством по части Метнеров и наших взаимоотношений с ними, а также их внутренних взаимоотношений между собой, и, наконец, спокойно-доверчиво, но совершенно не любознательно, когда разглядела всю мою, с ее

точки зрения, «безобидность». В трудные минуты жизни, например, в полосу увлечения Рахманинова певицей Кошиц, она стыдила меня за то, что я «покинула Сережу», и звала из Нахичевани на Дону, где я тогда жила, в Москву через Софью Александровну, переписывавшуюся со мной; а во время февральской революции, когда Сергею Васильевичу, видимо, особенно хотелось повидаться и поговорить со мной, послала мне укор уже через Анну Михайловну. Так, в письме от 1 марта 1917 года Анна Михайловна мне писала: «Когда С. В. узнал, что Вы не приедете, а он уже 21 марта уезжает в деревню, он очень огорчился. Н. А. (Наталья Александровна) просила передать Вам, что она даже удивляется, как это Вы могли так огорчить Вашего друга». Но я забежала далеко вперед от первого нашего с Метнерами посещения Рахманиновых.

Когда пришло время обедать и мы все сошлись в столовой, оказалось, что Сергей Васильевич, ставший, как я уже выше писала, «итальянцем», решил нас угостить настоящим итальянским обедом. На столе красовалось блюдо с каким-то особенным салатом не то из каракатиц, не то из омаров; в своих соломенных футлярчиках стояли пузатенькие бутылки простого итальянского красного вина «Кианти»; и, наконец, торжественно было внесено огромное дымящееся блюдо макарон, приготовленное по-настоящему, как их подают в Италии. Наталья Александровна пожаловалась, что «Сережа, кроме этих макарон, ничего есть не хочет, а от них только фигура портится», что, впрочем, не помешало ей, как и всем нам, приналечь на эти макароны. Все было удивительно вкусно. Н. К. Метнер ел и похваливал, а Сергей Васильевич сиял от удовольствия. Он вообще очень любил хозяйничать за столом и выдумывать необыкновенное. Разговор шел о том, как готовить эти макароны, и Сергей Васильевич со вкусом объяснял, что непременно надо на свином сале, а не на оливковом масле, с густым помидоровым соком, чтоб были кирпичные на цвет, и с обильно натертым сыром.

В этот раз, как и позднее во многие другие разы, на лице у Николая Карловича я прочитала недоуменье и огорченье. Он ждал очень многого от встречи с Рахманиновым, ждал разговора с ним. А разговоры дома у Метнеров всегда бывали особенные, то есть такие, что-

бы стоило на них тратить драгоценное время· начинались с конкретного повода в искусстве или в науке, а потом углублялись во всякие философские рассужденья и осмысленья. Вспоминая их сейчас, вижу, до чего они были глубоки, нужны, полезны, интересны, но в то же время и требовательны к вам. Их никак нельзя было назвать «отдыхом». Для того чтоб вести их, надо было быть в курсе тех книг, о которых спорили; тех музыкантов и писателей, которых «открывали для себя», тех сложных, специальных тем, которые волновали узкие круги людей, словом, нужно было «образование», понимавшееся под определенным углом зрения. Даже тому, кто это образование имел, вступать сразу и свободно в такое море философии было трудновато и немного конфузно; к таким разговорам, как к альпийской высоте, дыхание приучалось исподволь. Но Сергей Васильевич не любил их, боялся их и никогда в них не вступал. Он терпеть не мог отвлеченностей, стыдился их так, как люди стыдятся интимностей, и даже краснел от них (а краснел он удивительно, весь, вплоть до шеи и до кожи под остриженными бобриком волосами, розовея каким-то бледно-розовым румянцем). Вещи относительны. То, что за столом у Метнеров звучало гетеанской мудростью и делалось ключом ко всему длинному творческому дню,— за столом у Рахманиновых, наверно, назвали бы насмешливым словцом «вумные разговоры»,— и оно сразу полиняло бы, увяло и заглохло. Этим словечком «вумный» Сергей Васильевич мстил за отвлеченности, в которых он не мог найти ни вкуса, ни толку. А так как Метнеры не умели разговаривать «ни о чем», непринужденно-весело, с пятое на десятое, то есть вести обычную застольную беседу, которая тоже может быть и блестящей и содержательной в своем роде, то у них с Рахманиновым почти не получалось никакой беседы. Я это все сразу поняла, так как приучилась на письме говорить с Сергеем Васильевичем, знать, что он любит и как надо подавать ему «нелюбимое», чтоб он это проглотил и переварил; но помочь разговору ничем не могла и только старалась с Софьей Александровной, с которой мы сразу же почувствовали себя в контакте, переводить внимание с отвлеченного на практическое. У Метнеров создалось впечатление, что Рахманинов — немножко обыватель. Он и сам часто называл себя так, даже в письмах ко мне. Но на самом де-

ле он был только глубоко целомудрен, и это качество я ценила в нем больше всех остальных. Он был целомудрен в духовной области, в области мыслей и идей. В этом отношении, как мне кажется, он был похож на Чехова, который тоже прикрывал свое целомудрие в высказывании и выслушивании больших философских идей словечком «вумный». Но Н. К. Метнер, стремившийся к идейной близости с ним, тяжело переживал свою «неудовлетворенность» и этой и другими встречами с Рахманиновым. Много раз позднее писали мне об этом и Анна Михайловна и Эмилий Карлович.

«Третьего дня были у нас Рахманинов, Струве и Гольденвейзеры. Вечер прошел очень «мило», но... бесплодно как-то. Коля остался не очень доволен» (от 24 апреля 1915 года, письмо А. М. Метнер ко мне).

Это неуменье Метнеров сообщаться с Сергеем Васильевичем и его защитная маска в ответ — чередовались позднее с более содержательными встречами и постепенно превратились у Николая Карловича и Анны Михайловны в ту простую человеческую дружбу с Рахманиновым, которая так осветила им трудную жизнь за рубежом.

Скоро после этого первого обеда у Рахманиновых мы расстались на целое лето. Рахманиновы уехали в Ивановку, а мы с сестрой за границу. В конце июня 1913 года он написал мне туда об окончании своей новой большой работы:

«...Вот уже два месяца целыми днями работаю. Когда работа делается совсем не по силам, сажусь в автомобиль и лечу верст за пятьдесят отсюда, на простор, на большую дорогу. Вдыхаю в себя воздух и благословляю свободу и голубые небеса. После такой воздушной ванны чувствую себя опять бодрее и крепче. Недавно окончил одну работу. Это поэма для оркестра, хора и голосов соло. Текст Эдгара По «Колокола». Перевод Бальмонта. До отъезда надо успеть окончить еще одну работу. А с октября концерты и разъезды, разъезды и концерты. Вот какую «миссию» желал бы видеть оконченной» [1].

---

[1] «Новый мир» № 4, 1943, стр. 109; С. В. Рахманинов, Письма, 1955, стр. 440.

V

Зиму 1913—1914 года я жила в Москве, в постоянном общении и с Сергеем Васильевичем и с Метнерами. Помню, жили мы тогда с сестрой в ужасном Кабанихином переулке, в деревянном купеческом доме, на квартире у какой-то мещанки; комната наша была, правда, светла и велика, и мы, по возможности, вынесли из нее всю сусальную хозяйскую обстановку, но я все же стеснялась первое время принимать там Рахманинова и звала его обычно на квартиру к двоюродному брату, в Гранатном переулке, куда адресовал он и свои письма. Но постепенно в отношения наши вошла такая дружеская простота, что я перестала стыдиться убожества своей обстановки, и позвала его на Кабаниху. Приезд туда Рахманинова произвел невероятное возбуждение на весь квартал. Он въехал в наши грязные переулочки в своем большом черном автомобиле,— что само по себе в Москве еще было необычайной редкостью. Сам им правил и ловко остановил возле нашего дома. Тотчас же вокруг машины собралась огромная толпа детворы и взрослых, почти спрятав от глаз ее лакированный блестящий кузов. В своем заграничном пальто и кепке, он и сам вызвал немалое удивление на Кабанихе, и его провожали любопытные шаг за шагом, вплоть до наших дверей. И вот он у нас, сидит ссутулившись на единственном приличном кресле,— и тотчас же воцаряется та чудесная, навсегда живущая в моей памяти, как живет и поется запомнившаяся мелодия,— рахманиновская теплота и простота. Никогда с ним не было ни напряженно, ни надуманно, ни пусто. С ним именно «былось»,— становилось ощутимо полное человеческое существование во всей его радости; можно было молчать; можно было ругаться — он очень любил слушать, как я его «отчитываю».

В первый свой приезд ко мне — на квартире в Гранатном — Сергей Васильевич был очень оживлен и говорил почти все время о «Колоколах»,— какой это замечательный текст, сразу просящийся на музыку и как он сразу захватил его. Но уже в следующее посещение — в Кабанихином переулке — он опять, несколькими несложными фразами, слегка подтрунивая над собой, начал жаловаться на разные душевные неприятности и сомненья

в себе как в творце,— хотя на этот раз они звучали не так безнадежно, как в 1912 и позднее в 1916—1917 годах. Чувствовалось, что в нем живет еще «остаточное возбуждение» после проделанной очень большой работы над «Колоколами». В январе должна была состояться генеральная репетиция, и, видимо, он очень многого ждал от первого исполнения «Колоколов», готовился к нему, ожидал отзыва от Николая Карловича.

Сейчас, спустя сорок два года, я больно чувствую, как мы были к нему нечутки в эту зиму. Не могу простить себе своей «ревности» к «Колоколам», заставившей меня не очень прислушиваться во время этих встреч к его возбужденному и тревожному тону о своей новой вещи и не очень самой расспрашивать о ней. Дело в том, что текст «Колоколов» ему предложил кто-то неожиданно, мы никто ничего об этом не знали, и о том, над чем он работает, тоже не знали, покуда не пришло его письмо (из Ивановки). Вместо того чтобы обрадоваться, что Рахманинов вернулся к большой музыкальной форме и с интересом желать поскорей познакомиться с ней, я совсем ребячески «надулась»,— ведь до сих пор я воображала себя как бы главным его «текстмейстером». Уже со второго письма Сергея Васильевича ко мне, он попросил посоветовать ему текст для романсов:

«Милая моя Re, Вы на меня не рассердитесь, если я обращусь к Вам с просьбой? И если исполнение этой просьбы не доставит Вам большого труда, исполните ли Вы ее? Сейчас скажу, как и чем Вы мне можете помочь... Мне нужны тексты к романсам. Не можете ли Вы на что-либо подходящее указать? Мне представляется, что Re знает много в этой области, почти все, а может быть, и все. Будет ли это современный или умерший автор — безразлично! — лишь бы вещь была оригинальная, а не переводная и размером не более 8—12, максимум 16 строф [1]. И еще вот что: настроение скорее печальное, чем веселое. Светлые тона мне плохо даются!» (письмо от 15 марта 1912 года) [2].

С тех пор я неоднократно переписывала и подготавливала для него стихотворные тексты из русских поэтов.

---

[1] Рахманинов ошибочно написал «строф» вместо строк.

[2] «Новый мир» № 4, 1943, стр. 105; С. В. Рахманинов, Письма, 1955, стр. 419—420.

Он очень не жаловал символистов, но я все же старалась заставить его кое-что оценить и в них. «Крысолов» Брюсова, «Сон» Сологуба, «Ивушку» Аветика Исаакяна в переводе Блока и ряд других романсов он создал по переписанным и приготовленным мною для него текстам. Обычно я старалась «начитать» их для него графически: давала рисунок ритма стиха, рисунок интонационного движения стиха, раскрывала с помощью этих рисунков заложенную в самом стихотворении его собственную мелодию. Очень подробно анализировала Пушкина, мелос которого неисчерпаем для музыкантов, хотя в те годы многие считали Фета или Полонского, или даже Дельвига более «подходящими» для песенной музыки.

Понимать всю музыкальность стихов Пушкина научил нас с сестрой, еще когда мы были курсистками, поэт Владислав Ходасевич. Он любил захаживать к «этим гофманским сестрам в берлогу», как он говаривал про нас, вместе с другим поэтом, Муни, вскоре покончившим с собой,— и, усаживаясь на табуретке, замечательно читал нам Пушкина. Подобно ему, я проанализировала в письме к Рахманинову пушкинскую «Музу», рассказав, как медленно и последовательно вступают у Пушкина в строй семь стволов пастушьей «цевницы семиствольной», как музыка, разрастаясь, становится все более ликующей и как муза, «радуя меня наградою случайной», сама берет из рук ученика свирель, и все заканчивается классическим дифирамбом, когда «тростник был напоен божественным дыханьем»... Рахманинов написал романс на этот текст и посвятил его мне. Позднее очень полюбил это стихотворение и Н. Метнер, и тоже написал свою замечательную «Музу», посвятив ее мне.

Много лет мне метнеровская «Муза» нравилась гораздо больше рахманиновской, казавшейся сухой. И только в советское время, когда Нина Дорлиак, на моем юбилее, в подарок мне, чудесно спела «Музу» Рахманинова, открылись передо мной в ее тончайшем, продуманном исполнении все музыкальные красоты этой вещи.

Рахманинов дважды использовал мои тетради,— в 1912 году (Opus 34) и в 1916 году (Opus 38).

«Милая Re, на днях закончил свои новые романсы. Около половины из них написаны на стихи из Вашей тетрадки. Перемену Вам сейчас слова, на тот случай,

если Вас это заинтересует. А. Пушкина: Буря, Арион и Муза (последний посвящаю вам). Тютчева: «Ты знал его», «Сей день я помню». А. Фета: «Оброчник», «Какое счастье». Полонского: Музыка, Диссонанс. Хомякова: Воскресение Лазаря. Майкова: «Не может быть» (написаны на смерть дочери). Коринфского: «В душе у каждого из нас». Бальмонта: Ветер перелетный... Всеми романсами, в общем, доволен и бесконечно радуюсь, что дались они мне легко, без большого страданья. Дай бог, чтоб и дальше так работа продолжалась...» [1],— писал он мне из Ивановки 19 июля 1912 года. Шесть романсов из Opus'a 38 целиком написаны на «препарированный» мною текст.

Понятно, что неожиданное появление «Колоколов» («и ничего не сказал!», «и ничего не показал!») воспринялось мною как обида, хотя и тщательно от него, да, пожалуй, и от себя самой скрываемая. Ее подогрело отношение Э. К. Метнера к «Колоколам» еще задолго до того, как он услышал их на генеральной репетиции. Э. Метнер был резко и принципиально против программной музыки. Симфония с хором и сольными номерами, на стихотворный текст, воссоздающий сюжетные представления о разных этапах жизни человеческой,— это, конечно, относилось им к программной музыке. И в разговоре со мной он признавался, что «добра» от этой вещи не будет. Николай Карлович ждал «Колоколов» как настоящий музыкант, ничего заранее не предрешая. Но я знала, что сама поэма Эдгара По в переводе Бальмонта, с ее «колоколами» и «колокольчиками», кажется ему нарочитой и манерной, а потому не нравится. Словно чувствуя наше предвзятое отношенье, Рахманинов нервничал и в душе, наверное, тоже таил обиду на нас. Не могу припомнить всего, что говорилось нами в эти несколько встреч перед генеральной репетицией. Но только он вдруг совсем перестал упоминать о «Колоколах», словно их и не было.

Однажды мы с ним поспорили о Пушкине. Он стал говорить, что и у Пушкина есть менее интересное и даже менее «вразумительное». Я, по обыкновению, вспыхнула как порох и стала утверждать, что у него каждая стро-

[1] «Новый мир» № 4, 1943, стр. 107—108; С. В. Рахманинов, Письма, 1955, стр. 427.

ка — совершенство. И чем больше он посмеивался на мою горячность (он страшно любил, дразня, доводить меня до белого каления), тем более я «лезла на стену». У нас с сестрой было восьмитомное издание Пушкина в редакции П. А. Ефремова, самое любимое мною и по распорядку материала и по комментариям, изо всех прошлых и настоящих изданий Пушкина. Томы были без переплета, в серых бумажных обложках. Он взял тот, что поближе, и раскрыл на 123 странице. Это был второй том. Пробежав что-то глазами, он протянул раскрытый том мне: «Ну, хотя бы, например, вот это. Правда, незаконченный набросок. А все-таки, что Вы тут найдете, какой особенный смысл?»

Это был неоконченный набросок Пушкина:

В рощах карийских, любезных ловцам, таится пещера...

Я, чтоб не сплоховать, умерила свою неистовость и заставила себя медленно, раза три, прочитать этот отрывок, сперва только глазами, потом вслух. «Пейзаж и ничего больше!» — повторил Сергей Васильевич, обрадованный моим молчаньем. Но я в это время, что называется, собирала в поход все свое оружие. И потом начала ему рассказывать, что раскрывается в этом простом пейзаже. Спустя три года весь этот разговор, как и подлинные реплики Сергея Васильевича, я превратила в настоящий рассказ под названием «Стихотворение», только роль главного «открывателя тайн» передала ему (сохранив для него даже имя Сергей Васильевич), а сама превратилась в рассказе в его дочку Русю. «Стихотворение» было напечатано 20 ноября 1916 года в газете «Речь», и Рахманинов говорил мне тогда, что читал его вместе со своей старшей дочерью Боб (Ириной). В конце декабря 1913 года Метнеры пригласили Сергея Васильевича к себе в деревню, и мы уговорились с ним ехать вместе. Жизнь там имела свои положительные и отрицательные стороны. Отрыв от Москвы и ее музыкальной жизни, езда за провизией в город, необходимость принимать гостей с «ночевкой» и с организацией для них транспорта — все это были отрицательные стороны. В ту пору еще не было под Москвой ни телефонов, ни электричества; до станции Хлебниково от Траханеева было несколько верст отвратительной проселочной дороги и для езды

подавались простые крестьянские дровни зимой, а летом дрожки. Лошаденка у возницы была квелая и плелась, совсем как в стихах Некрасова. Зато положительные стороны окупали все эти неудобства с лихвой. Чудный воздух, холмистые леса и перелески, большой деревянный помещичий дом с обилием комнат, со светлыми большими окнами, в которые гляделись мохнатые сосны и молодые бархатные елки, музыка, которую можно было слушать без помех, и, главное,— время, Время с большой буквы, медленное, полное, как в половодье река, изобильное для каждого,— с очень раннего утра до девяти-десяти вечера,— деревенского ухода ко сну. Никто никуда не торопится, никто не торопится к тебе, работай с чудным ощущением резерва времени, обилия его про запас, чтоб снова начинать, если плохо, править сколько захочешь, и не бояться, что не успеешь. Все это я лирически излагала Сергею Васильевичу в пути.

Мы встретились, как было условлено, на вокзале перед билетной кассой. Потом вошли в грязный и мрачный вагон «близкого следования», и он качался с каким-то скрежетом на рельсах и подолгу останавливался на каждой станции, покуда не добрался до Хлебникова. А там— типичная остановка в зимний сезон, когда нет дачников и все пусто, лишь у деревянного обкусанного лошадиными зубами шлагбаума стоят две-три телеги с сеном, пахнет навозом и самоварным дымом и спускаются ранние сумерки. Мы сошли на пустынный перрон, и Сергей Васильевич, перед тем как пуститься в дальнейший путь, присел на скамеечку и попросил меня хорошенько повязать его башлыком, который он размотал в вагоне: «На красоту не смотрите, а чтоб было потеплее». Я повязала его, как маленького, и пошла разыскивать нашего возницу. Сани оказались низкие, крестьянские,— дровни, в которых было подбито для сиденья сено в холщовом мешке. Стоял крепкий мороз. Лошаденка взмахнула хвостом, и мы двинулись. Не помню ни одной встречи, где Рахманинов был бы таким беспомощным и запуганным. Он, как ребенок, боялся этой поездки в чужой дом на долгие часы и чистосердечно признался в этом. Я почувствовала себя чем-то вроде няньки этого большого, укутанного мною в башлык ребенка, и мы удивительно хорошо и уютно разговаривали с ним в продолжение этой снежной дороги. Сергей Васильевич, выслушав мои ди-

фирамбы траханеевской жизни, ответил: «Вы городской человек, а я сам деревенский. Города терпеть не могу. Вот только зимой вынужден жить в городах, зато уезжаю в деревню всякий раз, как жаворонки прилетят,— знаете, в московские булочные!» В Москве 9 марта продавали обычно «жаворонков» — сдобные витые птички с изюминками вместо глаз. И он действительно уже в марте уезжал в свою Ивановку. Рассказал мне понемножку в дороге, как он хозяйничает, какое у него хозяйство, сколько чего сеется и собирается, кто остается зимой в усадьбе и смотрит за нею, какие типы крестьян в Тамбовской губернии, кто живет по соседству. Почти всегда молчаливый, он на этот раз говорил почти один. Даже как-то жалко стало, когда мы подъехали и он вдруг замолчал. Но перед тем как откинуть полость и помочь мне вылезти, он сказал: «В январе будет генеральная репетиция «Колоколов», я вам пришлю второй ряд». Значит, все время, покуда мы ехали и он так беззаботно рассказывал о деревне, его не покидала мысль о «Колоколах».

В Траханееве нас ждали к обеду. За столом уж не помню, о чем говорилось. Хохотали до упаду над брошюрами некоего Липаева о Скрябине и Рахманинове — с невероятно комичными характеристиками. Вспоминали о берлинской встрече. Вышучивали стихи символистов и дразнили меня, защищавшую Белого и Блока. Эмилий Карлович сидел больной и пасмурный и не вмешивался в разговор. Потом перешли к роялю. Но о «Колоколах» так и не было сказано ни звука.

Между 25 января и 10 февраля 1914 года (точной даты у меня нет) утром была назначена генеральная репетиция. Рахманинов, как обещал, прислал всем нам билеты. Но не все мы попали к ее началу. Анна Михайловна и Николай Карлович (я ночевала у них) приехали вовремя. Эмилий Метнер был в одном из худших своих состояний, задержался где-то в Москве по делу и пропустил первую, самую сильную часть. Происходила репетиция утром, и дневной свет как-то убивал обычное вечернее возбуждение. Все и всё выглядели буднично, я нервничала на опозданье Эмилия Карловича, и его пустое кресло мешало мне целиком отдаться слушанью. Рахманинов, поглядев в зал, тоже скользнул глазами по этому пустому креслу.

Как и всегда у него, «Колокола» имели шумный успех. По окончании их москвичи потянулись в артистическую — поздравлять автора, но Метнеры спешили домой, и мы не пошли. До сих пор мне стыдно вспоминать это утро. Николай Карлович, помню, сказал: «Что меня всегда поражает в Рахманинове при исполнении каждой новой его вещи, так это красота, настоящее излияние красоты. Одно это достойно всякого сочувствия,— что он красоты в музыке не стыдится и не боится ее нагнетать в таком большом количестве». Отзыв, правда, был положительный, но сказать только о красоте (которую в этот период всяческого модернизма третировали как признак отсталости и «угождения публике») мне показалось и мало и как-то неуважительно к Рахманинову.

Сама я была захвачена «Колоколами», несмотря на то, что слушанье перебивалось тревогой,— и особенно захвачена первой частью. В этой скользящей, хрустящей стремительной музыке —

Сани мчатся, мчатся в ряд,
Колокольчики звенят... —

Рахманинову удалось, на мой взгляд, утвердить с огромной силой то бесспорно свое, рахманиновское, что зовется индивидуальностью творца и чем музыкант входит в историю музыки, как оркестрант в оркестр, занимая свое, прочное, ему принадлежащее место. За это индивидуально-рахманиновское я страстно сражалась и с ним и с сужденьями современников в продолжение всей нашей дружбы; об этом индивидуально-рахманиновском и была написана моя еще ребячески-выспренняя, философствующая статья; это индивидуально-рахманиновское вставало стеной между мной и Эмилием Метнером, когда он начинал покорять и порабощать меня своей жесткой логикой, своей блестящей эрудированной «снисходительностью» к музыке Рахманинова. Что и как могла я противопоставить его доказательствам, как объяснить и раскрыть это «индивидуально-рахманиновское»? Оно заключалось для меня в той родниковой творческой силе, которая вдруг у одиночки-творца вливается в русло устоявшейся, могучей традиции родного искусства, знакомого с детских лет, и, поддержанное всем массивом этой традиции, оно поднимает свой собственный голос, становящийся на фоне ее вовсе не «повторяе-

мым эклектически», не «эпигонским», а как дети рядом с родителями,— все более крепнущим, мужающим, все более узнаваемым именно в своем индивидуальном отличии от прошлого, от «отца с матерью». Опять, как во Втором концерте, я почувствовала в первой части «Колоколов» индивидуальный рахманиновский вклад в историю музыки, хотя, казалось бы, ничего нового не было ни в его инструментовке, ни в «литургическом» использовании хоровой краски. Свое новое было опять и в большой утверждающей силе стремительного рахманиновского ритма, и в рахманиновском «смуглом» оркестровом колорите, лишенном сентиментальности, и во внезапной раздольной широте мелодии, вводящей русский зимне-деревенский «пейзаж с санями» и колокольчиками, совсем непохожий на жуткую внепространственную мистику Эдгара По. Можно было по этим драгоценным чертам «индивидуально-рахманиновского» также безошибочно сразу узнать его музыку, как наигрыванием некоторых созвучий,— кварт, септ-аккордов,— тотчас привести себе в память тогдашнего Скрябина.

В своем дневничке, неизменно посылавшемся мне в конце недели, «из комнаты в комнату», Э. Метнер писал: «Был на заседании Психологического Об-ства на докладе о Гуссерле Шпетта. Не приемлю. Блестяще возражал Ильин. Утром того же дня был на генеральной репетиции «Колоколов» Рахманинова. Тоже не приемлю, хотя принципиально хвалю и буду защищать. Неприятно слышать нарядную музыку, написанную душевноглубоким композитором, не умеющим сказать существенное и рассказывающим то, что могут и другие, гораздо менее глубокие, могут рассказать даже лучше, с более естественной нарядностью» (25 января — 10 февраля 1914). Я ответила ему гневным письмом, и на следующий день он записал в дневнике: «То, что Вы пишете о «Колоколах», очень тонко. Если бы Вы это развили для следующего № Трудов и Дней? *Пожалуйста!* Но (как Вы уже заметили выше) мое впечатление иное. Пусть I часть, которой я не слышал, лучше других; немного лучше, немного хуже — не играет большой роли, раз имеешь дело с маленьким или с большим. Только у среднего это стоит принимать во внимание... «Колокола» — либо пустопорожнее место, либо плохо сшитые клочки пестрой нарядной материи с кровью пропитанными ло-

скутами, служившими перевязкою сердечных и иных ран; плохое искусство очень большого музыканта-неудачника, потуги человека без спинного хребта, психологического атомиста... Никогда Рахманинов по-настоящему не поймет и не полюбит Колю. Они соединены негативно, партийно, а не внутренне, индивидуально-человечно... (забыл прибавить, что в том, что я услышал, нет ни единого намека на мелос: только красочное движение и вопли, больше ничего)» (11 февраля 1914).

Разумеется, я не осталась в ответе и поиздевалась над Э. Метнером тоже вволю, прося его объяснить, что такое «красочное движение», может ли движение быть без ритма, а ритмичнейшая музыка — без спинного хребта. Чувствуя, что мы на пороге ссоры, Э. Метнер идет первого марта в Филармоническое на концерт, которым дирижирует Рахманинов, и записывает на следующий день в дневнике: «Вчера Рахманинов великолепно дирижировал. Но, т. к. в программе были классики, Брамс и Вивальди, то был принимаем очень сухо. После Брамса, от которого я был в восторге, ни хлопка!» (2 марта 1914).

Страстно защищал музыку Рахманинова от нападок своего брата и Николай Карлович. В строках Эмилия Метнера, на первый взгляд субъективных, был, однако, принципиальный и даже трагический момент: Николай Карлович, как и Рахманинов, горячо любил русскую музыкальную классику. Но Эмилий Карлович и устно и письменно стремился подчеркнуть близость Николая Карловича не к Бородину, Глинке, Мусоргскому и Танееву, а к Бетховену и Брамсу. Николай Карлович, считавший себя русским композитором, страдал от таких утверждений и считал их неверными и несправедливыми. Но в семье у них щадили «Милю», и не щадить его, зная всю скрытую трагедию его жизни, было нельзя. А я вдобавок в те несколько лет преданно любила его, была связана с ним культом Гёте, переписывала его рукописи, участвовала в его полемике с А. Белым в защиту Гёте и против антропософа Штейнера. Я каждый день видела его невероятные душевные терзанья, усугубленные припадками Меньеровой болезни. И все же нападки его на лучшее, что мне казалось тогда и в музыке Рахманинова и в музыке Николая Метнера, доводили меня иной раз до полного разрыва с ним.

Все это время, общаясь с Сергеем Васильевичем и у него на дому и у себя,— на Кабанихе, на Гранатном,— я чувствовала, что именно «Колокола» немного оздоровили его, приблизили и к исполнению Брамса и Вивальди, и к музыке Николая Карловича, которую он всегда ставил высоко, а сейчас начал любить. Но вот произошло событие, всколыхнувшее у нас весь дом. «Колокола» вышли из печати... с посвящением модному голландскому дирижеру Менгельбергу. Многим могло показаться естественным, после того холодка, с каким встречена была эта вещь в кругу Метнеров, посвящение ее кому-то другому, а не Николаю Карловичу. Но была в этой истории своя подоплека, о которой не все знали.

Дело в том, что в музыкальных кругах того времени много было разговоров о конфликте между Н. К. Метнером и дирижером В. Менгельбергом. Этот последний позволил себе на репетиции Четвертого концерта Бетховена, который исполнял Николай Карлович с каденциями собственного сочинения, грубое замечание. Оскорбленный Метнер отказался от участия в концерте и поместил в журнале «Музыка», а также в нескольких газетах следующее письмо:

«М[илостивый] г[осударь]

Прошу дать место следующему письму.

8 декабря я должен был участвовать в Петербурге в симфоническом концерте Кусевицкого, под управлением г. Менгельберга. От этого участия я вынужден был отказаться, конечно не по «болезни», как значилось на другой день в газетных заметках, а по следующей не менее уважительной причине. Дело в том, что дирижер позволил себе на репетиции с самого начала по отношению ко мне совершенно неприличный тон. Не желая расстраивать концерта (и так едва не состоявшегося вследствие недоразумения между прежним дирижером Оскаром Фридом и оркестром), я решил было не обращать на этот тон никакого внимания. Но вскоре г. Менгельберг перешел от начальнического тона к учительским нотациям, причем обнаружилось, что несогласия мои с ним в темпах и вообще в толковании Четвертого концерта Бетховена рассматриваются дирижером не как вполне законное проявление моего индивидуального понимания, а как явные промахи школьника, которого необходимо на каждом шагу наставлять на путь истинный.

После одного такого наставления я, не окончив концерта, покинул эстраду и собрался уходить. Но затем, вняв просьбам С. А. Кусевицкого и некоторых знакомых, я, к *сожалению,* согласился закончить репетицию концерта, полагая, что зарвавшийся дирижер, очевидно страдающий манией величия и потому монополизировавший Бетховена, в свою очередь пойдет также на уступки. Но ожидания мои не оправдались, и я, машинально доиграв финал, все время шедший, так сказать, в двух противоположных темпах, ушел и вскоре послал отказ от участия.

Из замечаний[1] г. Менгельберга упомяну, например, о предложении его, чтобы мы играли — я свое solo, он свои tutti — в различных темпах, как кто хочет, и о заявлении его, что он, дирижер, отвечает за все происходящее на концерте. Но кому же неизвестно, что за темпы, даже нелепые, которые берет солист, отвечает он сам, и обвинять за них аккомпанирующего дирижера не приходило в голову еще ни одному критику?

Поведение г. Менгельберга я считаю возмутительным, в особенности потому, что он наверное поступил так со мною, не зная моей музыкальной деятельности. Если бы он знал, например, что я имел честь быть одно время профессором Московской Консерватории, то по свойственному особенно заграничным людям уважению к титулам он отнесся бы ко мне вежливее. И вот это-то и недостойно такого талантливого художника, каким, несомненно, является г. Менгельберг.

Вообще весь этот случай имеет значение, далеко выходящее из рамок чисто личного. Прежде всего он является не единственным за последнее время. Не так давно нечто подобное разыгралось между дирижером г. Фридом и гениальным Вюльнером. Кроме того, за два дня до моего столкновения с Менгельбергом тот же г. Фрид нанес такое оскорбление превосходному петербургскому оркестру, что последний отказался играть когда-либо под его управлением. Оба случая равно характерны: первый из них рисует отношение дирижеров новейшей формации к прерогативам солистов. Господа

[1] Мие передавали, что Меигельберг жаловался потом иа то, что я играл иедостаточио громко и что мой темп не улавливался оркестрантами. Я играл ие полиым тоиом (репетиция была закрытой), чтобы сохраиить силу; страиио, что как раз этого замечаиия дирижер мие личио ие сделал. *(Сноска Н. К. Метнера.)*

Фриды вообразили себе, что отныне солист обязан сообразовывать свое исполнение с намерением и «страстным темпераментом» любого фельдфебеля от музыки. Второй случай указывает на то ничем не оправдываемое презрение, с которым все еще продолжают относиться к русским артистам заграничные музыкальные вояжеры. Случай со мною является, так сказать, двухсторонний: в моем лице было нанесено оскорбление солисту со стороны зазнавшегося дирижера и, что еще важнее, русскому артисту со стороны заезжего иностранца.

Примите и т. д.

Николай Метнер» [1].

За Метнера, превосходного знатока Бетховена, вступились музыкальные круги, и Скрябин первый подписался на адресе, поднесенном Николаю Карловичу русской общественностью.

При таких обстоятельствах посвящение Рахманиновым «Колоколов» Менгельбергу, да еще после того как Н. К. Метнер свою фортепьянную сонату e-moll (op. 25) посвятил Сергею Васильевичу, было воспринято друзьями Метнера и его семьей особенно болезненно.

Нужно так же отметить, что эпизод с Менгельбергом и реакция на него русской общественности носили резко принципиальный и патриотический характер, особенно на фоне мелочей тогдашней музыкальной жизни.

Сейчас, почти полвека спустя, многое в этой музыкальной жизни, волновавшее нас иногда днями и неделями, кажется совсем не стоящим даже упоминания. На самом деле никто, конечно, не жил тогда только замкнутыми интересами кружка или профессии. Гул от поднимавшегося народного движения доносился повсюду. Он встречался и преломлялся в сознании по-разному.

Помню, как-то раз Наталья Александровна рассказала нам, что в деревне теперь «не очень-то спокойно» и что Сергей Васильевич поехал туда, немножко волнуясь. Он, правда, «не ахти какой помещик, а все-таки хозяйничает на земле и любит порядок, и крестьяне отлично помнят, что имение родовое...» И все же Рахманинов, хоть

---

[1] См. журнал «Музыка» № 3, М. 1910, стр. 71—72. Пнсьма протеста Н. К. Метнера, опублнкованные в газетах, представляют собой более сокращенный варнант прнведенного мною пнсьма.

и помещик и хозяин, в те годы испытывал несомненное романтическое чувство и к революции и к революционерам.

В мае 1943 года мы возвращались из «Правды» с Емельяном Ярославским. Подвозя меня на машине домой, под проливным весенним дождиком, он заговорил о моих «Воспоминаниях», только что появившихся в журнале «Новый мир»: [1]

— А знаете, я тоже встречал Рахманинова,— и в очень необычной обстановке!

И он мне рассказал, как скрывался нелегально в Москве. Одна явочная квартира провалилась, ему пришлось искать другую, и он очутился в интеллигентной семье, в большой комнате, где стоял рояль. Когда все разошлись и уже время было к ночи, вошел тихо Рахманинов, сел за рояль и долго играл ему революционные песни, широко тогда известные в кругах интеллигенции...

Я не успела ни в короткую нашу поездку на машине, ни после, в редакции, уточнить этот драгоценный рассказ Емельяна Ярославского и не знаю, к какому году в точности он относится, но это молчаливое появленье в квартире, где скрывается «политический», и молчаливое сочувствие ему — в игре на рояле революционных песен — очень похоже на Сергея Васильевича.

Добавлю еще небольшую подробность о лете 1914 года, в канун первой империалистической войны. Как-то мы с Рахманиновым разговорились о Шекспире, и он сделал любопытное замечанье о том, что Шекспир «держит женские персонажи в черном теле»: в «Лире», например, центральный образ это Корделия и ей принадлежит главное место, а названо все-таки «Король Лир». В Макбете главное действующее лицо леди Макбет, а названо все-таки «Макбет», а не «Леди Макбет». Мне пришлось долго ему доказывать, что король Лир, а вовсе не Корделия — основной образ этой самой сильной из вещей Шекспира, и, помню, подробно описывать трагедию старости, эгоизм Лира, бродяжничество старого короля в степи, пробуждение в нем сочувствия к бедствиям других людей, его постепенное очеловечение с нищими и такими же, как он, обездоленными. Привела я ему и удивительное замечание Гёте о том, что «старый

---

[1] Речь идет о нескольких страницах комментариев к письмам Рахманинова, «Новый мир» № 4, 1943.

человек всегда немножко король Лир» [1]. Сергей Васильевич, наверное, вспомнил об этом разговоре, когда в конце апреля 1914 года написал мне из Ивановки:

«...получил предложение, от Комитета по чествованию 350-ия Шекспира, написать сцену из «Короля Лира» (в степи). Скажите мне, имеется ли какой-нибудь новый перевод «Лира»? Если не имеется новый, то какой из старых считается лучшим? Могу ли я Вас просить мне немедленно один экземпляр выслать?» [2] К сожалению, он так и не создал музыки к этой сцене, хотя я, как всегда, тотчас же выполнила его просьбу.

VI

Летом 1914 года я задержалась в Москве, готовясь уехать в Гейдельберг по совету профессора Н. Д. Виноградова. Надо тут для ясности сказать, что немного фантастическая жизнь с отдачей сил, времени, сердца,— то в Траханееве, то в общении с Рахманиновым,— отнюдь не была единственной моей жизнью. Если не считать напряженной работы для куска хлеба, сотрудничества в трех провинциальных газетах,— по пяти фельетонов в месяц в каждую (итого по четыре печатных листа ежемесячно),— было в моей жизни еще свое, заветное, очень здоровое начало: продолженье университетской учебы. Я поступила «для души» и, между делом, на физико-математический факультет бывшего тогда в Москве «Народного университета имени Шанявского», где сразу очутилась в передовой среде смешанного типа,— учителей, мелких служащих, техников, развитых квалифицированных рабочих; исправно посещала лекции Ю. В. Вульфа по минералогии и кристаллографии, познакомилась и даже одно время переписывалась с ним по поводу выращивавшихся мною кристаллов; дружила с профессором Николаем Дмитриевичем Виноградовым, под руководством которого окончила в 1911 году исто-

---

[1] «Goethe's Werke». Gustav Hempel. Berlin. часть II. «Zahme Xenien», стр 344.

[2] «Новый мир» № 4, 1943, стр. 109; С. В. Рахманинов, Письма, 1955, стр. 445.

рико-философский факультет Высших женских курсов и который упорно советовал мне продолжать работу над магистерским сочинением; и, наконец, действительно начала работать над этим магистерским, тему которого мы выбрали вместе с Виноградовым. Она была не совсем обычна. Виноградов, специалист по Давиду Юму, как-то сказал мне, что немецкая идеалистическая философия кончила свой век на последнем «системотворце» Шеллинге и что «все эти Гуссерли и Когэны — это лишь схоласты-комментаторы, но не творцы, хотя, впрочем, и после Шеллинга попытался один создать систему, но это уже было пародией на самое мышление системами, и спело отходную по идеалистическому методу философствованья». Я тотчас заинтересовалась, кто этот таинственный «один», так как в истории философии мы никого такого не знали.

Н. Д. Виноградов указал мне на библиографический справочник, до последней степени скудный, произведений этого «одного» — философа Якоба Фрошаммера, создавшего «пародию на систему», под названием «Фантазия, как мировой принцип» (Die Phanthasie als Weltprinzip). Вместо гегелевского Разума, шеллингова Космоса, фихтевского Я — тут во главу угла исторического процесса была поставлена Фантазия, с разделами «объективная» и «субъективная» и со всем аппаратом учености на пятьсот или свыше страниц. Я страшно заинтересовалась этим парадоксальным явлением в немецкой философии и взяла его темой для своего магистерского сочинения. К обычным моим делам прибавилось, поэтому, сиденье вечерами в дорогой сердцу всего нашего поколения «Румянцевке» (библиотеке Румяцевского музея, ныне Ленинской) и чтении всего, что можно было отыскать «вокруг да около» моей темы, поскольку прямо о Фрошаммере имелась во всей мировой литературе только одна жидкая брошюрка.

Из-за Фрошаммера, поскольку его «объективная» фантазия касалась кристаллов, я изучала и кристаллографию у Вульфа. Под влиянием Виноградова я хотела написать такое магистерское сочинение, где было бы показано, как немецкий идеализм, подобно Вавилонской башне, обрушился сам на себя и собою же себя задавил. Следующим шагом в подготовке магистерского был отъезд в Гейдельберг к профессору-богослову Эрнсту

Трёльчу, который один по мнению Виноградова мог располагать дополнительными сведениями о таинственном Фрошаммере. Рассказываю все это читателю, чтоб объяснить, каким образом перед самым началом первой империалистической войны я очутилась в немецком городке Гейдельберге, освященном любовью многих выдающихся русских людей. Не знала и не гадала я, прощаясь в апреле с Рахманиновым, что расстаюсь с ним надолго, на целых полтора, и каких полтора года!

Немного раньше меня выехал за границу Э. К. Метнер. Для него этот выезд оказался «навеки»: застигнутый войною в Дрездене, он перебрался в Цюрих и не захотел уезжать из нейтральной Швейцарии. Позднее он легализировался там, сделался швейцарским подданным, жил одиноким холостяком, переводя на русский язык трехтомное сочинение К. Юнга (одного из разновидностей Фрейда) и умер в одиночестве, в больнице, вдали от всех, кто был ему дорог. Меня война захватила во время паломничества моего пешком, с рюкзаком на спине, по городам Гёте,— из Гейдельберга через Франкфурт-на-Майне в Веймар,— и пережила я немало страшных минут, была интернирована в Баден-баденский концентрационный лагерь и оттуда, только благодаря отчаянным хлопотам моей сестры, жившей в то время у богатой тетки в Швейцарии и приславшей мне визу,— тоже вырвалась в Швейцарию.

Тщетно пыталась я убедить Э. Метнера в эту последнюю встречу с ним в Цюрихе уехать с нами на родину. Он был в невероятном озлоблении на все происходящее, считал, что наступили «сумерки богов» и что европейская культура обречена на гибель, и договориться с ним в этом его состоянии было невозможно. А мы рвались на родину, и рвались туда уже не совсем прежними.

Пережитый мной страшный опыт соприкосновения со вспышкой шовинизма, «ихнего» и «нашего»; волчий оскал людей друг на друга, жуткие сцены разворачивавшегося, какого-то железно-машинного немецкого милитаризма (мобилизации происходили на моих глазах), жестокость вторжения немцев в беззащитную Бельгию, это, с одной стороны, было большим уроком, сразу перенесшим меня из мира всяких умственных отвлеченностей на реальную историческую почву. С другой, подоспели и другие уроки, захватившие нас с сестрой целиком: пока мы жили

три месяца в Цюрихе, мы сразу окунулись и в революционную русскую литературу, которой до этого никогда собственными глазами не видывали; и начали усердно посещать разные русские собрания в цюрихских «Бирхалле» и «Алкохолфрэй», где со всей страстью молодости и новизны, с замирающими сердцами, впивали в себя политические споры русских «пораженцев» с «защитниками отечества», присутствовали, помню, на одном из докладов Алексинского, познакомились со студентами-большевиками. И симпатии наши сразу определились. Мы были всей душой с большевиками, хотя ровно ничего не понимали ни в марксизме, ни даже в политике. Но тут все сказалось сразу — годы борьбы с нуждой, постоянный напряженный труд, а в детстве, после смерти отца, постоянная материальная зависимость от теток; житье по «берлогам»; вечное ощущение, что настоящая, реальная жизнь это все-таки не та, которой живут даже самые обожаемые окружающие: фантастическая, выдуманная, высосанная из пальца у Мережковских; одинокая, изолированная в своей сугубой насыщенности культурой и творчеством у Метнеров. Захотелось окунуться в ту здоровую, простую, ясную и трезвую жизнь народа, миллионов людей, которые думают не о каком-то никому не нужном Фрошаммере, а о том, как устроить человечество лучше и честнее. Словом, мы с сестрой пережили «боевое крещение» большевизмом, сами того еще не зная. А впереди было еще много счастья: длительное путешествие на родину, задуманное теткой с пользой для молодежи,— двух ее собственных детей и трех племянниц, которых она везла,— с остановками в Италии, на острове Корфу, в Греции, на Балканах!

Только в 1915 году мы, полные впечатлений, вернулись наконец домой и очутились у матери в Нахичевани на Дону, где я тотчас начала работать как лектор, переводчик, журналист, и решила не ездить покуда в Москву. Поэтому все, что произошло в связи с войной, и сведения о Сергее Васильевиче, переписка с которым на некоторое время оборвалась у меня, я узнавала и получала из постоянных, подробных писем ко мне Анны Михайловны Метнер. Эти письма приходили и в Гейдельберг и в Цюрих; по ним я видела, как отношения между Рахманиновым и А. М. и Н. К. Метнерами без «мефистофелевского» (по определению Сергея Васильевича)

присутствия Э. К. Метнера постепенно росли и крепли, переходя в настоящую простую человеческую дружбу.

Начало империалистической войны пережилось, видимо, и в Москве, из-за вспыхнувших резко шовинистических настроений части интеллигенции, очень тяжело. Рахманинова и Николая Метнера неоднократно призывали в воинскую часть для освидетельствования; их освобожденье от фронта рассматривалось окружающими неодобрительно и с осуждением. Еще по цюрихскому адресу от 24 сентября 1914 года Анюта писала мне: «...У нас призывались Коля, Рахманинов и еще многие. Некоторые освобождены по негодности, как, например, Сергей Васильевич и Коля, и прозваны за это Ильиным [1] «физическими негодяями». В письме от 3 августа 1915 года: «...Объявлен пересмотр всех признанных негодными, и мы с Колей не знаем, должен ли и он являться...» От 12 августа: «Ему (то есть Рахманинову) тоже надо переосвидетельствоваться. Но ему уже гарантировано в случае принятия очень подходящее занятие — управление оркестром там же, в Тамбове, но он, разумеется, сможет поручить это другому». В письме от 28 августа: «Рахманинов являлся в Тамбов на вторичный осмотр и опять освобожден». Письмо от 19 октября: «Сейчас только по телефону узнала, что Коля освобожден...»

Н. К. Метнер и Рахманинов, как видим, несколько раз призывались и переосвидетельствовались и всякий раз освобождались на короткое время «по состоянию здоровья». Для того чтоб «гарантировать» Рахманинову на случай мобилизации работу по специальности, то есть управление гарнизонным оркестром,— нужно было пустить в ход немалые связи. А в те годы Рахманинову было уже порядочно,— за сорок лет! Так «берегло» царское правительство своих крупнейших творцов.

Но еще удивительней было отношение к этому передовой интеллигенции. Николаю Метнеру припомнили, что он «немец» по происхождению, хотя родной брат его (К. К. Метнер) и родной племянник (Шура Метнер) оба сражались на передовых позициях и погибли на войне. Анна Михайловна писала мне 23 января 1915 года

[1] Всюду, где упоминается фамилия Ильина, речь идет о философе-гегельянце, после Октябрьской революции белоэмигранте, И. А. Ильине.

в Нахичевань: «Письмо Ваше пришло в такой момент и принесло мне такое утешение, что можно было подумать, что Вы знаете, что я тут переживаю. Рассказывать об этом в письме трудно. Кратко могу сказать только, что мы с Колей все больше и больше остаемся одни. Для примера и без подробностей (кот. очень неприятны) приведу следующее: Марго (Маргарита Кирилловна Морозова.— *М. Ш.*) не одобряет Колинова поведения, считает, что нечестно сейчас не идти на войну, что Коля за немцев(!), чуть ли не то, что он трус и еще того гаже и все это говорилось не нам, а другим, причем приводились небывалые факты (вроде того, что Коля прибежал к ней в слезах и проч.). Вот что делает война!.. Накануне ее беседы о Коле с посторонними, она была у меня и с возмущением говорила о том, что гадко и возмутительно, что Рахманинов освободился. Вот до чего все одурели. Но главное, что меня тут прямо убило, это не то, что она совсем не поняла и опошлила Колю, а то, что это совсем не вяжется с ее благородным образом, все ее поведение и осужденье и все те общие места, которыми она вдруг заговорила...» [1]

Весной (точной даты не помню) в Москве происходил погром; громили всех, кто носил фамилию, похожую на немецкую. Это, по-видимому, устыдило Маргариту Кирилловну, между нею и Метнерами произошло объяснение, в результате которого старая дружба возобновилась, и она позвала их передохнуть к себе в имение в Калужскую губернию. Из этого имения, Оболенского, Анна Михайловна прислала мне очень интересное письмо: «Перед самым нашим отъездом сюда скончался Танеев, и мы застряли на три дня в Москве. Смерть Танеева произошла в деревне Дюдьково под Звенигородом. Крестьяне его так любили, что всей деревней пошли про-

[1] Когда писались мои воспоминания, мне было неизвестно местонахождение А. М. Метнер, и я не могла согласовать с ней вопрос о публикации отдельных мест из ее писем. Ознакомившись с уже напечатанными воспоминаниями, она очень жалела, что я опубликовала ее письмо о М. К. Морозовой, бывшей тогда еще в живых. Я сняла бы это место из своих воспоминаний, уважая ее волю, если б не грубый акт со стороны невестки М. К. Морозовой, Т. Р. Левицкой, разославшей по целому ряду учреждений свои письма, в которых она обвиняет Анну Михайловну и меня чуть ли не в подлоге. Это вынуждает меня снова воспроизвести письмо Анны Михайловны.

вожать и весь вагон, в который поставили гроб, был битком наполнен цветами. Это был прекрасный, милый чудак, как много в нашей матушке России, но, кроме того, и очень значительный крупный человек, как немного вообще везде». Вспоминает она и недавние похороны Скрябина — в апреле — и рассказывает, как на этих похоронах одна музыкальная дама чуть не доконала Рахманинова: «...увивалась вокруг Сергея Васильевича и то умоляла его закутать шею, то надеть шляпу, ахала над его плохим видом и так опасливо смотрела на него и покачивала головой, что бедный Сергей Васильевич от этих мук осунулся и потемнел на наших глазах. А когда она заметила это, то стала подсовывать ему стул, уверяя, что он больше не в состоянии стоять!..» Но главное — в этом письме Анна Михайловна, видимо, отдохнув и успокоившись после пережитого погрома, написала мне об этом погроме более подробно: «Дорогая моя, любовь к России и у нас... особенно обострилась за эти дни и выросла... С нами лично «фактического» ничего не было. Была обида, что мы чужие у своей родной матери. Коля прямо говорил, что т. к. он себя только и может чувствовать российским подданным, а она (Россия) как будто не хочет (в те дни так казалось), то ему остается перейти в небесное подданство. И был он так грустен, что на него больно было смотреть. Приютились мы на одну ночь у Рачинских, и то это не спасаясь, а только ради перемены впечатлений... Многих, таких же как Метнера (у которых прапрадеды были росс. подданные), разгромили в пух и прах».

Но в этом растущем одиночестве, как я уже сказала, Метнеры все чаще виделись и постепенно сближались с Рахманиновыми. Еще в начале ноября Анна Михайловна писала мне в Цюрих:

«Ваше описание всего, что Вы пережили, меня очень взволновало. И обрадовало то, что Вы не утеряли справедливости. Вчера как раз мы говорили о Вас с Сергеем Васильевичем. Были и Ильины, и потому я не могла почитать ему из Ваших писем, но обещала это сделать, когда он придет к нам опять. В этот раз он мне стал както очень мил, и я прямо не могла глаз оторвать от его милого лица. И вообще мы очень хорошо прожили этот вечер. Очень, очень не хватало Вас, моя дорогая, и Мили».

Всю зиму это сближение продолжалось, и 5 апреля 1915 года она пишет мне в Нахичевань на Дону:

«Вчера были у Рахманиновых. Там должны были собраться музыканты для того, чтобы обсуждать вопрос о принятии или непринятии одного нового композитора. Он очень настойчиво звал и меня, и причем пораньше других, т. к. Коле хотелось еще поговорить об одном деле. И вот мы сидели: он с Колей, а я с Натальей Александровной. Она показала мне девочек. Обе удивительно милы. Маленькая все не хотела лечь, не простившись с отцом, и ждала его, а он все говорил с Колей; тогда, наконец, ее пустили к нему в ночной розовой рубашонке, она была страшно мила, и он тоже. Я бы их обоих так сняла. У него тоже сделалось прелестное детское лицо, и вся эта картина меня глубоко тронула...' Серг. Вас. был в этот вечер особенно мил, мягок и уютен. Сидели очень поздно, и Коля был доволен проведенным вечером и все радовался потом, какой Серг. Вас. был милый. Он его таким страшно любит». Дальше, в том же письме, но от 11 апреля:

«Вчера вечером у Гольденвейзера виделись с Серг. Вас. Он уезжает на десять дней в деревню, а потом будет в городе дня на два, на три и уедет в Финляндию». От 21 апреля 1915 года: «Сегодня утром звонил Сергей Васильевич и звал к телефону меня. Оказалось, что это затем, чтобы предложить Коле поехать недели на две для работы в имение брата Натальи Александровны в Рязанск. губ. Помните, этот брат с женой были тогда у них? Это очень трогательно со стороны Сергея Васильевича, такая забота о Колиной работе, но Коля отказывается сейчас уехать, т. к. не хочет бросить уроков...» От 6 мая 1915 года: «Рахманинов с семьей уже давно в Финляндии». От 15 мая: «Два дня назад мы были у Гольденвейзеров, вдруг входит Наталья Александровна. Она, оказывается, не уехала со всей семьей, потому что у маленькой дочки сделался коклюш и ее никак нельзя было перевезти, и они вдвоем сидят тут больше недели в пустой квартире. Телеграммы летят взад-вперед. Теперь они наконец вчера уехали, т. к. Сергею Васильевичу удалось достать закрытый автомобиль, чтобы проехать там двадцать верст от железной дороги». От 12 августа 1915 года: «От Натальи Александровны получила письмо накануне их отъезда из Финляндии.

Они там хорошо пожили и ходили собирать грибы большой компанией. Серг. Васильевич большой любитель этого занятия. Теперь они уже в Москве». От 7 сентября 1915 года: «Чтобы не забыть, передам Вам сейчас поклон от Рахманиновых. Мы виделись с ними у Кусевицких, куда нас звали все лето и наконец-то мы туда выбрались. Имение старинное и очень уютно. Рахманиновы живут там, кажется, с половины августа, когда вернулись из Финляндии. Сергей Васильевич был в очень благодушном настроении и Коле рад. Видеть его вместе с дочкой Таней просто очарование. Они трогательные, заботятся друг о друге. Мы провели там с 5 ч. вечера до 5 часов другого дня. Серг. Вас. показывал нам свою одну новую вещицу: вокализ для пения без слов. Очень хорошо, и нам всем очень понравилось. Дольше мы там остаться не могли, т. к. у Коли были назначены уроки».

Привожу все эти выписки, могущие показаться читателю не очень важными, потому что они датируют определенные события в жизни Сергея Васильевича и могут пригодиться будущим его биографам.

VII

Осенью 1915 года в Ростовской-на-Дону газете «Приазовский край», читавшейся и в Нахичевани на Дону,— маленьком городке, который сейчас присоединен к Ростову и составляет один из его районов (Пролетарский),— появилось извещение: Сергей Васильевич дает в Ростове 20 октября фортепьянный концерт из произведений Скрябина. Я все еще оставалась в Нахичевани с января 1915 года и не видела Рахманинова больше полутора лет. С большим волненьем отправилась добывать себе и сестре билеты на 20-е. В дневнике моем на этот день короткая запись: «20 октября, вторник... Вечером концерт С. В-ча, огромное впечатление. Он исполнил скрябинские фантазии и 10 прелюдий ни с чем не сравнимо... Был Гнесин и другие музыканты. Поговорили немного с С. В. в артистической». За этой короткой записью память восстанавливает мне очень многое.

Исполнение Рахманиновым Скрябина для всех музыкантов и любителей музыки явилось полнейшей неожиданностью. Одни считали это с его стороны «дьявольским ходом», желанием «разоблачить, раздеть» Скрябина; другие возмущались «порчей» Скрябина, которого Рахманинов, по их мнению, огрубил и «превратил в terre à terre» (сделал чересчур земным) и что после «серебристого» исполнения самого Скрябина, в котором оживают все мельчайшие нюансы, слушать «прозаическую» игру Рахманинова просто невозможно. И, наконец, третьи (об этом писала и Анна Михайловна) видели в его исполнении Скрябина только «акт благородства, потому что он — благороднейший человек». Нам открылось в исполнении Рахманинова совсем другое, и при всей парадоксальности этого исполнения (на слух) я сразу почувствовала, что дело обстоит гораздо проще и серьезнее. В артистической мы условились с Сергеем Васильевичем, что на следующий день в шесть часов вечера он приедет к нам. Весь день 21-го так и назван у меня в дневнике «День С. В.». Мать моя захлопоталась, чтоб угостить его традиционными армянскими блюдами («хоть и не итальянские, а тоже вкусно»), флигелек наш мы приубрали, все наши соседи, жившие поблизости, вышли из домов, чтоб посмотреть на него «хоть краем глаза». Он приехал из Ростова на трамвае и оставался всего часа полтора, так как вечером же уезжал на концерты в Баку.

Первое его слово было: «Как я рад, что все осталось в том же ключе и не надо ни модулировать, ни «прогонять сквозь строй секвенций»!» Последние четыре слова, которыми когда-то я в высшей степени гордилась,— он взял в шутку из моей старой статьи о нем 1912 года. «Все в том же ключе» означало — ничего за полтора года в наших отношениях не изменилось, и встреча сразу зазвучала в прежней тональности, то есть все осталось таким же простым и легким для него, как было,— легким в смысле отдыха и отсутствия необходимости напрягаться. Конечно, сразу же, с первых минут, мы заговорили о Скрябине и о том, почему С. В. решил его играть: «Скрябин все-таки настоящий музыкант, милая Re, и сам он при жизни, к сожалению, часто это забывал и другие забывали. Сейчас стремятся создать какую-то заумь,— заумную школу исполнения Скрябина и окон-

чательно хотят похоронить то, с чем он родился на свет, то есть его природную музыкальность. Ну, а я слышу ее, всегда старался слышать в нем ее. И просто ведь долг одного, еще живого, музыканта перед другим покойным музыкантом — рассказать публике, как он слышит его музыку,— вот я и езжу по русской земле, рассказываю». Примерно так и я восприняла его игру: акцентированье на подлинно музыкальном в Скрябине, на том, что еще не изменяет музыке и не разрушает ее пределов — и в этом смысле 27 октября я написала статью в газету «Баку»: «Рахманинов — исполнитель Скрябина». Все остальное, о чем говорилось в тот вечер, я не очень помню (мы с ним опять больше «были», чем говорили, как он это всегда отмечал в нашей дружбе, считая самой лучшей ее стороной) и сделаю поэтому несколько выписок из дневника: «Был так хорош, мил и весел, каким я его давно уже не видела. Подшучивал над тем, что критики ужасно теперь довольны им и всячески его хвалят, так как пишут всюду «пианист Рахманинов», а слово композитор вычеркнули. Говорил, что будет только играть, а сочинять бросит, так как лучше «Колоколов» все равно ничего не напишет. Сообщил, будто Коля совсем раскис, не работает и хандрит. Это меня обеспокоило (Анюта ничего не сообщала!)... Записал все названия провинциальных газет, где я сотрудничаю, и объявил, что будет их непременно выписывать... Вечером пошла проводить его к трамваю».

Я выписала из дневника не все, но и не все записала тогда в него. Помню, как, прощаясь, он неожиданно сказал совсем другим тоном: «Сегодня — не в счет, мы с Вами не разговаривали, а... разговор обязательно у нас будет... Очень, очень надо поговорить». После этих слов я была убеждена, что он или напишет, или заедет на обратном пути, хотя никак не могла догадаться, о чем будет разговор, и очень боялась, что о чем-нибудь плохом для Николая Карловича.

В четверг 5 ноября я пошла в библиотеку, чтоб подчитать материалы к очередной из моих пятнадцати ежемесячных статей. Но работу мою прервала сестра,— она прибежала сказать, что посыльный привез письмо от Сергея Васильевича с вопросом, можно ли приехать ко мне завтра. Он писал:

«Милая Re, не могу ли я прийти к Вам завтра (пятница) от 5—6 часов вечера. Ответьте.

С. Рахманинов
четверг, 5 ноября 1915» [1].

Пятница 6 ноября опять была «днем С. В.», на этот раз очень продолжительным. Я так и не угадала, о чем он хотел поговорить. Оказывается — *о смерти.*

Это был очень необычный разговор. После ужина, до которого он почти не дотронулся, Рахманинов по привычке ссутулился на старом дедовском кресле и спросил меня очень тревожным и нерешительным тоном: «Как вы относитесь к смерти, милая Re? Боитесь ли Вы смерти?» В то время я еще не имела опыта «страха смерти» и ответила, что никогда о смерти не думаю и живу с таким чувством, словно буду жить вечно. Только спустя тринадцать лет я припомнила этот вопрос и смогла себе представить, с чем приехал тогда ко мне Сергей Васильевич. В 1928 году мне тоже пришлось пережить страх смерти, то есть вдруг со страшной ясностью представить себе, что ты должен умереть и что этого не избежать. Но как только ясно сознаешь, что обязательно умрешь, становится на некоторое время непереносно страшно. Несколько недель преследует эта ясность сознания «все умирают — я умру». Я не могла долго сидеть в кинематографе, смотреть, как движутся кадры,— со мной вдруг делался припадок ужаса смерти; среди разговора я внезапно холодела, и язык становился тяжелым во рту; в дороге — внезапно забегала в аптеку и просила дать валерьянки. Не выдержав этих состояний, я сказала о них моей матери, и она тогда ответила: «Это пройдет. Так бывает в определенном возрасте с каждым человеком, а потом проходит, и будешь жить по-прежнему, словно смерти нет». С тех пор я отвечаю и детям и близким, как мне ответила моя мать,— но в то время дать этого лучшего и вернейшего из ответов Сергею Васильевичу я не могла. Он, впрочем, как будто и не на-

[1] В публикации писем в журнале «Новый мир» № 4, 1943, есть грубые ошибки в датах, сделанные по вине журнала (я не видела корректур). Под письмом № 14 вместо 1915 года стоит ошибочно 1916; под письмом № 11 вместо 30 апреля стоит 30 августа, стр. 109; С. В. Рахманинов, Письма, 1955, стр. 469 (здесь даты правильны).

деялся на ответ, а скорей стремился поделиться своим состояньем, чтоб найти себе в этом облегченье.

Две пережитые одна за другой смерти — Скрябина и Танеева — страшно подействовали на него, а тут еще попалась какая-то модная книжка Арцыбашева о смерти, и он вдруг заболел ее ужасом. «Раньше — трусил всего понемножку,— разбойников, воров, эпидемий,— но с ними по крайней мере можно было справиться. А тут действует именно неопределенность,— страшно, если после смерти что-то будет. Лучше сгнить, исчезнуть, перестать быть,— но если за гробом есть еще что-то другое, вот это страшно. Пугает неопределенность, неизвестность!»

— А христианство две тысячи лет утешало людей загробной жизнью и личным бессмертием,— ответила я,— как странно, что две тысячи лет утешались, а сейчас именно этого и боятся.

— По-моему, совсем не утешались,— ответил Рахманинов,— наоборот, запугали до одури всякими адами и чистилищами. Личного бессмертия я никогда не хотел. Человек изнашивается, стареет, под старость сам себе надоедаешь, а я себе и до старости надоел. Но *там* — если что-то есть — это страшно.

Он вдруг как-то побледнел и даже дрожь у него по лицу прошла. В это время моя мать принесла из кухни и поставила перед ним поджаренные в соли фисташки. Эти фисташки он очень любил, и мы всегда заготовляли их для него во множестве. И сейчас он, незаметно для себя, увлекся ими, а потом придвинул к себе тарелку, посмотрел на них и вдруг засмеялся: «За фисташками страх смерти куда-то улетучился. Вы не знаете, куда?»

В этот приезд он очень много рассказал мне и о себе самом. Чтоб как-то не прибавить лишнего к этому рассказу, чересчур доверившись своей памяти, я просто перепишу сюда дословно записи из дневника. Они, правда, очень коротки, многое пропущено, зато все, что записано,— совершенно достоверно и сделано тотчас же, его собственными словами, хотя я и конспектировала его рассказ от себя, говоря о нем в третьем лице: «Он родился в Новгородской губ. в имении. Родители его мало любили. Кроме него, был еще мальчик, Аркадий. Эти родители живут сейчас в СПб., а с Аркадием он не знается.

«Червонный валет. Человек, с которым лучше не быть знакомым». В детстве они были состоятельны, и обоих мальчиков готовили в Пажеский корпус. Когда минуло семь лет Сергею В-чу, все изменилось, родители обеднели. Его отвезли в СПб., отдали в консерваторию. Три года он жил у бабушки (которую очень любил, и она его), не учился, подделывал все отметки (сам себе ставил пятерки и четверки) и вместо этого ходил на каток; в катанье на коньках дошел до виртуозности. Каждое утро она ему давала гривенник на хлеб и на чай, а он до обеда ничего не ел и употреблял этот гривенник на билет на каток. Потом приехали родители и обнаружили плутню. Сережу забрали и повезли в Москву, где поместили у профессора Зверева. Тут он начал учиться. Профессор был безумно вспыльчив и за четыре года четыре раза его сек чем попало за провинности. Но был прекрасный человек. «Лучшим, что есть во мне, я обязан ему». Шестнадцати лет С. В. бросил профессора и стал жить самостоятельно, частенько голодал. Потом женился на кузине Наташе. Большое влияние имел на него дед, отец отца, Аркадий Рахманинов. Он был музыкантом, у него есть и композиции (но слабые), но пианист он был (по словам Зилоти, тогда семнадцатилетнего юноши, хорошо это помнившего) гениальный. Мальчиком семи лет Сергей Васильевич играл с ним в четыре руки».

В последнее время мне попались несколько биографий Рахманинова (в том числе рукописная Софьи Александровны), и не во всем они сходятся с тем, что он мне сам в тот вечер рассказал, да и с тем даже, что через год рассказала мне Софья Александровна. Но я считаю долгом своим дословно передать и эту запись, сделанную хотя очень сокращенно, однако с абсолютной точностью по его рассказу. Считаю это долгом хотя бы потому, что знаю, как неверно дается сейчас, например, факт его отъезда за границу в 1917 году. Нужно ли приукрашивать, сочинять, создавать легенды о больших людях человечества, особенно в такое время, когда еще живут современники, знающие о них точные факты? Нуждается ли такой светлый, большой образ, как образ Рахманинова, в подрисовке, в идеализации? Мне кажется,— не надо этого, и я в своих воспоминаниях не хочу ни единым словом искажать то, что достоверно о нем знаю.

Продолжаю выписывать из дневника: «Про свое трио он сказал: «Я написал его двадцати лет, оно очень свежее и талантливое, но там есть масса незрелостей, и мне совестно его исполнять». Сообщил, что упросил Швейгера пригласить Колю на концерт в Тифлис. Мы уговорились устроить и в Ростове,— он поговорит с Авьерино, а я с Костей».

Нужно помнить, что для музыканта в то время устройство ряда концертов было возможностью хорошего заработка, поскольку устроители гарантировали ему определенный «фикс», и тут все они становились «конкурентами»: ведь число возможных концертов было ограничено. В этой постоянной помощи Рахманинова Николаю Карловичу, жившему стесненно и главным образом уроками,— сказалось обычное благородство Сергея Васильевича. Виолончелист Авьерино, старый друг Рахманинова, был в Ростове директором музыкальной школы (позднее — Ростовской консерватории, где я в 1917—1918 гг. преподавала историю искусства и эстетику), а «Костя»,— о котором упоминаю,— двоюродный брат мой К. П. Хатранов, был тогда директором единственного в Ростове так называемого Асмоловского театра, где происходили концерты, в том числе и рахманиновские. От них устройство концерта зависело в большой мере.

Слово свое о Метнере Сергей Васильевич сдержал: через несколько дней у нас был в гостях М. Ф. Гнесин и сказал мне, что «Рахманинов привел в недоумение всех музыкантов, настаивая и чуть ли не требуя, чтоб устроили концерт Метнеру». Но из этого ничего не вышло, так как устроители побоялись «убытка»: музыка Метнера не пользовалась популярностью в широких кругах, и ростовские музыканты Барабейчик и Ильченко «отказались играть сонату Н. К-ча, заявив, что она им не понравилась».

В тот же вечер Рахманинов долго говорил мне о своих планах, сообщил о любви к Шопену и о своей мечте, которая «пока ото всех в секрете»,— исполнять Шопена. И опять жаловался на душевную неудовлетворенность собой, усталость от концертов. Словно предвидя, что буду его корить за их количество и за эту легкую форму отдачи, отнимающую силу у творчества, он начал говорить о необходимости чувствовать успех, слы-

шать похвалу: «Это как кислород для артиста,— на концерте похлопают, согреют душу овациями и хоть на полчаса чувствуешь себя творцом. Как же мне иначе справляться с собой? Вот ведь шучу, шучу, а в глубине души плачу над собой, а сейчас даже и слез нет — такая пустота. Вот Лев Николаевич Толстой это отлично понимал. Он мне сам говорил на эту тему и об одном музыканте сказал, что тот погиб оттого, что его не хвалили».

Много еще было говорено в тот вечер. У нас служила тогда девочка четырнадцати лет, Маша,— редчайшей красоты, такой, мимо которой нельзя пройти, не остановившись. Когда она открыла ему дверь в передней, он долго ею любовался, потом сказал мне: «Такая красота — большой, редкий талант, берегите эту девчушку, чтоб ее не увели от вас и не испортили». И еще добавил: «Удивительный глаз у Чехова,— ведь он своих «красавиц» нашел именно в этих краях,— кажется, где-то в Донской области, помните его рассказ? И ведь это верно, я все время в Ростове оглядываюсь на девушек».

Машу мы не сумели уберечь,— ее мать взяла её у нас и выдала замуж за какого-то старого богатого купца. А Рахманинов вспомнил ее еще раз в 1917 году, опять в Ростове, когда мы встретились у Авьерино и там была удивительная красавица, тогда еще невеста, а позднее жена Авьерино, Мара. Перед нéй тоже нельзя было не остановиться, так необыкновенно хороша была эта Мара[1]. Сергей Васильевич шепнул мне тогда тихонько: «Видели? Опять ростовчанка. Ну не колдун ли Чехов? Я таких, как эти Маша и Мара, нигде, никогда не видывал».

Ушел он от нас вечером 5 ноября очень поздно, а на следующий день был его концерт. Играли Трио,— с очень неудачным скрипачом. На бис он сыграл Полишинеля и переложенную для рояля Сирень. Мать моя нажарила в соли фисташек (по его просьбе), и мы отвезли их ему на вокзал, как «средство против страха смерти».

---

[1] Судьба Мары Авьерино трагична. С юных лет эта красавица стала ухаживать во время эпидемий сыпного тифа за больными. Она долго не заражалась и говорила мне как-то, что у нее «иммунитет». Но вот, будучи уже замужем и ожидая первого ребенка, она все-таки пошла опять в госпиталь, заразилась и умерла.

VIII

Остается досказать про последние полтора года. В начале декабря 1915 года я, наконец, перебралась в Москву, списавшись предварительно с Метнерами и поселившись у них в Саввинском переулке, на Девичьем поле, куда они переехали из Траханеева. Видаться с Сергеем Васильевичем пришлось теперь очень часто, так как он бывал у Николая Карловича и один, и с женой, и с Гольденвейзером, да и мы ездили к нему, но говорить,— как разговаривали вдвоем на Кабанихе или в Нахичевани,— почти уже не удавалось. Жить становилось в России все труднее, чем дольше затягивалась война. У Метнеров часто не хватало масла, которое было трудно достать. И тогда их выручали Рахманиновы,— им доставляли продукты из Ивановки и всякий раз, как оттуда привозилось что-нибудь, Наталья Александровна звонила нам по телефону.

Тесней сошлась я за это время с Софьей Александровной Сатиной. Как-то в январе 1916 года, в отсутствие Николая Карловича и Анны Михайловны, она пришла ко мне в гости, и мы провели с ней чудесный вечер. В нашем отношении к Рахманинову были схожие черты, и духовные и эмоциональные, и может быть потому нам так хорошо было оставаться вдвоем и говорить о нем. Я опять прибегаю к дневнику, где коротко записана наша беседа. Софья Александровна тоже рассказала мне биографию Сергея Васильевича, но с некоторыми отличиями от его собственного рассказа:

«Жизнь С. В. делится довольно ярко на две половины, до тридцати и после тридцати лет. До женитьбы он вел жизнь безумно расточительную (в смысле потери времени), отвиливал от занятий, где и как только мог, часто впадал в беспросветное отчаянье. Переходом к иной, более размеренной и трудовой жизни явилась женитьба; отчасти этому помогло сильнейшее впечатление, оказанное на него какой-то книгой «О выработке характера», которую ему дали Соня и Наташа... Злейший враг С. В-ча — сорная травка, именуемая в Тамбовской губернии «цыганкой» (она есть в моем гербарии!). Он ненавидит эту травку до того, что собственноручно выпалывает ее на большом пространстве. Она растет во

ржи и портит молодые побеги. У С. В-ча не бывает размеренной работы; он переживает «полосы» — увлечения дирижерством, игрой на рояле, композиторством. И когда он в полосе дирижерства, то отрицает за собой всякий талант пианиста и композитора и бросает на целые годы играть. Когда он играет на рояле, то относится отрицательно к своему дирижерству и надолго бросает сочинять. Сейчас у него игральная полоса; вероятно, он будет кроме себя исполнять и других композиторов. Софья Александровна не сказала, каких — конечно, Шопена! Она сделала от себя очень любопытное замечанье: «Всякий раз, когда Сережа много концертирует, у него увеличивается работоспособность и охота к творчеству. После многочисленных концертов он всегда засаживается за писанье» (дневник, 10 января 1916 года).

Интересные вещи рассказывала в тот вечер С. А. Сатина и про себя. Она призналась, что ей очень хочется писать и есть о чем, но боится, что это ей не по силам. Три важных темы ее жизни — детство и юность С. В-ча; о развитии женского образования в России, так как ей пришлось учиться еще при жизни Герье с самого первого дня основания Высших женских курсов (тех, которые я окончила на несколько лет позднее ее) и она сама была личной участницей всей тогдашней борьбы за женское образованье; и, наконец,— о своей деятельности, как стенографистки и участницы Конгресса в Париже после русско-японской войны,— по вопросу о нашем столкновении с Англией из-за подводных лодок. Интересно говорила, помнится, о Герье, которого люто ненавидела.

В понедельник 18 января был концерт Рахманинова с обширной программой: кантата «Весна», Третий концерт для фортепьяно с оркестром — и после него на бис es'moll-ный «Moment musical», и, наконец, «Колокола». В пятницу 22 января Сергей Васильевич и Наталья Александровна были у нас в гостях и усердно звали летом в Ивановку (надо сказать, этот зов, адресованный и мне лично, и всем нам троим, и отдельно Николаю Карловичу, они повторяли упорно и ежегодно, причем ни разу никому из нас не удалось отозваться на приглашенье и побывать в Ивановке). Говорили о маленьком московском театре имени В. Ф. Комиссаржевской, которым мы с Метнерами в ту пору увлекались. А так как я, вдобавок, была неравнодушна и к артисту этого театра,

Ф. Ф. Орбелиани-Дибнеру, и принялась его расхваливать, то Сергей Васильевич в шутку насторожился и послал Наталью Александровну «на разведку»: «Наташа, сходи, пожалуйста, посмотри, что там такое творится!» В четверг 28 января «разведка» состоялась, хотя и неудачно: шла «Майская ночь», но Орбелиани заболел, и Левко играл другой артист.

В среду 10 февраля состоялся концерт Рахманинова, исполнявшего с Кошиц свои романсы. Н. К-вич и А. М-вна отправились на этот концерт, а я осталась дома. Вернувшись, они долго сидели со мной за ночь, расстроенные и ее исполненьем и преувеличенным отношеньем к этому исполнению Рахманинова.

Николай Метнер, написавший много замечательных песен (к сожалению, почти неизвестных советскому слушателю) и среди них — большой цикл песен на слова Пушкина, прелестное «Только встречу улыбку твою» на слова Фета и др., относился к вокальному искусству очень придирчиво и строго. Он как-то сказал: «Из двух зол,— отсутствия голоса, но присутствия тонкого вкуса и пониманья, или наличия голоса, но неимения ни настоящего вкуса, ни глубокого пониманья исполняемого,— я всегда предпочту для своих песен первое, а не второе».

Он ценил хороших, вдумчивых исполнителей вроде Ян-Рубан, уже с ним спевшейся и хорошо его понимавшей, и просто страдал от исполнения Кошиц, у которой при сильном и свежем голосе в исполненье было что-то чувственное, цыгански-театральное и крайне однообразное.

Одиннадцатого марта был концерт Метнера (все сказки, e'moll-ная соната и на бис «Импровизация»). Зайдя в артистическую, Сергей Васильевич на этот раз очень похвалил e'moll-ную (посвященную ему),— одну из самых сложных и длинных сонат Метнера. Похвала эта сопровождалась и очень милыми комплиментами хорошенькой Кошиц, которая тоже вошла в артистическую поздравить Н. К-ча (и если не ошибаюсь — познакомиться с ним).

Концерты Н. Метнера в Москве и в Петербурге были событием очень редким,— по одному, по два в год, изредка — с поездкой в Киев или еще в какой-нибудь крупный центр. Но эти редкие концерты были для слу-

шателей праздником. Всякий раз Н. К. Метнер знакомил их с каким-нибудь новым своим произведеньем и как бы отчитывался перед слушателями в своей работе за несколько месяцев. Волновался и переживал он эти концерты, готовился к ним — очень серьезно, бывал на них бледен до испарины,— и все мы, близкие, переживали это волненье с ним вместе.

Пианист он был замечательный, хотя совсем по-другому, нежели Рахманинов. Как сейчас помню его усаживанье за рояль; закинутую назад большую, крупную голову в каштановых кудрях, с выпуклым лбом, разрезанным горизонтальной морщиной, с крепко стиснутыми губами; вот он шевелит ими, словно что-то говоря себе, прикусывает губу; старательно, чистым платком, всякий раз заботливо ему сунутым в карман Анютой, вытирает пальцы,— потом еще и еще раз,— кладет цепкою, какой-то железной хваткой эти пальцы на клавиши и начинает, посапывая, подтягивая себе, забыв об окружающих, грандиозное строительство звуков, воздвижение музыкального здания, одной части за другой, с нерасторжимой логикой, с постепенным нагнетанием силы, с уходом в высоту, в высочайшие шпили и башни, а вы сидите, как заколдованный, все время чувствуя и переживая целое, охваченный этим целым при звучании любой детали, любой отдельной фразы из разработки.

У Метнера было собственное «туше»; он отрицал мягкое, ласкающее, смазывающее прикосновенье пальцев к клавишам,— у него имелся свой взгляд на искусство фортепьянной игры, своя школа пианизма и свой стиль, многим казавшийся жестким, суровым. Но как это жесткое и честное, без всякой сентиментальности, касание пальцами клавиш, как этот суровый, аскетический удар — умели выматывать удивительную глубину звука, шедшую, казалось, из самой сокровенной души инструмента, и как при таком «жестком» туше выигрывали внезапные нежно-лирические фразы его удивительных мелодий! У Н. Метнера не было «сумасшедших» успехов, но у него всегда был какой-то почетный достойный успех, заставлявший даже самых заядлых противников его музыки уважать ее и преклоняться перед личностью ее создателя. Больше всех чувствовал это «настоящее» в манере сам Рахманинов, чувствовал с болью за себя,— но с тем широким благородством сердца, ко-

торое заставляло его всюду и всем говорить о гениальности Метнера и пропагандировать его музыку.

Во вторник 15 марта у меня опять интересная, хоть и короткая запись в дневнике: «Нынче вечером у нас были Сергей Васильевич с женой и Струве... Сперва мы сидели за чаем и говорили о разных несущественных предметах. С. В. спросил меня, как я отнесусь к тому, что он напишет балет (ему Мейерхольд и Мордкин предложили написать балет). Поспорили немножко на тему о творчестве «на заказ». В конце концов я согласилась найти для него тему среди сказок Андерсена. Потом мы перешли в гостиную, С. В. стал просить, чтоб Коля показал ему новые песни. И вот за роялем: Коля, слева от него Струве, справа С. В., облокотясь на рояль, и тут же, возле его локтя, примостилась и я. Коля играл; Струве подпевал, закатив глаза, вслед за ним; а С. В. левою рукой играл мелодии песен, каждая нотка падала отчетливо, как бисеринка. Наслажденье я получила незабываемое. Ушли они очень поздно. Наталья Александровна еще раз настоятельно звала в Ивановку».

На следующий день я засела за сказки,— выбрала особенно нравившуюся ему «Русалочку», прибавила «Снежную королеву» и свой любимый «Райский сад» — последний разработала подробней остальных, дала характеристику каждого ветра, особенно остановилась на восточном,— китайском,— выписала даже для него пятитонную гамму и т. д. И тут же снесла все это С. В-чу, уже собравшемуся в Ивановку. Сколько знаю, из этого так ничего и не вышло, может быть потому, что я дала ему, в сущности, только комментарии и раскрытие образов действующих лиц, а не либретто, которое, вероятно, и было ему нужно. Если б мне тогда пришло в голову разработать для него, не мудрствуя лукаво, хотя бы из того же «Райского сада» или «Русалочки» простое, настоящее балетное либретто, очень может быть — у нас сейчас шел бы прелестный рахманиновский балет на текст великого датчанина. Во всяком случае, он не на шутку заинтересовался «Райским садом». В четверг 17 марта, перед самым моим отъездом в Нахичевань, а его — в Ивановку, он позвонил мне по телефону. В дневнике коротко записано: «Звонил С. В., очень благодарил за конспекты и попросил написать еще подробней о «Райском саде» из Нахичевани и дать такую же детальную

характеристику остальных ветров». Я представляла себе, как зазвучит в оркестре стремительный ритм Рахманинова, олицетворяя андерсеновские буйные ветры, которые суровая их мамаша запрятывала и увязывала в мешки за буйство, и как страстно станцует самого буйного из них — Мордкин...

Приехав в Нахичевань и «отбоярив» свои обязательные статьи в газеты (страшно сейчас читать в дневнике об их количестве и этом невероятном, длившемся годами, перерасходовании энергии на мелочи!), я тотчас засела за «Райский сад». В дневнике от 4 апреля: «Писала до вечера; все, что можно извлечь из сказки, извлекла, но боюсь, что письмо вышло нудное и не свежее, статьи губят мой «эпистолярный стиль»!»

В мае на короткое время я опять съездила в Москву. Запись в дневник от 5 мая: «Телефонировала Софья Александровна, передавала привет от больной Натальи Александровны (у нее воспаление легких, теперь, слава богу, дело идет на поправку)». Покуда Сергей Васильевич, как всегда один, ранней весной хозяйничал и пытался войти в «творческую полосу», Наталья Александровна простудилась в Москве и серьезно прохворала с апреля по май. Эта болезнь, видимо, так удручила и растревожила его, что творческие планы Рахманинова были сорваны. Во всяком случае, он попросил у меня через Софью Александровну уже не о развитии «Райского сада», а о новых текстах для романсов.

Весна выдалась у него тяжелая и неудачная, сперва — болезнь жены, потом — подагрическая боль руки (мучившая его всю последующую жизнь и перепугавшая, как пианиста). Нужно было что-то предпринять, чтоб справиться с этой новой бедой, и Рахманинов решил ранним летом поехать лечиться на Минеральные Воды. Врачи направили его в Ессентуки. А так как я должна была, по дороге в Теберду, где мы собирались провести с сестрой лето, тоже заехать на Минеральные, то он и попросил меня завезти ему туда тексты и, получив от меня адрес одной моей родственницы в Кисловодске, обещал прислать туда свой собственный адрес.

Лето на Минеральных выдалось необычайное; по-настоящему в первой половине июня стояла еще весна. Отошли дожди, небо без облачка, деревья в светлой, молодой, еще не густой, кудрявой зелени, пропускавшей зо-

лотые кружочки солнца на землю, дивный горный воздух Кисловодска, особая курортная празднично-яркая толпа в аллеях парка,— а на даче «Затишье» — ожидавшая меня открытка [1] Сергея Васильевича. В ней он давал мне свой ессентукский адрес и писал о встрече с Д. В. Философовым (бывшим другом моей ранней молодости по триумвирату Гиппиус — Мережковский — Философов). В первый же день по приезде я узнала, что Мережковские тоже в Кисловодске и до поездки своей к Рахманинову не удержалась и пошла к ним.

Встреча наша была очень тяжела, как бывает у близких когда-то людей, изживших свое отношенье дотла и уже не знающих, что им делать при встрече. Удрученная, ехала я к Сергею Васильевичу. Да и Ессентуки после Кисловодска показались пасмурными, с их сыроватым парком, совсем другого характера толпой — ожирелых и ревматиков и с пустынными, тихими уличками. Санаторий, где был Рахманинов, выходил в парк, неподалеку от источника.

Тогда санатории, как и все курорты вообще, были в руках частных предпринимателей, и хозяин, видимо, гордился «крупной птицей», попавшей в его сети.

Сергей Васильевич был окружен почти царским почетом. Лакей во фраке и в белых перчатках бесшумно появлялся буквально «по мановению» его руки. Две лучших комнаты — одна большая с роялем — были в его распоряжении. В коридоре — тишина, никакого присутствия посторонних, вероятно имевших отдельный вход. Но когда он, в каком-то сером, домашнем пиджачке встал мне навстречу и протянул руку и я увидела его милое, совершенно трагическое лицо, я сразу забыла и все свои собственные неприятности и эту «царственную» обстановку,— а только остро почувствовала, что ему нехорошо. Уселась я с ним на диванчик и стала всматриваться в его лицо, чтоб хорошенько, по глазам, увидеть, что с ним происходит. Вид у него был какой-то разваленный, измученный, шторы на окнах опущены,— даже муха не билась под ними, такая тишина в комнате,— а в глазах Рахманинова первый раз в жизни я увидела

[1] Два письма Сергея Васильевича ко мне — открытка из Ессентуков и письмо от 1916 года по поводу шести романсов были выставлены в 1938 году в Литературном музее на моем юбилее и кем-то выкрадены после закрытия выставки.

слезы. В течение всей нашей беседы он несколько раз вытирал их, а они снова выступали. В таком полном отчаянии я его никогда раньше не видела. Голос его все время обрывался. Он говорил, что не работает ничего, а раньше, бывало, весной всегда работалось в Ивановке; что у него нет никакого желанья работать и что его гложет сознанье своей неспособности к работе и невозможности быть чем-то большим, чем «известный пианист и зауряд-композитор»: «Если б я сам всегда только таким и сознавал себя, мне было бы легче, но ведь был же у меня талант в молодости,— знали бы вы, как легко, походя, чуть ли не в шутку мог я, севши за рояль,— сделать любую вещь, начать утром компонировать, а к вечеру она дописана, и ведь есть же еще во мне потребность творчества, но охота выявить ее, способность выявить — все это безвозвратно исчезло!»

Не могу тут передать всей священной для моей памяти беседы и всего того, что рассказал о своем состоянии Сергей Васильевич. Вот лишь немного из этой беседы:

Он рассказал о своей горячей, «отвратительной» (его слово) зависти к Николаю Карловичу, к тому, что каждый день у Метнера идет к завершенью, а у него каждый день к разрушенью: «Он живет, а я не живу, никогда не жил,— до сорока лет надеялся, а после сорока вспоминаю, вот в этом вся моя жизнь».

Он рассказал мне и о своей Первой симфонии, а я тогда еще не знала, как это сокровенно для него, и не придала его словам большого значенья. Он с каким-то усилием убедить меня отрицал ее аморфность, уверял, что все, о чем я ему постоянно пишу, в ней уже было и никто этого не увидел; привел пример с деревом — если прищемить пальцем его молодой побег, то оно остановится в росте, и вот его «прищемили так» на самой заре, когда он протянул свои побеги. Каждого, мнящего себя музыкантом, кому только не стыдно искать неблагозвучия в музыке, венчают лаврами новатора, объявляют передовым, оригинальным и бог весть чем, а его новаторство придушили в зародыше... Он говорил о невозможности жить в таком состоянье, в каком находится. И все это страшным, мертвым голосом, почти старчески, с угасшими глазами, с серым, больным лицом. Я больше молчала, только стремилась передать ему все мое

огромное сочувствие, всю веру в его большой талант и окутать его этой верой со всех сторон, так, чтоб ему сделалось легче.

Когда, наконец, он стал спокойней, я развернула привезенную тетрадку с заготовленными «текстами»,— пятнадцать песен Лермонтова и двадцать шесть новых поэтов, среди них и «Маргаритки», и «Крысолов», и «Ау», и «Сон», и «Ивушка», и «К ней»... все шесть стихотворений, на которые он создал потом романсы. Тут же, понемножку, мы стали разбирать их, смотреть волнистую графику к ним. Любимым моим из этих текстов был «Сон» Сологуба, и я долго ему рассказывала, как передала бы в аккомпанементе раздвигающимися (от секунды к септаккорду или октаве) созвучиями чувство неподвижного парения крыльев сна в безвоздушном пространстве:

Не понять, как несет
И куда, и на чем,
Он крылом не взмахнет
И не двинет плечом...

Постепенно Рахманинов «отошел», и лицо его чуточку порозовело. Он вспомнил, что он хозяин, и стал угощать меня чаем, вызвав «мановением руки» лакея в перчатках. Когда я собралась уходить, чувствовалось, что его страшная минута прошла, и он вернулся к себе самому. Вместе мы вышли, и Сергей Васильевич проводил меня до гостиницы, где жила тогда сестра Анны Михайловны, которую я хотела навестить.

Тогда же, в Ессентуках, он начал работу над этими новыми романсами, законченными осенью в Ивановке. Многие почему-то их считают более искусственными, нежели ранние его песни, и даже слегка осуждают за текст, взятый у символистов (может быть, молчаливо попрекая меня за него),— так по крайней мере вычитывается из некоторых работ о Рахманинове. Но это сугубо неверно. Все шесть романсов поразительно свежи и хороши. Критики писали о них, как о новой странице в творчестве Рахманинова; с очень большой, искренней похвалой несколько раз отзывался о них такой строгий и нелицеприятный судья, как Н. К. Метнер; о них говорила мне и Софья Александровна, как об огромном его достиженье, в своем роде «новом расцвете творчества», особенно о романсе «Маргаритки». О них, наконец, пол-

ностью отражая мнение Н. К-ча, писала Анна Михайловна: «...Вечер ромаисов Рахманинова прошел блестяще... Что касается вещей, то они очень хороши. Самые удачные: «Крысолов» Брюсова, «Ночью в саду» Блока и «Ау» Бальмонта. Эти три выделяются свежестью и прямо трогательной красотой» (26 октября 1916 года). Как видим, оценка вещей в целом — единодушна и очень высока, но каждый выделяет свое, а сам Рахманинов больше всего любил «Крысолова» и «Маргаритки».

Исполнение этих иовых романсов (с Кошиц) состоялось 24 октября. До этого и Рахманинов, и Софья Александровна, и даже Наталья Александровна делали очень настойчивые попытки вызвать меня в Москву на этот концерт. Именно тогда Наталья Александровна сказала Анне Михайловне: «Удивляюсь, как она (то есть я) могла так огорчить своего друга», а Сергей Васильевич сказал мне в нашу предпоследнюю встречу у Авьерино в Ростове (в пятницу, 23 января 1917 года), что я, видно, не чуткая, если не почувствовала, как глубоко хотел он видеть меня и быть со мной эту зиму 1916—1917 года...

Вдогонку мне из Нахичевани в Теберду пришло его письмо, написанное им 20 сентября 1916 года.

«Сегодня, приводя в порядок свой письменный стол, перечитывал некоторые из Ваших писем ко мне, милая Re!.. И, перечитывая их, почувствовал к Вам столько нежности, признательности и еще чего-то светлого, хорошего, что мне мучительно захотелось Вас сию же минуту увидеть, услышать, сесть с Вами рядом и хорошо, сердечно с Вами поговорить... Поговорить о Вас, о себе, о чем хотите. Может, помолчать! Но, главное, Вас видеть и сидеть с Вами рядом... Где-то Вы, милая Re? И скоро ли я Вас увижу?

С. Р.

20 сентября 1916» [1].

Но я уже ие могла отозваться. Я иа самом деле «перестала быть чуткой». Все лето 1916 года я писала ромаи «Своя судьба»; а летом 1917 года вышла замуж за Якова Самсоновича Хачатрянца, товарища по работе над исследованием армянских сказок.

---

[1] «Новый мир» № 4, 1943, стр. 109; С. В. Рахманинов, Письма, 1955, стр. 468—469.

Наша предпоследняя встреча — 26 января 1917 года — была в Нахичевани. Проездом через Ростов, где он давал очередной концерт, С. В. прислал мне с письмом свои новые романсы и позвал встретиться на квартиру Авьерино, жившего в то время при музыкальном училище:

«Милая Re, только сегодня, с большим опозданием, приехал в Ростов. Завтра утром выезжаю, чтобы больше сюда не возвращаться.

Хочу Вас очень видеть, но к Вам попасть не могу. Может, Вы согласитесь ко мне прийти сегодня, перед концертом, в Музыкальное училище?! Мы будем одни, обещаю Вам. Так часов в $6^1/_2$ веч. Можно будет посидеть часа полтора. Я буду играть, а Вы мне будете что-нибудь рассказывать! Хорошо? Посылаю Вам свои романсы.

Искренне Вам преданный *С. Р.*
26 января 1917.

Дайте ответ» [1].

Два часа мы с ним просидели у рояля,— я «рассказывала», а он упражнялся перед концертом. Мне было обидно, что шесть романсов на «мои», так любовно подготовленные для него тексты, он посвятил Кошиц, а он отшучивался на упреки. Потом вместе поехали на концерт (Вторая соната, Вариации на тему Шопена, Etudes-tableaux), а на следующее утро он уехал в Таганрог.

Последняя моя встреча с Рахманиновым произошла 28 июля 1917 года в Кисловодске. Мы с мужем узнали из афиш, что в курзале состоится торжественный концерт, устраивает его офицерство в День Займа Свободы. Выступало на концерте много «знаменитостей», и цены были «аховые». Из последних рядов глядели мы с мужем на сцену, и мне казалось, что я гляжу в обратные стекла бинокля на умалившееся, бесконечно далекое, уходящее прошлое. Вот вышел с речью о большевизме маленький черный Мережковский, шепелявя и вспыхивая глазами, и, вдруг поднимая голос до выкрика, он выводил большевизм из «антихристового начала» Петра I. За ним распорядитель в бантике вывел под руку высокую пожилую Гиппиус, она читала по бумажке тихим, знакомым сипо-

---

[1] С. В. Рахманинов, Письма, 1955, стр. 471.

ватым голосом ундины стихи, а потом потеряла на груди пенсне и, водя полуслепыми серыми глазами по эстраде, вдруг — заблудилась. Было мучительно видеть, как в течение минуты она беспомощно искала выход и чуть не свалилась вниз, не найдя ногой ступеньки. В июльский вечер 1917 года эти люди казались анахронизмом, и было почти символом близорукое топтанье заблудившейся Гиппиус. С ними прочь уходило прошлое.

Потом на эстраде в белой накидке на черном фраке (вечер был прохладен) появился раздраженный и злой Рахманинов. Он не хотел аккомпанировать Кошиц, а Кошиц капризничала и не хотела петь без него,— и, наконец, он уступил. В антракте мы подошли к нему. Кисловодская ночь была полна особых запахов — и роз, и южной земли, и дорогих духов, и сигар, и тополей. Мошки бились в столбах яркого света. Раковина сверкала огнями — в ней рассаживались оркестранты, во втором отделении Рахманинов должен был дирижировать «Марсельезой». Но он надолго затянул антракт, сидя с нами в одной из аллеек курзала и как-то не находя внутренней энергии на прощанье.

О чем говорили мы с ним? Я не могу не сказать всей правды об этой беседе. Рахманинов был удручен развитием революции, боялся за свое имение, за судьбу детей, боялся «остаться нищим». Он сказал, что переедет «в ожидании более спокойного времени» за границу со всей семьей. И я опять, как всегда, нападала на него, говорила, что уезжать сейчас из России — значит оторваться, потерять свое место в мире. Он слушал меня, как всегда, терпеливо и с добротой, но я уже чувствовала,— далекий от моих слов, чужой. Больше я его никогда не видела.

Что еще прибавить к этим страницам?

Рахманинов был крупным композитором, но пианистом он был величайшим, и выше, сильнее его в искусстве исполненья — эпоха наша не знает виртуоза. Игра его была абсолютной, демонической. Садясь за рояль, он мог вас уверить в чем угодно, в том, что его пустячок какой-нибудь, изящный и умный, но все же пустячок, вроде es'moll-ного Moment musical, не знает себе равного во всей музыкальной литературе — так сильно, так категорично было его воздействие на слушателя.

И вот один раз, во время антракта, когда в зале стояла буря неистового восторга и трудно было пробраться

через толпу, войдя к нему в артистическую, мы увидели по лицу Рахманинова, что сам он в ужасном состоянии, закусил губу, зол, желт. Не успели мы раскрыть рот, чтоб его поздравить, как он начал жаловаться: наверное, он выжил из ума, стареет, его нужно на слом, надо готовить ему некролог, что вот был музыкант и весь вышел, он простить себе не может и т. д.: «Разве вы не заметили, что я точку упустил? Точка у меня сползла, понимаете!» Потом он мне рассказал, что для него каждая исполняемая вещь — это построение с кульминационной точкой. И надо так размерять всю массу звуков, давать глубину и силу звука в такой частоте и постепенности, чтоб эта вершинная точка, в обладание которой музыкант должен войти как бы с величайшей естественностью, хотя на самом деле она величайшее искусство, чтоб эта точка зазвучала и засверкала так, как если б упала лента на финише скачек или лопнуло стекло от удара, словом, как освобожденье от последнего матерьяльного препятствия, последнего средостения между истиной и ее выражением. Эта кульминация, в зависимости от самой вещи, может быть и в конце ее, и в середине, может быть громкой или тихой, но исполнитель должен уметь подойти к ней с абсолютным расчетом, абсолютной точностью, потому что если она сползет, то рассыплется все построение, вещь сделается рыхлой и клочковатой и донесет до слушателя не то, что должна донести. Рахманинов прибавил: «Это не только у меня, это Шаляпин тоже переживает. Один раз на его концерте публика бесновалась от восторга, а он за кулисами волосы на себе рвал, потому что точка сползла».

Сергей Васильевич был великий труженик. Жили Рахманиновы сравнительно небольшой семьей, но Ивановка требовала кучи денег; они держали в деревне автомобиль, что в те времена было роскошью, доступной только богатым людям, ездили раз в год за границу, и Рахманинову приходилось очень много работать. Зарабатывал он главным образом концертами. Давал их полосами — полоса творческая, потом концерты, сразу концертов двадцать — тридцать, с поездками по главным городам России, потом отдых. И концерты эти он переживал как огромную для себя нагрузку, тяжелую страдную пору. Очень не любил, когда наступала концертная

полоса его жизни, жаловался на нее и главным для себя счастьем считал композиторскую работу. Но несмотря на то, что концертированье было ему тяжким, он ни разу, ни в одном глухом городишке не позволил себе легко отнестись к своему исполнению и все равно давал самое свое лучшее, самое первоклассное. Это всегда был Сергей Рахманинов, тот, кто и перед пустой залой, если он сел за рояль, должен создать, сотворить вещь, дать ее абсолютно, сгореть в ней и быть после игры выжатым лимоном, бледным до серой испарины, исчерпанным до изнеможения, молча полулежащим в антракте. Кроме внутренней творческой подготовки к исполнению, он всегда готовился к нему технически, играл по восемь часов в сутки обязательно, куда бы ни ехал и где бы ни был. Причем обычно он упражнялся перед концертом так: брал из вещи, которую должен был исполнить, фразу за фразой или такт за тактом и переводил каждый такт в арпеджии, прогоняя его вверх и вниз по всему роялю множество раз. Я частенько сидела с ним рядом во время таких упражнений и по его просьбе «рассказывала ему», но мне было страшно голодно по целому исполненью вещи, было такое чувство, что он дает от любимого лица сперва одни носы, потом одни подбородки, одни брови и т. д. Один раз я не вытерпела и сказала ему об этом. Он ответил наполовину шутя, наполовину серьезно: «Надо выгладить каждый уголок и каждый винтик разобрать, чтоб уже после сразу легче все собралось в одно целое».

Когда сейчас приходится слушать кое-кого из новых наших пианистов и видеть, как эти музыканты постепенно теряют то, с чем они выступали в начале своей профессиональной работы, как мало знают они сложную внутреннюю жизнь человека нашей эпохи и как легко завоевывают успех у наших слушателей,— невольно обращаешься мыслями к великой требовательности гения пианизма, Рахманинова. Как хорошо было бы, если б молодежь наша могла изучать методику великих исполнителей не по одной только граммофонной записи и если б могла она мерить себя строгим судом, каким мерили себя большие мастера пианизма! Тогда она, быть может, яснее почувствовала бы, какая это долгая и трудная дорога, нескончаемая — ни в одном возрасте, обязательная до последних дней жизни,— дорога самосовершенствования подлинного художника-творца.

Рахманинов был глубоко русский человек. Он любил русскую землю, деревню, крестьянина, любил хозяйничать на земле и сам летом брал косу. Когда Танееву не понравилась одна из его Etudes-tableaux,— картина русской природы с дождиком,— он мне сказал: «А моросяка-то моего Танеев так и не понял».

И ему пришлось умереть и быть похороненным в чужой земле. Убеждена, что Рахманинов тосковал по родине, очень страдал от разлуки с ней. И хочется, чтоб дух его музыки, уроки его мастерства, светлый и милый образ его как музыканта, огромная требовательность его к себе были восприняты молодым поколением советских музыкантов, освоены и вошли в советскую музыкальную культуру как дорогое наследство.

Кратово, апрель 1955

ЖОРЖ ЯКУЛОВ

(Устное выступление на вечере памяти Якулова)

I

Я не буду говорить о Якулове как о художнике и работнике театра, это сделают за меня другие. Я остановлюсь только на той области его работы, которая мне ближе, и свяжу ее с личными воспоминаниями. Дело в том, что Якулов, помимо своей профессии художника, был еще и литератором: он писал газетные и журнальные статьи, теоретические исследования, заметки, дневники. Частью они напечатаны, частью остались в рукописи. За несколько дней до смерти покойный просил меня помочь ему разобрать и систематизировать этот материал, но, к сожалению, я тогда не успела исполнить его просьбы и пришлось это сделать уже после его смерти. И вот, просмотрев оставленный им материал и освежив в памяти то, что было раньше напечатано, видишь, что покойный все эти годы, вернее семнадцать лет, думал над одной и той же темой и разрабатывал одну и ту же идею. Об этой главной теме Якулова, которую он мечтал превратить в теорию, называл своим открытием и которой, как компасом, руководствовался в практической работе, я и буду сегодня говорить.

Но сперва я хочу привлечь внимание к этой особенности характера Якулова: всю жизнь, и, вдобавок, жизнь, полную противоречий, человек продумывает с необычай-

ной пристальностью одну-единственную мысль. Между тем внешне он живет бурно и хаотично, полон непоследовательности, на каждом шагу изменяет не только своему вчерашнему, но и сегодняшнему дню. Кочует из города в город, из Тбилиси в Москву, из Москвы в Маньчжурию, Париж, Италию, опять в Москву, опять Тбилиси и, наконец, Ереван. Он начинает и бросает ученье, сперва в Лазаревском институте, потом в Училище живописи и ваянья. То работает как чистый живописец, то бросает чистую живопись для театра; ставит спектакли с самыми противоположными друг другу режиссерами, меняя Мейерхольда на Таирова, Таирова на Дягилева. Пробует свои силы в архитектуре, в скульптуре, в кино. И при всех этих внешних метаньях, при всей кажущейся уступчивости и податливости перед случайностями жизни и требованьями дня,— Жорж Якулов с фанатизмом сохраняет один и тот же интерес, одно и то же теоретическое умонастроение. Черта эта, то есть внутренняя последовательность и верность самому себе, в соединении с внешней легкостью, уступчивостью и переменчивостью,— очень характерна и всегда была характерна для Жоржа Якулова. Быть может, она объясняется его азиатской кровью и европейским воспитанием.

Я расскажу о первой моей встрече с Якуловым семнадцать лет тому назад, когда эта черта проявилась с удивительной и забавной яркостью. Дело было в конце 1911 года. Московский издатель Кожебаткин, описанный Мариенгофом в его «Романе без вранья», решил соединить имена двух «начинающих», мое и Жоржа Якулова, взяв у меня для печати книгу стихов «Orientalia», а ему заказав обложку. Художественные обложки тогда только что входили в моду. Художники относились к своей задаче очень серьезно, брали рукопись на дом, вчитывались в нее, беседовали с автором, словом, хотели не только нарядить книгу для рынка, но и связать ее внешний вид с содержаньем. Когда обложка была готова, мы вместе с Кожебаткиным пошли ее смотреть. Мастерская Якулова была маленькая, завешанная восточными тканями и заставленная китайскими панно. Сам он, на мой взгляд, и тогда был таким же, каким мы его видели в гробу: открытое смуглое, внимательно-ласковое лицо без возраста. Но когда я увидела обложку, мною овладело такое разочарование, что я стала ругаться со всем пы-

лом молодости. Разочарованье было идеологического порядка. Тема Востока в то время казалась мне медленной пластической формой, благообразной, строгой, мудрой, обращенной всеми своими страстями внутрь, как окна мусульманского дома. «Orientalia» я считала прежде всего целомудренной книгой и хотела, чтоб и читатели подошли к ней так. Между тем Жорж подошел к моей книге по-другому и сделал эротическую обложку. Верхняя половина ее была обрамлена несимметричным сводом, на манер персидских миниатюр. По этому своду, тоже во вкусе миниатюр, он набросал множество фигур животных и растений в самых безумных позах. Два тона, светло-желтый и оранжевый, создавали впечатление ветра в пустыне. Растения извивались во все стороны, звери дыбились, змеи корчились, а среди тигров и змей Якулов бросил друг на друга нагую пару людей. Протестуя, убеждала я его, что он ничего в моей книге не понял, взял не тот ритм, нарисовал польку-мазурку вместо adagio и т. д. Якулов выслушал меня без всякой обидчивости, с каким-то виноватым сожаленьем и полной внешней уступчивостью; схватил кисть, подошел к обложке, пробормотал:

— Ну, если так, мы это сейчас исправим, хотя ваши стихи эмоциональны, очень эмоциональны...

Он сделал несколько мазков, выпрямил горбы у тигров, усыпил змею, разлил по картине персидскую неподвижность, опустил ветви растений, нагую парочку смыл вовсе, а вместо нее посадил дерево и на дерево райскую птицу,— и, подавая мне новый вариант обложки, шутливо сказал:

— Вот вам вместо оргии рай армянской девушки!

Такая уступчивость не очень-то мне понравилась; она походила на особый вид упрямства. Книга появилась в печати с этой невинной обложкой, и, оказалось, что Жорж все-таки настоял на своем. Своими несколькими мазками он совершенно переконструировал обложку: свод из главной ее части превратился в простой и безразличный фон, а середина обложки, белая, образуемая неровными контурами свода, выпятилась вперед и приняла фигурный вид той самой обнявшейся парочки, которую Якулов смыл с фона.

Этот маленький эпизод типичен для Жоржа. Якулов был именно такой: его уступчивость была защитным цве-

том непобедимого упорства. С таким же упорством он продумывал и ту единственную идею своей жизни, о которой я упомянула в начале своего доклада.

II

В чем же заключалась эта идея? Говоря предсмертными словами самого Жоржа, это была мысль о «происхождении стиля из особенности восприятия солнца».

В своем дневнике-автобиографии он пишет:

«Как-то, наблюдая в призматический бинокль пейзаж, я увидел голубую спектральную полоску, которая, как радуга, обрамляла силуэты гор, деревьев и зданий... У меня возникла мысль, что разница культур заключается в разнице светов. Я стал строить теорию соотношения движения линий и цветов и тех психических особенностей в основных настроениях различных народов, которые этими линиями и цветами вызываются; и построил для себя эту теорию происхождения стилей, которой и оперирую в своем искусстве до сегодня».

Будучи в Маньчжурии и изучая китайское искусство, Якулов натолкнулся на связь между любимыми, «национальными» цветами китайцев,— голубым, зеленым и желтым,— с теми основными тонами, какие дает солнце китайскому пейзажу. Отсюда он вывел дальнейшее заключенье, что в различных частях земли солнце воспринимается не одинаково, и от того, как и каким данный народ видит свет,— зависит стиль и культура этого народа. В первую минуту такая мысль звучит наивно и невероятно. Однако же, вдумавшись в нее, начинаешь удивляться простоте наблюденья и тому, что до Якулова оно никому не бросалось в глаза. Солнце, разумеется, едино, однако же оно доходит до каждой части света не одинаковым, оно зависит в своей интенсивности, окраске, силе, ритме от угла падения, от среды, через которую преломляется, от сухости, влажности, от тысячи разных факторов. Солнце для жителя болот и для жителя пустынь светит не одинаково, и не одинаково, следовательно, возникают перед глазами художника контуры и формы предметов, потому что контур и форма зависят от освещенья.

В первой своей стадии, в стадии наблюденья, эта идея Жоржа Якулова о происхождении стиля из разницы освещенья была чисто живописной идеей. Такой именно она вылилась у него в очаровательной статье «Голубое солнце», помещенной в альманахе «Альциона» в 1914 году.

Но Якулов на первой стадии не остановился, он углубляет в последующих своих писаньях и силится обобщить эти наблюденья, перевести их на строгую почву научных законностей. К этому времени (к 1914—1918 годам) относятся первые его работы как «конструктивиста». У нас, между прочим, конструктивизм часто понимают как нечто абстрактное, думают, что можно сесть и сделать «конструкцию». Но конструкций «вообще» не бывает. Конструктивизм есть организация *данного* пространства в *данных* условиях и для *данной* цели, то есть всегда нечто крепко обусловленное.

Якулов был художником-практиком. Ему поручали «декорировать залу», приспособить помещение под клуб, поставить спектакль. Обычно эти задачи выполнялись внешним, орнаментальным, «украшательским» образом, отсюда и скверное старое слово «декорация». Но Якулов в своей работе остро ощутил фактор, которым до него пренебрегали, а именно фактор *пространственный*. Этим он, может быть, тоже обязан китайцам, поскольку китайцы не знают лживой победы над реальным пространством, а именно перспективного рисунка. Во всяком случае, Жорж Якулов стал чувствовать пространственный вес заказываемых ему вещей,— геометрические формы зал и эстрад, трехмерные ребра стен и потолков театральной сцены, углы, ромбы, круги, квадраты даже таких вещей, как костюмы на человеческих телах, поскольку они занимают некоторое место в пространстве. Он резко отбросил традиционный орнаментальный принцип, как имеющий дело только с плоскостью, и начал впервые создавать вместо прежних плоских декораций организацию глубин, ту организацию пространства, которая именуется конструктивизмом. Он сам рассказывает об этом в замечательно простых и точных выраженьях:

«В семнадцатом году я получил заказ на декорирование кафе на Кузнецком мосту... Войдя в помещение, я увидел, что здание образовалось из пространства между двумя домами, окна которых выходили в это по-

мещение, а полукруглый стеклянный потолок... образован был железными дугами. Я обратил вниманье на квадратные решетки стекол, назойливость которых нельзя было изменить никакими силами, иначе как вплетя их в общую композицию. Для этого надо было ввести принцип решеток и планок в декорировку. Архитектура подобного порядка была мне хорошо известна по китайским образцам, и я прибег к этой форме... Ввиду невозможности заказать арматуру и пошлости существующей, я решил сделать ее из отвлеченных форм и построить на частях вращений. Таким образом была решена форма, получившая впоследствии наименование конструктивной».

Мы видим из этого рассказа, что конструкция родилась у Якулова не в голове и он не пришел с готовым планом создать именно такую форму. Нет, он получил определенное помещение, с определенными элементами форм (квадратами окон и полукругами железных дуг) — и должен был *увязать* эти элементы в общий декоративный план. Конечно, банальный художник разрисовал бы это помещение сюжетными картинами и счел бы свое дело законченным. Но Якулов имел чувство пространства и поэтому должен был, для общей увязки существующих форм, создать конструкцию.

Постоянная необходимость работать в пространстве, а не по двухмерной плоскости полотна, приучила Якулова чувствовать не только формы, но и *свет* как *пространственное, трехмерное явление*. Ведь свет *проходит* через среду, луч света, преломляясь, заполняет не плоскость, а трехмерную глубину,— и этот второй опыт, по всей вероятности, и подвинул дальше его теорию о происхождении стиля. На этом втором этапе Якулов понимает краску уже как *ритм* (частота колебаний) и разницу между светами сводит к разнице между ритмами. Он начинает воспринимать спектры как явления пространственные, изучает, живя на берегу Черного моря, движение и спектр морских приливов и отливов, колебанья пламени и огня, переливы окраски птиц и животных.

Отсюда уже недалеко до последнего вывода, что стиль — явление не случайное, а вполне закономерное и что он связан, подобно музыке, со световым диапазоном каждого данного народа, как музыка связана с диапазоном звуковым.

Эту мысль Якулов не успел обосновать, он ее бросил только в наблюденьях и ряде намеков. Но для нас и сейчас ясно огромное значение этой мысли. Чего хотел Якулов? Он, в сущности, подводил под эстетику прочную базу *физики*,— и в этом был глубоко близок современности, и кажется, будто первая мысль этого тонкого художника, пройдя через все превратности его жизни, осталась и последней его мыслью, с которою он ушел от нас, так и не успев ее упрямо додумать.

8/I 1929

А. Г. МАЛЫШКИН

Александр Георгиевич Малышкин был настоящий, прирожденный талант и настоящий, душевный человек. Две стороны, артистическая и нравственная, не только не воевали в нем, не тянули в разные концы, ослабляя художника, а, наоборот, удивительно сочетались и в жизни и в его литературной и общественной работе.

Первым сильным впечатлением от Малышкина в начале знакомства с ним почти всегда и было вот это чувство цельности в нем художника и человека.

Помню, как-то мы с ним в первый раз пошли вместе домой с писательского собрания. Час был поздний, собрание очень сумбурное, и, когда Малышкин заговорил, я ждала от него, как от большинства из нас, обычных возмущений по поводу писательского неуменья и неорганизованности, обычных нападок на свою писательскую среду. Но Малышкин показал мне в пролете домов небо,— а было ясно и вызвездило,— и сказал совсем неожиданную вещь: «Вот вы, наверное, не понимаете в звездах, я тоже не понимаю, а представьте — Гладков звезды знает. У него даже зрительная труба была». И мимоходом, пока мы шли домой, он мне нарисовал совсем необычный, удивительно теплый и человечный образ Федора Васильевича Гладкова — старого педагога по профессии.

Такой же *человечной* была и реакция Малышкина на большие общественные события. Помню первые дни писательского съезда. Всех нас тогда немного лихорадило. Подобно древним грекам, мы застаивались чуть ли не

под каждым «портиком», обсуждая и пересуживая съездовскую проблематику, разные кулуарные новости и слухи.

Малышкин только что приехал с юга, вошел в зал и, тоже очень возбужденный, подходит к группе очередных спорщиков. Его спрашивают: «Ну, а вы как?» А он отвечает: «Да, да, я очень взволнован, хожу как во сне,— трогает заботливость нашего правительства о писателе, ведь никогда и нигде не было такого отношенья к писателю!» И всем спорщикам сразу стало как-то стыдновато, что впопыхах, занявшись частностями, мы заслонили в себе главную, основную эмоцию съезда, забыли про переживанье самого объекта, самого факта такого съезда, небывалого в истории,— а Малышкин свежо и человечно, и в то же время необычайно просто выразил эту главную эмоцию за всех нас.

Про Малышкина иногда приходилось слышать, что он будто бы «мало активен», потому что не выступает с трибуны. Это неверно. Всеми большими политическими событиями он горел и остро их переживал, но говорить на собраньях не мог. У него был маленький, в быту совершенно незаметный недостаток речи: нервная скороговорка, вместе с заиканьем. Когда предстояло выступать публично, он сильно волновался, и волнение чрезмерно обостряло этот недостаток. Потому-то и приходилось отказываться от выступлений. Замечательно, что в своем «Севастополе», в самом сильном месте речи Шелехова перед матросами, Малышкин, сливаясь со своим героем, вдруг делает его косноязычным (заставляет его выкрикнуть последнее слово, заикаясь, и резко его оборвать); именно это и придает огромную силу выступленью Шелехова, а психологически вы тут невольно чувствуете голос и интонацию самого Александра Георгиевича. Но если он не мог говорить с трибуны, то в кругу близких, где нервное напряженье покидало его, он был замечательным рассказчиком. Мало кто знает, что Малышкин создал особый жанр устной «новеллы».

Бывало, на каждой вечеринке просят его: «Александр Георгиевич, расскажите новеллу!» И чуть ли не в десятый раз с наслаждением слушаешь его, как он мастерски рассказывает эти никогда не написанные повести. Малышкин не импровизировал своих новелл. Он просто

брал какой-нибудь житейский случай, чаще всего из личной жизни, и задолго до рассказыванья вынашивал, обдумывал его, шлифовал в своем воображении, как настоящее произведение искусства. И никогда не записывал. А жалко, что эти прекрасные образцы устного повествования так и погибли с его смертью. Особенно запомнился один рассказ про девушку-работницу, которую Малышкин повстречал летом в Парке культуры и отдыха, пригласил к себе гости, заговорил с ней, приноравливаясь, как он думал, к ее малограмотности, а девушка подошла к роялю, подсела и запросто сыграла «Кампанеллу» Листа.

В основу этой новеллы легло настоящее происшествие с заводской работницей-музыкантшей.

Выйдя из крестьянства, Малышкин страстно любил народ, тосковал по общенью с ним. Иногда он пропадал по два, по три дня в рабочей среде на московской окраине.

Когда он узнал, что получит автомобиль, то страшно разволновался. На подшучиванье друзей он воскликнул: «Вы что думаете, мне девушек катать? Я в деревню, на родину, в автомобиле поеду!» Он мечтал о том, как приедет в Мокшан, где еще живут друзья его детства, игравшие с ним в бабки, приедет не как-нибудь, а советским писателем на собственной машине — «себя показать и людей посмотреть», как посетит все родные уголки и места. В Мокшан он действительно съездил, но уже перед самой смертью и не на автомобиле. Кровную связь с народом, с местом, где родился, Малышкин всегда чувствовал очень остро, и этой связи он обязан самыми сильными своими образами — Полей, Тишкой, Журкиным, Подопригорой, самыми лучшими страницами своего последнего романа «Люди из захолустья».

Критики, кстати сказать, не поняли особенностей языка этого романа: Малышкина винили в вычурности, в выдумке, в витиеватости, тогда как он в «Людях из захолустья» просто употребил некоторые чисто местные пензенские выражения.

Но, при всей кровной связи с крестьянством, в обиходе и вкусах Малышкина и намека не было на сусальное «лапотничество», каким любят иной раз щегольнуть псевдонародные поэты. Наоборот, он был человеком города и большой городской культуры, и в нем всегда не-

много чувствовался старый петербургский студент-филолог, кончивший университет как раз перед революцией.

Малышкин любил французскую прозу, хорошо знал французский язык. Мы жили в одном доме, и когда мне случалось покупать старые книги у букинистов, он непременно прибежит и выберет французский томик для чтения. Раз мы с ним таким образом «открыли» для себя Поль-де-Кока, писателя с совершенно несправедливой репутацией. И помню, как сильно обрадовался Малышкин, когда я сказала ему, что и Белинский и Маркс высоко ценили Поль-де-Кока.

Малышкин был депутатом Моссовета двух созывов,— депутатом очень активным. И вот это единство художественного и морального начала, о котором я выше упомянула, как об основной черте личности Малышкина, проявилось в его депутатской работе очень своеобразно.

Однажды, когда он жил в Голицынском доме творчества, ему позвонили из Моссовета и предложили обследовать быт железнодорожных сторожей по обе стороны от станции Голицыно. Малышкин в то время работал в железнодорожной секции. Был, помню, морозный, солнечный день. Малышкин тотчас отложил перо, вышел в валенках и шубе, пропадал несколько часов, и за обедом мы увидели его очень возбужденного, покрасневшего от мороза.

С неподражаемым мастерством он нам рассказал о том, как шел вдоль полотна в тишине зимнего дня и как он зашел в первую избушку: «Сама хозяйка — кривая...» Малышкин помедлил немного, потом продолжал: «За ней вышла ее дочь — тоже кривая!». Он опять помедлил для эффекта, а мы уже заранее насторожились. Так и есть: «Подбежала девочка, и девочка кривая на один глаз».

В самой избе тоже все, оказывается, шло криво: грязь, клопы, сени запущены, полотенце год не стирано, печь не топлена, на столе — сухоеденье, и хозяева сразу уселись и затянули перед ним нудные жалобы.

Малышкин пошел дальше — в другую избушку. Видит — сидит там веселый паренек, на кровати горы взбитых подушек, на полочке — книги, на окнах — занавески, в печи — пирог и в сенях — сытый кот, а на самом

почетном месте в избе — гармонь. Когда я хотела было возразить, что нельзя же связывать неряшливость с личной бедой, кривоглазьем, а гармонь — с чистотой в быту, он страшно разгорячился и затвердил: «Да, да, да, именно так — только так я и воспринимаю вещи». И мы почувствовали, что тут действительно есть принципиальность для него.

Это было редчайшее личное восприятие художника,— то, что делало его обследовательскую работу не похожей на другие работы, и, как это всегда бывает в искусстве, здесь, несмотря на парадоксальность и неполноту, было заложено больше зримой жизненной правды, чем в сухом, обычном отчете. Разобравшись поглубже, видишь, что данные им образы *живут*, что их можно *раскрыть*, и мы в конце концов согласились с ним, что кривоглазье ведь и в самом деле не врожденный, а наживной недостаток, и когда кривоглазы все три члена семьи, можно с большой вероятностью предположить семью неряшливую, озлобленную, как оно и оказалось на деле. А «гармонь на самом почетном месте»,— организующая, гармонизующая роль музыки в семье — сразу дает тон веселому и аккуратному быту молодого железнодорожника.

Моссовет получает десятки и сотни отчетов от своих депутатов, но такой, как малышкинский, где вместо цифр встали живые люди, наверно, не позабудется и не затеряется.

Способность художника выполнить общественную работу не формально, отвлекшись от своего оружия и ухватившись за чужой казенный штамп, а выполнить ее глубоко конкретно, вкладывая в эту работу всего себя, все богатство своей профессии,— это и есть признак единства между художественным и нравственным творчеством, между артистом и гражданином.

В быту Малышкин казался человеком разбросанным, без определенного распорядка дня, и мне вздумалось как-то высказать ему огорченье, что он «зря ухлопывает свои силы и время», не организуя этот хаос в своей рабочей комнате, в письменном столе, в календарном плане работы. Он тотчас же с горячностью отозвался: «Да, я на вид богема, совершенная богема, и у меня совсем нет никаких календарных планов. Но тот вовсе меня не знает, кто не чувствует, что при всей моей слабости, подат-

ливости, я очень тверд в некоторых вещах и у меня есть свой собственный выработанный метод, которому я никогда в часы писанья не изменяю».

Можно много рассказать об этом выработанном творческом методе Малышкина, о его чисто литературной технике; о том, как буквально подвижнически, уже неся в себе страшную болезнь, еще не зная о ней, он годами писал свой последний роман, борясь за чистое звучание каждого слова...

Но это — особая, большая тема.

1938

ОБОРОНА МОСКВЫ

Воспоминания

1

Пройдут десятилетия — и тысячи страниц испишут о том огромном, что мы называем сейчас «обороной Москвы». Ученые будут рыться в документах, в газетах; для художников станут драгоценными каждая мелочь, каждая черточка, уцелевшие от забвенья и не поглощенные временем. Вот почему каждый из нас, очевидцев и современников, должен по свежему следу, пока не начала изменять память, записать все пережитое. Нужды нет, что не получится целого, не будет охвачено все,— одному человеку это и невозможно. Главное — каждый из живых людей в необозримом количестве впечатлений и фактов подметит что-нибудь одно, свое, и вот об этом своем и скажет.

Для меня таким «своим» было по-новому яркое ощущение советского строя в войну. За каждым отдельным фактом обороны вставала вся наша система, открывались те преимущества, которые она доставляет нам и которые мы должны научиться полностью использовать. И первым в этой цепи впечатлений оказался обыкновенный советский дом.

Четверть века мы прожили без домовладельцев; только старики еще помнят, что было время, когда адрес писали просто «Миллионная улица, дом Андронникова», и на длиннейшей улице почтальон, извозчик или пешеход каким-то образом без нумерации находили нужный дом.

Какой странный лес неизвестностей и неожиданностей представляли собою эти «частные собственности»! Контролю они были очень мало доступны, в их недрах могли годами таиться притоны, совершаться жуткие драмы, умирать голодной смертью, делать фальшивые деньги. До сих пор в европейских городах есть целые кварталы, куда просто нельзя ходить после наступления темноты и где полицейский не проникает дальше освещенного фонарем пространства на перекрестке, потому что это небезопасно для жизни. В старых гаванях, в портовых городах, с людьми «все может приключиться», и, главное, об этом никто не узнает. Но если бедно одетый человек в вечернюю пору окажется на улице, где живет лишь денежная знать, за ним будет следить недреманным оком полицейский, подойдет к нему, спросит, откуда он и зачем, выведет его из квартала дорогих вилл, как выводят вон бедно одетых людей из ресторанов, из парадных подъездов. Это мир старых взаимоотношений, мир собственных домов, собственных участков земли. И дома, как люди, отделены один от другого непроходимыми пропастями, между ними, как говорится, «нет ничего общего». Как же трудно объединить такие дома в едином действии, если этого потребует историческая минута!

Но мы, советские люди, в первые недели войны могли наблюдать удивительное зрелище — как наши дома: и старинные дворцы, и деревянные, одноэтажные где-нибудь возле заставы, и огромные блоки на новых улицах, самые разные по виду, возрасту, расположению, как эти дома почти мгновенно сорганизовались, объединились, словно мобилизованные в военном строю. Мы в этих домах жили, не задумываясь об их управлении. Про управдома вспоминали, когда нужно было кого-нибудь обругать. Но сейчас он и весь обслуживающий состав дома — лифтерши, истопник, дворник, а там, где их нет, домохозяйки, выборные от жильцов — сделались проводниками системы, частицами единой, сильной, необычайно подвижной организации. Одно и то же стало обязательным для каждого дома, и все как один на глазах наших с осязаемой быстротой проделали переход на оборонное положение. Синяя лампочка на лестнице, синие наклейки на окнах, мелом подчеркнутые перекрестки, заложенные доверху мешками с песком зеркальные витрины, кадки, ведра, лопаты, песок и вода — все это одновременно и

почти мгновенно водворилось по всей Москве. Стали у ворот дежурные, появился уполномоченный по дому: наверху, на чердаке, захозяйничала пожарная бригада. И вместе с этой военизацией домов как-то сразу опрозрачнилась перед нашими глазами вся улица, прозрачными стали дома, ясней, глубже, убедительней увидели мы наш коммунальный советский быт, советские отношения, пережили то особенное, острое, только в нашей стране знакомое, повсеместное чувство домашности, уверенности, что нет ни единого закоулка в нашем городе, где не стояла бы такая же прозрачная общественная ясность, где не было бы все той же налаженности советской структуры.

Должно быть, так было в каждом из наших городов, но в Москве особенно сильно. Москва стала с первых дней войны показательным участком обороны. В ней не только ставились и решались все основные вопросы войны, но в ней изо дня в день шло оборонное творчество. Оправдали себя самые разные организации: художественные, научные, культурно-массовые — все они начали работать на оборону. Первый период их работы был чисто педагогический, разъяснительный: листовки, плакаты, радио, кино, агитпункты, статьи, учебные фильмы, лекции, графика, иллюстрации стали объяснять населению, что такое воздушная атака, что такое фугасные и зажигательные бомбы, как с ними бороться. Изо дня в день велось это разъяснение. Через пластический образ в кино москвичи усваивали нервами, мускулами, внутренне повторяя в себе движенья, увиденные на экране, весь процесс борьбы с бомбой. Позднее, когда они с этой бомбой столкнулись в жизни, они показали чудеса находчивости и отваги. Можно сказать, что в первые недели войны сдала экзамен на «отлично» многолетняя советская практика пропагандистской, массовой работы.

Потом начало сдавать экзамен искусство. За прямой агитацией последовала художественная. Вместо листовок и разъяснений на стены вышли стихи и карикатуры; возникли замечательные содружества текста и рисунка, такие, как Маршак и Кукрыниксы. Стал изменяться и весь облик Москвы. Неотложной стала задача так называемой «маскировки» города, чтобы вид сверху на городские объекты сделался новым и чтобы хищник в небе потерял свой ориентир. Советские архитекторы сумели

и к этой специальной задаче, подчиненной строгим законам оптики и геометрии, подойти творчески.

Строитель как бы должен спасти то, что построил, при помощи средств, внешне уничтожающих красоту и тектонический облик воздвигнутого им здания; он должен дезорганизовать архитектурное целое, запутать и перечеркнуть линии, высокое показать низким, широкое — узким, спрятать декоративные части — скульптуру, колоннаду. И подобно тому, как показала себя в первый период войны культура пропаганды, советское искусство показало, что оно недаром прошло школу массовости. Маскировка Москвы, за малым исключением, представляет собой одно их самых замечательных проявлений творческого мышления наших архитекторов. Я не знаю, задумывались ли они над тем, что стены и улицы — внешние воздействия форм — это тоже пропаганда, и притом непрерывная; не знаю, обсуждали ли они вопрос о разных впечатлениях от красок — бодрящих, угнетающих, раздражающих, мобилизующих. Но факт тот, что свою задачу они проделали с огромным вкусом и учетом двух разных зрительных моментов — сверху и сбоку. Для врага — дезориентир, маска, провалы, путаница; для самих москвичей — ломка привычных форм и раскраска, агитирующая, как плакат, возбуждающая чувство героики чувство необычайной важности наших дней. Косые линии были использованы, как букеты знамен и флагов в дни больших советских праздников; цвет — как иллюминация. Многолетний наш опыт празднично поднимать город, заставлять его участвовать в движении толп, организовать это движение, звать к маршу помог архитекторам внести в маскировку такую агитационную силу, такой общественный элемент, о котором вряд ли и помышлять могут архитекторы на Западе.

Все это лишь первые, беглые, внешние впечатления, но они потом росли и росли — от поведения наших художников в тылу и на фронте, от той большой роли, которую начало играть искусство в подъеме оборонных настроений, в мобилизации масс, в объединении людей.

Советский строй умеет приводить в единое и слитное движение огромные человеческие массы. У нас указывалось на необычайную подвижность и маневренность немецких войск, умеющих сняться с места, исчезнуть в одном направлении и оказаться в другом с очень большой

быстротой и неожиданностью. Но такая мобильность достигается техникой, знаньем чужой топографии, выучкой, и в ней нет никакого нового принципа — она движется моторами.

Советская маневренность родилась не из техники, не из шпионского изучения чужих дорог и болот. Она родилась из служения народу и его интересам; из подчинения своих личных настроений общим; из понимания объективных задач истории; из незаметной, десятками лет копившейся самоотверженной партийной работы,— от самых маленьких и, казалось бы, ничтожных участков до вершин руководства в нашей стране. Это мы имеем, это наш реальный, драгоценный, неоспоримый опыт.

А там, где у нас срывы и недочеты, где мы плохо работаем, непременно оказывается, что этот опыт забыт или отсутствует, новые общественные принципы в загоне, люди сползли на старинку, оторвались от масс. И недочеты наши, как исключения в грамматике, лишний раз подтверждают бесспорность общего советского правила.

2

Очень большое значение получили в первые дни войны голоса людей. Мать говорит сыну-красноармейцу по радио; это частное письмо, сказанное вслух. Пишут люди из одного осажденного города в другой, перекликаются, дают весточку близким. Разговаривают ученые нашей страны с учеными союзнических Англии и Америки. Голосам этим особенность исторической минуты — грозность условий, постоянная опасность (враг близко, город под обстрелом) — придала новое качество. Обычная форма таких высказываний, уже имевшая свой трафарет, сейчас пропиталась личным, теплотой, искренностью; «на людях» голоса зазвучали так же интимно, как и в четырех стенах своей комнаты. И в то же время все личное стало восприниматься как общее, как вышедшее за пределы собственного мира двух разговаривающих. Это очень хорошо понимал Лев Толстой. В сценах «Войны и мира» сквозь случайный диалог двух незнакомых людей, задетых за живое, сквозь солдатские реплики, словечки из толпы, всегда жизненные, всегда о своем, глядят эпоха и обстановка.

Особенно запомнились мне два голоса, может быть, потому, что за одним из них встало далекое, знакомое лицо. Наш советский физик с мировым именем, П. Капица, перекликнулся с английским мировым ученым, физиологом Арчибальдом Хиллом. Знали они друг друга, вероятно, давно: П. Капица долго жил в Англии. И каждый из них, выступив, заговорил не о своей стране. П. Капица написал в «Вечерней Москве» 14 августа 1941 года:

«Передо мной лежат номера журнала «Нэчур»[1] за 1941 год. Мы, ученые... привыкли читать в этих номерах описания вновь созданных научных учреждений, институтов, библиотек и музеев. Теперь в каждом номере я читаю перечень разрушенных фашистскими бомбами и пожарами сокровищ мировой культуры. Повреждены и разрушены здания университетов в Лондоне, Ливерпуле, Бирмингаме и других городах. Повреждены Британский музей, Гринвичская обсерватория... Разрушены и повреждены памятники искусства Лондона, включая творения самого великого зодчего Англии Кристофера Рена...»

Ученый спрашивает как бы в недоумении: «Неужели это возможно в наше время? Ведь... Британский музей находится в центре Лондона. Рядом нет военных объектов. Нечаянно бомбить его нельзя».

И отвечает: «Это все только указывает, что фашизм в своем озверении разрушает мировую культуру, науку и искусство. Они ему непонятны, как не были понятны варварам, в средние века наводнявшим Европу...»

Покуда Капица вспоминал уютные залы Бритиш-Музеума, чудесные архитектурные памятники Лондона, «веселую старую» Англию во всем своеобразии прелести ее старины, Арчибальд Хилл в Лондоне припомнил больницы, лаборатории и клиники Советского Союза, бесконечную перспективу Андреевского зала в Кремле, стройную колоннаду Казанского собора, набережные Ленинграда.

В 1935 году он был у нас на мировом Физиологическом конгрессе в качестве постоянного ученого секретаря или вице-президента этого конгресса, уже не помню точно. Приехал с женой, сыном и дочерью и сразу всю публику конгресса очаровал своей английской моложавостью, выправкой и спортсменскими замашками. Помню,

[1] Природа *(англ.)*.

как этот шестидесятилетний красавец юноша вспрыгнул в Детском Селе на мраморные перила чуть ли не в полтора метра вышиной,— прыжок, от которого любой подросток ахнул бы от зависти.

Арчибальд Хилл не всегда был с нами. Но сейчас, с войной, он сделался нашим настоящим другом и настоящим помощником. Надо знать его огромный мировой авторитет и всю силу его голоса, чтобы оценить по достоинству страстную речь, которую он произнес по радио. В конце этой речи, еще совсем прежним, юношески веселым голосом, с величайшей английской непосредственностью и юмором, Хилл воскликнул в микрофон: «Давайте забудем все глупости, которые у нас в Англии раньше говорились, давайте действовать сообща!»

Это восклицание как будто прорвало шлюзы между двумя культурами. Мы очень долго и прочно держали связь с французским искусством, у нас были традиционные связи с германской наукой, но Англия и Америка были дальше от нас и тесное культурное сближение с ними по-настоящему только начинается. Советский Союз знают на Западе до смешного плохо. Даже интеллигенция, учащиеся до сих пор верят всякому невежественному вздору, переполнявшему уличные листки.

Вот почему сейчас, как никогда раньше, всякий честный, искренний голос о нас приобретает не только культурное, но и оборонное значение, мобилизует за рубежом общественное мнение, влияет на усиление технической помощи Союзу. И в этом смысле Москва тоже сделалась с первых дней войны сердцем обороны.

Отдельные голоса, подобные Хиллу, сменились голосами больших коллективов. В Москву сотнями стали притекать телеграммы с выражением симпатий и солидарности, подписанные участниками митингов, союзами, корпорациями, обществами. Телеграммы эти печатались в наших газетах изо дня в день. Москвичи тоже ответили на них голосом коллективов. Митинги всеславянский, еврейский, женский, молодежный прозвучали на весь мир. Слово советской женщины не могло не запасть в сознание американской фермерши, английской хозяйки, мексиканской актрисы, французской продавщицы — тысяч, сотен тысяч женщин всех профессий и национальностей. Если бы наши митинги передавались не только по радио, но и телевидением на экране, то каких бы женщин уви-

дели в Америке и в Европе! Худая, смуглая, сильная рука испанской работницы, рука Долорес Ибаррури, еще раз взлетевшая в грозном жесте; страстное, мученическое лицо Ванды Василевской с ее сжатыми губами аскетки и горящими глазами, лицо, которому веришь, в котором читаешь историю народа, за которым пойдешь безоглядно... Но может быть еще сильней и внушительней, чем эти лица, заговорило бы для европейских и американских женщин другое лицо, иного типа.

Это было в Колонном зале профсоюзов, на митинге работников печати. Очень тихо и незаметно, не в самом начале и не в самом конце, а просто в ряду очередных ораторш, взошла на кафедру старая женщина в черном. Во всем ее облике — чуть старомодном длинном платье, гладко зачесанных седых волосах, сдержанном выражении узкого, суховатого лица, скупом жесте, ничего не было броского, ничего не кидалось в глаза, и это стало заметно через мгновение, и это именно как-то приковало к ней, к ее лицу и губам, весь зал. Потому что вместе с этим неброским, незаметным, подтянутым взошла на трибуну старая, знакомая, незабываемая культура, старая, знакомая, незабываемая традиция — большевички, подпольной работницы, члена старой ленинской гвардии. Это была Стасова. За ней перед сотнями женщин-работниц вставала в памяти и знакомая фигура Надежды Константиновны Крупской... Та же большая образованность, обходящаяся безо всего мудреного, без единого непонятного термина, но чувствуемая за каждым словом; тот же спокойный авторитет, завоеванный всей жизнью; та же любовь к массе, умение говорить с массой, вести ее, спаивать ее воедино. Стасова сказала немного: про уборщицу, сидевшую тут же, в первом ряду, и ее сына, Героя Советского Союза, отличившегося на фронте. Но уборщица слушала затаив дыхание, как будто не про нее шла речь, а про всех матерей; и каждая мать в зале слушала, как будто не про уборщицу шла речь, а про нее самое...

Таково действие большевистского умения говорить с массой. Культура, выдержка, организующая сила характера, высокое знание, никогда не вылезающее наружу, но питающее весь ход мыслей,— эти качества чтутся в Европе и Америке на вес золота, и было бы очень важно для нас, чтобы традиция большевизма, культура большевиз-

ма раскрылась, наконец, перед американцами и англичанами вот в таких отдельных человеческих образах.

Но все же самым большим событием общественного фронта в Москве был не женский, а всеславянский митинг. Мы привыкли к тому, что европейцы и американцы вечно подчеркивают резкое своеобразие славянства, видят его и в людях (выражение «славянский тип красоты») и особенно в культуре. Нет, кажется, ни одного современного иностранного романа, где не был бы выведен славянин или русский непременно как нечто сугубо оригинальное, выделяющееся из среды, подчеркнуто ярко выраженное. Славянский вклад в общеевропейскую культуру до Гитлера никем и никогда не оспаривался. Это не был пассивный вклад, а всегда творческий, основополагающий, организующий. Таблица Менделеева, условный рефлекс Павлова, эпический мир Толстого, мелодика Чайковского, Шопена и Шостаковича не повторяют, не ложатся на готовое, а раскрывают двери, ведут, указывают, организуют. И важнейшим признаком славянской культуры всегда была ее всеобъемлемость, общечеловечность идеалов, широкодушие характеров, умение глубоко понять чужую национальную идею.

Но сейчас на митинге каждый остро вспомнил могучее своеобразие своей собственной страны и культуры и на нас пахнуло бесконечным множеством традиций, имен, особенностей, воскрешенных в каждой отдельной речи. А лучше всех на весь мир сказал черногорский поэт Радулэ Стийенский — стихами того самого распевного сербского ритма, который когда-то искусно подделал во Франции Мериме [1], а нам завещал любить и чувствовать Пушкин.

В стихах Радулэ вылились и его тоска по родине и великое единство славянской расы. Встали черногорские горы, заверещали ручьи Черногории, подуло ветром Балкан, и концовка пережилась необычайно сильно, во всей ее пленительной древней поэтической культуре:

> О, как радостно будет, братья,
> После нашей общей победы
> На задымленных порохом ладонях
> Виноградные взвешивать гроздья!

[1] Французский писатель Мериме выпустил книжку мнимых славянских народных песен, так идеально имитированных, что ввел ими в заблуждение самого Пушкина.

3

Фашисты начали бомбить Москву в ночь на 22 июля. Впрочем, настоящей, черной ночи тогда еще не было,— день заходил за ночь, и слова «Граждане, воздушная тревога!» разносились при зеленоватом прозрачном небе. Кто эти первые бомбежки пережил в Москве, запомнил их на всю жизнь. Спускаешься в бомбоубежище, не в силах побороть неуместное как будто чувство — любопытство. Зеленый цвет неба неспокоен, жуток, где-то за зеленью — грязные пятна бензина; еще не слышно для уха, но ощутимо для нервов — тишина неба надорвана рокотом моторов, приближается враг, сейчас могут упасть на Москву первые бомбы,— и словно не ты живешь, а страница книги; словно ты стал читателем собственных дел и дней; сознание раздвоилось, нет страха — огромное острое желание познать, увидеть, пережить, ринуться в действие; это фронт, а на фронте всегда легче, чем в тылу. Так воспринимали первые дни бомбежки не только дети и подростки, но и многие взрослые москвичи. На следующий день, словно подытоживая за своих сограждан пережитое особое волнение, Ставский хорошо написал в «Правде» об этих первых бомбах над Москвой.

В бомбоубежище свет, большая роскошь для затемненной по ночам Москвы. Пользуясь им, москвичи принесли сюда работу. Старый ученый погружен в нумерованные, мелко исписанные листки; мать довязывает носок; кое-кто читает затрепанные библиотечные книжки. Изо дня в день, вернее из ночи в ночь, во время непрерывных бомбежек маленькая жена знаменитого челюскинца готовила по учебнику английский урок, исписывая тетрадь за тетрадью... Немногие события, нарушающие общий быт,— это короткая побывка дежурного. Он приходит сверху, с на-гора̀, как говорят шахтеры, серьезный, молчаливый, значительный, не отвечающий на вопросы. Ему дают напиться из бака. И опять туго, на болты закрывается дверь, исчезает зеленовато-белая полоска летней ночи сквозь щель. Потом, пробираясь между сидящими, проходит санитарка из местного медпункта. Тяжкое сотрясение — это ухнула невдалеке бомба. Трехлетняя девочка, просыпаясь, говорит: «Фугаська». Начинаются тихие, шелестящие, безответные вопросы: где, с какой стороны. Громко разговаривать нельзя.

За время войны такие ночные отсидки сделались бытом, к ним приспособились, на них выросли. Бывали и комичные сценки. Дремучая борода, деловой приезжий дядя-колхозник, с исписанным листком всяких поручений за пазухой и крепким увязанным веревкой мешком под мышкой, входит в бомбоубежище прямо по внутренней лестнице, из большого магазина. Времени у него в обрез, он выстоял очередь, но купить ничего не успел. За ним наблюдают десятки глаз, дядя явно нервничает, то сядет, то встанет, то спросит, сколько времени. И вдруг в привычной тишине бомбоубежища громовой басовитый голос: «Граждане, да чего ж мы сидим? Похлопотать надо!» Он так привык ко всяким препятствиям, так умеет по-крестьянски всяческое дело «обхлопотать», что ему кажется — люди сидят от слабости характера и лени, а стоит пойти к кому-то, выложить резон, и всех отпустят восвояси.

Но вот к трем-четырем часам утра самый чуткий в убежище вздрагивает, поднимает голову, прислушивается. Проходит движение. Ожили люди, голоса, скрип скамеек. Это гудки возвещают отбой. И переживается самая незабвенная минута первых недель войны. Дверь распахнулась. Гуськом движутся люди. На лестнице еще синий свет лампочек, но в раскрытом квадрате наверху — белесовато-молочная рассветная мгла. Кажется, будто на камнях города выпала утренняя роса. С волнением, с болезненным чувством события, с жадным интересом выходите вы на каменный стиснутый домами дворик.

Над вами — ясное небо. Воздух тяжел и насыщен гарью, отзвучавшими грохотами; он в пелене затихших сражений,— словно по небу всю ночь ездили дымные грузовики. На асфальте — выбитые осколки стекол. Где-то черный столб затушенной, но еще дымящейся головешки. Но сраженье ушло, враг выгнан, и в спокойных зеленых заводях неба, словно корабли на якорях, стоят серебристые аэростаты заграждения. Этих минут нельзя забыть, это история в действии.

Когда ночи стали длинней и черней, много пришлось понаблюдать с крыш. Московские чердаки с их недрами сделались местом сбора особых бойцов — пожарников. Очищенные от мусора, раскрытые настежь, с пролетами на крышу, чердаки, как и подземелья, стали обжитыми; их обжили самые молодые и сильные жильцы дома,

вооруженные перчатками, щипцами, лопатами и прочим боевым оружием Под землей люди ощущали нервами то, что происходило в небе. На чердаках это жадно наблюдали глазами. Воздушная баталия еще не имеет своего художника, живопись еще не подошла к новой теме,— но какому Рембрандту справиться с этой гаммой световых контрастов! Книги давно уже фантазировали о войне марсиан, а наблюдатели с крыш неизбежно вспоминали о марсианах. Вот сверху, из гремящей черноты, спускаются, как ртуть в градуснике, четыре осветительные ракеты чудовищной яркости, родилось нарастание невыносимого, воющего звука: это летит фугасная. Вот гигантские щупальца наших прожекторов начинают в свою очередь бороздить небо, как северным сиянием, ищут, гонятся, щупают, находят, ущемляют в фокусе затрепетавшую вражескую осу; вот букетом золотых вспышек, горстью ослепляющих осколков взрывают небо наши зенитки. Ни минуты передышки врагу, ни секунды затишья. Небо кажется узким, оно сделалось диском прицела, оно вымерено, расчленено, враг забился и заперт в его квадратах, враг уничтожен. Величие и новизна зрелища, участие в борьбе всеми нервами и мыслями — и нет страха, как не бывает его в жаркие дни на фронте.

Уже много писалось и рассказывалось о замечательных советских людях, защищавших Москву от бомбежек. Подростки, ребята храбро хватали «за жабры» плевавшиеся огнем зажигательные бомбы и выбрасывали их в окно точь-в-точь, как показывалось в кино. Женщины и девушки дежурили на чердаках. По утрам население домов, не спавшее ночью, выходило на авральные работы, подметало лестницы, собирало осколки стекол, расчищало дворы. Имена москвичей попадали в сводку Информбюро наравне с именами фронтовых бойцов.

И однажды утром газеты дали скупые три строчки сводки о том, что пять советских служащих героически отстояли от пожара деревянную усадьбу Льва Толстого в Хамовниках.

Есть особый род музеев, так называемый музей-дом, бытовой музей. Большие творцы человечества в самом процессе своей жизни, в том, как они работают и организуют личную жизнь, оставляют подчас драгоценные черточки для потомства. Их трудовой режим становится показательным, их живая биография — зримой в четы-

рех стенах дома, где они жили и где все сохранено, как было при их жизни. Эти личные отметы входят дорогим вкладом в культуру народа, воспитывают целые поколения, формуют новых творцов, наконец, дают историкам лучше и глубже заглянуть в эпоху.

В царской России не очень чтили творцов и не создавали музеев из их жилищ, разве что прибивали,— не очень часто,— мемориальную доску к стене. Когда Софья Андреевна Толстая продала после смерти Льва Николаевича московский дом Толстых городской управе, та и не подумала устроить в нем музей, и до самой революции он простоял бесплодно. Но советская власть вызвала к жизни во всем Союзе множество домов-музеев и сделала из них огромное, яркое средство культурной пропаганды. Превращен был в бытовой музей и толстовский дом. Вот почему мне хочется рассказать здесь во всей подробности об этом, дорогом сердцу народа культурном памятнике и о том, как боролись за него простые советские люди.

4

На грязноватой улице, до сих пор окраинной, а тогда почти за городом, в так называемых Хамовниках, Толстой нашел дом, похожий на деревенский, с большим садом, и в 1882 году купил его. Этот тихий уголок на невзрачной улице был типичной барской усадьбой в шестнадцать комнат, приспособленных для одной только семьи. Обойдя два этажа усадьбы, невольно вспомнишь тот «средиедворянский» уклад, о котором любил писать Толстой. В доме были парадные и официальные комнаты: угловая — для ночующих гостей, маленькая гостиная — для приемов светской дочери Толстого, Татьяны Львовны, общая гостиная и, наконец, зал с роялем Беккера, для больших приемов. Все это говорило о так называемой «открытой жизни» Толстых в Москве, о приемных днях, о балах, обязательных выездах.

По служебным помещениям видно, как много людей обслуживало одну семью: комната домашней портнихи, комната камердинера, любопытная «посудная» комната, где стоят несколько, разного вида и размера, самоваров.

Чуть ли не каждый член семьи имел в доме свой самовар, и сейчас они сохранились с именными кличками «нянин», «лакейский», «детский», «общий» и т. д.

Из этого среднедворянского быта Толстой черпал для своих книг множество штрихов. Когда обходишь комнаты, сразу вспомнится и детская Облонских из «Анны Карениной», и особенно самовар из «Живого трупа», к которому подходит няня взять «кипяточку»,— все это живет, дышит, становится осязаемой реальностью в толстовской усадьбе.

Рядом с парадными комнатами — клетушки одинокого мастера-«мастерового». Эти две собственные клетушки с сапожным верстаком и письменным столом Льва Николаевича помещаются в мезонине. В них низкий потолок, крохотные монастырские окошки, крашеные деревянные полы. День семьи был один, день Толстого — другой. Семья «принимала», выезжала с визитами в своем экипаже, собиралась за столом, ложилась поздно. Толстой вставал чуть свет, делал прогулку, возвращаясь пил ячменное кофе с калачом (позднее он отказался и от калача) и садился писать. Ручка у него была узловатая, простая, из некрашеного вишневого дерева. Бумагу берег, отрывал чистые листы от получаемых писем, делил на четвертушки. Книг ценных заводить не любил и никогда не составлял себе библиотеки, а пользовался книгами Румянцевского и Исторического музеев. Вечером, когда голова хуже работает, переходил в первую комнату и садился за сапожный верстак.

Между садом и домом — небольшая полянка, где зимой Толстые устраивали каток. Лев Николаевич сам возил воду для него из Москвы-реки в бочке, поставленной на санки.

В этом доме за девять без малого зим, проведенных в Москве, Толстой написал: «Воскресение», «Смерть Ивана Ильича», «Плоды просвещения», «Власть тьмы», «Живой труп», часть «Хаджи Мурата», множество статей и народных рассказов. И огромное количество деталей в этих зрелых, последних вещах Толстого взято из быта его собственной московской усадьбы.

После смерти Толстого усадьба стояла пустая (мебель вывезла Софья Андреевна), а после войны стала и вовсе разрушаться. Но вот в эту усадьбу пришел Владимир Ильич Ленин. Он обошел ее всю — от заглохшего

сада до пустых комнат с провалами в полу. Даже и в этом полуразрушенном виде жилье сохранило свою выразительность, образ жизни ушедшего человека, его привычки, его семейную драму, его трудовой и творческий режим.

И Ленин распорядился, чтобы толстовский дом был восстановлен в точности. Больше того, москвичи обязаны Ленину не только восстановлением и охраной усадьбы Толстого, не только сохранностью сада (Ленин сказал: если какое-нибудь дерево засохнет, посадить на его место такой же породы и возраста), но и методикой ее показа.

В. Д. Бонч-Бруевич поместил в «Правде» статью, где он привел подлинные слова Ленина о том, что по этому дому народные массы Союза должны воочию увидеть, как жил Лев Толстой «на два этажа», в тяжком противоречии с семьей. И слова Ленина стали указанием для методистов музея. Много лет вели они работу с бесчисленными экскурсантами. Служащие — многолетние, некоторые были тут со дня основания музея. Но и вновь поступившие тотчас усваивали ритм работы и особый «патриотизм» места, очень характерный для всех советских культурных учреждений.

Еще до начала немецких бомбежек тихая улица Льва Толстого, как и все московские улицы, как и все дома, прошла сквозь инструктаж борьбы с бомбами. В эту ночь дежурство в музее несли пять человек: худенькая смуглая девушка В. Н. Гусева — научный работник музея, заведующий музеем т. Теодорович, дворник музея т. Юнисов, татарин по происхождению, пожарник т. Зубарев и только недавно приехавшая из колхоза не очень грамотная, не очень разбирающаяся в политике уборщица т. Тютина. Поздно вечером бригадир этой маленькой группы Теодорович собрал ее еще раз в саду и рассказал, хотя знал об этом лишь по брошюрам и лекциям, как нужно бороться с бомбами. Простые незаметные советские служащие, каких миллионы на нашей земле, внимательно слушали. Они были далеко от центра, на окраине столицы. Никакого военного объекта поблизости. Проступали на небе звезды, пахло вечерней росой, жимолостью, первым покосом, сырым деревом из только что привезенной и сложенной дровяной кучи. Залаяли собаки в чужих дворах. Но вот в лай вмешалось стреко-

тание: по небу мчался немецкий хищник. Люди не успели крикнуть «берегись». Над толстовским музеем-усадьбой немецкий бомбардировщик выпустил пачку — свыше тридцати — зажигательных бомб.

Усадьба — деревянная. На ее площади — легкие, воспламеняющиеся постройки, куча дров, целая копна сухого сена. Первой услышала шипение бомбы В. Н. Гусева: зажигалка упала у самых ее ног. Не было бы, в сущности, ничего странного, если б неопытная группа людей растерялась, почувствовала себя беспомощной, бежала от опасности. Но это не показалось бы странным лишь на чужой, а не на советской земле. Все навыки коллектива, полученные за двадцать четыре года советской работы, вся усвоенная организованность совместного действия, нажитое чувство ответственности, нажитая душевная сила, которой они и сами в себе не подозревали, встала в этих пятерых людях, мгновенно преобразив их. Бригадир тотчас, не теряя головы, расставил на боевые участки своих бойцов. И сами бойцы, схватив оружие — пожарную кишку, ведра, лопаты, мешки с песком, начали войну с бомбами. Шипело уже семь, восемь, десятки. Они сыпались с разных мест. Но люди наступали на них и обезвреживали. В. Н. Гусева даже сейчас, вспоминая, как она шлепала бомбы мешком, как тлело на ней платье, как начинала угасать в бомбе ее ядовитая жизнь,— краснеет и одушевляется.

Люди боролись несколько ночных часов, до рассвета, а потом им казалось, что все это произошло в одно мгновенье. Тютина, даже в кино не видавшая бомбы и никогда ее себе не представлявшая, деловито, по-хозяйски подступала к этим штучкам, словно всю жизнь сгребала и выбрасывала их метлой. Зубарев отекшими руками, экономя дыхание, держал и держал тяжеловесную, безотказно работающую пожарную кишку, поливая из нее, как из миномета, врага. Юнисов менял один участок фронта на другой, подсобляя, выравнивая, соображая. Теодорович спокойно командовал. И к утру были уничтожены тридцать четыре зажигалки и все их очаги. На площадке, как будто созданной для пожара, в деревянном доме Толстого не пострадало ни одно бревнышко.

Когда потом люди рассказывали об этом, то было ясно, что главное в их поведении — это личное ощуще-

ние врага, личное ощущение советского достояния, как своего: усадьба-музей, вложенный в нее труд — это была родина, это были они сами, их кровь и плоть; немецкие неодушевленные бомбы — это были живые враги, гадюки со смертельным укусом, угроза жизни. Тут стоял вопрос «или-или», а когда вопрос стоит так, люди бьются насмерть.

Битва, пережитая советскими служащими московской усадьбы Толстого, стала в своем роде исторической. Оказалось, что фашисты, в разбойничьем и мародерском нашествии на советскую землю, не случайно избирают наши народные святыни и реликвии. В Клину они разрушили, разграбили дом-музей П. И. Чайковского; в Истре надругались над домиком, где жил А. П. Чехов. В Ясной Поляне осквернили все, что было дорого сердцу не только советского, но и каждого культурного человека. Специальная комиссия Академии наук выезжала в Ясную Поляну, и председатель этой комиссии т. Минц пишет в «Правде», что немцы осквернили могилу Л. Толстого, выкорчевали возле нее деревья и похоронили там семьдесят пять своих солдат и офицеров, устроили казино в комнате жены Толстого, куда перетащили мебель из кабинета Льва Николаевича; превратили яснополянскую больницу в хлев; а знаменитую комнату «под сводами», где работал Толстой,— в конюшню; раненых разместили в комнате Толстого, выбросив из нее все реликвии; изрубили полку для книг, сделанную самим Львом Николаевичем; напачкали знаком свастики рисунки внуков Толстого; разворовали и отправили в Германию все, что было в музее ценного, в том числе и седло Толстого, употреблявшееся им при верховой езде... Так древний вандал, проснувшийся в цивилизованном арийском ублюдке, идет с бешенством разрушителя на культурные святыни нашего народа.

Они делают это в надежде, что русские перестанут помнить и познавать себя, потеряют величие своего прошлого и путь к будущему. Минц рассказывает: «Возле учительницы яснополянской школы, которая держала на руках грудного ребенка, остановились два германских офицера. Не подозревая, что учительница знает немецкий язык, один из офицеров, указывая на младенца, самодовольно сказал: «Вот этот уж ни слова не будет знать по-русски. Только разве старики и будут помнить

русский язык, а всех остальных мы заставим говорить по-немецки».

Но никогда раньше не чувствовал еще русский народ так остро, так свято, так волнующе своих культурных памятников, никогда, может быть, не стремился так познать себя в прошлом и в настоящем, так утвердить себя для будущего, как в эти дни великой схватки с врагом всего передового человечества. И никогда советская система с ее глубокой, непрестанной работой для народной массы, с ее настоящим корневым демократизмом, с ее воспитывающими, поднимающими, обучающими методами и учреждениями не открывалась так народному взгляду во всех ее преимуществах, как после каждого циничеcкого поступка фашистов.

5

Пять советских служащих, спасших свое учреждение от немецких бомб, сделали, в сущности, то, что входило в круг их обычных, мирных обязанностей; что они точно так же могли бы сделать и в мирные дни, во время пожара; что стоит, наконец, в перечне обязанностей советского гражданина по нашей Конституции. Война только вскрыла с показательной яркостью, до какой степени параграф Конституции, касающийся социалистической собственности, вошел у нас прочно в плоть и кровь. Именно это новое чувство собственности на музеи и памятники, дома и дворцы, поля и леса, дороги и мосты, корабли и поезда, школы и больницы, заводы и рудники сыграло немалую роль в развитии партизанского движения.

Кое-кто в Европе и в Америке еще думает, что партизанское движение родилось у нас, как рождаются на войне по указанию главнокомандующего те или иные приемы военной стратегии, то есть что оно вызвано директивно. Такое представление в корне ошибочно, оно показывает, что люди просто еще не знают, в чем заключается суть большевистского руководства. Большие, глубокие, коренные процессы и сдвиги в сознании народа, в его самоощущении, в его историческом поведении — медленной, самоотверженной, кропотливой работой, изо

дня в день, многие, многие годы терпеливо подготовлялись нашей партией. Не все из того, что сделано ею в нас, нашей психике, достаточно видно даже нам самим. Да и не в каждом оно еще достаточно окрепло. И настоящее большевистское руководство заключается в том, чтобы указать верное направление и форму именно тем силам и процессам, которые исторически уже происходят в народных недрах, которые годами подготовлялись и воспитывались, которые определяют путь нашего народа в будущее.

Сократ любил называть себя «повивальной бабкой». Он верил, что в каждом человеке спит мудрость. И надо только уметь ставить вопросы, чтобы помогать самому человеку родить эту мудрость. Большевистское руководство подобно таким повивальным щипцам для рождения собственной народной мудрости, с той разницей, что мудрость эта не пассивно дремала в народе, а была посеяна и выхожена в нем годами партийной работы. И призыв к партизанскому движению, как и призыв переключиться целиком на оборону, забыть мирные тыловые настроения, мирное культурное строительство, был обращен к тому новому, советскому гражданскому самосознанию, тому новому, советскому чувству родины, которое партия воспитала в народе. Тыл исчез, потому что на нашей земле нет и не должно быть нейтрального клочка. Словно в древних, мудрых сказках человечества, дававших хозяина каждому дереву, ручейку, пеньку, пещере, населявших дриадами, гномами, лешими, водяными, дивами леса и горы, болота и ручьи, сейчас, в двадцатом веке, советский партизан сделался для немецких солдат страшным дивом и чудодеем каждого лесного оврага и пригорка, дорожного поворота и домашнего чердака.

Поучительно было видеть в Москве, как «снимаются с места», перестраиваются на оборону массивные научные учреждения, казалось бы, бесконечно далекие от войны. В одной из самых тихих московских улиц, в глубине палисадника, стоит дом, овеянный традициями славных десятилетий. В этом доме бессмертные русские ученые находили помощь и материал; сюда засылал записочки Владимир Ильич, прося, с удивительной деликатностью, прислать ему нужное и обещая вернуть в кратчайший срок; здесь, в большом старом зале, под зелеными лампами, склонялось несчетное число молодых

голов многих десятков студенческих поколений. И здесь, в бывшей Румянцевской, а ныне имени Лениив, библиотеке, на глазах людей моего поколения не прерывались занятия во время трех войн,— русско-японской 1905 года, первой нмперналнстической 1914 года и Отечественной 1941 года.

Студеиты в дни первых двух войн входнлн в эту полутемную по углам залу, испещреиную зелеиымн светляками абажуров, как в оазис. Сиаружи — тягостная для всех война; здесь, внутри — спокойное бесстрастне наукн. Неслышно нспнсывались билетики с заказамн на кингу, часамн рылись люди в каталогах, задерживая пальцы иа необычайных названьях, прнвлекательных заглавиях, жадно поджидала молодежь новую заказаииую книгу, сокровениый для нее мнр, уже нспутешествованный тысячами глаз, излистанный тысячамн пальцев, а все новый, с волнующим запахом слежалой бумаги, прнсохшего клея на корешке. Беззвучно ходнлн вдоль стеллажей, взбнралнсь по лестницам и разыскивалн нужные иомера десяткн сотруднrealnков. И еслн бы какой-нибудь досужнй статнстик полюбопытствовал, что нового внесла война в чтенне, какая перемеиа в заказах, он был бы разочароваи, потому, что война инкак н ничем на чтенни и иа заказах не отразнлась. Здесь царствовала своя традиция, диктовали уннверснтетские семестры, канднсдатскне н магнстерские сочннеиня, из года в год очень мало менявшне тему н матернал.

Когда в июле 1941 года я раскрыла дверь в ту же залу, внешне как будто н сейчас ничего ие нзменнлось. Читающих меньше, но онн былн; так же выдавались кннгн из-за дубовых прилавков. Но этн кинги и это чтение уже иичего общего со вчерашннм днем не имели, да и зала стала «спецнальной залой», потому что появился особый, специальный чнтатель,— агнтатор, пропагандист, журналнст, работннк Информбюро, массовнк. Кннги военно-исторнческне, о фашнзме, о Гнтлере, о Германии, о стратегическом сырье, о колониях, о морских и железнодорожных путях; кннгн, о которых иикто не подозревал, что они будут спрашнваться и зачнтываться, как ромаи. Еще не начался тот велнкий пересмотр, о котором я сказала в предыдущей главе, но уже новыми глазамн стали смотреть иаши читателн иа старую кингу.

Мне самой пршлось неожиданно для себя иапасть иа

такое «старое открытие»: работая над Розенбергом и литературой Прибалтики, я выписала рижские периодические издания начала прошлого века, и мне положили на стол так называемый «Северный архив» с 1803 года. Он ежемесячио выходил в Риге на иемецком языке,— конечно, ие для латышей! Каждый номер начинался с пышного славословия Александру Первому в стихах; царь сравнивался с языческими богами Аполлоном, Зевсом, с христианскими святыми вроде Георгия Победоносца или именовался «родным отцом», «спасителем», «щитом» и «кровлей», а под прикрытием этой кровли иа следующих страницах из номера в номер печатались детальные, точные, топографические описания русских пограничных местностей, подробнейшие, как фотографии, описания русских новых и старых крепостей, дорог, мостов, пограничных постов в Сибири, на китайской границе, расположение и количество войск и флота; положение и характер торговли на Черном море, на Севере, на Востоке, характер и выгодность рудных ископаемых, дипломатические и всякие иные внутренние и внешние предприятия русского правительства,— и все это вперемежку с невинными статьями «О значении слова кокет», с анекдотами, со стишками, с фимиамом русскому царизму.

Так, под прикрытием журнальной формы, открыто и невозбранно процветал в Риге десятки лет немецкий шпионаж, иадо полагать по достоинству ценившийся в Берлине. Чтение за месяцы войны в Лениыской библиотеке никогда не забудется москвичами. На многое у них раскрылись глаза, со многими иллюзиями пришлось покончить, мирная книга часто оборачивалась перед ними куском динамита или изменой, разгаданной через века. В общем, мы никогда еще не читали так страстно и так оперативно. Все, что было незаметно получено нами за двадцать четыре года политического роста, что выслушивалось (подчас с зевотой) иа сотнях докладов о международном положении, схватывалось по газетным столбцам, по радио, накапливалось по мелочам,— дало свои плоды в этой необычайной оперативности библиотечного чтения.

Но, пожалуй, всего сильней и ярче изменилась работа на наших предприятиях и заводах.

Немцы пишут в газетах со злобой и недоумением, что «в оборонных работах у русских принимает участие само население». Для немцев это ново и необычно. А между тем с первого дня войны наш труд, как в любые решающие периоды за эти двадцать четыре года, становился общественным не только тем, что население шло на рытье окопов, а по воскресеньям стали возрождаться прежние, первых лет революции, «субботники», а и тем, как сами рабочие стали трудиться, не уходя из цехов под бомбежками, не отменяя ночных смен, подняв движение двухсотников (две нормы в день вместо одной) и трехсотников.

На одном из комсомольских воскресников в Москве, 17 августа, мне довелось участвовать. Работы на нем велись необычайные. Большой завод, когда грянула война, был в периоде бурного своего роста; он строился и закладывал котлованы для новых и новых корпусов, здесь соединились сразу две большие функции — производственная, сосредоточенная в цехах, и строительная, производившаяся на заводской площадке. Рядом с ломом и сырьем для цехов во дворе возвышались груды опасного в пожарном отношении строительного материала. И нужно было на воскреснике усилить производство в цехах, а на площадке разобрать начатую постройку. Кадровики и ученики стали в цеха, а контора, заводоуправление, инженеры пошли во двор.

Казалось бы, что хорошего в разборке,— а люди работали вдохновенно, они как бы укладывали, прятали свой завод от врага, зарывали дерево в землю, обезопасив его от гниения, засыпали и утрамбовывали котлованы, выметали и вычищали мусор. Это была почти личная, почти семейная укладка своего, дорогого сердцу добра, чтоб никакой пожар не повредил, никакая бомбежка не тронула.

Пока на дворе укладывали добро, в цехах горячо и непрерывно создавали вещи. Я зашла в пролет, где работали ученики, и тут увидела среди молодых рабочих высокую, немолодую, строгую на вид жинщину в платочке, с лицом такой углубленной сосредоточенности, что захотелось невольно остановиться возле нее. Работала она

очень красиво, жест был точный, рассчитанный, пальцы легкие, прикосновения к инструменту смелые и увлекательно-заражающие; видно, что человек находит удовольствие в работе. Я задала ей какой-то вопрос. И вдруг молчаливые губы открылись. Работница сказала:

«Вы не поверите, какое это огромное наслаждение впервые в жизни создавать вещь, реальную, весомую вещь, и знать, что она пойдет в жизнь, послужит на оборону, из моих рук перейдет в другие человеческие руки...»

Пожилая фабзавучница оказалась театральным режиссером с многолетним стажем, только с первых дней войны ставшая к станку. Таких новых людей, с новым, острым чувством наслажденья от производственной работы, на заводах появилось очень много. Но в первые месяцы войны мы еще не видели новых черт в нашем труде. Заводской труд, казалось нам, возрос, расширился, налился новым историческим смыслом, но мы еще не умели различать в нем черты принципиального новаторства, созданные самой войной. Только позднее черты эти начали проступать все явственнее и явственнее. Я попытаюсь тут, в конце моих заметок, обобщить эти черты.

В годы пятилеток мы энергично боролись за выполнение программ. Но бывали случаи, когда программа перевыполнялась, а стране все-таки недодавалась продукция. Происходило это оттого, что исчисление сданного (в тоннах, процентах, рублях и т. д.) оставляло всякие щели для обхода, и завод, в погоне за выполнением программы, иной раз соблазнялся этими щелями и вступал на скользкий путь формализма. К примеру, выдать десять тонн крупных деталей в несколько раз легче, нежели изготовить столько же тонн мелких, сложных, до зарезу нужных стране,— хотя в процентах выпуска это одно и то же. Вот и бывало подчас, что одних деталей накапливался излишек, в других образовывалась нехватка. Металлурги выдавали болванки с огромными припусками (тяжелее, чем надо, весом) и осложняли, замедляли работу механических заводов. Словом, получалась та пестрая картина, при которой сборка и выпуск последнего цельного продукта, готовой вещи, замедлялись и затруднялись. А стране нужны были не проценты перевыполнения, а сама вещь.

Война с первых же дней резко ударила по всяческому формализму. Фронту нет никакого дела до сверкающих

цифр и трехзначных процентов, ему подавай весомые, осязаемые, готовые вещи: танки, минометы, пушки, истребители,— и чтоб эти вещи приходили потоком, без перебоя, и чтоб работали они хорошо, без сюрпризов.

В цехах отцы, братья, товарищи получают фронтовые письма, делятся ими с соседями, пишут сами, всем коллективом цеха переживают войну, конкретно, целостно, образно.

И практически это жизненное ощущение войны вылилось в совершенно новое чувство детали: перед цехом, пролетом, бригадой, перед каждым рабочим местом отдельная операция встала в образе той цельной вещи, которую производит не один цех, а весь завод, может быть даже несколько заводов. Раньше стахановец знал и формировал только одну свою деталь, он ее чувствовал в работе, как нечто самодовлеющее. А сейчас, если вы походите по цеху, приглядитесь к рабочему месту, вы увидите, что каждая отдельная операция, каждая деталь связалась в представлении рабочего с тем нужным, готовым, собранным продуктом, которого требует от него фронт, ждут бойцы на полях. И он начинает форсировать в работе не одну только свою деталь, а и все производство в целом, он все больше вмешивается в технологию.

Война поощрила соединение основной и подсобной работы, умение помочь себе и найтись, когда это экономит время и рабочие руки, умножает технический опыт. Война потребовала совмещения профессий, она как бы выжала из людей тот добавочный опыт, накопленный жизнью, о каком иной раз и сам человек в себе не знает или не придает ему значения. До сих пор производства знали художественную самодеятельность: бухгалтер играет на флейте, табельщик декламирует Маяковского. А сейчас появилась самодеятельность техническая. На скоростных стройках мы видим, как художник оказывается замечательным плотником, машинистка становится слесарем, токарь лезет на крышу и орудует, как первоклассный кровельщик.

Что это такое, как не тяга к созданию целой вещи? Отсюда, из нового чувства детали, из жизненной необходимости давать готовую целостную продукцию, из желания совместительствовать, не терять времени, заменять собой недостающие руки в наших цехах, стало легче бороться с простоями, весь производственный процесс

сделался яснее обозримым, сигналы с рабочих мест в случае аварий или задержек стали приниматься и учитываться быстрей, рационализаторские предложения возросли, технологические улучшения вышли из папок, а чаще всего и до папок не успевают доходить, так как цеха их подхватывают и осуществляют на ходу.

Вместе с перечисленными чертами расширенного, обобщающего, более культурного и практического подхода к хозяйству война подтянула, сузила, уточнила, дисциплинировала такую важную функцию на заводе, как контроль.

Попробуйте разговориться с рабочими и мастерами, выполнившими какую-нибудь важную оборонную вещь. Они вам непременно расскажут о вызове в кабинет директора, и будет в рассказе и такая фраза: «...а в кабинете сидит военный с ромбами». Это — новое лицо в заводском обиходе, оно как-то резко отличается от всех остальных заводских людей, и рабочие чувствуют разницу, оттеняют ее в своем рассказе.

Военный с ромбами обычно молчит, когда другие разговаривают. Но он задает четкие вопросы. Он тщательно и кропотливо проверяет вещь. Он понимает функцию вещи. В его лице стахановцы видят непривычно для себя близко, непривычно для себя ощутимо своего заказчика, потребителя, оценщика, которому никак не вотрешь очков.

Военный с ромбами, обойдя и опробовав вещь, как бы расчленяет ее на мельчайшие составные части, прощупывает и проверяет каждую в отдельности. И этот экзамен, это одно присутствие как бы снова возвращает и цех, и пролет, и каждого стахановца к прежнему обостренному чувству своей детали, но уже более ответственному. Подумать только: если одна твоя деталь подведет всю готовую вещь!

И война, поднявшая, воспитывающая, культивирующая в наших стахановцах тягу к целой продукции, в то же время при помощи военного контроля усиливает, углубляет в них сознание ответственности за каждую отдельную свою операцию.

Итоги шести месяцев войны для нашей промышленности говорят еще только о начале, о первых ростках нового, вызванных колоссальным сдвигом, произведенным войной. Но нашим заводоуправлениям необходимо

уже сейчас видеть эти ростки, чтобы научиться использовать их для будущего.

Так оборона Москвы, ставшая делом чести всего Советского государства, всех советских республик, на каждом тыловом участке нашей борьбы с фашизмом — просветительном, художественном, коммунально-бытовом, культурно-историческом, общественном и, наконец, производственном дает нам ясней и ясней понять все выгоды и преимущества советского строя, самого передового и самого прочного строя в мире.

1941—1942

О СЕБЕ

ПОВЕСТЬ О ДВУХ СЕСТРАХ И О ВОЛШЕБНОЙ СТРАНЕ МЕРЦЕ

Предисловие

В этой книжке я рассказываю о детстве двух девочек шести и восьми лет. Сейчас эти две девочки стали старушками шестидесяти шести и шестидесяти восьми лет. Значит, события, о которых я рассказываю, произошли очень давно — шестьдесят лет назад. Совсем другою была тогда жизнь, и совсем иначе выглядела Москва.

В ту пору почти еще не существовало телефонов, совсем не было автомобилей, не говоря уже о самолетах. Освещенье в домах было керосиновое, в комнатах стояли подсвечники для толстых стеариновых свечей. Вместо трамваев по Москве ходили «конки» — небольшие вагончики на паре лошадей; они заменяли нынешние трамваи и троллейбусы. Уже было проложено немало железных дорог, но кое-где все еще сохранилась езда «на почтовых». Мне самой пришлось на них ездить, когда девочкой я однажды отправилась с отцом в гости к дедушке, в один небольшой городок на юге. Сейчас туда можно доехать поездом в несколько часов, а мы ехали несколько дней, на каждой почтовой станции меняя лошадей. И все было, как описано в старых книгах — расписная дуга на кореннике, колокольчик под дугой, ямщик в бархатной шапке, обшитой мехом, и рвавшаяся в сторону под его песню резвая «пристяжная»,— вторая лошадь, ходившая «в пристяжке» с коренной.

Удивительно вспоминать сейчас, как на глазах детей моего поколения одно за другим стали входить в жизнь чудеса науки и техники. Сперва под потолком загорелась первая электрическая лампочка, которую не нужно было зажигать спичкой. Потом проложили железные рельсы по улицам и стали ходить, позванивая, первые трамваи. На почте, в учреждениях, в немногих домах появились первые телефоны. В те дни дети часто брали трубки просто для забавы, для невиданного удовольствия — вдруг услышать знакомый голос кого-нибудь, живущего в совсем другой части города. Чудом какимто показался первый автомобиль: он ехал сам собой, без лошади, и мальчишки бежали за ним сломя голову, подкидывая от восторга кверху шапки.

Мне посчастливилось вместе с подругами-одноклассницами, под предводительством нашей «классной дамы», как тогда звали школьную воспитательницу, торжественно пойти на первое в Москве представление диковинного театра — «синематографа», как тогда называли кино. Нам показали рассеянного математика, писавшего мелом свои вычисления на предметах, сперва казавшихся ему неподвижными, а потом вдруг убегавших от него: на стенке вагона, на ящике мороженщика, на спине зазевавшегося прохожего. Сейчас такую простую картину никто и смотреть бы не стал, а тогда зрители, увидевши впервые, как двигаются на стене, словно живые, изображения людей и предметов, сидели, затаив дыхание и похолодев от восторга. Нам казалось, что наука дошла до таких чудес, дальше которых и представить себе ничего нельзя.

Но все эти чудеса были в то время собственностью отдельных богатых людей. Беднякам к ним почти не было доступа. Электричество освещало лишь комнаты городских домов, а вся деревенская Россия, миллионы крестьян, работавших с утра до вечера, сидели, как стемнеет, при зажженной лучинке, наструганной из сухого дерева и немилосердно чадившей. Кто-нибудь в избе тотчас заменял ее новою, как только начинала она догорать. Или — при едва мерцавшей керосиновой коптилке... Света, света хотели миллионы людей, живших в беспросветной нужде, света в глухие вечера и ночи, света не только для того, чтобы видеть, но и для того, чтобы знать,— великого света знания...

Может быть, об этом не раз говорили между собою родители двух девочек. Может быть, старинные сказки, в которых всегда все доброе связано с солнцем и светом, а все злое — с черною ночью и тьмой, и тьма и свет неизменно борются между собою,— и навеяли этим девочкам такие фантазии,— но только они стали в них потихоньку играть. Вот про эту игру двух девочек и про то, что из нее вышло, я и рассказываю в моей книжке нынешним счастливым ребятам нашей могучей родины, где свет, как и все хорошее, создаваемое трудом и наукой, давно победил и принадлежит не отдельным людям, а всему нашему счастливому и свободному народу.

26 апреля 1956 г.
Кратово

Посвящается
внучке Леночке и
внуку Сереже

Глава первая

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Когда вы станете большими, ребята, вы увидите, что в детстве дни вам казались длиннее, солнце ярче, погода прекрасней. Зима наступала рано, и вы успевали вдоволь накататься на санках и коньках, нагуляться в теплых рукавицах, так что к весне все это даже и надоедало. Лето тянулось еще дольше, и дождливых дней почти не было, а уж земляники и черники всегда нарождалась тьма-тьмущая,— только б позволили ее кушать.

С годами мир словно стареет, и погода хуже, и небо сумрачней, и время бежит вприпрыжку. Приходит к людям скверное, сварливое слово «некогда».

Дети этого слова не знают. Два старых теперь человека давным-давно тоже были маленькими, и вот о них-то я хочу вам рассказать.

Это были две девочки по имени Маша и Лена. Они жили со своими родителями в Москве, в большом сером доме. Снаружи был палисадник, обсаженный тощими акациями и сиреневыми кустами, а за домом — большой двор, где всегда что-нибудь происходило: разгружался возок с дровами, кричал продавец с лотком на голове или зазывал жильцов скупщик старого хлама, а чаще всего орудовал метлой или лопатой чернобородый дворник Василий в белом фартуке.

Отец двух моих девочек был доктором. Он бывал дома редко, и ему приходилось выслушивать от других, что дети за день сделали и в чем провинились. Выслушав,

он наказывал или похваливал их, и потому дети его побаивались. Мама была совсем другая — близкая и равная. Она никогда не судила, никогда не сердилась, а только во все входила по-товарищески и в трудные минуты обижалась и даже плакала, как маленькая.

В доме, кроме родителей, была еще всесильная и строгая особа — няня или нюга, как звали ее дети. В одно раннее утро, когда девочки были еще совсем крохотные и лежали по своим кроваткам, нюга явилась неизвестно откуда с огромным узлом и окованным железом сундуком, который втащили за ручки двориик и извозчик. Явившись, нюга первым долгом размотала платок, истово помолилась иа угол, огляделась, куда бы сундук поставить, а уже потом подошла к кроваткам, откуда на нее любопытио глядели две пары больших черных глаз.

— Ишь цыганята,— строго сказала нюга и принялась глядеть, какие они, чистые ли у них рубашонки, не обсыпало ли где, не водится ли чего в голове. Мама стояла совсем сконфуженная около нее и обижению говорила:

— Да что вы, няня!

А няня, найдя дырочку в детском чулке, тотчас же спросила себе столовую ложку, нитку и иголку. Ложку всунула в чулок, расправила иа ией дырочку и тут же ее заштопала. С тех пор она сразу утвердилась в детской и завела свой порядок.

Маша была девочка высокая и худенькая, с тонкими губами и тонкими пальчиками. Лена чуть пониже, потолще, круглолицая и тихая, как мышка. Хоть Маша и была старше Лены на два года, но обе сестры дружили, как близнецы. Все у них было общее, вплоть до болезией. Стоило одной из них схватить какую-нибудь болезнь, ветрянку или жабу, как называли в ту пору ангину,— а уж мама готовила две кроватки. И в самом деле, к вечеру непремеиио заболевала и другая сестра.

Няне очень не нравилось, что девочки были черненькие. Но тут уж ничего нельзя было поделать. Вдобавок Маша была так смугла, так смугла, что няня нет-иет да и не вытерпит, иазовет ее цыганенком или арапкой. Не нравилось няне и то, что девочек часто стригли, как мальчишек. Но у папы было на этот счет свое мнение: ои думал, что стрижка укрепляет кории волос, и когда

замечал, какими жесткими и колючими становились от нее детские волосы, только радовался.

Первое время девочки капризничали и не хотели признавать няню. Маша придумала новую штуку. После ужина, когда их отправляли в детскую и укладывали спать, она тихонько шепнула Лене:

— Давай исчезнем!

Лена сразу поняла, чего хочет Маша, и вся затряслась, как вишенка на ветке, от смеха. Они юркнули в детскую и заползли, одна за другой, в самый дальний угол, под нянину кровать.

Пришла в комнату няня, тяжело ступая больными ногами. Она прибавила свету в лампе, стала озираться и строго сказала:

— Маша и Лена!

Девочки прижались друг к другу и затаили дыхание. Няня снова позвала, громче прежнего:

— Маша и Лена!

Опять все тихо. Тогда няня, к великому изумлению девочек, как будто обрадовалась и стала разговаривать сама с собой:

— До́лжно на кухню пошли. Вот и хорошо. Чего это я вздумала им дарить? Я лучше племе́ннику подарю. Беспременно подарю племе́ннику, только вот погляжу еще разок, хорошо ли выходит.

Она подошла к сундуку и достала связку ключей. Сестрам стало так любопытно, что они выползли потихоньку из угла, приподняли свисавшее покрывало и выглянули, что будет делать няня. А няня звонко щелкнула ключом, сперва с левой стороны сундука, потом с правой, и приподняла крышку. Сундук оказался полным-полнехонек, но только нельзя было разглядеть — чем. А хитрая няня нагнулась к нему низко-низко и стала там, внутри, что-то перебирать да шептать про себя:

— Ах, хорошо. Вот ужо́ будет готово, напишу племе́ннику, чтоб из деревни приехал. И с чего это я вздумала чужим отдавать? Прелесть-то какая, вот прелесть!

Маша и Лена с досады и любопытства не могли удержаться и выползли на середину комнаты. Лена первая заговорила:

— Нянечка, а мы тут!

Няня живо захлопнула сундук, заперла его на ключ и оборотилась к детям:

— Вставайте с пола, ползуны, блох себе на ночь не насбирайте.

Потом она как ни в чем не бывало раздела девочек, подвела их по очереди к умывальнику, заставила зубы почистить и, когда они улеглись, задвинула книгой лампадку, чтоб умерить свет. Но Маша и Лена не могли спать. Какая жалость! Что такое хотела им няня подарить и раздумала? Какой у нее в деревне племянник, большой или маленький? И почему она говорит про него «плéменник», а не племянник? Долго они ворочались, но наконец Маша подняла голову с подушки и спросила:

— Когда, няня, ты племяннику-плéменнику напишешь?

— А тебе зачем знать?

— Ты ж не умеешь писать, а я тебе напишу.

— Мой плéменник и без письма приедет, я такое слово знаю. А вот ты, матушка, зря не разгуливайся, сон-то соскочит с глаз и не воротишь.

Стало совсем тихо в детской, и, засыпая, Маша и Лена мечтали об одном и том же: о том, чтó в сундуке нянином, какой у нее племянник и какое она такое слово знает. С того вечера обе девочки признали нянину власть и стали называть ее сперва нянюгой, а потом и просто нюгой.

Глава вторая

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Окна глядят на свет, как глаза без век, и, чтоб закрыть их на время сна, нужны длинные плотные шторы. В детской у двух девочек шторы были белые. Они свисали до самого подоконника, и вдоль них, сверху донизу, двумя рядами были нашиты медные кольца, а сквозь кольца — продернуты крепкие шнуры. Когда нужно было поднять шторы, внизу дергали за шнур, и белая ткань, поднимаясь, собиралась наверху в три пышных круглых холмика.

По утрам в детской не бывало совершенной темноты, а вся она белела вместе с рассветом. Медные кольца на спущенных шторах казались десятками чьих-то глаз.

Висящее полотенце словно вот-вот подымется и улетит, белье на спинке стула сложилось в огромный неведомый профиль, странные темные тени проходили по потолку, исчезая в его углах.

Маша и Лена проснулись однажды в такое раннее утро. Было, впрочем, не очень-то рано, но в ночь под первое января, день рождения Лены, рассвет никогда не бывает ранним.

Маша и Лена подняли головы, как птицы из гнезда, и посмотрели друг на друга. На обеих напал смехун, скверный старикашка, так щекочущий детей за ушками, что уж никак нельзя остановиться.

— Ги-и-и! — захохотала сперва Лена и, чтоб одолеть противного смехуна, сунула себе в рот кусочек одеяла.

— Га-а-а! — расхохоталась Маша и перевернулась вниз, лицом на подушку.

— Ты чего? — спустя некоторое время спросила Лена.

— Ничего. А ты?

— Я тоже ничего,— но тут бесстыжий смехун опять подобрался к ним с другого конца, и бог знает, до чего бы он их довел, если б нюга, давным-давно вставшая, не вошла в комнату. Она держала в руках чудесную белую просвирку, похожую на большой гриб, и сказала Лене:

— Вот тебе, маленькая, скушай на здоровье.

С самых детских лет сестры ввели один обычай: каждый день рождения они праздновали обе вместе. Родители уже привыкли к этому и готовили сразу два подарка. А потому Лена обиделась за Машу и сказала, чтоб половина была Машина.

Потом они начали медленно одеваться, поглядывая друг на друга. Надевая чулки, думали про себя, что там уж наверное что-то есть, а когда дело дошло до башмаков, даже подождали немного. Но, вопреки обыкновению, не оказалось ничего и в башмаках.

Чай был, как всегда, приготовлен в полутемной столовой, где большую часть дня приходилось зажигать лампу. И опять все было по-всегдашнему. Кипел самовар, красная вязаная салфеточка прикрывала чайник, на старой скатерти стояла корзинка с горячими калачами, масленка и молочник. Возле самовара сидела мама, а за другим концом стола — папа. Он был в одной жилетке, небритый и читал тогдашнюю газету «Русские ведомо-

сти». Папа и мама пили кофе, а детям налили чаю с молоком.

— С Новым годом,— сказала Маша, здороваясь сперва с папой, потом с мамой. Папа рассеянно мотнул головой и обмакнул усы в кофе, а мама сделала вид, что ничего особенного в нынешнем дне не было и не будет.

Лена тихо уселась на свой стул, глядя на бахрому скатерти. Сердце у нее замерло и заныло: значит, дня рождения не будет, это уже решено. Глаза ее мало-помалу наполнялись слезами. Сперва там было местечко, чтоб их удержать, но вот пришли новые слезы, наплыли на старые и все вместе выкатились вниз, на щеки. Маша немедленно вскипела:

— Сегодня Ленино рождение!

Мама как будто смутилась, а папа выглянул из-за газеты.

— Что за тон! — ответил он строго.— Сами выдумали праздновать сто раз в год и совершенно избаловались. Неделю тому назад вам сделали елку, вы получили достаточно подарков. Дошло до того, что вы уж требовать начинаете, как будто мы обязаны делать вам удовольствие.

— Ничего не обязаны, а только нужно предупредить заранее,— промолвила Маша с сердцем.

Папа сложил газету и взглянул на нее. Взгляд этот не предвещал ничего доброго, и Маша знала это. У нее похолодели руки и коленки, но все-таки по какому-то непостижимому изгибу своего характера она мотнула головой и добавила:

— Да-с.

Это «да-с» было скачком в пропасть. За ним уже не было никакой надежды, а наступала беда. Папа очень тихим голосом проговорил, глядя на Машу:

— Встань с места и иди в угол.

Маша как бы нехотя поднялась со стула, болтнула в воздухе ногой, допила, уже стоя, свой чай и хотела было доесть кусочек шейки от калача (любимый кусочек обеих сестер), как вдруг папа вырвал его у нее и крикнул:

— Сию минуту в угол!

Она медленно пошла к углу между печкой и дверью и остановилась в нем с самым независимым видом. Бедная Лена уже горько плакала, вытирая слезы салфеткой. Мама, расстроенная, перемывала чашки.

— Не плачь, Лена, охота тебе! — горделиво раздалось из угла.

Но не думайте, ребята, что на душе у Маши было в эту минуту так спокойно. Она просто «выдерживала характер» и храбрилась перед сестрой. На самом же деле ей было горько и больно — что день испорчен, что люди злы, что сама она никуда не годная, что все на свете плохо, что, может быть, все теперь пропало — спокойствие души, папина доброта, прежняя жизнь в доме.

— Сережа,— тихо сказала мама, взглянув в сторону Маши,— не сердись на нее, это от нервности.

— Хороша нервность,— буркнул папа, снова разворачивая газету,— ты, матушка, посадишь их себе на голову, а потом сама же пожалеешь. Я предложил сделать пробу, и вот результаты.

— Никаких особенно результатов я не вижу,— опять вступилась мама,— чем же дети виноваты, если они привыкли...

— Оставь, милая! — непреклонно отозвался папа.— Неужели ты не понимаешь, куда ведет такая привычка? Ведь без выдержки дня не проживешь. На что они будут годиться, если вообразят, что всякое их желание — закон?

Оба они замолкли и молчали до тех пор, пока не раздался звонок. Это была учительница немецкого языка, Луиза Антоновна. Маша знала, что теперь ее пустят из угла, да не так-то скоро. Луиза Антоновна была высокая пожилая женщина и раздевалась ужасно медленно: надо было гамаши снять, нижнюю вязаную юбку снять и все это свернуть и аккуратно спрятать на подзеркальник, чтоб никто не заметил такого «неприлишия». Няня ей помогала в передней и рассказывала, какой нынче случай видела на улице. Наконец папа встал и коротко сказал:

— Маша и Лена, идите заниматься.

Мама срезала еще одну шейку от калача, намазала ее маслом, посолила и, разделив на две части, дала ее обеим девочкам, добавив:

— Только скушайте здесь, в столовой!

Сестры молча съели калач, поблагодарили маму и пошли заниматься в прибранную и проветренную детскую.

Глава третья

КРЕСТНЫЙ АФАНАСИЙ ИВАНОВИЧ

У Луизы Антоновны был свой способ преподавания. Она не любила жить в гувернантках и потому называла себя «приходящей». От раннего утра и до позднего вечера она ходила заниматься. У нее были уроки с завтраком, уроки с обедом и уроки с вечерним чаем. К Маше с Леной она ходила как раз на урок с завтраком, длившийся два с половиной часа.

Луиза Антоновна занималась не по книжкам, а главным образом при помощи детской и всего, что в ней находилось. С первого же разу она взяла куклу и сказала: это кукла,— Püppe,— ну, повторите. Дети повторили, и с тех пор все повторяли за нею и легко запоминали. Учила она детей и во время прогулок. Дом, деревья, лошади, заборы, прохожие — кто идет, какого он роста и как одет, что у него на голове, на руках и на ногах — надо было хорошо заметить, а потом повторить. Скоро они могли уже понимать и даже отвечать по-немецки.

Соскучиться с нею было немыслимо. Она всегда что-нибудь придумывала. Осенью, когда листья в палисадниках становились красными, она учила детей собирать самые красивые из них и обклеивать ими картонные рамочки для фотографий. Зимой все в доме превращалось в материал для елочных украшений. Маленькие ножницы, кисточка и баночка с клеем появлялись на столе. Мама приносила из магазина длинные трубки бумаги — белой, плотной; синей, зеленой, красной; блестяще-глянцевитой, словно лакированной; золотой и серебряной с тисненными на ней красивыми рисунками; были еще цветная папиросная бумага и моток мягкой проволоки — для цветов. Детям повязывали под самый подбородок широкие салфетки, и они начинали клеить цепочки, баульчики, барабаны, хлопушки... Как хорошо пахло тогда в комнате — клеем, крашеной бумагой.

Еще не высохли слезы на щеках у Леночки, а Луиза Антоновна уже достала из своего бархатного кошелька переводную картинку и предложила девочкам перевести ее на чистую бумагу. У них была особая тетрадь с такими картинками. Их смачивали с одной стороны (где рисунок) и накладывали мокрой стороной на тетрадку, а

потом мочили и осторожно терли другую, белую сторону, пока вся белая бумага не сходила и не обнаруживала яркую картинку. Потом Маша и Лена должны были рассказывать, что на ней изображено, разумеется, не по-русски, а по-немецки.

Была у Луизы Антоновны еще одна привычка: она заочно знакомила всех своих маленьких учеников и учениц. Маше и Лене она чаще всего говорила про образцового мальчика Жоржика и ленивую девочку Нюшу. Нужно поставить в пример прилежание, послушание и аккуратность — и на сцену появляется Жоржинька; надобно поругать за лень — и сейчас же сравнение с Нюшей. Дети уже заранее представляли себе Жоржика в виде фарфорового херувима с бантиком, а Нюшу растрепанной, нечесаной, с вымазанными чернилами пальцами и щеками.

Видя, что Лена сегодня заплаканная, а Маша мрачна, как туча, Луиза Антоновна отложила картинку и сказала:

— Сегодня у меня после обеда новый мальчик, Андрюша.

— Какой он из себя?— спросила Лена.

— Wie sieht er aus? — поправила тотчас же Луиза Антоновна.— Очень приятный мальчик, только шалун. Высокого роста, тоненький, голубоглазый, со всеми талантами.

— Со всеми?— недоверчиво спросила Маша.

— Со всеми: и рисует, и стихи пишет, и на рояле играет. Только каждый день прыгает из окошка. Ужасный шалун. Я его буду в угол ставить.

— Разве мальчиков тоже в угол ставят?

— Еще как! Ну, дети, смирно. Что изображает эта картинка?

Маша и Лена немного успокоились и принялись за урок. Только все нынче выходило плохо, совсем как у Нюши. Вода пролилась из блюдца, чернила перепачкали ручку, а потом и пальцы, а потом и кончик носа; немецкая книга упала со стола и по дороге выскочила из переплета. Невесело прошел и второй час, обыкновенно посвящаемый играм. Дети вяло двигались по комнате. Наконец няня позвала их завтракать.

Кроме стрижки волос, папа был убежден еще в том, что мясо надо давать детям как можно реже, а острые

приправы — горчицу, уксус, перец — и совсем вывести из употребления, даже для взрослых. На завтрак детям подавалось по стакану теплого молока и по большой ватрушке или ржаной лепешке. Но для Луизы Антоновны приносили из кухни бифштекс с жареной картошкой, всегда чудесно пахнувший и румяный, с таким аппетитным, прижаренным хрящиком где-нибудь на кончике. Чужое всегда кажется лучше своего. Маша и Лена пили молоко без всякого удовольствия. Но как завидно им было глядеть на бифштекс! Тихонько нюхали они воздух и провожали взглядом каждый кусок, исчезавший во рту у Луизы Антоновны. Впрочем, завтрак ежедневно кончался одним приятным событием: Луиза Антоновна, доходя до хрящика, останавливалась и задумывалась. Потом она медленно отрезала два совсем маленьких, но вкусных кусочка, похожих друг на друга, как две капли воды, и неизвестно для чего отодвигала их на самый край тарелки. После этой странной операции она доедала бифштекс, собирала корочкой хлеба, нанизанной на вилку, оставшийся соус, а потом аккуратно складывала ножик и вилку крест-накрест на пустой тарелке. Для чего там были оставлены два кусочка? Маша и Лена всегда делали из этого один и тот же вывод, тем более, что на лице у Луизы Антоновны не выражалось ничего, кроме задумчивости. Она отворачивалась к дверям, поджидая кофе, а кусочки исчезали в двух детских ртах.

На этот раз, однако, дело не успело дойти до хрящика. Раздался громкий звонок, а за ним другой, еще громче. Так звонил только один крестный, Афанасий Иванович, женатый на маминой сестре, тете Ашхен. Дети с визгом кинулись из столовой в гостиную. В гостиной были зеркальные окна, прямо на палисадник. Перед палисадником, переступая с ноги на ногу по блестящему снегу и сияя синей, с серебряными пряжками, сеткой, стоял серый выезд крестного, великолепная пара коней в яблоках, с расчесанными по-русски (а не подстриженными) хвостами, с важным кучером в раздутом сзади, как подушка, синем кафтане и чуть ли не вываливавшимся из саней от собственной важности.

— Ура! Дядя крестный приехал! Значит, все-таки что-нибудь да будет!

Скоро показался и сам он из передней, весь красный от мороза, с мокрыми усами и носом. Мама шла вслед

за ним, обнимая тетю Ашхен. Мама и тетя Ашхен обе были красавицами, каждая на свой лад. Мама — хрупкая, нежная, похожая на девочку, с подвитой на лбу челкой; тетя Ашхен — большая, властная, величественная, с проницательными черными глазами. Но если обе они были красавицами, то не было никакого сомнения в том, что сам дядя крестный был уродом. Начать с того, что ростом он был ниже тети. Да и весь какой-то корявый, большеносый, обросший черными волосами, хитрый-прехитрый на вид; глазки у него были маленькие и никогда они не глядели прямо, в лицо другому человеку. Только с маленькой Леной он чувствовал себя как будто легко. Оттого и любил ее больше Маши, которая, по его мнению, «чересчур во все нос совала».

Дети очень обрадовались дяде крестному. Обе они были большими лакомками, а крестный никогда не приезжал без конфет.

Итак, они обступили крестного и стали скакать вокруг него, словно дикие. Но крестный развел руками и огорченно сказал:

— Вот, дети, беда какая. Хотел вам сладостей купить, да все магазины заперты. В следующий раз, в следующий раз.

Маша и Лена сперва не поверили. Они бросились к тете Ашхен.

— Тетя, тетя, скажи, правда, магазины заперты?

— Ну конечно, в первый день Нового года.

Тогда Маша незаметно проскользнула в переднюю и... Вот так штука! В углу, на подставке для зонтиков, где сейчас не было ни зонтиков, ни палок, лежали две очень большие, длинные белые коробки, аккуратно перевязанные розовой тесьмой. Это не были коробки от конфет. Такие бывают только в игрушечных магазинах, и Маша это отлично понимала. Вот оно! Теперь уже ясно, что подошла настоящая радость и через минуту они ее увидят своими глазами. Праздник все-таки не провалился. Она почувствовала такое блаженство, что, выскочив из передней кубарем, кинулась на ковер и там перекувырнулась. Лена еще ничего не подозревает! Какой Лене сюрприз!

А Лена тем временем сидела у крестного на коленях, уставив на него два своих больших глаза, два единственных глаза, перед которыми он не потуплял своих. Крест-

ный рассказывал ей историю и подозвал Машу, чтоб она тоже послушала.

— Жили-были две барышни,— рассказывал крестный,— они были очень дорогие и роскошные, потому что их сделали на заказ. Одна была высокого роста, белокурая, с черными глазами, одетая в розовое шелковое платье. Другая поменьше ростом, каштановая, с голубыми глазами, одетая в голубое шелковое платье. Ну-ка, дети, скажите, кому какая больше нравится?

— Розовая,— тихо сказала Лена, поглядев на Машу. Она была в полном недоумении и не знала, что произойдет дальше.

— Каштановая, с голубыми глазами! — крикнула на всю комнату Маша так, что мама, говорившая с тетей, вздрогнула и закрыла уши руками.

— Ну, теперь сидите смирно и глядите обе в окошко. Если кто обернется, тот ничего не получит.

С этими словами крестный вышел из комнаты. Маша и Лена обе глядели в окно; щеки у них пылали от волнения.

— Я знаю, это куклы! Вот увидишь! — шептала Маша.

Крестный вернулся и стал что-то делать на столе. Потом он хлопнул в ладоши — это означало разрешение обернуться. Маша и Лена мгновенно отскочили от окна. Перед ними лежали на столе две картонные коробки, тесемка была с них снята. Одну дядя крестный придвинул Лене, а другую — Маше, со словами:

— Вот тебе твоя барышня, а вот тебе — твоя.

Дети осторожно подняли крышки и ахнули. Перед ними были куклы, но какие куклы! У Лены оказалась огромная красивая кукла с длинными белокурыми локонами и черными глазами, в розовом расшитом платье с кармашком, соломенной шляпе и белых лайковых башмачках; ручки и щечки у нее были розовые и пухленькие. Машина кукла была меньше размером, бледнее и худее. Но зато голубые глаза ее так грустно смотрели из-под длинных черных ресниц, а каштановые локоны падали на платье мягкие, как шелк. Да и вся она была какая-то особенная — грустная и прелестная.

Сестры глядели и не могли наглядеться. Вдруг Маша прошептала:

— Знаешь, Лена, я чувствую, что я ее люблю! Ты себе представить не можешь, до чего я ее люблю!

Так и случилось, что Ленино рождение все-таки не обошлось без подарка.

Глава четвертая

ПРОГУЛКА С МАМОЙ

В одно февральское утро Луиза Антоновна не пришла; слишком рано переменила вязаную юбку на фланелевую и простудилась. А между тем на дворе стояла февральская оттепель — все улицы сверкали и искрились под жидким, свежим солнцем, деревья отряхивались на прохожих, словно мокрый пудель. С крыш тоже капали веселые капли, загоравшиеся под солнцем, как драгоценные камушки, тысячью огоньков.

Маша и Лена сидели в передней, уже одетые, и ждали, чтоб няня повела их гулять.

Но вместо няни вышла мама и сказала:

— Знаете что, дети? Я сама поведу вас гулять. Если хотите, возьмите с собой кукол.

То-то радость! Куклы выходили гулять в первый раз. Дети боялись, чтоб они не простудились, и надели на них белые пикейные кофты с плюшевыми воротниками, сшитые няней. Лена взяла на руки свою Розу, а Маша — свою Нелли, таковы были теперь их имена.

Трудно сказать, до чего сестры полюбили своих кукол. Лена, как маленькая, больше всего любила играть с Розой «в дочки», раздевать ее, укладывать спать и водить к доктору. Маша уже не находила в такой игре никакого удовольствия. Она по секрету призналась Лене, что любит Нелли, как человека. Не странно ли, что Нелли такая грустная? Ведь куклы все делаются на фабрике по одному образцу и никогда не выходят грустными, а наоборот — румяными и глупо улыбающимися. Почему же Нелли особенная? Даже мама и та сказала, что Нелли особенная. Может быть, она не простая кукла, а заколдованная. Маша тихонько клала ей в кроватку хлеба и карамелей; когда в гостиной были гости и кто-

нибудь играл на рояле, Маша непременно приносила туда и Нелли, чтобы она могла послушать музыку. На ночь она ей шептала тихим голосом: «Не бойся, Нелличка, я все понимаю, я тебя не выдам». И держала себя так странно, будто связана с Нелли тайной.

Обе сестры и нарядная мама вышли на улицу. Мама улыбнулась от удовольствия, когда солнышко захватило ее своим сиянием, прищурилась и сказала:

— Так тепло и сухо, что можно в Петровский парк!

Но на улице вовсе не было сухо. Только булыжник на мостовой да большие камни на тротуарах, пригретые солнцем, успели уже высохнуть, а в тени и в рытвинах либо лежал грязный снег, либо быстро текла вода. На углах улиц в углублении были вделаны в землю железные решетки. Рыжие реки, с шумом несшиеся вдоль тротуаров, по краям мостовой, пролетали вниз, сквозь эту решетку, и там, внизу, исчезали. Маша показала Лене на эти решетки и промолвила:

— Видишь, внизу черное царство. Там живут злые черные люди, они все слепые и покрыты чешуйками, как из чугуна. И они не ходят, а ползут, сверху кажется, будто это черная вода течет. Видишь?

— А сейчас они не выползут? — с опаской спросила Лена.

— Нет, днем они спят. Ихняя царица выходит. Но ты смотри не взгляни на нее! Иначе окаменеешь.

— Маша! Скажи, какая она?

— У-ужасная! Все лицо в пятнах, ходит, скрючившись поперек туловища, и зовут ее... зовут ее колдунья Дэрэвэ.

Маша выговорила это с таким ужасом в голосе, ударяя на последний слог, что Лена вздрогнула и ухватилась свободной рукой за мамину юбку!

— Молчи! Это секрет! — предостерегающе шепнула ей Маша, и бедная Лена, продолжая держаться за маму, двинулась дальше.

— Полно тебе сочинять,— рассеянно сказала мама, слушавшая краем уха.

А вокруг было так хорошо! Они уже вышли за старые Триумфальные ворота — на месте их теперь широкий проезд,— и вступили на узенький, кое-где просохший бульварчик. Солнце грело совсем не по-февральски. Дети разомлели в своих гамашах и шубках. Маме

тоже стало жарко. Время от времени она встречала знакомых, кивала им головой. Москвичи, сбитые с толку этой ранней весной, со всех сторон направлялись в Петровский парк. Но вот толпа поредела, дети и мама устали, им захотелось посидеть.

Одна совершенно свободная скамеечка, высушенная солнцем, соблазнила их. Мама сперва потрогала, не сыро ли, а потом разрешила детям сесть и села сама. Мимо проходила какая-то женщина с ребенком на руках. Увидя кукол, ребенок протянул к ним ручонки и засмеялся. Тогда женщина подсела к маме иа краешек скамейки и тоже стала глядеть на кукол.

— Ляля! — сказал ребенок в восхищении, высунув из-под старого, рваного платка маленькую ручку, такую худую, как цыплячья лапка.

— Да, миленькая, хорошие чужие ляли, глянька, платья на них шелковые, а кружевца-то, кружевца! Вот, барыня, уж четвертый годок ей пошел, а не ходит. Такая махонькая да легонькая. Носила к фельдшеру, прописал ей лекарство, а что в нем, в лекарстве? Попила, попила, толку-то все нет, не встает иа ножки.

Мама разговорилась с иезнакомой женщиной. А Маша и Лена подружились с крохотной девочкой, иеотступно глядевшей на кукол. Девочка была так бледна, что все жилки иа ее лице просвечивали, глаза обведены были большими синими кругами, а иа щеках видиелись две ямочки, обтягивавшие ей кожу при улыбке. Наверно, она была бы прехорошенькая, будь хоть чуточку пополнее. Голосок у иее был серебристый и нежный, как у весиеней птицы. Втроем они занялись куклами и принялись их одевать и раздевать.

Пока дети играли, мама разговаривала все оживленней, вынула из сумочки карандаш и бумагу, написала что-то и передала иезиакомой жеищиие. А потом вдруг она обернулась к своим детям, и Маша с Леной увидели, что она очень расстроена и глаза у иее полны слез.

— Сядьте-ка поближе, дети,— сказала она очень тихим голосом.

Маша и Лена придвинулись совсем близко к маме.

— Видите вы эту девочку? Подумайте только — когда она родилась, маме ее нужно было каждый день уходить на работу. Девочке вместо молока давали раз-

моченного хлебца в тряпке. Один раз ее положили в корзинку и все ушли из дому, а корзинку кошка сбросила на пол. Вечером приходят домой и видят: девочка лежит в темноте на полу одна-одинешенька...

Мама помолчала, и дети догадались, что ей не хочется показать им своего расстройства.

— Ну вот, ребята,— еще тише продолжала она,— с тех пор девочка и не ходит. А ведь ты, Лена, не на много ее старше, а бегаешь — только за подол тебя держи. И чуть вам подарков нет, начинаете свои капризы. У вас в детской игрушек полным-полно. Сколько у вас дома еще кукол?

Лена тревожно задышала и прижала к себе свою Розу. Маша отодвинулась, ей захотелось встать и убежать. Обе они почувствовали, куда клонит мама. Но это было так ужасно, так обидно, что думать об этом было невыносимо.

— Сегодня эта девочка — именинница,— продолжала мама,— вот бы хорошо, если б она вернулась домой с подарком от своих новых подружек!

Маша и Лена покрепче прижали своих кукол. Неизвестная женщина сказала маме:

— Что вы, голубушка, господь с вами! Нешто можно своих ребят обидеть?

Но мама заговорила снова, и таким грустным, укоризненным голосом:

— Что ж, пойдемте домой. Я думала, вы у меня хорошие и сами догадаетесь, что нужно сделать. Но насильно я вас заставлять не хочу. Идемте, идемте, стало холоднее.

Маша взглянула на свою Нелли и поднялась с места. Мама не заставляет... Но уж лучше б она заставила! Уж лучше б насильно взяла и отдала Нелли. Кукла глядела на нее своими голубыми глазами. Вот что означала ее грусть — это была, значит, разлука.

Она подошла к бледной маленькой девочке:

— Это тебе на память. Бери — твоя ляля, совсем твоя.

Ее охрипший голос прозвучал почти сердито.

Девочка поглядела на куклу непонимающими, испуганными глазами. Тогда неизвестная женщина взяла куклу из рук Маши и положила ее на руки своей дочке.

— Бери, бери. Спасибо скажи.

Но больная девочка только молча, со всей силой прижала к себе куклу и спряталась под материнский платок. Маша отвернулась и, расстроенная, побежала за мамой и Леной, уже отошедшими от скамейки. С минуту она шла за ними, не желая идти рядом. Мама ни слова ей не сказала, сделала вид, что не замечает несчастного Машиного вида, сама подождала ее и только поправила ей резинку от берета, съехавшую за ухо. Но в этом Маше вдруг почудились мамины одобренье и ласка и ей стало хорошо на душе.

Когда сестры разделись и румяные от прогулки водворились в детскую, Лена вдруг положила свою Розу Маше на колени и расплакалась.

— Ма-аша! — сказала она сквозь слезы.— Когда ты отдала Нелли той девочке, я решила-а...

Она решила приберечь свою куклу, чтобы отдать ее сестре. Но только сейчас слезы застревали у нее в горле, и никак не удавалось ничего выговорить. Маша догадалась и так,— ведь они всегда все знали друг о друге. Она обняла Лену и тоже заплакала. В глубине души она знала, что ни одна кукла в мире не заменит и не должна заменить Нелли, и она уже гордилась ее необыкновенной судьбой.

Наступил вечер. Висячая лампа в столовой разрисовала на скатерти кружевные тени от абажура. За ужином отец рассказал, что женщина приходила к нему в больницу с маминой запиской и что больную девочку еще можно вылечить. Он говорил спокойно и вдруг добавил с сердцем, неизвестно на кого рассердившись:

— Да разве, душа моя, океан ложкой вычерпаешь?

Няня тоже слушала, стоя в дверях. При словах отца она горячо сказала:

— Житья народу не стало! Заступиться некому.

— Сам вырастет — за себя заступится! — буркнул отец.

А потом пришло время спать. Чистя на ночь зубы, Лена с любопытством спросила няню, а кто народу житья не дает.

— Мало ли их на горбу народном,— тихо, как бы про себя, ответила няня.— Народ-то, он один работает, как пчелки в улье, а везет на себе тысячу — царь на нем едет, помещик погоняет, купец обирает... Тьма их тьму-

щая, кому охота на чужой шее сидеть да чужой хлеб огребать!

— Помнишь? Совсем как эти черные ползуны... Нашейники! — шепнула Маша Лене, найдя название для страшилищ, живших в сточной воде.

Глава пятая

НЯНИН СУНДУК

Однажды, войдя в детскую, дети увидели няню перед открытым сундуком. Надо вам сказать, что нянин сундук с того самого давнишнего вечера (когда дети от няни спрятались) ни разу еще не открывался. Что в нем такое было и что именно собралась она подарить племяннику — осталось для детей тайной. Можете вы себе представить, как они заволновались и заспешили к няне:

— Нюга, нюга, покажи сундук!

— Так вот сейчас и показала,— насмешливо ответила няня, задергивая сундук простыней,— раньше своего часу никто ничего не увидит.

— А когда наступит свой час?

— Как ступит, так и наступит.

Маша с Леной стали ластиться к няне и бочком подбираться к сундуку, да не тут-то было. Отогнала их няня, как мух, и еще на смех подняла. Впрочем, голос у няни был ласковый и многообещающий. Чуяли обе девочки, что племяннику непременно остаться без подарка, а им быть в награде, но что это такое — ни одна из них не могла догадаться.

Между тем события наступили загадочные. Ночью няня, спавшая в одной комнате с детьми, почему-то зажгла вместо лампадки ночную лампочку и поставила ее к себе на стол. Дети сделали вид, что не обратили на это никакого внимания. Потом она еще с вечера принесла в детскую, неведомо зачем, огромный глиняный кувшин с песком и поместила его под столом. Дети решили про себя ни за что не уснуть, а только притвориться спящими, и непременно подглядеть нянины тайны.

Лежат они обе в кроватках и делают вид, что спят. Вдруг Маша слышит, что песок сыплется,— тихо-тихо, такой тоненькой струйкой, что еле уху различимо. Она разомкнула ресницы и приподняла голову с подушки — видит в комнате чью-то огромную крылатую тень да склоненную спиной к детям фигуру няни. Ей стало вдруг страшно, она не удержалась и вскрикнула.

Няня сейчас же убавила свет в лампе, подошла к Маше и уселась возле кровати как ни в чем не бывало. Крылатая тень со стены тоже исчезла. Должно быть, няня догадалась о детской хитрости, потому что подперла голову руками и стала напевать тягучим-претягучим голосом:

Сон парх,— па-арх — в комнате парх-ает...
Сон мах-ма-ах — крыльями маха-ает...
В один угол — мах,
В другой угол — мах...
На глазок — парх, на другой — парх.
Со глаза на глаз перепархивает,
Со щеки на щеку перепрыгивает,—
На тебе крест, на тебе накрест,—
Припечатывай...

И странное дело! Ни Лена, ни Маша никогда не могли вынести эту тягучую песню без того, чтобы не заснуть. Маше казалось даже, что при словах «Со глаза на глаз перепархивает» ее опутывает какая-то паутина, так и садится к ней на лицо, и она делала слабое усилие руками снять с себя эту паутину, да руки не слушались. Так и теперь. Ей ни за что не хотелось заснуть. Она послюнявила указательный палец и тихонько смочила себе веки, да не тут-то было! Серая, сонная паутинка закружилась в воздухе, стала осаживаться на лице крест-накрест, ресницы переплела, веки склеила, и Маша заснула.

Утром никаких следов няниной тайны в комнате уже не было. Исчез кувшин с песком, исчезли и лампочка и сама няня. Впрочем, она скоро вошла в комнату, позевывая от бессонной ночи, и стала одевать детей.

Уже после уроков и завтрака, проводив Луизу Антоновну, няня вернулась в столовую и говорит детям:

— Маша и Лена, к вам две барышни в гости приехали. Идите в гостиную, занимайте гостей.

— Когда же они приехали, если звонка не было?— спросила Маша.

— Они дворника спросили и с черного хода пришли.

— Неправда, нюга,— ответила Лена,— кухня тоже заперта, кухарка за сметаной ушла.

— Ну, когда так,— рассердилась няня,— вас не переспоришь. Говорю, сидят две барышни. А не хотите, я их домой отправлю.

Маша и Лена отлично знали, что это одна хитрость и никаких барышень там быть не может. Но каково же было их удивление, когда, войдя в гостиную, они действительно увидели там двух барышень... Две неподвижные фигуры, ростом с наших двух сестер, чинно сидели на креслах, положив руки на ручки кресел и свесив вниз ноги. Одеты они были совсем не по-городскому — одна в красном, другая в голубом сарафане, в кокошниках и лаптях. У одной на шее был шелковый платочек, у другой — четыре ряда разноцветных бус. Лица у них были гладкие, румяные, как от мороза.

Маша и Лена сперва глядели на них издалека, а потом подошли и потрогали. Это были куклы, куклы-великаны, начиненные песком, тяжелые, большие. Няня пришла в гостиную и торжествовала, глядя на восторг и удивление девочек:

— Вот у нас как, по-простому, по-деревенскому. Дяде крестному таких кукол по всей Москве не сыскать. В одну ночь сшила.

Пришла мама, торопившаяся куда-то в гости. Она поцеловала няню и назвала ее художником, а детям велела дать нянечке отдых, потому что она не спала из-за них всю ночь.

— Я еду в гости,— сказала она виновато,— папа тоже сегодня не придет. Вы пообедайте одни пораньше. Смотрите, ведите себя умницами. Играйте с новыми куклами, да не тормошите их очень-то, а то они песком заплачут. Маша, даешь мне слово быть без меня умницей?

— Даю, мамочка!

— Ну, смотри.

Она поцеловала обеих девочек и уехала. Маше и Лене предстояло остаться одним целый длинный вечер. Сказать по правде, они не только радовались новым куклам, но и немножко их побаивались. Уж очень-то куклы были большие и неподвижные. В том, как они сидели, было что-то совсем живое. Няня нашила им купленные

на Сухаревке головы с длинными волосами и красными губами сердечком. Глаза их смотрели пристально и неотступно.

— Я боюсь,— тихо сказала Лена, прижавшись к Маше.

— Молчи, молчи, у меня предчувствие! — ответила Маша, обнимая Лену за шею.— Сегодня это выяснится, вот увидишь.

— Что, скажи, что?

— Волшебство выяснится. Ты думаешь, мы с тобой мамины и папины? Ошибаешься. Это только хитрость. Я притворяюсь маминой дочкой, и ты тоже притворяешься. Скажи по чести, ведь притворяешься?

— Притворяюсь,— задумчиво ответила Леночка.

— Сегодня мы с тобой уйдем отсюда в наш дом. Не бойся, я знаю дорогу. Только никому ни слова! Смотри, чтоб няня не догадалась, а то все пропало.

— Маша, неужели ты знаешь дорогу?

— Да, да, но тсс!.. Няня идет!

Они замолчали и с таинственным видом подошли к куклам, неотступно глядевшим на них, словно все понимая.

Глава шестая

ТЕМНЫЕ КОМНАТЫ И ВОЛШЕБСТВО

После обеда няня отправилась в детскую и решила «чуток полежать», так, самую малость. Но дети видели, какое у нее измученное лицо и как она судорожно зевает,— верно, заснет надолго, может быть, на целый вечер.

— Нюга, мы будем играть в волшебное царство, можно?— спросила Маша.

— Можно, милая, только свету я вам в гостиной не зажгу, неровен час пожару наделаете.

— А нам и не нужно света, в темноте еще интересней...

Обе сестры взялись за руки и побежали из детской. Квартира доктора помещалась на первом этаже. В ней были три «парадные» комнаты.

Столовая находилась посередине между ними и спальнями. Большие двустворчатые двери выходили из столовой в гостиную; справа от гостиной находился маленький мамин будуар, а слева папин кабинет — вот эти три комнаты, гостиная, кабинет и будуар, считались «парадными». Там собирались сейчас поиграть Маша и Лена.

Эти комнаты выходили своими зеркальными окнами прямо на палисадник, отделявший дом от улицы. Большой газовый фонарь у подъезда по вечерам забрасывал в них полосы мерцающего света. Окна были завешаны прозрачными тюлевыми занавесями, на которых повторялся один и тот же рисунок: совсем наверху, между высокими тополями возвышался замок, окруженный рвом. Через ров переброшен цепной мост, а на одной из бойниц стоял рыцарь в мохнатом шлеме и, прикрыв ладонью глаза, смотрел вдаль. Снизу вверх вела извилистая горная тропинка меж грудами камней и кущами дерев. В одном месте стоял огромный ветвистый олень с величавой осанкой, в другом лежали на траве два охотника, придерживавшие за ошейник пылкую борзую. И свет от фонаря, преломляясь через зеркальные окна и колеблясь от неистового ветра, пробегал по этой картине, оживляя и рыцаря, и охотников, и оленя.

В кабинете доктора стояли письменный стол, книжный шкаф и дубовые кресла с плетеными сиденьями. В углу находилась широкая турецкая тахта, покрытая мягкими вышитыми подушками. На этой тахте часто-часто слушали Маша и Лена мамины сказки... В гостиной и будуаре стояло столько мебели, нужной и не нужной, что даже перечислить ее не хватит терпения. Скажу только, что время было вечернее. Февральская оттепель давным-давно заменилась лютой мартовской метелью. Зеркальные окна затянулись причудливыми снежными кристаллами, а свет от фонаря превратил их в брызги рассыпавшихся бриллиантов. И на этом мерцающем фоне красиво выделялся далекий тюлевый замок с извилистой тропинкой к нему и величавой головой оленя.

— Иди сюда, Леночка,— тихо позвала Маша, карабкаясь на тахту. Лена полезла вслед за сестрой и прижалась к ней, глядя большими глазами в темноту.

Маша показала смуглым пальчиком на мерцающий тюлевый замок и шепнула Лене:

— Узнаешь? Это и есть наша родина «Мерца».

— Откуда ты угадала?

— Да я давно уже знаю,— важно ответила Маша и сама тотчас же себе поверила.— Волшебная страна Мерца... Мы там родились, ты и я. Потом мы вздумали прийти на землю и притворились маленькими детьми. У нас было много сестер и самая старшая сестра по имени тоже Мерца. Она никогда не умирает. Ее никто никогда не видит.

— Даже мы?

— Даже мы. Зато остальные сестры с нами очень дружны. Они теперь по нас очень скучают...

В кабинете раздался странный треск, не то в паркетном полу, не то за стенной обивкой. Лена вздрогнула и уцепилась за сестру.

— Глупенькая, чего ты боишься? Это они зовут нас, чтоб мы вернулись в свою страну. Им хочется с нами поиграть. Идем, идем, Леночка, идем, я знаю, как туда пробраться!

— До самого замка? — недоверчиво спросила Лена.

— Ну конечно!

Маша спрыгнула с тахты. Лена почувствовала, что сейчас с ними случится волшебство, и совершенно перестала бояться. Важно и спокойно она ухватилась за Машину руку.

Куда надо было идти и как? Путь предстоял далекий. Напрасно думают взрослые люди, что из обыкновенной запертой докторской квартиры никуда не попадешь, кроме как в ту же докторскую квартиру. Дело-то ведь не в пространстве, а в пути. Маша знала один такой путь и убеждена была, что попадет в Мерцу. Она опустилась на четвереньки и поползла по полу, шепнув Лене:

— Скорей, ползи за мной!

Лена послушно поползла за ней. Трудная это была дорога в сияющую страну Мерцу! Ведь ползти-то приходилось вовсе не по ровному пространству. Маша проползла под креслом, потом забралась под стол, оттуда опять под кресло, под диван, под ступеньку лесенки, приставленной к книжным полкам, снова под стол, под кресло, наконец — через раскрытую дверь — в гостиную. Всюду, молча и терпеливо, поспевала за ней Лена. Она

уже угадала, что волшебство заключается в самом пути, и гордилась Машей,— как это она знает все эти сложные извилины и повороты и не боится ни заблудиться, ни перепутать.

В гостиной сперва стало легче ползти — там во всю комнату разостлан был мягкий, пушистый персидский ковер. Но потом оказалось, что дорога сделалась еще трудней. Надо было проползать под всеми бесчисленными креслицами, диванчиками, кушетками; надо было находить лазейку через густые заросли бахромы, щекотавшей лицо, изгибаться и извиваться змеей под тяжелыми сиденьями низких кресел, набитыми конским волосом. Свет еле-еле проникал в эти лабиринты. Душный пыльный запах застревал в носу. Тихие, странные блески зажигались на позолоченных ножках кресел, снабженных медными колесиками и сделанных в виде тигровых лапок. Эти жесткие тигровые лапки, выступавшие из леса бахромы, более всего пугали Лену. Она думала, что она в лесу, и торопилась, задыхаясь от усталости, не отстать от Маши, чтоб не попасть в лапы тигру. Дети то и дело лихорадочно позевывали. Но вот Маша остановилась на лужайке, у подножья большой кокосовой пальмы, и прошептала:

— Отдохнем, Леночка. Смотри на Мерцу. Видишь — до чего мы приблизились? Еще полчасика — и будем там.

Совсем близко, сияя бесчисленными рассыпающимися алмазами, высился грустный замок, и рыцарь в мохнатом шлеме, прикрыв ладонью глаза, пристально глядел вниз, на детей. Они посидели с минуту, переводя дыхание; головы их клонились все ниже, веки слипались, дыхание стало ровным... И вот Маше снится, что они опять ползут. Путь их лежит в темный будуар, пропитанный пряным запахом маминых духов. Навстречу встают мрачные зеркала, полные странными белесоватыми колыханиями и отражениями тропических растений. Зазвенели этажерка с фарфором и мамин туалетный столик, заманчиво уставленный всякими баночками, флакончиками и коробочками. Они ползут уже не по ковру... Шелесты, звоны и светы струятся на них из углов и перебегают со стены на стену. Какой-то отдаленный шорох звучит в ушах все сильней и сильней, и вдруг он превратился в приятное журчание.

Песок! Да, они были уже не на ковре и не на сукне, а на серебристом ровном песочке. Вдоль белой дорожки журчал ручеек. Справа высится груда красноватых каменных глыб; слева, из чащи кудрявых дерев, выбежал олень и, закинув гордую голову, смотрит на девочек.

— Ну, теперь не бойся! — радостно произнесла Маша.— Мы дома, мы в Мерце. Отчего только никто нас не встречает? Где наши сестры?

Сверху, с горной тропинки, сбежало несколько девочек с маленькими золотыми звездочками на лбу. По правде сказать, они не бежали, а подтянув ноги, слетали к ним. Лица у них были не белого, а золотисто-солнечного цвета, как у пчелок, и звездочки на лбу у них звенели, как весной над кустами звенят и гудят пчелки. Они подхватили Машу и Лену под руки и защебетали от восторга:

— Сестрички! Милые, милые! Зачем вы так долго не приходили? Сколько у нас новостей!

Маша обернулась к Лене:

— Вот видишь, эта самая красивая, кудрявая с голубыми глазами — это наша сестра Нелли.

— Нелли, здравствуй, Нелли! — отозвалась Лена и вдруг засмеялась.— Маша, знаешь, ведь у тебя тоже золотая звезда на лбу.

— Ну, разумеется. И у тебя тоже,— спокойно ответила Маша.— Расскажите, какие же у вас новости?

— После о новостях,— ответила Нелли.— Сейчас полетим завтракать. Скорей, скорей!

Она поджала ножки, взмахнула рукавом, как крылышком, и вдруг Маша с Леной тоже почувствовали, что ноги у них сами собой подтягиваются под юбки, а руки поднимаются, как крылья, и чудное, знакомое по многим, многим снам, чувство полета охватило их. Вот они сейчас поднимутся в воздух... Как странно, что днем, при взрослых, они забывают летать. А сестры уже кричали:

— Рыцарь, эй, рыцарь, спусти мост.

Рыцарь в мохнатом шлеме приветливо кивнул им и опустил мост. Маша с Леной пролетели над самым мостом, касаясь руками перил, и перед ними открылась сияющая страна Мерца.

Глава седьмая

В СИЯЮЩЕЙ СТРАНЕ МЕРЦЕ

Что это была за страна! Казалось, что создавали ее не из земли и неба, а только из одного блеска. Внизу, под ногами, мерцала земля, высоко поднимались тонкие стебли, а на них сидели настоящие сияющие звездочки. Некоторым надоедало сидеть на одних и тех же стебельках, и они вспархивали со своего места, кружились в воздухе и снова садились на какой-нибудь другой стебелек. Эти летучие цветы ужасно понравились Леночке. Она засмеялась и остановилась.

— Протяни палец! — сказала ей Маша.

Лена протянула палец, и вдруг одна сияющая звездочка, вспорхнув со стебелька, села на ее палец. Но Лена перепугалась, стряхнула звездочку и побежала дальше. Справа и слева от них шли улицы этой страны, и они были текучие, словно воды. На них плавали, покачиваясь, хрустальные прозрачные дома. Каждый дом состоял из маленьких, круглых золотых комнаток и заканчивался колпачком, под которым позванивали золотые колокольчики. Наконец вдалеке показалась высокая плавучая колокольня, вся золотистая, а за нею и замок.

Маша с Леной, вслед за сестрами, вступили в прохладные покои замка, где им прежде всего пришлось принять ванну из блеска. Маленькая, болтливая, как пчелка, девочка повела их в перламутровую комнату, где стояли две перламутровые раковинки. Она велела им раздеться и сесть в эти раковинки, а потом отвернула какой-то кран, и вдруг в раковинки полился теплый, сияющий блеск, ароматный, как запах нагретого солнцем клевера. Мыться в нем было удивительно приятно! Он смывал сразу всякую усталость, утомление, стесненность. И главное — после него девочки стали такими же сияющими, как их мерцианские сестры. Умывшись, они выбежали из ванной комнаты, и Нелли повела их в волшебную столовую.

Это была большая пустынная комната из золотистого полированного камня. И в ней ровно ничего не стояло — ни столов, ни стульев, а сверху лился сквозь открытый купол синий прохладный воздух. Лена удивленно посмотрела на Машу и шепнула:

— Вот тебе и раз! Тут и сесть негде и кушать нечего!

— Неужели ты забыла наши шкафы?— ответила Маша.— Взгляни-ка, ведь все спрятано в стенах.

И действительно, на стенах было нарисовано множество каких-то круглых комнаток, какие они видели в плавучих домах, а в них — удобная и красивая мебель, нагроможденная друг на дружку, словно узоры обоев, и целые корзины свежих и засахаренных фруктов, тертых каштанов в леденцах, шоколадных барашков, миндальных пирожных, мандаринов, фисташек,— да прямо не перечислишь всего, что там было нарисовано.

Нелли сорвала со лба золотую звездочку и позвонила в нее, как в колокольчик. Тотчас же мебель сползла со стен и, двигая ножками, на середину комнаты вышел стол; за ним спустились корзины. Отовсюду вытянулись длинные серебряные краны, а из них полились в бокалы вкусные фруктовые напитки и белое миндальное питье.

— Это все, что у нас осталось,— со вздохом сказала Нелли.— Но об этом после, после, а сейчас садитесь и кушайте!

Сестры послушно сели за стол и стали завтракать. Конфеты и питье таяли во рту, словно их и не было. Поев и попив, сестры велели мебели и кушаньям опять перебраться на стену. И стол вместе со всеми сладостями на глазах у Маши и Лены вдруг стал вытягиваться, превращаться в рисунок и размещаться на стене.

— Это очень экономно и всегда соблюдаешь порядок,— деловито объяснила девочка-пчелка.— Мы так завели, чтоб у нас в комнатах всегда было просторно и для работы и для танцев.

— А ведь вы еще ничего не сказали нам про свою главную новость,— перебила ее Маша.— Теперь скажите-ка, что у вас такое случилось?

Сестры все зараз засмеялись, как ландыши, и, схватив Машу и Лену за руки, потащили их в другую комнату, самую крайнюю комнату дворца, называемую «комнатой шкур». Они подошли к ней на цыпочках и велели Маше и Лене поочередно поглядеть в замочную скважину.

Там на тигровой шкуре лежал белый мальчик, с нахмуренными бровями и стиснутыми губами. Он был до

того белый, что даже ресницы и брови у него казались обсыпанными мукой. За спиной у него шевелились желтые крылышки. И глаза у него желтоватые — хитрые, как у козы, и сам он, как две капли, походил на козлика. Он глядел исподлобья и тонкими длинными пальцами держался за тигровую шкуру. Его никак нельзя было назвать добрым, но было в нем что-то, мешавшее счесть его и за злюку. Все-таки при взгляде на него хотелось быть очень осторожным, но в то же время ласковым.

— Кто это?— спросили дети в изумлении. Ведь они знали, что в Мерце живут только сестры, а мужчин, кроме рыцаря на страже замка, совсем нет.

— Не догадываетесь?— спросила самая серьезная сестра.

И она рассказала им о странном мальчике.

Это был их давнишний и хитрейший враг. Маша и Лена знали о лютой ненависти к Мерце злых нашейников, живших в черном подземном царстве, и царицы их, колдуньи Дэрэвэ. Давным-давно эта колдунья украла на земле белого мальчика и воспитала его, обучив всем своим хитростям и злодействам. Она внушила ему, как собственному своему сыну, ненависть к Мерце, и он поклялся погубить всех сестер. Сколько козней строил он против них! То превращал в пыль и пепел чудеснейшие цветы, которые они насадили по оврагам, и сестрам не из чего было делать золотой мед на зиму. То забирался тайком в их леса и разрывал волшебную паутинку, из нитей которой они ткали свой золотой свет. И тогда Мерца переставала сиять и на земле становилось темно. И еще многое другое придумывал мальчик Эли́, чтоб только потушить, обезлюдить Мерцу, залить ее темной, подземной ночью. И вдруг Эли́, этот хищный, хитрый, умный Эли́, гроза всей Мерцы, очутился у них во дворце и лежал на тигровой шкуре с непонятным, но не злым выражением лица.

— Как это случилось? — спросила Маша у самой серьезной сестры.

— Мы и сами еще не знаем,— хором ответили сестры,— мы еще ни о чем его не спрашивали, дожидались вас. Несколько дней тому назад он пришел и стал проситься к нам в братья. Мы его взяли на испытание.

— А если это опять хитрость?

— Нет, нет, Маша,— быстро вступилась Нелли.— Я за него ручаюсь.

— Мне тоже кажется, что он будет нашим,— заметила Леночка.

— А Дэрэвэ-то как злится, если б вы знали! — наперебой стали говорить сестры.— Она так шипела, так шипела, что все «нашéйное» царство сотрясалось от шипа. Но войдемте к Эли́, не бойтесь! Расспросите его.

И вот девочки, прячась друг за дружку и позванивая своими звездочками, вошли тихонько в комнату шкур. Белый мальчик Эли́ тотчас же встал и неуклюже, хотя очень учтиво, поклонился им.

Ему, видимо, давно хотелось поговорить с сестрами, и он очень скучал один, лежа на своей тигровой шкуре. Но сейчас, когда сестры столпились вокруг него и с нетерпением ждали, что он скажет, белый мальчик застыдился и перепугался. Он осторожно посмотрел вокруг себя своими желтыми глазами козы, приник ухом к земле,— не подслушивают ли его черные «нашейники», и, наконец, тревожно зашептал удивительно нежным и добрым голоском:

— Девочки Мерцы, к вам приближается несчастье. Запаситесь всем, что только найдется в Мерце, прикажите крепко запереть замки! У вас остается всего несколько часов. Нашейное царство решило...

— Маша! Лена! — закричал вдруг кто-то громко-громко.

Маша почувствовала, что ее схватили и увлекают куда-то. Она заплакала и открыла глаза. Боже мой, Мерца исчезла! Перед нею стояли мама и няня с зажженной свечкой в руках. А сами они находились в темном уголку будуара между зеркалом и кушеткой, и Леночка еще сладко спала. Как досадно ей стало на маму, если б вы только знали! Ведь теперь не скоро узнаешь, что грозит Мерце, что решило сделать с ней Нашейное царство и о чем хотел сказать белый мальчик Эли́...

В детской она обо всем пошепталась с Леночкой, которой казалось, что и она все это видела и слышала вместе с Машей, словно им обеим приснился один и тот же сон.

Глава восьмая

НОВОСТИ ЧЕРЕЗ ДЫРОЧКИ В СТЕНАХ

Теперь у Маши и Лены была тайна, и что бы они ни делали, им представлялась страна Мерца, ее плавучие дома с круглыми комнатами и колоколенками, золотые цветы-звездочки, хлопотливые светлые сестры. Когда Луиза Антоновна приносила им переводные картинки, они мигали друг другу исподтишка и спрашивали:

— Помнишь, Лена?

— Помнишь, Маша?

За завтраком они усиленно глядели на обои и манили к себе пальчиками нарисованных на них рыб, блуждающих среди водорослей. Но рыбы стояли неподвижно, хвостами вниз, хвостами вверх, глядя друг другу в глупые глаза. Каждый вечер Маша нетерпеливо спрашивала у мамы:

— Скажи, пожалуйста, мама, когда ты опять пойдешь в гости?

Мама поднимала брови, смеялась и отвечала:

— Да тебе-то какое дело?

— Никакого дела, просто удивляюсь, почему ты дома сидишь.

Это показалось маме очень подозрительным, тем более, что девочки переменились. Она решила выведать, что такое с ними случилось, и целыми вечерами просиживала дома. Электричества в то время еще не водилось. В гостиной зажигали высокую фарфоровую керосиновую лампу с китайским абажуром, и от нее темные комнаты теряли всякое очарование, а мебель превращалась в гримасничающих истуканов.

Маша и Лена злились. Что это такое в самом деле? Взрослые все решительно портят. Чего они боятся? Зачем они во все вмешиваются? Ведь детям вовсе неинтересны дела и секреты взрослых, и они дают взрослым скрытничать сколько им вздумается...

Однако мама не уступала и продолжала сидеть в гостиной с книжкой, время от времени поднимая на детей внимательные глаза.

— Знаешь что? — шепнула раз Маша Лене.— По стене можно приплыть к нам и дать нам знать. Они уже давно хотят что-то сказать нам, да не могут.

— Откуда же мы их услышим?

— Я все устроила. Иди в кабинет.

Лена побежала в кабинет вслед за Машей. У мамы была страсть к дверным портьерам. Она мечтала завесить все двери, какие только были в квартире, красивыми цветными портьерами. Для этого наверху, над дверью, делался карниз, под ним подвешивался поперечный занавес, короткий, собранный кольцами на металлический стержень. А по бокам свисали толстыми складками длинные до самого пола занавеси. Когда надо было открыть дверь и подобрать боковые портьеры, по самой середине их стягивали, словно поясом, шелковыми шнурами и застегивали эти пояса на фигурные крюки, вбитые по обе стороны дверей. Да только крюки эти всегда расшатывались и падали на ковер. Их поднимали и снова вбивали в круглые дырки, откуда сыпался белый алебастр. Эти самые дырки и сделались для сестер связью с волшебной страной Мерцей... Маша подвела к ним Лену, молча указала на них и, став на цыпочки, прижалась к одной из них ухом.

— Ага! — шепнула она спустя некоторое время.— Да, да, я здесь. Я слышу. Нелли?.. Здравствуй, спасибо, очень хорошо. Нет, мы не знали. Почему ты думаешь? Третьего дня? Боже мой, боже мой, какой ужас!

Лена слушала Машу, раскрыв рот и вытаращив глаза. С кем это она разговаривает? Неужели в стене кто-то сидит?

— Маша, пусти, я тоже хочу послушать!..

— Не приставай... Нелли, это я не тебе, я Лене. Ты говоришь, они вышли наружу? Не может быть! Честный? Я не сомневалась, только советовала вам быть осторожными. Ну, хорошо, прощай. В котором часу? Буду, буду непременно.

Досказав эту бессмысленную речь, Маша в волнении повернулась к Лене, но сказать ничего не успела. Раздался ровный мамин голос:

— Дети, потрудитесь объяснить, что все это значит? С ума вы сошли, что ли?

Мама стояла в дверях и глядела на них. Лене стало ужасно стыдно. Она начала краснеть, медленно-медленно, и потупила два больших глаза вниз. Пальчики ее теребили кармашек на платье. А Маша вызывающе глядела на маму и усмехалась.

— Маша, ты собираешься дерзить? Ты лучше остановись и подумай, следует ли это делать,— хладнокровно продолжала мама.

— Ни капли не собираюсь. Мы ничего дурного не делали. Зачем ты нас выслеживаешь?

— Детки мои, откуда вы знаете, что дурно и что нет? Вам может казаться, что ничего дурного нет, а на самом деле это дурно. Вы наконец заболеть можете. Не заставляйте меня жаловаться на вас папе.

— Господи, какая жизнь! — вскрикнула Маша и вдруг громко разрыдалась.— Ах, и чего они пристают! Мы-ы ос-оставляем их в покое, а они... посто... постоянно...

Ей было так тяжело, так тяжело, что она уже не могла остановиться. Сперва она плакала, потом закатилась и закудахтала, как курица, и повалилась ничком на землю. Никого в целом мире не было несчастнее ее. Их собственная тайна, никого не касающаяся, которую они зарыли в глубине своей души от чужих непонимающих глаз, насильно вырывалась оттуда, выцарапывалась грубыми руками. Это было больнее, чем вырывание молочного зуба, и все люди становились противными.

Маму перепугало состояние Маши, а кроткая Леночка, сотрясаясь от негодования, сказала первую в своей жизни дерзкую фразу:

— Вот. Довели.

Машу отпоили водой, успокоили и водворили в детскую, тем более что приближалась пора ложиться спать. Лена присоединилась к ней, поджидая удобного случая, когда можно будет ее хорошенько расспросить. Случай наступил: няня ушла в кухню за теплой водой.

— Машенька, миленькая, что тебе сказали в дырку?

— Беда! Колдунья Дэрэвэ сочинила одно слово, и теперь нашейники могут вылезать из-под земли. Они вылезли, движутся тьмой-тьмущей, их так много, что ты себе представить не можешь, и осаждают главную крепость Мерцы, Дор Кварто.

— Какая Дор Кварто?

— Ну да, ведь так же называется главный город Мерцы. Неужели ты не помнишь?

— Что же теперь будем делать, Маша?

— Ума не приложу. Я, честное слово, не выдержу и убегу от мамы. Я должна спасти Мерцу.

— Странная ты какая. Неужели они сами не спасут?

— Я тебе забыла сказать, что Элй всех удивил. Нелли говорит, что он оказался самым верным человеком в Мерце. Сидит теперь и старается разгадать, какое слово сочинила Дэрэвэ. Если только он разгадает, мы спасены.

— Почему же спасены?

— Да потому, что он на это слово наложит другое слово, и вся сила колдуньина слова исчезнет. Ах, хоть бы Элй разгадал. Я, кажется, с ума сойду. Лена, давай и мы будем разгадывать.

— Давай.

Некоторое время дети молчали. Потом Лена задумчиво произнесла:

— Маша, как ты думаешь, не б а л я к а б а л я к а б а?

— Лена! Это не то. Скорей г у и к у р г у р т у р к с!

— Да ну вас, по-турецки залопотали на ночь! — сердито воскликнула няня, внося в детскую теплую воду.— Мойтесь-ка получше, чем басурманить, арапки бесстыжие. Просто узнать вас нельзя, что такое с вами делается.

Маша и Лена многозначительно посмотрели друг на друга,— мол-де, храни тайну,— и стали послушно умываться.

Глава девятая

ПАПА ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ

На следующий день утром мама взяла у папы из рук газету и спрятала ее под салфетку. Папа сделал недовольное лицо и спросил, в чем дело. Маша и Лена отлично знали, что сейчас начнутся неприятные разоблачения, и сидели тише воды ниже травы.

— Сережа,— сказала мама,— обрати внимание, как выглядят наши девочки.

Папа пристально посмотрел на детей, которые в это время усиленно потягивали чай с молоком и старались казаться развязными.

— Видишь ли, Сережа, они ведут себя прилично, и я на них не жалуюсь, но мне думается,— они вбили себе в голову какую-то фантазию. Шепчутся по углам, стараются остаться вдвоем, полюбили темные комнаты. Вчера я застала их в кабинете за очень странным занятием. Маша приложила ухо к дырочке в стене и...

— Позволь, какая дырочка?

— От винта.

— От какого винта?

— Ну, на который мы застегиваем портьеры...

— Милая моя, эта твоя вечная страсть к портьерам — очень неразумная вещь. Ты сама виновата. Напутаешь, напутаешь в комнатах всякого тряпья, а потом удивляешься, что дети делают из этого игрушки. Я удивляюсь, как они сами еще не начали проковыривать стену.

— Сережа, я сейчас не о том. Будь так добр, не перебивай меня.

— Ну, хорошо, говори.

Однако детям не пришлось ничего больше услышать. Они уже допили свой чай, и потому им велено было отправиться в детскую. Плохо занимались они в этот день! Бедная Луиза Антоновна решила, что Нюша по сравнению с ними — сносная девочка. Но какое им было дело до Нюши и до Луизы Антоновны, когда гибла Мерца, их сияющая волшебная родина. Надежды на спасение не оставалось. Колдунье Дэрэве ничего не стоило взять крепость с полчищем своих черных нашейников. Спасти могло только одно: если б мальчик разгадал колдуньино слово. Но разгадает ли он? Вестей ниоткуда не было.

После завтрака, к которому дети от волнения почти не притронулись, произошло событие, по видимости очень простое, но имевшее большие последствия. К маме пришла портниха, мадам Вилкина, примерять платье. Она сунула в рот горсточку булавок и, ползая вокруг мамы, сквозь зубы цедила разные разности: где она была на прошлой неделе, как безвкусно одевается соседка ее по квартире, как теперь надо носить шлейфы и тому подобное. Мама ужасно боялась, как бы она во время этих разговоров не проглотила булавку, и потому позвала Машу с Леной.

— Дети, держите коробку с булавками и подавайте, когда мадам Вилкина попросит.

— Излишне, мадам, впрочем, как хотите,— ответила портниха.— Здесь я вам положу бие по всему шву, это будет солиднее. Когда я в Одессу ездила, мне аптекарь Оксель посоветовал навестить мужа, как будто мы и не ссорились. Я так и поступила. Дети, булавку.

Но Лена глядела на портниху, вытаращив глаза. Ее поразило слово Одесса. Боже ты мой, это и есть наверное колдуньино слово: О-дес-са. Интересно знать, заметила ли Маша? Верно, не заметила, так как равнодушно подала булавку портнихе. А та тем временем продолжала:

— У меня шляпки не было. Так вы знаете, подруга самоучкой делает каркасы — с самого трудного фасона. Прихожу к ней... Ах, что вы делаете, барышня!

Последнее восклицание относилось к Маше, которая высыпала коробку с булавками прямо на голову мадам Вилкиной и как безумная умчалась из комнаты. Мама вскрикнула, увидев булавки, вонзившиеся в волосы портнихи. Лена вскрикнула при виде испуганного лица мамы.

— Нет, они у меня положительно сходят с ума. Сегодня же позову доктора и уложу их на неделю в кровать,— сердито произнесла мама.— Не двигайтесь, я вам вытащу все булавки. Ах, боже мой, что за дети!

Лена, видя, что на нее не обращают внимания, тихонько выбралась из комнаты и побежала за сестрой. Маша стояла в детской возле стола, положив на него локти, и, склонив голову к плечу, что-то усердно писала. Перед нею лежала страничка, на скорую руку вырванная из тетради, а на страничке кривыми и косыми буквами было несколько раз написано: «каркас, каркас, каркас, каркас...»

— Я знаю! — подпрыгнула Лена от восторга.— Ты думаешь — это колдуньино слово. Дай мне тоже бумажку, я хочу тоже что-то написать!

Она вырвала у сестры бумажку и карандаш и долго выводила сбоку печатными буквами: «Одесса. Я думаю, что Одесса. Это пишет Лена».

Потом она вопросительно посмотрела на Машу.

— Скажи, как мы перешлем? Ведь это нужно сию секунду.

— Не беспокойся. Пойди возьми у портнихи булавку и беги в гостиную.

Лена сбегала к маме, взяла тихонько булавку и вернулась к Маше. А Маша тем временем перелезла с мягкого кресла на подоконник большого окна в гостиной. Бумажку, свернутую несколько раз, она держала во рту. Утвердившись на подоконнике, Маша выпрямилась во весь свой рост, подняла бумажку и приколола ее к тюлевой занавеси, как раз на том самом месте, где тропинка круто поворачивает к замку. Но булавка долго ее не слушалась, и, к своему ужасу, Маша порвала в двух местах тюль. Как бы то ни было, бумажка была приколота.

Потом Маша спустилась вниз и шепнула сестре:

— Кто-нибудь найдет на дороге и снесет в замок. Как жаль, что раньше вечера нельзя поговорить в дырочку!

Они ушли из комнаты, хотя время от времени то одна, то другая стали заглядывать в гостиную и посматривать, не взята ли бумажка. Но бумажка все еще висела наверху. Часам к трем в столовую вошла кухарка и принялась звенеть посудой. Она накрывала на стол. Дети любили ей помогать, и она это очень охотно позволяла. Любимым занятием Лены в таких случаях было доставать из ящика два красивых пробочника с песьими головками; а Маша щедро ставила подставки для ножей и вилок, сделанные из матового стекла и представлявшие собой две круглые детские головки, обращенные друг к другу затылками и соединенные стеклянной спинкой. Они так увлеклись этим делом, что не слышали ни шума в передней, ни шагов в кабинете. Накрыв на стол, Маша еще раз заглянула в гостиную и увидала, что бумажка исчезла. Слава богу! Значит, Нелли ее уже читает. Но вместо Нелли раздались чьи-то громкие шаги, и в столовую вошел папа, держа в руках злополучную записку. Лицо его было хмуро, брови сдвинуты.

— Дети,— позвал он сердито,— будьте любезны объяснить мне, что означает «каркас» и «Одесса» и чего ради вы рвете гардины, а? Давеча я не обратил внимания на мамины слова, а теперь сам вижу, что с вами что-то неладное.

— Это, папа, не тебе записка,— чуть не плача, ответила Маша.

— Очень приятно слышать. Так кому же?

— Нашей сестре Нелли.

— Маша, я знаю, ты шалунья и часто делаешь не то, что требуется. Но лгуньей ты до сих пор не была.

— Я и не лгу. Ты, папа, многого не знаешь. Прошу тебя, не расспрашивай.

Папа пожал плечами, внимательно посмотрел на детей и ушел в кабинет, захватив с собой записку. Маша и Лена были в ужасном волнении. Они считали каждую секунду, отбиваемую маятником на больших столовых часах, и ждали, чтоб поскорей наступил вечер. За обедом они почти не ели: поднесут ложку ко рту и кладут ее обратно, подолгу разжевывая маленькие кусочки хлеба, отламываемые от большого ломтя. Котлеты они только расковыряли, на картошку даже не посмотрели, кисель с молоком привел их в отчаяние, ибо это было любимое папино блюдо, и он его очень медленно ел. А между тем папа и поевши не думал встать из-за стола. Он все внимательнее и внимательнее поглядывал на детей и наконец обратился к маме с вопросом:

— Скажи, милая, где у нас сказки Андерсена?

— Маша, принеси папе сказки Андерсена,— сказала мама.

Бедная Маша бросилась за сказками в папин кабинет, где сумерки уже затянули серой паутиной углы, но не выдержала и подошла к дырочке.

— Нелли! Нелли! — позвала она тихонько.— Скажи, ради бога, разгадал ли Эли́ колдуньино слово? Неужто нет? А это слово не «каркас», не «Одесса»? Ну, чем же вам помочь, говори скорей... Хорошо, я постараюсь. Как же до нее добраться? Хорошо, хорошо, исполню!

— С кем ты разговаривала в кабинете? — спросил папа.

— Так,— ответила Маша.

— Вот что, дети,— серьезно сказал папа,— вы скучаете без сверстников и, должно быть, выдумали себе игру, от которой вам будет только вред. Вы сами уверуете в чудеса, а потом, по ночам, будете бояться, нервничать, капризничать. Из моих здоровых и спокойных девочек сделаются два больных урода. Как вы думаете, можем ли мы это равнодушно видеть? Я бы взял вас сегодня в гости к доктору Титову, но у него дома корь. Давайте почитаем сказки, а завтра я придумаю, с кем

мне вас познакомить. Ну-ка, раскрой книгу и начинай сперва ты, Маша.

Книга раскрылась на нечитаной сказке «Соловей», и Маша начала. Ей всегда, при чтении вслух, хотелось показать, что она может читать не запинаясь, одно слово за другим, как взрослые, и она, по определению няни, понеслась было «через пень-колоду», глотая окончанья и запятые, но папа строго сказал: «Начинай сначала».

Постепенно скучный голосок оживился, Маша начала читать толково и даже многозначительно посмотрела на Лену:

«...императорский дворец был самый великолепный на целом свете: он весь был из тончайшего фарфора, такого дорогого, но тоже и такого хрупкого, что до него было просто опасно дотронуться. В саду цвели чудеснейшие цветы, а на самых пышных висели серебряные колокольчики и звенели, чтобы нельзя было пройти мимо, не заметив их. Да, в саду у императора все это было сделано неспроста, и сад тянулся так далеко, что и сам садовник не знал, где ему конец. Как пройдешь дальше, взойдешь в чудеснейший лес, с высокими деревьями и глубокими озерами».

Так и вышло, что весь вечер до самого ужина мама и папа оставались вместе с детьми.

Глава десятая

ЛУИЗА АНТОНОВНА ПРИДУМАЛА СРЕДСТВО

У няни весь день болела голова, и она жаловалась Луизе Антоновне:

— Должно быть, от дурного глазу. Так болит, что поворотить трудно. Да и детей у нас точно сглазили — скучные какие-то и с фокусами. По ночам бредят, вот-вот лунатиками сделаются.

— Это, няня, не от дурного глаза. Это от того, что у них нет общества.

— Да какое же мы им опчество найдем?

— Луиза Антоновна, вы совершенно правы,— пере-

била няню мама, быстро входя в детскую.— Я с вами давно хочу посоветоваться. Как вы думаете, можно ли пригласить к нам кого-нибудь из ваших учеников? Я хочу сделать небольшую детскую вечеринку.

— Это очень разумно,— ответила Луиза Антоновна.— Маша и Лена уже знают всех моих детей понаслышке. Пусть сами скажут, кого им больше хочется видеть.

— Нюшу, Нюшу! — вскрикнули в восторге обе девочки.

— Ай, какие вы нехорошие,— укоризненно возразила Луиза Антоновна.— Сколько раз я вам говорила, что Нюша неблагонравная и ленивая. Впрочем, Нюша из хорошего семейства. Они люди культурные и с удовольствием ее отпустят.

— Хорошо, Луиза Антоновна, пригласите Нюшу. Потом еще кого-нибудь.

— Я вам приведу Жоржиньку.

— Луиза Антоновна,— запротестовала Маша.—Только не Жоржа!

— Сударыня, я вам должна сказать, что Жоржинька Кирхгоф — мой образцовый ученик. Дети этого не могут понять. Кроме того, я могу привести Андрюшу. Он круглый сирота и воспитывается у своей тетки.

— Вот и хорошо, довольно с нас одной девочки и двух мальчиков. Луиза Антоновна, я надеюсь, вы тоже будете у нас в этот вечер. Давайте обсудим, как это устроить и когда.

Мама с немкой уселись на диван и принялись обсуждать подробности, а дети скакали вокруг них как сумасшедшие.

Решено было попросить у крестного, Афанасия Ивановича, «выезд», как тогда называли коляску с собственными лошадьми, и на этом выезде отправить Луизу Антоновну за детьми. Вечер назначили в воскресенье, и мама по этому случаю велела разгладить два самых нарядных детских платьица с кружевными воротничками. Мало того, из маминой шифоньерки были вынуты три коробки с шахматами, с домино и еще с какой-то английской игрой, в которую, впрочем, никто не играл. Домино было из настоящей слоновой кости, а шахматы великолепной кустарной работы; каждая фигурка выглядела как живая: конь мчался, вскинув обе передние

ноги и распустив хвост; башня-тура стояла настоящая, из каменных плит с отверстиями для пушек; офицер-слон в нарядном мундире опирался на шпагу, а королева была так хороша, что дети не могли вдоволь на нее налюбоваться. Решено было приготовить все игры, чтобы дети, если захотят и смогут, играли и забавлялись вволю.

На кухне тоже началась суета. Мама заранее написала на листочке, что купить на рынке, а что в магазинах. Сперва, в детской,— детям дадут чай с пирожным, вареньем и сладостями, а уже в девятом часу вечера в столовой накроют ужин. Мама хранила в тайне, что именно будет к ужину, но дети расслышали, как зашла речь о рябчиках и брусничном варенье. До воскресенья ведь оставался всего только один день.

Мама не пустила Луизу Антоновну заниматься и решила остаток часа провести с ней в разговорах. Ей непременно хотелось узнать, подходят ли приглашенные дети к ее девочкам, какие у них характеры, как их воспитывают и нет ли дома заразных больных.

— Вы можете быть спокойны, сударыня. Уж если я берусь за дело, все останутся довольны и никакого риску не будет. Больше всех желателен для знакомства Жоржинька. Родители его, может быть вы слышали, имеют свою частную гимназию на заграничный манер. У них в доме все говорят по-немецки. Он единственный сын, и его всегда ставят в пример другим воспитанникам. Можете себе представить, с утра сидит за книжками, здоровается всегда по-европейски — ногой шаркнет и голову наклонит. Говорит очень разумно, и ничего, ни одного поступка без причины у него не бывает.

— Ну, не нравится мне ваш Жорж,— задумчиво сказала мама к великому восторгу детей.

— Со стороны нельзя судить, его нужно увидеть. А вот Нюша — та мое горе. Мать у нее учительница музыки, отец писатель. Избаловали девочку ужасно. Родилась она у них поздно, оба они уже не молодые и воспитывают ее — просто вы не поверите,— не как ребенка, а как домашнее животное. Ходит она у них на четвереньках, пачкается обо все, к ученью никакого интереса.

— Это поправимо, лишь бы натура была хорошая.

— По натуре, может быть, она и не плохая, но если

ее не отдадут в пансион, так и натуру испортят. Вот еще Андрюша, тот совсем в другом роде. Это насмешник, шалун, но зато способный! В обществе будет первым человеком,— он и портрет нарисует, и на рояле польку сыграет, и из оперы вам споет, совершенно как взрослый.

Тут, однако же, Луиза Антоновна взглянула на свои швейцарские часики и увидела, что ей пора идти на следующий урок. Она торопливо простилась с мамой и детьми, надела фланелевую нижнюю юбку и ушла.

Может быть, вы думаете, дети, что мысли о предстоящей вечеринке окончательно выбили у Маши и Лены воспоминания о Мерце? Нет, вы ошибаетесь. Как ни радовались обе сестры приходу гостей, они все же не могли забыть, что на Мерцу идет несметное войско нашейников, что светлые сестры-пчелки сидят в крепости, ожидая своей смерти, что мальчик Элй трудится над разгадкой колдуньиного слова. Оставалось только одно средство: самим разгадать это слово, а до тех пор поддерживать в сестрах бодрость, изо всех сил подбодрять их. И вот у Маши созрел план. Она решила написать Нелли настоящее длинное письмо, какое пишут взрослые, вложить его в конверт, наклеить марку и дать тихонько Нюше, чтоб та опустила его в ящик. Почему именно Нюше — она и сама не знала. Но только обе они — Лена и Маша, слепо уверовали в нее давным-давно.

Вечером Маша достала конверт и листок бумаги. Долго сидела она, не зная, как начать письмо. На душе у нее было смутно и странно, голова горела. Губы обсасывали кончик карандаша, а глаза глядели в одну точку. Ей вдруг неудержимо захотелось писать. Она вынула карандаш изо рта и перевела глаза на бумагу.

Ну, возьму перо я в руки
И напишу что-нибудь,
Ах, от этой гадкой скуки
Некогда и отдохнуть.
Пишу о счастье, о блаженстве,
О той стране, где скуки нет...

Так начала она свое письмо совсем не о том, о чем хотела, и эти слова вышли у нее сами собой. Почему именно в стихах — она не знала. Но ей хотелось писать как можно больше, писать без конца, и все стихами.

Она кончила первый лист и взяла другой. Она рассказала Нелли, как трудно им приходится, как мешают папа и мама разговаривать с Мерцей в дырочку на стене, как они трудятся над разгадкой колдуньиного слова. Она умоляла сестер не терять бодрости духа и во что бы то ни стало отстоять Мерцу. Написав все это, она утихла и почувствовала страшную, приятную усталость.

— Лена, Лена! — позвала она сестренку и с гордым видом прочитала длинное письмо вслух.

— Поймет ли Нелли? — опасливо спросила Лена.

— Поймет, поймет! — лихорадочно ответила Маша.

Сама она была в восторге от письма и вложила его в конверт, не запечатавши, чтобы прочесть назавтра еще раз.

Глава одиннадцатая

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ И РАЗОЧАРОВАНИЕ

В день прихода гостей Маша и Лена места себе не находили от волнения. Какие они окажутся? Вымоет ли Нюша пальчики и смоет ли с них чернильные пятна? Сложит ли Жоржик губы, как фарфоровый ангелок? Выпрыгнет ли Андрюша из окна? Все это оставалось пока тайной, но пройдут какие-нибудь три часа — и тайна разъясниться на веки вечные.

После обеда мама повела обеих девочек в свою спальню, поставила их перед зеркальной шифоньеркой, а потом принялась их наряжать. Взяла головную щетку, побрызгала на нее эссенцией и пригладила детские головы, сделав сперва проборы. Потом подняла за подбородки личики, уравняла гребешком брови и ущипнула обе пары ушей, чтобы порозовели. Мама была кокетка и любила, чтоб дочери ее тоже выглядели кокетками. Новые платьица, мамой придуманного фасона, очень шли Маше и Лене, и когда они увидели себя в зеркале, так и ахнули от восторга.

А няня тем временем убирала столовую для чая. Постлала пушистую цветную скатерть, обложила ее такими же салфеточками с бахромой и вместо приборов наставила несколько круглых клеенок. Сегодня мама

обновила красивый детский сервиз, подаренный тетей Ашхен. Даже сливки и сахар помещались в малюсеньком молочнике и сахарнице, хотя это и не было удобно. Посередине стола стояла корзинка с пирожными от Трамбле. Здесь были круглые, начиненные каштановым пюре, песочные с фруктами, трубочки со сливками, бисквитные, пропитанные сладким ромом, яблочные слойки, кремовые — словом, все самые вкусные пирожные, какие только выпекались в московских кондитерских. Рядом с ними в вазочках разместились конфеты: клюква в сахаре, шоколад с ликером и тянучки.

Няня прибрала детскую. Книги — на одну полку, игрушки — на другую. Любимые Машины лошадки всех видов, от обтянутых кожей до картонных, занимали целый угол. Леночкина кухня с настоящей плитой (внутри нее была спиртовая лампочка), гордость наших сестер и предмет зависти для соседских детей, стояла в другом углу.

Время тянулось страшно медленно. Уже все прибрали, приготовили, зажгли лампы, а гостей не было. От ожидания у Маши с Леной то и дело разбаливались животы. Вдруг, когда обе они заговорили с кухаркой и забыли о своем ожидании, над головами их прозвенел, вернее — чирикнул, слабый звонок. Они опрометью кинулись в детскую и спрятались за дверью.

— Маша, Лена! — крикнула няня из передней.— Идите гостей встречать.

Тут уж никак нельзя было затаиться, и девочки мои выползли одна за другой из детской, с помертвелыми от волнения лицами и потными ладошками. Прежде всего они увидели тощую фигуру Луизы Антоновны, разматывавшей с шеи вязаный шарф. Возле нее, поглядывая на сестер веселыми серыми глазами в слегка припухших веках, стояла чудесная маленькая девочка. Красивой назвать ее было нельзя, но все ее лукавое личико, пухленькие ручки, шейка, вьющаяся русая голова были так очаровательны, так аппетитны, что невольно хотелось взять ее к себе на руки и расцеловать. Одета она была в платье из клетчатой шотландки, в шелковые чулочки и красные сафьяновые туфельки. Ни единой чернильной кляксы на ней не было. А между тем эта нарядная девочка первая подошла к Маше и Лене, протянула им беленькую, чистенькую ручку и сказала:

— Вот я! А это вы? Правда ли, что вы любите объяснять глупые переводные картинки?

— Маша и Лена, познакомьтесь с Нюшей,— строгим голосом произнесла Луиза Антоновна, видимо очень недовольная самостоятельностью своей ученицы.

Вслед за Нюшей к детям подошли два мальчика, оба довольно высокого роста. Один был очень худ, гладко обстрижен, держал веки опущенными. Он казался очень серьезным и усталым — это был Жорж. Другой — тоненький, голубоглазый, с шутовскими манерами, шаркнул перед девочками ногой и тотчас же начал, по выражению няни, «валять дурака»: вошел в детскую боком, высунул язык, прокатился колесом, взвизгнул наподобие вербной пищалки и показал фокус,— вытащил у ошеломленной Лены изо рта маленькую стеклянную собачку. Дети тотчас же почувствовали себя великолепно и стали наперебой просить его, чтоб он вытащил что-нибудь и у них. Тогда он вынул из Машиного уха резинку, а из сумочки Луизы Антоновны сухого черного таракана, чем привел немку в неописуемое негодование. Между тем Жорж меланхолично подошел к полке с книгами и стал рассматривать корешки.

— Вы любите читать? — спросила Маша, подходя к нему.

— Разумеется. Чтение развивает. Учение — свет, а невежество — тьма. А вы?

— Я ужасно люблю, а еще больше люблю писать.

— Я тоже люблю писать диктант,— подумав, ответил Жорж.— Хотя мне это не нужно, все равно не бывает ошибок.

Маша почувствовала стеснение сердца. Жорж совсем не походил на то пугало, каким она привыкла его себе представлять. Правда, он говорил скучные вещи, но зато выглядел таким взрослым! Глаза у него смотрели вниз устало и внимательно, голос был тихий и надтреснутый, костюм английский, с длинными брюками, как у взрослых молодых людей. Ей вдруг страшно захотелось рассказать ему про Мерцу и показать свое письмо Нелли. Она решила посоветоваться с Леной, но в это время вошла няня и позвала детей к столу чай пить. Чтоб все чувствовали себя просто и хорошо, мама решила дать детям полную свободу и сама за чаем не присутствовала. Луиза Антоновна налила детям чай, наложила

каждому пирожных и конфет и тоже пошла чай пить к маме, куда вслед за ней няня понесла поднос. Дети остались одни.

Сперва все вели себя тихо, только Нюша пересмеивалась с Леной на Андрюшины выходки. Маша сидела рядом с Жоржем и все искала удобную минуту, чтоб начать ему рассказывать про Мерцу. Однако Жорж не давал ей говорить. Он сперва с равнодушным видом взглянул на свою тарелку, потом проводил глазами Луизу Антоновну и, когда она вышла, начал есть. Боже мой, как странно он ел! Маша тоже любила сладости, но сейчас она вся полна была своими мыслями. А Жорж точно упал с луны, где три месяца ничего не ел. Тусклые глаза его заблестели, ноздри порозовели, он запихивал в рот огромные куски пирожных, глотал целиком шоколадки с ликером, а когда они не проглатывались, давил во рту — и запивал все это маленькими-маленькими глотками чая. Видя, как опустела его тарелка, Маша пододвинула ему свою. Он отказался с обиженным видом, но понемногу съел все ее сладости, потом взял из вазы тянучек и запихал себе в карманы. Губы у него были вымазаны ликером, лицо раскраснелось.

После чая дети начали играть, и тут на Жоржа нашел внезапный припадок хохота: он дико загоготал без всякой причины, стал во все вмешиваться, полез на четвереньках под стол и схватил бедную Нюшу пребольно за ногу. Все его шутки отличались какою-то нелепостью и грубостью, детям становилось от них неловко.

— Разошелся образцовый малшык,— сказал про него Андрюша, передразнивая Луизу Антоновну и при этом лукаво поглядел на Машу. От этого взгляда Маша сразу почувствовала полное доверие к Андрюше, словно они давным-давно знали друг друга. Она подошла к нему и села возле.

— Давайте дружить,— сказал ей Андрюша.

— Давайте,— ответила она,— сперва мне хотелось дружить с Жоржем, но я его разгадала. Он невозможно глупый.

— Как пробка,— ответил Андрюша.— Сейчас будут играть в домино, садитесь рядом со мной.

Весь вечер они дружили и вместе играли. Разделились на партии: Нюша с Леной, Маша с Андрюшей, а

Жорж — сам с собой. Глупое поведение Жоржа не укрылось даже от Луизы Антоновны, часто входившей к детям. Она чувствовала себя очень неловко, останавливала Жоржиньку и по-русски и по-немецки, но он не унимался. Между тем Машино сердце окончательно покорилось. Она глядела на Андрюшу восторженными глазами и старалась делать все так, как он. Отведя Лену в сторону, она шепнула торопливо:

— Знаешь, Лена, у нас — новый вечный друг, Андрюша. Он все, все поймет про Мерцу. Я решила дать письмо ему вместо Нюши.

— Но как же, Маша? Ведь мы условились дать Нюше? Я ее предупредила, и она согласна!

— Это ничего, Лена, скажи, что мы передумали.

Потом она поскорей вернулась к Андрюше, сидевшему перед Лениной кухней на четвереньках. Письмо к Нелли она держала наготове.

— Андрюша, я должна тебе сказать тайну (дети уже перешли на «ты»). Только отнесись серьезно.

— Чья тайна?

— Наша общая с Леной. Но ты сперва прочти вот это мое письмо. Ради бога, прочти его поскорей и скажи, что ты о нем думаешь. Письмо надо сегодня же опустить в почтовый ящик! Я буду сидеть, пока ты читаешь, вон там, за шкафом.

Маша дала письмо, помчалась к шкафу и спряталась за ним с бьющимся сердцем. Сперва она не решалась даже выглянуть — ведь Андрюша читал ее стихи. Но потом, когда ей показалось, что прошла целая вечность, она высунула голову из-за шкафа. Вот те на! Андрюша отложил письмо в сторону, сидит верхом на стуле и свистит, а на нее и не думает глядеть. У Маши упало сердце. Страшная тоска, такая, какой она в жизни своей не испытывала, защемила ей сердце. Покраснев, робко-робко подошла она сама к Андрюше и стала возле, не решаясь ничего спросить. Андрюша свистел.

— Ты прочитал?—спросила она наконец еле слышно.

— Возьми свое письмо. Ерунда зеленая,— ответил Андрюша, не поворачивая к ней лица.

Это было мщение, мщение за то, что она забыла Мерцу, предала свою волшебную родину из-за какого-то случайного голубоглазого мальчика. Пусть, пусть будет больно, так ей и надо!

Весь остаток вечера Маша гордо сидела одна; но личико у нее было такое убитое, бледное, несчастное, что Лена, глядя на нее, еле удерживала слезы. А за ужином оказались рябчики и крем. Да еще кофейный крем, самый любимый — и ничего этого Маша не ела. Съежившись от боли, она давала себе святую клятву никогда ни для кого не забывать Мерцу и никому больше ничего о ней не рассказывать.

На ночь они с Леной поплакали, и Маша сказала сестре:

— Ничего, Леночка, пусть! Люди все не стоят того, чтобы с ними дружили. Зато подумай — у нас есть Мерца! Наша собственная, никому не известная Мерца. А у них нет ничего.

Глава двенадцатая

БОЛЕЗНЬ ДВУХ ДЕВОЧЕК

Беда никогда не приходит в одиночку. Сперва — осада Мерцы, потом разочарование в людях и, наконец, корь. Однажды утром обе сестры пришли с прогулки, как-то странно озябнув, хотя на улице стояла настоящая, милая московская весна. Они разделись с посинелыми личиками и признались няне, что их тошнит.

Ни папы, ни мамы не было дома. Испуганная няня вызвала тетю Ашхен, которая немедленно раздела Машу и Лену и смерила им температуру. Оказался жар. Когда родители вернулись домой, тетя Ашхен уже узнала от знакомого доктора, что у девочек корь.

Обе кроватки перетащили на самую середину детской, чтоб лежать было светлей и удобней, и стали поить наших больных вкусным-превкусным питьем: горячим молоком с медом. В ту пору на корь доктора смотрели как на «вкусную» болезнь: был распространен обычай пичкать детей во время этой болезни сладостями, рассчитывая, что корь «скорей выйдет наружу». Так и теперь тетя Ашхен привезла им по мешочку с карамельками из кондитерской Филиппова, и дети уже рассорти-

ровали их на любимые и нелюбимые, причем в последний разряд отошли барбарисовые и мятные, а в первый — грушевые и апельсиновые.

Но лежать было все-таки очень скучно, а во время температуры и тягостно. Маша целыми часами рассказывала Лене о Мерце, об осаде ее крепости, о том, как туда пробраться. Злополучное письмо дети не успели отправить, и оно лежало в шкафу, спрятанное между «Робинзоном Крузо» и «Маленьким лордом Фаунтлероем». Однажды ночью у Маши сильно повысилась температура. Няня, уставшая за две бессонные ночи, мирно спала. Мама только что побывала у детей и, видя их дремлющими, ушла к себе. Папа не возвращался из больницы — он приходил не раньше двенадцати. Девочки были совсем одни, но вдруг им показалось, что с ними еще кто-то.

— Видишь, видишь,— лихорадочно спросила Маша, показывая Лене пальцем на что-то темное в углу.

Лена пристально посмотрела туда, вслед за Машиным пальцем, и увидела трепетную теневую фигурку, дрожавшую на стене как бы в тщетном усилии от нее отделиться. Маша с просиявшими глазами подняла голову и шепнула:

— Иди, иди, иди! Лена, это вестница! Гляди на нее изо всей силы и шепчи про себя: иди, иди. А то иначе у нее силы не хватит победить волшебство. Ну, скорей шепчи!

Лена изо всей силы вытаращилась в угол и глядела так долго, что у нее зарябило в глазах. Обе сестры не отводили взгляда от тени и шептали про себя одно слово, точно заклинание:

— Иди!

Наконец головки их опустились на подушки и наступил целительный переломный сон. И снится Маше, что тень сорвалась со стены, вытянулась, приняла человеческие очертания и наступает все ближе и ближе. Маша и Лена сразу узнали ее — это была маленькая девочка из Мерцы, похожая на хлопотунью пчелку. Она подпрыгнула к детям, схватила их за руки и быстро-быстро залепетала:

— Я все устроила; отодвиньтесь немного, я усядусь вместе с вами. Мы полетим в Мерцу новой тайной дорогой.

Маша и Лена пустили ее на кровать и закутали, как можно теплее, в одеяло. Вдруг стены детской начали подниматься, потолок снялся и уплыл в сторону, а сверху на детей засияли бесчисленные звезды. Не успели они опомниться, как уже неслись по необъятному воздушному пространству, словно качались в громадном звездном гамаке.

— Много, много печального,— рассказывала девочка-пчелка: — Мерца отрезана от всего мира, и никто не может помочь нам. Нашейников тьма-тьмущая. Они обложили нашу крепость со всех сторон и не дают нам даже спуститься в сады за цветочным соком.

— А что же мальчик Эли? Неужели он не разгадал колдуньиного слова?

— Нет, он ничего не может. Он лежит день и ночь на тигровой шкуре и плачет. Говорит, лучше бы ему было остаться у колдуньи Дэрэвэ, чем навлечь гибель на Мерцу. Но, конечно, мы его все утешаем.

— А надолго хватит запасов еды?

— Сегодня доели последний сухарик.

Маша и Лена не выдержали и заплакали. Девочка-пчелка не стала их утешать. Она сидела у изголовья кровати и оттуда управляла полетом. Она поднимала то одну руку, то другую, и кровать, плавно поворачиваясь, неслась между большими звездными гнездами.

— Вот что я тебе скажу,— промолвила Маша, смахнув слезы.— Я спасу Мерцу. Не смейся, я знаю, что спасу ее. Все эти дни у меня было такое предчувствие. Скажи скорей, когда мы прилетим и можно ли будет увидать наших сестер?

— Прилететь-то мы прилетим очень скоро, но только мы должны миновать полчища нашейников. Это самая опасная часть пути. Ах, Маша, не обольщайся, милая! Спасти Мерцу уже невозможно. Мы знаем, что нам суждено погибнуть... Тише, тише! Сейчас мы пролетим над нашейниками. Молчите обе и ни единого звука, а то и вы тоже погибнете!

Маша с Леной прижались друг к дружке в смертельном страхе. Кровать сделала крутой поворот и понеслась зигзагами. Перед ними на звездном небе засияла Мерца. Это было еще очень далеко, и девочки видели только мерцание башен на земле да фигуру грустного неподвижного рыцаря в мохнатом шлеме. Мост был

поднят, ров наполнен тусклой, темной водой. Но вокруг этого мерцающего уголка стлался какой-то особенно густой туман, похожий на чад, в котором первое время ничего нельзя было разглядеть. Маша нагнулась вниз и стала всматриваться в густые волокна этого тумана.

Мало-помалу в нем стали вырисовываться контуры и очертания. Еще несколько минут — и дети разглядели все. Внизу, на равнине,— овраги, рытвины, тропинки, холмики кишмя кишели странными ползучими гадами черного цвета, с металлической чешуей на спинках. Это были нашейники. Они походили на жуков и двигались, опустив вниз руки, словно передние лапы. Лиц их нельзя было разглядеть, потому что они их держали обращенными вниз. Тело их было черного цвета с отливами и все состояло из двигающихся чешуек. Машу охватил страх, и она склонилась еще ниже, высматривая — что там такое, впереди черных полчищ.

А там был седой ужас.

На открытом месте, потрясая клюкою, сидела колдунья Дэрэвэ. Разглядеть ее, к счастью для Маши, было невозможно — а то бы она окаменела. Колдунья хохотала с дикою радостью, потрясая клюкою по направлению к Мерце. На шее у нее висела цепочка, на цепочке была коробочка, и за эту коробочку она время от времени хваталась костистыми, высохшими руками.

— Скажи, что такое у колдуньи в коробочке? — беззвучно спросила Маша у девочки-пчелки.

Та была полумертва от страха.

— Молчи, молчи, Маша! Не гляди! Там — колдуньино слово!

— Ну, так я его увижу! — прошептала Маша в ответ. Изо всех сил она стала глядеть на коробочку, стараясь не мигать, и ей начало вдруг казаться, что стенки коробки светлеют и становятся прозрачными.

Колдунья почувствовала страшное беспокойство. Она перестала хохотать, закрыла обеими руками коробочку и со всей силой шагнула вперед, увлекая за собой нашейников. Но было уже поздно. Маша увидела, вернее угадала волшебное слово. Как безумная, схватила она за руку девочку-пчелку и закричала:

— Скорей, скорей в Мерцу! Я знаю слово!

Глава тринадцатая

КОЛДУНЬИНО СЛОВО

Кровать подпрыгнула сразу на огромную высоту, взвилась по наклонной линии и опустилась на балконе замка. Маша и Лена увидели своих светлых сестер, но — в каком они были жалком состоянии! Чуть дыша, бледные, умирающие, надломленные, как цветики, лежали они на балконе. Одна — опустив голову на колени к другой, та, закрыв обеими руками лицо, третья — в объятиях четвертой. На них тяжело было смотреть.

— Сестры! — крикнула им Маша.— Где Эли́? Зовите Эли́,— я скажу ему колдуньино слово!

Если бы вы видели, как оживилась и засияла Мерца! Нелли тотчас побежала вниз и за руку привела бледного Эли́, недоверчиво глядевшего своими желтыми глазами. При виде Маши он еще более насторожился.

— Эли́! Иди сюда. Наклонись поближе — вот так.

Маша схватила его за шею, приложила губы к самому его уху и внятно, торжественно произнесла:

— Колдуньино слово — *око.*

Эли́ мгновенно ответил ей:

— *Свет!*

И тотчас же ни тумана, ни чада как не бывало. Сияющий, ослепительный свет полился на них сверху: нашейники метнулись, как тени, назад, по рытвинам, холмам и оврагам, поедаемые мерцающей силой света; Дэрэвэ провалилась вниз, кусая от ярости свой костыль; и чей-то голос радостно сказал над Машей:

— Ну, слава богу, кризис миновал.

Вот странно! Солнечный день освещал детскую, где Маша и Лена лежали каждая на своей кроватке. В комнате были мама, папа, няня и папин товарищ, доктор Титов. С невыразимой радостью Маша поглядела на Лену,— ведь Мерца была спасена!

Весь этот день оказался каким-то радостным и сияющим. Все были к ним очень добры, и после обеда принесли даже в картонной коробке золотистого сладкого винограда, для сохранности пересыпанного отрубями. Дети ели его ягодка за ягодкой, вернее — выпивали, продырявив кожицу, и блаженно улыбались.

Папа смотрел на Машу как-то особенно внимательно и благодушно. Вечером он присел к ней на кровать и сказал:

— Ну-с, поэтесса, знаешь ли ты, что ты всю ночь говорила стихами?

Маша густо покраснела и отвернулась. Папа продолжал:

— Да, и очень складно. Только мы с мамой никак не могли понять, о чем. У тебя была какая-то колдунья, сестры, мерцанье и все в таком же роде.

— Это, папа, не стихи, а святая правда.

— Ну, если правда, отчего бы тебе не рассказать этого мне?

Маша поглядела на Лену. В сущности, Мерца была спасена, и теперь уже ничто не мешало рассказать обо всем папе и маме.

— Расскажи, расскажи! — прозвенел и Ленин голосок с кроватки.

Маша взяла папу за руку и стала ему рассказывать. С самого начала: кто были они обе и как попали в Мерцу, и о светлых сестрах, похожих на пчелок, и о черных нашейниках, сидящих у народа на шее, и о бегстве белого мальчика-козлика Элй от страшной колдуньи Дэрэвэ, и о мщении Дэрэвэ — осаде Мерцы, и о волшебном колдуньином слове. Она рассказывала с жаром, вспоминая все, как пережитое.

Папа слушал ее, опустив голову и совсем не насмехаясь. Напротив, он становился все серьезнее. Когда Маша кончила, он поцеловал ее в голову и пробормотал про себя:

— Удивительно, целая мифология!

Но этого слова ни Маша, ни Лена не поняли, зато они видели, что папа ни капли не сердится и очень заинтересован.

С этого дня обе девочки стали поправляться. А за окнами расцветала благодатная весна. Уже громыхали пролетки на железных колесах, сменившие тихие санки. Появились мороженщики в белых фартуках, с синими тачками; приходил дворник спрашивать, не хотят ли у доктора выставить рамы.

Когда они окончательно выздоровели, в квартире появилась домашняя портниха и стала с утра до вечера

стучать на швейной машинке — она шила детям летние платья.

На пасху Луиза Антоновна заговорила было о новой вечеринке. Но папа поднял голову от газеты и спросил:

— Это какой Кирхгоф, Григорий Адольфович? Домовладелец, думский гласный?

Луиза Антоновна обрадованно закивала головой.

Папа с сердцем швырнул газету на пол.

— Кто вас просил тащить его сына к нам? — почти крикнул он на испуганную немку.— Знаете вы, что это за человек? Паук, взяточник, черносотенец! Такие люди — язвы нашего общества, гнойники!

— Сережа! — остерегающе сказала мама.

Но папа поднял с пола газету и ушел к себе. В тот же вечер он заглянул в детскую. В руках у него был пакет, завернутый в белую бумагу, а на бумаге крупными черными буквами стояло название магазина: «Мюр и Мерилиз». Он дал этот пакет Маше.

Маша аккуратно развернула пакет и нашла там толстую тетрадь в желтом глянцевом переплете.

— Это тебе для твоей Мерцы,— сказал папа.— Но ты научись, милая, видеть свою Мерцу не за облаками, а на земле. Писать о живых людях куда труднее, чем выдумывать из головы. Вот и наблюдай и записывай, что увидишь, а потом приходи ко мне и читай мне вслух.

Маша пришла в восторг от папиного подарка и тут же, убежав в детскую, сделала на тетради надпись: «Сочинения Марианны Сергеевны, 8-ми лет».

Глава четырнадцатая

ХОДЫНСКОЕ ПОЛЕ

Начался этот день еще накануне. О чем-то горячо спорили взрослые за столом. Папа не позволял, а мама заступалась. Няня в разговор не вмешивалась, но видно было, что дело касается ее очень близко и что у нее на этот счет свое мнение. Один только раз, когда принесли из кухни сладкое, она упрямо сказала, ни на кого не глядя:

— С нашего двора четверо идут. Я времени своего не нарушу. Я раненько уйду, а уж к детскому-то вставанью беспременно ворочусь.

— Не во времени дело, няня, как будто вы сами не понимаете! — сердито буркнул папа, сорвал салфетку с шеи и даже сладкого есть не стал.

Когда няня обиженно ушла из столовой, он сказал маме:

— Ведь вот в другое время разумно рассуждает, а сейчас уперлась как темная. Ну чего она там потеряла?

— Да пусть ее, Сережа,— неуверенно возразила мама.— Старики — те же дети. Пусть потешится пряниками.

— Этими пряниками морочат дураков,— сквозь зубы ответил отец и ушел в кабинет.

Маша и Лена разволновались. Какие пряники? Куда хочет идти няня?

А старую, добрую нюгу и узнать было нельзя. Исчезло все ее осанистое, внушительное спокойствие. Даже лицо как будто похудело — мелкие-мелкие морщиночки проступили на лбу и вокруг глаз, а глаза сузились, запали, засияли чем-то совсем детским. Забыла нянечка вовремя позвать детей умываться. Она то и дело бегала на кухню, щупала, не просохла ли после стирки ее новая сатиновая кофта, обшитая тесемками. Она щипцами доставала из самовара угольки и накладывала их в открытый утюг, где они сразу переставали сиять и подергивались серым пеплом. Наложив утюг доверху, она закрыла его на крючок крышкой, подняла утюг, покачала им в воздухе, чтоб ветром раздуло угли, а потом пальцем дотронулась до глянцевитого дна утюга — согрелся ли. Кухарка уже очистила для нее стол, покрыла его старым байковым одеялом и чистой простынкой поверх него. Кофта была снята с веревки, разложена на столе, и тут оказалось, что она даже и пересохла.

Маша и Лена в один голос вызвались побрызгать на нее водой. Глаженье было для них большим удовольствием. Набрав воды в рот, они влезли на табуретки, и стали сквозь стиснутые зубы прыскать на нянину кофту, как это делали взрослые. И странно: хоть девочки изрядно намочили кофту, ни няня, ни кухарка не сделали

им замечания и даже не сняли с табуреток. Обе они без умолку говорили между собой и даже, кажется, не слушали ни друг друга, ни самих себя. А уж детей и вовсе забыли.

Кухарка десять раз подряд повторяла, что у Алексеевых пойдет весь дом, и прислуга и хозяева. Заготовили корзины, думают раньше других быть на месте и всего нахватать.

— Они ловкачи, они всем домом пойдут. Эти где что — всегда на первом месте. За ними не угнаться. Они всем домом идут, и прислуга и хозяева.

Нянечка твердила свое. Видно было, что она чем-то очень взволнована:

— Простой народ вспомнил. Простому народу припасено видимо-невидимо. В свечной лавке рассказывали, что одних возов туда навезли тысячу тысяч, пиво и мед бочками, а стручки-то прямо из мешков сыплются, на улице мальчишки подбирали. Мне не такой интерес в стручке, как к чашке с вензелью царской,— продолжала говорить няня мечтательно, словно захлебываясь и все гладя да гладя потухшим утюгом свою кофту по уже проглаженному.— Сяду чай пить, а вензель на чашке царской, подарок царёв мне, Авдотье Родионовне. Вспомнил он нас с тобой, молодой ведь он, годы у него чистые, душа-то еще совестливая.

И тут вдруг, покрасневшими от волнения старыми добрыми глазами, увидела она Машу и Лену в насквозь мокрых передниках,— и руками всплеснула. Живо, живо схватила она их за руки и повела назад в детскую.

Раздеваясь, дети все спрашивали,— что такое будет завтра, и куда всем домом пойдут Алексеевы, и чего они нахватают в корзины, и почему няня их с собой не возьмет?

Но нюга, подтыкая жесткие одеяльца под неугомонные спинки, не отвечала ничего. Только лицо ее морщинилось и лучилось еще больше прежнего, а движения были совсем молодыми и суетливыми.

Сон пришел сразу, и утро пришло сразу,— словно секунда, а не ночь протекла. Утром в детскую пришла мама, сама принесла воды в кувшине, сама подняла шторы. Дети позавтракали и очутились совсем одни. Маме было некогда. Она повязала фартук, засучила

рукава и хозяйничала в пустой кухне. Там не было ни кухарки, ни нюги, и мама сама готовила обед.

Сперва Маша и Лена подавали ей тарелки, носились из кухни в столовую, из столовой в кухню. Но маме надоело это, и она сказала:

— Не вертитесь, ради бога, под ногами. Займитесь своим делом, идите в детскую.

— Мама, а погулять во дворе можно, Полкана покормить?

Мама вспомнила о дворовом псе Полкане, налила в глиняную чашку супу и разрешила детям пойти покормить Полкана:

— Только сейчас же домой возвращайтесь и смотрите под лошадь не попадите!

Держа в руках чашку, Маша осторожно спустилась по черной лестнице во двор, а Лена за ней.

Зрелая, полная весна уже веером развернула все краски и звуки свои. Единственный куст сирени раскрыл фиолетовые звездочки, большая старая береза свесила вниз пушистые желтые сережки, похожие на гусениц в шубках. Воздух был полон звуков,— весенних звуков Москвы. С улиц доносился грохот,— это извозчики стучали железными колесами пролеток по неровному булыжнику мостовых, и совсем как летом пыль поднималась столбом из-под колес. Приятно пела шарманка, она пела старинную знакомую песенку, повторявшуюся каждой весной, и в квадратном теле шарманки, в движении ручки, которую вертел и вертел старый шарманщик, тоже были свои звуки — что-то ворчало и трещало, шипело и свистело. Выкликали торговцы сезонный товар звонкими, ясными голосами. Резко позванивала конка, которую везли лошади: она проходила прямо перед домом, где жил доктор, и в открытые ворота дети могли видеть улицу. А над всеми этими звуками гудели колокола всех московских «сорока сороков», это вызванивали к обедне старые церкви.

Лохматый дворняга Полкан, любимая собака доктора, жил во дворе, где у него была своя будка. Днем он сидел на привязи и спускали его с цепи только по ночам. Но Полкан не становился от этого злее. Он был добродушный, и, почуя обед, он обеими передними лапами уперся в землю, наклонил к ним мохнатую морду, замахал хвостом и восторженно залаял. Дети поставили

перед ним чашку, погладили его и собрались было домой, но из дворницкой вышел мальчик Сеня, с выбритой шишкастой головой, в новенькой красной рубашке и с игрушкой — деревянной лошадкой на палке. Он сел на эту палку верхом, левой рукой ухватил лошадь за поводья, а правой стал подгонять сам себя прутиком по штанишкам и помчался по двору, выкрикивая «нно!», «тпрру!» и прочие кучерские слова. Маше с Леной стало завидно. Они долго глядели на Сеню. Потом подошла соседняя няня с девочкой, прибежала Настя из подвального этажа. Чужая няня села на скамейку, а дети начали играть в салки и палочку-выручалочку. Мама выглянула было из кухни, но успокоилась и опять отошла.

И вдруг раздался шум. Это был новый шум, ни на что не похожий. Он сразу покрыл все другие звуки. Это был сухой шум, словно сухая река понеслась по сухим осенним листьям. Чужая няня, забыв вязанье, кинулась в ворота, за няней бросились дети. По улице бежал народ. Людей было много, нескончаемо много, они бежали молча, в одном направлении, бежали очень быстро, стуча и шаркая подошвами по сухим камням мостовой, и конца им не было видно.

— Что такое? В чем дело? — спрашивали, останавливаясь на тротуарах, прохожие.

— Голубчики мои, что ж это случилось-то? — взывала чужая няня, пытаясь схватить кого-нибудь из бегущих. Какая-то женщина в платке остановилась. Лицо у нее было белое. Она, задыхаясь, сказала:

— На Ходынке... народу подавило... не счесть! На телегах везут...

Маша и Лена громко закричали. Они вспомнили про нюгу. Нюга ушла на Ходынку. Они кинулись домой, в кухню. Но мамы на кухне уже не было. Мама стояла в передней, а с нею стояла фельдшерица из папиной больницы. Она что-то быстро рассказывала маме, и дети слышали, как мама охнула:

— Боже мой!

— Нюга, нюга! — крикнули обе девочки вместе и громко, отчаянно зарыдали:— Мама, где нюга, что с ней?

— Ничего, ничего, детки, няня придет,— сказала мама, и дети увидели, как трясутся у нее губы.

Фельдшерица пришла передать маме, что доктор не сможет вернуться ни к обеду, ни к вечеру, ни на ночь. Телефонов в то время в квартирах еще не было, и спешные поручения передавались через посланного. Доктор был занят страшным делом: много тысяч человек раздавило на Ходынском поле. Десятки тысяч были ранены. Их везли в больницу прямо на возах, с поломанными руками и ребрами, смятыми боками. Нужно было всем оказать помощь, уложить тяжелораненых, а легкораненым сделать перевязки и отпустить домой.

— Плохо началось новое царствование,— тихо сказала мама.

Лишь годы спустя узнали Маша и Лена, что произошло в этот день на Ходынском поле. В старину был обычай — короновать на царство каждого нового царя в Москве. Новый царь, Николай II, живший всегда в Петербурге, тоже приехал на свою «коронацию» в Москву. Народу были обещаны в этот день подарки и угощения. Но никто не позаботился о приглашенном народе. На Ходынском поле были наскоро, где попало, нагромождены столы и будки; место было не подходящее для большого скопления народа,— сразу за столами находились ямы, рытвины и овраги. Никто не наблюдал за порядком, не указывал людям, как и куда пройти, откуда выбраться. Когда люди, много людей, сотни тысяч, живших в Москве и под Москвой, и бедняков и любопытных, пришли на Ходынку, им стало тесно. Поднялась суматоха, а люди все напирали и напирали. Пришедшие не знали, куда деться от давки, теснились к выходу и падали в ямы и овраги, на них валились другие, и многих задавило насмерть. А царь в это время пировал у немецкого посланника. И на другой день уехал из Москвы...

Маше и Лене показалось, что в квартире их стало совсем темно. Они забрались на подоконник, глядя на улицу, не покажется ли их старая бедная нюга. И все не было знакомой фигуры на улице.

Как же вздрогнули и закричали от радости дети, когда сзади них, из полутемной столовой, донесся приглушенный знакомый, но такой странный, жалостливый, непохожий нюгин голос:

— Барыня, голубушка!

Мама и няня стояли, обнявшись, и плакали. С мор-

щинистого лица няни текли скупые, редкие слезы, она прятала глаза от детей, ее старые губы были поджаты с какой-то тяжелой и горькой обидой. Потом они обе отерли слезы. Няня вымыла лицо под краном. Ее седые жидкие волосы, которые она намазала ради праздника репейным маслом, были растрепаны, новая кофта разорвана и перепачкана. А на столе, увязанные в салфетку, лежали смятые стручки и пряники, и стояла эмалированная кружка с царским вензелем и короной.

Никогда еще не любили дети так свою старую нюгу, как в этот вечер, когда увидели ее в слезах. Маша, наплакавшись, взяла тетрадку. Она забилась в угол. Но ей все время мешали, она говорила «уйдите!», затыкала уши и грызла карандаш. В этот вечер она написала стихотворение:

БОГАТСТВО

В каком-то царстве царевич жил.
Богат и скуп ои очеиь был.
Бывало, иищеика придет,
А ои в тюрьму ее запрет.
Народ был очеиь рад,
Что царевич был богат,
Но за скупость-то куда,
Народу страшиая беда.
А царевич рос да рос,
Накоиец совсем подрос.
Отец его благословил
И иа трои посадил.
Тут суматоха иачалась!
От царевичииых проказ
Просто иекуда спастись,
И волиеиья иачались.
Царь Григорий злей да злей
Стаиовился: «Поскорей,—
Люди говорили меж собой,—
Царь устроил с иами бой».
Воевода зиал отличио,
Что ведь это иеприличио
С своим иародом воевать.
Стал дружиие всей шептать,
Чтоб с иародом помирились.
Воеводы согласились,
В руки взяли сабли и разом
На царя иапали и сразу
Царя с коием его убили,
Его богатства поделили
И стали жить-поживать
Да добра иаживать.

Глава пятнадцатая

ГДЕ ЗАСИЯЛА МЕРЦА

Пришла, наконец, пора, когда, по примеру прошлых лет, доктор нанял для семьи дачу в Пушкине. Все принялись за укладку. Пришли два незнакомых человека в парусиновых блузах и привезли с собой кучу рогожи, соломы, веревок и ящиков. Они начали увязывать в солому и покрывать рогожей разную необходимую для дачи мебель. Потом очередь дошла до кухонной и столовой посуды. Ее нужно было уложить в ящики.

Дети тоже помогали заворачивать тарелки в старые газеты и накладывать их одна на другую.

Няня укладывала свои пожитки в подушку. Была у нее одна такая огромная двуцветная (красная с розовым) наволочка, которую она, вопреки всякой очевидности, называла подушкой, и в эту наволочку она укладывала решительно все: во-первых, настоящую пуховую подушку, точнее — думку, в пол-аршина длины; во-вторых, ситцевые рубахи и прочие бельевые принадлежности; в-третьих, большую жестянку из-под печенья, где хранилось множество катушек, иголок, булавок, пуговиц, крючков и петель; в-четвертых, мотки шерсти с начатыми на спицах чулками; в-пятых... но всего не перечесть! Нянина «подушка» раздувалась в целую гору, и мама смотрела на нее с затаенным ужасом.

Сестры уложили свои любимые книги и игрушки. Только новую тетрадь Маша никуда не укладывала, а держала при себе, с карандашом, привязанным к ней ленточкой. В эту тетрадь она решила записывать путевые впечатления.

Наступил день отъезда. Дети проснулись в шесть часов утра от топанья чьих-то грузных копыт. Няня тотчас же подняла шторы и разрешила им встать. В окно они увидели синий огромный фургон с надписью «Третьяков». Теперь такие фургоны, называвшиеся раньше «фурами», вывелись из употребления, а раньше ни одна весна в Москве не обходилась без этих синих гигантов на улице, напоминавших о переезде на дачу. В фуру были впряжены два рослых, выхоленных коня-тяжеловоза, переступавших время от времени с ноги на ногу. Особенностью этих грузных, но удивительно добрых

коней было то, что их ноги, словно отлитые из чугуна, у копыт заросли целою копною пышных, густых волос. Маша и Лена были большими лошадницами, а потому тотчас же попросили позволения дать лошадям по куску сахару. Им дали сахара и разрешили смотреть, как кучер протянет его на ладони коням. Между тем кухонная дверь была открыта настежь. Дюжие парни, приехавшие с фурой, быстро выносили уложенную мебель и ящики — то и другое со сказочной быстротой исчезало в глубине фуры. Отчаянно заливался желтый пес Полкан из своей конуры. Он знал, что его тоже возьмут на дачу и ждал, когда снимут с него цепь и позволят бежать за фурой. Наконец фургон наполнился вещами и вход в него был затянут парусиной и повязан веревками. Парни вскочили на козлы, хлопнули бичом, и рослые лошади медленно выехали на улицу, сопровождаемые неистовым лаем и прыжками Полкана.

Предстояло провести в наполовину опустевшей квартире еще полдня. Скучно прошло это время. Обед был на скорую руку и невкусный, ничего не делалось спокойно, часы, как назло, ужасно медлили. Маша и Лена обежали весь дворик и палисадник, прощаясь с соседями, соседской прислугой и детьми.

В половине пятого поехали на вокзал, взяли билеты и уселись в поезд. Ехать было больше часа, мимо густых сосновых лесов, зеленых лужаек, подмосковных дач. Платформы были уже усеяны веселыми гуляющими дачниками. Одна остановка, две, три... сколько их! Вот, наконец, милое знакомое Пушкино! Вот папа высунулся из окна и, улыбаясь, кивает кому-то головой. Седой носильщик подходит к окну, снимая фуражку, и забирает их вещи; они ведь старые знакомые — в прошлом году, летом, доктор вылечил его больную жену.

Няня с мамой поехали вперед, а дети с отцом пошли пешечком в вечереющем нежном воздухе, напоенном запахом лип и молодых березок. Кухарка с утра уже на даче; она принимала вещи с фуры и приводила все в порядок. И Полкан был на даче. Он носился по саду и лаял на бабочек. А сад был большой, целых полторы десятины. Местами он зарос и забурьянел, вокруг террасы его расчистили; на клумбах зеленела цветочная рассада, скамейки были заново покрашены. Внизу, к речке, росли орешник, кусты крыжовника и смородины.

Но лучше всего были все-таки сосны и ели, стройно стоявшие вокруг дачи и красневшие своими бурыми стволами. Когда стемнело, на террасе запел самовар, а в саду тихо-тихо загулькал, словно в ручейке заполоскался, нежный и робкий подмосковный соловей.

Сонными и разомлевшими, детей повели наверх, где им приготовили комнату, и уложили их спать.

Милые мои дети! Много хорошего увидите вы в жизни, но ничто не будет лучше раннего детского пробужденья на даче от здорового, крепкого детского сна. Деревянные ставни с вырезанными сердечком отверстиями пропускают свет и зеленое колыханье сосен и елей. Издалека, словно с того света, доносится настойчивое кукование,— это кукушка ведет свою политику. Ей наперебой стучит дятел: тук-тук, тук-тук... А комната не городская, нет ни обоев, ни печей, стены из бревен, плотно законопаченных, полы деревянные, некрашеные, потолок дощатый,— и все это благоухает густою древесной смолкой. Так славно дышать медвяным запахом, так приятно думать, что вокруг тебя три ласковых, близких друга — земля, солнце и дерево. А снизу повевает ветерком от сквозняка да легким дымом — это самовар поспевает, чтоб дети попили чая со свежим деревенским молочком.

— Как хорошо, Машечка! — сказала, проснувшись, Лена.

— Чу́дно! — откликнулась Маша.— Давай с тобой «кто скорей».

Это была привычная игра, и они принялись одеваться наперегонки. Много времени для этого не требовалось — летом обе девочки бегали босиком. Лифчики было трудно застегивать сзади, но Маша и Лена помогли друг другу. Скорей, скорей, пока не пришла няня и не потребовала скучного умывания с мылом и зубными щетками... Но только, только собрались они ринуться вниз по лестнице в сад, как раздался глухой и короткий стук в окошко. Это ударилась об окно пчела. Дети невольно поглядели на нее,— маленькая, толстенькая, пушистая, словно мехом обшитая, пчелка, затрепетав крылышками, быстро-быстро заползала по стеклу. Временами она останавливалась, подтягивая под себя полосатое брюшко,— и хоботок у нее приходил в торопливое движенье. Он то вытягивался, то втягивался, и детям казалось, что пчелиные губы что-то шепчут им.

— Вот тебе и раз,— тоже шепотом произнесла Маша, схватив Лену за руку,— сосчитать нельзя, сколько дней мы жили без Мерцы. Они зовут нас. Смотри, пчелка говорит: «Идите скорей!»

Сбежать с лестницы босыми ногами так, чтоб няня их не услышала, и тихонько выбраться в сад детям ничего не стоило. Но за дверями они обе остановились.

Зеленый мир огромного сада лежал перед ними. За ночь в нем произошли чудесные изменения. На клумбах, где вчера была только слабенькая рассада, сейчас коегде пестрели уже поднявшие свои реснички «анютины глазки»; между ними краснели и розовели круглые мелкие цветочки маргариток. Большой чужой голубь, не простой, а весь кудрявый, как белая махровая гвоздика, сидел прямо на желтой щебневой дорожке. Увидя детей, он тяжело взлетел и перевалился куда-то за деревья. Дорожка была чисто подметена, и дети, взявшись за руки, побежали по ней все дальше, дальше, в самую глубь сада. Деревья еще не распустили всех своих листьев, и под ними тень была легкая, кружевная, узорчатая, с круглыми крапинами солнца. На траве и кустах еще лежала роса, и это была не просто роса, а жемчужные и бриллиантовые африканские россыпи, про которые Маша читала в папиной книге о путешествиях. Им захотелось набрать бриллиантов, и они притянули к себе ветку боярышника. Но вдруг золотые капельки, принятые ими за росинки, зашевелились и поползли от них. Это были маленькие золотистые жучки! Они на бегу поднимали крылышки, похожие на две половинки круглого панциря, и распускали из-под них прозрачный и тонкий тюль своих вторых крылышек, словно рубашка вылезала из-под пиджака. Но дети осторожно подхватывали их и сжимали в ладони прежде, чем они могли улететь. А подхваченные — жучки тотчас же опускали свои жесткие, словно металлические, крылышки, и они захлопывались, как две половинки дверей, а вслед за этим втягивали свои лапки и превращались в твердые круглые золотистые шарики.

— Мы их наберем целую коробку! — радостно воскликнула Маша.— Это будет наша коллекция, как у папы.

Но Леночка побросала своих жучков.

— А Мерца? — произнесла она укоризненно.

И вот дети опять идут по нескончаемым дорожкам, на каждом шагу открывающим все новые и новые чудеса. То это большое дупло на сосне, похожее на вход в пещеру, а над ним сверху висят мягкие, желтые капли еще не затверделой смолы, и так они необыкновенно пахнут! То это куча сосновых иголок, в которых поселились муравьи, множество муравьев. Они знают все ходы и выходы в этой куче и тащат куда-то на себе большие белые муравьиные яйца. То это гнездышко, настоящее птичье гнездышко, только не видать в нем ни птиц, ни птенцов,— а вот между ветвями голубым огоньком, далеко внизу, блеснула речка. Туда еще далеко. Но сверху на детей посыпались сухие иглы, и они мгновенно забыли и гнездышко, и речку, и муравьиную кучу: там, наверху, по сосновым веткам, багровея огненным хвостом, промчалась настоящая живая белочка, и в диком восторге дети закричали:

— Белка, белка!

Чем глубже они забирались в сад, тем больше встречали всяких чудес, только Мерца уходила от них с каждым шагом все дальше и дальше.

— Знаешь, Леночка,— призналась Маша,— отсюда я не могу найти дороги. Давай покричим!

Они кричали и звали, заглядывали в каждую ямку, приникали ухом к отверстиям на деревьях, заползали в густой кустарник, закрывали и открывали глаза,— но не было ни путей, ни дверей в далекую страну Мерцу. Маша и Лена почувствовали, что никак не смогут найти ее.

Усталые, проголодавшиеся, притихшие, словно чем-то виноватые перед Мерцей, обе девочки медленно возвращались домой. А навстречу им уже шла няня с полотенцем и мыльницей в руках: так и есть — умываться!

Наверху, в их теперешней детской, все уже было прибрано. Окна раскрыты настежь, пчелка давно улетела, кровати покрыты новыми голубыми покрывалами. Но тут Маша вдруг вспомнила про свою заветную тетрадку, спрятанную вчера перед сном под подушку, и опрометью кинулась к кроватке. Но сколько ни ищи под подушкой и под простынкой,— тетради нигде не было. Два несчастья зараз! Сперва дорога к Мерце, а теперь тетрадка, где все записано о Мерце...

— Ленка, нюга, вы не спрятали?

Но большие глаза Леночки глядели на нее с таким укором, а няня давно вышла из комнаты.

— Кто мою тетрадку взял? — отчаянно закричала Маша и помчалась вниз.

Топ, топ, топ по деревянным ступенькам, хлоп — настежь дверь террасы. Утреннее солнышко осветило ее. Пятна света и тени, как живые, шевелились на досках пола, на белой скатерти. Самовар кипел на столе, отдавая легкой угарной горечью.

А за столом, рядом с папой и мамой, сидел незнакомый гость, большелобый, высокий, худой, в расшитой русской рубашке, с молодым лицом, окаймленным пушистой бородкой. Возле него на перилах террасы лежала смятая фуражка. Он читал Машину тетрадь. Маша остановилась в дверях как вкопанная. Гость глуховатым баском спросил у доктора:

— Но почему же все-таки царь оказался Григорием?

— А это, Иван Иванович, должно быть, Кирхгоф ей в голову запал.

— Здорово! — засмеялся гость.

Но дальше она ничего не слышала. Красная и смущенная, Маша тихонечко попятилась и на цыпочках прошмыгнула назад, в детскую. Чужой взрослый человек узнал про все их секреты.

* * *

С того летнего дня прошло много, много времени, тридцать долгих лет. Выросли и сделались взрослыми обе мои девочки, крепко дружившие всю свою жизнь. И чудесно изменилась вся жизнь вокруг Маши и Лены. Давно уже не стало царя, и больше не сидела на шее народной та самая «тьма-тьмущая», о которой говорила их старая няня. Народ стал свободен, он стал хозяином своих полей и лесов, морей и рек, и люди сами взялись хозяйничать, они строили заводы, фабрики, дороги, дома и целые новые города.

Маша давно сделалась писательницей. Множество толстых тетрадей пришло на смену прежней тетрадке, подаренной ей отцом, но и старую она не выбросила, а сохранила на память.

Однажды Маше захотелось написать книгу об одной

из далеких строек, и она решила пойти за помощью к редактору большой московской газеты. Весною 1926 года переступила она в первый раз, уже немолодая, с сединой в волосах, через порог кабинета редактора и сказала:

— Простите, Иван Иванович, я...

Сказала и остановилась.

Что-то очень родное, давным-давно знакомое, почудилось ей в человеке с седой бородой, сидевшем за столом.

И человек с бородой тоже поднялся с места. Он пристально посмотрел на Машу. Он ей сказал глуховатым баском:

— Да вы уж не дочка ли покойного доктора? — И он назвал фамилию Машиного отца.

Редактор газеты, старый большевик, лично знавший Владимира Ильича Ленина, угадал в стоявшей перед ним пожилой женщине маленькую девочку, стихи которой он читал на террасе подмосковной дачи. И он помог Маше написать большую книгу о гидростанции, залившей сияющим светом электричества темные города и деревни, где раньше горели только керосиновые лампы.

Конец

АВТОБИОГРАФИЯ

Отец мой был армянин, доктор медицины, один из первых армян-врачей, получивших профессуру в Московском университете. Предки его вышли из города Измаила, откуда при Екатерине II группа армян во главе с моим прапрадедом, «врачевателем Макарием Шагинянцем», была приглашена заселить новый городок Григориополь, созданный Потемкиным на молдавской земле. Мать, из старого армянского рода Хлытчиевых, родилась в Нахичевани на Дону, построенной армянами тоже в екатерининское время. Таким образом, и по отцу и по матери я принадлежу к так называемым русским армянам, на протяжении нескольких веков не жившим на армянской земле. Этих русских армян, составивших значительные колонии в городах Армавире, нынешнем Краснодаре, Нахичевани на Дону, Симферополе, Григориополе и других, обычно называют «анийскими», потому что предки их бежали в средние века из армянского города Ани от нашествия сельджуков и составили многочисленные колонии армян главным образом в Восточной Европе.

Я упоминаю про это обстоятельство потому, что оно имеет важное значение для моей литературной судьбы. С первого дня рождения родным для меня языком был русский, и притом не только обычный городской язык русской интеллигенции. В ту пору в зажиточных семьях детей вскармливали не на материнском, а на чужом молоке. Кормилицы и няня у меня и моей младшей сестры были орловские крестьянки, и мы выросли на русских песнях и сказках, без которых во времена моего раннего

детства, конец восьмидесятых и начало девяностых годов, дети нашей среды обычно и не засыпали.

Это не значит, что в нашей семье совсем не было никаких армянских традиций. Отец кончил Лазаревский институт и прекрасно знал родную литературу; в нашем доме часто бывали армяне из тогдашней армянской колонии в Москве. Еще студентом посещал нас, ныне покойный, искусствовед Алексей Карпович Дживилегов, приезжали братья Спендиаровы, тоже студентами (один из них стал впоследствии крупнейшим армянским композитором); постоянно бывали и московские армяноведы,— до сих пор храню книги Юрия Веселовского с посвящением моей матери.

Родилась я в Москве в Салтыковском переулке, в доме Лапина, 21 марта 1888 года. Первые детские впечатления связаны у меня с этой частью Москвы, а позднее — с Садовой-Каретной. Помню очень хорошо рассказы о Ходынке, когда мимо нас с Ходынского поля везли на телегах трупы задавленных во время коронации Николая II. Наша няня тоже была на Ходынке и принесла оттуда «царский подарок» — эмалированную жестяную кружку розово-голубого цвета с двуглавым орлом и вензелем нового самодержца, которому народ дал эпитет кровавого, и узорный платок с горстью орехов, пряников и черных сладких стручков — любимое уличное лакомство тех лет [1]. Воспитывались мы, как и дети таких же семей, с немками-гувернантками. Отец мой был большой почитатель Гёте; он подарил мне собрание сочинений Гёте на немецком языке в издании Рэклям [2], и я до сих пор берегу этот читанный и перечитанный отцовский подарок. Под влиянием любви отца к Гёте сделалась гётеанкой и я. Передовой в своих политических взглядах, убежденный атеист, очень строгий с детьми, отец сам давал нам первые уроки, научил нас строгому режиму дня, чтению вслух, любви к записыванью прочитанного, к дневнику. В церковь нас никогда не водили, и, как армянки, мы могли не посещать в школе уроков православного «закона божьего», хотя к нам ходил на дом армянский священник, дававший нам не столько уроки кате-

[1] Об этом в детской автобиографической повести «Повесть о двух сестрах и о волшебной стране Мерце».

[2] Goethe's sämmtliche werke in fünfundvierzig Bänden, Leipzig. Druck und Verlag von Philipp Reclam.

хизиса, сколько уроки армянской грамоты. Благодаря ему я умею читать и писать по-армянски, хотя говорить так и не научилась. Семи лет я поступила в закрытое учебное заведение, французский пансион Констан-Дюмушель на Швивой горке, где до сих пор сохранилось еще его старинное здание со львами у ворот. Там я пробыла два года, а потом поступила в гимназию Л. Ф. Ржевской на Садовой, сперва «приходящей», а после смерти отца «живущей». Приходящими назывались девочки, посещавшие школу в учебные часы, а живущими — пансионерки, находившиеся в ней безотлучно.

Средняя и высшая школа стали основной формующей силой моей юности. То были две волны, воздействия которых оказались резко противоположными. Пребывание в средней школе совпало с годами революционного подъема; пребывание на Высших женских курсах — с годами тягчайшей реакции. Поскольку и положительные и отрицательные задатки, полученные мною за время ученья, отразились позднее в литературном творчестве, я остановлюсь на характеристике обеих этих школ несколько подробнее.

В гимназии Ржевской преподавание велось первоклассными педагогами. Среди наших учителей были: историк А. А. Кизеветтер, ботаник Н. Ф. Слудский, литературовед И. Н. Розанов; Ивану Никаноровичу Розанову я обязана первым знакомством с Чернышевским и Добролюбовым — запретное чтение, которым он, рискуя потерять место, снабжал нас тайком от гимназического начальства. Прекрасно поставлены были у нас иностранные языки. Английский преподавала только что переселившаяся в Россию англичанка; муж ее, из простых английских ремесленников, открыл под Москвой маленькую фабрику каких-то черепиц и штукатурных изделий, а наша преподавательница в порядке рекламы изделий мужа и одновременно практики английского языка приглашала нас по воскресеньям на холодный английский ростбиф и рисовый пудинг, а потом на экскурсию по мастерской мужа. Французский и немецкий вели у нас швейцарка и балтийская немка, жившие при пансионе; один день мы обязаны были говорить только по-французски, другой только по-немецки. Наши воспитательницы тоже выходили за рамки обязательной программы. Француженка, мадемуазель Муше, была пламенной республи-

канкой, знатоком поэзии и литературы. Она так наслаждалась, читая мне по вечерам революционную риторику В. Гюго или сентиментальные стишки Сюлли-Прюдома, что я тоже стала увлекаться их чтением, постепенно дошла до Мюссе и Верлена, которого выучила почти всего наизусть, и пятнадцати лет самостоятельно осилила, с великим удовольствием, толстый том «Истории Людовика XIV» Вольтера. Так крепко западают в память впечатления детства, что и до сих пор помню блестящие страницы, посвященные крупнейшим людям эпохи «Луикаторза» и могла бы «сдать экзамен» по этому толстому томищу. Немка была в другом роде. Некоторых из нас, кого родители не в состоянии были забирать на рождественские каникулы домой, она не без таинственности и по секрету от других учителей водила на елку. Была эта елка в немецком «Heim'e» — до сих пор не знаю, какая организация отдавала помещенье под этот «хейм». Туда собирались почти все немки,— учительницы и гувернантки, жившие в Москве,— со своими питомицами. Время проводили чинно: получали подарки с елки, пили белесоватое кофе с пряниками и обязательно пели немецкие патриотические песни. Еще с тех детских лет благодаря посещению таких «хеймов» столкнулась я с удивительно стойким немецким национализмом и удивительной объединенностью немцев на территории чужого государства, замкнутостью их «землячества» и сентиментальным обожествлением «рейха», то есть немецкой империи, хотя большая часть этих немок были русские подданные и уроженки Прибалтики. Впоследствии, в первой империалистической войне, эти «хеймы» очень пригодились немцам, да и в мое время, годы 1904—1908, они немало послужили пропаганде среди русских учащихся и немецких песен, и протестантских церковных песнопений, и биографий немецкого кайзера и его кронпринца.

Кроме языков, хорошо был поставлен в гимназии другой обязательный предмет — музыка. Пению нас обучал Михаил Акимович Слонов, музыкант тонкий и хорошо известный и в советское время, а теории и гармонии — проф. Адольф Адольфович Ярошевский, который был также нашим экзаменатором по классу фортепьяно. У Констан-Дюмушель я еще совсем маленькой участвовала в пансионском оркестре (в качестве барабанщика),

а в гимназии Ржевской училась игре на рояле и позднее — на скрипке в музыкальной школе Б. Калюжного, пока не начала усиливаться моя глухота. Мы часто устраивали вечера и концерты, ставили пьесы собственного сочинения, даже выступали с самостоятельными лекциями. Спорт, кроме обычной гимнастики да крокета в пансионском саду, в ту пору распространен не был; не существовало и слов «физическая культура»; но зато мы крепко, на всю жизнь, усвоили азы всякой физической тренировки (и попробовали бы отвертеться от них!),— умение держаться прямо, дышать правильно и ритмически, не разговаривать при ходьбе на прогулках и за партой сидеть не сутулясь, а держа пальцы на ручке или карандаше без напряженья, всей горстью, и не наклоняя головы к тетради, чтоб не развить близорукости. Я уже сказала, что ученье в средней школе совпало с годами нараставшего революционного подъема (1899—1905). Это отразилось и в отношении к нам преподавателей, и в проникновении к «живущим» запретных книг, и в провокационных вопросах учащихся на уроках «закона божьего», и в растущем интересе учащихся к политике, к газете, к общественной гласности. «Живущим» было труднее, чем «приходящим», участвовать в этом пробуждении общества, но и к нам доходили каждое волненье, каждый интерес, захватывавшие передовые его слои. Помню, как мы обсуждали реакционные постановления министра народного образования Кассо, писали протесты, отправляли их в газеты, а потом начальство сурово доискивалось, кто из нас был автором этих «самочинных» выступлений. Каждое проявленье самостоятельности в гимназистках, все, что хоть сколько-нибудь походило на собственную «линию поведенья», на «убеждение»,— захватывало и увлекало нас. Однажды одна из учениц не успела выйти из зала, где должен был состояться очередной молебен с коленопреклонением. Когда все опустились на колени, она, не будучи христианкой, осталась стоять под свирепыми взглядами батюшки и начальницы. Не успел отойти молебен, как мы кинулись к ней с демонстративными рукопожатиями; в наших глазах она вела себя как героиня, вела себя (высшая тогдашняя оценка у нас) «по принципу».

Всем складом нашей семейной жизни я была уже подготовлена к таким оппозиционным настроениям.

В последние годы жизни у отца было резкое столкновение с тогдашним министром Боголеповым, после которого отец долго находился под негласным надзором полиции. Среди его пациентов были будущие большевики, в их числе оба брата Скворцовы-Степановы (одного из них он лечил от туберкулеза), и спустя четверть века, когда я впервые вошла в большой кабинет главного редактора «Известий», Ивана Ивановича Скворцова-Степанова,— он сам напомнил мне об этом времени и рассказал кое-что о моем отце, чего я и сама не знала.

Писать я начала с раннего детства, как только вообще научилась письму, исписывала целые тетрадки, аккуратно просматривавшиеся матерью и отцом, и продолжала писать также в гимназии. Мы издавали, как водится, свой школьный журнал, сочиняли драмы, романы, стихи. Кое-что из этого раннего сочинительства в классе и вне класса приберег Иван Никанорович Розанов. На моем шестидесятилетием юбилее он поднес мне образчик моего юношеского творчества, очерк «На вокзале при отходе поезда», отражающий на себе революционные веяния тех незабываемых лет утра нового века.

К тринадцати годам я стала плохо слышать; это было начало отосклероза, грозящего мне сейчас уже полною глухотой. А между тем как раз в это время умер отец (осенью 1902 года), оставив мать и нас, двух девочек, без всяких средств. Мать вынуждена была перебраться к родственникам в Нахичевань на Дону, где один год прожили и мы с нею, поступив в Нахичеванскую на Дону казенную гимназию. Там, кстати сказать, я впервые встретилась с другой будущей советской писательницей, Любовью Копыловой, автором книги талантливых стихов, романа «Лоскутное одеяло» и др. Она была на несколько «классов» старше меня и уже тогда слыла среди учениц известной поэтессой. На следующий год мы с сестрой снова вернулись в Москву продолжать образование в гимназии Л. Ф. Ржевской, которую я и окончила с серебряной медалью в 1905 году.

Рассказываю так подробно о средней школе, потому что обязана гимназии Ржевской очень многим; при всех недостатках старых школ (к ним я отношу и раздельное обучение обоих полов),— лучшие из них закладывали основы подлинного образованья, воспитывали в ученицах уменье самостоятельно работать с книгой и выпуска-

ли их не только подготовленными для поступленья в университет, но и с тем запасом горячих молодых убеждений, с тем страстным желаньем послужить народу, достойно прожить свою жизнь, которые иронически назывались в то время «идеализмом молодости». Это, мне кажется, происходило оттого, во-первых, что наши учителя сами знали больше, чем полагалось передать иам по программе, и были широкообразованными людьми: запас их общих знаний, как бы резервный культурный фонд,— чувствовался во время урока, передавался ученикам и в обычных изложениях задаваемого и в ответах на ученические вопросы, выходившие за грани программы,— и это расширяло для нас рамки усвояемого предмета; и во-вторых, они — большинство из них — были людьми самых передовых убеждений и как-то умели заразить нас любовью и уважением к этим убеждениям. Прекрасный советский фильм «Сельская учительница» удивительно хорошо передает настроение учащихся тех лет. Многие из нас, кончая, мечтали о том, чтоб стать сельскими учительницами, да не во всякой деревне, а в самой глухой, сибирской. С одной из своих подруг, Аней Ковригиной, толстой и спокойной девочкой с гладко зачесанной косой, мы ухитрились даже побывать на приеме в министерстве у какого-то дежурного чиновника и проговорить с ним битый час, выспрашивая, есть ли в тайге вакансия, и заверяя его, что чем труднее, тем для нас лучше.

Во время пребыванья в седьмом классе гимназии я совершила первое свое путешествие за границу вместе с матерью,— целью его было излечить меня от глухоты, а деньги на него дали родственники. Мы побывали в Австрии, Швейцарии и Франции. Ушам моим заграничные врачи не помогли, но впечатление от большей свободы жизни, нежели в царской России, от образцового состояния дорог, выхоленности лесов, использованья каждой пяди земли, было очень сильным и на переходе от средней к высшей школе послужило мне толчком к своеобразному «культуртрегерству», стремлению к культурному режиму дня и экономной трате времени.

Между тем по окончании гимназии прекратилась денежная помощь богатых теток. Надо было поступать на службу, а мне хотелось продолжать ученье. Но право ученья иа Высших женских курсах стоило сто рублей

в год,— что по тогдашним временам представляло очень солидную сумму.

Зарабатывать я уже начала с пятнадцати лет. Все виды труда, доступные тогдашней гимназистке, были мне знакомы: я готовила отстающих; писала лентяям-лицеистам Катковского лицея, где обучались мои богатые двоюродные братья, всевозможные сочиненья не только на заданные темы, но и на заданные ими заранее отметки: на тройку, четверку, тройку с минусом, чтоб правдоподобней было; брала всякого рода переписку (тогда машинок еще не водилось, и мы переписывали «от руки»). Первый мой стихотворный фельетон «Геленджикские мотивы» был напечатан в 1903 году в газете «Черноморское побережье» (27 июля 1903 года № 165). С него и датирую свой очень ранний производственный стаж газетчика, не прерывавшийся на протяжении всей моей последующей литературной деятельности. Поэтому я уже знала трудный путь поисков заработка. Около двух лет прошли у нас с сестрой в непрерывном труде репетиторш, чтоб собрать деньги для продолженья ученья. В Москве выходили тогда рабочие издания: журнал «Ремесленный голос», а когда он был закрыт, газета «Трудовая речь». В этих изданиях я поместила много стихотворений и рассказов, одни названия которых говорят об их содержании: «Песня рабочего», «В подвале», «Забастовщиков сын», «Жена рабочего» и т. д. Первый ужас от исковерканного в печати текста был пережит мною в те годы; помню, рассказ «Жена рабочего» был путано сверстан, так что перемешались абзацы конца, середины и начала. Мне тогда казалось, при виде изуродованного до полной неразберихи моего детища, что жить больше невозможно. И до сих пор я не излечилась от волнения при виде каждой опечатки.

В 1908 году я была наконец зачислена на первый курс историко-философского факультета Высших женских курсов имени Герье и окончила его на круглых «весьма» в 1912 году. Профессор Н. Д. Виноградов оставил меня для подготовки магистерского сочинения. Если школьные годы нашего поколения были отмечены подъемом революционного настроенья, то годы университетские совпали с тяжелой реакцией. И это резко отразилось и на моем развитии как писателя. Выбор философ-

ского факультета был неудачен: там господствовал идеалист Челпанов, курсы логики и психологии которого мы слушали; кроме того, самый состав студенток на философском, не обещавшем впереди никакого заработка, был реакционный,— туда шли девушки буржуазных семей, уже тронутые входившим в моду декадентством, неокантианством, бергсонизмом. На площадке перед аудиториями разбило свою «палатку» черносотенное порождение тех лет, «Религиозно-философское издательство», объединившее тогдашних идеологов православия, отца Павла Флоренского (образованного математика и фанатичного монаха), Владимира Кожевникова, М. А. Новоселова, С. Н. Булгакова, уже совершившего свой переход от марксизма к православию. Книжки, изданные этим обществом (всевозможные размышления отцов Восточной церкви, признанья ренегата-террориста Л. Тихомирова и т. д.), баснословно дешевые, обильно украсили витрины прилавка, и каждая курсистка, выходя после лекций из аудиторий, невольно охватывала краем глаза их названья. Сам издатель, М. А. Новоселов, находился тут же и вступал в общение с уловленными душами. Я тоже не избегла соблазна этого киоска и в течение нескольких месяцев была под гипнозом очень тонкого, реакционнейшего влияния,— проповеди якобы особого, «практического» гностицизма Восточной церкви, «резко отличающегося от схоластики Западной церкви». Это была мерзость из мерзостей духовного порядка, то самое поповство, к которому скатывается всякий идеализм. К счастью, я очень скоро его раскусила, но меня ждал другой искус — увлечение проповедью религиозной революции («восстания с крестом в руках»), которая исходила от Зинаиды Гиппиус в стихах и прозе. Из-под влияния Гиппиус и Мережковского я освободилась не так скоро, и два года подряд, учась в Москве, проводила зиму с Мережковскими в Петербурге, участвуя в их «религиозно-революционных исканиях».

В эти годы я уже издала (в 1909 году) первую книгу стихов 1906—1908 годов «Первые встречи»,— она не имела никакого успеха и отклика, кроме нескольких абзацев в статье критика Иннокентия Анненского; и брошюру о творчестве Гиппиус «О блаженстве имущего», изданную в «Альционе» в 1912 году. Вместо прежних рассказов и стихов на темы «Как я стал политическим»,

«Песня рабочего», «Забастовщиков сын» и т. д. появляются у меня туманные стихи о волшебных замках, пустопорожние описанья непережитых, но подхваченных из чужих книг мистических встреч и настроений, словом — тот порочный мир, в какой вовлекали тогда декаденты и символисты зеленую молодёжь. Характер всех этих влияний, на курсах и вне их, все же не повлиял на мой выбор тем кандидатского сочинения («Критика Ф. Баадером гносеологии Канта») и готовившегося магистерского («Последний идеалист-системотворец, философ Якоб Фрошаммер»). Характерен этот выбор вот чем: в первой теме — обстрел гносеологии Канта производился с позиций материалистических, хотя и ведется католиком Баадером; а во второй теме, которая могла заинтересовать исследователя доведением идеалистами до абсурда абстрактной метафизической системы, превратившейся после Гегеля и Шеллинга у Фрошаммера почти в пародию,— я рассматривала Фрошаммера и его книгу «Фантазия, как принцип вселенной» именно как завершение всех метафизических систем. Приблизительно к тому же периоду относится и статья моя «Еще о «Вехах» («Приазовский край», 1909, № 169), где я ухитряюсь в позорном выступлении авторов «Вех» найти борьбу за русскую культуру против интеллигентского анархизма.

Но тот, кто захотел бы (как это часто производилось моими критиками) сделать законченный вывод о тогдашнем моем «идеализме», как об исчерпывающем содержанье литературной деятельности тех ранних лет, а приход к большевикам в 1917 году, как в своем роде резкий душевный «переворот», поступил бы не только грубо ошибочно, но и вопреки многочисленным литературным свидетельствам совсем иного порядка. Дело в том, что, кроме двух книжек, научных работ и упомянутой мною статейки, я в те годы непрерывно работала как публицист, публикуя по пять-шесть, а иногда и больше фельетонов в месяц, где откликалась, со всей непосредственностью молодости, на множество явлений книжного и общественного порядка. То были моя основная работа и основной заработок.

Правда, издания, дававшие хлеб молодому писателю, стали уже иными: вместо революционных газет 1905—1906 годов я должна была искать работу в обычных про-

винциальных буржуазных газетах, и нашла ее в «Приазовском крае» (Ростов-на-Дону), «Кавказском слове» (Тифлис) и «Баку» (Баку). За небольшой ежемесячный «фикс» я снабжала эти газеты целым потоком «Литературных дневников», «Маленьких бесед», «Писем с Севера». Но вот, просматривая сейчас эту публицистику, среди множества ее наивностей, хаотических противоречий и благоглупостей, можно подметить, как сильно прорывалось здоровое начало, заложенное во мне семьей и школой,— сквозь все наносные реакционные влияния студенческих лет. Больше того, можно убедительно доказать, что это здоровое начало было и оставалось *основным* в моем творчестве и что именно оно естественно помогло преодолеть юношескую религиозность и подхваченный на курсах философский идеализм и впоследствии привело меня к большевикам.

Так, наряду с политически невежественной защитой «Вех», я в том же «Приазовском крае» резко выступаю против теории «чистого искусства» («Чистое искусство», 1911, № 162); высмеиваю пустой и праздный эстетизм модного в те годы Г. Д'Аннунцио («Эстетическая скука», 1911, № 186); издеваюсь над книжкой футуристов «Садок судей» («Истощение языка», 1911, № 21); негодую по поводу квасного православно-монархического романа Н. Русова «Отчий дом» («Пироги сапожника», 1911, № 74); пишу ряд реалистических статей о Е. Баратынском, Т. Грановском, Белинском, Куприне, М. Горьком; в самый разгар увлечения философией Мережковских — нападаю на безжизненность и фальшь антимарксистского романа З. Гиппиус «Чертова кукла» («Театр марионеток», 1911, № 105); ругаю эротический роман Вербицкой «Ключи счастья» («Ключи пошлости», 1912, № 113); высмеиваю модное увлечение теософией («Соблазн пустого места», 1912, № 179); покушаюсь и на авторитетов декадентского движения («Говорящая пустота»,— о пятом томе сочинений Георгия Чулкова, 1912, № 270). И, наконец, занимаю очень определенную общественную позицию в конфликте, разыгравшемся между М. Горьким и ведущей группой русских писателей по поводу постановки «Бесов» в Московском Художественном театре. Горький резко восстал против этой реакционной постановки в открытом письме, опубликованном в октябре 1913 года газетой «Русское слово», и навлек

этим на себя гнев тогдашних «столпов русской интеллигенции», опубликовавших письмо против него в защиту «Бесов» Достоевского. Я откликнулась в «Приазовском крае» на этот конфликт, горячо защищая точку зрения Горького («Достоевский и Россия», 1913, № 268). Вот заключительная фраза моей статьи: «...мы всецело присоединяемся к горячему, вызванному верным инстинктом самосохранения, письму Максима Горького». Письмо Горького я называю выше «замечательным» и цитирую из него, между прочим, такие слова: «Перед нами огромная работа внутренней реорганизации не только в социально-политическом смысле, но и в психологическом».

Кроме публицистики, можно указать кое-что здоровое даже и в первой книге стихов, причем ясно видно сейчас, что упадочные и мистические стишки в этой книге шли от реминисценций чужого, от подражания и выдумки, а свежие картинки природы, такой цикл стихов, как «Детские портреты»,— передавали живые впечатленья бытия и взяты из личного опыта. Нельзя обойти также и большую статью о Сергее Васильевиче Рахманинове («С. В. Рахманинов, Музыкально-психологический этюд», журнал «Труды и дни», 1912, № 4—5, стр. 97—114), где вопреки тогдашней музыкальной критике я строю свой анализ музыки Рахманинова совершенно в духе нашего сегодняшнего отношения к ней. Приходится писать все это в порядке самозащиты, поскольку по установившемуся трафарету некоторые критики у нас строят сейчас облик писателя, начинавшего в дореволюционную пору, по раз навсегда кем-то созданным схемам, даже и не заглядывая в его долгую и повседневную литературную работу. Эта искусственная схема внезапного перерождения «от старого к новому» прежде всего грешит против истины. Правильней искать в ранних проявленьях человека решающие элементы, благодаря которым и смогла определиться его последующая жизненная позиция.

Большую роль в моей жизни сыграла также и нужда, пережитая в юношеские годы,— обстановка больших материальных лишений, постоянной борьбы за кусок хлеба для себя и близких, постоянного общения с простыми тружениками, у которых снимала комнату, а подчас только угол. Помню, мы жили с сестрой один раз в кро-

хотной комнатке без окон, с задвигающейся, как в купе, дверью и с единственной мебелью, которая влезала в эту комнату,— двумя стиснутыми рядом койками. Всяко бывало,— и эта обстановка, роднившая меня с теми, кто, как и я, каждый день работал для насущного хлеба, создавала здоровое противоядие всякому утонченному декадентству.

На эти же годы падает и самое сильное впечатление, полученное мною от книги, оказавшей очень большое влиянье на мое последующее литературное развитие.

Каждый свободный час я проводила в Румянцевской библиотеке (ныне Ленинской), еще помещавшейся в старом здании. Общий зал ее, который показался бы нынешней молодежи убогим и тесным, для нашего поколенья был огромным. Вечерами, в свете зеленых огоньков его настольных ламп, с углами, пропадающими в тени, с шелестом переворачиваемых страниц, он был дороже и любимей театра, соблазнительней зимнего снежного парка и желанней любого развлеченья. И всякий раз он охватывал жадное молодое воображенье обещаньем нескончаемых чудес,— которые могли воплотиться в реальность по первому вашему желанью. Чудеса были заключены в каталоги, и каждое из этих чудес можно было тотчас сделать реальным, то есть заказать и получить для чтения. Хотелось читать все по порядку, охватить все области знания. Как-то, роясь в каталоге, я прочла необычайное, сразу заинтересовавшее меня названье: «Беседы о торговле зерном» аббата Галиани. Показалось невероятным,— можно ли беседовать о такой прозе, как торговля зерном, да еще аббату, лицу духовному, далекому от торговли? Я выписала эту странную книгу, и мне принесли ее, не очень толстую, в русском переводе, изданную в Киеве. До сих пор не могу забыть очарованья, пережитого над этой книгой. В блестящей, остроумной форме диалога по образцу Платоновых несколько образованных людей ведут спор за и против свободной торговли зерном в Англии. Во всей мировой литературе едва ли найдется книга, способная лучше и быстрее ввести неискушенного читателя в проблемы хозяйства, увлечь его диалектикой самых, казалось бы, прозаических вещей и на всю жизнь заразить интересом к ним. Лучшие умы XVIII века увлекались «Беседами о торговле зерном», как я узнала вп-

следствии. Для меня же они сделались школой конкретного мышленья. Десятки тетрадей я исписала всевозможными диалогами в подражание Галиани, и свой интерес к вопросам экономики датирую со дня прочтения этой книги. Правда, надо прибавить: я увлеклась не только самой экономикой как таковой. Мне открылась в ней та великая особенность, без знания которой не может быть глубокого проникновения в историческую конкретность человеческого характера, а значит и подлинно-художественного воплощения образа человека в искусстве.

Много лет спустя, когда я с захватывающим интересом читала мемуарную литературу о Гоголе, я увидела, как внимательно изучал он, готовясь к «Мертвым душам», сочиненья по статистике, по русской экономической действительности и как жадно просматривал все, что относилось к вопросам тогдашнего хозяйства. Это заставило меня по-новому перечитать и «Мертвые души», названные самим Гоголем «поэмой». Образы людей, созданные в этой поэме, навсегда завоевали бессмертие в памяти человечества. Но как они характеризуются Гоголем? В сущности, лишь двумя простейшими действиями: куплей-продажей мертвых душ. Мы не знаем, как Коробочка прожила жизнь, о чем она мечтала, что перенесла за долгие годы, но вот она торгуется с Чичиковым, на двух страницах тянет и тянет: «Право... мое такое неопытное вдовье дело! Лучше ж я маненько повременю, авось понаедут купцы, да применюсь к ценам»,— и мы видим Коробочку, видим во всей ее хитрости и дурости, скопидомстве и трусоватости,— две страницы, и глядит незабываемый бессмертный характер с них. Или Собакевич — мы ничего не знаем о том, что и как он любит (кроме еды), о чем думает, какое горе пережил, но вот на пространный дипломатический подход Чичикова о мертвых душах он говорит: «Вам нужно мертвых душ?— спросил Собакевич очень просто, без малейшего удивления, как бы речь шла о хлебе». И когда, запросивши «по сту рублей за штуку», вызвал ужас и негодование Чичикова и всяческие его увещевания, что ведь речь идет о «так сказать не существующем, о мечте», вставляет свой резон: «Но знаете ли, что такого рода покупки, я это говорю между нами, по дружбе, не всегда позволительны, и расскажи я или кто иной,— такому человеку не будет никакой доверенности относи-

тельно контрактов или вступления в какие-нибудь выгодные обязательства»,— говорит не потому, что хочет пристыдить Чичикова в беззаконии сделки, а как аргумент, чтоб выторговать побольше,— вот перед вами и весь характер, во всей его психологической силе, глубине и яркости. На экономической детали русской крепостной действительности (мертвая ревизская душа), на процедуре недозволенной купли-продажи Гоголь сумел развернуть целую галерею характеров во всей их тончайшей нюансировке. Так помогает и так важно для писателя глубокое знание экономики при поисках штрихов, создающих литературный портрет.

Пишу об этом здесь потому, что иногда под флагом борьбы за качество литературы начинают ударять по ее социальному содержанию. Я пережила в прошлом такой период. Реакционная эстетская печать девяностых годов XIX и десятых XX века множеством разных способов (в юмористических газетных фельетонах; в стихотворных и прозаических пародиях; в критических рецензиях; в шутливых пьесках и водевильчиках; в пасквилях; и в чем только еще!) высмеивала священнейшие социальные эмоции передовых слоев общества, революционеров, студенчества, показывая в утрированном виде их отражение в литературе: объяснение в любви — и разговор о земельных отрезках, о росте кулачества, обнищанье крестьянства; развод мужа и жены — за несходство убеждений по вопросу о кооперации или профсоюзов; мечты двух школьников при луне о том, чтоб пострадать за народ, и т. д. Помню, как вытравлялись этими бесчисленными издевками социальные мотивы из поэзии и прозы под предлогом борьбы за углубление внутреннего мира героев, за повышение качества литературы. Конечно, «гражданские мотивы», как их тогда презрительно именовали, могли быть слабо и схематично выражаемы, но кому не ясно сейчас, что борьба за силу и глубину искусства заключается не в выхолащивании этих мотивов, а в умении углубленно и с художественной силой воплощать их в искусстве: явление Горького это блестяще доказало. И все же приходится временами вспоминать эти давние споры и в наши дни, когда иной раз встречаешь выступления некоторых наших критиков против «производственных тем» за углубление «внутреннего мира» героя, как если бы дело жизни человека, его

производственная работа и творчество мешали, а не помогали писателю раскрыть глубины этого внутреннего мира! Ведь вне социального облика героя вообще нельзя дать никакой психологии, кроме условной. Ниже я расскажу, как при переходе от предреволюционной, более или менее условной, подражательно-книжной характеристики людей к их социально-реалистической характеристике, мне помогло изучение советского хозяйства, анализ экономических процессов нашей действительности. Что касается знания современной техники, то и она, в пределах хотя бы элементарной грамотности, необходима для правдивого общественно-реалистического портрета советских людей, поскольку жизнь наша движется по основному экономическому закону социализма, а постоянное совершенствованье техники одно из слагаемых этого закона,— и писателям невозможно показать в книгах жизнь общества вне управляющего им закона. В этом смысле преувеличены и упреки некоторых критиков в техницизме по адресу молодых советских книг,— ведь интерес к технике при описании заводов, где работают советские люди, был также естествен в писателе, как в том герое, какого он избрал для своей книги. На каком-то этапе развития нашей литературы мы все, в той или иной степени, переболели этой сдачей нашего «техминимума» перед читателем.

В 1913 году выходит вторая, гораздо более сильная, книга моих стихов, «Orientalia», и тотчас расходится, так что на протяжении месяца потребовалось второе издание. В 1914 году в издательстве «Альциона» выходит небольшая брошюрка «Две морали», составленная из публичной лекции, а в издании М. И. Семенова в Ленинграде — первая книга рассказов «Узкие врата», хорошо встреченная критикой. За нею в 1915 году — вторая книга рассказов «Семь разговоров» и третье издание «Orientalia», в 1916 году две повести: «Каприз миллионера» и очень слабая «Золушка» в издательстве «Универсальная библиотека» Бр. Антик. В своих рассказах я прошла путь от бесхитростного, слегка сентиментального «святочного» повествованья до остропроблемной новеллы эпохи войны 1914 года (сборники «Семь разговоров», «Странные рассказы»). Одновременно с беллетристикой умножаются количество и тематика статей, которые я пишу в газеты и журналы, а также и количество печатаю-

щих меня периодических изданий. К журналам прибавляются «Северные записки», «Современные записки», «Голос жизни», «Армянский вестник»; к газетам — «Речь», «Биржевые ведомости». В годы 1913 и 1914 я опять выезжаю за границу; летом 1913 в Германию и Тироль, давший сюжет для нескольких повестей («Праздник луковицы», «Узкие врата», «Золушка»); летом 1914 года в Гейдельберг, чтоб готовить в тамошнем университете магистерское сочинение о Фрошаммере.

Первая мировая война застигает меня во время странствия пешком из Гейдельберга в Веймар (через Вормс и Франкфурт на Майне), позднее описанное в книге «Путешествие в Веймар» [1]. Кружным путем, через Швейцарию, Италию, остров Корфу, Грецию, Сербию, Болгарию, мы с сестрой возвращаемся на родину прямо в Нахичевань на Дону, задержавшись за границей на несколько месяцев, сперва — в Швейцарии, где впервые слушаем выступления большевиков, потом — в Италии, где долго живем во Флоренции и в Риме. В Нахичевани на Дону в то время находилась моя мать, и я осталась в этом городе, получив место лектора по эстетике и истории искусства в Донской консерватории [2]. Последнее мое путешествие отразилось позднее в рассказах «Голова медузы», «Коринфский канал», «Смерть» и в послереволюционном романе «Приключение дамы из общества».

Таков коротко внешний перечень событий предреволюционных лет. Но, вглядываясь в них сейчас, вижу, что это внешнее благополучие (рост творческой активности и литературной известности, а с нею и материальной обеспеченности) скрывает под собою настоящий и глубокий идейный кризис. Все, во что я верила и к чему тянулась, было утопическим и рухнуло. Сельской учительницей я не стала: неглубокими и несерьезными оказались школьные мечты; кроме того, нужно было зарабатывать не на себя одну, да и слух мой к тому времени уже значительно понизился. Мысли о фантастической «революции с крестом в руках» закончились открытием

---

[1] Издана уже после революции Госиздатом, М.—П. 1923.

[2] Результатом моего преподавания были две книжки: «Введение в эстетику», напечатана в Ростове-на-Дону издательством Аралэзы, и «История искусства для консерваторий», выпуск I, изданная в Ленинграде под редакцией А. Волынского (Госиздат, 1922).

ее смехотворной выдуманности и разочарованием в Мережковских. Как часто бывает у молодых, еще формирующихся людей, я искала истины и познания через любовь и дружбу с живыми людьми, носителями недостающих мне знаний. После разрыва с Мережковскими я сблизилась с культурным семейством композитора Николая Карловича Метнера, состоявшим, кроме него, из его жены, Анны Михайловны, и брата, философа Эмилия Карловича Метнера, издателя «Мусагета» и журнала «Труды и дни». В эти же годы сблизилась с поэтом Борисом Николаевичем Бугаевым (Андреем Белым) и с композитором Сергеем Васильевичем Рахманиновым. Вкладывая всю душу в дружбу с дорогими мне людьми, я тратила массу времени и сил на переписку с ними, иной раз выливавшуюся в целые тетради; на бесконечные философские разговоры; на трудоемкое и творческое, но не откладывающееся в книгах занятие, которое романтически настроенные люди моего поколения звали «духовным общением». И насколько серьезно было все, что вкладывалось в это общение, настолько легче и случайней становились выходы в печать, обязательные три-четыре печатных листа в месяц, необходимых для заработка. Я бессознательно как бы «отделывалась» от нелюбимой обязанности, незаметно для себя вкладывая душу в творчество для одного человека, а не для своих читателей. Это был, я считаю, самый реакционный и раздвоенный период моей жизни, единственное время, когда, работая в газете, я, в сущности, изменяла ей, изменяла литературе. Многого, что мною было в те годы написано, я стыжусь сейчас,— пустых, сентиментальных рассказиков, случайных статеек, недодуманных тем. Это усугублялось еще и тем, что в последние предреволюционные годы в самих провинциальных газетах, где я сотрудничала, в связи с войной усилился шовинизм, царил дух приспособленчества и сотрудничать в них было очень противно.

Кризисные настроения тех лет вылились у меня в первом большом романе, написанном в 1915 году,— «Своя судьба». Роман этот был принят «Вестником Европы», и тогдашний редактор журнала, Дм. Овсянико-Куликовский, написал мне очень лестное письмо о нем. Но на первых главах печатание романа прекратилось, так как почти тотчас после революции, в 1918 году, жур-

иал был закрыт [1]. В целом виде роман впервые появился уже в двадцатых годах [2] и принес мне, кстати сказать, трогательно-хвалебное письмо от старого Анатолия Федоровича Кони. Критики приписывали мне в этом романе размаскирование предреволюционной интеллигенции во всей ее оторванности от народа. Но я скорее сводила в нем счеты сама с собой. Основная тема романа — борьба против Фрейда и фрейдизма, начинавшего в те годы входить у нас в моду. Разоблачая идеалистическую концепцию в психиатрии, я уясняла самой себе свой внутренний отход от старых идеалистических позиций в философии. Сводила я счеты с идеализмом и в последующие годы гражданской войны, то пытаясь соединить свое христианство (от которого еще не отказалась) с проблематикой переустройства мира (пьесы «Чудо на колокольне» [3], «День рождения полковника» [4], «Истинно-суженный» [5], диалоги «Подслушанные разговоры» [6]), то замаскированно воюя с меньшевизмом (пьеса «Клуб непогрешимых» [7]), и саботировавшей интеллигенцией (пьеса «Дом у дороги» [8]); то возвращаясь к идеалистической теме нравственного самосовершенствования (пьесы «Разлука по любви» [9], «Память ребенка» [10]).

В эти же годы вышли в Нахичеванском издательстве «Аралэзы» третий томик моих рассказов «Странные рассказы», четвертое издание «Orientalia», курс «Введение в эстетику», читанный в Донской консерватории, брошюрка «Искусство сцены» о театре имени Комиссаржевской, а также детская моя книжка «Повесть о двух сестрах и о волшебной стране Мерце». Именно в это время сильней потянуло меня и к вопросам армяноведения. До этого я периодически обращалась к армянским те-

[1] «Вестник Европы», 1918, № 1—4, стр. 93—149.

[2] «Своя судьба», изд. Л. Д. Френкеля, М.—П. 1923.

[3] Напечатана А. А. Блоком в журнале «Записки мечтателей» № 5, 1922.

[4] Утеряна.

[5] Напечатана в «Приазовском крае».

[6] Напечатаны в «Приазовском крае».

[7] Напечатана в I томе Собрания сочинений, Госиздат, 1935.

[8] Не напечатана.

[9] Напечатана в I томе Собрания сочинений, Госиздат, 1935.

[10] Утеряна, сохранился лишь рукописный перевод на армянский язык, сделанный Я. С. Хачатрянцем.

мам то в газетах, то в журналах, отдала им долг и в «Orientalia». Но как раз в 1915 году этот случайный интерес стал прочным. Я познакомилась с филологом и переводчиком с армянского на русский, Я. С. Хачатрянцем (за которого в 1917 году вышла замуж) и с ним вместе мы составили и перевели сборник «Армянские сказки», выходивший после Октября несколько раз в издательстве «Academia», в Госиздате и в Детгизе. С ним же тотчас после свадьбы я впервые поехала в Армению и с тех пор поездки туда на месяц-два стали почти ежегодными, а с 1927 года я перебралась туда уже с семьей и жила в Армении вплоть до 1930 года. Но возвращаюсь к эпохе гражданской войны. Уже в Швейцарии, с первого года империалистической войны, во время пребыванья в Цюрихе, где мы с сестрой ходили слушать речи большевиков, мы почувствовали нашу идейную близость с ними.

Февральская революция застала нас на Дону, и с развитием ее наша классовая позиция быстро и окончательно определилась, как убежденная и страстная тяга к коммунизму. Мы укрывали от белых у себя на квартире большевика Саркиса Лукашина, студенческого товарища моего мужа, и беседы с ним, его долгие рассказы о ходе гражданской войны, его лекции о марксизме помогли мне лучше понять всю глубину происходящего на моих глазах грандиозного переворота от старой эры человечества к новой. Словно отсохшая шелуха отвалились старые взгляды, упадочные настроенья, чувства тупика и конца жизни. С 1915 года я вела ежедневные дневники (веду их уже 45 лет) и записи всего пережитого на Дону с 1917 по 1921 год, сохранившие мрачные подробности разгула деникинщины, переменные этапы гражданской войны на Дону и, наконец, победу революции, а с нею свежесть утреннего ощущения мира, незабвенную для переживших ее радость начала новой жизни, «зари утренней»,— почти целиком вошли позднее в мою первую большую послереволюционную вещь, «Перемену». Однако же начало новой жизни ознаменовалось для меня временным отходом от литературы в организационную советскую работу, ближе связавшую меня с народом.

Во время гражданской войны я посещала и окончила курсы по ручному прядению и ткачеству. Поступив тотчас после победы Красной Армии в Доннаробраз ин-

структором ткацкого дела, я стала ездить по станицам на митинги вместе с партийными работниками, организовала в Нахичевани «Первую Донскую прядильно-вязально-ткацкую школу», выпустив ее печатный проспект, написанный мною самой, была ее директором и преподавателем, читала лекции рабочим на «Курсах по повышению квалификации»,— об этом времени рассказано в очерке «Как я была инструктором ткацкого дела»,— и каждою порой своей впитывала вдохновенный творческий размах первых лет революции. Сестра в это время организовала в Ростове-на-Дону «Академию художеств», первым директором которой была утверждена. Лишь через два года потянуло меня к перу. Товарищ мужа, коммунист А. Ф. Мясников (погибший впоследствии при аварии самолета с Могилевским и Атарбековым), дал мне рекомендательные письма в «Правду» и к редактору газеты «Экономическая жизнь» и осенью 1920 года я уехала в Москву.

Началась совершенно новая полоса моей жизни — участие в великом и трудном процессе создания советской литературы. Не сразу удалось мне вступить в этот процесс, и я шла к нему своими путями. Знакомые мне писатели в то время саботировали советское строительство, считали чем-то постыдным и политически зазорным печататься в советских газетах; они существовали благодаря всевозможным синекурам (должностям в разных Пролеткультах и отделах искусств), сочетая мнимую работу с небольшим жалованьем и полученьем карточек на хлеб, а по существу, как бы отсиживались от революции в раздраженном безделье. Советская власть была снисходительна к ним вплоть до 1921 года, когда самая реакционная часть их эмигрировала за границу. Мне же, приехавшей с юга, где я два года реально работала в настоящих советских учреждениях, синекура была и противна и оскорбительна, а долгий опыт работы в газетах, незаметно сделавший из меня профессионального газетчика, тянул приложить свои силы именно в газете. Но сперва я сделала попытку войти в тогдашние литературные круги. В Москве писатели группировались вокруг отданного им особняка на Поварской (сейчас улица Воровского), где и доныне располагается Союз советских писателей. В Петербурге они объединились вокруг Горького и основанного им издательства «Всемирная

литература». Мне пришлось по приезде в Москву, за отсутствием ночлега, переночевать одну ночь в особняке на Поварской, но тогдашний заведующий этим домом, поэт Рукавишников, попросту выгнал меня оттуда. Пережитые в этом доме впечатленья чего-то изолированного, оторванного от жизни и народа, искусственного и остановившегося в развитии,— вылились у меня позднее в романе «Кик» (вводная новелла «Тринадцать — тринадцать»). Хождения по редакциям газет («Экономическая жизнь» и «Правда») тоже сперва ни к чему не привели. В то время еще не родился жанр, названный нами впоследствии «советским очерком»,— и писанья мои из «Экономической жизни» отсылались в «Правду» как «недостаточно специальные», а из «Правды» — назад в «Экономическую жизнь» как «чересчур специальные». О чем я тогда писала? Если в последние предреволюционные годы работа в газете стала для меня подневольным и чуждым трудом, от которого можно было отделаться любою темой, подхваченной из книг, то сейчас голова моя была полна мыслей о реально пережитом, и я стремилась в газету, естественно, чтоб поделиться с читателем этими мыслями. Писала я и о своей школе, и о мерах улучшения овцеводства на юге, и о производственной пропаганде через кино. Именно тогда, в первые годы советской газетной работы, я вдруг почувствовала необходимость писать в газету, как *лирическую* необходимость, как потребность, вызывающую у поэта к жизни его стихи. И это ощущенье лирической, жизненной нужности газетного слова осталось у меня и на всю последующую жизнь.

Увидя, что в Москве не устроиться, я отправилась в Петербург к Горькому и здесь получила комнату на углу Мойки и Невского, в «Доме искусства», где и прожила, выписав из Нахичевани с помощью А. М. Горького [1] свою семью, с 1921 по 1927 год. В первые же дни в Петербурге мне удалось, наконец, начать газетную работу. Девятого декабря 1920 года появилась в «Известиях» Петроградского Совета рабочих и красноармейских депутатов» № 277/769 первая моя статья «Кое-что о русской интел-

[1] У меня хранится документ за подписью Горького, адресованный Дон-исполкому, с просьбой дать разрешение на проезд и оказать всемерное содействие к выезду в Петроград моей семье. Датировано 27 мая 1921 года.

лигенции» (где я резко выступаю против саботажа), четырнадцатого декабря, там же, вторая статья «Театр в Москве». В 1921 году в издательстве Гржебина вышло новое издание моей «Orientalia»; начинается интенсивное сотрудничество в журналах «Петербург» и «Летопись дома литераторов», в еженедельнике «Жизнь искусства» — в последнем мне удается провести и забракованную «Экономической жизнью» статью «Производственная пропаганда и кинематограф». Литературный Петербург жил в то время узкопрофессиональными интересами искусства, и, вовлеченная в их круг, я весь 1921 год откликаюсь на театральные постановки, концерты, книги А. Ахматовой, А. Волынского, А. Белого, О. Форш, то под своей фамилией, то под псевдонимом «П. Самойлов». Но петербургский эстетизм удержать меня надолго не мог, и уже в 1922 году, выпустив в Госиздате первую часть своих лекций «История искусства для консерваторий и музыкальных школ», а в издательстве «Парфенон» сборник своих статей («Литературный дневник»), я усаживаюсь за дневники и пишу по ним первую свою настоящую реалистическую вещь о гражданской войне, «Перемену», начинающую выходить с № 6 московского журнала «Красная новь». Одновременно пишу и первый свой настоящий очерк «Как я была инструктором ткацкого дела», прошедший в журнале «Новая Россия» № 2 (1922). С этого месяца и года я датирую начало своей работы в жанре очерка. Критические статьи начинаю чаще посвящать новым явлениям в литературе и, например, в воскресных приложениях к «Петроградской Правде», называвшихся «Литературная неделя», помещаю в течение года статьи о поэзии Николая Тихонова, о романе Ильи Эренбурга «Хулио Хуренито» и др. Но рамки Петербурга мне были уже тесны, тянуло в глубь страны, к начавшимся первым большим строительствам,— и, взяв командировку в «Правде», я выехала в Армению.

Восемнадцатого ноября появляется в «Правде» (1922, № 261) мой первый очерк об Армении — «История одного канала», в 1923 году выпускаю книжку «Советская Армения» [1] с приложением протоколов Первого сельско-

[1] «Советская Армения», выпуск I. Армения сельскохозяйственная, Госиздат, М.—П. 1923.

хозяйственного съезда Армении, которые сама же и вела в течение всего съезда. В том же году выходят из печати еще три мои книги: упомянутая выше «Своя судьба» у Френкеля, «Путешествие в Веймар» в Госиздате и второе расширенное издание «Литературного дневника» в московском издательстве «Круг». В то же время основная работа тех лет, повесть «Перемена», завершается печатанием в «Красной нови». В марте 1923 года я пережила огромную радость. Тогдашний редактор «Красной нови» А. Воронский написал мне в Петербург: *«Знаете, очень Ваши вещи нравятся товарищу Ленину. Он как-то об этом говорил Сталину, а Сталин мне»* [1]. Этот дорогой сердцу отзыв Владимира Ильича светил мне всю мою советскую жизнь, помогал переживать тяжелые минуты и давал силы снова и снова трудиться, преодолевая свои слабости и ошибки.

Материала, собранного за годы гражданской войны на Дону и второй поездки в Армению хватило еще на некоторое время (маленький роман «Приключение дамы из общества» [2], рассказ «Агит-вагон» [3], очерк «Прялка» [4]), тем более что я работала в этот год и как лектор в Институте истории искусств, где читала на музыкальном отделении курс «Границы поэзии и музыки», выполняла кое-какие редакционные работы для «Всемирной литературы». («Шагреневая кожа» О. де Бальзака под редакцией и с предисловием М. Шагинян, Госиздат, 1923; брошюра об английском романисте Уилки Коллинзе, оставшаяся ненапечатанной, но пригодившаяся мне впоследствии, когда я перевела для Гослитиздата в 1946 году и снабдила послесловием роман Коллинза «Лунный камень»). Но жизнь вокруг бурно менялась, а с нею менялись и люди. К писателю, если он хотел служить народу, предъявлялись тысячи требований со всех сторон, и эти требования шли не извне, а изнутри, из своей совести. Читаешь газету сегодня — в мире растет итальянский фашизм, он перекидывает щупальцы к империали-

[1] Письмо редактора «Красной нови» от 17 марта 1923 г. было дважды опубликовано. Первый раз в моей книге «Дневники 1917—1931», Изд-во писателей в Ленинграде, 1932, стр. 68. Второй раз в Собрании сочинений, ГИХЛ, М. 1933, т. II, стр. 273.

[2] «Красная нива» № 2, 4, 64, 1923.

[3] «Красная нива» № 38, 1923.

[4] Журнал «Ателье» № 1, 1923.

стам,— а у нас так мало антифашистской литературы, которая развенчивала бы его в увлекательной, приключенческой форме! Разворачиваешь газету завтра — готовится под Москвой первая у нас Всесоюзная сельскохозяйственная выставка,— а ведь как необходимо, как полезно было бы хорошо рассказать о ней молодому читателю! Получаешь первую путевку в только что организованный санаторий, идешь на праздник в детдом,— как важно изучить и отметить в очерке эти новые, всюду растущие черты советского общественного быта, проследить, как отражаются они на изменении характера наших людей! И вот в том же 1923, очень трудоемком для меня, году я начинаю и в течение трех месяцев кончаю антифашистский приключенческий роман «Месс-Менд, или Янки в Петрограде»;[1] еду в Москву и в течение двух недель почти не выхожу с территории сельскохозяйственной выставки;[2] начинаю целую серию очерков о новом быте[3], в работе над которыми сама прохожу школу познания строящейся, создающейся советской действительности.

Следующий 1924 год приносит тягчайшее горе: смерть Ленина. Мы узнали о ней в Петербурге; и там, как в Москве, был лютый мороз, стояли тысячные толпы людей, обнаживших головы. Произнесенная Сталиным клятва Ленину для многих из нас прозвучала как новая страница в книге истории человечества, когда бытие живого Ленина переходит во всенародное освоение Ленина. И «Ленинский призыв» был в те дни не только для тех тысяч, кто вошел тогда в партию.

С обостренным чувством долга и ответственности, с желаньем понять наилучшим образом свои профессиональные обязанности, со страстной потребностью быть достойными своей эпохи, многие советские писатели по-

---

[1] «Месс-Менд, или Янки в Петрограде» с предисловием Н. Л. Мещерякова. Под псевдонимом Джим Доллар, выпуски 1—10, Госиздат, 1924.

[2] Журнал «Звезда» № 1, 1924, «На Всесоюзной выставке».

[3] Печатались в журнале «Жизнь искусства», позднее вышли отдельной книжкой «Новый быт и искусство» («Новый быт и литература», «Материал современного искусства», «Рождение стиля», «Частная жизнь и общественность», «Сельский учитель», «Что нужно нашему кино», «Уголок Ленина», «В детдоме», «Санаторий»). «Заккнига», Тифлис, 1926.

ленински потянулись в этот год к газете, к книге. У меня это горе вызвало потребность пойти на фабрику, побыть в коллективе рабочих людей и по возможности — туда, где еще памятны были следы работы молодого Ленина девяностых годов, на фабрику Торнтона, связанную с первой написанной Лениным прокламацией. Договорились с ЦУП ВСНХ (Центральным управлением печати Высшего совета народного хозяйства). Я получила нужные документы и с головой ушла в работу. В течение всей зимы пришлось мне наблюдать и изучать восстановительный период в жизни петербургской текстильной промышленности: фабрик Торнтона, «Невской нитки» и других. Фабрики, стоявшие первые годы революции законсервированными или, как тогда говорили, «замороженными», начали «размораживаться», и процесс этот был жгуче интересен. Со всех концов города возвращались на свои родные фабрики старые кадровики, рабочие-текстильщики, с их своеобразными профессиональными особенностями, жадно ждавшие начала работы. Я сдружилась с профсоюзом текстилей, с его историографом, В. Перазичем, прекрасно знавшим психологию текстильного рабочего, его отличие от металлургов, его раннее участие в революционном движении. Рассказывая обо всем этом, Перазич заразил меня своею любовью к ним, и первую книжку этого цикла, «Невскую нитку»[1], я посвятила ему. Вторую книжку, «Фабрика Торнтон»[2], я послала Надежде Константиновне Крупской. Ответное письмо ее, содержащее интересные подробности о дореволюционном прошлом этой фабрики, было напечатано как предисловие ко второму изданию моей книги[3], выпущенному газетой «Голос текстилей» в качестве приложения. Третью книгу этого цикла, «Бюджет текстильщика», над которой я серьезно поработала, потеряли в ЦУП ВСНХ в рукописи.

Между тем успех «Месс-Менда», переведенного на несколько языков и обошедшего, в виде романа с продолжением, многие газеты братских компартий, заставил издателей нажимать на меня и требовать нового «Джима

[1] «Невская нитка», издание ЦУП ВСНХ, 1925.

[2] «Фабрика Торнтон», издание ЦУП ВСНХ, 1925.

[3] «Фабрика Торнтон», 2-е издание ЦК Союза текстильщиков, с письмом Н. К. Крупской. Приложение к газете «Голос текстилей» за 1927 г.

Доллара». Очень не хотелось за него браться; такие вещи по-настоящему удаются лишь однажды, да и тянуло к советскому материалу, к реальным, а не условным коллизиям, реальному, а не условному письму. Но серия «Месс-Менд» рассматривалась в то время как нужная политическая агитка. Второй Джим Доллар, «Лори Лэн металлист», писался мною с несравненно бо́льшим трудом и напряжением, а вышел хуже, хотя задуман был серьезнее. Позднее кинематографическая организация «Межрабпом-Русь», изменив слегка сюжет этих двух романов и объединив их в один, выпустила три серии кинокартины «Мисс-Менд», где превратила мой рабочий лозунг «месс-менд» в некую «мисс Менд». В 1925 году, уже употребив чрезвычайные творческие усилия и с огромной неохотой, я написала по заказу ленинградской «Вечерней Красной газеты» третий роман Джима Доллара, «Международный вагон», встреченный ленинградской критикой отрицательно. Этот роман имел множество недостатков, сложный и путаный сюжет, незавершенные положенья, а выправить его я не успевала, так как он печатался фельетонами в газете с октября по декабрь. Через десять лет, по предложенью журнала «Молодая Гвардия», я основательно, хотя все же еще недостаточно, переработала этот роман и выпустила его в журнале под названием «Дорога в Багдад». Все три «Джима Доллара» имеют, помимо антифашистской темы, еще и ярко выраженную антимилитаристскую тенденцию; они были написаны мною как агитационные приключенческие романы, направленные на разоблаченье фашистской агрессии. Романом «Международный вагон» фактически закончился ленинградский период моей жизни и начался новый — армянский.

Годы 1924—1926 были для меня годами непрерывной и в то же время часто раздражавшей, не всегда удовлетворявшей работы. В этот период, кроме романов, я писала рассказы (из них стоит упомянуть «О собаке, не узнавшей хозяина», «Сестрицу Цедрик», «Качество продукции», «Прыжок», «Три станка»); теоретические статьи: «Фабула» и «Фабулярный орнамент» в «Литературной энциклопедии» Френкеля; «О теме», «О реализме», «О стиле» в «Жизни искусства»; критические статьи (об О. Форш, о К. Федине в журнале «Россия»); редактировала армянский перевод «Страны Наири» Егише

Чаренца; и, наконец, напечатала множество очерков, перечислить которые потребовало бы очень много места. Весной 1926 года московская «Рабочая газета» послала меня пароходом на Волгу, где в ту весну было грандиозное наводнение. Я сходила на берег в Нижнем (Горьком), в Царицыне (Сталинграде), в Казани; на моторном катерке вместе с милицией ездила в затопленное Канавино и Сормово и посылала в «Рабочую газету» «Письма с Волги». Потом, летом того же года, начала постоянное сотрудничество в «Известиях». Новая поездка в Армению со спуском в медные шахты («Зангезурская медь»); верхом в компании лесных объездчиков — в Азербайджан, по Карабаху («Нагорный Карабах»); в почтовой колымаге времен Марлинского по Нахичеванскому краю — в Мегри и Ордубад (очерки «Выстрел у Волчьих ворот», «Ночь в Джульфе», «Розы Ордубада»), и обо всем увиденном напечатала в «Известиях» целые циклы очерков с продолженьями, а кроме них еще в журнале «Огонек», «Прожектор», «Красная нива». Все эти очерки вошли впоследствии в книгу «Советское Закавказье», несколько раз переиздававшуюся, и послужили как бы этюдами для основной книги, собравшей весь многолетний опыт этих поездок,— для «Путешествия по Советской Армении»[1]. Летом 1928 года я поднимаюсь с компанией охотников на вторую по высоте вершину Армении «Алагез» (по-армянски «Арагац»), опять пишу для «Известий» серию очерков «Восхождение на Алагез», а вслед за этим еду в Абхазию и пишу серию статей о Ткварчельском угле, тоже для «Известий»[2]. Знакомство с Армянской республикой, знание главных ее хозяйственных проблем, отпечатлевшиеся в памяти образы ее людей так переполняют меня, что рамки очерка размыкаются перед воображеньем, словно вспомогательные леса, и меня неудержимо тянет к новому, реалистическому роману.

В эти годы, с 1927, я уже не гость в республике. Муж мой перебрался туда на постоянную работу. Вслед за ним, забрав всю семью, перебираюсь и я в качестве по-

---

[1] «Путешествие по Советской Армении», «Молодая гвардия», I издание, 1945, II издание, 1946. Получило Сталинскую премию.

[2] «Известия ВЦИК», 1929, № 197, 201, 239, 247, 249. Отдельное издание: «Роман угля и железа», «Молодая гвардия», 1930.

стоянного жителя в Армению и как бы все начинаю с новой страницы,— трудности устройства, поиски жилплощади, вживание в новую среду. Еще в последнюю свою поездку в Армению (1926 года) я стала нащупывать для себя устойчивый, постоянный материал для наблюдения и нашла его в постройке маленькой первой гидростанции на Занге, ЭрГЭС. Армянские друзья, архитектор А. И. Таманян, инженеры-строители, плановики гордились этой станцией и очень интересно рассказывали мне историю ее проекта и строительства. Больше того, они дали мне возможность познакомиться с ее архивом,— и две недели, сидя над папками, я поглощена была замечательным жизненным материалом, дававшим огромную пищу для художественного обобщения. Возвратясь в Ленинград, я тотчас засела за первые, тогда только что вышедшие, томы первого Собрания сочинений Ленина; за большой альбом ГОЭЛРО и увлекательную книгу моего главного газетного редактора и друга И. И. Скворцова-Степанова об электрификации РСФСР,— и уже была захвачена задуманным, но еще не выношенным и никому пока не поведанным планом — писать роман о рождении электростанции.

Первый, с кем я поделилась им в очередную московскую побывку, был И. И. Скворцов-Степанов. Выслушав, он поддержал мой замысел, тотчас ввел меня в штат, обеспечив ежемесячную зарплату, обещал быть постоянным консультантом и аккуратно отвечать на письма и рассказал, как сам работал над своей книгой и как его в этой работе поддержал Владимир Ильич. В те годы, когда наше хозяйство начинало переходить из восстановительного периода в период реконструктивный, стала усиливаться и правая оппозиция. В последние два года перед великим взлетом первого у нас,— как и первого в мире,— грандиозного для тех лет пятилетнего плана, в *преддверье* пятилеток, мы пережили время острой политической борьбы, начинавшейся дискредитации предпринятых гидротехнических строек, задержки кредитов на них в Москве, порочения проектов, оформленья в тайные группы враждебных социализму инженеров-специалистов. Именно в то смутное время и захватила меня страстная потребность отразить в искусстве, как — сквозь борьбу и сопротивление — рождается со-

циалистическая стройка и, рождаясь, усиливает позиции социализма в стране.

Читая ереванские архивы, зачитываясь остро-интересными в те годы газетами, отражавшими борьбу сил в нашей экономике, я видела, как та или иная социально-политическая позиция человека, то или иное место, занимаемое им в этой борьбе, взаимодействует с его личным характером, внешним обликом, манерой держаться и создает своеобразный человеческий тип. Наслажденье было чувствовать, как сам дается в руки, напрашивается на кисть художника социальный портрет человека, глубокое понимание которого облегчается всем ясновидимым историческим процессом. Если это уже открывалось в сложной обстановке больших столиц, то в маленьком Ереване, где в поле зрения были все исторически действующие реальные люди, от коридорной уборщицы в наркомате до председателя ЦИКа,— задача становилась захватывающе-интересной и еще более доступной. Мы были на переходе от восстановительного периода к реконструктивному, в обстановке обостренной классовой борьбы. С одной стороны — из народа выдвигались творческие работники, зачинатели нового, становившиеся вожаками поднятия производительности труда, а с другой — выпадали из партии пассивные маловеры и оформлялся правый уклон. Вот в этих сложных исторических условиях отдельная стройка-пионер, во всем несовершенстве тогдашней техники и организационных недочетах в работе, была форпостом социализма. Она показывала направление, шла к назначенной великой исторической цели и с каждым своим продвиженьем вперед укрепляла не только себя, но и лучших людей вокруг, учила, растила, одаряла опытом. Такой я хотела отразить ее в романе. И жизнь щедро пошла мне навстречу.

Ехала я писать по архивным записям о построенном объекте. А когда приехала, строители и плановики сразу забрали меня на новый объект, только еще предполагавшийся,— на большую районную ГЭС на реке Дзорагет. С первыми комиссиями я объезжала предполагаемые трассы будущих каналов, с проектировщиками шаг за шагом следила за историей проекта, с вербовщиками узнавала кадры будущих рабочих-строителей. Когда были построены бараки первого и второго (у будущего здания станции и у будущей плотины) строительных

участков и эти бараки еще пахли стружками, я въехала на второй строительный участок (у плотины) и получила комнатку, сквозь стенные щели которой по ночам глядели звезды. Полтора года жила я на этом участке, деля со строителями все их интересы и заботы. Но в то же время, желая нащупать типовое и общее в происходящих на таких же стройках процессах, я выезжала за это время и на некоторые другие ГЭС (на Кавказе, в Закавказье) и действительно смогла увидеть типовое и общее. Главным критиком и первым читателем моим в этой работе была моя сестра Лина, которой роман посвящен.

«Гидроцентраль» писалась очень медленно, не быстрее, чем строилась реальная ГЭС. И люди, вошедшие в роман, были обобщенным отражением живых, дорогих мне, ставших предельно узнанными людей. В этой работе, которой я отдалась всей своей душой,— впервые в жизни, с величайшим творческим напряжением, пробивалась я, по мере отпущенных мне природой возможностей, к подлинно социалистическому реализму. Этот роман — самая серьезная и лучшая моя работа. С исторической точностью он отражает сложный переход от 1928 к 1929 году,— перевал от восстановительно-реконструктивного периода к первому пятилетнему плану. В нем любое положенье и любая коллизия не только были взяты из жизни, но и отобраны среди других, по признаку наибольшей характерности в то время и для других строек. Когда спустя двадцать лет по его написании я решила заново отредактировать «Гидроцентраль», мне пришлось проделать большую работу, но работу не трудную — основа романа, то монолитное, из чего вырезывались все его грани, осталась неприкосновенной, потому что она реально-исторически запечатлела черты эпохи. Мне пришлось лишь снять или отшлифовать кое-какие грани и углубить их, вот и все, да убрать остатки условности в сюжете.

Еще до того, как начать писать «Гидроцентраль», отдыхая в Кисловодске, я, между отдыхом и лечением, в санатории написала полушутя, полусерьезно своеобразный роман-комплекс, где налицо все литературные жанры, от поэмы до доклада. Этот роман был рассчитан не на широкого читателя, а на писателей-профессионалов. Он сделан в форме монтажа: двух номеров газет, редакционной корзины, куда попал забракованный ма-

териал; стенограмм, деловых документов, частных писем, допроса арестованных; четырех, отобранных у арестантов рукописей, написанных в тюрьме; и, наконец, заключительного доклада, где перед авторами делается разбор этих рукописей. Называется он «Кик». Я хотела этим романом не только сдать экзамен по различным литературным жанрам, но и — главным образом — изложить свои тогдашние эстетические взгляды. В «Кике» показывается, как наше искусство только там и тогда начинает становиться действительно интересным и жизненным, только там и тогда, в сущности, и становится искусством, где и когда коснется — хотя бы краем пера, хотя бы на краткий миг — *реальной действительности.* Это убежденье я мучительно переживала, придя к нему на опыте собственного творчества. Условные романы типа Джима Доллара высосали меня творчески, принеся очень мало удовлетворенья; рассказы, писанные в старой, слегка иронической манере, где автор как бы стоит на вышке над своим материалом, казались мне искусственными, рожденными головой, а не сердцем; остро воспринимала я и непрерывную отдачу себя в газетных статьях, которые все больше и больше удаляли меня как художника от углубленной работы над образами людей. В дневниках того времени все сильней пробивается тоска по «настоящей» работе, то есть большому, широкому, отражающему действительность роману. В «Кике» прозвучало теоретическое обоснование этой тоски. А практический выход я нашла ей в своем труде над «Гидроцентралью». Так с двух сторон,— накоплением знания действительности с помощью газетной работы, во-первых, и чисто профессиональной потребностью углубленного художественного письма, выросшей как реакция на чрезмерное газетное продуцирование, во-вторых,— я подошла в своем литературном развитии к «Гидроцентрали», работу над которой считаю своей кульминацией как романиста.

«Гидроцентраль» была закончена в 1929 году; журнал «Новый мир» начал ее печатать с января 1930 года, в течение которого я еще правила и дорабатывала вещь. Год этот был для моей семьи поворотным,— умерла моя мать, друг и помощница, облегчавшая нам материальный быт. И уже без нее возвращается наша маленькая семья после всех скитаний обратно в Москву. Здесь

опять, кроме полутора лет передышки, в течение которых я училась на энергетическом отделении Плановой академии, меня цепко захватила газета и та, не всегда нужная и важная суета, которая связана была с литературной общественностью. Писание по 20—25 печатных листов газетной работы в год, всегда сопряженной с тяжелыми физическими командировками и чтением разнообразных материалов, как это приходилось мне делать много лет подряд, само по себе творчески загружает профессионала; а если к ним прибавляется и солидная общественная нагрузка,— то делать большую вещь, углубившись в нее целиком, становится невозможно. Да и не было у меня больше такого редактора, как Скворцов-Степанов. Двум другим,— покойному редактору «Правды». М. З. Мехлису и бывшему редактору «Известий», К. А. Губину,— я многим обязана, но только как газетный работник. Освободиться же на время от газеты для романа, как это помог мне сделать Скворцов-Степанов, ни разу больше не удавалось. Поэтому все книги мои за последние 20—25 лет или создавались в результате практической газетной работы как своеобразный додаток к ней, или же буквально выкрадывались у времени, писались во время болезни, в санатории, в вагоне при долгом переезде.

Три периода этой изнуряющей и суматошной жизни охватывают годы: 1932—1941; 1941—1944; 1944—1958. Литературный мой труд за это время развивался в трех основных направлениях: газетно-очерковом, критико-литературоведческом, редакционно-переводческом. К роману и даже рассказу я больше не возвращалась, если не считать романа-хроники о жизни семьи Ленина «Билет по истории»: первая его часть, «Семья Ульяновых», была напечатана в журнале «Красная новь» и вышла отдельной книгой в 1937 году. В 1957 году эта книга увидела опять свет в новой редакции.

Возвращаясь к характеристике литературной работы этих трех периодов, начну с филологической. После «Армянских сказок»[1] и введения к «Стране Наири» Е. Чаренца[2], нашего совместного труда с Я. С. Хачатрянцем,

[1] «Армянские сказки», «Academia», 1930 (много переизданий).

[2] Егише Чаренц, Страна Наири, изд-во «Советская литература», 1933.

я несколько лет изучала творчество Т. Г. Шевченко и написала о нем книгу;[1] написала книжку об И. А. Крылове; сделала несколько статей об основоположнике осетинской литературы, Коста Хетагурове, создала ряд исследований и книгу о классике азербайджанской литературы, Низами Гянджеви; написала книгу об основоположнике немецкой литературы, Гёте;[2] написала небольшую работу о карело-финском эпосе «Калевала»[3] и целый ряд маленьких монографий о Яне Амосе Коменском, Ярославе Гашеке, Вильяме Блейке, Моцарте, Альбере Швейцере, Микаэле Налбандяне, Хачатуре Абовяне, Александре Ширванзаде и других. Работая в «Профиздате» в качестве лектора на семинаре начинающих рабочих авторов, я на основе бесед, проводимых с ними, написала и напечатала книжку «Беседы об искусстве»[4]. Кстати, из слушателей этого семинара вышли впоследствии писатель Н. Томан, автор ряда приключенческих книг для юношества, и поэт Гришаев.

Очень много моих работ относится к жанру критики, и притом не только литературной, но и искусствоведческой. Я люблю и понимаю музыку и много писала о ней на своем веку, много писала о кинематографии и театре, наших и западных. Но все же основная часть работ посвящена литературе.

В процессе своих монографических исследований я обратила вниманье на ряд закономерностей, общих в той или иной мере почти всем великим зачинателям национальных литератур: создание литературного языка, закладка образцов каждого литературного жанра в поэзии и прозе; занятие другими искусствами, кроме искусства слова,— театром, живописью, музыкой; интерес к естествознанию, к передовым научным проблемам, диалектизм и борьба против метафизики, материалистическое миросозерцание; та или иная степень участия в революционных движениях... И я мечтаю когда-нибудь засесть за обобщающий труд в этой области.

---

[1] «Тарас Шевченко», Гослитиздат, 1946.

[2] «Гёте», изд-во Академии наук СССР, 1950.

[3] «Калевала», Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний, Москва, 1949.

[4] «Беседы об искусстве», изд-во «Искусство», 1935. («Новый мир» кн. 1, кн. 3 и кн. 4, 1934. Первоначальное название в журнале «Беседы с начинающим автором».)

Как переводчик, после большой работы по редактированию (под руководством А. А. Блока) стихотворного перевода тетралогии Вагнера «Кольцо Нибелунгов», сделанного тов. Свириденко (к сожалению, потерянного работниками издательства «Всемирная литература»), я долго не бралась ничего переводить, не имея в этой области большого опыта. Лишь к юбилею Низами Гянджеви, в течение ряда лет, сделала очень трудный, но и благодарный по доставленному им духовному наслаждению перевод философской поэмы Низами «Сокровищница тайн» [1]. Перевела с английского роман Уилки Коллинза «Лунный камень» [2]. И, наконец, вместе с поэтом В. В. Казиным отредактировала заново стихотворный перевод «Калевалы», сделанный Бельским в конце прошлого века, исправив ряд его ошибок принципиального характера.

Но главной и основной формой литературной моей деятельности этих лет был газетный очерк. Начиная с первых газетных заданий (двадцатых годов): написать очерки о концессии Гарримана в Чиатуре, написать очерки о положении вещей с зангезурской медью, написать очерки о горно-рудном районе Тkварчели, находившемся еще в процессе геологического разведочного бурения,— очерк мой был оперативным и давал мне широкую свободу не только самостоятельного исследования темы и суждения о ней, но и срочного вмешательства в жизнь, если бы оно потребовалось по ходу изучения материала.

Первое задание — о Чиатуре (1924) было дано газетой «Заря Востока». Богатейшие марганцевые залежи возле грузинского города Чиатура были сданы нами на концессию американцу Гарриману, причем ему был поставлен ряд обязательных условий капитального строительства. Но из Чиатуры доходили слухи, что никакого капитального строительства американцы не ведут, а варварски грабят руду, обрушивая кровли и заваливая шахты. «Заря Востока» вместе с тогдашним Закавказским краевым комитетом партии поручили мне съездить в Чиатуру и суметь на месте все «высмотреть» (американцы репортеров к себе не пускали, и действовать надо было хитро-

[1] Низами, Сокровищница тайн, Азернешр, 1948; «Сокровищница тайн», сокращенное издание, Свердлгиз, 1942.
[2] Уилки Коллинз, Лунный камень, Гослитиздат, 1945.

стью). До поездки я прослушала цикл лекций по марганцу геолога Карапетяна и получила консультацию по всем пунктам концессии у юриста Туманова; в помощь мне выехал в Чиатуру инструктор Заккрайкома. Пребывание в Чиатуре длилось несколько дней, было сложно и трудно, а подчас и рискованно. Когда управляющий конторой концессии, Генрих Троцкий, подметил, например, что я не просто «туристка», за которую меня выдавали, а понимаю то, что вижу, он предложил мне вместо местных кляч, на которых мы ездили верхом, английскую лошадь с английским седлом (вместо мягкого казачьего) и сам выехал со мной; на открытой поляне, заканчивавшейся крутым спуском, желая припугнуть меня, а может и похуже, он внезапно хлестнул кнутом мою лошадь и пустил вскачь свою. Горячая лошадь понесла, но я хорошо ездила и сумела удержаться в седле. Доведя обследованье до конца, я представила Заккрайкому подробный доклад о каждом руднике, а в «Заре Востока» напечатала серию очерков, которые потом вышли отдельной книжкой на грузинском языке [1]. Чиатурскую серию считаю моим «боевым крещеньем» не только как очеркиста «вообще», но как очеркиста того особого, боевого типа, какой называется у нас в газетах «оперативным» и какой стал основной формой моей газетной работы на протяжении почти трех десятков лет.

Оперативный очерк требует своей методологии, своего подхода к материалу, он имеет и свои особые трудности. Часто он напоминает работу разведчика. Нужен долгий и терпеливый опыт в этом жанре, чтоб по-настоящему овладеть им и приносить им пользу. Наши критики, как правило, понятия не имеют, какой большой и напряженный труд требуется от оперативного очеркиста. В Зангезуре я была первой женщиной, спустившейся в медные рудники г. Кафана, где в то время (1925), тоже в результате хозяйничанья бывших концессионеров, были невыносимые технические условия,— люди работали на глубине нескольких десятков саженей без вентиляции при пятидесятиградусной кафанской жаре, и среди шахтеров были частые удушья и обмороки. Прямым последствием нашего спуска было устройство вентиляции, а уже потом написание газетной серии «Зангезурская

[1] Изд-во «Заря Востока», 1926.

медь», прошедшей в «Известиях». Такой же практической была и командировка в Ткварчели — о ней рассказано в серии статей «Ткварчельский уголь»[1], вышедшей отдельной книжкой под названием «Роман угля и железа»[2].

В начале 1932 года ленинградское издательство писателей выпустило большой том моих «Дневников» за время 1917—1931[3]. В них подробно рассказано о характере и методике труда оперативного очеркиста в ранней, еще только начинающейся стадии работы и ее связи с практическими вопросами хозяйства. Даже как будто чисто географический и туристский очерк о восхождении на Алагез, о котором я уже упоминала выше,— доставивший мне спустя четверть века лестное звание и значок «альпиниста I ступени» (как первой женщине, сделавшей это восхождение вообще, и притом в трудных условиях еще не стаявшего полностью снега, в начале июля),— даже и этот очерк связан был у меня с хозяйственной проблемой артикского туфа.

С тех пор не помню года, чтоб я не получала сложной газетной командировки в самые разные места нашего необъятного Союза, от Карело-Финской республики (где остро обстояло с животноводством — болели туберкулезом породистые голландки) до Мурманска (где пришлось познакомиться с искусством тралового лова трески и с работами мичуринцев в Заполярье); от грузинских колхозов, где была изучена для «Правды» проблема тунга и написана статья «Проблема тунга», до колхоза узбекского, где пришлось столкнуться с обратной стороной славы молоденькой Героини Социалистического Труда и целым рядом безобразий, творившихся под прикрытием ее имени; от горно-алтайского сада знаменитого мичуринца М. А. Лисавенко до замечательного уральского машиниста экскаватора, Мити Пестова, в Нижнем Тагиле (неоднократно рассказываю о нем в книге «Урал в обороне»); и, наконец, от эстонского сланца в Кохтла-Ярве до проблемы «керченской селедки» и повышения качества промышленной обработки рыбы на Керченском полуострове. Обо всем этом писала мно-

---

[1] «Известия ВЦИК», 1929, № 197, 201, 239, 247, 249.

[2] «Роман угля и железа», изд-во «Молодая гвардия», 1930. Второе издание там же, 1931.

[3] «Дневники 1917—1931», изд-во писателей в Ленинграде, 1932.

жество газетных очерков, печатавшихся не только в «Правде», «Известиях», «Труде», «Гудке», «Литературной газете», но и в ряде областных и районных газет по месту работы в каждом данном случае.

О двух работах довоенного времени хочу упомянуть подробнее. Была тяжелая весна 1933, неурожайного, года, когда в ряде мест у нас был голод. Стало необходимо как можно лучше провести сельскохозяйственные работы и помочь колхозам собрать новый хлеб. Партия организовала в тот год политуправления на МТС. Советским очеркистам, как и многочисленным отрядам советской интеллигенции, страстно захотелось помочь народу в борьбе за урожай. Я пришла в редакцию «Правды», хорошенько еще не зная, куда проситься, но непременно проситься на работу. М. З. Мехлис показал мне только что полученное воззванье тимирязевцев ко всему студенчеству, предлагающее отдать свои каникулы для работы на полях. Тут же я написала ответ «Чувство фронта», которым присоединялась к тимирязевцам. Он был напечатан в «Правде» 11 июня 1933 года (№ 159). С группой тимирязевцев я поехала на Одессщину и работала на двух МТС — сперва у начальника политотделов, тов. Полянского, потом у тов. Кирпичова, причем у последнего (станция Кавуны) район был исключительно тяжелый и пришлось всего наглядеться. Там я познакомилась с молоденькой золотоволосой девочкой, Любой Пишениной, начинающим корреспондентом местной газеты,— сейчас она крупный журналист и член редколлегии «Правды»,— весь ее славный рост советского журналиста прошел у меня на глазах. Так вот, весь свой опыт этой поездки я изложила в серии очерков «Тайна трех букв»[1], печатавшихся сперва в «Красной нови», а потом вышедших отдельной книжкой[2]. Пережитый на МТС опыт позволил мне дважды участвовать в «Дискуссионном листке» к XVII съезду ВКП(б).

Вторая работа, о которой хочу упомянуть, относится к 1935 году. В Ленинграде открылся XV Международный конгресс физиологов, на который съехались крупнейшие ученые со всех концов мира. «Правда» направила меня на этот конгресс специальным корреспондентом, предо-

---

[1] «Тайна трех букв», журнал «Красная новь» № 1, 1934.

[2] «Тайна трех букв», изд-во «Советская литература», 1934.

ставив полную свободу в выборе тем. На протяжении нескольких дней я дала в «Правде» семнадцать очерков-корреспонденций, а в один день были даже напечатаны две мои корреспонденции. Спать, а подчас и есть в эти дни не приходилось. Работа велась с огромным напряжением и увлеченьем. Когда она была окончена, мне прислали выписку из протокола заседания редколлегии «Правды»:

ВСЕСОЮЗНАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (БОЛЬШЕВИКОВ)
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА» (ОРГАН ЦК И МК ВКП(Б)

№ 7/34 г.
22/VIII 1935 г.
Выписка из протокола № 7 заседания редакции «Правды»
от 22/VIII 1935 г.

34 г. Об освещении в «Правде» работы конгресса физиологов.

1. Отметить инициативное и добросовестное отношение к делу специального корреспондента «Правды» на конгрессе, тов. Мариэтты Шагинян, и высокое литературное качество присланных ею корреспонденций.

Годы Отечественной войны я провела почти сплошь на Урале, кроме первых шести месяцев в Москве. Как и другие советские писатели, выступала в качестве агитатора: в Москве — в метро, между сеансами в кино, в обеденные перерывы на фабриках и заводах, на митингах в Политехническом музее; писала по заданиям Совинформбюро» и военных организаций. На Урале эти выступления сделались частью моей жизни и, кажется, нет уголка, где не пришлось бы их делать; заводы Среднего и Южного Урала, колхозы Челябинской и Свердловской областей, Горный и Нижний Алтай — все это стало родным, изъезженным, исхоженным,— от Ревды до Рубцовска, от знаменитого колхоза, где много лет хозяйничал Григорий Митрофанович Гринько до крайнего пункта перед песками пустыни Гоби. Книга, отразившая эту работу, «Урал в обороне», вышла в 1944 году[1]. Она была включена Московским Комитетом партии в список книг об Отечественной войне, рекомендуемых для чтения

[1] «Урал в обороне», Гослитиздат, Москва, 1944.

агитаторам и пропагандистам [1]. За время войны в Профиздате вышла также моя книжка «Два мастера» [2], причем первый ее рассказ,— «Рассказ о литейщике», был позднее целиком перепечатан «Правдой».

Из оперативных работ последних лет, следовавших одна за другой, упомяну о длительной командировке в вагоне «Гудка» по строившимся участкам Южно-Сибирской магистрали. В этой командировке мне пришлось столкнуться с фактом, потребовавшим тщательной и всесторонней проверки, а потом — длительной и очень тяжелой борьбы. Когда мы приехали на станцию Стерлитамак, мы узнали, что министерство уже приняло и подписало проект постройки отрезка дороги от Магнитогорска до Куйбышева в его так называемом «южном варианте» через станцию Мелеуз в Башкирии. Но я уже слышала из встреч и бесед по пути, что с этим вариантом не согласны ни в Башкирии, ни в Магнитогорске, считая его нерентабельным. Мы устроили в вагоне встречу с изыскателями всех трех вариантов (южного, северного и компромиссного между ними) и в беседе убедились, что принятый вариант наихудший. Он оставлял без выхода на магистраль Белорецкий завод, Туканскую железную руду и лес, которого ежегодно гибнет один миллион кубометров без вывоза. Я съездила посоветоваться к первому секретарю Башкирского ЦК в Уфу, к секретарям обкома в Челябинск и к тогдашнему директору металлургического комбината, тов. Носову, в Магнитогорск. Из бесед с ними окончательно окрепло убеждение, что южный вариант утвержден ошибочно. Когда это стало мне ясно, я начала борьбу за пересмотр решения. Длилась она шесть месяцев, и за это время я пережила и травлю заинтересованных ведомственных лиц, и недоверие некоторых руководителей, не решавшихся меня поддержать, и всякого рода тяжелые столкновенья. В конце концов победа была одержана, решение пересмотрено и этот отрезок Южсиба построен не через Мелеуз, а через Белорецк — Тукан. Об этом рассказано в книге «По дорогам пятилетки» [3]. Позднее, вспоминая мое участие в правиль-

[1] «Спутник агитатора», журнал ЦК и МК ВКП(б), № 18, сентябрь 1944, стр. 29.

[2] «Два мастера», Профиздат, 1942.

[3] Мариэтта Шагинян, По дорогам пятилетки, Профиздат, I издание, 1947. Второе, дополненное издание Профиздата, 1948.

ном выборе варианта, академик В. Н. Образцов писал в «Литературной газете»:

«В книге «По дорогам пятилетки» глава «Выбор варианта» занимает всего 9 страниц, но у этих страниц большая и славная судьба... Металлурги Белорецка, горняки Зигазино-Комаровских рудников, жители Стерлитамака и многих других городов и сел... будут с любовью и благодарностью помнить об энергичном и неугомонном поборнике «северного варианта» — писателе М. С. Шагинян» [1].

В 1953 году, сделав выборку из моих дневников последних двух лет, относящуюся главным образом к оперативной работе газетчика, я опубликовала книгу «Дневник писателя» [2], где показываю методику своей работы на примере двух статей об эстонском сланце. Эта книга — живая и непосредственная запись мышленья, восприятия и труда газетного работника в жизненном процессе его исканий и ошибок.

Разумеется, оперативная работа в газете — дело незаметное для широкого читателя и живет она короткой жизнью: не дольше газетного листа. Бывает подчас больно думать, что десятки больших тем и целые папки заготовленных материалов, рассчитанных на художественное полотно романа, так и не удалось реализовать со дня окончания «Гидроцентрали». Но я гордилась и горжусь тем, что принадлежу к славной армии советских очеркистов.

За последние годы мне пришлось неоднократно выезжать за рубеж, и лучшие мои зарубежные очерки перерастают в книги («Чехословацкие письма», «Английские письма», «Брюссельская выставка»). Но любопытный факт: ни одна моя газетная статья или очерк не пользовались такой неожиданной популярностью и не доставили мне столько беспокойства, принеся свыше тысячи писем со всех концов нашего Союза в течение одного только первого года со дня ее публикации, как автобиографическая статья: «Создай и сохрани свое здоровье», помещенная в журнале «Здоровье» (№ 1 за 1956 год). До сих пор пишут мне «ученики и последова-

---

[1] «На больших путях». Академик В. Н. Образцов. «Литературная газета» от 31 июля 1948 г.

[2] «Дневник писателя», изд-во «Советский писатель», 1953.

тели», присылают фотографии, как они купаются зимой в проруби и как закаляют себя...

Сообщу здесь основные биографические даты. Была депутатом Московского Совета XI созыва (книга «Дневник депутата Моссовета»[1]). Защитила как докторскую диссертацию свою книгу «Тарас Шевченко» и была утверждена ВАКом в 1944 году в ученой степени доктора филологических наук. В 1950 году была избрана членом-корреспондентом Академии наук Армянской ССР. В июле 1941 года, в дни немецкого наступления, подала в партию и по прохождении кандидатского стажа в июле 1942 года принята в ряды партии. Имею правительственные награды: три ордена Трудового Красного Знамени, ордена Красной Звезды и «Знак Почета», а также несколько медалей. «Путешествие по Советской Армении» было удостоено Сталинской премии III степени. Почти все мои книги по нескольку раз переводились на многие иностранные языки, а некоторые («Гёте» и др.) выдержали не одно издание.

В долгой моей жизни рядового труженика литературы были и ошибки, и срывы, и неудачи; сильно отягчала работу все усиливавшаяся глухота — большое несчастье для писателя; и все же труд был великой радостью всей моей жизни, и всякий раз, как я бралась за перо, я делала это с любовью к добру и правде. И я никогда не знала равнодушия в процессе работы.

Кратово, 1958

---

[1] «Дневник депутата Моссовета», изд-во «Советский писатель», 1937.

ПРИМЕЧАНИЯ

В книгу включены некоторые произведения М. С. Шагинян, не вошедшие в Собрание сочинений 1956—1958 годов. Большая часть из них — вновь написана автором или же переработана в последние два года. Здесь роман-хроника «Семья Ульяновых» и отдельные материалы, связанные с биографией В. И. Ленина; очерки и статьи, посвященные вопросам литературы, искусства и науки,— они характеризуют глубокий и постоянный интерес М. С. Шагинян к проблемам эстетики, неразрывную связь ее творчества с текущей политической жизнью.

Заключительный раздел книги содержит автобиографическую «Повесть о двух сестрах и волшебной стране Мерце» и вновь написанную автобиографию.

Семья Ульяновых — роман-хроника. В первоначальном варианте под заглавием «Билет по истории» опубликован в журнале «Красная новь» № 5, 1937, и вышла отдельным изданием, Гослитиздат, 1938.

В переработанном и расширенном виде напечатана в 1957 г. в журнале «Нева» № 8, и дважды вышла в издательстве «Молодая гвардия», 1958.

Предки Ленина с отцовской стороны — наброски к биографии, в сокращенном виде опубликованы в журнале «Новый мир», № 11, 1937, а затем вышли в расширенном варианте в литературно-художественном сборнике «Астрахань» в 1958 г. Здесь печатается этот вариант с дополнительной авторской правкой.

Воспоминания о Надежде Константиновне — воспоминания напечатаны в журнале «Народное образование» № 4, 1959.

Первый учитель семьи Ульяновых — очерк напечатан в журнале «Огонек» № 4, 1959.

Ян Амос Коменский — очерк напечатан в журнале «Народное образование» № 9, 1957.

Хьюлетт Джонсон — очерк напечатан в «Литературной газете» от 12 марта 1957 г.

Альбер Швейцер — очерк напечатан в «Литературной газете» от 20 июня 1957 г.

Ярослав Гашек — очерк напечатан в журнале «Октябрь» № 4, 1958.

Вильям Блэйк — очерк напечатан в газете «Известия» от 28 ноября 1957 г.

Шолом-Алейхем — очерк напечатан в газете «Вечерняя Москва» от 5 мая 1959 г.

Александр Ширванзаде — очерк напечатан в журнале «Дружба народов» № 3, 1959.

Чего ждет писатель от критика — речь, произнесенная на пленуме правления ССП в 1935 г. Впервые опубликована в журнале «Красная новь» № 4, 1935. Напечатана в книге М. С. Шагинян «О литературе и искусстве», издательство «Советский писатель», 1958.

Две сессии Академии наук СССР — очерк напечатан в журнале «Новый мир» № 7—8, 1943.

«Одиннадцатая» Шостаковича — статья напечатана в газете «Известия» от 12 ноября 1957 г.

Праздник любителей музыки — статья напечатана в «Литературной газете» от 2 марта 1957 г.

Киноискусство и жизнь — статья напечатана в газете «Известия» от 24 сентября 1957 г.

Лестница времени — очерки о Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 г. Напечатаны в газете «Известия» от 24, 27 августа и 3 сентября 1958 г. и в журнале «Октябрь» № 8, 1958.

Коммунистический труд — статья напечатана в газете «Известия» от 15 января 1959 г.

Зов времени — учиться — выступление на съезде писателей Армении в январе 1959 г. Напечатано в «Литературной газете» от 15 января 1959 г.

Воспоминания о *Сергее Васильевиче Рахманинове* — напечатаны в сборнике «Воспоминания о Рахманинове», в 2-х томах. Музгиз, 1957, т. II, стр. 128—203.

Жорж Якулов — некролог, публикуется впервые.

А. Г. Малышкин — воспоминания напечатаны в журнале «Новый мир» № 8, 1939.

Оборона Москвы — очерк напечатан в Профиздате в 1943 г.

Повесть о двух сестрах и волшебной стране Мерце — впервые опубликована в 1919 г. в Ростове-на Дону издательством «Детский мир», вошла в Собрание сочинений М. С. Шагинян, ГИХЛ, 1935. Печатается в расширенном и доработанном виде.

Автобиография — публикуется впервые.

СОДЕРЖАНИЕ

СЕМЬЯ УЛЬЯНОВЫХ — *роман-хроника* 3

ОЧЕРКИ, СТАТЬИ, ВОСПОМИНАНИЯ

Предки Ленина с отцовской стороны 137
Воспоминания о Надежде Константиновне 173
Первый учитель семьи Ульяновых 185
Ян Амос Коменский 192
Хьюлетт Джонсон 209
Альбер Швейцер 216
Ярослав Гашек 224
Вильям Блэйк 260
Шолом-Алейхем 273
Александр Ширванзаде 278
Чего ждет писатель от критика 291
Две сессии Академии наук СССР 317
«Одиннадцатая» Шостаковича 340
Праздник любителей музыки 345
Киноискусство и жизнь 349
Лестница времени 366
Коммунистический труд 437
Зов времени — учиться 449
Воспоминания о Сергее Васильевиче Рахманинове . . . 455

Жорж Якулов 533
А. Г. Малышкин 540
Обороиа Москвы 546

О себе

Повесть о двух сестрах и волшебной страие Мерце . . 572
Автобиография 641
Примечаиия 683

МАРИЭТТА СЕРГЕЕВНА ШАГИНЯН

Семья Ульяновых
Очерки, статьи, воспоминания

Редактор *М. Горячкина*
Художественный редактор *Ю. Боярский*
Технический редактор *З. Евдокимова*
Корректор *В. Знаменская*

Сдано в набор 19/VI 1959 г. Подписано к печати 15/X 1959 г. А 08073. Бумага $84\times108^1/_{32}$—21,5 печ. л.=35,26 усл. печ. л. 35,42 уч.-изд. л. Тираж 90 000. Заказ 313.
Цена 12 р. 15 к.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Полиграфкомбинат им. Якуба Коласа,
Минск, Красная, 23.